

Борис Поплавский

Борис Поплавский

12 - 3 СТАТЬИ
5 - 5 ДНЕВНИКИ
5 - 7 ПИСЬМА
8 - 10 БИБЛИОТЕКА
10 - 11 ЧТЕНИЕ Ч БЛЮМА
11 - 12 ОТДЫХ
12 К РОМОВУ

9 $\frac{1}{2}$ ЧАСОВ



Борис Поплавский

Борис Поплавский

Борис Поплавский

Собрание сочинений в трех томах



Борис Пастернак

Борис Поплавский

Том третий

СТАТЬИ
ДНЕВНИКИ
ПИСЬМА



Книжница • Русский путь • Согласие
Москва • 2009

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
П57

СОСТАВЛЕНИЕ, КОММЕНТАРИИ,
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА
А.Н.Богословского, Е.Менегальдо

РЕДАКТОР
В.П.Кочетов

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
С.А.Стулова

*В оформлении использованы
рисунки и рукописи Б.Поплавского*

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

ISBN 978-5-903081-08-0 (Т. 3)
ISBN 978-5-86884-055-5

© Русский путь, 2009
© Е.Менегальдо, А.Н.Богословский, составление, комментарии, 2009

СТАТЬИ
РЕЦЕНЗИИ
ЗАМЕТКИ

A stylized, handwritten signature or flourish consisting of several overlapping, curved lines that resemble the letters 'L' and 'H' intertwined.

Отказ от Христианского служения высших
Бог воровство у себя участия в солнцегреющем
будущем России.

Есть только одно право называться Русским — это
Любовь к России которой мы всем обязаны
присутствующей в кровной связи общего нерва с
бьющимся телом народа, и рвущимися живо олуца
ющего в висекцию социализма.

Борис Кошаравский

Киев 11 июля 1920.

О СУДЬБАХ РОССИИ

И дым отечества нам сладок и приятен.

Грибоедов.

В

ы говорите, Россия! Но ведь интеллигентской России нет; разгромлено государство, расстреляно общество, сожжены города, казалось, образованные переселились в Европу. И унесли с собой последние ценности, чтобы существовать на стороне. Появляются русские колонии, здесь, в обстановке сравнительного благополучия, элементарного комфорта, казалось бы, «унесшие голову» от «неблагодарного народа» среди идеальной природы, о которой мечтали целые поколения поэтов, останутся полными глотками пить целительную жизнерадостность южного воздуха. Но все тоскуют. Теперь, когда будто бы всякая связь с Россией потеряна, слово *Родина*, как оказалось, имеет значение много более трансцендентальное, чем слово *среда*.

Коренная связь между настоящими русскими интеллигентами и их народом есть невидимая для современной философии связь общего сердца, которое болеет не о клубах, библиотеках и театрах, которых можно было бы найти в любом из культурных центров Запада, а по бессознательной душевности народа-богоискателя, интересов и идеалов которого нет ни у кого другого.

Один из величайших светоискателей Ницше говорит: «Общество — это не соглашение (к спокойствию), а попытка, и ищет она повелевающего»; любящая диктатура высших представителей есть идеал общества младенческого народа.

Повальное сумасшествие, которое сейчас испытывает полуинтеллигенция, непосредственная преемница культурных верхов, есть один из результатов исторических ошибок тех же верхов, отравление ядом интернационализма совершалось руками теперешних изгнанников, от Герцена до Горького.

Интеллигенция есть результат спекуляции на интеллектуальных возможностях нации, лучших представителей которой создает народ, нуждаясь в них как в единственных возможных вожаках, которым дороги его интересы по общему подвижническому сердцу, а научное всеоружие, которое он дал ему на несчастные мужицкие копейки, есть и будет достоянием нации; мельник, который, надрываясь, выбился из бедности, посылая своего сына в город, может презирать будущего образованного, если тот не вернется в деревню и не облагородит жизнь своей семьи культурными знаниями, а с дипломом ветеринара или агронома поступит в акцизные чиновники. Интернациональная культура, оторванность от народа с переходом в класс сознательно мыслящих из-за потери общего языка с народом, так как морально культурные ценности, верхи материалистического знания не были подлинными ценностями страны, то интеллигенция, желающая передать народу свою добычу из кладезей знания, этим только вредила народу, так как проповедуемые истины не были его настоящими символами возвышения, а ценности национальной культуры отсутствовали.

Недоставало культивирования национальных расовых целей народа из-за не народного понимания народа, а предвзятого, статистического; и она не оправдывала целей своего существования, затраты на содержание враждебного в сущности общества. Не слушала голоса народного у [себя?] в сердце. Интеллигенция не отдавала народу долгов своего исключительного воспитания, не служила ему, а, наоборот, он служил для нее бессловесным материалом для ее государственных опытов; поэтому он отвернулся от нее, не видя ее необходимости, не защитил ее от разошедшихся за войну низов, чаще всего профессиональных солдат, потерявших в окопах человеческий образ. Отгородившись каменной стеной, он оставил город агонизировать, так как защищать ничего не дающий, а только берущий от него город не подходило под его высший критерий целесообразности.

Ибо народ, не имея защиты от внешних, более старых материалистических культур, губительных идей муравьиных достижений коллективных поисков утилитарного благополучия, рожденных дегенеративными нациями, беспо-

шадными империалистами к слабым и не развитым в настоящем; теперь народ в лице тех же интеллигентов переболел, кровь русских — ПРИВИВКА ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА. Исцеленная интеллигенция должна перелить кровь своей мысли в обескровленное тело народа. «Пишите кровью, и вы узнаете, что кровь есть дух», — сказал Ницше.

Вековые обязанности интеллигенции, выбитые резцом Божественного Художника на белом мраморе ее души, это — вести, вести добровольно корабли народа через океаны духовных войн и переоценок официальных ценностей к тропическим материкам идеалов. Она никогда не будет спокойна (в этом ее заслуга теперь) вне дела помощи Ему.

Настоящие высшие представители не могут быть спокойными вне проповеднического дела национальной культуры, необходимость которой настоящие Русские так требовательно чувствуют в изгнании. Должно начаться при возвращении любящих; синтетизация христианским пониманием, исторически рациональное цементирование дворцов Будущего. Ответственность за кормление народа к идеалам его на тех, кому он [нрзб.] и [тех], которые могут быть сознанными хотя бы через почувствование боли отречения от них, только культурно-зоркими, любяще-чуткими высшими представителями, крестно угадывающими теперь его светлорадостные цели.

Ответственность за ценности, которые дала Родина, всегда присутствует в любящем ее, а отказаться от нее было бы нравственным воровством, большего у самого себя. Отказ от христианского служения высших есть воровство у себя участия в солнцегреющем будущем России.

Есть только одно право называться Русским, это любовь к России, которой мы всем обязаны, присутствующей в кровной связи общего нерва с бьющимся телом народа, живо ощущающего вивисекцию социализма.

О РУССКОЙ ВЫСТАВКЕ В БЕРЛИНЕ

Я

бы не решился писать о русской выставке в Берлине, не разузнав предварительно от кого-нибудь из наиболее видных представителей ее участников ее основные идеи (и законы) супрематизма и конструктивизма. Я считал себя недостаточно компетентным (по почти полному отсутствию у меня теоретических знаний в области этих течений) критиковать якобы, а может быть, и действительно, передовых русских художников. Главный устроитель выставки и наиболее видный представитель «нового» супрематизма (с привлечением всевозможных материалов, как то: дерева, каменного угля, графита, картона и пр.) Натан Альтман посвятил мне около 2 часов на разъяснение развития «живописи» в России за последние 7—8 лет. Я постараюсь в точности привести несколько фраз Н.Альтмана, это представляет, несомненно, некоторый «интерес» для «любителей».

Задача устроителей выставки была показать публике работы художников России со времени 1-х лет войны до наших дней, то есть за время полной отчужденности России от всего культурного мира.

И вот эта основная задача была выполнена просто нечестно. Несправедливость устроителей-художников слишком явно видна во всем. Спорить об этом не приходится. Многие художники представлены в очень слабых для себя вещах, многие (и очень) совсем отсутствуют. Всем более или менее «правым» художникам предоставлены совсем темные комнаты (или какие-то проходные и передние).

Альтман представлен (и очень полно) в четырех родах своего творчества (полихромная живопись, театральные работы, скульптура и рисунки) и в самых лучших залах.

Но это все недочеты хозяйственные, не имеющие большого значения, перейдем к существу и разберем это движение вперед, этот «взлет» русской живописи за время русской революции, как говорит Альтман.

Начинаю с самых правых.

Что можно сказать нового об Архипове или Малявине? Работают, совершенно не думая ни о живописи, ни о рисунке, полное отсутствие технических знаний и ремесла. Поразительная небрежность, видна незаконченность и какая-то халатность.

О бабах Малявина очень много писалось, подробно разбирались выражение лица у каждой, пробовали догадываться, из какой они губернии и т.д. Но никогда мне не доводилось читать серьезного разбора живописи, рисунка и композиции на его работах. Хотя, да как же разобрать его композицию, когда ее у него нет, рисунок его раздрызган и не «сделан». А живопись его, несмотря на феноменальное затрачивание материала, весьма жестка и суха.

Архипов еще слабее того (у Малявина проявляются изредка признаки темперамента).

Но все-таки ни Малявин, ни Туржанский (всегда есть у него какая-то острота и любовь к плотному цвету), ни Архипов не выходят по убожеству своему из рамок приличия. А вот Жуковский, тот просто даже как-то уже и неприличен.

Из более левых художников также витают в области неприличия Кустодиев, Павел Кузнецов (простите блудного ученика), Якулов, Филонов и в некоторых работах (с «социальным сюжетом» при помощи привлечения инородных материалов) Н.Альтман. Но Жуковский превзошел всех. И как Вам не стыдно писать такие картины, ведь это можно только с птичьими мозгами не видеть того, что Вы производите исключительную дрянь. Неужели Вы думаете, что занимаетесь искусством, заботясь только о том, чтобы столы блестели и солнце проникало бы сквозь окно. Сознаться, больше никаких мыслей, никаких желаний.

Константин Коровин, один из немногих русских художников, обладает хорошим вкусом и большим темпераментом: всюду очень мягкая, приятная живопись, хотя часто немного слишком приятна. Видно, что Коровин любил и в свое время серьезно знал французов.

«Мир искусства» представлен в меньшем количестве, чем все остальные группы. Не вдаваясь в неприятные подробности организации, разберу счастливцев из группы «Мира искусства», попавших на эту выставку.

Темперы Сарьяна наглядно показывают, что он совершенно не станковый живописец. По всей вероятности, неплохой декоратор и очень приличный иллюстратор. Сарьян не может и не любит делать картин.

Разбирать серьезно даже иллюстрации и театральные работы Сарьяна нельзя, потому что они сделаны несерьезно.

А не по существу, в похвалу Сарьяну можно сказать, что у него очень чувствуется солнце, Восток, а иногда даже и воздух.

На Кустодиева можно только разводить руками и больше ничего. Ну чем картины в журналах хуже? Какая сладость, какое полнейшее отсутствие чувства. Ведь у Вас же был (и есть) в Петербурге Эрмитаж, что же Вы туда не ходили совсем, что ли, или когда ходили, то интересовались «улыбками мадонн» или тем, как выведены ногти. Неужели никогда не обращали внимание на то, [что] существует хорошая живопись, что большие мастера всегда заботились о построении, что картины пишутся с напряжением, а не так себе за чаем.

Павел Кузнецов. Говорят, что в свое время Павел Кузнецов своим голубым периодом повлиял даже на Пикассо. В Осеннем салоне 1906 года, в котором был русский отдел, П.Кузнецов выставлял вещи своего «голубого периода», и действительно, спустя, кажется, год Пикассо начал делать своих знаменитых синих арлекинов... Но (к сожалению) в преемственности Пикассо от Кузнецова при всем желании нельзя найти ничего, кроме приблизительно одного нового, общего голубого тона.

У Кузнецова всегда недалекая и, в большинстве случаев, не имеющая значения композиция. Цвет пустоватый, рисунок бесформенный, зато настроения всегда много.

«Бубновый валет» представлен также далеко не полно, нет на выставке (а это, несомненно, не может содействовать ее успеху) М.Ларионова, Н.Гончаровой. Альтман объясняет это тем, что они последние семь лет работают вне России. Но почему же представлен Архипенко и некоторые другие, которые, якобы живя за границей идейно, через

свое искусство были связаны с Россией. Кажется, уж не найти сейчас второго художника, который посредством живописи был бы ближе к России, чем М.Ларионов.

В последних работах Кончаловского, Машкова, Фалька (несомненно, самых лучших и характерных представителей «Бубнового валета» на Берлинской выставке) заметно какое-то успокоение, нет того ненужного размаха, который раньше был у Фалька. Нет уже бывшей также ненужной [?] грязи у Кончаловского, и в некоторых его теперешних работах появляется уже довольно тонкая и сильная живопись.

В работах всех художников «Бубнового валета» видно какое-то смятение, незнание, что делать. Они положительно моментально в какие-нибудь 3—4 года из передовых художников (любимцев молодежи) превратились в «правых» отсталых, которыми уже мало кто теперь интересуется. Есть у них один недостаток (а может быть, и очень большое достоинство). Они совершенно в лапах французов, влияние которых в самой Франции еще очень сильно до сих пор, но которое постепенно начинает перерабатываться в новые, более крепкие формы («Nature Morte с гитарой»). Композиции никакой. Манкирует композицией и И.Машков, хотя некоторые части в его картинах очень хорошо связаны между собой. У Машкова большое живописное чувство, размах (нигде у него не найти неприятных по живописи мест). Я бы даже сказал, что его вещи немного «гостинные» («салонные»).

Все они еще сравнительно молоды, и, по-моему, некоторые из них найдут свой собственный путь (потому что все они более талантливы и, несомненно, ближе стоят к правильному пониманию искусства, чем наши замечательные открыватели живописных истин, вроде Малевича, крайне одностороннего в своих работах, не имеющих никакого отношения к живописи, бездарнейшего коммерсанта Лисицкого и сравнительно способного, но нагло продающего искусство Н.Альтмана).

Лентулов, как ребенок, совсем не понимает, что свет и тень нужно хотя бы более или менее держать в руках. Нельзя же так совершенно случайно писать некоторые плоскости темными, другие светлыми. То же несчастье у него с цветом.

Русские кубисты (т.наз.) все без исключения подражают кубистам Франции первого периода, подражают исключи-

тельно внешне, фактура у них разрабатывается еще слишком наивно и не принимается во внимание при построении. Они благодаря окубизированию картины только усложняют и затуманивают картину, вместо того что<бы> ее упрощать и приводить в порядок (Удальцова, Экстер).

Весьма интересен и глубок в простоте своих построений И.Пуни. У него всегда плотная, несколько грубоватая живопись. Мне лично не нравится (но в то же время это, безусловно, допустимо) соединение совершенно реальных предметов с более или менее абстрактными формами (якобы специально сделанных для контраста).

Я вижу в этом некоторую бесформенность картины. Но это не очень важно, у Пуни большая точность во всем, хорошее понимание композиции. На всей Берлинской выставке И.Пуни производит самое благоприятное впечатление.

Скульптуры на выставке почти нет, если не считать большого количества работ «Общества молодых художников», «Обмолоху», сделанных из дерева, проволоки, стекла, жести, слюды и т.д. Видно, что эта область искусства появилась на свет очень недавно. Большинство работ производит впечатление необоснованности, дилетантизма. Но трудами культурного и очень талантливого скульптора (конструктора) Габо показано, какое большое будущее у этого рода искусства. Габо строит свои работы из однородного материала. Из слюды и из картона главным образом.

Контррельеф Татлина.

Архипенко неизвестно почему вытягивает ноги, туловища, отрывает головы. Может быть, это для того, чтобы построить, для того, чтобы связать отдельные части. Нет, должно быть, не для этого, если у него и построены некоторые скульптуры, то очень случайно и поверхностно. Стиль тоже не создал, а налицо какая-то неприятная «декадентская» манера, с чужим влиянием. Лучше и более обоснованы его барельефы. Удачно разработана светотень.

Рисунки Архипенко ниже всякой критики, ни за что нельзя зацепиться, чтобы похвалить их, безжизненные, бескомпозиционные, сделанные нехорошей дешевой техникой.

У Бурлюка выставлены очень старые вещи, но как они поразительно похожи на то, что сейчас делают экспрессионисты, во главе с Кандинским, в Германии. Разница толь-

ко та, что у Бурлюка на картинах между «паутины» разных штрихов, переломанных линий фигурируют «человечки». А у Кандинского только абстрактные формы (расположенные в лирическом беспорядке), в виде разных проволок, пауков, огурцов, дынь и т.д. Никакого обоснования — где я хочу — там и мазну, захочу красным — ляпну красным, захочу белым и т.д.

Весьма забавен выдумщик Штеренберг, но только забавен, все его выдумки не для внутреннего улучшения, красоты картины или ее композиции, а только для потешной остроты и забавности.

Например, когда он налепляет на холст кусок около двух сантиметров <высоты> и ширины и 5 длины, покрывает яркой красной краской (это должно изображать очень реально и выпукло конфету), то он абсолютно не заботится о том, как относится это яркое выпуклое пятно к остальным частям картины (и наоборот). И кладет эту конфету почему-то совсем сбоку.

Я спрашиваю у Альтмана: «Почему эта конфета помещена здесь, а не там, были ли у Штеренберга для этого основания (да и вообще для всего того, что он делает)». Альтман очень «умно» отвечал мне, «что оснований никаких нет, но вот если бы он поместил эту конфету в середину, то получилась бы другая картина, да вообще, — говорит, — и ни один француз-кубист не объяснит Вам, почему он сделал так, а не так, делают так по своему впечатлению, если им кажется, что где-нибудь нужно делать белее, то они делают белее и т.д.».

Возражать было бы бессмысленно, но этот факт ясно показал, как всесторонне в России изучают сейчас кубистов. А ведь Альтман передовой...

У Штеренберга, несмотря на это, есть хорошие качества: плотная, довольно приятная живопись, острота и оригинальность.

Перед тем, как разобрать самый «центр» выставки супрематистов — Малевича, Лисицкого, Родченко, Древина и Альтмана (не знаю точно, как называется школа, к которой примыкает Альтман, должно быть, революционный супрематизм), — я хочу сказать несколько слов об очень остроумном докладе И. Пуни (4 ноября в Доме Искусств в Берлине). Немецкие супрематисты и Кандинский в Берлине очень не

любят и считают за ничто Малевича и его последователей. И наоборот, Малевич с компанией, так сказать, считают за пустое место экспрессионистов. И вот в своем очень остроумном докладе И.Пуни наглядно с таблицами доказал, что идеи и сущность этих двух течений совершенно одинаковы, разница только в том, что одни пишут с линейками и циркулями правильные квадраты и круги, а другие, как я уже говорил раньше, какие-то паутины, проволоки неправильных форм, груш [?] вроде дынь, огурцов и т.д.

На доклад никто не смог ничего возразить, хотя раньше записались Н.Альтман, Лисицкий, Эренбург и другие.

Дальше в своем докладе Пуни опять, конечно, с наглядными таблицами взял несколько (проунов) «картин» Лисицкого и без вреда и ущерба для них вынимал и вкладывал в них разные геометрические формы, при этом несколько не изменялись их «сложное построение» [и общая структура]. На это опять никто ничего не мог возразить, даже сам автор — случай весьма показательный тому, насколько теории супрематистов и конструктивистов необоснованны. А сами художники вполне не отдают себе отчет в том, что они делают (это честные «маньяки» — Малевич, Родченко). Или другие, знающие, что они делают не то, что надо, но необходимо быть «современным» и «передовым», — Лисицкий, Альтман и т.д.

Существует два вида супрематизма. Задача первого — оперировать в пространстве, не принимая во внимание поверхность холста. Вторая, заботясь главным образом о том, каким способом покрыть холст, — то есть о фактуре, ставит на второй план разрушение положений предметов в пространстве (Древин, Родченко и др.). По оригинальности и по отдаленности от живописи наисамый [?] интересный супрематист — это Малевич.

Круг в квадрате, самая характерная картина его: на ровно выкрашенном квадрате (белом) помещен сделанный циркулем очень точно черный круг, неизвестно почему сбоку. На мои взволнованные вопросы, почему круг находится не посередине, Н.Альтман совершенно с серьезным видом ответил, что «Малевичу казалось, он чувствовал, что его нужно поместить сбоку, оснований и объяснений этому никаких».

Законы (это я уже говорю от себя) те же, что и у экспрессионистов: «чисто психологические». И посему год-

ные только для автора. На выставке есть старая работа Малевича (кубистическая), очень неприятная по цвету, но с небольшим намеком на построение.

Лишь кажется, что Малевич из супрематистов наиболее искренен и, так сказать, «честен в работе». Его суждения о том, что живопись как самоцель существовать не может (она никому не нужна), раньше она была связана с религией, теперь этого, конечно, нет, то нужно писать плакаты, но это неинтересно. Необходимо выдумать новые формы, посредством которых можно было бы опять присоединить живопись к жизни, эти суждения, пожалуй, даже интересны, но неминуемо должны привести в тупик. В него попал и Малевич, дойдя до белого в белом, следующий этап (был бы!) просто белое полотно.

Но глава супрематизма вовремя бросил живопись и начал писать «книги по искусству».

У Малевича есть большие заслуги в том, что всегда заставляет задумываться молодежь. Но в то же время сколько он принес вреда тем, что заставил ломать головы не над тем, над чем следовало, то есть не по существу, не о живописи, не о картине, не над логическим построением.

Самым интересным представителем супрематистов другого толка является, пожалуй, Родченко, обладающий прекрасной благородной техникой, прямо удивительным мастерством, в разнообразии и богатстве способов покрытия холста. В работах, в которых он очень далек (хотя внешне и близок) [от] идей супрематизма, видно большое живописное переживание и любовь к красивой картине (2 черных круга в квадрате). Но как только «по должности» он начинает делать какие-то «бесплодные» вещи, вроде серого «зигзага на черном», то уродству, безобразию и ненужности нет конца. Сделана эта картина по матовому черному холсту — проходит двумя зигзагами приклеенная серая бумага¹.

Движение, безусловно, получилось, но неужели Родченко думает, что одного движения на картине достаточно. Очень показательна картина того же Родченко «Красная краска» (весь холст ровно и везде покрыт красной крас-

¹ В этом месте рукописи Б.Поплавского — изображение картины А.Родченко: светлый зигзаг на темном фоне. (Здесь и далее примечания публикаторов обозначаются цифрами, примечания Б.Поплавского — звездочками. — *Ред.*)

кой). Это тупик для Родченко, «левее» этого уже трудно что-нибудь придумать.

Н.Альтман — «конструктор», не супрематист, на его полотнах, досках, картонах и т.д. часто между абстрактными формами бывают написаны вполне реальные предметы, как то: буквы, линейки, железо и т.д.

Альтман говорит, что он пришел к такому выводу, что в картинах необходим сюжет, но не тот сюжет, который был прежде...

ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ



ужно ли стремиться «войти» в литературу, не нужно ли скорее желать из литературы «выйти»? Область поэтического не расширяется ли всегда за счет внешней тьмы нехудожественного? Так Блок сделал поэзией цыганский романс и частушку, произведя их в поэтические дворяне, и этим расширил область поэтического вообще; так Пушкин неожиданно (с сомнительным сатирическим намерением, может быть) открыл в «Евгении Онегине» поэтичность быта и этим стилистически породил дворянский роман.

Не следует ли писать так, чтобы в первую минуту казалось, что написано «черт знает что», что-то вне литературы? Не следует ли поэту не знать — что и о чем он пишет?

Здесь противостоят две поэтики, по одной — тема стихотворения должна перед его созданием, воплощением лежать как бы на ладони стихотворца, давая полную свободу подбрасывать ее и переворачивать, как мертвую ящерицу; по другой — тема стихотворения, его мистический центр, находится вне первоначального постигания, она как бы за окном, она воев в трубе, шумит в деревьях, окружает дом.

Этим достигается, создается не произведение, а поэтический документ — ощущение живой, не поддающейся в руки ткани лирического опыта. Здесь имеет место не статическая тема, а динамическое состояние (не аполлоническое, а дионисическое начало), и потому отображение превращается и изменяется, как живая ткань времени.

В таком стихотворении все свободно превращается «во все»; построено такое стихотворение бывает не наподобие твердых тел, например, статуи, а, скорее, наподобие разноцветных жидкостей. И так как и сами мистические знаки ни о чем в точности не повествуют, а само магическое ста-

новление не прерывает в нем свой поступательный ход, полет или танец, то в нем «все» как бы продолжает свободно возникать из «ничего».

Шеллинг говорил: поэзия есть продолжающееся творение.

Творящий, творящее не знало в точности, что творится и сотворится (оно не теологически действовало); такой стихотворец, как во сне или в припадке, бросается в свое стихотворение; в таком случае неведомо, что выйдет; и часто в произведении, в конце, получается неизмеримо больше, чем было в начале, в производившем; и только тогда стихотворение есть откровение, и поэзия больше стихотворца.

Вообще, поэзия — *темное дело*, и Аполлон — самая поздняя упадочная любовь греков.

ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ О КНИГЕ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗИМЫ»

29.4.1929



азговор с Ивановым: Блок всегда сидел перед своим большим окном вполоборота к собеседнику, говорить с ним было тяжело, но (попал в цель — останется, относится к делу) писал о самом главном.

Мандельштам — гениальный собеседник (Блок — тупица) — не попал — мимо.

Гумилев — небольшой поэт — позер, но удачный. Любил лежать на диване и есть сладости — по-мужски.

Адамович — такой человек раз за пятьсот лет рождается.

Раевский — дурак, Познер — кошка, Фельзен — скучный. Бунин — слава Богу, что уехал, — ходить не надо. Цветаева — синий чулок. Мочульский — соломенная голова.

*

От чего зависит попадать в цель — от согласия с д<ухом> м<узыки>.

*

Рембо и Блок — гении Формы и Жалости. (Рембо был метафизиком от природы, но он был жесток и отходил в даль постигания, и все умирало и останавливалось за ним.)

Поэтому Рембо — гений, но можно его и не читать, ибо он не писал о самом главном, в то время как позор не читать Блока, и это невозможно.

*

Кузмин и Блок. Два голоса петроградского мироощущения. Кузмин — легкий, светский. Блок — тяжелый, почти мужицкий. Странное явление — все лучшие поэты на той стороне: Блок, Мандельштам, Цветаева, Есенин, Пастернак. Только Гумилев на этой. Причем сам Цех говорит, что Гумилев не попадал в цель и был лишь удачным актером.

Но и петроградцы любили революцию по-своему, ибо черные улицы, сугробы, шубы и эскимосские печки в квартирах им казались декоративнее, поэтичнее, может быть, натопленных гостиных. Вообще, характерно все-таки неуважение русских литераторов к натопленным гостиным. Можно было бы поделить эмиграцию *за* и *против* натопленных гостиных.

*

Гумилев любил Россию нереальную, гостино-купеческую, он любил Россию сказочную, сусальную, несколько календарную и воображаемую.

*

Мне кажется, что речь идет не *за* и *против* народной воли, а за и против революции как музыки. В общем, революция была для Иванова чем-то антимзыкальным, то есть только явлением гнева. Абзац о Клюеве очень характерен.

*

Сумерки богов, но сумерки богов, соглашающихся смеркаться, соглашающихся уступить, ибо сами себя осудили.

*

Начиная читать книгу «П<етербургские> з<имы>», думал найти сборник анекдотов и фактов — ничуть. Блок, например, удачен, с которым Иванов был хорошо знаком. Следственно, это попытка описания Времени, и даже Музыки времени.

*

Имеет другой центр Кузмин. Хотя Кузмин и отрицается на примере Клюева, который-де самоучка, пришел из мрака к свету и тоже нашел Кузмина с песенками.

*

Тяжесть Блока — в его чрезвычайном придавании значения важности эпохи. Теперь будет много мрака и т.д. В общем — в его чувстве зависимости его личной жизни от народа, эпохи, роли в жизни народа, роли в эпохе и т.д. На-

против, удобны люди и легки люди, которые как бы чувствуют жизнь свою вполне в своем распоряжении, своей собственностью. Блок же всегда чувствовал себя во власти, чисто во власти Рока. Для людей же формации Иванова существуют только две чисто индивидуальные проблемы — любовь и смерть. С этой точки зрения мы скорее за оркестр и за Блока. Но до каких пор? Ведь Блок, Мандельштам, Пастернак, Есенин и Цветаева в один из своих периодов пошли за ним вплоть до большевиков. Я стараюсь идти за Блоком вплоть до народа, до понимания каждой эпохи как части какого-то цельного музыкального развития, но не до большевиков, которые были, в сущности, как бы, по-моему, неправильным истолкованием и упрощением по существу верной вещи, а именно русского мистического социализма — любимого детища и души всей большой русской литературы и публицистики, то есть вопроса о русском софическом добре, о русском ангеле, как его называет Борис Божнев. Для Гумилева же ощущения противоположного времени не существовало, он чувствовал себя — один перед Богом и в пустыне, поэтому так и понимал отдаленные века. Его жизнь была для него его личным делом с Создателем, а не делом Общим. Он виртуоз, а не идущий в хоре. В заключение я хочу сказать, что быть хористом и оркестровым музыкантом всегда кажется чем-то более плебейским, чем быть солистом, хотя и плохим. В эту сторону, кажется мне, должна быть направлена идея чести молодого писателя — в нешикарную литературу, в нешикарное мироощущение, подобно разговорам тяжелого Блока, который об чем-то беспокоился, следил за какими-то знаками и слушал время.

Эпоха и революция, несомненно, сложнее марксизма и глубже теории борьбы за выгоды, раньше всего потому, что русский социализм — душа русской литературы, нечто глубоко мистическое. В ней бытие экономическое отнюдь не определяет сознание, и недаром она называется дворянской. По-моему, если рабочий говорит о марксизме, то это неинтересно, если же говорит князь и гвардейский офицер, как Святополк-Мирский, я слушаю во все уши.

Итак, книга Иванова, по-моему, отнюдь не передает музыку времени (как, например, воспоминания о Блоке Белого). Но она не неудачна в этом смысле, она есть дитя

принципиального отрицания этой музыки. Иванов мне много говорил: «Я не люблю никого, и ни с кем у меня общего дела нет». А между прочим, Бунин ему близок. И по существу, книга Иванова есть мужественное явление борьбы с русской музыкой, и он иронически вкладывает в уста одного из своих героев, что пьянство, описанием которого заполнена масса страниц, «пьянство есть совокупление астрала нашего существа с Музыкой времени». Можно было бы сказать, что, по Иванову, вообще революция в России произошла от пьянства интеллигенции. Эта книга есть, по существу, глубоко принципиальный выпад Гумилева против Блока. В этом смысле и Гиппиус всегда права, когда, слышав восторги о Блоке, и дальше стремится его низвести до погибшего мальчика: *Ceci c'est de la bonne guerre*¹.

За и против Блока — вот как надо было бы разделить эмиграцию. Иванов — против, я — за, но Иванов — честный противник. Книга эта отчасти написана против Мандельштама как содушника Блока.

По-моему, также книга хорошо написана. Она сама читается. Мне кажется вообще, что искусство должно быть как халва, которая сама в рот идет, чему нужно делать одолжение, то и плохо. Потом книга крайне пластично, акмеистически написана, в ней много вещей, тостов, галстуков, бутылок. Но, по-моему, недостаточно. Я был бы благодарен еще больше Иванову, если бы он во второй книге своих воспоминаний пятьдесят страниц, например, посвятил описанию, какие, например, были у Блока уши, ногти, ботинки, как Гумилев ставил ногу — прямо или носки врозь, в чем целая идеология, которую так хорошо понял Пруст, подробно, так страницах на сорока, описал бы письменный стол Гумилева или Блока и т.д.

¹ Это праведная война (*фр.*).

К

огда афиняне отложили казнь Сократа до прибытия праздничного корабля с острова Мелоса, ему, заключенному в тюрьму, демон советовал заняться музыкой. Что же сделало это «чудовище»: оно занялось переложением на стихи басен Эзопа. То есть вежливо отклонило предложение демона и осталось верным своему близкому, топорному, ежедневному. По существу музыка есть как бы открытое море, и демон приглашал его отправиться в открытое море. Но «чудовище» предпочло остаться на берегу среди верного, знакомого, давно известного. Почему? Потому что оно, кажется нам, было уже в согласии с неким старшим искусством, видовыми воплощениями которого являются музыка звуков, поэзия, живопись и остальные искусства. И которое мы только приблизительно называем духом музыки. Что есть этот дух музыки для нас: некое чистое поступательное движение силы изнутри, развивающей все. Силы чистого становления всего, силы чистого времени, понимаемого не извне, как счет и мера движения, а изнутри, как чистый напор развития. Мы дальше будем продолжать метафорически говорить об этой силе в терминах музыки, но чисто метафорически, отчасти потому, что понятия музыки приспособлялись для чего-то сплошного и поступательного, как этот дух музыки. Сократ был уже в согласии с этим духом всех искусств и поэтому, готовясь к смерти, мог отказаться заниматься тою, младшею, музыкой, которую советовал ему заботливый демон.

Мы понимаем согласие с духом музыки ранее всего как принятие собственной смерти.

Мы назвали духом музыки нечто, что Шопенгауэр называл мировой волей. Проблема праведности заключается

для нас в согласии или в несогласии с этим духом музыки, от которого зависит внутренняя удача или неудача человека, достижение или недостижение им внутреннего счастья, и косвенно высшим посвящением или непосвящением во внутреннюю сущность искусств и, в частности, достижение или недостижение известной сладостной напевности, без которой нет настоящих стихов. То моцартовское начало, которое сразу посвящает человека в поэты, в художники и в праведники в религиозном смысле этого слова.

Основная истина о мире есть ощущение его как не чего-то каменного, а чего-то движущегося, становящегося и меняющегося наподобие не статуи или вещи, а разноцветной жидкости, переливающейся и уплывающей.

С нее началась Философия, со слов темного Гераклита о том, что все течет, из определения Фалесом родового начала как начала влажного.

Но вот существуют времена, когда это обычно до незаметности плавное и ровное течение вдруг стремительно ускоряется. Душа человека, быстро привыкающая и засыпающая в размеренном движении, очень остро ощущает периоды у перемены скорости — ускорение или замедление ритма движения. Такие, например, времена есть весна в природе, революция в политике. Что острее постигает душа весной: то, что все движется, все меняется, что все изменится, что она наравне со всем остальным изменится и погибнет, — вот почему розы пахнут смертью и весна тайно поет о ней.

И вот пред весной выясняется душа человека; тогда или она смертельно тоскует и плачет, или же она безнадежно, но сладостно грустит, сладостно и печально радуется и со слезами на глазах благословляет мир. Почему? Потому что если жизнь есть огромная и смертоносная симфония, каждая человеческая душа есть отдельный такт в ней, некая маленькая музыкальная фраза, о которой так много говорил Пруст, для которой существуют только две альтернативы: согласиться с симфонией, то есть согласиться вовремя временно прозвучать, отснять и замолкнуть, как всякий такт, усилив и разнообразив симфонию, или же не соглашаться с необходимостью замолкнуть, хотеть вечно продолжаться, вечно, усиливаясь, звучать, никогда не замолкать, никогда не умирать. То есть или сила самоохранения берет в ней

верх и она тоскует, и ужасается, и проклинает, ибо она все равно будет побеждена и убита старшей музыкой, или же сила не самоохранения, а саморасточения, самораздарения побеждает в ней и она соглашается прекрасно взвзвать, возгореться, отпеть, отшуметь и затихнуть, погаснуть и исчезнуть за углом, как праздничная процессия с оркестром и флагами, проходящая через мост.

Но это согласие всегда актуально и героично, оно всегда некий тишайший мистический подвиг против первичного животного голоса в душе ненавидящего и боящегося богов.

«Мир, все, что гармонирует с Тобой, пристало мне, и то, что для тебя заблаговременно, и для меня не наступает слишком рано или слишком поздно», — поет «чахоточный Геракл» Аврелий Антонин.

Этот подвиг труден потому, что он акт веры или, вернее, героического доверия богам. Оправдать золотую машину мира, простить ей свою будущую смерть может или ангел, который видит Бога, или герой, который дает творению займы от своего душевного золота. Ты странен и кажешься преступным, говорит он миру. Но я верю тебе, что ты хорош и праведен. То есть, хочу я сказать, боги вполне отчетливо не могут перед человеком отчитаться в праведности мира и им следует героически, если кто на это способен, верить на слово. Ну, ничего, ничего, говорит такой человек богам, у вас не все ясно, но я вам верю. И тем трогательнее и прекраснее будет он, если боги его надуют, если этот поступок будет по существу ошибочен и силы природы лгут, добра в них нет. Ибо следует не только простить богам, но и полюбить их.

Значит, тогда человек-цветок был выше дерева природы, его вырастившей. Она хотела его обмануть, а он хотел ее оправдать и от своего золота давал богам-обманщикам.

Стоик Гингер поет:

Ты доволен сегодняшним светом?
Я доволен, не плачь обо мне.
Жаром солнечным, солнечным светом
я доволен, не плачь обо мне.

Или:

Долой мои воспоминанья!
Тебя, судьба, одну тебя

люблю, которой нет названия,
которую умру любя.

Знак согласия с духом музыки в человеке есть некая сладостная безнадежность — и в нем спокойный и добрый тон.

Я теперь уж не такой, не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю светлей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный к тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Кажется нам, что дух музыки на стороне всего погибающего, то есть, вернее, всего согласившегося погибнуть. Ибо жизнь есть, по существу, прехождение и гибель. Причем вопрос стоит только о том, какой гибелью погибнуть: достойной или недостойной, и лозунгу «учиться жить» следует противопоставить другой — учиться погибать.

Но еще выше ставлю я тип неудачника в удаче. Тип трагического удачника, тип Блока, Марка Аврелия и, в сущности, самого Толстого. Вместо грубых внешних побудителей ощущения погибания есть налицо чисто метафизическая агония, постоянное ощущение зла, тоски и метафизической боли, которых не было у Гёте, и потому Гёте лжец или серафим. Блок замечателен именно *par sa nuit en plein jour*¹. Тем, что он гиб, будучи атлетом, красавцем, знаменитым, обеспеченным. То же относится и к отцу Сергию Толстого, и к прекраснейшему из императоров, который спал на голых досках и босиком проходил через Альпы. В знаменитом «падении» Блока вижу я его спасение и удачу звездную. Чем был бы Блок, если [бы] удался в своем первоначальном смысле? Вероятно, чем-то средним между постным протестантским святым и холодно-светским средневековым рыцарем, во всяком случае никогда в его душе не пропели бы ощущения «Девушки в церковном хоре» или «Две-

¹ Ночь среди белого дня (фр.).

надцати». То есть не то, что он их никогда не написал бы, это как чепуха и наша удача; он никогда бы не почувствовал этого.

Но где-то еще выше снится мне тип рыцаря, вполне удавшегося и внутренне, но всегда погибающего, постоянно, уже просто потому, что он вообще соглашается жить на земле. Такому человеку единственное что хотелось бы сказать — это: «Самое лучшее — это тебе умереть», а он ответит: «Нет, я еще останусь немного». Принимая в соображение все это, мне почти хочется сказать: «Падающего толкни...»

Но, кажется нам, удача в этом мире есть гибель в том, то есть в проявленных формах музыки есть гибель ее духа. Только то достойно живет, что мыслит, только [то] достойно умереть или, вернее, с достоинством умирать и отдавать всю жизнь. Ибо не та смерть страшна, которая приходит единожды в конце, а та, коею умирают постоянно, которая пронизывает жизнь насквозь, — умирание всех часов, всех дней, гибель всех чувств, всех освещений, всех запахов, всех утр, всех воспоминаний. И кажется нам, жизнь, пронизанная неудачей, жизнь, никогда не смогшая зацепиться за жизнь, ближе к духу музыки, чем жизнь, каждая минута которой была маленькой внешней победой. Кажется нам, жизнь неудачников острее и чище, и стихи малоталантливого и погибшего поэта острее и трогательнее стихов талантливого и удачливого императора.

Почему? Потому что неудачник ближе к некой основной правде о жизни, он ближе и постоянной с ней соприкасается, потому что она была трагичнее, и вообще за неудачниками некая великая мистическая правда. Между прочим, тайная правда всякой богемы, с высоты которой она презирует литературных победителей, но которую она тотчас же потеряла бы, если бы она заняла их место.

Вообще, всякая неудачная разбитая жизнь, *une vie ratée*, гораздо музыкальнее и правдивей всякой жизни удачной. Так, жизнь Печорина, Ленского, Обломова, Анны Карениной, Ставрогина, подобно жизни Христа и Сократа, выше и значительнее жизни Онегина, Левина — да и нельзя привести большое количество примеров в русской литературе, настолько они были, по-моему, просто противны русской душе.

По-моему, Толстого прямо тошнило, когда он писал Левина, подымающего гири, но это было для него вопросом чести: показать, как добродетель спасает.

Георгий Викторович Адамович как-то говорил мне, что можно самому погибать, но нельзя учить погибать других. Но, кажется мне, это правило терпит исключение для тех, кто сами себя не жалеют и поэтому имеют право никого не жалеть. Храбрые люди болеют и уничтожаются от чужой жалости под влиянием ее щемящего потока, они сами принимаются жалеть себя под влиянием чужого страха за них, они сами начинают ужасаться рискованности своей жизни, и это причиняет им глубочайший вред. Кажется мне, храбрый вообще не ищет человека, который бы его спас, а, наоборот, человека, который бы его погубил, помог бы ему погибнуть. О человеке, который что-то увидел бы в нем, некий смысл, и, посмотрев на него, сказал бы: иди и погибни. «Как я люблю вас, вся душа которых превратилась в душу вашей добродетели. Тем охотнее идете вы через мост», — говорил «наглый немчик», тот, которого называл Толстой «наглым немчиком», Ницше, не помня о том, что Ницше был тяжело болен, полуслеп и совсем уже чужим человеком на земле, когда он писал эти слова. Слишком уж русская душа склонна гладить так, маслить — погубить и утешать человека.

Розанов, главным образом, больше других был прекрасно не прав в этом, слишком он уж все принимал к сердцу и не мог ничего от себя оторвать, как в каком-то непрерывном вальсе любви. Существует иная мистика и как бы мистика другого аспекта божества, Творческого огня, третьего лица, Святого Духа, все созидающего и вновь разрушающего все, чтобы все шло выше и дальше по-другому и по ту сторону. Ибо все формы лишь временные фигуры некоего безостановочного танца Шивы, которые должны все время сменяться другими. Может быть, настоящая любовь совершенно не жалеет и не щадит любимого. А зачем было той прекрасной, сентиментально-моральной России вечно продолжаться, почему ей было не погибнуть за свое основное добро, за непротивление злу, так несомненно воплотившемуся в Керенском? Погибли за что любили, за отказ от смертной казни, и сколько бы Керенский ни подписывал приказов о восстановлении ее, не было у него в душе

того, чтобы ею широко пользоваться. Она прекрасно погибла, та старая Россия грязных идеалистических студентов и комических длинноволосых мечтателей, она не защищалась, не цеплялась особенно за жизнь, интеллигенция никогда в массах не настаивала на белом движении, и поэтому она, может быть, и воскреснет. Но и сладостна единственная сладостность эмиграции в несомненной ее безнадежности и гибельности. А зачем эмиграции удаваться и триумфально возвращаться, не лучше ли прекрасно и нежно погибнуть с вежливой и энигматической улыбкой на устах? Если она права, разве правость уже не есть что-то само в себе глубоко достаточное, с чем легко умереть? Абсолютное счастье не больше и не меньше от того, продлится [ли] оно одну секунду или тысячу лет, ибо оно уже абсолютно, говорил человек, пять раз соединившийся с Богом, римский упадочный соловей Плотин.

Важно достигнуть смысла и сгореть, отсиять в нем. Да и нельзя долго созерцать Божество, не умирая, но все же созерцать Божество достойнее, чем жить. Я вполне согласен с Адамовичем, что именно милее еще эмигрантские собрания своей безнадежностью, своей малочисленностью, своей бедностью, что-то есть в этом от примитивного христианства или от философствования стоических рабов в грязных и неудобных банях, где стригли собак и воровали вещи и преподавал Эпиктет. И все эти комические и милые шубы, и галстуки Цеха поэтов, все это милое и стоическое кокетство перед вечностью, как будто ничего не случилось, а как будто здесь Петербург и редакция «Аполлона».

Я часто думаю, что за чудо: государства погибают, революции сотрясают мир, а Николай Оцуп продолжает ходить в котиковой шубе, как будто ничего не случилось. Несомненно, Оцуп попадет за это в ад, но ведь и действительно, пожалуй, ничего не случилось и нечего особенно неприлично волноваться: по-прежнему человек борется с роком и сном, как эсхилловский герой, Христос в нем агонизирует как от начала до конца мира. Только погибание в декорациях эмиграции стало острее и забавнее и очистилось от всех этих отвратительных запертых квартир, где мучают детей, люстр государственных служб и неправедных денег в банках, от которых так страдал Блок. В эмиграции мы все погибаем более наглядно и схематически, как в декорациях

китайского театра, и в сущности да ничего не случилось.
Оцуп прав, что ходит в котиковой шубе.

Всё так же

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Да, пожалуй, и хорошо, что так все обнищали и что мало нас, ведь будь мы в России, большинство здесь присутствующих не присутствовали бы вовсе на балете, сидели или просто купоны дома стригли в халате, или просто спали бы, наевшись и нагревшись в глубине этих отвратительных, огромных и заставленных чудовищно-безвкусной мебелью российских квартир. Смерть весьма обитаема, говорит ассирийская таблица.

Очищается счастье от всякой надежды...

Я еще раз в заключение повторю свой любимый образ. Во время одного восстания в Кастилии арабы сражались с венками из роз на шлемах как обреченные на мученическую смерть. Так кажется мне увенчанным в венок всякий, добровольно согласившийся на мученическую смерть. Но недостаточно еще только согласиться на мученическую смерть, чтобы действительно согласиться с духом музыки. Следует еще воспеть это, прославить свое наконец достигнутое примирение с богами, подобно одной римлянке, муж которой был приговорен к самоубийству и все не решался его исполнить, тогда римлянка взяла у него из рук кинжал и, проткнув себе им шею, сказала, подавая кинжал своему мужу: «Видишь, это не больно».

Florent Fels
KOSTIA TERECHKOVITCH
«Le Triangle», Paris, 1929



онстантин Терешкович приехал в Париж в 1920 году и сделал быструю и несколько шумную карьеру при почти единодушном одобрении русской и французской критики. Константин Терешкович крайне далек от духа русской живописи, духа конструкции разложения действительности. Он отчасти сформировался под влиянием Ларионова. Замечательный декоратор и выдумщик, Ларионов долго жил в каком-то кукольном, но изумительно колоритном и живом мире. Терешкович перенял у него атмосферу вечного народного праздника, полного флагов, под ярко-зелеными деревьями, под ярко-синими небесами. Живопись Терешковича — гамма до мажор, то есть чистого красного, чистого синего, чистого зеленого, чистого желтого. Обычно люди, пытавшиеся так писать, отличались грубой пестротой, как, например, Судейкин и весь «Мир искусства». Терешкович сумел этого избежать, и в этом его очарование. Бесперывная весна и солнечное утро на его картинах по-своему нежно-реалистичны. У него чрезвычайно редко в России встречающееся положительное, оптимистическое ощущение жизни, а не пестрое раскрашивание в стиле Малявина. В этом Терешкович очень близок к Ренуару, у которого он долго учился; в этом и однообразии Терешковича — чисто во французском стиле: «жуа де пэндр» — радости накладывать краску, как перевели бы мы. Обычно в России считается, что хорошее искусство должно быть мучительно и трагично. Французская живопись, к которой принадлежит Терешкович, доказывает нам, что это не так. О Терешковиче говорилось, что он художник для гостиных «новых богачей», как будто положительно относиться к жизни могут только нувориши. Но Терешкович — настоящий художник,

и успех его есть успех настоящего, радостного и, вероятно, вполне беспринципного начала в искусстве.

К книге приложена чрезвычайно «клюквенная» биография, в духе французских фильм о России, само название которой — «Костя Терешкович» — служит достойным образчиком.



ам кажется не преувеличенным сказать, что всякий способный художник в Париже рано или поздно найдет себе художественное признание и торговца, который займется его материальным обеспечением. С некоторой стороны может показаться неприятным, что живопись во Франции подверглась такой коммерциализации и что на картины художников существует котировка, подобная котировке биржевых бумаг.

Но это имеет то большое достоинство, что таким образом уничтожилось или почти уничтожилось нелепое предпочтение какой-нибудь определенной модной школе и решительно все «направления в искусстве» пользуются одинаковым признанием при единственном условии, чтобы их представители были интересны. Так, при посредстве этих так называемых «маршанов» выдвинулись на первый план такие замечательные художники, как Утрилло и Дерен.

Да и сам факт существования между художником и коллекционером профессионального посредника обеспечивает художнику относительно спокойную рабочую атмосферу. Можно сказать, что в настоящее время направления во французской живописи сделались уже пережитками; последним из них был еще так недавно кончившийся кубизм, да и тот мирно уживался с импрессионизмом Утрилло и немецким экспрессионизмом Сутина.

Русские живописцы в Париже принадлежат решительно ко всем художественным течениям. Они не составляют никакой русской школы, кроме художников группы «Мира искусства», имевших скорее большой материальный, чем артистический успех и не вошедших в «парижскую школу», а до сих пор как-то держащихся особняком.

Русские художники в Париже делятся скорее на поколения, или на «полупоколения», по времени их приезда в Париж.

С тех пор как Шукин привез первые коллекции модернистической французской живописи в Россию, после их огромного успеха, молодые русские художники, дотоле ездившие учиться в Мюнхен, Лейпциг или в Рим, предпочитают заканчивать свое художественное образование в Париже, хотя первые русские модернисты, сподвижники Дягилева, например Ларионов, работали под французским влиянием еще гораздо раньше, в 1900 и 1901 годах. Вслед за ним, следовательно, еще задолго до войны, приехали учиться во Францию и впоследствии окончательно поселились в ней Сутин, Кремень, Гайден и Сюрваж, хотя, вернее, уже не из России, а из русской Польши. Это время и время войны совпадают с расцветом кубизма, когда и выдвинулись Сюрваж и Гайден, в то время как Сутин оставался несколько в тени почти до самого конца кубизма, чтобы сразу пойти в гору в конце войны и достичь в настоящее время огромного художественного и материального успеха. Ларионов же остался в России вместе с Шагалом, Архипенко и Якуловым, чтобы возвратиться во Францию только после революции.

По существу, наиболее русским из них остался Шагал. И его высокое признание во Франции является шедевром тонкости понимания французской критики и ее умения отвлекаться от привычного и знакомого. Что касается Ларионова, то он все же недостаточно известен во Франции как станковый живописец. Его репутация декоратора скорее мешает, чем помогает ему в этом. Ларионов — художник в некотором отношении загадочный. Разнообразие его изобретательности, чем-то похожее на широту Пикассо, помешало ему реализовать то, что французы называют «une oeuvre»¹. Но в каждой его работе, в каждом его театральном рисунке есть пластическая нежность и остроумие.

Цвет его совершенно иной, чем цвет Шагала. Это не фантастический цвет, а цвет совершенно реальный и материальный.

¹ Творчество (совокупность работ данного художника) (фр.).

Всегда также нежны и остроумны работы Н.Гончаровой, по-своему совершенные, хотя условные, но Н.Гончарова принадлежит к школе, которая сознательно и со вкусом культивировала условность.

Но все же Ларионов как-то слишком болезненно разнообразен во французской атмосфере, Сутин гораздо его проще и устремленнее много лет в одном и том же направлении. Любовь к чудовищному, к непрерывному надрыву и ужасам кажется нам, как это ни странно, чем-то уже не столь существенным в Сутине.

У него есть какие-то любимые, бесконечно для него важные взаимоотношения между красным и зеленым цветами, например, над которыми он методически трудится всю жизнь, и общеизвестный в художественном мире анекдот о том, что Сутин плачет над своими холстами, относится скорее к чисто формальным трудностям необыкновенно ядовитых его цветочных сочетаний.

Ланской и Минчин — отчасти ученики этих двух художников, в то время как Терешкович и Блюм скорее обращаются непосредственно к французскому импрессионизму, к Сислею и Ренуару.

Константин Терешкович — художник, которому быстро удалось освободиться от модной в начале его карьеры кубистической серо-зеленой «грязи» и начать писать чистым и ярким цветом, соответствующим, вероятно, его радостному и положительному, чрезвычайно нерусскому темпераменту. Его пейзажи чаще всего представляют собою некий сплошной весенний деревенский праздник под ярко-голубым небом, яркой зеленью и флагами. В этом, может быть, есть особого рода условность и декорация, но вечный подвальный полумрак Рембрандта так же, как непрерывный зловещий оранжевый закат Клода Лоррена, есть тоже некий им одним удавшийся прием, удачно разросшийся в целое пластическое мирозерцание.

Константин Терешкович — художник талантливейший, которому, как видно, все очень легко дается. Он, по меткому выражению Ивана Пуни, человек, научившийся говорить на определенном языке и свободно и обильно на нем изъясняющийся. И не имеет большого значения, что нам становится известным некоторое количество эскизных и водянистых работ Терешковича. Они не заслоняют от нас

его свежего и совершенно непосредственного дарования, хотя в художественном методе Терешковича, может быть, и есть что-то, принципиально отдаляющее его от «grand art»¹.

Ланской и Минчин — художники более трагические, если так можно выразиться.

Абрам Минчин — художник, всегда приятно удивлявший нас своей пластической решительностью, часто доводящей его до литературщины и чепухи. Не то чтобы это был наиболее «дикий» художник, хотя известная доля «фовизма» и присуща ему.

Очевидно, есть какая-то внутренняя логика его живописи, влекущая его к самым ядовитым и, с французской точки зрения, даже болезненным сочетаниям красок.

Но хороша в нем некая вера в свою правоту, позволяющая ему столь всецело предаваться наущениям «своего демона». Цвет его чаще всего совершенно нереальный, чрезвычайно неожидан и остер, и относительно, в общем, даже ценно разнообразие и курьезность «содержания» его работ, все эти ангелы, нереальные моря и пейзажи лунной природы. Но самое стоящее в нем — это все же некие «*études des lumières*»², поиски особых неизведанных свечений и освещений, которыми столь занимался Боннар.

Минчин — несомненно, художник одареннейший и как-то по-своему интересно-странный, что всегда показывает некое принципиально новое искусство, насколько новое вообще существует.

Совершенно в другом роде Моисей Блюм. Его нежная и несколько робкая живопись может на первый взгляд показаться несколько бесцветной и ученической, но доказывает она необычайно тонкое понимание французского импрессионизма, его особого трепета перед каждым штрихом и мазком. В вещах этих всегда присутствует какая-то мягкая солнечная атмосфера, приятно благородная и спокойная. Большое природное мастерство и настоящее, крайне нежное дарование требуют особого отношения к этому новому художнику.

В следующей статье мы подробнее остановимся на нем и на нескольких других интересных живописцах — Арапо-

¹ Великое (большое) искусство (*фр.*).

² Изучение (поиски) освещений (*фр.*).

ве, Ланском, Пуни, Пикельном, Шатцмане, Добрынском, Карском, Анненкове и Гуке, а также на русской скульптуре в Париже, особенно на вещах Лучанского, Гинденбаума, Андрусова, Цадкина и Ханы Орловой¹.

Вероятно, все-таки мотивировано отношение французов ко всему русскому как к чему-то восточному, экзотическому.

У большинства русских художников в Париже чувствуется какая-то навязчивая театральная яркость, и, в общем, им еще долго следует учиться у французов благородной сознательности и взвешенности каждого мазка.

Французская школа поражает нас прежде всего своим необыкновенно серьезным, прямо-таки молитвенно-благородным, отношением к миру.

Подумать только, что Дерен всю жизнь изучает какие-то два-три взаимоотношения между коричневым и серым цветами. В этом есть особое, скромное величие, непонятное и, может быть, даже нелюбимое многими русскими. Но все же давление атмосферы так велико, что даже «поверхностно-талантливые» натуры пытаются делать серьезную живопись, хотя и неудачно. В искусстве такого высокого уровня, как французское, одного таланта совершенно недостаточно, нужно еще иметь душу и огромный характер.

Может быть, русским даже лучше открыто культивировать эти свои пластические «пороки и болезни», чтобы пытаться создать свою новую, уже не французскую живопись.

В этом отношении некоторые колористические опыты Минчина заслуживают чрезвычайно серьезного отношения. Может быть, вообще войдут во французскую живопись именно те, кто будут пытаться из нее выйти. Это «дикое», но «фовизм» для молодого художника всегда наилучшая дорога.

¹ Здесь и далее некоторые фамилии даны в разночтениях: Добрынский (Добринский), Гинденбаум (Инденбаум).

ВЫСТАВКА ГРУППЫ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В ГАЛЕРЕЕ ЗАКА



В середине января закрылась в галерее Зака чрезвычайно интересная выставка группы русских художников, в состав которой вошли почти все те из них, к которым среди молодых со вниманием отнеслась французская и русская критика. Все же некоторое разочарование постигает от совместного зрелища их работ. Некоторое общее впечатление неоправданной пестроты и грубой декоративности, чем-то принципиально близкое к жанру театральных эскизов. Но только низший род декоративности есть стремление к простому приукрашению, в высшем же своем аспекте она есть желание создать этюд, желание создать «картину», т.е. красиво построенное целое. Преувеличенная же любовь к чистому импрессионизму часто придает работам художников нечто этюдное, отрывочное и случайное. Таковы, например, на выставке приятные работы Фалька и Любича. Терешкович, Минчин, Блюм, Ларионов умеют сохранять меру в этом отношении. Это достоинство. Очень удачен летний пейзаж Терешковича, и прелестен феерический пейзаж со снегом. Портрет девушки менее останавливает внимание. Натюрморт с фруктами также не принадлежит к удачным вещам Минчина; зато пейзаж с парходом — очень красивая работа. Минчин явно ищет в ней сделать «картину», а не этюд. Это трудная, но очень интересная задача. Композиция с мальчиком также хороша. Пейзажи Блюма, повешенные между написанными под его влиянием и неубедительными работами Альтмана, также принадлежат к лучшему, что можно было видеть на выставке. Маленький автопортрет — несколько тусклый и условный, но пейзаж и натюрморт — настоящие «куски живописи», нежно прописанные в малейших своих деталях. Очень интересны хаотичные работы

Ланского. Очень хотелось бы даже «меньше таланта», но больше сознательности. Вещи Ларионова также очень красивые и курьезны. Более замечательна маленькая, в которой видно большое, может быть, даже слишком большое, мастерство художника. То же можно сказать и о Пуни, который выставил нежные, но несколько японские вещи. Испанки Гончаровой по-своему совершенны и отражают искания целой эпохи. Кроме того, следует отметить очень «дикие» и мрачные работы Пикельного. Они весьма индивидуальны, есть у него нечто общее с Руо, в хорошем смысле. В работах Арапова, несколько эстетных, есть прежняя пышность, цветовая щедрость и оригинальность. Глущенко на этой выставке честнее и проще. Анненков по-прежнему своеобразен. В заключение следует отметить сделанные с большим вкусом, красивые терракотовые скульптуры Андрусова, которые иногда бывают даже слишком приятны, но сделаны с несомненным мастерством, и пожалеть для полноты впечатления об отсутствии Шатцмана, Карского, Воловика и Добрынского.

О БОКСЕ

И

ше греческая древность знала профессиональных боксеров, которые, со свинцовыми перчатками на руках, нередко убивали друг друга в четырехстах античных городах, имевших стадионы.

Английское и русское средневековье тоже знало своих знаменитых кулачных бойцов. Но только в начале XVIII века бокс впервые был регламентирован и превратился из аттракциона в спорт. В 1719 году Англия имела своего первого чемпиона бокса, Тома Фигга, но только в начале XIX века состоялись первые матчи с мягкими перчатками, появление которых сделало бокс менее зверским и более спортивным; все же первые матчи длились иногда более трех часов, причем, по выражению тогдашних рецензентов, большинство зрителей первых рядов было обрызгано кровью; да и до сих пор практикуются некоторые, по существу, зверские приемы, как, например, специальный удар по глазам, чтобы ослепить противника кровью. Английская боксовая федерация в 1880 году первым своим чемпионом признала Ради Риана.

В 1887 году это звание перешло к Жаку Селивану, после двух встреч с Рианом, окончившихся кнокаутом¹.

В 1892 году молодой американский чиновник Джим Корбет побил в свою очередь Селивана на двадцать третьем раунде в Нью-Йорке.

После этого чемпионом мира всех категорий считались Боб Фицморис, великан Джим Джеффри, который так никогда и не был побит. Затем Жак Жонсон, первый негр — чемпион мира, побитый на двадцать шестом раунде Жесом Вилардом, колоссом, весившим сто пятнадцать кило,

¹ Здесь и далее используется спортивная лексика 1920—1930-х годов.

медленным и вялым канадцем, побитым в свою очередь Джеком Демпсеем в 1919 году. Лев Колорадо был дважды побит по пунктам Библиотечной Крысой — Теннеем, морским офицером, вскоре женившимся на миллионерше и оставившим ринг для лекций о Шекспире и философии.

В настоящее время титул чемпиона мира остается вакантным. На него претендуют много боксеров, но, может быть, испанский дровосек Паулино Удзукум и колосс итальянец Примо Карнера имеют наибольшее количество шансов обладать им. Этот Примо Карнера является совершенным феноменом в атлетическом мире. Рост его два метра двенадцать сантиметров, то есть на голову выше Петра Великого, вес сто пятнадцать кило, номер ботинок пятьдесят девятый. При всем этом обладает необыкновенной подвижностью и пробегает сто метров в двенадцать секунд, что не всякий легкий атлет может сделать. По мнению спортивных специалистов, бокс есть спорт, требующий наиболее совершенной физической организации. В этом легко убедиться, проделав хотя бы три раунда по две минуты с каким-нибудь боксером-любителем, по острой боли в ногах от непрестанной беготни и скачки на ринге.

Что до скорости движений настоящих боксеров, то она, особенно в легких весах, такова, что даже кинематограф не успевает запечатлеть их все, отчего изображения получаются расплывчатые.

Каждый матч требует огромной подготовки и аскетического режима.

Кроме силы, здоровья и быстроты рефлексов, требуется еще особая способность долго, не теряя сознания, переносить нестерпимую боль от вражеских ударов, как, например, ударов в область живота или же от ударов в подбородок, почти безболезненных, но через оконечности челюстей передающихся в области чрезвычайно важных нервных сплетений и вызывающих обморок боксера, называемый «искусственным сном». Этот «сон» является поражением, если продолжается более девяти секунд; на десятой оба колена сбитого боксера должны отделиться от земли, иначе считается, что он побит кнокаутом, то есть «засчитан вне положенного срока»; если же возобновить сражение ранее девяти секунд, то пребывание на ковре называется кнокдауном (т.е. засчитанным вовнутрь).

Боксер имеет право ударять не ниже пояса и не дальше уха. Запрещены также удары в почки и в спинной хребет.

Ударов основных четыре. 1) «Директ», прямой удар, почти тотчас же дублирующийся ударом левой руки («гош-друат»). 2) «Крошет», кривой удар полусогнутой рукой, который называется «свингом», если наносится враскачку, выше своей головы. 3) Наконец, «уперкут», т.е. удар снизу вверх, под руками противника, защищающего лицо.

«Директ» наносится на расстоянии, «крошет» и «уперкут» на средней или близкой дистанции и, главным образом, в чрезвычайно опасный момент, когда боксеры, расступаясь, выходят из схватки вплотную, во время которой арбитр усиленно следит за тем, чтобы противники нарочно не мешали друг другу боксировать, вешаясь друг на друге с целью отдыха или задерживая руки противника своим локтем. После двух предупреждений боксеры дисквалифицируются за подобные действия, а также за удары головой и чрезвычайно опасный удар ниже пояса.

Существует целый ряд чемпионов бокса — соответственно своему весу или категориям, которые технически называются: 1) вес «мухи», 51 кило; 2) вес «петуха», 55 кило; 3) вес «пера», 57 кило; 4) легкий вес, 61 кило; 5) полусредний вес, 67 кило; 6) средний вес, 72 кило; 7) полутяжелый вес, 77 кило; 8) тяжелый, выше 79 кило.

Чемпионами бокса остаются недолго. Очень редко старше 33 лет. Эта выгодная профессия часто оканчивается трагически, смертью или слепотой, благодаря поражению зрительных нервов, но, во всяком случае, обязательно безобразными повреждениями костей носа и надбровных дуг, а также пальцев и суставов, которые у боксеров непомерно распухают и увеличиваются.

Среди русских спортсменов в Париже бокс относительно мало практикуется, хотя в эмиграции имеются два способных боксера — Шакаров и Компайтис, бывший ранее одним из чемпионов Литвы по подниманию тяжестей.

О МИСТИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ МОЛОДОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭМИГРАЦИИ



Искусства нет и не нужно. Любовь к искусству — пошлость, подобная пошлости поисков красивой жизни. И всякому знаменитому писателю предпочтителен иной неизвестный гений, который иронически сжимает и разжимает перед собою большую атлетическую руку и вполголоса говорит: «Они никогда не узнают».

Отсутствие искусства прекраснее его самого.

Но какой смысл в красоте? Разве всякая красота не зловеще отвратительна в своем совершенстве, как отвратительна дивная музыка Баха, которая по стеклянным лестницам вечно восходит и отдаляется, оставляя за собою ужасающую тьму и одиночество. Красивая и чистая духовная жизнь — такая же пошлость, как и красивое искусство.

Что же остается, когда познано, что и заниматься и не заниматься искусством одинаково грех? Остается жалость к высшему человеку (а все люди высшие, и чем ниже и темней человек, тем выше). Жалость в форме всякого рода участия (и конечно, гораздо выше давать деньги, чем давать мысли). И малейший парад Армии Спасения стоит всего Лувра. Жалость к высшему человеку — пафос Ницше, одного из самых христианских писателей. Желание защитить высшего человека от его собственной доброты, укрыть его, найти ему убежище (в эгоизме). Или же, вернее всего, искусство — частная переписка между друзьями. Ибо самое большое зло мира — это разлучение. Разлука в пространстве и во времени. Первичное распадение Единого.

Искусство — это частное письмо, отправленное по неизвестному адресу. Письмо, которому «может повезти», которое может дойти до человека, которого можно было бы любить, с которым можно было бы дружить, собрав которых, сладко было бы умереть вместе.

Но между ними не нужно уже искусства, не нужно книг и журналов, не нужно прессы. Ибо в повороте головы, в манере завязывать галстук, в тоне, главное, в тоне, — больше человека, чем во всех его стихах.

Литература должна быть частным делом. Но с лучшим человеком не хочется разговаривать, если себя и его не жалешь.

Литература есть аспект жалости.

И не сейчас, а когда уже вовсе не останется в эмиграции никаких журналов, ни собраний, когда даже самые удачливые и модные литераторы окончательно обнищают, состроятся и обезнадежатся, тогда в кафе в поздний час несколько погибших людей скажут настоящие слова, скажут и замолчат от восхищения перед миром, перед Богом и перед собой, и освободятся, и улыбнутся, и закроют глаза. Скажут и умрут, как нищие цари.

И конечно, для литературы, т.е. для жалости (т.е. для христианства), самое лучшее — это погибать. Христос агонизирует от начала и до конца мира. Поэтому атмосфера агонии — единственная приличная атмосфера на земле.

Христос, Сократ и Моцарт погибли и сиянием своего погибания озарили мир. Ясно, что удаваться и быть благополучным — греховно и мистически неприлично. Может быть, даже и духовно погибать необходимо — агонизировать нравственно.

Повторяю, если бы Блок удался в своем смысле, он действительно был бы «недоступным, чистым, злым». Он был бы жестким протестантским святым. Блок в своем смысле упал и наполнился христианским теплом, и в нем родилась жалость, он стал православным. (Смысл первородного греха и общего падения в рождении жалости.)

Как жить? — Погибать. Улыбаться, плакать, делать трагические жесты, проходить, улыбаясь, на огромной высоте, на огромной глубине, в страшной нищете. Эмиграция — идеальная обстановка для этого. Литературной «лавочки» здесь мало, «товарец» здесь не идет, как бы того ни хотели иные писатели с тиражами. Здесь живут писатели-идеалисты и русские нечесанные студенты-мечтатели, над которыми принято смеяться, над которыми дьявол будет смеяться до конца мира.

Существует только документ, только факт духовной жизни. Частное письмо, дневник и психоаналитическая стенограмма — наилучший способ его выражения. Мысль о зрителе порождает литературное кокетство. Хочется быть красивым и замечательным. Конец. Эстетика. Пошлость. Литературщина. Но нельзя и в жизни жульничать и писать хорошие стихи. У жуликов не только особые повороты головы и особые манеры, но и особые стихи. А не жульничать — значит терпеть поражения. А все удачники жуликоваты, даже Пушкин. А вот Лермонтов — это другое дело. Пушкин — дитя екатерининской эпохи, максимального совершенства он достиг в ироническом жанре («Евгений Онегин»). Для русской же души все серьезно, комического нет, нет неважного, все смеющиеся будут в аду. Пушкин, так же как и Стендаль, в сущности, смеялся над романтиками. В «*Le rouge et le noir*»¹ Стендаль говорит, смеясь, относительно романтической сложности любви его времени. О, если бы люди регентства воскресли бы, как они смеялись бы, в старину это было гораздо проще. Пушкин гораздо проще России.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

А рядом граф Нулин и любовь к Парни!

Лермонтов, Лермонтов, помяни нас в доме Отца твоего!

Как вообще можно говорить о пушкинской эпохе! Существует только лермонтовское время, ибо даже добросовестная серьезность Баратынского предпочтительнее Пушкину, ибо трагичнее.

Возникновение эмиграции подобно сотворению мира. Из соседства с Богом, с Россией, с культурой — во тьму внешнюю. Если оттуда к Богу, то бескорыстно, бесплатно, безнадежно-свободно. Может быть, Париж — Ноев Ковчег для будущей России. Зерно будущей ее мистической жизни, Малый Свет, который появляется на самой высокой вершине души и длится не больше половины одного *Ave*. И действительно, в пять часов утра в дешевом кафе, когда все сплетни рассказаны и все покрыты позором и папирос-

¹ «Красное и черное» (фр.).

ным пеплом, когда все друг другу совершенно отвратительны и так, так больно, что даже плакать не хочется, они вдруг чувствуют себя на заре «какой-то новой жизни». Отсюда простительны и шутки и галстучки. Потому что абсолютная безнадежность законно разрешается в абсолютную благополучность. Но среди святых, которые уже решились, уже прыгнули, уже оторвались и все потеряли, на дне, на заре новой жизни — квиетизм, «дружба с Богом», свобода, — но почему? Потому что только погибающий согласуется с духом музыки, которая хочет, чтобы симфония мира двигалась вперед. Которая хочет, чтобы каждый такт ее (человек) звучал безумным светом, безумно громко, и переставал звучать, замолкал, улыбаясь, уступал место следующему. Всякое самосохранение антимузыкально, не хотящий расточаться и исчезать — это такт, волящий звучать вечно, и ему так больно, что все проходит, больно от всего, от зари, от весны...

Вообще, всегда, когда музыка усиливается, во все переходные времена и эпохи, больно от революции. Решившимся же сладко. Не тайная ли сладость в этих словах:

И свечи пылают в соборе,
И крест положили на грудь.
(Н.Оцун)

С полным сознанием безнадежности,
С полной готовностью умереть.
(Г.Адамович)

Не спасусь, я борюсь
Так давно, так давно.
(З.Гиппиус)

Или:

Ничего, как жизнь, не зная,
Ничего, как смерть, не помня.
(Г.Иванов)

Совершенно в той же тональности и Владислав Ходасевич, о котором говорят, что он где-то на другой стороне.

Это неправильно, существует только одна парижская школа, одна метафизическая нота, все время растущая — торжественная, светлая и безнадежная.

Я чувствую в этой эмиграции согласие с духом музыки. (Потому что есть разные эмиграции.) Отсюда моя любовь к этой эмиграции. Я горжусь ею.

Все безнадежные, все храбрые, все стоически-доброжелательно настроенные, все понимающие, что рабочие — это бедные, замученные Христосики, несущие на себе всю тяжесть цивилизации, и вместе с тем, что им нельзя никакой власти давать, ибо они все погубят и Божии храмы разрушат, что с обеих сторон боль, и правда, и потухающие факелы нежности. Все шутящие и танцующие с глазами, полными слез. Все они на заре новой жизни, т.е. православные, ибо православие только что раскрывается. Православие — болотный попик в изодранной рясе, который всех жалеет и за всех молится,

И за стебель, что клонится,
За большую лягушечью лапу
И за римского папу.

Уже становится ясно, что вся грубая красота мира растворяется и тает в единой человеческой слезе, что насилие — грязь и гадость, что одна отдаленная заячья лапа важнее Лувра и Пропилеев. Но вместе с тем они стойкие, римляне, терпеливые гуманисты, добродушные, вежливые и доброжелательные, не жалеющие себя в славном и суровом спортивном деле.

Но если спасения больше нет,
Нужно чистую рубашку надеть,
Чтобы Бог не сказал, что в предсмертный час
Позабыл человек чистоту.

(А. Гингер)

Только есть одна адская мысль у них: тот, кто себя не жалеет, может и других не жалеть. Неправда. Им прекрасно и сладко себя не щадить, потому что они уже иной мистический аэон самораскрытия духа и им все легко.

Они, бедные рыцари, уже на заре и по ту сторону боли. Кажется мне, в идеале это и есть парижская мистическая школа. Это они, ее составляющие, здороваются с нежным блеском в глазах, как здороваются среди посвященных, среди обреченных, на дне, в раю.

Эмиграция есть трагический нищий рай для поэтов, для мечтателей и романтиков, и хотелось бы мне, чтобы все они были атлетами, силачами, спортсменами, чтобы они в последнем случае могли бы сделаться матросами, акробатами, рыбаками. Ибо все же самое прекрасное на свете — это «быть гением и умереть в неизвестности». Но не атлетам, не здоровякам, вероятно, еще прекраснее и острее жить, ибо

Очищается счастье от всякой надежды.

Одно ясно: только тогда эмиграция спасет и воскресит, если она в каком-то смысле погибнет в смертельном, но сладком горе. Ибо уже Утро восходит над ними.

ИЛЬЯЗД. ВОСХИЩЕНИЕ

Изд-во «41°». Париж, 1930

настоящее время не принято как-то в эмиграции подробно останавливаться на достоинствах писателя как художника-изобразителя. Скорее рассматривается его религиозно-моральное содержание, и симпатии критика склонны идти в сторону менее талантливого произведения, но более глубокого. В связи с этим поднимается вопрос о том, можно ли вообще хорошо изображать, не постигая изображаемого, и не заключает ли в себе хорошее описание весеннего вечера или горных вершин столь же глубины, если не больше, чем прямые рассуждения на вечные темы. Но в романе Ильи Зданевича (Ильязда) «Восхищение» видимо прямо нарочитое нежелание погружаться в рассуждения о происходящем, переизбыток которых часто превращает романы Пруста как бы в некие «essais». Часто кажется, что Илья Зданевич как бы отклоняет от себя обязанности углубления в религиозный смысл действия, поэтому, может быть, в романе «Восхищение» много лишнего, хотя всегда это «лишнее» интересно. Однако основное достоинство этой книги, резко отделяющее ее от почти всех произведений молодой эмиграции, — это совершенно особый мир, в который с первых строк романа попадает читатель. Мир, ограниченный прекрасными горными и морскими пейзажами, населенный какими-то неведомыми и фантастическими «горцами», крестинами, зобатыми, разбойниками, монахами и женщинами, находящимися в перманентном состоянии религиозного экстаза.

Внизу, у подножья гор, расстилается сказочная столица неведомого государства с мостовыми, мощенными фарфором, колясками, социалистами и загадочным населением. Там происходят заговоры, похищения и революции, а над ними, на вершинах, дикая и трагическая жизнь горцев, их

феноменальное суеверие и высокая трагедия заброшенных среди них нежных и мистических существ.

Можно было бы сказать, что в книге недостаточно подробно развиты важнейшие музыкальные ее темы, а именно роман дочери лесничего Ивлиты и разбойника Лаврентия, психология которого вообще как-то мало известна, зато как бы слишком много внимания отдано на окружающую их баснословно-своеобразную жизнь, причем ясно, что большинство обычаев, суеверий и нравов горцев выдуманы автором. И весь этот этнографический дух есть некий художественный, талантливый прием, напоминающий научность «будущей Евы» Вилье де Лиль-Адана, где Эдисон изобретает механическую женщину. Этнография взята здесь со своей чисто художественной стороны, как мистическая музыкальная тема или атмосфера, свободно развиваемая, как бы некая обстановка сна. Нечто подобное сделал в свое время Эдгар По для науки об океанах. Это иногда видимо, но описание гор, а также перемена времен года в горах, падение ручьев и движение снегов описаны там со столь большим «восторгом» и изобразительной силой, что все вместе создает из этого романа, столь чуждого «эмигрантщине», нечто близкое «извечным вопросам», в которые русская революция и ее переполох не могли внести никакого изменения. Роман Ильязда — своеобразнейшее произведение молодой литературы.

С

алон Тюильри, несмотря на свою относительную недоступность, все же являет в настоящее время некое пестрое зрелище, вполне напоминающее Осенний салон и салон Независимых, главным образом удивительных не отсутствием талантов, а декоративной грубостью «esprit»¹ большинства из них, т.е. их понимания искусства и природы и их подхода к ним. Может быть, благодаря некому пафосу ученичества, большинство русских, выставляющихся в салоне, также безотносительно к своим живописным дарам, являет скорее утешительное зрелище серьезного и любовного отношения к французской живописи, в частности к французскому импрессионизму, в настоящее время владеющему их сердцами, особенно к некоторым второстепенным импрессионистам — Вюйяру, Марке и Будену, например, кругом которых, особенно вокруг первого, образовалась в последние годы атмосфера повышенного интереса и как бы некой реабилитации.

Среди лучших русских художников, которых пора уже перестать называть молодыми, из тех, о которых уже много писалось и вышли даже отдельные книги, только Терешкович и Минчин избежали этого прекрасного, хотя и модного, влияния Вюйяра, зато оно сильно сказывается на работах Блюма, Шатцмана и Карского, хотя в законной и индивидуально интерпретированной форме.

Работы Терешковича, которому посвящена в этом номере «Чисел» особая статья, по-прежнему удивляющие нас своей колористической силой, особенно оба пейзажа, написанные в прежней манере, невольно заставляют думать о больших природных дарах их автора, хотя большой жен-

¹ Дух (фр.).

ский портрет, может быть, слишком как-то пышно и поражающе задуман. Минчин также очень далек от импрессионизма. Этот своеобразный художник, видимо, ищет каких-то странных, несколько «сюрреальных» сочетаний, но он приносит с собою своеобразное и новое «видение» мира, переданное слегка беспорядочной, но яркой и полной «света» живописью, которая очень сложна и заслуживает большого интереса.

Зато вышеупомянутые влияния замечаются в работах Блюма, Шатцмана, Карского и Пуни.

У Блюма они более всего индивидуально пережиты. У Карского выражены наиболее буквально.

Работы Блюма наглядно показывают, что при больших способностях он может дать правильное и углубленное понимание лучшего периода французской живописи, что не исключает совершенно личного, иногда прямо поражающего своим спокойствием и нежностью отношения к натуре. Внешне сероватые и сдержанные, эти работы обнаруживают большое природное чувство «de valeurs» (оттенков, так сказать), причем почти все в них, к сожалению, столь скупое и робкое, в цветовом отношении плотно и тепло.

В работах Шатцмана, может быть, заметен некий резкий конфликт между порывистым и беспокойным пластическим темпераментом и нарочитой упрощенностью средств. Серо-зеленовато-коричневая гамма, столь искренняя у Карского, кажется здесь нарочитой, особенно в цветах. Это художник талантливый и серьезный, хотя ему несколько недостает самостоятельного отношения к природе. Живопись Карского сероватая и притушенная, на этот раз нигде не «ползет» и не фальшивит. Понимание мира Карского кажется нам благородным, хотя узким, но внутри этой узости он правдив и ценен.

Арапов, художник очень даровитый и обладающий большим цветовым воображением, на этот раз несколько разочаровал нас; его цветы означают переходное время. Кроме того, следует подчеркнуть нежно-живописные достоинства работ Пуни, хотя он по-прежнему тяготеет к стилизованной плоскостной перспективе (цветы Федера); мрачные композиции Пикельного, имеющие свою остроту и прелесть; приятные работы Козинцевой и Маковской, а

также Альтмана и Анненкова, находящихся в интересной переходной стадии.

На этот раз в салоне прекрасно представлена русская скульптура. Может быть, следует признать также, что русская скульптура во Франции, вероятно, даже превышает по качеству французскую. Бурдель недавно умер. Что касается до другого лучшего современного скульптора, Майоля, то его творчество в последние годы находится в некоем заметном оцепенении и заглушении. Лучшим французским скульптором является в настоящее время (может быть, это парадоксально звучит) художник Анри Матисс, как в свое время был Домье. Кроме того, существует целый ряд интересных и справедливо оцененных русских скульпторов, как то: Архипенко, Липшиц, Цадкин, Лучанский, Гинденбаум и Андрусов, большинство из которых представлено в салоне, — каждый из них заслуживает специальной статьи. Скажем пока только, что в то время, как Архипенко по-прежнему верен конструкции и кубизму, Липшиц в настоящее время сильно изменился и выставляет более реалистические вещи, столь же замечательные, если не более, чем его знаменитые кубистические «Музыканты». Его «Полулежащая женщина» в салоне — прекрасное произведение. Цадкин остался верен своим негритянским и древнегреческим вдохновениям, вернее, догреческого, так называемого критского и эгейского периода. Это благородное однообразие, как бы глубокомысленное развитие одной темы, является чем-то в общем редким, но пластически высоко правильным. Лучанский — скульптор чрезвычайно серьезный, может быть, недостаточно еще оцененный, достигает иногда величественных и монументальных эффектов. Этот скульптор работает в древнеиндусской атмосфере. Он тоже чрезвычайно прост и верен себе.

Работы Гинденбаума ближе к пониманию скульптуры в средние века. Он прекрасно обрабатывает дерево и достигает высокой экспрессивности. Что касается Андрусова, который выставил в салоне большую терракотовую фигуру, его работы из обожженной глины, инспирированные французским XVIII веком, а также статуэтками Танагры, очень красивы. В них, несомненно, очень много вкуса и мастерства.

ОБ ОСУЖДЕНИИ И АНТИСОЦИАЛЬНОСТИ

1



над литературным миром, над его нищетой и систематической подлостью возвышаются как бы две победы, два отвращения, два осуждения и два бегства: уход Толстого и уход Рембо.

Но какая разница между ними! Между предсмертным уходом старца и уходом юноши на заре лет, отвергнувшего все, не вкусившего вовсе от соблазна.

Невольно хочется спросить: что оставалось еще Толстому после стольких удач, стольких слов и стольких лет счастья, как не покаяться и не попытаться на деле прикоснуться немного к той черной жизни, о которой он столь красноречиво писал в обстановке несравненной роскоши. Толстой долгие годы откладывал свой уход, чтобы решиться наконец в возрасте, когда ему немного уже оставалось потерять, да и недалеко ушел.

Уход Рембо много удивительнее, кажется мне, ибо вовсе не на моральной почве решался и почти не дает для любителей легких социально-моральных объяснений.

Девятнадцатилетнего Рембо встретили в Париже как некое открытие, его тормозили, фотографировали, изображали на групповых портретах, возили к знаменитостям. Однако года не проходит — и Рембо не находит слов, чтобы выразить свое отвращение, когда говорит обо всем этом. Что же случилось? Да ничего не случилось, кроме того, что литературный мир встретился на мгновение с чем-то совершенно противоположным, совершенно неподкупным и твердым, как алмаз, и все жалкие его прелести были узрены на мгновение существом не добрым, правда, но зато совершенно, органически не выносящим никакого раболепства.

Это просто изверг, говорил потом Каржа [?], который его приютил, рассказывая, как по шуточному поводу Рем-

бо, приглашенный в исключительно приличное общество, переколол нескольких присутствующих шпажкой, извлеченной из трости.

И никто не мог понять, почему так груб был он всегда, как будто ему всегда было стыдно за тех, с кем он говорил.

Не могучи вынести, мучаясь нестерпимо, Рембо часто, не заходя домой, уходил куда глаза глядят на целые месяцы под дождем и снегом «есть воздух, землю и камни». Изловленный, возвращался на место жительства, появлялся в литературных кафе, где сидел неподвижно, ни с кем не разговаривая и ничего не заказывая. Вид у него был столь странный, что заговаривать с ним опасались, рассказывают очевидцы. «Какая гадость человек, это как будто кляксу сделают на дорогой книге, когда он появляется на фоне природы», — говорил Константин Леонтьев.

Но за что такая ненависть?

2

Ненавидеть мир, ненавидеть себя, ненавидеть человека — какая это свобода, должно быть, какая неподкупность; ибо, всё жалея, будучи снисходительным ко всему, не теряем ли мы мерило, снисходя, не опускаемся ли сами. Обычно рассуждение начинается с того, что все относительно, что каждое произведение имеет свои достоинства и каждая слабость извинительна. Извиняем другого — вскоре извиняем и себя, но ведь осуждать не значит ненавидеть. Но именно ненавидеть себя очищает душу. Абсолютный ненавистник не обладает ли чем-то, во имя чего, сравнивая с чем, он ненавидит, ненависть за правду есть подвижничество, и оно почти столь же трудно, как и подвижничество любви.

Я ненавижу молодого человека, хотящего писать «много и хорошо», ненавижу религиозно, хотя и жалею, ибо если не существует искупление искусством, не есть ли самый большой из червей самый большой червь?

3

Я хотел бы защитить здесь некое принципиальное право писателя на несоциальность, которым в русской [литературе] пользовались немногие, разве только Лермонтов,

Тютчев, Сологуб. Но это ведь не значит право писать на эстетическое мракобесие. Нет, незаинтересованно мыслить обязан и он, но если он не родился агитатором даже и самого высшего порядка (ибо в Толстом не без высшей агитации), он просто бесполезен в «социальном строительстве». Хотя бы и пытался им заниматься. И что «Певец во стане русских воинов» Жуковского и стихи Тютчева о законности раздела Польши рядом с «Двенадцатью спящими девами» и лирическими стихами как не просто смешное рядом с великим.

Тютчев и Лермонтов были гениями, но не социальными гениями, и такое, как именно право на несоциальность, хотел бы я попытаться защитить, и все же знаменитое «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» вполне правильно. Ибо есть какой-то аспект гражданской доблести, который можно было бы назвать «доблестью темы», доблестью отвращения от «легкой литературы», которая есть обязанность писателя, и, надо сказать, даже самые второстепенные «писатели с направлением» ею обладали в народническое время, а в эмиграции именно самым талантливым молодым ее не хватает. Она породила «гражданский жанр», но она вовсе им не исчерпывается. Больше того, можно сказать, наверно, что полное отсутствие социального чувства обращает все в холодный эстетизм.

Нет, и Ставрогин был народником, однако не вмешивался в социальное действие, ибо Ставрогин был одним из «змеев с дерева познания», а не плодом с «дерева жизни».

Всякая злободневная гражданственность есть вынужденный компромисс с существующими политическими группами, вынужденный необходимостью. Принятие всерьез схоластической грубости и дешевки из-за золотой (всегда небольшой) части их идей. Но так же ясно, что равенство исключительно на царствие небесное создает исключительный холод и отчужденность вокруг писателя, ибо, подобно средневековым жестокосердным владыкам, он как бы говорит: «почему же вам не помучиться», если завтра вы будете блаженны, и даже: «почему бы вас не мучить и [не] убивать, если души ваши бессмертны». Нет, для заботы о царствии небесном на земле необходима [пропущено слово. — *Е.М.*] и если в Гёте есть что-то жестокое и холодное, что дало возможность Клоделю сказать о нем «[нрзб.]

осёл», то это именно полное равнодушие к реальному социальному горю и к Шиллеру, которым так зачитывался Достоевский.

4

И все же существуют живопись и музыка — «формальные искусства» (как будто есть что-либо вне содержания). Хотя, конечно, нельзя быть хорошим художником, будучи низким человеком, ибо для сроднившегося с живописью вся метафизика художника входит в способ, коим он, деформируя ее, рисует ветку дерева и полуосвещенное лицо под лампой, и грубость души не скроешь живописью (живопись грубых душ называется декорацией).

Современная социальность печальнее печального, однако если кто не родился с социальной темой, тот не должен ее трогать, хотя бы из боязни испортить. А потом еще одно — если все будут советовать и помогать, кто же будет осуждать и ужасаться, а мир сейчас больше, чем когда-нибудь, нуждается в осуждении, в изобличении его неподкупными, или, может быть, это мое личное, ибо я всегда чувствовал благодарность к неподкупным молчаливкам, живущим в моем окружении, которые самим своим присутствием осуждают и стыдят меня, и я могу иногда очнуться от поблажек и снисхождения к себе. Таким во Франции был Леон Блуа, в России — неподкупный Толстой. Но где среди нас — эмигрантских молодых людей — этот суровый, чистый как стекло, жестокий, как Савонарола, и, как он, решившийся на неудачливость, чтобы осудить нашу литературную среду, столь рвущуюся быть «приложением к Ниве», подобно тому как Рембо осудил и изгнал торгующих из какого-то внутреннего храма французской поэзии, куда никакие гады не могут проникнуть. Где ты, незапятнанная душа, действительно не переносящая земной жизни, с ужасом на лице и окруженная ужасом, проходящая среди торгующих в храме, ибо есть люди и книги, после которых становится просто невозможным читать оставшихся вне их тем. Так, после Марсея Жуандо я больше не могу читать ни Барреса, ни Бретона, ни Валери, ни даже Андре Жида.

Многие найдут, что я не прав, но мне не хочется здесь защищать ценность темы писателя вне зависимости от его способностей, ибо я верю, что никакие способности не

сделают приемлемым отсутствие большой темы, а исключительная устремленность к важнейшей теме делает талант почти ненужным. Конечно, я говорю «почти», но я думаю, что есть степень проникновения в тему, которая вовсе искупит отсутствие способностей, чему пример Евангелие. Лучше отсутствие жизни, чем недостойная жизнь. Однако эти античные прозаизмы русскому человеку неизвестны, и не выдумал ли он «На безрыбье и рак рыба» и «Один в поле не воин» в то время, как античный праведник именно тогда был особенно воин, когда один со своею правдой оставался в поле.

5

Но следует ли кого-нибудь осуждать печатно, и не лучше ли вообще ничего не писать, как это делается во французских журналах, исходя из общего принципа, что писать должен лишь тот, кто любит то, о чем он пишет.

Однако существуют несправедливые репутации! — оставим их в покое. Все равно известна каждому их цена, что же до их читателей, то они не исправились. Хорошею книгой испытывается человек, и ее читатели составляют особое тайное общество, хотя члены его часто не знакомы между собой. Всегда одна на глубине другой сосуществуют несколько литератур, как несколько кругов ада, и принадлежность к ним, хотя бы косвенная, определяется вовсе не талантом и целеустремленностью писателя.

Сейчас просто глупо писать по-русски «на читателя», ибо легкая литература совершенно интернациональна. Писать для народа и России, смердеть клюквенной пошлостью дней русской культуры? Сейчас можно писать лишь для тайновиденья и удовлетворения совести, и лучше всего темным сибиллическим языком Джойса и Жуандо. Литература возможна для нас сейчас лишь как род аскезы и духовиденья, исповеди и суда, хотя на этом пути ей, может быть, придется превратиться из печатной в рукописную, подобно средневековой Каббале.

Социально мыслящие души оборачиваются сейчас к веяниям социального апокалипсиса. Мир сейчас будет принадлежать им, поскольку они посильны нарушить цензурный гнет, требующий или подленького социального оптимизма, или обхода «трудных тем». Их положение сейчас

тяжело, но мучительно интересно. Что до «змей с дерева познания», то планета сейчас настолько не благоприятствует им, что возврат к сибиллическому для них единственная правда. Жизнь провиденциально гонит их со своей поверхности в глубину, и один из исходов для них есть тайные общества и новые рыцарские ордена, где разговор вообще начинается лишь с тех тем, на которых кончается газетное глубокомыслие. Там очищаются они от вездесущей эмигрантской клюквы среди несомненностей, «не подозреваемых» улицей, где пишут и справляют юбилей просвещенных неверующие и добрые писатели.

6

Элегантный неверующий и снисходительный человек — кто, собственно, это, если не бессмертный Анатолий Франс (бессмертный, потому что он уже воскрес в Валери). Именно здесь чувствуется различие старого и нового, ибо, признаюсь, мне лично какой-нибудь хасидский иллюминант, оборванный, фанатический и даже нетерпимый, кажется гораздо ближе к современности, чем элегантный неверующий и добрый европеец, гутирующий все, каким в России был Тургенев. И кажется, Достоевский и Толстой недаром так остро презирали Тургенева. Ибо в нем был воплощен тот умеренный западник, который людям европейски малокультурным кажется воплощением европеизма. Да, конечно, если видеть Европу в аспекте Поля Бурже, Ростана и Анри де Ренье, этих литераторов для консьержек и приват-доцентов, и вовсе не видеть ужасных, несравненно чудовищных ее гениев, как Бодлер и Барбье, Золя и Джемс. Но откуда у Достоевского бралось столько отвращения к Тургеневу, чтобы вывести его в Кармазинове в «Бесах», а у Толстого, чтобы демонстративно заснуть на его чтении. Характерен и другой случай. Как-то Тургенев слащаво-восторженно рассказывал, как его дочь по воскресеньям отправляется подавать милостыню из специального кошелька, «чтобы знакомиться с народом». Толстой же, не смоги выдержать такой фальши, хмуро сказал: «Лучше бы вы ее научили по-русски говорить». «Гнусный актер, притворщик», — отплевывался потом Толстой.

Тургенев — тип прогрессивного сентиментального пошляка, который под старость, устроившись, занимается спи-

ритизмом, что имеет точно такое [же] отношение к духовной жизни, какое имеют порнографические фотографии к любви.

«Отойди от меня, буржуа», — говорил Блок. «Если бы ты был холоден или горяч», откровенно атеистичен или духовидящ. Нет, Тургенев был элегантный, снисходительный и просвещенный писатель и как [здесь текст обрывается, последние страницы пропали. — *Е.М.*].

О СМЕРТИ И ЖАЛОСТИ В «ЧИСЛАХ»



то бы ни писали добро-намеренные, материалистически мыслящие критики, сложившиеся в XIX веке, как ни сердились бы они и от статьи до статьи ни повышали бы свой возмущенный тон, один факт остается совершенно ясным — это радикальное от-вращение эмигрантской «смены» от позитивистического мышления, как и от «искусства для искусства», и религиозная ее настроенность.

Можно отрицать эту смену, можно вернуться к трагической упрощенности Бунина, можно, наконец, возвести свои очи к барабанному мажору советских «писателей от станка», стараясь, однако, не заметить глубочайшего пессимизма Леонова, Федина или Олеси; но относительно эмигрантской молодежи факт этот кажется мне неоспоримым. Все без исключения молодые поэты и писатели в той или иной мере затронуты «ядом» мистики. И так как вопрос о религиозном опыте вплотную срastaется с вопросом о смерти, многие из них поставили перед собою этот вопрос как основной вопрос литературного творчества.

«Числа» — журнал, впервые посмевавшийся сознаться в мистической тенденции «смены», и тотчас же, с разительным согласием, журналисты позитивистической формации заговорили о «культе смерти» в «Числах» и о воспевании гибели, вполне уверенные (так как «бытие определяет сознание»), что если молодые писатели пишут о смерти, то молодые писатели разлагаются заживо. Однако, думается нам, не примирение ли со смертью есть типичный признак обреченности и не чахоточный ли лихорадочно рвется жить и успеть насладиться? Обреченный охотно отталкивает от себя мысль о смерти и пирует во время чумы. Но нечто совсем иное Долохов, от избытка жизни играющий со смертью. И вообще, не есть ли вопрос о смерти, в сущнос-

ти, борьба со смертью и повышенное чувство жизни? Так, в расцвете могущества и славы родилась в Греции трагедия и вырвался наконец наружу нестерпимый ужас уничтожения. Античный историк говорит, что в Антиохии золотая статуя Аполлона ровно в полдень пела о смерти. Он называет это солнечное жало гибели «meridianus daemon», «демон полдня», который на вершине счастья и красоты поражает в сердце древнего человека.

Бесследно всё, и так легко не быть.

Но древний ужас смерти не так, может быть, опасен «эмигрантскому молодому человеку». Ибо он вырос в годы войны и знает, что «смерть весьма обитаема», как говорит ассирийская таблица. Нет, не ужас смерти, а обида смерти, грязь и подлость смерти поражают его воображение. Да и не отвратителен ли солнечный день под дивным своим небом оттого, что за спущенными шторами, в полднейной духоте, умирает слабое, разбитое жизнью, неудачное существо? Смерть, принятая и осмеянная даже в порядке храбрости и стоицизма, вновь с удвоенной силой врывается в сердце через жалость сильного существа к погибающим. Ибо слишком долго русская литература говорила о жалости — от Достоевского до Чехова, и может быть, вот, наконец, родилось христианское поколение. Может быть, даже чисто метафизическая проблема отошла для него на второй план. Мистическая жалость к человеку — вот новая его нота. И не она ли нераздельно звучит в «Вечере у Клэр», в описании гибели вундеркинда Лужина, в сбитых с толку «Мальчиках и девочках» Болдырева? Но почему мистическая? — спросят меня. — *Потому, что абсолютная.* И это единственное свое ощущение, которое «эмигрантский молодой человек» законно противопоставляет большевистской жестокости. Ибо христианство говорит, споря с новым Великим Инквизитором, о действительном осуществлении добра, что пусть даже замедлится намного пришествие всеобщего благополучия на земле, если для этого следует до конца унижить и замучить хотя бы единого только человека (девочку Достоевского). Ибо страдания не складываются, как математические единицы, вычитаемые заранее из суммы будущих радостей. Страдание абсолютно, и

смерть единого человека зачеркивает всю красоту мироздания, со всеми его закатами и звездами. Многие сомневаются и будут сомневаться в существовании Бога, но не прошла ли безвозвратно индивидуалистически-анархическая литературная оргия Уайльдов — Пшибышевских и есть ли хоть кто-нибудь еще в русской литературе, который сомневался бы, что добро есть любовь и солидарность людей, все сумрак и ложь, на небе и на земле, и только одна точка ясна и тверда. Эта точка есть жалость, и на ней стоит Христос... Но христианство, несмотря на бесстрашие своих мучеников, во много раз увеличило ужас смерти. Ибо к страху смерти оно присоединило неведомую античности мистическую обиду умирать. Ибо античный бог был царем, а не другом человека. Христианство породило также новую жалость к себе и чувство мистической невинности всех существ. В этом русское национальное понимание преступника как несчастного. «И Ангел клялся, что времени (то есть смерти) больше не будет».

Проблема смерти стоит на первом плане у Сосинского, Сирина, Яновского — у всех без исключения «молодых» поэтов. Проблема исчезновения всего — у Газданова, Шаршуна, Варшавского и Фельзена. Ибо Пруст открыл нам, что не раз только, в конце, смерть наступает жизнь, а вся ткань ее насквозь пронизана исчезновением. Отсюда жалость Пруста ко всему, жалость врача, все видящего и не могущего помочь. Пафос Оцупа, Адамовича не в этой ли неземной обиде смерти, и далеко не в страхе смерти. Смерть есть ложка дегтю или яду, которую следует влить в медовую бочку буржуазного самоупоения жизнью, и как хорошо, что вокруг нас нет уже восторженных оптимистов вроде Северянина, хотя и жалко, что чрезвычайно мало и таких дарований. Тем же отвращением к смерти пронизаны статьи Бахтина. И может быть, единственное возражение на прекрасную «Атлантиду» Мережковского есть то, что там слишком много страха и недостаточно любящей обиды за смерть и чувства вины Бога перед людьми за смерть.

Но прав Мережковский, ужасаясь. Наступает, кажется, абстрактная нечеловеческая эпоха, новая Ассирия, царство огромных масс и плоскостей, беспощадных к личности. И недаром новейшая архитектура так увлекается чисто ассирийской схематичностью и монументальностью. С этой

абстрактной точки зрения человек — лишь эфемерная единица, которую легко можно складывать или выводить в расход как угодно. Так ассирийцы и смотрели на покоренные народы, и за это их так глубоко ненавидело глубочайшее «лирическое», личное, начало еврейского племени. Все это, конечно, лишь предчувствия и веянья. «Le sens trop précis rature ma vague littérature»¹, — говорит Малларме. Точной идеологии еще нет, но не пора ли мистической молодежи открыто и как можно резче заявить о заветной своей тенденции. Но как раз резкости и отчетливости, даже необходимой непримиримости и грубости, еще не научился «эмигрантский молодой человек», хотя бы у «братьев» своих сюрреалистов. Нужно бороться, может быть, даже некультурными средствами, нужно среди грохота кричать о своем. Ибо наше поколение вскипело, и пора ему уже вырваться на поверхность, или сердце его разорвется и оно погибнет.

¹ Слишком точное значение губит мою неясную (неопределенную) литературу (*фр.*).

ОТВЕТ НА АНКЕТУ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

С

реди поэтических произведений книга, которая вызвала мое искреннее восхищение, — это «Розы» Георгия Иванова, означающие редкостное разрешение в высшем духовном плане того, что прелестно было начато в «Садах». Из молодых прозаиков Сергей Шаршун поразил мое воображение отрывками его романов, помещенными в «Числах»; кажется мне, что в них есть даже некие проблески гениальности.

Среди «прославленных» писателей: «По карнизам» Ремизова исключительно, по-моему, своим «русским» христианством. В философской области: «На весах Иова» Шестова и «Атлантида» Мережковского — эти две глубокие и вдохновенные книги. В историческо-критической области: «Державин» Ходасевича. Книга очень значительная и обнаруживающая редкое чувство традиций.

ПО ПОВОДУ...

1

...«Атлантиды — Европы»*

О

как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю, переоценивать все по-будничному. Как отвратительно иллюминанту, очнувшись от «припадка реальности», открывать глаза на нереальное, видеть комнату, чувствовать усталость и холод, опять погружаться в страх.

Но как сделать экстаз непрерывным, как жить в экстазе, а не только болеть экстазом? И не потому, что экстаз — радость (ибо если искать радостей, то не лучше ли самых грубых?). Нет, экстаз есть правдивая жизнь, экстаз есть долг, и все остальное — ложь. То есть те же вещи и события, но вне религиозного их ощущения — пустота и нереальность. Но как сделать экстаз постоянным? Аскеза говорит: постоянно поддерживать его волей, постоянно форсировать его, пусть до грубости, постоянно кричать о святом, постоянно плакать, нарушать все законы приличия. Воззритесь на спортсменов: они, пробегая огромные расстояния или состязаясь на велосипедах, не находятся ли в непрерывном физическом экстазе, каком мучительном и бесполезном, но каком героическом. Может быть, Бодлер находился в мистическо-сексуальном экстазе, Пруст — в экстазе фобическом, Ибсен — в экстазе справедливости, а Чехов — в самом глубоком — в экстазе слез. «Ибо тот, кто плачет часто, — христианин, тот, кто плачет постоянно, — тот святой».

Но не одержимость, нет; экстаз есть нечто мужественное до крайности, стоическое до предела, совершенно произвольное, максимально волевое. И что достигается экстазом? — Им преодолевается страх. «Сим победиши». Ибо по-

* Мережковский Д.С. Атлантида — Европа. Белград: Русские писатели, 1930.

сле известной точки становится возможным осуществить все страшное, все заветное, писать так, как совесть требует, а у мистиков — победить логику — самосохранение ума.

Новая книга Димитрия Мережковского «Атлантида — Европа» есть как бы такой именно опыт непрерывного интеллектуального экстаза. Книга эта вся написана в библейском ощущении эсхатологического страха угрожающей интонации близкого конца, так что прямо мучительна по временам, до того напряженна и тревожна, что вообще так ценно в Мережковском, этом непрерывном человеке, всегда бодрствующем, всегда действующем. Кажется, что для него все важно, второстепенного нет, за всем раскрывается пропасть, и постоянное горение есть долг. И если правильно мое ощущение, что от восхищения своим предметом он в настоящее время переходит к боли предмета, от красоты тайны к ужасу ее, то эта книга — лучшая, самая пронзительная из его книг.

Недаром в «Атлантиде — Европе» столько говорится о мучительном исступлении, о погоне титанов за ребенком Дионисом, о повальном пифическом и плясовом безумии, некогда охватившем античность и долго не проходившем. Прекрасное описание античных мистерий (в этом отношении книга представляет исключительный систематизирующий интерес), с неустающим пафосом книга доводится до предрассветной тревоги христианства — и все же не к явленному Христу обращен Мережковский, нет, а к кому-то, стоящему еще у дверей, долженствующему еще явиться, — Иисусу Неизвестному, Иисусу-Матери-Духу, подобно осеняющему вдруг безумствующего корибанта неопишимо тихому состоянию прорыва и разрешения в ином, что сам он сравнивает с неизреченно-голубым небом, вдруг открывающимся посередине водного смерча в центре бури.

Может, в творческом становлении Мережковского уже близко нечто подобное. «Атлантида — Европа» есть сплошной экстатический монолог, точка, может быть, наибольшего волнения, какое вообще возможно, наибольшего мучения, результат огромного многодесятилетнего раската тревоги, долженствующего разрешиться в какой-то блистательно тихой книге, может быть, в обещанном «Иисусе Неизвестном». Может быть, в некоторой благословляющей интонации после стольких обличений.

Атлантида была первым человечеством, погубленным потопом за язвы пола и убийства Эроса и Ареса — содомию и человеческие жертвы, но возжегшим очаги мистерий на Крите и отсель во всей догреческой древности. Та же участь грозит и второму человечеству — Европе, если не убоится и не покается.

Но, думаю я, Богу-карателю не противостоит ли экстаз храбрости человека: «Ах, Ты вот как с нами обращаешься, так мы Тебе покажем угрозы!»; и здесь начинается экстаз греха, героизм кощунства, доблесть падения. Ибо как вообще можно «бояться» Бога? Лишь тому, во-первых, кто вообще чего бы то ни было боится, а главное, боится умереть. И разве можно современное человечество, пронизанное героической метафизикой саморасточения, запугать? Не достаточно ли подумать об автомобильных гонках, почти ни одна из коих не обходится без смертного случая, но и зрители и гонщики, улыбаясь, ее начинают. И кому вообще из доблестных дорого воскресение плоти и даже бессмертие души? Не достаточно ли поблудили, не достаточно ли нагали, не пора ли поджариваться, не пора ли расточиться, развеяться, ибо жизнь уже закончена в мгновение экстаза и к чему повторение? «Абсолютное счастье, длящееся одну секунду, не больше и не меньше абсолютного счастья, длящегося вечно», — говорит Плотин, ибо нет двух абсолютов. И как может вообще новая «германская Европа», героизованная войной, бояться смерти? Состязающегося в марафонском беге несколько раз за те два часа, во время которых он пробегает 42 километра, охватывает совершенно реальное ощущение приближения смерти, страшная боль в груди и в желудке, остановка сердца, головокружение, изнеможение, еще шаг и смерть — кажется бегущему, но пусть разорвется все, а рекорд будет побит. Но часто эта *défaillance nerveuse*¹ кончается действительным переутомлением сердца, смертью.

Религиозный экстаз совершенно освобождает от страха — следственно, и от страха Божьего. И не страх Божий необходим, а новое восхищение, «ибо мир движется восхищением», новая любовь нужна, и, скорее, не могущество Божие приближает к нему сердца, а унижение Божие, рас-

¹ Нервное переутомление (*фр.*).

пятие Его, жалобное прощение его, *Cristus patybilus*, Христос гностиков, терпящий и переносящий все. Ибо не Бог ли еще перед человеком виноват, не ему ли оправдываться? Не Бог ли погибнет в конце от раскаянья, если мир погибнет? И как вообще кто-нибудь сможет в раю райское блаженство вкушать, если в бездне ада останется хоть один грешник, и конечно, ясно для меня, что Христос оставит свой рай и поселится навеки в аду, чтобы мочь вечно утешать этого грешника. Не человеку должно быть страшно, а Богу страшно на небесах за то, куда идет мир. Но где новое восхищение, Иисус Неизвестный? Не в грозном Боге он. Бог этот далек слишком и не способен возбудить любовь, ибо «вполне благополучен», а на земле, в сораспятии Христу, в нищете Господней, в грязи Господней и в отвратительности Господней, в венерологической лечебнице, в Армии Спасения и, действительно, для многих, вероятно, в поле. Мистической реабилитацией пола полна символистическая литература последних лет — от Розанова до Реми де Гурмона (столь антистоична она в этой точке). Она права совершенно, ибо где христианство воплощено, как не между любовниками, говорил Мережковский, не отдадут ли они с легкостью друг другу все на свете, не жалеют ли они друг друга бесконечно. (Хотя в душе героической Европы, наоборот, «никакого пола». Бокс, спорт, метафизика — все что угодно, только не пол, всякий боксер перед матчем воздерживается два месяца, иначе верное поражение.) Но Мережковский против жалости. Он проповедует некую страшную огненную любовь. Он весь пронизан ожиданием, приближением, ощущением чего-то при дверях. Неизмеримо пробужденнее он и озареннее всех почти богословов эмиграции (следовательно, и России). Он пишет об огромных вещах, и если бы ему удалось написать будущего Иисуса Неизвестного — так, чтобы можно было Его полюбить (а не ужаснуться Ему). Через него, а не через кого-нибудь из молодых писателей вернулась бы в Россию религиозная мысль. Ибо кто теперь из молодых, ну, просто знает столько, сколько он, да и из «православных»? В книге, которая есть, действительно, европейски-культурное явление, описана тысяча новых открытий современной истории религий (не говоря уж о России, где апокалипсические неучи продолжают читать Дрекса и прочие новинки),

и, к счастью (вспомним Розанова о книгопечатанье), книга огромна и стоит дорого, то есть никто «небрежно рукою не отбросит ее, перелистав». Псы-нерадеи ее не прочтут, но тот, кто в комнате тихой уединится с ней, сколько сведений о мистериях, сколько острейших аналогий и блестящих догадок прочтет он, а также высоких мистических отступлений, написанных не писарским кабинетным слогом, а тончайшей прелестью и ядом поэта-декадента. Зелинский, В.Иванов и Мережковский — для нас сейчас три светила по изучению древности (почти три святителя), но первые двое скорее успокоены и озарены прошлым, Мережковский же через античность рвется к Третьему Завету, к грядущей Матери-Духу. Он мучительнее всех сейчас.

2

...«Новейшей русской литературы»*

Помогает ли человек кому-нибудь печалью? Да, вероятно. Боль мира следует увеличить, чтобы сделать ее сносной, боль мира должна быть непереносимой, чтобы ее можно было полюбить. А бессильная помочь жалость — к чему она? Но ведь только почувствовав безнадежность и облившись слезами, только так, под церковное пение, под дальние выстрелы на улице, где трещат костры и ходят солдаты, а в доме музыка играет, сияют тяжелые люстры и Дон Жуан в военной форме мечтает о ледяной воде окопов. Затем еще несколько раз все меняется, прошлое желтое солнце встает над развалинами Петербурга. Мусорщик в Неаполе подбирает бумагу в жестяную корзину, а на балтийском побережье волны последним предутренним усилием уносят в море шезлонги и разбитые купальные кабинки. Высоко по насыпи проходит санитарный поезд, и в утреннем сиянии роз, смешанном со слабым запахом карболки и йода, слышится тихий шепот умирающего:

Обыкновенный иностранец,
Я дельно время провожу,
Я изучаю модный танец,
В кинематограф я хожу.

* *Otzoup N.* Die neuste russische Dichtung. Osteuropa-Institut in Breslau. 1930 (*Оцуп Н.* Новейшая русская поэзия. Институт Восточной Европы в Бреслау. 1930, нем.).

И еще:

Когда необходимой суетой
Придавлен ты и ноша тяжела,
Не жалуйся и песен ты не пой,
Устраивай свои дела.

Тише и тише. Над Неаполем снежная метель; быстро налетает снег на полосатые тенты увеселительных заведений. Трамвайные вагоны заворачивают к центру города. В Берлине так рано темнеет осенью. И много еще превращений. Вот Николай Оцуп, немецкий философ на автомобиле, пишет книгу о новых русских поэтах, и опять все по-прежнему: революция, розы, попытка всех примирить, попытка всех осудить. Мережковский и Бунин не видят Христа в революции. Блок и Белый видят, они, улыбаясь, разъезжаются в разные стороны. Мережковский немедленно подымается в эмпиреи, Блок спускается в ад, Белый скитается в промежуточных сферах тумана, Гиппиус борется с туманом.

Над Парижем и над Москвой идет снег. В снегу плачут народники, тяжело кощунствуют советские писатели и, медленно переживая глубокие снежные озарения, замерзают последние символисты. Ремизов, Адамович, Иванов, Бунин и Ходасевич медленно едут под землю в одном и том же вагоне подземной дороги, но, кажется, им в разные стороны. Куда? К утру.

Книга справедлива, дух миротворчества осеняет ее, отдаленное воркование голубей, о которых есть у Оцупа тишайшие, голубейшие стихи, и опять слышится церковное пение. Что там ссориться, когда уже и крест положили на грудь и тихо несут к утру.

Вообще, все сделано в человеке из одного материала: и стихи, и статьи, и голос, а также письма, фотографии, внешность. У любимых поэтов нет разницы между стихами, то есть она не видна, и даже не важно, стихотворение ли пишешь или частное письмо. Хороший поэт не может написать ничего плохого никогда, и плохое стихотворение хорошего поэта во много раз предпочтительней хорошего стихотворения плохого поэта. Даже и вообще стихи не важны, гораздо важнее быть знакомым с поэтом, пить с ним чай, ходить с ним в кинематограф, стихи же, в общем, это

суррогат, это для тех, кто не могут поговорить с глазу на глаз. Для тех, у кого нет глаз для дальнего, глухого, являющегося в еле уловимых знаках. Есть такой рассказ, что перед тем, как творить мир, Слово, витая еще над первозданными водами, обдумывало прототипы всех грядущих вещей; так, каждый человек двойственен: человек — отражение, живущий и гибнущий, и человек — идея в Божественном разуме, которая никогда вполне не рождается, но которую ржа не поедает.

Так, кажется мне, Оцуп был задуман миротворцем, жалостливцем, голубем неким, отвергающим все змеиное. Но другие, соседние, роды христианской аскезы часто вступают с ним в столкновение, как, например, воинствующее христианство, борющееся с грехом, Адамовича и Гиппиус, которым оно иногда кажется предательствующим («эстетствуете»), и иное, экстатическое, подобно св. Терезе, ненавидящее землю христианство Георгия Иванова; люциферический, отдаленный Ходасевич тоже войну, а не мир несет на землю.

Какое нам дело, вздыхай, гитара,
Почитаем стихи, зайдем ко мне...

Прощай, прощай. От фонарей
Во всю длину реки
Отплытие от дальних дней
Провозгласят гудки.

Мир скорее лишен зла, ибо ирреален, он снежен, и все растает скоро. Все зрительно, все проносится мимо, все сладко падает и разбивается, все с облегчением исчезает.

Как хорошо, что в мире мы как дома,
Не у себя, а у Него в гостях.
Что жизнь неуловима, невесома,
Таинственна, как музыка впотьмах.

Сон Диониса становится все легче, все прозрачнее. Близится утро. Сон становится сладким, ибо уже готов отлететь, и уже близко то, что «выше упоения и мук». Может быть, дико, кощунственно страдают только те, кто очень тяжело спят, для которых все ужасно, которые очень далеки

от пробуждения. Ибо коготок увяз, птичке скоро лететь и что птичке коготок! Пропади этот коготок.

Но отчасти жалость к другим, сама способность жалеть отравлена у Николая Оцупа этим ощущением призрачности причины страдания. Он, как посвященный в самофракийские мистерии, без боязни созерцает, как мистический лев (огонь) пожирает мистического тельца, ибо все на сером рассвете наполовину уже игра. Так, любит он тему убийства, кровь на снегу, лазареты, месть, и скорее в зареве роз происходят все эти смерти. Между прочим, это глубоко православное ощущение, ибо, в отличие от католичества, для православия смерть — белая, смерть — молодая, смерть — избавленье, смерть — весна, Смерть — «девушка, поющая в церковном хоре», что, конечно, на тысячу верст мистичнее черной, страшной католической смерти.

Оцуп, может быть, принадлежит к некоей православной ереси, которая чувствует, что Христу и страдать и умирать было легко, что все — сон и смерть — счастье. Здесь Николай Оцуп встречается с русским светлым классицизмом, с Баратынским и Державиным:

Смерть дочерью тьмы не назову я.

Так, в редкое исключение из множества поэтов, у Николая Оцупа почти нет темы страха, что оставляет такой темный осадок в некоторых стихах Блока, что так давит в Тютчеве. Николай Оцуп — поэт, стоически настроенный, это одна из больших прелестей его:

Я выучил у ржавых буферов,
Когда они Урал пересекали,
Такую музыку без слов,
Которая сильнее печали.

Все погружается в музыку, как бы в метель. Мир оправдывается музыкой. Хорошо умирать под музыку, сладко в музыке плакать, оставлять отчизну, опускаться на дно. Разве нужно плакать над теми, кому сладко умирать, забывать, гибнуть и опускаться, — ведь над всем этим уже отдаленный крик петуха, свисток поезда на откосе и сумрачная тревога зари. Тогда, когда уже очень больно, уже не больно

вовсе, так же, когда уже очень страшно, тогда уже больше не страшно, ибо и боль и страх становятся трагическими. А трагическое начало — не величайшее ли упоение, освобождение и катарсис?

«Развейся в пространстве, развейся», — говорит самому себе преображающийся герой. И все становится ему легко. Освобождение от страха, этот трудный религиозный момент, пронизывает многие стихи Николая Оцупа, кажущиеся, может быть, поверхностному читателю развратно-спокойными.

То же освобождение от страха слышится и в книге «о новых поэтах»: кризис длится, боль ширится, значит, все живет, все разрыдаются когда-нибудь. Разрыдавшись, проясняются... А пока, может быть,

Не надо спящего будить,
Сегодня мир оцепенеет...

Но пусть ему больно, пусть вообще будет больно — не надо ли больше мучить словом? Может быть, нужно даже рваться к боли, хотя только к утру и можно вырваться таким образом. А главное, жалеть, жалеть без конца, обливаясь слезами, говорить восторженные вещи. Даже сражаться и проливать кровь, потому что все равно уже утро за окном, и все только короткая буря. Но страшно ведь жалко тех, кому страшно. Но как освободить от страха? — Прыгнуть и сгореть самому с улыбкой на устах. Как та римская женщина, которая, подавая пример своему мужу, сказала, вонзая себе нож в шею: «Смотри, это не больно».

Оцуповский ангел напоминает мне эту женщину.

Поэт жалости и храбрости, отплытия в музыку, поэт примирения, ирреализации земной жизни. «Все, конечно, важно, но не будем забывать о самом важном» — приблизительно так говорится в одной статье Николая Оцупа. Этим счастьем близкого исчезновения пронизаны также многие прекрасные любовные стихи поэта, между прочим, счастьем расставанья, счастьем освобождения от любви и забвения любимых. Здесь впервые проникает в стихи тот таинственный антихристианский яд, которым полна музыка Баха. Яд этот — ирреализация и чужого страдания, вопль которого стремительно заглушается звучанием хрусталь-

ных сфер. Это демонизм оцуповского ангела, губящий обертон его голоса, воркующего о жалости на низших нотах. Но это, вообще, некое специфическое головокружение мистически одаренных натур, ибо недаром сказано было, что блаженны также и нищие духом.

И конечно, рождение всякого настоящего искусства в жалости. Там родилась поэзия Николая Оцупа. Жалостью же смывается все и все открывается.

3

...Джойса

Существуют замечательные писатели, наполненные красотою, даже гениальные, о которых хочется сказать: ну и пусть себе! О которых с некоторой даже гордостью (как будто не поддался чему-то) можно сказать, что их не читал вовсе. И чем больше такой писатель, тем острее это христианское удовольствие, доходящее у некоторых отцов церкви даже до восторга. Вообще говоря, писатель виден на расстоянии, его творчество и деятельность окружены как бы некой «аурой», явственно видимой даже сквозь глупейшие статьи о нем, по отдаленным и даже перевернутым сведениям о жизни и странностях и по выражению лица и тону произносящих его имя. Есть счастливый дар угадывать так, на расстоянии и по малым признакам, мистический вес человека, и скорее не много читать, а уметь многого не читать. Ибо книг — бесконечное море, и кто не переживал интеллектуального отчаянья перед каталогами библиотек. И вот не существует, может быть, писателя, «идея» которого с такой скоростью и так остро заинтересовала бы литературную критику и действительную умственную аристократию мира, как Джеймс Джойс, оставаясь, к счастью, пока почти неизвестным «широкой» публике, столь глубоко опозорившей «идею» Пруста своими безоговорочными восторгами. На расстоянии, и даже не имея возможности до 1930 года прочитать все, что он написал, все «лучшие европейцы» буквально больны Джойсом, и его имя передается из уст в уста как пароль, как некий таинственный знак посвящения во внутренние мистерии европейской мысли.

Чтение дурной книги есть всегда некое осквернение, соучастие. Нужно долго отказываться прочесть, долго бороться с желанием прочесть. Но есть авторы, которых

стыдно не читать, даже часто литературно слабых и второстепенных, ибо им было дано одно, то, без чего всякий талант только позорит его обладателя, то, с чем можно обойтись и без таланта, и даже явно вопреки отсутствию таланта потрясти мир, — они писали о самом главном, они чувствовали самое главное.

Некогда при возникновении художественной литературы самым главным считались интересная жизнь и множество приключений. Грязным и пошлым потоком разлилось наконец, разрушив готические плотины, смертное возрождение и замутило все источники.

Стремлением к интересной жизни, к описанию всяких увязок и злоключений полон еще Бальзак, триста лет после Ариосто, а также Стендаль и Пушкин, хотя начинался уже XIX век, век очищения, век раскаяния, век трагической честности. Какой болтовней кажутся «Чайльд-Гарольды», «Chartreuse de Parme», «Разбойники» Шиллера и всякие повести Белкина — сразу тысяча верст расстояния, спадение тысячи покрывал, исчезновение тысячи садов Алладина, земля, жалость, наконец обретенная тема, наконец найденное существенное. Жалость. Разговор Печорина с Верой. Лермонтов — первый русский христианский писатель. Пушкин — последний из великолепных мажорных и грязных людей Возрождения. Но даже самый большой из червей не есть ли самый большой червь? Лермонтов огромен и омыт слезами, он бесконечно готичен. «Ибо христианин — это тот, кто часто плачет, тот же, кто плачет постоянно, — тот святой». Литература есть аспект жалости, ибо только жалость дает постигание трагического. Исчезновение человека. Таянье человека на солнце, долгое и мутное течение человека, впадение человека в море. Чистое становление. Время, собственно, единственный герой, всечасно умирающий. Отсюда огромная жалость и стремление все остановить, сохранить все, прижать все к сердцу. К чему здесь всякие выдумки? Действительно, «если дама в котиковом манти по Невскому не шла», то и нельзя об этом писать. С какую рожею можно соваться с выдумкой в искусство? Только документ. И разве святые и мистики выдумывали? Их ангелы и их путешествия в астральных мирах были для них абсолютной реальностью, как те черти хотя бы, за ко-

торыми гонялись с кочергами наши национальные алкоголики.

Но следует ли описывать замечательные случаи жизни и всякие важные события, во время которых интенсивность ощущений феерически возрастает, но которые потом быстро смываются ею и выпадают из нее, как шумные и непрозрачные дни, когда сознание было слишком поглощено действием, когда человек, не помня себя, любил или действовал? Кажется тогда, что события только скрывают, а не обнажают жизнь. Что существование без приключений — повседневность, неизмеримо духовно-прозрачнее и открывает возможность духовного видения. Ибо когда человек вспоминает о себе? Когда он приходит в себя? Когда в душе его срастаются в одно целое беспокойные отрывки мгновений и дней, когда? Обычно в сумерки, в постели, на пороге сна. Тогда ему часто кажется, что в свои интенсивно занятые дни он и не жил, не помнил и не жалел себя.

«Как прожил я свою жизнь?» — в сумерках своей жизни спрашивал Пруст: «*Ma vie qui semblait devoir être brève comme un jour d'hiver*»¹.

Джеймс Джойс в своем последнем романе (всего за 30 лет литературной деятельности издал три романа и маленький томик стихов) описывает только один день, но этот день рассказан вовсе не в бесконечном отдаленье, как у Пруста, у которого даже дети размышляют, как маленькие Экклезиасты, а вплотную, как бы в безумном переполохе, адской спешке и мучительном хаосе жизни. К счастью, в книге почти отсутствует тот надменный эстетический «катарсис», то отрешенное очищение, которым так злоупотреблял Пруст, окрасивший всю свою жизнь в серо-голубой цвет своей предсмертной болезни. Хотя эту роль играет в конце книги долгий предутренний разговор героя и его гостя на кухне за варкой какао, описание рассвета, звона часов, мочеиспускания в саду, бледнеющих звезд и отдаляющихся шагов, составляющий изумительный контраст с чудовищно-порнографическими размышлениями его жены, которую он будит, ложась спать.

¹ Моя жизнь, казалось, не должна была длиться дольше зимнего дня (фр.).

Это не отдаленные стилизованные воспоминания. Это мучительный, иногда прямо невыносимый, сжимающий сердце водоворот отражений, в котором, как перышко, вращается сознание. Безжалостное обнажение, тысячи демонов, владеющих им. Терзание, разрывание ими цельности. Каждое следующее лучшее произведение тотчас же превращает все предыдущие, иерархически предшествующие ему, именно и специфически в искусство, становясь, на время, конечно, как бы самой жизнью. Хотя, конечно, найдется наконец и на него управа, и появится еще более совершенное произведение, которое, надстраивая и углубляя предшествующее, используя все его открытия, еще гораздо ближе прикоснется к реальности бытия, создаст нам вообще еще гораздо более интенсивное чувство реальности, так что все остальное, иерархически предшествующее, можно будет в крайнем случае и не читать.

Способ написания «Улисса» Джойсом, этой огромной книги в почти девятьсот огромных страниц мелкой печати, описывающих всего один день некоего Леопольда Блюма, сборщика объявлений в Дублине, и его знакомых, есть так называемое «автоматическое письмо», впервые примененное Изидором Дюкасом — графом Лотреамоном (а много ранее, вероятно, составителями всевозможных Апокалипсисов), который в 70-х годах написал им, совершенно независимо от Рембо, гениальную книгу «*Les chants de Maldoror*»¹ (песни передрагветной боли?) и затем бесследно исчез в возрасте 26 лет. Этим способом искони пользовались медиумы и визионеры (в том числе столь замечательный Уильям Блейк), а в настоящее время широко пользуются школа Фрейда для своих изысканий и французские сюрреалисты. Он состоит как бы в возможно точной записи внутреннего монолога, или, вернее, всех чувств, всех ощущений и всех сопутствующих им мыслей, с возможно полным отказом от выбора и регулирования их, в чистой их алогичной сложности, в которой они проносятся. Так, подробное описание множества мелких событий долгого июльского дня 1904 [года] сплошь перемежается стенографической записью просящихся в сознание героев беспорядочных ассоциаций, что создает сугубую

¹ «Песни Мальдорора» (фр.).

оригинальность письма и абсолютно нарушает фальшивую литературную стройность обычных разговоров в романах, ибо даже у Пруста так часто внутренняя нераздельно-слитная ткань мысли заменена фальшивыми дедукциями и рассуждениями, так что... иногда кажется, что между Джойсом и Прустом такая же разница, как между болью от ожога и рассказом о ней.

Все вместе создает совершенно ошеломляющий документ, нечто столь реальное, столь живое, столь разнообразное и столь правдивое, что кажется нам, если бы была необходимость послать на Марс или вообще куда-нибудь к черту на кулички единственный образчик земной жизни или по разрушении европейской цивилизации единственную книгу сохранить на память, чтоб через века или пространства дать представление о ней, погибшей, следовало бы, может быть, оставить именно «Улисса» Джойса. Книга чрезвычайно трудно читаема. Во многих ее местах нет ни знаков препинания, ни больших букв. Многие ее страницы почти сплошь покрыты существительными или прилагательными, множество фраз лишено подлежащего или сказуемого, кроме того, она содержит огромное число собственных имен, названий улиц и магазинов, и номеров трамваев, и описаний трамвайных маршрутов, а также древних ирландских легенд, филологических отступлений, звукоподражаний и порнографических куплетов. Одну из центральных частей ее занимает сон, в котором вспоминаются и фантастически варьируются события дня, во время чего и, несомненно, с единственной целью художественной правды побиваются все рекорды, переходятся все до сих пор достигнутые пределы сексуального реализма, как, например, в том месте, где Леопольд Блум видит себя во сне женщиной, а также длительно описываются мочеиспускания и испражнения и почти все физиологические функции, играющие столь большую роль в ткани человеческого воображения.

Джойс долго пробыл на медицинском факультете. Вероятно, некоторые места действительно трудно читать даже непредубежденному уму, воспитанному на болезненно-стыдливой русской литературе. Никогда еще не описанный сексуальный кошмар смешивается там со сложнейшими

лирическими и мистическими отступлениями, достойными Рембо и Сведенборга.

«Дедалус, или Портрет автора в юности» — автобиография Джойса. Первая книга его, «Люди Дублина», была тотчас же по своем издании куплена и сожжена одним из тех, кто были выведены в ней под собственными фамилиями. «Улисс» же Джойса запрещен в Англии и в Америке и впервые напечатан во Франции полностью.

Но можно ли сказать, что некий день Джойса и все события и размышления за него описаны в «Улиссе» полностью, без контроля и выбора? — Конечно, нет. Всякое описание есть уже выбор, и всех книг Британской библиотеки недостаточно было бы человеку, который хотел бы с абсолютной точностью описать совершенно все, что происходило, чувствовалось и думалось в продолжение хотя бы одного часа его жизни. Конечно, «Улисс» не есть только документ, а продукт огромного отбора и сложнейшей конструкции, почти невидимого соединения множества дней. Ибо один июльский день этот описывался шесть лет. Отбора. Но отнюдь не отбора и выдумывания мыслей, а отбора бесчисленных текстов-документов, написанных бесконтрольно.

«Il a des choses bonnes et mauvaises, mais il y a très peu de choses situées»¹, — пишет Макс Жакоб в «Cornet à dés»². Много, действительно, вещей хороших и плохих, но мало вещей, имеющих собственную атмосферу, в которыеходишь, как в особый мир. Совершенно правильно в «Улиссе» все пожертвовано созданию атмосферы, того, чем живы романы и чем они заполняются.

Может быть, вместе с Джойсом, как некогда с Прустом, Европа делает еще один шаг из заповедного круга одиночества и молчания, разбить которое от века пытается литература.

Вероятно, этот круг снова закроется за Джойсом, но что-то останется. Через Джойса многочисленным теперь поклонникам его открылась столь огромная жалость, столь огромное сострадание, столь огромное внимание и любовь к жалкому и величественному хаосу человеческой души,

¹ Существует много вещей, хороших и плохих, но очень мало вещей, точно определенных (фр.).

² «Стакан для игральные костей» (фр.).

что Джойс, как всякое великое христианское, социальное явление, конечно, по-своему перевернет мир, и после Джойса многое, даже в социальной области, делается невозможным.

Что касается литературы, то, кажется нам, Джойс прожигает решительно все, даже Пруст перед ним кажется схематическим и искусственным, хотя, конечно, «Записок из подполья», «Бесов», «Смерти Ивана Ильича» и нескольких других книг не касается это опустошение. Но опустошение это, несомненно, огромно, ибо легко приложимы к Леопольду Блюму, крещеному еврею, сборщику объявлений, слова Франциска Ассизского на смертном одре: «Я знаю Иисуса Христа, бедного и распятого, что нужды мне до книг».



то такое православие? —

Это нищая религия. Незвестная и неизданная мистическая поэзия, разоренные храмы, смиренные священники. Православие, омытое слезами стольких подвижников, презираемо католичеством за отсутствие большой схоластической литературы, за неясность догматов, которые и вправду не установлены окончательно, за неопределенность авторитета соборов, за мирские интересы священников. Что может на это возразить эта, почти тайная, церковь? То, может быть, что схоластическая мысль чаще всего от лукавого, что своим логическим гением она иссушает теплоту религиозности, что авторитет посягает на соборную жизнь церкви, на софичность ее, что православие не занимается политикой и что вся его спасительность и нежность в склонении к быту. Трудно ему даже сослаться на свою особую софическую атмосферу, ибо софичность есть скорее тихое веянье, чем точно сформулированная система. Софичность есть атмосфера, она живет в несказанной нежности песнопений, в кротком культе юродства и нищеты, в коленопреклонении, в молчании, в мистической темноте православия. Христос католиков есть скорее царь, Христос протестантов — позитивист и титан, Христос православный — трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах, потому-то все, далеко даже отошедшие от церковности, все же никогда с презрением о ней не говорят, а сохраняют навек некую боль разрыва с православием, как Блок. Католичество же, властное по природе, склонно вызывать гнев отступников. Но не пора ли православию защищать и даже реабилитировать его, как это ни смело сказано. Изучать и издавать его мистическую литературу и нежнейшую религиозную поэзию, хотя бы времени «Голубиной книги». Россия недооценивала правосла-

вия, все равнялась на Запад, и даже персы и индусы лучше издавались, чем православные святые, и это несмотря на Хомякова и Леонтьева, и даже Достоевского. Розанов казался почти чудачком в России, Ремизов — археологом, однако они и начали очищение православия от недомыслия западников. «Путь» равняется на русскую церковь, он чрезвычайно ценен ввиду этого, хотя Франк, Бердяев и Лосский — скорее европейские умы, давно оцененные. Ильин, может быть, слишком резок для софической атмосферы — он скорее протестантски трагичен. Вышеславцев — блестящий язычник, но зато с Флоровским, Арсеньевым, Плетневым, Алексеевым, Булгаковым, Прокофьевым и некоторыми другими появляется в эмиграции чисто православная, лирически-теплая, софическая настроенность. Нечто новое, в общем, и очень ценное. Из новых сотрудников журнала в прошлых номерах еще запомнились Меншиков и интересный, хотя и хаотический, Иваск. Чрезвычайно жалко также, что Карташев не принимает участия в «Пути».

САЛОН НАСТОЯЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ



В конце ноября закрылся у Porte de Versailles самый «левый» из больших ежегодных салонов. Представляло несомненный интерес увидеть эту выставку, почти все, что делается в настоящее время во Франции в «старом революционном направлении», того, что в настоящее время принято называть послекубизмом. Салон этот относительно невелик, хорошо размещен, и вещи приятно развешены. Не место здесь выражать свое мнение о кубизме, и вообще, кажется мне, не следует теперь далее теоретизировать, а, скорее, смотреть на результаты. Ибо, вероятно, кубизм все-таки кончился, вернее, популяризировался и перешел с картины на плакат, материю и ковры, это, может, и создает современное оттолкновение от него. Отметим, кстати, несколько «старых знакомых», например Сержа Фера, и несколько интересных новых между ними — Сергея Шаршуна, вещи которого, нарочито упрощенные в смысле композиции, полны нежнейших фактур и тонкого чувства «valeur'ов»¹ и написаны с чрезвычайной любовью, а также сюрреалистические композиции Мишонза, имеющие свою зловеще-фантастическую атмосферу.

¹ Цветовые оттенки (фр.).

ОСЕННИЙ САЛОН



осле посещения каждого нового Осеннего салона с новой силой поднимается в зрителе мысль о глубокой правильности некоторое время тому назад начатой кампании в художественной прессе за уничтожение этих и огромных, и беспорядочных выставок, где хорошие работы совершенно подавлены грубейшим соседством, затеряны и, часто принадлежа одному и тому же художнику, повешены в разных залах. По существу, только один Боннар из больших художников выставляет в салоне, и отчасти еще интересны небольшие ретроспективные выставки, устраиваемые иногда в одной из зал салона, как несколько лет тому назад выставка Анри Руссо. Но в общем, это невероятное нагромождение картин если и почти ничего не дает для искусства, так сказать, очень поучительно для определения общего настроения художественного мира. Растерянность и беспринципность настоящего времени все же предпочтительней псевдокубистических салонов 1921—1925 годов. Русские художники, как всегда, как бы обесцвеченные и заглушенные в этом хаосе, все же составляют единственную, может быть, его интересную ноту. Очень красивы и персональны яркие пейзажи Минчина. Интересен ядовито-зеленый *intérieur* Ланского, натюрморт с устрицами Пикельного показывает своеобразное чувство цвета и какое-то разъяснение отношения к миру. Очень приятна terraкотовая девушка с лошастью Андрусова, но почти все остальное на уровне ненужных вещей. К сожалению, Блюм, Терешкович и Шатцман отсутствуют на выставке.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ТУРГЕНЕВА



Новое издание Тургенева*, выпущенное с редкой тщательностью в одиннадцати томах, принадлежит скорее к типу «роскошных» изданий, рассчитанных на несомненное, в общем, повышение покупательной способности эмигрантского книжного рынка; как это ни парадоксально кажется, именно такие или еще гораздо более дорогие издания на французском языке расходятся сравнительно легче изданий дешевых, чаще всего расписываются заранее и вовсе не появляются в книжных магазинах. Большею частью расходятся они между членами специальных обществ, посвященных изучению творчества знаменитых французских писателей, как, например, «Гюисманс-клуб» и т.д. (К сожалению, существующее в Париже Тургеневское общество чрезвычайно мало занимается изучением творчества Тургенева.)

Думается нам, что «религия Тургенева», заслоненная несколько в последние десятилетия «религией Достоевского», сохранила и приобрела достаточное количество верующих, чтобы быстро «поглотить» новое издание.

Кажется нам, что люди, всю жизнь читающие только одного писателя (наподобие стендалиансов), есть высококультурное явление, редкое, в общем, среди русского читателя, легко сбиваемого с толку критическими модами и вообще слишком живущего литературной злободневностью.

Однако русские во Франции живут волей-неволей и дышат аристократическим воздухом французской культуры и под ее влиянием разбираются постепенно в литературном хаосе, чтобы найти наконец «своего» писателя или своих двух-трех писателей, единственно им соответствующих.

* Тургенев И.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Рига: Жизнь и культура, 1929–1930.

Ибо для каждого человека есть свой такой писатель, и величайшая культурная мудрость заключается в том, чтобы вновь и вновь перечитывать и изучать его, а не вкривь и вкось носиться по безбрежному морю книжного рынка, что свидетельствует чаще всего о характерной для современной культуры «потерянности» среди шумной суеты направлений и мод.

Тургенев, это изумительно гармоническое явление, сумел соединить культ «чистого искусства» с душой русского XIX века.

Острейшая жалость к человеку, столь резко разошедшаяся впоследствии с «чистым искусством», никогда уже не соединявшаяся с ним, есть «потерянная райская жизнь русского гуманизма», и столь многие сейчас вдохновляются ею.

В том же издательстве вышло новое однотомное полное собрание сочинений Лермонтова, к которому мы подробно вернемся в следующей книге. Но и сейчас можно сказать, что оно в высшей степени своевременно.

ОКОЛО ЖИВОПИСИ



то осталось от мертвых миров? Египетская литература темна и условна, египетская религия погибла. Но египетская скульптура жива, и в ней еще последний раз жив Египет, даже губы у сидящего писца еще выпучены от внимания. А где фараон и завоевания?

И конечно, фотографии было бы недостаточно, ибо она передала бы только, чем они, древние, были, а не чем жили они и какими хотели быть.

Художник все перевирает, потому что все продолжает. Волнение умерших сонмов сохранено для нас в стилизованных деформациях ассирийских стел. С их царями неземного роста, с львиноподобными воинами и тонкими рабами, похожими на пальмовые листья.

Волнения ассирийцев деформировали их глаза. И так стала видима сквозь преувеличение душа Ассирии.

Как будто мир полон остановившихся, замерших по дороге к реализации ощущений природы, которая как бы не смогла выявиться до конца. Остановилась, не осилив сопротивления материи. «Ce monsieur ne sait pas ce qu'il fait — il est un ange. Cette famille est une nichée de chiens»¹. И вот художник пытается помочь природе докончить, выявить обессилевшие тенденции. Художник, деформируя, пытается заканчивать недоделанное витальным устремлением. Так расширились плечи греческих героев и прозрачнели и обострились руки Офелии. Природа любит художника как своего освободителя, она верна ему часто до 80—90 лет, когда Моне и Ренуар еще цвели и сверкали.

¹ «Этот господин не ведает, что творит, — он ангел. Эти люди — семейство собак» (фр.).

Но не только в человеческом теле сознание, определившее его бытие, ощущения и характеры, воплощением коих тело есть, не выявляется до конца; разве не чувствует каждый смертный, что вечера «рвутся голубеть, что утра пытаются сиять и тшатся алеть закаты», что все полусковано косностью и тоскует о форме? И вновь художник всему помогает, он помогает дереву таять в воздухе, цвести и сиять полдnevному саду, зеленеть отражениям рек, он продолжает творение, он помогает Богу.

Есть существенное и несущественное в лицах, отсюда — упрощение, схематизация. Есть недоделанность, недобытие в природе, отсюда деформации. Есть тоска всех вещей и глухие поиски формы. Сюда, наряду с преображением мира, наряду с миром таким, какой он есть, — поиски мира такого, каким он должен быть, живой энтелехией его — художником. Он ангел-помощник всяческой объективизации.

Кроме того, есть законы картины как целого. Она должна покоиться. Много изменено и выброшено для того, чтобы она не падала на зрителя (что еще римляне знали относительно фресок), чтобы она не качалась и не склонялась в сторону. Картина должна иметь композиционные оси и симметрии, для чего столь часто у художников Возрождения линии рук и ног продолжают линиями складок, деревьев и крыш. Почему складки или деревья, часто незаметно, уравнивают, повторяют, поддерживают.

Но есть еще и цветовая композиция, равновесие и взаимодействие больших цветовых пятен. Ибо один из основных родов красоты рождается часто из простого соединения двух тонов, что прекрасно знают даже портные и декораторы и над высшим аспектом чего так много думали кубисты.

Огромную роль во внутреннем равновесии картины играет также сам способ накладывать краску, гладкость или шероховатость поверхности, благодаря которой любая часть может быть выдвинута или спрятана. Но еще больше самим движением мазка передается жизнь и движение предмета. Здесь уже ничем помочь нельзя, и все зависит от дара, этой тайны «фактуры», почерка души. Мазок может быть коротким или волнистым, он может стлаться, клубиться, двигаться или покоиться и этим тончайше переда-

вать материальность вещей и, что еще важнее, ту лучистодымчатую атмосферу, которой все они окружены. Ибо ошибка натурализма заключалась в том, что он искал только фактической точности передачи вещей, со всеми их подробностями, забывая, что всегда вещь окутана сиянием воздуха, аурой пыли, дыма, бесчисленными отражениями и свечениями окружающего, особенно неба. И, находясь рядом с другими, иначе окрашенными и расположенными вещами, вместе с ними движутся, как бы в поле зрения, темнеют и светлеют, меняют свой цвет и поглощаются их соседством.

Половину своей жизни художник учится, затем долго и мучительно старается, может быть, разучиться. Вновь обрести утерянную наивность и свежесть восприятия детей и примитивов. Выясняется, что школьно учиться совершенно не нужно и просто вредно, что нужно рисовать как захочется, и именно так, как видишь, и совсем не стараться рисовать «так, как есть». Но нужно страшно много рисовать и писать. Так, современные художники, в точности, как древние или китайцы (в академиях которых существуют специальные классы насекомых, рыб, листьев и птиц), бесконечно долго изучают все тот же идеальный натюрморт, как Брак, например, или идеальный портрет, как Модильяни. Но только прежние художники все время, года и года целые, писали и переписывали тот же холст, ту же картину, а современные — ту же картину долгие годы продолжают на разных холстах, все время начиная ее сначала. Так писал Модильяни портреты. Он садился очень далеко от модели, в противоположном углу ателье, может быть, чтобы видеть ее в более схематическом аспекте, и многие-многие сеансы делал только рисунки, иногда тридцать, сорок рисунков. Наконец, он, изучив что-то, в час или даже меньше писал портрет, сразу большой кистью покрывая холст, и затем быстро тоненькой кисточкой прорисовывал подробности. Скорость работы здесь не важна, важно серьезное, молитвенное отношение к ней. Картина может состоять только из нескольких мазков и быть глубочайшим шедевром (Матисс) — в том случае, если художник (живописно одаренный, конечно) как бы боится писать, священный страх его удерживает, как бы не налгать, не сделать лишнего, но с ог-

ромной «жалостью» и восхищенным любованием относится к своей модели.

Здесь входит нечто бесконечно важное, что французы называют «esprit» живописи, что я перевожу «устремленность» ее. Столь важное, что можно вполне сказать, что только талант — это вообще ничего. Esprit художника есть пластическое выражение всех его идей, всех его мечтаний и верований, и даже в очень большой мере его жизни, а главное — большее или меньшее отношение к искусству как к чему-то священному и молитвенно важному. Совершенно правильно и важно напомнить, что большие художники очень часто плакали и рыдали над своими холстами. И те из них, кому все очень легко давалось, тяготились этой легкостью.

Часто теперь молодые, спекулятивно раздутые художники стремятся работать «много и красиво»; нет ничего, может быть, смертоноснее для их искусства.

Вот передо мною знаменитый молодой художник. Я сижу в его ателье и думаю: как он все-таки изменился. Прекрасно одетый, он с почти надменной улыбкой на устах сидит за своим мольбертом, он пишет и старается не запачкаться краской, и я вспоминаю, как некогда, сгорбившись, согнувшись, судорожно сидел он над своим холстом и работал. Он был беден и обожал живопись. Напрасно он думает: вся его жизнь, и эта поза, и мысли о другом — все запечатлится и перейдет на его холст, и это будет легкое и красивое искусство. Великое?.. Никогда. Даже жизнь Рафаэля недостаточна для трагического человечества, и столь часто слышатся теперь слова о том, что Рафаэль поверхностен, что он скользит по безднам экспрессии вещей. Все тайное становится явным. Биография Рафаэля известна, не думаю, чтоб в своей жизни он много плакал.

Мир руками художников, самодовольных и ярких, сам делается ярким и пышным. Консистенция его крепнет и красивеет, но смерть и ложь воцаряются у него внутри. Душа переживает тягостные стеснения перед ним и явно просится прочь из солнечного мажора. Такие художники делают мир более материальным, менее призрачным, и ясно, может быть, откуда взялось отвращение христиан перед рубенсовщиной. Вся яркая пустота жизненной устремленности, переливаясь в картину, гибельно пересоздает мир. Ни-

чего не прощается художнику, ни одна ложь, никакая частота грубости и жестокости. «Все делается за счет чего-то», и, увы, столь многое в Европе оправдывает христианское отношение к пластике. На что все эти красоты, говорит святой, не зная, что только тот, кто выявил бы «форму» Бога, спас бы религию.

Все борения, все отчаяние, все поиски самого главного так же, как все благополучие и поиски развлечения, отражаются на холсте. И не только красивее, но в тысячу раз глубже и серьезнее взор художника, и не очаровательность, а трагизм мира, гибельность и призрачность его, смерть и жалость открываются нам глазами Рембрандта. У большинства же молодых художников «маленькие глаза», они не задумываются, они, подшучивая, «делают живопись» — подобно тому, как некоторые французы «делают любовь».

Вопрос об *esprit* яснее всего в примере Сезанна. Конечно, Сезанн был вовсе не так уже блестяще живописно одарен, как Рафаэль или Ренуар, но как высока сфера Сезанна над сферой Ренуара и даже Рафаэля. Секрет этого в огромной боли Сезанна и в том, что он был подвижником, и с меньшими способностями, но неизмеримо превосходящей душой, взошел на несомненное, великое, бессмертное, первое место. Сезанн — титан и гений, Ренуар — красивый художник, почти «*petit maître*» — дистанция неизмеримая.

Когда отец Сезанна умер, Сезанн захотел написать портрет отца в гробу, и вот сестра Сезанна ему говорит: «*Voyons, Paul, il n'est pas temps de plaisanter, il faudrait plutôt faire venir un peintre sérieux*»¹. Вот как к Сезанну относились, и к уже старому Сезанну — величайшему образчику трагической серьезности. Зато художественные торговцы чрезвычайно серьезно относятся к множеству ловких и благополучных маленьких талантиков, которые, конечно, не согласны с Достоевским, долго молчавшим и наконец ответившим молодому блестящему писателю на его сложные и гордые речи: «Страдать надо, молодой человек». Потом писатель пострадал и озарился. *Qui vivra — verra*².

¹ «Ну, Поль, сейчас уж не до шуток, лучше бы пригласить серьезного художника» (фр.).

² Поживем — увидим (фр.).

ГРУППОВАЯ ВЫСТАВКА «ЧИСЕЛ»

A large, stylized, handwritten letter 'ОК' in black ink. The 'О' is a simple square with a thick outline, and the 'К' is a simple, bold stroke.

огда умирает душа какого-нибудь пластического движения, наследие его приемов быстро становится препятствием, и часто даже роком последующей эпохи, против которого и должно с трудом выявляться его особое видение мира.

Так теперь, когда «душа кубизма» умерла окончательно, приемы кубизма и кубистическое воспитание нового поколения художников есть как бы расплата за яркое и эфемерное его цветение.

Не место здесь говорить о душе кубизма, об этих долгих мучительных поисках идеальной «интелигибельной» формы всех вещей. Но телом кубизма, основным пластическим его приемом был «принцип декорации», отчего большинство молодых художников, сложившихся в 1914—1923 годах, несут яд декоративности в крови. И только медленно, подобно больному, борющемуся с инородной жизнью в себе, преодолевают они свое первое эстетическое воспитание, часто создавая — увы! — пестрое и не совсем живое искусство.

Глядя на картины русских молодых художников, думаешь часто, что эти картины, как-то в общем грубее дарований, создавших их. Что какая-то «инерция», какой-то пластический автоматизм заставляет их утрировать краски, схематизировать рисунок и механизировать мазок.

В свое время кубизм докатился до плакатности. Так, нечто плакатное и совсем «серьезное» есть в холстах даже самых талантливых, и может быть, именно у самых талантливых молодых, ибо их-то и с наибольшей силой несет «очарование» их живописи. И как парадоксально звучит это, если о поэтах часто говорят, что им следует бояться музыки стиха, то и живописцам следует, вероятно, немного «бояться живописи», ибо чем могущественнее «оргия» красивых

сочетаний, тем сомнительнее иногда кажется будущее художников.

Выставку, организованную «Числами» в художественной галерее «Эпоха», можно было бы так и назвать: «В поисках, или на пути к преодолению принципа декорации».

Но следует здесь сделать важное замечание и различие, а именно, что лишь только «молодым» художникам, сформировавшимся после войны, «декорация» — во вред и что несомненно, что Сутин, Кремень, Ларионов и Шагал не страдают от нее нисколько, ибо творчество их закономерно декоративно — в совершенно ином, высшем аспекте, уже недоступном после пришедшим, и некий таинственный синтез декоративности и «лирического реализма» составляет их особую правду, нежно оживляющую их творчество, тогда как молодые, пытающиеся ей внимать, лишь огрубляют и упрощают, может быть, потому, что все моменты диалектического развития пластической идеи неповторимы и всякий такт историко-художественной мелодии тотчас же становится антимузыкальным, едва пытается звучать долее краткого срока известной «атмосферы» иногда нескольких только выставок.

Так, кажется нам несколько огрубленным и упрощенным феерический цветовой мир Арапова. Хотя сразу возникает вопрос, не близко ли его прелестное дарование — уровня Дюфи или Марии Лорансен — и законны ли к нему требования «большой» живописи.

В творчестве Минчина, художника много большего масштаба, ищущего и достигающего часто прикосновения к гораздо более глубоким тайнам «пластической магии», — борьба эта глубже и занимательнее. Результаты ее выше, но и рискованнее Арапова. Рискованны в смысле остроты и неожиданности, почти болезненной, его сочетаний, выше в смысле разрешения и как бы искупления «душой» живописи ее «природы», создающего редкие, острейшие удачи.

Но наиболее совершенными, то есть наиболее нашедшими себя, кажутся мне на выставке Блюм и Карский, причем Блюму, вероятно, труднее было «добиться» своей живописи, ибо его цветовые возможности, вероятно, шире возможностей Карского. Вещи Блюма, достаточно яркие и сложно-живописные, все носят на себе отпечаток той ценной дрожи «пред предательством краски», которая всегда

была достоинством его живописи среди многих других. Недостатками работ его кажутся нам неряшливость рисунка и некоторая «эскизность».

Работы Карского, тонко-живописные, кажутся бедными цветом, но внутри этой бедности они живут глубокой и искренней жизнью, вложенной в нарочито скромные рамки, просто сделанные, они очень красивы.

Портрет Терешковича, полный воспоминаниями о Гоге-не, — чрезвычайно удачная неудача этого разнообразного и импульсивного художника, истинного Моцарта молодого Монпарнаса, Моцарта, глубоко испорченного Монпарнасом, столь часто спешащего и халтурничающего, но столь же часто переходящего от почти неприятной яркости к чистейшим и нежнейшим высотам ремесла.

Чрезвычайно интересна и темная алхимическая дорога Шаршуна. Станный цветовой туман этот, похожий на вечный туман Карьера, из которого постепенно выплывает значительное и чистое видение мира. Дети Пикельного тонко нарисованы и показывают серьезную работу над сумрачной атмосферой его живописи, тяготеющей к трагической изобразительности Домье.

Нежен очень цветовой мир Пуни, и полны сумрачной прелести его вечные городские пейзажи, где, кажется, постоянно идет дождь. Свойственна ему так же, как и Блюму, некоторая ценная цветовая робость.

Интересен благородный портрет Воловика, обнаруживающий большое чувство «валеров».

В заключение скажем несколько слов о скульптуре на выставке, хотя эстетически, а не традиционно следовало бы начать с ее описания, ибо каждый выставившийся широко скульптор заслуживает целой отдельной статьи (Цадкин, например), ибо уровень русской скульптуры в Париже значительно выше уровня русской живописи. Отдельные выставки нескольких из выставивших скульпторов дадут возможность подробнее остановиться на их творчестве, так же как отдельные выставки Ларионова или Гончаровой. Творчество их, подобно творчеству Сутина и Шагала, есть столь серьезное и сложное явление, столь обсуждавшееся уже, что в нескольких словах ничего нельзя сказать о них, кроме того, что оно прелестно.

АБРАМ МИНЧИН



чень трудно написать что-нибудь о творчестве А.Минчина еще под впечатлением мучительной неожиданности, которой является для нас внезапная смерть его. Является, а не явилась, ибо я еще далеко не могу привыкнуть к этой мысли и тем более оглянуться как-то и оценить объективно все сделанное А.Минчиным. Ибо сделано им очень много. Как будто предчувствуя недолгий свой земной век, Минчин всегда работал необычайно много, и часто, вернувшись домой вечером и написав уже за день один или два пейзажа, он при электрическом свете до самого утра работал акварелью, чтобы снова, встав чрезвычайно рано, отправиться на улицу. Однако работы его не носят никакого следа спешки или этюдности, ибо, обладая большим природным мастерством, он необычайно быстро и верно рисовал кистью или в одну минуту менял освещение и общий тип большого холста. Однако эта легкость работы нисколько не просачивалась в существо его живописи, ибо [ее] поддерживало постоянно и питало необычайно серьезное, прямо трагическое, можно было бы сказать, отношение к назначению искусства. Ясно всем, что с Минчиным ушел большой источник постоянного вдохновения, горения и даже муки.

Минчину всегда казалось, что вот он откроет что-то всем, научит всех видеть, перевернет что-то огромным своим волнением, неустанным пафосом своих картин.

И действительно, совершенно свой мир являл он очам, целый свой Париж написал он на множестве холстов. Париж, в котором я много охотнее жил бы, чем в Париже Утрилло, условном и однообразном, хотя и безошибочно-механично-удачно-живописном. Посредством необычайно редкого соединения реализма и фантастичности

Минчину удавалось писать парижские закаты или даже нереальные ночные освещения так, что ангелы, изображать которых он так любил, демоны, куклы, арлекины и клоуны сами собою рождались из сияния и движения атмосферы его картин, раньше всего и прежде всего необыкновенно реальных. Минчин, столь глубокомысленно изучавший старинных мастеров, особенно Рембрандта, Греко и Клода Лоррена, вовсе не боялся «трудных» освещений, которых так тщательно избегают ныне молодые художники. Вечер парижский, с необычайной сложностью его свечений и первых уличных теней, был одной из любимых тем, а также интерьеры, освещенные сиянием облаков и призрачным светом настольной лампы. Все живет в этих интерьерах. Минчин вообще не признавал существования неодушевленных вещей; стулья, лампы, куклы и букеты — все у него движущееся, живое, дышащее, кажется, что он освобождал всех скованных в вещах духов и ангелов.

От Минчина остался огромный цветовой мир, где не только редкостное и высокое дарование, но исключительная личность, столько поработавшая, чтобы раскрыть что-то, невидимое мертвым нашим очам. Раскрывая свой мир, Минчин раскрыл себя, и еще немало времени пройдет, пока мы поймем, как много мы его глазами увидели. Неустанно трудившийся, горевший непрестанно и согревавший самораствлением циничный холод и варварскую скуку «конченного» Монпарнаса, он прожил необычайно чистую жизнь, необычайно рано и полно понял и выделил свое лучшее, полное света зрение мира и ушел от нас, все-таки успев сказать, все-таки успев прорвать глухоту и темноту, окружающую каждую необыкновенную душу, благодаря неустанной своей муке, непрестанному труду, ослабевавшему вдохновению.

Отданный с малолетства на граверную фабрику, он поступил благодаря Маршаку в Киевскую академию; лишения 1920—1925 годов глубоко надорвали его здоровье. С 25-го года он, после короткой остановки в Берлине, работает в Париже, где очень скоро нищета, раскрашивание платков и тарелок сменяются для него известностью, обеспеченностью, напряженным вниманием и искренним восхищением сотоварищей и коллекционеров. Одна-

ко ничего, кажется, кроме возможности путешествовать, не интересовало эту вдохновенную душу.

Умер он 25 апреля в Тулоне, действительно, почти с кистями в руках, успев только дойти до ближайшего кафе, — оставшись для нас всех примером высокой, чистой и вдохновенной жизни.

ОТВЕТ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ЧИСЛА»



азмышление о собственном «творчестве» всегда вызывает во мне чувство стыда и досады. Кажется мне, что я еще ничего не сказал о «заветном», а все ходил вокруг да около, пытаюсь разъяснить и приспособить что-то. И все потому, думается мне, «что я недостаточно храбр».

«Я всегда пытался найти способ существования, который позволил бы мне выразиться с абсолютной свободой», — писал Джойс. Для меня же это — предаться во власть мистических аналогий, создавать некие «загадочные картины», в которых известное соединение образов и звуков чисто магически вызывало бы в читателе ощущение того, что предстояло мне.

Сочинительство мое есть постоянная борьба со страхом, но когда страх «безвоздушности» превозможен и «левое» произведение написано, на остальную жизнь вовсе не остается храбрости. Малейшие литературные столкновения повергают меня в глубокое уныние. Занятие литературой становится все мучительнее, и втайне от себя я все время ищу исхода из нее — в религиозной философии или в истории религий.

Но, думается мне, не есть ли религиозная философия для меня род «халтуры» высшего порядка и измены мистическому «присутствию»? Измены высшей, труднейшей жизни, в наказание за которую к литературному Дон Жуану приходит Каменный Гость — духовная смерть. Литературная халтура всех аспектов, всякая уступка публике есть измена духовной муке, расплата за которую — окаменение и каббалистическая смерть. Так между страхом духовной смерти и страхом публики сознание доходит до глубочайшего отвращения от литературы, но нет успокоения и исхо-

да, и надо жить безысходно. Но только бы выразить, выразиться. Написать одну «голую» мистическую книгу, вроде «Les chants de Maldoror»¹ Лотреамона, и затем «assommer»² несколько критиков и уехать, поступить в солдаты или в рабочие. Расправиться, наконец, с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной. Сосредоточиться в боли. Защититься презрением и молчанием. Но выразиться хоть в единственной фразе только. Выразить хотя бы муку того, что невозможно выразить.

¹ «Песни Мальдорора» (фр.).

² Убить, избить (фр.).

ОТВЕТ НА АНКЕТУ РЕДАКЦИИ «ЧИСЕЛ» О ЖИВОПИСИ



Если в настоящее время, несомненно, не существует самостоятельной русской школы в России, то, может быть, столь же несомненно, что внутри современной парижской школы французской живописи существует ныне хорошо отличимое и резко бросающееся в глаза русское и, скорее, русско-еврейское направление, причем в нем русская народная, несколько лубочная, яркость и русский лиризм смешиваются с еврейским трагизмом и религиозной фантастичностью. Таковы Сутин, Шагал, также и Ларионов, хотя он и чисто русского происхождения.

2) Несомненно, нужно. Хотя часто художники французского влияния забывают несколько, что ограниченность французской живописи в том, что она слишком занимается изображением мира и недостаточно его преобразованием. Слишком много миром таким, как он есть, и слишком мало миром таким, каким он должен быть, причем это не говорится о современной парижской школе, составленной почти сплошь из иностранцев, а о французском импрессионизме, например, к которому теперь все возвращаются.

Следует, может быть, русским, впитывая в себя все изобразительное совершенство французов, обращаться более к своему природному идеалу фантастиков и визионеров.

ЗАМЕТКИ О ДОСТОЕВСКОМ¹

М

не бы хотелось сказать несколько слов о своеобразном явлении, которое принято называть русским. Вообще ту Церковь, которая именует себя Православной — что просто претензия, — можно было бы называть Восточной.

Существует православная легенда, в которой говорится, будто Бог и Пречистая Дева спорят о Творении. Именно Она, находя оправдание для всех, даже самых злых, грешников, умоляет Бога простить их.

Вспомним, что именно Достоевский поставил следующий вопрос: «Можно ли построить счастливый мир на трупе хотя бы одного замученного ребенка?» В том же духе, допустимо ли, ради спасения всего мира, пожертвовать единым городком?

Некоторые ответят, что допустимо.

Своеобразная мистика, присущая Восточной Церкви, утверждает, что бытие и смерть тождественны, что надо уходить, никогда не навязывая себя. Достоевский, возможно, внес великую новость в религиозную поэзию мира. В мистическом же плане он гораздо более ординарен, он стоит ближе к уже известным вещам.

Достоевский, по-моему, это как бы Христос не воинствующий, Христос, непосредственно противоположный героическому, имперскому Христу. Он мне представляется воистину особым вестником Восточной Церкви.

Я был очень удивлен словами господина Познера о Достоевском как писателе.

Искусства нет.

Существует только внутренняя жизнь человека и литература, как личный документ.

¹ Перевод с французского Е. Менегальдо.

С точки зрения литературной, Достоевский — писатель-моралист.

Вся литература — явление нравственное, так же как, в какой-то степени, и сама революция.

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО ЭМИГРАНТСКОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

П.

Интерес к смерти как форма морального сомнения в праве на жизнь и на счастье.

2. Отвращение от эмигрантской прессы, уход к новому стоицизму, к философии и к спорту.

3. Антисексуальность. Против дешевых мук и глубин, против Блока. Доблестная Европа.

4. Против фрейдизма.

5. Je ne suis plus prisonnier de ma raison, j'ai dit Dieu¹.

6. Против бытия, определяющего сознание, произвол.

7. Бесстыдство как единственный способ [нрзб.] полного человека.

8. Культурное одиночество, не русские и не французы — русские европейцы.

9. Старшая литература как клюквенный миф.

10. Советская литература как клюквенный миф.

11. Соединение противоположностей — мистика и реальность, Россия и Запад.

12. Против социал-демократической мысли Белинского в России 19-го века.

13. Две литературы — [нрзб.] религиозная и газетная реалистическая.

Но как могло случиться, что Белинский победил?

¹ Отныне я больше не пленник своего разума, я выбрал Бога (*фр.*).

ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ СОБРАНИЯМ



Несмотря на различие доклад<ов> и тем, всегда одна и та же группа писателей участвует на вечерах «Зеленой лампы», вне которой находятся или литературные зубры, или «воинственный молодец» евразийской формации, охотнее выступающий в «Кочевье». В последнем за этот год было устроено несколько собраний. Отмечаем доклад Поплавского о Прусте и Джойсе, доклад Слонима, где он «осудил» эмигрантскую литературу за отсутствие почвенности и энтузиазма, столь сильных, по его мнению, в литературе советской, и две лекции Марины Цветаевой. Н.Оцуп защищал на вечере «Чисел» право эмигрантского молодого человека заниматься «вечными» вопросами. Очень интересен был также доклад Г.В.Адамовича о Тургеневе в «Зеленой лампе», вызвавший спор об ответственности русских писателей за большевизм, что и послужило темой другого доклада о Толстом, устроенного «Числами». Запомнился также доклад Варшавского о «Каине и Авеле» в настроениях молодой эмиграции и доклад Боронцовского о титанической религии в Советской России. Объединение поэтов посвятило вечер роману В.Яновского «Мир», а также докладу Поплавского о Сологубе.

О БОКСЕ И ПРИМО КАРНЕРА



Если бы удалось всякое человекоубийство заменить театральным зрелищем и смертоносные раны грандиозными оплеухами, от которых мгновенно меняются шансы атлетов и весь зал встает, охваченный мгновенным энтузиазмом кулачного действия или сочувствием к поколебленному и отчаянно цепляющемуся за противника с целью краткого отдыха, всю воинственную марсовую природу можно было бы целиком перенести в будущую идеальную жизнь или даже в рай, ибо представление о рае как о благопристойном собрании антиалкогольных методистов оттолкнуло не одну героическую натуру от желания его искать. Бокс есть беззлобное и великодушное разрешение неблагородства и жестокости масс, ибо известно из его практики, что именно друзья-боксеры особенно щедро орошают своею кровью «волшебный круг» ринга... Часто на состязании кровь брызгает не только на стол журналистов и на тренеров, помещающихся непосредственно за веревками, но и «до третьего ряда», падая на бальные платья и белоснежные крахмальные груди. Однако минуту спустя победитель мирно утешает побежденного и на следующий день помещает чрезвычайно хвалебные отзывы о нем в спортивной прессе — отчасти, конечно, чтобы увеличить эффект победы.

Бокс и спорт будут, кажется, последним убежищем риска и импульсивности в будущем идеальном мире, и увы, кажется, ужасы войны не только потому так близки, что социальная и экономическая конкуренция требует их, но и потому, что целый ряд могущественных и чрезвычайно радостных чувств требуют этих ужасов и ищут их хотя бы ценною смерти.

Не писал ли Лермонтов в каком-то письме, что «ничто не заменит ему наслаждения врываться в аулы и проливать

человеческую кровь», и кажется мне, что гитлеровская молодежь слишком много занимается парадами и нездоровой литературой и слишком мало подымает тяжести или бегают на большие дистанции, после чего душа наполняется невероятной усталостью, миром и добродушием.

Бокс есть мирное искупление убийства, жажда которого совместно с подвигом глубоко свойственна германским народам. Она у них в природе, а природа должна быть не уничтожена — искуплена, сублимирована, иначе жизнь теряет красочное содержание и радость.

Примо Карнера, блестящая карьера которого была правильно предсказана Аполлоном Безобразовым в первом номере «Чисел», в то время когда еще к нему повсеместно относились как к уроду и клоуну (до того, что Американская федерация бокса запрещала ему боксировать в Америке), очень близок теперь к званию чемпиона мира, только две ступеньки — Чаркей и Шмеллинг — отделяют добродушного великана от цели. Однако очень скоро Чаркей, которому в настоящее время за тридцать лет, сойдет с круга по причине возраста. Шмеллинг, несмотря на свою реабилитацию перед Стриблингом, боксер недостаточного класса, чтобы превозмочь разницу в тридцать с лишком кило, отделяющую его от Карнера, что до Стриблинга, то он «легкий тяжеловес» и ему лучше было бы вообще боксировать в полутяжелых.

Баловень судьбы Карнера, вместе со своими ботинками (56 номером) и малиновым шелковым халатом, не далек от того, чтобы войти в историю спорта. Карнера молод и многому научился. Из клоуна и феномена он уже сделался национальной славой, так что особенным декретом Муссолини освобожден от воинской повинности.

И он — одна из лучших, «удачнейших» фигур, среди грохота громкоговорителей, рева толпы и ослепительных ламп над рингом, над которым столь часто звуки джаз-банда смешиваются с трубами Лоэнгринна.

СРЕДИ СОМНЕНИЙ И ОЧЕВИДНОСТЕЙ

1



то есть собственно литература, где начинается она и где кончается? Что, например, отделяет ее от публицистики и куда отнести легенду о Великом Инквизиторе, считать ли или не считать Розанова литератором? Все это темно и теперь, особенно после того, как познакомились с новым западным романом, типом которого является «Улисс» Джойса или «Парижский крестьянин» Луи Арагона, этой энциклопедией быта, острот, легенд, снов, статей и рассказов о двадцати персонажах.

Все больше и больше хочется думать, что литература есть документ тем более ценный, чем более полный, универсально охватывающий человека снимок, слепок, стенограмма, фотография. Но что же тогда с отбором, с выбором стоящего и не стоящего? Стоящее есть полное заинтересованностью духовно-конкретное.

В противоположность взгляду Бердяева, искусство кажется мне наиболее predetermined, наименее свободным родом творчества. Начать с того, что художник еще более огороженника зависит от состояния внутренней погоды, позволяющей или не позволяющей ему плодотворно работать. Искусство есть благодать, и вся свобода относительно благодати заключается в том, чтобы ее ждать.

Но, больше того, не только само решение творить не свободно, ибо настоящий художник половину своего времени не может творить, а другую не может не творить; но и род, характер творчества predetermined весь до конца. Толстой мог по-другому назвать «Анну Каренину», по-другому расположить некоторые второстепенные события

(хоть это и сомнительно), мог даже соединить ее с «Войной и миром», но он ничего другого не мог написать, кроме именно дворянского романа, именно с такими, а не иными, героями.

Но почему? Потому, что художник описывает лишь самого себя и то, чем он мог бы быть, свое потенциальное.

Проблемы брака и непротивления родились вместе с ним. Он не найдет покоя, пока не будет писать, сочиняя, не сможет от них избавиться. Только Гоголь пытался свободно переизбрать себе назначение, и увы, получилась всего лишь «Переписка с друзьями».

Всякий художник, который творит из ничего новое и не бывшее относительно своего прошлого, своей памяти, лжет и выдумывает, и даже имена героев (как Анна для Блока) являются для него чем-то роковым и провиденциальным.

2

Вот почему мне кажется, что единственный способ раскрыть эмиграцию, понять ее — это вслушаться в ее литературу. Мне скажут, может быть, что и не следует понимать эмиграцию, а следует ее осмысливать, создавать новые ее формы.

Да, может быть, на общественных собраниях и в статьях, но в искусстве всякая форсировка, всякий выход из пассивного — не творящего, а рождающего себя в красоте состояния — тотчас же создает выдуманность и публицистический оттенок. А надуманность и публицистика — как раз тот единственный серьезный упрек, который можно сделать сейчас советской литературе.

Будьте честнее, хочется сказать им, будьте природнее и бесстыднее, ибо где есть стыд и сокрытие в литературе — там нет раскрытия естественности и жизни.

Без некоего героизма откровенности не было бы ни Подпольного человека, ни исповеди Ставрогина, ни Нехлюдова, ни Пруста, ни Джойса.

Всякое принуждение и даже самопринуждение сводит целого человека к одной только его стороне — долженствованию — и уродует природу искусства, ибо только самопроизвольное, самозабвенное действительно живо и музыкально.

3

Художник прав, лишь когда пифически, пророчески импульсивен, но как личность — вполне пассивен относительно своего духа; он как бы мист подземного экстатического культа, и как далеко от него рациональное, произвольное творчество инженера или метафизика — строение сознательное и волевое, идеал дневного надземного солнечного культа, относительно которого Бердяев, несомненно, прав, называя его максимумом свободы.

Обреченный на изображение своих навязчивых тем, непрестанных своих кошмаров и жертва непостоянного нрава своего демона, он несчастнее всего в несвободном мире, ибо он не может себя сделать чем-то иным и переделать; приспособиться и ужиться, не фальшивя. И среди художников особенно литераторы нуждаются в свободе, ибо, к счастью, язык живописи и музыки слишком высок и темен, чтобы какой-нибудь протестант-цензор мог изобличить в нем крамолу. Ибо даже верить и мыслить можно тайно и для себя, писать же невозможно, ибо искусство, естественно, экспансивно.

4

Не для себя и не для публики пишут. Пишут для друзей. Искусство есть частное письмо, посылаемое наудачу неведомым друзьям и как бы протест против разлуки любящих в пространстве и во времени. Потому-то так же мало настоящих читателей, как мало настоящих друзей. Потому-то каждый настоящий читатель мог бы быть другом и сам бы того хотел. Ибо как часто мечтал я быть другом Тютчева, Рембо или Розанова.

Если бы мы знали, как мало у нас читателей, — мы, наверно, писали бы гораздо лучше, как если бы знали, сколько — о как мало — людей нас любит, знали бы в точности, кто; мы доверились бы им всецело, жили бы только для них, не интересовались бы остальными. Ибо хуже всего страх читателя: а вдруг не поймет? И от него и доходят до писания на читателя, а читатель сразу это понимает и не читает вовсе.

5

Напишите проще! — Не могу иначе писать, жизнь противна. Ну, тогда о другом; не могу о другом, это самое за

мною гоняется, требует через меня обрести бытие. Каждый настоящий литератор есть герой отказа от халтуры, и ни один халтурщик не настоящий писатель.

И действительно, какое может быть дело до тех, кто вяло одобряет; умрите Вы — да, скажут, умер, жаль! — и перейдут к очередным делам. И как тяжело огорчить хотя бы одного или двух неведомых друзей, как огорчил Пастернак, когда стал выхалтуривать своего лейтенанта Шмидта по социальному заказу; просто стыдно огорчить. Своих потеряете, чужих не обретете. Ибо читатель Пшибышевского — так же некий особый биологический тип, как и читатель Рембо или Сергея Шаршуна, необыкновенный роман которого не посмело напечатать ни одно эмигрантское издательство.

6

Да, все это хорошо, но существует ли эмигрантская литература? Трудно ответить: несомненно, есть литература в эмиграции, есть эмигрировавшая литература, но еще почти нет эмигрантской литературы как раскрытия в образе эмигрантского духа.

Литература эмигрировавшая есть как бы странствующая академия не у дел. Она живет исключительно воспоминаниями, совершенно вне контакта с живой окружающей жизнью и медленно замирает среди своеобразной клюквы. Отношение к ней — спокойное доброжелательство, исключительно устная и печатная похвала, историческая перспектива.

Теперь о литературе в эмиграции.

Волею судеб в эмиграцию было заброшено некоторое количество талантливых людей. Некоторые из них, не лучшие морально и не худшие, принадлежат к типу сердец, не причастных к социальной жизни; таков Ю.Фельзен, например. Такими были Пруст, Сологуб, Малларме; они пишут в эмиграции и писали бы в любой стране и на любом языке о вечных вопросах, о вопросах, вечно занимающих их, — и эмиграция есть всего лишь социальная декорация для их «самого важного» — сентиментальных осложнений, например. Для них эмиграция есть нечто случайное, и они вовсе не занимаются ее идеологическим средоточием, тем, что я называю особого рода «провиденциальностью».

Ибо для рядового эмигранта, особенно для молодого, сумевшего победить жизнь, говорящего на местном языке и практикующего спортсмена, — быть эмигрантом есть уже не неволя, не необходимость, а некий свободный выбор атмосферы, ибо тем, кому она не нравится, широко открыт доступ в любую, достаточно культурную, «новую родину», жаждущую свежего человеческого материала. Их позиция как-то чище и благороднее позиции эмигрантских деятелей первого призыва, которые ничего другого и делать не могут. Однако, несмотря на относительное неудобство, эти молодые продолжают считать себя членами того апокалипсического тайного общества, которым могла бы стать эмиграция, расположенного над Россией, над Францией, над Европой и над Азией, над богатством и над нищетой; общества, обогащенного всеми полуистинами всех стран и состояний, с шумом сталкивающимися медными лбами подле него.

Дело в том, что эти люди, следственно, и писатели, участвуют в каком-то духовном средоточии в эмиграции, в некоем, не совсем и не всем ясном ее деле, в ее провиденциальной заданности, все это волей, а не неволей, как сбитые с толку беженцы с карикатуры Мада. Так, Ю.Фельзен, например, сформировавшийся в эмиграции, не участвует духовно в ней, а Георгий Иванов, сформировавшийся в России, — участвует, хотя полезны или вредны его прекрасные стихи — вопрос другой.

7

«Вдохновенными устами, говоря без улыбки, без белил и румян, сибилла достигает своим голосом предела в тысячу лет, благодаря своему богу».

Около первого года нашего летоисчисления античный мир жил напряженным ожиданием гибели в огне, которую сибилла Кассандра предрекла ему за десять веков до того, еще во времена Илиона. Гераклит повторил предсказание, и ожидание было настолько реально, что римский сенат должен был издавать постановления для успокоения волнений.

Казалось, ничто не угрожало римскому миру и его четырёмстам большим городам, имевшим театры, его университетам, включавшим до пятидесяти тысяч студентов, его идеальной военной организации. Однако гибель античнос-

ти была уже реальностью, как червь в сердце прекрасного плода. Среди яркого дня, показавшегося вдруг темною ночью, на городской стене, около мест погребения, уже кричал петух на заре какой-то новой жизни.

Ангел Рима был уже осужден, и «мстители» уже начали собираться по задворкам, петь и ковать свои железные кресты.

Греки были мечтателями и болтунами, римляне были водопроводчиками и инженерами. Взойдя на гору, говорит Д.Джойс, грек тотчас же думал: «Построим здесь храм». Римлянин же: «Проведем здесь канализацию, поставим баню».

Однако римляне строили и храмы — и на улицах города ко времени Клавдия оставалось еще сорок пять тысяч богов и героев, переписанных во избежание истребления. А сколько было сожжено, как дивный Серапис Александрийский, потоплено в реках, расплавлено на монету и разбито! И все же чудо человека было осуждено. Тысячу лет потом апологеты вспоминали, это и мы вспоминаем. Человеческое сердце отвернулось от каменного величия, и то, что некогда вдохновляло до исступления бородатых мужей времени республики, вызывало теперь лишь грустный эстетический восторг стойков и мистов новых таинственных культов. Какой вечер в речах божественного Антонина!

«Боже справедливый, возьми, что пожелаешь, дай, что пожелаешь... Ибо Ты, а не я написал пьесу, в которой мы все актеры». Император — актер, Рим — декорация, освещенная дивным косым вечерним солнцем...

Так и мы ныне уже лишь грустно-торжественно любим Европу, последнюю богиню Бареса, за защиту добродушной земной красоты которой умерло недавно еще столько миллионов. Но жалость и снисхождение не есть любовь, и это все, что в нас есть; и разве у рабочего есть сердце и время, чтобы любить, ибо и чтобы любить, нужно время.

В XIX веке он просто пил и умирал, теперь у него есть «законный досуг», восьмичасовой рабочий день. Но кому не известно, что восьмичасовой день был признан наиболее рациональным и выгодным способом использования нервной энергии рабочего. Одно из достижений научно поставленной эксплуатации. И этой энергии после восьми

часов работы «à la chaîne»¹ вовсе не остается, при нечеловеческом психологическом напряжении внимания. Именно способность ко вниманию израсходована до конца. И хотя физические силы еще остаются, нервной силы — сердца ее — уже не остается, разве только на фокстрот и кинематограф, а без нее нет ни духа, ни искусства, ни счастья.

8

Конечно, с исторической точки зрения мне возразят, что Римская империя погибла от экономических условий, оттого, что Италия уже почти не обрабатывалась, Рим жил привозом, который был в руках случайного диктатора, оттого, что сперва надоело возделывать землю, а потом и воевать. Все это я сам знаю. Но больше верю наивному св. Киприану: «Сердце граждан отвратилось от Капитолия».

Когда-то, смотря на строящуюся руками легионеров, то есть избранных граждан, арку нового водопровода, бородастый республиканец в сандалиях добродушно и степенно ухмылялся, думая: «Нашенское строится». Но около первого года бритый римский молодой человек в котурнах, смотря на воздвигаемое руками рабов новое здание для морских гладиаторских боев, в бассейн которого десять галер могли погрузиться до верхушек мачт, уже думал иное, презрительно-иронически или удивленно произнося: «Ишь, строится», или: «Нерон строит».

«Наше». «Чужое». «До последнего человека защищаем наш город». «Будем ли защищать императорскую провинцию?»

Кто в Европе, кроме акционеров, может сказать: «наше метро», «наш Банк де Франс»?

«Ничье», «чужое» (один шаг до развратного дьявольского).

И разве какая-нибудь кухарка, влюбленная в городского, может сказать: «Наш Иностраннный легион дефилирует по бульвару» или: «Наша полиция разогнала манифестацию»?

Где же во всем этом «наша Европа», которую все же нужно будет кому-то идти защищать, когда «пяtilетнему комсомольцу» сделается двадцать лет? Ибо Россия сейчас

¹ Конвейерное производство (*фр.*).

бедна, как беден делец, все деньги вкладывающий в предприятие, лишаящий себя необходимого; но только такие дельцы и богатеют...

Ну, а книги? — скажете Вы мне.

9

«Благословенный ученик и подобие Иисуса, св. Франциск вообще не любил книг. Но заведя на земле хотя бы малейший кусочек пергамента, покрытый буквами, благоговейно поднимал его и нес, ибо из букв этих могло быть составлено имя Иисуса».

Часто от всех огорчений я ухожу в библиотеку. Ибо уже давно у меня сложилась идея глубокой обязанности относительно умерших писателей всех времен — прочесть их. Ибо, думаю я, они жили не для себя и не для современников, а именно для меня. Они как бы молят меня с полок: дай им исполнить их назначение, спаси их жизни, столь тщетные иначе. И мне казалось когда-то, что если бы все горело и рушилось или тонуло, — я набрал бы полную охапку все равно каких книг и так и шел бы с ними, пока не упал бы и не умер. И вместе с тем «благословенный ученик Иисуса, св. Франциск, не любил книг», — думаю я вдруг, — и что узнал бы большего, прочтя, например, сперва «Физиолога» XII века и затем «О животных» Аристотеля, Гиппократ или Плиния Старшего. В «Физиологе» все это как-то даже интереснее.

«Муравей же, влезши на стебель, спервоначалу нюхает зерно и так различает плевелу от доброй ржи. Так и Господь наш Иисус, проникши в сердца наши, испытует их».

Сколько времени я потерял даром, и на что мне были Полибий, и Диодор Сицилийский, и все ахейские союзы; если есть «Подражание Христу», «Цветочки» св. Франциска и «Трактат о темной ночи» Иоанна Испанского, да и их можно было бы сократить до одного «Изборника», подобного «Пчелам».

И все же боюсь, что я, подобно св. Франциску, окажусь плохим защитником книг, ибо книги сильны против низкой жизни, но добро и гибель братьев сильнее всех книг, и Европа, увы, кажется, погибнет от того, чего, казалось, в ней меньше всего. Европа погибнет от морали.

Когда «пяtilетнему» комсомольцу сделается двадцать лет, он, несомненно, попробует свою несравненную техническую силу и свою новую антихристианскую мораль, разрешающую всякое насилие над «старым миром». И кто защитит тогда? Очень скоро большинство представителей «благоухающих седин» сойдет со сцены и с ними, надеюсь, их привычка к фальшивым громким словам, их заинтересованное воспитание и всякие сомнительные компромиссы. Мы останемся одни и сможем наконец поговорить честно, вне официальной лжи газет. Что выяснится тогда? Недавно одному обществу по устройству докладов необходимо было для полноты впечатления найти среди молодых литераторов хотя бы одного поклонника эксплуатации в стиле «машина освобождает человека», из числа никогда не стоявших ни за одной машиной; было опрошено более пятидесяти человек и с величайшим трудом найден один молодой писатель, да и тот отказался говорить, сославшись на то, что его интересует только личная любовная жизнь и он требует от политики только того, чтобы она ему не мешала.

Плохо дело последней богини.

Здесь, в эмиграции, тише и чище, чем на улице. Эмигранты родились в буржуазном мире и знают его земную сократическую глубину. Но они на опыте, а не из брошюр знают, что такое эксплуатация и какой ценой можно лишь защитить свою духовную жизнь. Они на опыте проверили то, что говорилось и писалось сверху вниз, и не подленькому официальному оптимизму их переубедить.

Так погиб Рим: сердце граждан отвратилось от Капитолия; им надоело воевать — и те, что некогда не допускали рабов до военной службы, как слишком почетной, — теперь начинали довольствоваться наемными вольсками и герулами.

Как раз в это время судьба и выдвинула на авансцену великое переселение народов. А теперь — не та же ли судьба выдвигает «пяtilетнего» комсомольца?

И будем ли мы укреплять дух человека улицы, дабы он шел на смерть в облака смердящего газа за «священный капитал» Коти и за «третью империю» Гитлера-Круппа?

Мы сами, может быть, не станем разрушать этот мир, ибо мы христиане и для нас христианство несовместимо с насилием — что бы по этому поводу ни говорили политиканствующие церковники. Но мы не можем не предвидеть то, что неминуемо наступит. Строй, породивший предстоящий ужас, не продержится в случае новой бойни даже года, даже полугода.

Мы живем ныне уже не в истории, а в эсхатологии, и даже самые грязные газеты это смутно понимают.

Но какой же из этого вывод? Что же следует делать нам — художникам, писателям, скульпторам, композиторам?

12

Вывод прост: следует всеми силами будить, трясти и даже мучить Европу, чтобы она в эти последние годы перед бесповоротною гибелью очнулась вдруг, произвела бы необходимые «до зарезу» социальные реформы, освежилась бы морально, экономически и спортивно, чтобы она вновь, хотя бы немного, возвратила себе любовь обездоленных. Ну а если она, замороженная газетными жуликами, не услышит, не проснется? И снова за грехи имущих начнется организованный расстрел на двадцати фронтах?

Тогда поручим свое сердце благословенной госпоже святой бедности, невесте св. Франциска Ассизского и Серафима Саровского, — и временно уйдем в свое апокалипсическое искусство. Но будем помнить, что только самые физически сильные, самые образованные, самые стоически-настроенные смогут выжить. Вновь посеять древние семена, возродить сперва тайные союзы, немногочисленные секты; потом, двенадцать часов «ударно» работая, — петь гимны и псалмы; уничтожаемые, но непреклонные, — вынести вновь на свет наше абсолютное утверждение Свободы и Духа.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗНАКОМЫЕ

1

К

ак часто, присутствуя на литературных собраниях, я поражаюсь какому-то снисходительному, преувеличенно-спокойному, почти презрительному тону, которым молодые писатели говорят об общественных вопросах, например, о так называемом «общем деле эмиграции», тема, на которую, по традиционному скату, чаще всего съезжает дискуссия там, где, скучая, собираются русские. И не с той точки зрения, правы они или нет, а просто меня всегда интересовало, куда девалась страстность этого поколения, или они так и родились с холодной кровью. Но нет, едва вышедши из собрания, с его бутафорским председателем и «предыдущими ораторами», в кафе или на дому, собравшись тесным кругом, они опять обретают способность волноваться и даже ссориться «из-за идей», во всяком случае говорят о них с той же теплой заинтересованностью, с которой они играют в карты, ревнуют, ненавидят, завидуют. Только все это «в личном порядке».

Действительно, чувствовал и я сам: есть что-то замораживающее, ирреализирующее, упрощающее все — в перенесении разговора «на общественную почву», как будто, собравшись в накуренном помещении, люди будут ближе друг к другу, полюбят что ли друг друга по социальному заказу. Напротив, нигде так не чувствовал я одиночества, разъединенности, взаимной враждебности, и если уж так

Друг другу мы тайно враждебны,
завистливы, глухи, чужды... —

почему же те же вопросы так интересно бывает обсуждать вдвоем, вчетвером за чаем, впятером, возвращаясь домой.

Ответа, кажется мне, недалеко искать... Потому, что там они разворачиваются в живой атмосфере взаимного интереса, в атмосфере любви, а выходить из круга любви и людям, и идеям вредно, губительно. Особенно людям вредно видеться с теми, кто их недостаточно любит, ибо человек с трудом переходит меру, положенную ему уважением другого, и трудно быть умным, трудно, мне кажется, вообще дышать в присутствии недоброжелателя. Конечно, это не касается людей с раз навсегда готовым мирозозерцанием, которые даже любят митинги и препирательства. Ну так, значит, и всегда было? Да, вероятно, так всегда и было, и все общественные движения есть лишь постфактум, поздний разряд какого-то идейного тепла, которое было скоплено в тесных кружках, рождено с глазу на глаз. И христианство тому пример; ибо в свой героический период это было буквально «Христос и его знакомые», так что история религий правильно замечает, что такие события, как вход в Иерусалим, должны были происходить в совершенно частном, прямо семейном порядке, иначе или они были бы запрещены, или «профанская» история сохранила бы о них какой-нибудь след. Потом только все это было подхвачено гениальными популяризаторами-журналистами, вроде Павла, с редкой бесцеремонностью приспособлено к состоянию умов, «попало в газеты», сказали бы мы теперь. Итак, я за личное общение... Но вот данный молодой человек известен тем, что ни в каком частном кругу не загорается, не оживляется никогда. «Кого же Вы любите?» — «Я? никого в частности. Я люблю общество, человечество». (Патент на каменное сердце.)

Теперь меня могут спросить: «Ну а как же борьба с большевиками?» Я отвечу: «Идейная борьба с большевиками бесполезна. Она закончена, ибо оба лагеря дошли до крайнего выражения своих идей (личность священна — личность ничто), и вот почему нам стало скучно». Идеи эти уже могут только сталкиваться, сталкиваясь, приобретать все более грубую уличную форму (форму переругивания). С большевиками можно бороться, только отвечая насилием на насилие, новым белым движением, действием, а не словами.

2

На самом деле, вероятно, ни чистой личности, ни чисто-го общества, противопоставленного ей, нет вовсе. Как нет ни положительного, ни отрицательного электричества, без муки разделения и без стремления преодолеть это временное, неестественное состояние. Ни того, ни другого в чистом виде, ибо повсюду видимы кружки, тесные группы, дружеские компании, семьи, вообще живая бесформенная «среда», и во всяком случае, не абстрактное равенство. Нет, один человек бесконечно ценнее другого не вообще, а по роли своей около любящего его. Так, Христос воскресил Лазаря, поступив внешне нелогично, даже несправедливо, соблазнительно, ибо почему тогда не всех вообще воскресил. Ответу: потому что Лазарь был его личный друг. Ибо и Бог имеет друзей, например, Иоанна, возлежавшего на груди Божией. Вообще, Царство Небесное, думается мне, не казарма и не театр, и в нем никакого равенства перед Богом, начальством, а ряд живых, ничем не объяснимых таинственных личных заговоров с Богом. Святость есть никому не объяснимые личные отношения с Богом, наподобие супружеской любви, в «качество» которой никто извне проникнуть не может, а извне «что они делают, душа с Богом, или муж с женой?» — «Да все то же самое» (соблазн и чепуха).

Не существует абсолютной личности, и это, по-моему, декадентская выдумка, потому что, даже желая остаться сам с собою, человек только суживает круг своего общения, остается со своими воспоминаниями о людях же и никогда не остается один, даже в ненависти или презрении к окружающему; так и верующий никогда не один и, лишенный друзей на необитаемом острове, беседует с тенью, с идеей абсолютного друга, который бы все понял и все разделил. И личность и общество — только математические пределы, с приближением к которым увеличивается боль. «Чужой в народе», «со всеми и без никого» — отсюда бесконечная печаль казенных учреждений и благонамеренных речей.

3

Неповторимость личности раскрывается только любящему, и присутствие, собрание любящих (хоть бы их было только двое) необходимо, чтобы родиться, распутиться да-

рованию (кроме дарования чудовищ самомнения), отсюда своеобразная мораль тесных кружков и оправданность их снобизма. «Этот своим носом, своими манерами разрушает нашу атмосферу», ибо часто идеи только еще смутное веяние, они только «носятся над собравшимися», и одна только позитивная физиономия способна помешать им родиться. (Так, в малом Пруст и, вернее, герой его и Суан были «к делу», а «чучела Третьей республики» всему мешали, а в великом христианство тоже было какой-то неуловимой атмосферой галилейских разговоров Христа и его друзей, которую Павел, например, совершенно не понял, не мог понять, потому что не был при этом, например, в вопросе о браке, о котором Павел грубо, прямо-таки оскорбительно грубо, пишет, в то время как сам Христос не только присутствовал на свадьбах, но еще и обращал воду в вино, чтобы они были веселей.

Павел своим бешеным темпераментом свел на нет, заговорил, стер с лица земли Иерусалимскую общину, ибо три года даже не поинтересовался поехать в Иерусалим, расспросить о манерах, о голосе, о внешности Иисуса, а приехал только для того, чтобы устроить грандиозный скандал.)

Эмиграция есть не армия будущей России, даже не кадры ее, скучающие в бездействии, а просто какая-то русская манера смотреть на мир (ибо там, где два еврея читают Тору, там и Палестина). Россия, если она действительно интеллигибель, живая идея, не нуждается вовсе в огромном количестве поклонников. Отсюда я часто оправдываю явление так раздражающего отцов эмигрантского благополучного отношения к миру и какой-то новой стоической бодрости, ибо жизнь ее не на собраниях и не в передовых статьях, а там же, где и всякая жизнь: в дружеском кругу, в мало понятной ее полурукописной литературе и в особой русской грусти каждого жеста, каждого слова, каждой улыбки эмигрантского молодого человека. Но с Россией у каждого тоже свои личные счета, в тайну которых невозможно проникнуть со стороны.

4

Чему, собственно, вы огорчаетесь? — хочется мне всегда спросить; ведь если Россия есть как идея, она бессмертна, неистребима, не нуждается в газетных статьях, и в свое вре-

мя круг преступления закончится кругом наказания, а он в свою очередь кругом раскаянья, и «бесноватый усядется у ног Христа», как говорит Мережковский. Напрасно вы думаете, большевизм вовсе не такое поверхностное явление для России, ибо не только он уже был в писаревско-добролюбовском предпочтении хорошо сшитого сапога Венере Милосской, но и в страстном радикализме Толстого он уже был, да и вообще — в глубоко свойственном русским желании свести христианство только к христианской морали, все это ошибка масштаба, назначение которой привести человека в «темную ночь» святого Жуана де ла Круза. После которой, то есть после полного, предельного, разочарования во всяком «позитивном» счастье только и [начинается религиозная жизнь]. И что другого может сказать христианин большевику, как не то, что сказал Господь Бог Адаму, то есть: «пойди и попробуй», — и даже принципиально жалко, что в России так слабо получается с материальным благополучием, ибо только когда оно будет повсеместно достигнуто, человек, испробовав его, войдет в окончательную «темную ночь», то есть в мистическую смерть, только через которую и доходит человек до христианства. «Чем хуже, тем лучше». Мы заговорим с народом тогда, когда он захочет нас слушать, а пока мы знаем, что никакая социальная путаница не может разрушить личной жизни человека, на глубине которой находится его величайшая радость, его личное, никому не передаваемое общение с человеком и Богом.



рудно написать о нас самих, и вместе с тем мы сами — это единственная тема, реальность, которую знаешь, на которую хочется писать, подобно тому как «я сам» — единственная тема стихов.

Символисты и сюрреалисты бесконечно много написали о себе. Новая эмигрантская литература — почти ничего. Попробую описать то, что вижу за тысячей недостатков. Но ведь будете хвалить?.. Да и это естественно, как не хвалить то, что любишь, даже стараясь только объяснять...

Новая эмигрантская литература, та, что сложилась в изгнании, честно сознается, что ничего иного и не знает и что ее лучшие годы, годы наиболее интенсивного отзвука на окружающее, проходят здесь, в Париже. Не Россия и не Франция, а Париж (или Прага, Ревель и т.д.) — ее родина, с какой-то только отдаленной проекцией на русскую бесконечность, как Афины или Иос были родиной пишущего грека с второстепенной проекцией на огромный античный мир. Эмигрантской критике это кажется наивностью, она еще зачастую загипнотизирована старой Атлантидой — Россией символизма, которая для нас все больше туманная «священная история».

«Числа» как феномен эмигрантского духа суть тот журнал, где он впервые посмел прийти в себя за границей. Отдать себе отчет в том, что в России или в эмиграции, в Берлине или на Монпарнасе человеческая жизнь продолжается, с вечными ее полюсами — счастливой личной судьбой и одиночеством, но не в отвратительном, скрежещущем, жалком чеховском стиле; что, мол, «личная жизнь все равно, подлая, продолжается, ничего с ней не поделаешь», а Личная Жизнь с большой буквы, по-западному, с искренним уважением к ней как средоточию всего содержания, всей глубины жизни вообще, только избыток которой, как

сбегающее молоко, перекипает, проливается, заемно и временно в общественную сферу, в сущности, поневоле; ибо настоящая общественность есть тоже форма «частного дела», форма дружбы и товарищества между человеком и его знакомыми.

В «Числах» впервые кончился политиканский террор эмигрантщины, и поэтому новая литература вздохнула свободнее, освободившись от невыносимого лицемерия общественников, не достаивавших внимания личную жизнь, над которыми так горько смеялся Розанов, говоря, что они «при свете огарка не разглядели святого православного брака».

Наша жизнь здесь создавалась; она здесь мучается, прозябает, радуется, торжествует, разрушается. В этом впервые посмели себе сознаться «Числа» — к громкому возмущению иных: «Значит, вы не русские». (Как будто русским или негром можно перестать быть.) — «Тогда пишите по-французски».

Но о России, и не по-французски, а как и о чем хотим, безо всякого разрешения, но с западной откровенностью и некой религиозной обреченностью самому себе и своему национальному происхождению. Мы — литература правды о сегодняшнем дне, которая, как вечная музыка голода и счастья, звучит для нас на Монпарнасском бульваре, как звучала бы на Кузнецком мосту, только что здесь в ней больше религиозных мотивов и меньше легких, халтурных денег, меньше юбилеев, авансов, меценатов и, слава Богу, меньше литераторов, но зато больше мужества, высокомерия и стоической суровости.

Что бы ни говорили литераторы со слезой, как бы ни заполняли своими бесконечными описаниями березок эмигрантские газеты, литераторы «поколения преступления» (то есть потери России) все больше теряют почву под ногами, люди же «поколения наказания» (то есть сформировавшиеся в железном веке расплаты за неудачу — вину отцов) выжили, приспособились к жизни и принялись за работу. Так что даже внешне бросаются в глаза фальшивое добродушие и велеречивая растерянность одних и высокомерная суровость, мужественная четкость, спортивная подтянутость других. «Числа» — журнал авангардистов новой послевоенной формации, это не формальное течение, а новое

совместное открытие, касательное метафизики «темной русской личности», следственно, метафизики счастья, ибо личность, свобода и жизнь, счастье — равнозначные понятия. Они — авангард русского западничества и, как таковые, имеют за собой долгую культурную традицию, но они метафизически непримиримы, и если Россия все-таки пройдет мимо личности и свободы (то есть мимо христианства — с Богом или без Бога), мы никогда не вернемся в Россию, и вечная любовь к России будет тогда заключаться в вечной ссоре с Россией. Ибо, думаю, что, откинув личность и ее свободу, организовав, наконец, обезличенные массы людей-инструментов, государство, не рассеивая больше усилий, победит материальный мир и достигнет, может быть, грандиозных, вавилонских, масштабов своих технических осуществлений, но падение его будет так же молниеносно, как падение Ассирийских царств, изобретателей организованного рабского труда, которых скучно и некому было защищать, ибо некому было любить, не было человека, личностей, кроме мифологических личностей царей.

Россия искони имеет склонность к этому вавилонскому принципу управления, и все-таки грустна историческая очевидность, что до сих пор только деспотические правительства в ней относительно долговечны. Видимо, это не простая случайность, и что-то соответствует этому и в диалектике русского духа, в смысле знаменитой и сколь, увы, глубокой пессимистической фразы о том, что каждый народ достоин своего правительства.

Новая эмигрантская литература... Что это, скажут, вы вывеску переменяли, вчера еще была только молодая эмигрантская литература...

Да... Эмигрантская литература засиделась в молодых. Иные молодые люди дожили до седых волос, но это не страдающие юноши с иконописными лицами, а, скорее, стадо наэлектризованных одиночеством, лопающихся от темперамента, сходящих с ума от полнокровия жеребцов. Потому что эмиграция есть раньше всего несчастье холостой жизни, крови, не имеющей применения, кипящей без исхода, потому что эмиграция есть разлука с любимой, а жена — публика — аудитория в России, то есть сама Россия — жена, разошедшаяся со своим мужем, раз-

лучница, изменившая с талантливым проходимцем, но все же любимая. Продолжительный, вынужденный аскетизм есть отец сумасшествия, мании величия и мании преследования, но от него происходит и возможность горячей романтической любви к жизни, которую я явственно чувствую за каторжной мрачностью шаршуновского героя, лишь на минуту, как лев из зверинца, сумевшего сбежать из своей тесной клетки. Даже в его срывающейся, отрывистой, рубленой речи чувствуется ошалелый от воздуха варнак, драматизирующий всякую встречу, всякий ничтожный разговор с Наденькой, потому что чувствительность его гипертрофирована, экзальтирована до вопля и одиночество сводит его с ума.

Его постоянно взрывает и разрывает тревога в ушах, без перерыва тарыхтит пожарный колокол, потому что сейчас, если Наденька не так ответит на поклон, опять над ним захлопнется железная яма одиночного заключения, и это сдавленное кипение жизни ничего, решительно ничего общего не имеет с декадентством, с душами, не лишенными проявления, а сами по себе растратившими жизненный пыл.

То же и у Фельзена, у которого личные отношения, своя любовь от всечасного сосредоточенья над ней, от вечного форте и драматизации каждой минуты отношений *est transposée dans le plan religieux*¹. Облик героини расплывается, затемняется, превращается в какое-то древнее божество, тем более таинственное и очаровательно-болезнетворное, что оно не знает, чего оно хочет. Здесь так же, как и у Шаршуна, кипение, мучение, но ни одной ошибки жизненного инстинкта, скорее, живое сознание опасности за жизнь и отчаянная ставка на Россию, потому что в эмиграции Россия есть русская женщина. И весь бесполезный пыл в расцвете сил вырванного из почвы существа переносится на воплощенную родину, ходящую и говорящую, которая больше знает, как Россия спасет мир, чем сто тысяч книг, потому что она спасает эмигрантского молодого человека от холодного люциферического ада, который книги только увеличивают. Значение любимого существа сразу удесятывается, и отношения переносятся в религиозный план. Чи-

¹ Переносится в религиозный план (*фр.*).

татель не сразу поддается, но скоро понимает тревогу последнего уходящего поезда, понимает, почему так важно, чтобы Леля не изменяла с Шуркой, потому что история произвела на ней *un cumul de valeurs inouïes*¹, и Леля — мифологическое существо, потому что она магический кристалл родины и жизни.

Ту же жизнь, по-звериному воющую от разлуки с самой собой, слышу я и в героине «Тела» Бакуниной, которой все кругом чуждо, что отрезано от жизни и от ее проявления. Жизнь всегда есть открытое электрическое поле, витальный континуум с двумя полюсами, мужчиной и женщиной, писателем и публикой, женщиной и семьей, элитой и народом. Выключенная судьбою из кровного общения с подобающими формами, социальными и семейными, и физически, физиологически не могучи питаться суррогатами сексуальными и социальными, — она уже не говорит, а по-лесному голосит, вопит от голода-избытка. Здесь тоже пыл бесполезно кипящего сердца, без родины, среды, без личной достойной участи, где бы силушке развернуться, боль одиночества, но ни капли усталости и декадентства. Жаркий день, раскаленное солнце жизни, каменная пустыня неволи чужбины. «Говорила сыну мать: “Не водись с ворами, будешь по полю гулять, скуют кандалами”». (Розанов говорил России: не водись с теми, кто не ценят родовой национальной православной жизни, с верхоглядами в железных очках.)

* * *

Часто слышатся сетования... Нет статей, нет людей новой формации, пишущих статьи. Действительно, все безнадежно пожимают плечами, отказываются, не считают нужным быть откровенными. Паника отцов захлестывает сыновей, и всем нам знаком тип молодого эмигрантского человека, съеденного перманентной растерянностью бывших людей. «Писать... — спрашивает он, — но для кого, к чему, зачем? — и в глазах дочитываешь продолжение... — Разве не провалилось, не полетело все к черту?..»

Этот молодой, интегрально сбитый с толку эмигрант возмущает меня как некое унижение вечного вненацио-

¹ Неслыханное нагромождение ценностей (*фр.*).

нального, внерасового человеческого достоинства, в нем я узнаю мертвые глаза мертвых (от скуки) чеховских героев, по заслугам воспетых Дон Аминадо. Это мертвая пыль печали на живом теле, ибо там, где нет самоуверенности, самолюбия, самомнения, высокомерия, — нет и жизни, ибо жизнь редко ошибается относительно самой себя, и чаще всего человек стоит ровно столько, во сколько он сам себя ценит, если он не абсолютный дурак, и тогда все над ним смеются в его же кругу. Нет, не самомнение, увы, а самоунижение, недооценивание себя есть национальная болезнь русской личности, столь же тяжелая и мучительная, как и навязчивое самопревозношение себя, России в целом (в стиле Россия-мессия и т.д.); хочется крикнуть: «Разве вы не знаете, что за вас лично Христос умер?..» или в отчаянье: «Хоть бы вы спортом занялись или влюбились». Стыдно за стыд самого себя, доходящий у иных русских до того, что они как-то стыдятся даже и ходить по улицам, вечно как-то растерянно, жуликовато улыбаются. Редко, необычайно редко, встретишь нормально поднятую голову, суровое, в меру высокомерное лицо. И вместе с тем за каждого из них умер Христос, и вместе с тем каждый из них — бездна, чудо, тайна творения, абсолют боли, величия, содержания, тайной, одному любящему человеку раскрывающейся красоты. Но как рассказать, как объяснить каждому человеку, что каждый человек единосущен Абсолюту, как вдохнуть в них чувство их неизвестного им величия, чувство античной вечной красоты каждого движения, каждого человека...

Единственный способ это понять — объяснить, раскрыть свою неповторимость, свою божественную непостижимую отвратительность, нищету, измену. Это и есть чудо Подпольного человека, что в нем посмело раскрыться все величие ничтожества, вся мистическая необычайность обыденности.

Новая, субъективная, дневниковая литература учит человека как можно большему уважению к самому себе, к вечной своей любви, вечной разлуке, вечной верности, вечной измене Богу, совершенно личной. Эта новая литература спасает человека от смертельного для всякой жизни русского самоуниженья. Но нужно, во-первых... уметь себя видеть. Во-вторых, уметь описать то, что увидел. В-третьих, сметь это описать, а последнее самое трудное.

Мы собрались в «Числах» не выть и не стонать, а прийти в себя, отгрести разбитую посуду и признаться друг другу, что жизнь продолжается.

Мы собрались посмеяться над теми, кто думают, что если нет Земско-городского союза, березок за окном и «Русских ведомостей» — счастье и любовь больше невозможны, и также над теми, которые считают, что ничего не случилось особенного, что русский Земско-городской союз, березки и «Русские ведомости» не были феноменами русской платоновской идеи так же, как Пушкин и Рублев, и что они не соответствуют русскому моральному здоровью так же, как и в одном организме цвет глаз соответствует цвету волос, а величина и форма ноги величине и форме уха.

Но больше всего нас интересует тайное величие жизни во всем, ибо счет каждого человека должен был бы начинаться с миллионов, но кто видит эти золотые запасы; увы, они за слоновыми стенами, за сотней решеток самонепониманья и косноязычья, и только в себе их можно увидеть, и только в том человеке, которого лично, любовно любишь. Все остальное, или почти все, есть китайская грамота. Слушай и удивляйся, но не только толковать и судить, а и мечтать, что каким бы то ни было безумием морали, вне чуда, Христа и благодати, сможешь увидеть хоть хвостик рызы, в которой всякая душа щеголяет перед Богом.

Мы собрались посмеяться над теми, кто плачут, потому что ничего не потеряно, даже когда потеряно все, и посмеяться также и над теми (но по-другому и зло), которые скупающе смеются над всем, заживо разлагаясь среди крестословиц и бриджевых чемпионатов. Мы не преувеличиваем биологической опасности русскому духу по-бергсоновски непоправимо ошибаться дорогой и запутаться, но и скрываем ее, ибо она реальна, хоть даже формы апокалипсиса России не лишены библейской величественности, античной грандиозности, которая есть и в большевиках (хоть только «Числа» — настоящие культурные антибольшевики, ибо только они физически ощущают «вкус» личности и безграничной свободы). Величие силы, хотя бы и ошибшейся адресом, иначе они были бы свергнуты (или тогда русский народ ничего не стоит, если и гнилой комар может его оседлать). Я же считаю большевиков грандиозной болезнью русского духа, но не новой болезнью, а вечной бо-

лезнью русской диалектики ценности личности, ибо для меня истинные вдохновители пятилетки не Молотов и Каганович, а ненавистные Розанову Иван Грозный и Писарев с Добролюбовым.

Хотите — читайте, хотите — не читайте, но мы пишем о своем, ни на кого не похожем, не русском и французском, а парижском опыте, и он так же, как опыт всякого человека во всякой стране, так же совершенно ценен, неповторим и всему миру важен, ибо я знаю, что у каждого, абсолютно каждого человека есть свой неповторимый личный заговор с Богом, свои физические, сексуальные отношения с ним, и от них в каждой душе, во-первых, некая неповторимая красота, понятная лишь тому, кто по-настоящему любил эту душу, во-вторых, какое-то неповторимое, единственное в творении безобразие, как бы личная его сексуальная измена Богу (и если первое — причина его бессмертия, от второго он физически умрет, второе есть неповторимый грех каждого человека), а между светом и тьмою в нем, в неустойчивом равновесии, единственное в мире индивидуальное мучение души не могущего осуществить свое добро — бессмертие.

Не любя, не уважая самого себя (то есть любви Божией к себе), человек, по-моему, органически не способен ни любить, ни понимать никого другого, ни писать, ни читать ничьих произведений.

Мы на Западе научились уважению, французскому уважению к себе и к своей личной жизни, мы смеем ее описывать точно, откровенно, подробно, серьезно и вокруг «полноценности личного опыта», мы стоворились в «Числах».

Такие люди, как Шаршун, Фельзен, Бакунина, суть не обещания, а результаты «серьезного отношения к делу», и все они, благодаря своему индивидуальному искусству, нигде не могли начать печататься, кроме «Чисел», ибо русское ухо настолько не привыкло к уважению к личному опыту, что их вещи внушали просто недоумение «среднему русскому редактору». Поэтому «Числа» уже сделали свое дело, самое большое культурное дело, которое сделано после революции, в то время как советская литература, несмотря на обилие талантов и на грандиозность масштабов, все более погружается в официальную мертвечину и астрономическое подхалимство, причем, увы, искреннее подхалимство,

не только власти, но и вообще эпохе, классу, человеку улицы — типичный феномен продолжающейся русской болезни ценности: неуважения к самому себе и к своему личному неповторимому опыту, — от которой скука, пустота, фальшь, потеря жизни.

Журнал не есть механическое соединение людей и талантов, людей даже самых крупных, талантливых, даже первоклассных. Журнал есть идеология, или инициатива идеологии. И хотя некоторые критики «Чисел» писали о № 1, что журнал построен на надеждах, а не на реальностях, — смутное, музыкальное веянье было предугадано редактором правильно.

Все это создалось, кристаллизировалось, выявилось, сговорилось вокруг правильно понятого направления самоутверждения «эмигрантского духа», из-за отсутствия которого погибло столько газет и журналов.

«Числа» есть атмосферное явление, почти единственная «атмосфера безграничной свободы», где может дышать новый человек, и он не забудет ее даже в России.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КНЯЗЯ МЫШКИНА

В

общем, я всегда мечтал быть тем неотразимым клоуном с солнцем на груди и луной на спине, который так хорошо играет на мандолине и на все имеет ответ, а оказывался вечно именно другим, его партнером, который всегда под самый конец теряет огромные штаны и уходит с трагическим видом и яичницей на голове.

* * *

Но от удачи уже так далеко, а до Б<ога>, увы, еще вовсе не близко. Например, попробовал на днях перекреститься на улице, ибо, согрешив мысленно, боялся, что Б<ог> меня сейчас убьет, но не мог, и все тут... Страх насмешки, что «все знают», что «выгонят», сильнее оказался страха смерти.

Как стыдна святость, и как далек еще мой вечный идеал — Мистический интегральный нюдизм.

* * *

Пятилетняя бабушка Н.Т. однажды (в Париже) сочинила:

Quand le beau temps commence
Ca finit par la pluie¹.

Отец ее (важный чиновник) прочел через плечо и, степенно улыбнувшись, дописал стихотворение:

Chantons donc la romance
Sous le parapluie².

¹ Когда начинается хорошая погода, дело кончается дождем (фр.).

² Будем же распевать под зонтиком (фр.).

Кто они были, эти люди: дети с орденами, дети с бородами, дети с саблями, а нам тысячу лет, потому что мгновение под наркозом на операционном столе длится год, а пятнадцать лет под наркозом — тысячу.

* * *

Психоаналитическая космогония... Что было сначала... Вообще универсально-серое... Потом тихое веянье расчистило место будущего мира, сдуло, отмело все черное книзу и белое сосредоточило наверху... Это материя и дух, электрические супруги... и потому «люди смотрят на небо и думают: там Бог, а ангелы смотрят на землю и думают: там Бог»... Но где же Он? Не там и не здесь, а при встрече их, на самой поверхности отражения, в плотском материальном явлении духа... Здесь Кант не понял, а Гегель понял... Сущность не «за вещами» и не «за разумом», а на самой поверхности, в радостной, сияющей, реальной встрече того и другого в пластически-объективном рождении духа... Не знаю насчет папиросы Розанова... но свежесть яблока, блеск воды, прозрачность деревьев, которые растут в царстве, сто раз реальнее, конкретнее, осязаемее их отражения на земле... Нет, скажи все-таки, как ты себе представляешь царство, не рай имей в виду, а царство — Малкут, ибо все-таки идея рая есть отдых усталых, а усталость наполовину не понимает, не принимает жизни.

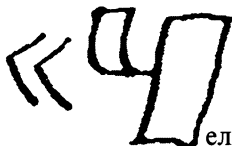
Это вроде сна... во-первых, низкий одноэтажный дом, где внутри все деревянное, стены и старая лоснящаяся мебель... Снаружи ярко освещенный солнцем сад, ветви и отблески которого наполняют все... а за длинным столом Он и Авраам пьют молоко, глядя в сад. Он сидит спиной, а Авраам в профиль, так что видна его большая загорелая микеланджеловская рука, большой нос и иконописная борода, как у старого дворника; и окружают их и дальние поля, сказочная тишина и огромная яркость, какая-то не грубая, а удивительно спокойная глубина света... Того, что они говорят, я не понимаю... Разговор часто прерывается молчаниями, во время которых сдерживаемое изо всех сил невероятное счастье и уважение наполняет все кругом, и от каждой фразы какое-то большое прошлое время встает вдали, вдруг становясь насквозь ясным и радостно вспыхнув, успокоившись, наконец, вырывается на свободу...

Но что тебя особенно удивило, что ты запомнила больше всего?.. — Не знаю... свежесть какая-то, спокойная полнота их строгого счастья, ты знаешь, я во сне припомнила: «Кущи Господни вечно свежи», и еще *l'aisance incroyable*¹ их жестов.

* * *

Мелодия говорит такту: звучи и проходи, не задерживайся, не мешкай, расточись в звучании и замолчи; иначе (т.е. хотя звучать дольше положенного) ты тотчас начнешь мешать следующей, наступающей музыкальной фразе. Так дух музыки гонит все, едва прозвучало оно, едва выпростало свою мелодию вон из музыки, вечно торжествующее становление которой неудачник воспринимает как отвратительную жесточайшую необходимость... Но где же звучит вечно?.. Только там, где времени не будет... Значит, все сразу, какофонически, перебивая друг друга! Нет... Вся мелодия видна оттуда как целое, развернутое вниз, и вся она поет сразу, все такты ее, и музыкальные фигуры уже не заглушают друг друга, а внеполагаются, каждая в своем особом измерении, там, где воскреснут все мертвые... Не из гробов, конечно, а из памяти мира в Сефире Бинах... Жена Господня их вспомнит, и они вернуться к жизни, когда в субботу юбилейного года она начнет вспоминать свою неделю труда... Потом улыбнется, ласково поцелует мужа и, помолчав, скажет... Неужели вообще возможно было, чтобы наше счастье не имело свидетелей, но, действительно, только те поймут нашу радость, кто помнят нашу разлуку, и как страшен и гол был мир, когда в великом Твоем Имени Иод отделился от Хе и Шекина покинула жизнь.

¹ Непередаваемое изящество (*фр.*).



Человек сделан из сопротивления, все мы сопротивляемся самим себе, и, если сопротивление не исходит от внешних обстоятельств, оно рождается из глубины сердца», — писал Барбе д'Оревильи о героях своего «Женатого священника». Так, в каждом эстетически культурном человеке чрезвычайно сильна жажда симметрии и строгого порядка, в противоречии с другой жаждой — неожиданности и живописного беспорядка, и неизвестно, какая из них более природна.

Конечно, думается, жизнь народа, лишенного свободы и подчиненного сильной «просвещенной власти», будет более симметрична и организована, и он много достигнет, потому что его усилия более собраны и не противоречат одно другому, но другая часть души возражает, что это будет безжизненная официальная архитектурная красота, хотя есть прелесть и в той особенности древнего искусства, что в нем чаще всего отдельный художник стремился как можно тщательнее скрыть свою индивидуальность в вечных формах неизменного стиля или в каноне того мастера, у которого учился.

Свобода и произвол личной инициативы как бы даже страшны эстетическому оку, и характерен, например, зохарический рассказ о том, что, узнав Божественное намерение создать человека свободным, ангелы в смятении просят Бога не делать этого, ибо тогда человек нарушит симметрию неба. Однако, выслушав возражения, Бог все-таки делает человека свободным, и отсюда начинаются все неприятности.

Так, помечтав печально о грандиозных архитектурных линиях, сердце все же склоняется на сторону «хаотической свободы», по чисто религиозному мотиву, по которому

древние авторы заставляли Бога так поступать, а именно: во избежание мертвой скуки небесной симметрии.

Богу было скучно (нежизненно, бессмысленно) среди слишком послушного ангельского воинства, читаю сквозь строки древних текстов, мертво от «безопасности» небесной иерархии, ибо жизнь неотделима от доли непредвиденного, нестройного, рискованного и комичного, и поэтому Он создал «на свою голову» неуравновешенного человека и любит его больше, чем ангелов, этих специалистов по «grands mouvements d'ensemble»¹.

Так, сравнивая двух соседей, Давида и Голиафа, Иудею и Ассирию, поражаешься богатству в эпосе маленького народа разнообразнейших индивидуальностей — от Иакова до Гедеона (богатству совершенно греческому, и это за 300—400 лет до Алкивиада). В то время как вавилонский эпос (Вавилон — типичное «симметричное» фашистское государство) есть только эпос богов, царей «и их знакомых», нечто очень величественное, но крайне схематичное.

Свобода, разрушительница симметрии и небесной благопристойности, есть камень преткновения религиозной литературы, который отвергли строители (ангелы, силы, древнейшие народы и т.д.), но который по возобновлении мира делается главою угла.

¹ Большие вольные упражнения (фр.).



Представление о бедняке как о существе более моральном, нежели богатый, происходит от недостатка воображения, ибо каждый бедняк — потенциальный тарасконский парикмахер.

Отсюда откровенность о равенстве по аморальности как один из способов уничтожения небратского отношения между людьми.

2. Универсальная заинтересованность здоровой жизни — естественное ощущение; жизнь, семья и деньги — то же самое; отсюда здоровая реакция буржуазной Франции, вышедшей на улицу, едва почувствовала, что верхи провалились.

3. Марксизм как закон истории в аспекте первородного греха, то есть борьбы всех против всех. Двусторонность марксизма как двух борющихся <ся> сил, ни одной из коих не принадлежит моральное первенство. Отсутствие в России у правящих классов чувства законности и ценности своего права на жизнь. Отсюда моральная незащищенность имущих классов перед революцией — не посмевших защищаться 50 000 офицеров в дни октябрьской революции.

4. В России — ослепление общественностью. Жизнь Толстого в среде русской совести как грехопадение и праведность. Жизнь Толстого с точки зрения смысла жизни как самоутверждение древнего и самоотрицание его.

5. Россия посмеивалась над Древним Заветом и до<еха>вшая до Нового — повисла в пустоте.

6. Две точки счастья — личная жизнь и Царство Божье. Абсолютная пустота между тем и этим, и в ней Киркегарт и весь интеллектуализм.

7. Высокомерие христианства без Бога достигалось одним безумием морали. Практическая невозможность и потому абсолютная чудесность христианства из-за греха. Буд-

дизм — как все, что может быть достигнуто человеческими силами. Буддизм как освобождение от жажды жизни, от воли Древнего Завета. Неподвижность, безжизненность буддизма русского как феномена [нрзб.] слуха.

8. Смирение древней христианской культуры Запада, видимое в западной литературе, так углубляющейся в личную жизнь как единственно касательную человека после греха. Пруст как разложение христианского элемента личной любви, как обнажение ее заинтересованной, властолюбивой природы.

Спасение через любимого человека посредством транспозиции личных отношений в религиозную сферу.

9. Православие как союз с древней матерью-землею. Учение православной церкви о браке как о цели в себе — о счастье завершающего человека.

10. Метафизическое покаяние [нрзб.] как вчерашний грех Розанова и Федорова, [обратившихся] к Древнему Завету — религии отцов.

Деньги как живая кровь жизни. Уважение к деньгам как уважение к крови.

11. Круговая порука гибели всего как круговращение всеобщей заинтересованности, буддийское ясное зрение всего как феноменов природы жизни, сходящееся со средневековой мистикой или опытом [нрзб.] в себе и в мире. Постигание абсолютной личной аморальности как христианское покаяние, «катарсис» в античном смысле.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА

ПО

февраля сего года у Бернгейма-младшего (83, Fg St-Honoré) открылась выставка иллюстраций Марка Шагала к басням Лафонтена. В каталоге выставки Амбруаз Воллар поместил статью, кончающуюся словами: «Шагал кажется мне очень близким и, в известном смысле, родственным эстетике Лафонтена, одновременно вдохновенной и тонкой, реалистичной и фантастической».

*

На выставке Добрынского, организованной «Числами» осенью и вызвавшей большое внимание к этому художнику, Люксембургский музей приобрел одну из выставленных вещей, которая в настоящее время висит в зале современной Парижской школы.

*

Затруднения, переживаемые сейчас художественной торговлей, скорее хорошо отзываются на уровне больших выставок, ибо картины французских мэтров дольше и в большем количестве задерживаются в руках торговцев картинами. Так, совершенно исключительный интерес представляла только что закончившаяся выставка Моне и некоторых других импрессионистов в галерее Дрюан Руэ. И будет, вероятно, готовящаяся к осени этого года выставка Ван Гога у Марсея Бернгейма.

*

По поводу смерти знаменитого торговца картинами Зборовского, последовавшей этой зимой неожиданно, циркулирует множество слухов и воспоминаний о его деятельности как «изобретателя художников».

Так, первой удаче Зборовского относительно Сутина, Кислинга и Модильяни способствовало то, что он, приехав в Париж, случайно поселился в одном доме с ними тремя. Однако состояние, реализованное таким образом, было впоследствии быстро истрачено на чрезвычайно неудачные контракты с несколькими другими молодыми. Зборовский умер в бедности от туберкулеза, который усилился у него благодаря почти полному отсутствию средств, совершенно оставленный некоторыми из тех, для успеха которых он столько сделал.

*

В январе в галерее Зака состоялась выставка иллюстраций и рисунков Глуценко. Вдохновляясь Домье и Гойей, Глуценко удалось создать в них ту особую, зловещую гоголевскую атмосферу, которая столь мало удается обычно многочисленным иллюстраторам, ибо иллюстрация есть как бы особый род творчества, где художественная ценность «только» совершенно недостаточна.

*

В ближайшее время в издательстве «Ле Триангл»¹ выйдет посвященная безвременно погибшему Абраму Минчину монография с репродукцией в красках и статьями нескольких французских и русских критиков. Предполагается также устройство большой ретроспективной выставки в галерее Жоржа Бернгейма.

*

Ввиду большого успеха ретроспективных выставок Делакруа и Коро, в настоящее время во Франции и предполагается устройство юбилейной выставки другого великого художника эпохи романтизма — Оноре Домье. К сожалению, Франция обладает сравнительно небольшим количеством его живописных работ, ибо он был недостаточно оценен французскими музеями при жизни, так же как и Сезанн.

Оноре Домье был сыном стекольщика; он долгое время работал клерком у адвоката и в свободное время копировал луврские статуи Рембрандта. Его известность началась с ог-

¹ «Le Triangle» — «Треугольник» (фр.).

ромным успехом его литографий, рода творчества, столь ценного в эпоху французских революций 30-го и 48-го годов, когда работали прекрасные Гаварни, Гранвиль и Шам. Живопись Домье, мрачная и феноменально экспрессивная, часто подобная Гойе, любившему уродство, является одним из гениальнейших памятников мрачного и трагического вторичного французского романтизма эпохи фантастики и печали, Гофмана и Бодлера.

Одним из самых значительных явлений художественной жизни Парижа в этом году была, несомненно, выставка Камилля Писсарро, организованная в Orangerie de Tuileries по поводу столетия со дня рождения художника.

Устроенная под покровительством дирекции правительственных музеев, она явилась как бы запоздалым отдалением почести художнику, которого так упорно не признавали. При жизни Писсарро ни одна из его картин не была приобретена правительственными музеями, и еще не так давно из восемнадцати его картин, завещанных Лувру Кайботтом, одиннадцать не были приняты к развеске музейной комиссией.

Характерна и трагична жизнь этого художника.

Камиль Писсарро родился в St. Thomas¹, одном из Антильских островов, от отца-еврея и матери-креолки. Одиннадцать лет его посылают учиться в Париж. Здесь он увлекается рисованием и находит поддержку у директора своего пансиона. После шести лет ученья отец вызывает его в St. Thomas помогать в торговле. Работа в лавке отца и спокойная жизнь купца не по душе юному Писсарро. Двадцати двух лет он покидает St. Thomas в обществе датского художника Мельби.

Париж, лихорадочная работа, сначала, по просьбе отца, в академии, потом на натуре, в окрестностях Парижа. Часто показывает он свои работы Коро и прислушивается к его советам и указаниям. Влияние Коро и сознательное подчинение этому влиянию продолжают у Писсарро еще долгое время. (Сорокалетний Писсарро в каталоге выставки обозначает: «ученик Коро».)

Встреча с молодым Моне, Гийоменом, Сезанном; совместная работа, где каждый заражает другого поисками

¹ Правильно: Saint-Thomas (*фр.*), Сен-Тома — Святой Фома.

наибольшей свежести краски, передачи прозрачности атмосферы.

Работает Писсарро очень много и упорно. (Во время войны 70-го года он вынужден был бежать и оставляет в своем домике в Лувенсене около 1500 полотен — результат десятилетней работы. Все эти картины были уничтожены немецкими солдатами.)

Материальные условия жизни становятся все тяжелее: нужно содержать семью, картины же продаются редко и по баснословно низким ценам.

Большая часть критики относится враждебно к Писсарро и к группе художников, с которыми он был связан желанием освободиться от рутины официальной живописи. Выставки их встречаются насмешками; их считают шутниками, издевающимися над публикой. Выставку 1874 года, в которой Писсарро принимал участие вместе с Сислеем, Сезанном, Моне, Ренуаром, Гийоменом и Дега, один журнал обзывает обидной, по его мнению, кличкой «импрессионистов» — людей, не способных к заканчиванию картин и ограничивающихся записью мимолетных ощущений.

Название это прививается, и сами художники его принимают.

Материально жизнь становится все тяжелей.

Неделями бегаёт Писсарро по Парижу в поисках проблематичного покупателя, в то время как семья его ждет в Понтуазе, где они живут без денег и часто без кредита булочника и мясника.

Старше шестидесяти лет, с начинающейся болезнью глаза, Писсарро с грустью думает, что ему, может быть, придется менять профессию.

Только к 1886 году импрессионисты находят почитателей, и с этих же пор улучшается материальное положение Писсарро. Последние годы проходят в относительном материальном спокойствии и в неустойчивой работе.

К этому периоду относятся замечательные серии парижских улиц и Руанского порта.

На выставке в Orangerie творчество Писсарро было представлено очень полно. Поражают разнообразие, поиски новых способов выражения, увлечения разной техникой. Писсарро сочетает в себе спокойную любовь к вещам, ясность

патриарха с напряженностью, беспокойным исканием, мятушейся душой пророка.

Его картины пропитаны каким-то особым дрожанием воздуха, напряженной растительной силой жизни, которая наливает соком травы и наполняет набухшие почки деревьев. В то же время искусству Писсарро чужда какая-то ни было экзальтированность. Его любовь к вещам ясна и повседневна и роднит его с таким «прозаиком» живописи, как Шарден.

Созерцание его живописи особенно ценно для нас сейчас, потому что ей не знакома погоня за легким эффектом, декоративным или литературным, такими характерными для современного искусства.

Так приятно услышать среди базарной сутолоки и назойливых выкриков человека, говорящего спокойным голосом о вещах глубоких и задушевных.

После исчерпывающей выставки Писсарро — такая же значительная выставка Делакруа по случаю столетия романтизма. Разителен контраст между этими двумя художниками. Любопытно отметить, что в то же время, когда на одном из Антильских островов родился Писсарро, которому суждено было прославить своей живописью самую интимную и прозаическую прелесть французского пейзажа; в то же время в Париже экзотические тигры Делакруа терзали вздыбленных арабских коней.

Это влечение к экзотике, подчеркнутый драматизм, эффектность и экзальтированность цвета характерны для Делакруа.

На выставке в Лувре собрано около трехсот его вещей. Многие картины выставлены с предварительными к ним эскизами, набросками, этюдами. Их сопоставление особенно ясно выявляет двойственную природу гения Делакруа.

С одной стороны — страстность и неожиданность импульса. С другой — методичность, рассудочные, систематические поиски наиболее выразительного приема, наиболее выразительной детали.

Иногда эти слишком обоснованные приемы убивают свежесть творческой мысли; нам неприятна бывает тщательная «mise en scène»¹ некоторых картин, приторная на-

¹ Мизансцена (фр.).

сыщенность некоторых красочных сочетаний. Но если бывают неудачи, если бывают падения, то потому, что были новые искания, потому, что не было удовлетворения уже найденными ценностями.

Зато какими изумительными переживаниями дарят нас такие картины, как «Революция», «Портрет», «Угол мастерской» и пр. и пр.

В галерее Жоржа Бернгейма «выставка части коллекции г-на У.». Г-н Удэ — известный коллекционер, один из первых «открывших» Руссо, собирает главным образом живопись «воскресных» живописцев, термин неточный и совершенно не определяющий искусства этих художников, пришедших к живописи не через бесчисленные академии, стоящих вне живописной традиции и из которых каждый нашел свой собственный способ выражения, отвечающий его мироощущению.

Таков был таможенник Руссо, таковы почтовый чиновник Вивен, землекоп и борец Бомбуа, Серафима-поденщика, продавец *rommes frites*¹ Буайе. Все это — истинные художники, более или менее одаренные, но поражающие нас свежестью, искренностью и убедительностью своих произведений, где каждая деталь выражает мироощущение автора. Удэ в своей работе о Руссо пишет: «Мы любим искусство Руссо, потому что французский гений проявил в нем свои лучшие качества: наивность, искренность и темперамент. Потому что мы видим в нем тип человека, отличного от нас. Мы связаны, полны противоречий, не способны к простым и цельным действиям. Руссо для нас — идеал человека, которому не знакомы конфликты ума и воли». Эти слова определяют наше отношение и к выставленным Удэ картинам.

*

Был отлично представлен на этой выставке Вивен, художник деликатный, придающий спокойную ясность и неторопливую значительность жизни. По духу он часто напоминает фламандские примитивы.

У Бомбуа — напряженность композиции и красок.

У Серафимы — странные цветущие кусты, полные экзальтированной жизни.

¹ Жареный картофель (*фр.*).

Работы Буайе — немного напоминают олеографии. Живопись его часто неприятно затянута белесоватостью, как будто слоем застывшего маргарина, на котором он жарил картошку.

На той же выставке — подражающий многим и малоинтересный Колль и две незначительные вещи Ланского.

*

Один из самых талантливых современных художников, Рауль Дюфи, выставил в галерее Виньон свои рисунки, акварели и несколько холстов.

Можно упрекать его в декоративности, нарочитой эффектности; может быть, это не «grand art»¹, но работы его покоряют тонкой чувствительностью, виртуозностью и заражающей живостью.

*

О русских художниках в Париже писать крайне трудно. Почти все они, столкнувшись с французской живописной традицией, почувствовали ее неотразимое влияние и глубокую значительность. Почти все они — в периоде ассимиляции, когда и новое манит, и от старого отказаться трудно. Поэтому их вещи по большей части неровны и разны.

Это относится и к работам очень одаренного колориста Милиоти.

На его выставке в галерее Гиршмана были и Милиоти-портретист, и Милиоти — ценный пейзажист, и Милиоти — живописец ярких, немного лубочных цветов, каждый имел свою, отличную от другого, художественную личность.

Часто русские художники берут от французской живописи ее внешнюю сторону; культивируют технику для техники, блещут подчеркнутым мастерством, как бы говоря: «Вот как мы можем, похлеще Вламинка».

Особенно досадно, когда впечатление такой живописной «удачи» остается от работ такого значительного художника, как Борис Григорьев.

В его гуашах, исполненных более скупыми средствами, много очарования.

¹ «Большое искусство» (фр.).

Мане-Кац нашел свой собственный художественный путь и, так сказать, «*specialité de la maison*»¹. В этом году он выставил, как обычно, своих условных евреев в землистых тонах. Несмотря на преднамеренный литературный интерес, в его вещах много и настоящих живописных качеств.

*

Трагическая смерть Паскина вызвала большие изъявления сочувствия и уважения. Этот художник родился в России, или, вернее, в русской Польше. Но несмотря на большое количество похвальных статей и даже целых книг, посвященных ему, и на очень большие цены, которых достигали его работы, — следует, может быть, признать, что его живопись принадлежит скорее к второстепенным явлениям современной парижской школы. Живопись Паскина, сладковатая и бледная, полная нездоровой литературы, всегда как бы остановившаяся на одной гамме, так же как на одном сюжете, в каком-то смысле восходит к Буше и Ватто, но без их своеобразного пафоса, и хотя она скрашивается большим вкусом художника и нежным рисунком, никогда все же не достигает даже условной туманной прелести Марии Лорансен.

*

Издательство «Le Triangle», опубликовавшее целый ряд художественных монографий, выпустило недавно книги, посвященные работам Лучанского, Инденбаума, Федера, Натана Альтмана и др. со вступительными статьями Андрея Левинсона, Абеля Базелера, Гюстава Кана, Эренбурга, Вальдемара Жоржа и др.

В том же издательстве готовятся монографии о Хане Орловой, Кремне, Шагале с руководящими статьями Соважы, В.Жоржа, Р.Швоба.

¹ Свой личный стиль (*фр.*).

ДНЕВНИКИ

7/7/77

$\frac{194}{176 + 17 + 50 = 283}$ Проекты рунки, или Квант

1. Первые стихи { от 1922 до 1924 главным образом до начала "рунского дадания" }

2. Диурабль { от 1925 до 1926 года, Ас. дада сюда также относятся и "дские" подвалы и часть стихов написанная в 1927 году }

3. Фразы { от сентября 1927 до 1930 года включительно стихи к которым нужно было лишь добавить

4. Соррешившиеся автоматические стихи { 1930 - 1932 г. главным образом из того же цикла рунки } / 5. Смертный день { 1931 год стихи до Социалистического союза }

6. Двести стихов или ряд сочиненных музантахов { это стихи после фразов от которых сейчас так неразрешимо больно }



теперь, роясь в полупаноптикуме, полугардеробе моей фантазии, я нахожу иногда между графаретным, запыленным бурой пылью самоубийцей и затканной голубой паутиной несовременности эротической идиллией странную искусственную жизнь женщину, ту самую, которую графарет назвал когда-то голубой девочкой, неумело и неестественно напудренной полупрозрачной эмалью из блеклого лунного камня. Я останавливаюсь здесь, надеваю на тот же шаблонный скелет машинальности эту полугрезу, полуамулет и заставляю двигаться приводные ремни памяти.

И вот здесь стуки моего сердца попадают в одну из бесчисленных спиц чувств (всегда на одну и ту же, только попадают они или ближе, или дальше от мелькающей оси), и вот опять настойчиво и предубежденно слышу я треск сухой и звенящий, слышу ясно много веков вперед и много тысяч осеней назад тот самый треск, который наполняет собой все — воздух и время — и который слышат только эфироманы, и только эфироман знает, где он берет свое звенящее начало, расходясь постепенно овальными кругами и колыхающимися кругами по небу, по воздуху и по времени. И он видит, облачная пыль слепит его, но он слышит теперь — это то же самое трение бесчисленной земной души об ось многих и многих прошедших костров.

Девочка еще здесь, девочка, напудренная эмалью из лунного камня, такого же, как и этот бесконечный звенящий треск.

Но вот ремни памяти вдруг резко останавливаются и бросают меня там же, в том же фантастическом полугардеробе, полуарсенале. Девочка еще здесь, голубая и напудренная эмалью, она сидит, облокотившись на что-то (чего

я не вижу, но ясно и уверенно чувствую) и положив подбородок на свои длинные прозрачные пальцы, кажущиеся то опалово-семицветного цвета, то из ляпис-лазури, то из граненого голубоватого стекла.

Я ничего не вспомнил о ней, она никогда не была там, за нефритной дверью моей фантазии, хотя это было так просто и легко сделать. Ведь эта ажурная дверь окружена только семицветными облаками. Она здесь, здесь на много и много, тихо и печально звенящих люстр. Она никогда не уйдет отсюда за опаловые полированные облака в своей белой и шелковой шляпе à la Berger и гранеными пальцами из ляпис-лазури.

Поэма Опиума
Пролог. Песнь Первая

Я не курю его, я ем тягучий опий,
Нефритных трубок скучен плагиат.
Не нужно мне посеребрённых (позолоченных) копий
Курилен шутовской и чуть восточный яд.

2-й вариант:

Я не курю его, я ем тягучий опий,
Нефритных трубок скучен плагиат.
Не нужно мне ни золоченых копий
Китайских кинемо курилен и триад.
(Курильный кинемо китайский маскарад.)

ДНЕВНИК. 1921–1922
Константинополь — Париж

1921

О Ницше:

Самый большой из червей не есть ли самый большой червь.

Б.П.

Agenda pour 1921¹

Этот год будет годом скорби для Иакова, однако в нем найдет он спасение.

Библия

На Новый год
(Дневник А)

1.1.21

С

и В. у меня ночевали. С утра ушел из дому. «Маяк» начинает меня гнестить. Смыслов в душе болен неверием в самого себя. Ему мучительно разговоры о нем. Тяжелая сцена Нового года. Человечество напивается из страха сознательно пройти через заупокойную службу. Мне удивительное место в Библии открылось. Этот период ужасным будет для Иакова. <...> Он в нем найдет спасение. Я признаю: другие года иногда как сто... но когда они совпадают...

2.1.21

Я спал в «Маяке» <...>, что во мне говорил голос великого презрения, но надо же заставить выработать метод. Я надеюсь, что по возвращении Волкова я обговорю с ним о Х.В. Сегодня меня интересуют 3 чины Создателя и Ритм,

¹ Дневник на 1921 год (фр.).

конечно, смутно думаю о кругах. Написал позавчера вступление «Январь» и «Февраль», сегодня «Март» и «Апрель». Как сладко и больно еще быть поэтом субъекта.

Кажется, хороший день.

3.1.21

Сегодня говорил с Армянином о Кришнамурти с Брантусем. Мы пришли с вареньем в 10. Хотели зайти за папой, но С. мылся и чесался у меня. Мы опоздали, на обратном пути он мне сказал, подбежал <...>, что ждет результатов, которые пойдут быстро от своих слов, и что пока не скажет ничего, и успокоился. Вернулся домой позорно и прямо заснул.

4.1.21

Встали утром. Потом вместе шли до Лермонтовой. Я пошел в «Маяк», там готовилась елка. Я в черном пальто, узнав, что уже 5 часов, побежал за папой. Мы зашли в «Маяк», а потом пошли в кинематограф. Я не хотел, смущался все из-за своей одной рубашки. Печально грустная «Королева Цирка». Потом опять «Маяк», сказал Элерсу программу. Устав, поздно пришел домой.

5.1.21

С утра чистил платье. Потом бежал в церковь. Когда пришел, церковь была уже пуста. Молился, потом пошел в «Маяк», говорил [с] Козыренко. Послал С. рисунок, он ответил. Потом говорил в [с] Кост... думал о книжке. Обещал и ему написать. Говорил с Шатским. Говорил с Еленой Сергеевной, она говорила, что не верит из-за отца. Смыслов остроумно говорил о христиан<ской> аналогии. Говорил и я о Канте, очень поздно легли спать, часа в 4.

6.1.21

Спал ужасно, утром встал рано. Ходил с Смысловым к Досужеву. Уехал домой, начал снимать рисунки. Нарисовал немножко новые. Пришел папа. Принес супа снизу. До этого пробовал медитировать о эзотеризме. С Божьей помощью понял, что Космическое сознание 7, а самосознание 4. Потом Блаватскую раньше этого. Рано лег «отдыхать». Бездарно заснул, даже не молился.

Много молился днем.

7.1.21

Мерзость. Переутомление мускулов, оно свидетельствует о неправильном развитии. Тяжелое утро. Скаутский маскарад. Охота за галстуком. <...> интриги в организации. Мы, Смыслов, Немченко, Волков и я, идем ко мне... Кроме Волкова пришли... Я ощущаю в момент сознания, что мои двойники живут, а я во сне. Но эти люди здесь. Папа сердится (слегка смотрели рисунки), мы уходим в другую комнату, строим лампу, садимся все у стены и рассказываем чепуху. Назло вспомнил о водке. Мутно тоскливо, пьяная тоска. Мы с Волковым кончаем бутылку одни. Я ухожу ненадолго ложиться спать. Но вместо того просыпаюсь ночью, одеяло в капусте. Зажигаю свет, иду туда, там все покрыто ужасом. Мерзость. А как тоскует астрал об освобождении. Тяжелый настанет день.

8.1.21

Печальный, печальный день. Астрал тоже принадлежит к тому, что должно умереть, он ничего не знает. Утром все убрали и рисовали с С. на холме над Константинополем. Очень памятно. Только даже неловко было говорить о высшей цели. Потом бесцельно был в «Маяке». Истерически бравурно шел в маскараде социализма. Вернулся домой таким усталым, каким не был столько недель. Что же, пусть встречу закат.

9.1.21

Воскресенье, сидел дома. Вечером вышел в «Маяк» за Смысловым. Ели в баре. Вернулся поздно. Он еще ничего не говорил мне. Заснул.

10.1.21

Утром сидели на горе и рисовали. Я потом пришел в «Маяк» в пиджаке на Скаутском. Потом вернулся с радостью домой. Кажется, написал что-то.

11.1.21

В «Маяке» не был (кажется). Папа пришел. Сонет «Май». Сошел потом к Елене Ефимовне и курил, думая: нужно подумать еще о превосходстве. Здесь, кажется, все улажено.

12.1.21

Утром написал Алисе Сноуден. Был в «Маяке».

Сижу с Козыренко в библиотеке, приходит Петров. Начинает кричать. Потом объяснился. Наврал ему довольно хорошо. Это также черный ворон прошлого. Далеко же они залетают. Долго ждал Смыслова у подъезда гимназии. Говорил он о том, что сам ничего не читал. Я о Ритме. Он удивлен. Его нужно понять. Вот это вопрос, в котором он меня поразил.

13.1.21

Встал утром. В «Маяк» не ходил. Писал сонеты. Вечером поел сосисок. Рисовал скаутские картинки, работал до неожиданного вечера. Написал «Июнь», «Июль», «Август». Последнее плохо. Лег, непростительно, не молясь. Заснул, не раздеваясь.

14.1.21

Утром написал 5 сонетов, довольно удачно. Потом молился и был в «Маяке». Смыслов невежливо подозрителен. Не говорил с ним ни слова. Вечером написал еще 3 сонета. Кончил веночек. Читал Наживина. Очень понравилось. Если бы и я так мог бы издаться...

Веночек кончен. Да здравствует веночек.

15.1.21

Встал отвратительно. На улице яркий снег. Исправлял сонеты... Написал «Июль». Оделся в английский френч. Думал о Жене. Читал историю философии. Эта книга чудесна. Действительно, не думайте о завтрашнем дне. Вечером переписывал сонеты. Соорудил Бедзио трубку. Бедный ночует у меня. Нужно спешить с поэмой. Что будет завтра со сбором?

16.1.21

Бедзио нет. В городе не был. Дома.

17.1.21

Целый день рисовал акварелью до глубокой ночи. Нигде не был.

Выходил смотреть закат. А небо в пламени, огнями уб-
ралось.

18.1.21

Сегодня тоже. Сегодня утром пришел Смыслов. Говори-
ли целый день. Потом Кузнецов с матерью. Говорили о
Карме и о любви.

19.1.21

Сегодня утром оделся, молился и был в «Маяке». Встре-
тил Славу и говорили с Федор<ом> Николаевичем. Потом
пошли в «Румелеор». Нашел Канс. и был с ним на «Ужасе».
Римский ничего себе. Отламывает мимику. Вечером.

20.1.21

Сегодня целый день сшивал свои бумаги. Потом при-
шел Смыслов. Мы поговорили кое о чем. Потом немножко
рисовал. Вечером трагично то, что я себе позволил лицо [?]
Буду читать. Повесил портрет Жени. Так грустно стало.

22.1.21

Был в церкви. Молился. Очень доволен.

23.1.21

Пошли есть блины. А нам не дали.

24.1.21

Получили письма из дому. Ладя в штабе красной южной
армии.

26.1.21

Ладя был болен воспалением легких и был в Москве,
командующий армии приехал и взял его. Писал письма до-
мой. Смыслов пришел вечером. Очень замерз ночью. Сего-
дня папу Хамал ударил и потом ограбил.

27.1.21

Писал письма домой. Рисовал Смыслова. Думал об Ин-
дии. Утром пошли в город обедать и ели блины у Лермон-
товой. Потом были на концерте и слушали симфонию Ка-
линникова.

По-моему, на тему Жизнь. Анданте — молодость. Скерцо — наркотик жизни. Потом ритм тоски и преодоление. Оттуда был в «Маяке». Слушал «Крейцерову сонату». Смыслов со мной не пошел. Какая-то барышня на концерте.

28.1.21

Сегодня целый день был дома. Елена Ефимовна принесла картофельные котлеты. Прочел до гностиков. Аристократа очень плохо. Дурачки заснул очень рано.

Пятница, 29.1.21

Писал стихи Наташе.

Сегодня утром ходил к Стоякину. Потом с папой в город. Покупали. Вернулись через Харбие. Был проходом в «Маяке». Никого не было. Думал об Индии.

Суббота, 30.1.21

В церкви не был.

31.1.21

Кажется, сегодня Яков Николаич читал стихи в клубе. Я тоже. Он и я ловили друг друга на рифме. Потом я его проводил до дому.

Понедельник, 1.2.21

К Якову Николаичу не попал. Жалею.

4.2.21

Получил Якоба Бёме. <...>

Я записывал программу. Потом домой. Говорили о Скаутизме. У него хороший взгляд, он чуткий человек, только ему надо помочь. Из него может многое выйти.

5.2.21

Читал Якоба Бёме. Ничего не понимал.

6.2.21.

Читал Якоба Бёме. Занимательная книга. Если ее понять, поймешь все. К Аксоловой не попал. Жалко.

Воскресенье, 7.2.21

Ужасный снег. Был в городе. Пусто. Поехал к Кузнецову. Он нашел мне ученицу. Буду заниматься.

8.2.21

Был в городе. Давал урок. Смешная барышня и 3 акробата — вот мои ученики. Вечером купил ботинки. Пришел с Мельниковым домой. Он у меня ночевал.

9.2.21

Поздно был в городе. Натер ужасно ноги новыми сапогами. Утром читал «Путь к посвящению». Много нового в смысле системы. Папа очень сердился утром на наше ночное пришествие. Надо писать аккуратнее.

10.2.21

Сегодня утром уезжала Елена Ефимовна. Было так грустно. Она кое-что сказала. Может быть, я написал стихотворение. Потом был на уроке. Дал Кузнецову «Путь к посвящению». Вечером с ужасной болью в ногах возвращался по ручью, полицейский. Дома заснул. Папа получил письмо из Парижа.

11.2.21

Мы едем в Париж. Я хочу написать венок сонетов Е.Е. де Ладзвес о Константинополе. Целый день был дома. Кончил первую песню поэмы. Слава Богу, может быть, скоро примусь за вторую. Делали с Володей перед крыльцом снежные бабы.

Турки в ужасе. Потом пришла Елена Ефимовна. Несколько милых посторонних слов. Потом пришел де Ладзвес. Он будет жить у нас наверху. Перевешивали. Читал Якоба Бёме.

12.2.21

Сегодня читал Якоба Бёме. Отъезд все ближе.

Оделся. С Володей пошел в «Маяк». Читал на концерте «Небо уже», «За столиком». И вечер прошел. Первые два очень хлопали. Потом пошел на лекцию Успенского. Думаю, что впервые появился отблеск эфирного зрения. Часто вижу частицы в воздухе, движущиеся как молекулы.

Вечером пошел с Васей. Был у Сережи. Ему приснилась За-
утреня. Бедный.

13.2.21

Всю ночь до света писал 4 сонета. Сделал план 28.

Потом для двух венков. Стамбул и Константинополь.
Потом пошел сниматься. Никого не застал в «Маяке». До-
ехал до Харбие и с Благодарением Господу удостоился за-
стать Всенощную. Пришел домой. Читал Якоба Бёме. <...>
Прочел его 2 раза. Поговорить с Ястребцовым.

14.2.21

Писал один сонет о кофейнях. Утром читал Якоба Бёме
и впервые во Славу Божию и Его Великую Милость начал
понимать что-то. Это о 2 дне. Потом был в «Маяке». Елиза-
вета... читала поэму. Говорит хорошо. Ужаснула меня нелю-
бовь моя и неохота говорить о Высочайшем, так что я поч-
ти был разбит <за> одну минуту каким-то молодым челове-
ком. Потом был у Кузнецова. Говорил немного со своей
ученицей. Вечером читал «Путь к посвящению».

15.2.21

Сегодня отвез Кузнецову «Путь к посвящению». Напи-
сал сонет из цикла «Венка».

16.2.21

Писал дома. Написал. Потом пошел в город, проводил
папу.

17.2.21, ночью

Кончил сонет. Утром написал «Пустыри» и пошел в
Стамбул. Купил два мундштука. Причем, так как мне не
удавалось купить, подрасстроился от желания приобрести.
Что заметил, что и это нужно превозмочь. Подарил мунд-
штук Кузнецову. Сидел у него, идиотски гадал и, придя до-
мой, идиотски заснул. Потом был в «Маяке», где долго ни-
кого не было.

18.2.21, ночью

Утром написал «Золотой Рог». Потом хорошо читал
Якоба Бёме. Начинаю по Божьей Милости кое-что пони-

мать о источных духах. Потом написал «Мраморное Мор».

Пришел папа. Я пошел за селедками в общежитие. Дома напишу сонет. «Вступительный» к «Стамбулу».

19.2.21

На тротуаре бедные. Молился.

Утром встал, дочитал Якоба Бёме. Написал сонет [?].

Поехал к Кузнецову. С Милостью Божьей хорошо проповедовал Вас<илию> Прокофьичу и Кузнецову и даже его барону. Кузнецов меня проводил. Я вспрыгнул на трамвай, и я вот около заворота к стоянке. Турки качали головами. Пожар. Я привязался к французскому солдату, и мы влезали на шестиэтажную крышу. И шутили немного. Шел домой и жалел, что соврал кое-что. Видел спящих проституток.

20.2.21, суббота

Утром пришел Волков. Слава с Волковым говорил о его свадьбе.

Уговаривал подумать. Потом все испортили глупыми темами. Остался дома. Написал 3 сонета: «Рынок», «Вступительный» и «Заключительный». Потом пришел папа. Принес фрукты.

Я пошел ко Всенощной, чудная служба. Возвращаясь, сподлил, не пошел в «Маяк». Дома начал перечитывать Якоба Б<ёме>. Прочел две главы. Слава Богу, кое-что понимаю. Молился.

21.2.21

Утром читал Бёме. Рано молился. Потом пришла Елена Ефимовна, а мы пошли с папой в город.

Воскресенье. Ужасной клоакой Пера. Обедали в «Кремле».

Потом я был в «Маяке». Ни с кем не говорил.

Встретил Маценко и поехал в Стамбул.

Там с Кузнецовым пошли в мечеть и сняли сапоги. Ему очень понравилось. «Заключительный». Пришел домой.

Написал «Реми...» <...>. Досужков требует Бёме, надо читать.

22.2.21

Сегодня утром помог Смыслову написать Воззвание «Звезды на Востоке».

[Когда] вставал, пришел Смыслов. Мы говорили о сонетах. Папа ушел. Мы пили чай. Говорили немного о Бёме, и он поливал мне голову, а я скакал. Он сам мылся и гладил брюки. Молился. Потом в город. В «Маяке» кинематограф. Посидел в канцелярии. Пошел к Альтшулеру. И там заговорил с Николаем Сергеевичем о эзотеризме. Вмешался Григорий Иванович. Был долгий спор, который, может быть, многое выяснил. Потом был у Сережи и говорил о Благодарности.

23.2.21

Сегодня целый день сидел дома. Писал на машинке. Воззвание «Звезды на Востоке». Рисовал виньетку. Потом пришел папа. И утром и вечером не молился. Тяжело.

24.2.21

Сегодня утром встал рано. Папа послал меня в город за покупками. Накупил массу всяких разностей. Смылова в «Маяке» не было. Печально вернулся домой вечером.

25.2.21

Утром ходил за керосином в лавку и делал яичницу. Идет дождь. Потом ушел папа. Я сел читать на топчане и обложился книгами. Читал Евпалова [?] и молился. Пришел папа. Я был у Ладзвеза, он мне чинил циркуль. Потом читал Бёме и историю философии.

26.2.21

Утром встал поздно. Варили еду. Потом папа ушел, а я был у лавочника. Дома написал «Ремесла». Начал «Ваяние». Потом пришел папа. Опять еда. Потом читал Бёме. Перед сном немного говорили о Сонете Шатер. Это тяжело, но все же это истина. Потом молился. Завтра Всенощная и Кузнецов. Думаю, надо кончать «Стамбул».

27.2.21

Надо подумать о четках. Сегодня утром кормил собак, потом немного, но довольно основательно говорил с

Ладзвезом, он мне очень нравится, у меня тоже когда-то «ничего не было». С помощью Господа, может быть, сумею подойти к нему. Потом молился и пошел верхом в «Маяк», оттуда к Кузнецову, он получил место в Лотто. Бесцельно говорил с Василием Прокофьевичем о цирке там. Вернулся, опоздал на Всеношную. Застал конец. Думаю писать, только жалко, сонет и читать Бёме.

28.2.21. Воскресенье утром

Приехали Бундусы, в доме суматоха, я дома с папой. Папа читал мне вслух «Бесы» Достоевского. Я повесил свой красивый галстук, как флаг, над столом. Я надел скаутскую форму и пошел вниз к ним. Там говорили о исчезновении тяжести при скорости с Гринбером, он ничего себе, внутри моя нелюбовь к нему от предрассудка. Потом я пошел с Володей, говорил до этого довольно много, потом с ним трудно — молод. Читал в постели Бёме.

1.3.21

Тяжелая ночь. Сегодня начало поста. Я перестал есть убойну. Утром рисовал проект рисунка «Гора Посвящения». Молился, и мы влезли на подводу с коляской и повезли к Баязет вещи Бундусов. Им не понравилось. Обрато оттуда пошли с Г.Е. в лавку. Володе и мне дали сосисок, но я героически не ел. Обрато набрали продуктов, сели в трамвай. Я выронил альбом, что забыл у Бундусов. Пошел, взял и брюки для чистки. Пошел к Кузнецову, много и хорошо говорил с ним и с Ольгой Николаевной. Насколько лучше простые люди о «Жизнь есть сон». Дома читал главу Якоба Бёме. Прочел 116 страниц.

2.3.21

Утром пришла Нурис. Я пил с ней кофе за столом, и нехорошо обиделся на папу за это. Потом пришла Нурвет, и я предложил ее нарисовать. Ладзвез сказал: «У Вас есть рисунок». До этого сидели у Ладзвеза, где папа одевался из-за Нурис. Потом я молился и пошел в город, был в «Маяке». Должен был встретить папу, но было поздно, и я опоздал в «Рулемор». Пошел в «Маяк», купил сухарей и пошел к Сереже, но он уже спал, через окно поздоровался. Домой.

3.3.21

Был в соборе на Пера. Все статуи закрыты материей. Я вышел последним, для меня открывал сторож двери. У двери Доне. Дал ему 50 пиастров. Надо дать половину. Мужика обокрали: сапоги. Сие решение вместе со свертком в кармане пальто. Вышел из дому. Пошел в «Маяк». Володя напротив писал на длинном железном столе. Я показал ему рисунки. Был неудачный разговор о чутье.

Потом я пошел в «Маяк». Пошел к Альтшулер. Их не было. Маценко со встречным мужчиной пошли встретить Елизавету «И». Пошли в «Маяк» на лекцию, слушали о трех центрах. Потом пошел к Сереже, очень много говорил о эзотеризме. Творчестве.

4.3.21

В канцелярии говорил с Платоном Викторовичем о Ентелекте. Читал газеты и с Историком <...>.

Сегодня утром папа обиделся, потому что не было керосину, и ушел. А я ходил к лавочнику, а тот принес раньше и поставил внизу, я же сварил кофе и стал читать Бёме, с помощью Господней очень хорошо прочел до главы 8. Молился, пошел в «Маяк». По дороге перед глазами движение частиц.

Взял у Володи деньги на сапоги. Встретил папу. Пришел сапожник. Помчался я наверх, там концерт. Я с <...> Дукельским и Николенко пили внизу чай. Потом в ложе встретил Елизавету «И», очень хорошо одета. Говорил с Козыренко. Немножко говорил. Нужно домой. Дома рисовал акварелью «Большие и маленькие».

4—5.3.21*

Утром спазмы в постели. Читал Евпалова. Вечером жар 38, надумал сонет о Ялте и Ростове. Тяжелая ночь. Спазмы утром, на той постели провел день. Папа ушел, молился утром и вечером. Читал немножко Бёме. Пришел папа и с Володей ушел на Совещание к В. Рассказывал, что говорили. Пришел. Я заснул — спазмы.

6.3.21

Написал письмо Ростиславу.

День спокойный. Утром встал. Не одеваясь, рисовал «Большие и маленькие». Потом к коммуне пришли гости.

* Есть ошибка с числами. — *Примеч.* 1935 г.

Сперва какая-то барышня с хорошим голосом. Они пили и пели. Я не молился. Очень огорчен. Вечером опять немножко спазмы. Начал сонет Турчанки. Надо кончать. Есть телеграмма из Парижа, что меры приняты.

7.3.21

Сегодня утром встал. Немножко даже, к сожалению, поругался с папой. Он пошел вниз обедать. Я молился. Потом он вернулся и прервал меня. Я расплакался. Пошел в город, взял туфли. В «Маяке» обедал. Был у Кузнецова. Кое о чем поговорили, о Бёме. Домой.

8.3.21

Сегодня утром чудная погода. Пошел в лес и лег на траве около дерева ящериц. Потом к Кузнецову. С ним пошли в Еди Куле искать Смыслова. Я без пальто. Домой. Видел Смыслова, что есть самое смешное.

9.3.21

Кажется, была Нурис, мыла, а я читал Бёме.

10.3.21

Я читал сонеты. Была Елена Ефимовна. Гуляли. Потом молился и ушел в «Маяк». Встретил, кажется, Димку. Походили бесцельно.

11.3.21

Сегодня утром оделся и таскал воду. Много раз для папы. Ловил себя, что думал о новой хозяйке. Потом был у Кузнецова, до этого брился. Был в Харбие, там нам недодали 10 пиастров. Рассердился. Последовал пустой разговор о карме. Был в «Маяке». Сапоги украли.

12.3.21

Рисовал дуб. Утром пришла Mademoiselle¹ Колен.

Поговорил с ней немного при Спиридоныче в ее комнате. Потом пошел в «Маяк». Там концерт. Я с Елизаветой Х. слушал лекцию, сперва наверху, а потом в канцелярии. Очень спорил с Залесским о Рудольфе Штейнере. Он стра-

¹ Мадмуазель, барышня (фр.).

дает незнанием о мудрости любви, разрушающим познание сыновие человека Бога. Потом домой. Делал покупки. Надо лучше записывать.

13.3.21

Сегодня утром папа читал письмо от мамы, о том, что Ладя в Ревеле. Наташа все та же, бедная. О муже ее мама не говорит нарочно. Потом пошли на базар с папой. Я вернулся с мальчишкой Хамалом домой.

Сварил капусту. Читал Якоба Бёме. Пришел папа, и я пошел в церковь слушать Всенощную. Потом в «Маяк», и у Волкова взял Ледбитера, очерки теософии. Прочел. <...> Был и Сережа. Думал о сонетах. Надо писать «Пера».

14.3.21. Воскресенье

Пошел в «Маяк». По дороге зашел в церковь в Харбие. К моему восхищению, Служба: Мир Всем и Духови Твоему. Пошел в «Маяк». Пошел к Альтшулер. Там был Сережа и все. Ел его белую халву. В «Маяке» пошел говорить с тем самым офицером, который бывал на лекциях. Дал ему Ледбитера и проводил до Стамбула. Домой.

15.3.21

Сегодня молился. Пошел в «Маяк». Был на лекции. Говорил с Успенским. Муравьев мне достал карты Таро. Смыслов мне гадал в Скаутской. Говорили о воспоминании о Жене. Домой.

16.3.21

Рисовал карты Таро. Вторник утро. Потом читал Якоба Бёме и варил капусту. Пришел папа, я даже не молился, я пошел уходить, помолился в коридоре. Меня прервал Ладзвез. В город не пошел. Глупо заснул. Думаю о первых 7 арканах.

17.3.21

(Надо братья за перо.)

Среда. Утром Нурис шила простыни. Я долго не вставал. Потом встал. Пил кофе. Папа ушел. Читал Евангелие от Матфея и Иова. Молился. Читал пропущенную главу Бёме. В город. В «Маяке» был. Пошел к Альтшулер. Опять в «Ма-

як». На концерте говорил с Делье <...> и читал ему сонеты. На половине к Кузнецову. Купил сухари и говорили о чувстве природы. Забыл у него. Потом с какой-то барышней пешком через Галату.

18.3.21

Поздно вернулся. Вечером молился в коридоре и написал труд.

Утром встал поздно. Пил кофе. Папа, уходя, рассказал, что ему говорила де Мирабо, что она хочет отравиться стрихнином. Я оделся, побежал поговорить, но ее не было. Тогда я пошел к дереву ящериц писать сонеты.

Написал II и написал придуманный вчера в постели. Потом читал Якоба Бёме до «3 дня».

Пришли все. Выдорский был у меня, говорил о футуризме. Потом я внизу за чаем. Потом у них боролся с Волковым. <...> Говорил про убийство.

19.3.21

Встал утром. Пошел к Юрию Александровичу и сочувствовал о его больной жене.

Днем говорил с Ан. Крон. довольно много и рисовал по шкапу в кухне. Ходил к Володе. Расставлял консервы. Принес вафли и условился идти гулять. Смотреть достопримечательности. Вечером писал сонеты. 4 «Галатея».

20.3.21

В «Маяке» с Алабумос спорил о «Родине».

Сегодня утром читал Бёме. Молился и к Кузнецову. <...>

Пошел. Дошел до Ту <...>. Не хочет. На улице спор. Пошли насилию до Пантелеймоновского подворья, на 5 этаже служба.

Зашли рядом в греческую церковь. Поставили по 2 свечки. Я молился. Потом к нему. Говорил немного с Петром Ивановичем <...>.

21.3.21

Сегодня приехал в город к Смыслову. Показал сонеты. Очень доволен. Увидел собаку, спросил швейцара. В отвороте пальто принес домой. Мыл ее. Она спала у меня за пазухой.

Кажется, утром и днем в столовой ел картошку и выпил 3 рюмки водки при всех. Стало стыдно. Пришел наверх. Обещал никогда не пить. Когда я шел, кажется, мне «Оно» было. Благославлен грядущий во Имя Господне!

22.3.21

Сегодня утром собака. Пошел гулять с ней. Потом написал «Таксим». «Вступительный», центр «Гагзата». Я вечером рисовал. До ночи заставку, молился. Был у Елены Ефимовны с собакой. Поливал цветы. Модель Vogue.

23.3.21

Утром с собакой.

Написал «Проститутки» I и II. Потом молился. Пришел папа. Я кончил в коридоре. Потом собака. Я побил ее за это. И раскаялся горько и тяжело. Взял и купил на улице альбом. В «Маяке» сидел в канцелярии, потом говорил с Офицером в И... о Гуревиче и философском кружке. Дошел до Харбие. Извозчик. Я попросил <...> обижен. Доехали до поворота, англичанин с дамой к <...> послали обратно до пожараща, где живет Вера Ивановна, горничная, русская барышня <...> поговорили. Пойду знакомиться. На облучке до М... а оттуда в коляске.

24.3.21

Утром <...> писал стихи и разговаривал с Еленой Ефимовной. Собака изгрызла мой туфель. Я ее поколотил. Жаль. Потом молился. Пришел папа. Я кончил в коридоре. Кушал чай. Пошел в церковь. По дороге разговаривал с торговцем носками. В церкви сперва стоял у входа. Потом принял Миропомазанье от Митрополита. В «Маяке». Там концерт. Потом взял Смыслова. «Скоро Спаситель придет». Домой..? Каштанов.

25.3.21

Утром пошел в лавочку к Жоржу с собакой, одевались. Там она погрызлась, и я избил суку. Жаль. Обратного встретил Газалова и вступил с ним в самый длительный разговор. Мы долго ходили. Тем временем собака пропала. Иду домой. У порога русский, окруженный детьми, торгует платками. Долго с ним говорили о «Звезд<е> на Востоке» спер-

ва на улице, потом у меня. Пошли в город. Дошли до лавки. Пришел обратно домой, потом в город. Вечером был у Кузнецова. Говорил. Обратно шли. Поцеловались.

26.3.21. Пятница

Я утром готовился к занятиям. Уходя, молился. Опоздал. Пришел почти к концу. Собирал вещи для <...>. Со Смысловым были в кинематографе. Видел «Конец Владельцев Мира». Хорошо поставлен. Нужная пьеса. Домой вечером. Тяжело было. Собаки нет. С Немченко сидел в вестибюле «Маяка» и тосковал.

27.3.21

Утром молился. Стал наколачивать жесть на кровати в той комнате и так устал, что не пошел ко Всенощной. Лег спать. Папа сварил макароны внизу и опрокинул ведро. Второй раз я съел.

28.3.21

Молился в кухне нашей. Слишком торопливо, плохо! Видел Сгуфлок. Утром пошел в клуб. Там сбор уже был. Я к Федор<у> Николаевичу в скаутской форме без пиджака через улицу. К Сереже. Встретили Екатерину Исаковну. Посидели там. Вася, он и я пошли ко мне <...>. Я пошел обратно к Володе за апельсинами, у Фламура с горы идет папа. Мы сняли его со смены домой. Дома показывал рисунки. Очень много говорил. Папа разводил примус в кухне и рассердился <...>. Я читал стихи и говорил, но хуже. Устал. Заснул в рубашке. Не молился.

29.3.21

Проснулся в 5 часов и все-таки молился. Утром молился тяжело. Пошел с Федоровым к Вечерне. Я пришел в Харбие. Кончилась. Вышел через задние ворота. Видел Смылова и Сгуриди. Потом пошел к папе. Купил кастрюли. Были в Кремле. Пошли домой. Зашли к Е. Ефимовне. Там я обругал С..? (Жалко). Оттуда к Володе. Взял альбом. К Кузнецову. Говорил. У Поло <...> насчет Великого Учителя. Читал молитву. Домой, пешком до Галаты. Оттуда опять пешком.

30.III.21

Утром лицо. Разбил за это зеркало. С утра в постели пил кофе. Начал переписывать и исправлять поэму до вечера. Была Алек. Васильевна. Днем варил капусту. Не молился. Очень жалею об этом. Надо будет молиться по уходу папы.

31.III.21

Целый день стучал поэму. Показывал Анне Кронидовне. Пошел в город. Вечером шли с Елиз<аветой>. И я ей показал поэму. Она просила прочесть.

1.IV.21

Молился. Утром пошел в город с портфелем. Был у Сережи. Никого. У Альтшулер. Оставил книгу («Введение в теософию»). Читал стихи. В «Маяке» показывал ее Досужкову.

2.IV.21

Утром оделся. Пошел в город. Был у меня сбор, пригласили 13 новичков. <...> Говорили хорошо. Провожал Елизавету Х. и говорил о том, что Успенский истерик.

3.IV.21. Суббота утром

Варил капусту. Читал Блаватскую. Молился. Пошел к Всенощной. (Пришедши солнце на Запад, видевши свет вечерний.) В «Маяк». Там философский кружок. Пошел к Кузнецову. Дошел до Галаты. Обрато было уже 12. На Пера встретил офицера, и он пошел ночевать ко мне.

4.4.21

Взял «Мир в ожидании». Варил какао. Утром встал поздно. Пошли гулять и читать Вудкауза. Играли в футбол. Устал. Домой. Дома примирился с папой. Поплелся в город. Был в «Маяке». Потом к Кузнецову. У Ольги Николаевны открылся туберкулез легких. Поговорил. Домой. Он меня проводил немного. В «Маяке» обратно, и я зашел в Русо-Американ. Смотрел. Виденье Вавилона. Колоссально взял «Путь к посвящению».

5.4.21

Молился утром в 5 ч. Читал «Путь к посвящению».

Утром молился. Варил какао. Пошел к Вечерне. Пришел, еще не было. Стоял Вечерню я с 2 лицами. Потом в «Маяк». Слушал Успенского относительно множественности. Я потом с Елизаветой Х. разговаривал о буддизме Успенского. Домой. Был у Альтшулер. Говорил с Мад. Дал краткий очерк.

6.4.21

Утром взял все книги с собой. Пошел к Гуревичу. После часов отдал ему Казина. Пошел к Бизанс. Канта не было, купил «L'homme d'où et où». Пошел в «Маяк». Дал книгу Учителю и к Вечерне. Вечером дал книгу Елизавете и еще одной даме. Очень плохо говорил. Вечером домой.

7.4.21

Сегодня первая литургия, которую я слышал, на меня произвела большое впечатление. Был в «Маяке». Слушал лекцию Книтавера о Достоевском. Шел обратно с Елизаветой Х. Говорил об отсутствии <...> у Успенского из-за непонимания мудрости.

8.4.21

Слушал часы, потом к Кузнецову. С ним пошли к Мраморному морю. Ходили по степям среди рыбаков. Я балаганил и этим испортил себе настроение. Пошел к вечерне. Оттуда в «Маяк». Встретил Елизавету Х. Проводил ее домой. Она вошла, взяла тетрадь, и мы пошли опять в «Маяк». Там сидели в кафе и говорили. Пришел Бекер, нас прогнали. Я читал ее тетрадь. Мы пошли. Перед ее домом встретил офицера.

9.4.21

Сегодня целый день молился. Слушал литургию и Вечерню. Читал Бёме и Ледбитера. Днем в моей жизни совершилось чудо. Я исповедовался священнику. Он отпустил мои грехи. Кок<аин>. Я ему сказал об этом.

10.4.21

Суматоха. День громадной важности. После <...> ночи утром молился в другой комнате и пошел к литургии, со

страхом Божиим приступил. Да прославится Господь Бог. Вышел. Каждому дереву именины. Зашел к Елене Ефимовне. Домой. Ел усиленно макароны дома. Вечером молился. Читал Ледбитера. Вечером был у Всенощной. Потом в «Маяке». Проводил Смыслова к кинематографу. Я не пошел. Домой. Дома ел макароны.

11.4.21

Утром читал «L'homme d'où...». Пришла Нурис. Ушла. Молился. Впервые ясно почувствовал себя <...> Существом. Пошел в «Маяк» (у Девичі купил пояс), там прыгал в саду со скаутами. Потом с офицером, что ночевал у меня, поехал в Стамбул. Кузнецову очень тяжело. Надо за него помолиться. Говорил о Слове. О Входе в Иерусалим с Ольгой Николаевной. Потом с Кузнецовым в кинематограф. Там в пустом громадном зале ему рассказал о Целях. Потом домой, ибо Ксения Павловна забыла ключ. Дома заснул, не молясь. Жалко.

12.4.21

Днем ел яичницу. Утром удручен был тем, что вечером не молился. Встал поздно. Молился. Утром читал Ледбитера и Бёме. Одел скаутскую форму. Потом пришел папа. Я молился в той комнате, где кухня. Потом позже варил макароны. Вечером лицо. Я до того возмущен, что не знаю, что делать. Сейчас буду молиться. Вечером рисовал обложку тетради. Написал «Скламур» и «Бешик-Тале».

13.4.21

Был в «Маяке». Встретил Сгуриди. Она отдала мне поэму. Хвалила. Вечером встретил в «Маяке» Константина. Много говорил ему довольно покойно. Домой.

14.4.21

Утром поехал покупать ботинки с папой. Обедал в «Маяке». Были у Тирита и еще во многих магазинах. Потом к Вечерне и домой с папой. Вечером молился, а днем нет.

15.4.21

Утром встал рано. Молился. Пошел с папой покупать ботинки. Потом был в «Маяке», у Сережи и Альтшулер. Отдал

поэму Н.Ар. Потом был у Кузнецова. Его не было. Я купил кулич и поехал слушать 12 Евангелий. Встретил Кузнецова <...> слушал. Тяжело было за свою быструю распускаемость. Обрато несли свет с Иван. Зас. и А.К. Дома читал про арийцев. Молился.

16.4.21

Слушали литургию чудесной красоты. Впервые переключанье голосов.

17.IV.21

Утром были в церкви. Папа причащался. Потом в «Маяке» и пошел к Кузнецову, купил кулич. Зашел к Дементьевой и домой. Оттуда еще раз в город за куличом для К. <...> Заутреня. Я стоял конец в саду. Домой шли до утра. Я нет. Встретил восход солнца на горе, думал о утренней звезде.

18.4.21

Воскресенье утром. Ели, и я пошел в город. Был у Альтшулер и очень много говорил с Марией Абрамовной. Долго пешком. Какой-то турок за мной шел. Я убег. Хорошо, что не рассердился. Читал Ледбитера.

19.4.21

Утром пришел Кузнецов. Мы пошли в город. Говорили о любви под формой Воли. Встретил Меликова. Я дал ему книгу. Был у него. Потом в «Маяке». Встретил папу. Из «Маяка» шли по Пера. Встретил Асееву после 4 лет. Поговорили. Я проводил ее. Она ушла милая. Господи, помоги ей.

20.4.21

Утром оделся. Молился. Взял в портфель рисунки и ушел к Асеевой. Нашел адрес ее подруги. Там ее не было. Она послала меня на Пера. Там тоже. В «Маяк» и к Альтшулер, с Марией Абрамовной плохо. Был в цирке с Дуней Берися. Ольга Николаевна. Если бы я был моложе, я бы влюбился в нее. Вечером рисовал заставку.

21.4.21

Утром взял ее и одел рубашку. В город, купил аксельбанты, в первый раз в жизни прошелся по улице в форме.

Как странны эти незабудки в январе. Обрато шел с Кириллом. Зашли к Сереже и пошел с ним на Таксим в кафе. Мишероооский <...> рассказал мне о Аресте. Бураков и ком<пания>.

22.4.21

Утром поехал к Дебори. И там забыл рисунок. Оттуда искал Звездочку, в «Маяк». Как смешно и печально. Я так радуюсь форме с Кириллом.

23.4.21

Сегодня я одел 1 разряд. Молился. Суббота. Утром одел форму. Побежал в «Маяк». Там парад. Я с кажется, ничего. Торжественного обещания не давал никогда. Впервые вслух повторил со всеми. Наградили Смыслоа <...>. Я проводил его в гимназию. Все утро я рисовал. Нарисовал Распятие в скаутском значке.

24.4.21. Суббота

Утром одел форму. Молился. Побежал в Харбие. Долго ждал. Потом пришел один скаутенок. С ним в первый раз в жизни занимался. Из рук вон плохо. Кроме одного узла не мог ничего показать. В «Маяк», оттуда ко Всенощной. Вечером был в «Маяке». Было заседание о Воскресенье. Шел и думал о беге.

25.4.21

Утром встали. Пошли с папой в «Маяк». Я купил Ницше «Переоценку». Оттуда в «Маски». Идиотская картина. Домой. Дома болели зубы. Всю ночь не спал.

26.4.21

Зубной врач. Был в городе у Альтшулер, у Васи и у Сережи. До того был у Досужкова. Поэт он из рук вон. Провожал Сережу домой. Болели зубы. Вечером молился. Был у меня второй сбор в моей жизни, довольно хорошо.

27.4.21

Дома читал «Человек откуда», варил картошку и рисовал «Большие и маленькие». Пришел папа. Я оделся и пошел в город. В «Маяк», потом к Меликову, с ним и его кло-

уном мы проходили по Пера. Оттуда в «Маяк». Там поговорил с Дамой, поклонницей Успенского. К Кузнецову, поговорили у Воловика, и пришел неожиданно Горлянский. (Они строят свой театр.) Говорил много у него. Домой через весь город пешком. Лег в 5.

28.4.21

С Володей сидели на крыше. Я рисовал. В «Маяк». Там обещал бежать на пять тысяч метров. Пошел в город, опоздал на сбор. Домой бежал, прибежал. Пошел к ребятам. «Отец» рассказывал о школе гимнастов.

29.4.21

Читал Мещая. Не молился. Никуда не ходил. Вечером пошел с Сережей и «Отцом» в «Маяк» и в кинематограф. Домой. Не молился. Очень плохо.

30.4.21

Утром встал поздно. Читал Мещая второй раз. Морду вдребезги. Молился очень хорошо. Пошел в город, в Стамбуле сошел с трамвая у Палас. Пошел к Елизавете Х. Застал ее. Смелая она девушка. Читала тетрадку жестоко-стей. Потом пошли слушать Успенского. Очень хорошо он кончает. Ахмянину проводил <...> обратно пешком. Походили по Тупеля до дома Г.Сар. Трамвай. Домой. — Главное событие этого месяца — это говение. Ничего подобного я не испытывал дотоле. После все осталось по-прежнему. Только глубоко внутри как будто на новой Земле живешь.

1.5.21

Утром сорвался. Хотел от Тур Боль. Уходили смотреть вырванные деревья. Утром встал поздно, нервничал. Опять зеркало вниз. Пошел за ним. Потом молился хорошо. Пошел к Федору, возвращаясь, дал Сгуриди масло. «Маяк». Встретил Меликова. Мы с ним вошли в земскую столовую. Оттуда ко Всенощной. Я забыл Поэму на Таксим. Отдали в «Маяк». За деньгами в Стамбул. Говорил с Горлянским о <...> и с братом Ксении Павловны о культурах. Хорошо, очень хорошо.

2.5.21

Утром встали. Пошли в «Маяк». Обедали. Пошли в Мапсик. Дошли. Раздумали. Дошли до Чри Шала, сели на 12, уехали. Доехали до моста, сели на пароход. В Еюб<е> встретили Сережу. С нами вместе он пошел рисовать. В Еюбе смотрели мечеть и пошли на кладбище. Обрато папа встретил дочь <...>. Домой... Трамвай. Купил варенье. Я наломал акации.

3.5.21

Утром встал поздно. Просил папу обождать и молился. В «Маяк». Отдал Досужкову <...>. В Стамбул. Был у Горлянского. Читал сонеты. Ходили с Кузнецовым в 5 общежитие говорить о приюте Деметковой. В «Маяк». В Галате на мосту стоял трамвай, погас свет <...>. На лекции дал Елизавете «У ног Учителя», поговорили в «Маяке», и я проводил ее домой до Теке. Трамвай. Домой.

4.5.21. Среда

Молился. Утром был у Меликова. Сидели с ним в Теке и вошли к Елизавете X. Взял у нее книгу и читал ему на кладбище. Вечером пошли на концерт. «У ног Учителя» <...>, с которым познакомился.

5.5.21. Четверг

Среда утром — пришел Меликов. Мылся у меня. Я дал ему штаны и туфли. Ушел. Молился. Хотел идти к Елене Ефимовне. Пошел с Меликовым. Сел читать на улице. Потом читал Штейнера и писал правила поведения.

6.5.21

Утром к Стоякину. Принес домой. Молился очень долго. В город не пошел. Вечером читал Штейнера и переписывал правила поведения.

7.5.21

Утром пришел Смыслов и Шлеченко. Пошли на гору, и сорвал цветов. Потом читал Рудольфа Штейнера. Молился долго. Пошел в город. Был на лекции. Шел обратно. Проводил Успенского. Милый, но странный человек. Домой. Вечером узнал, что виза пришла. Стало грустно. Написал

«Бишек Тале». Напишу в таком же духе еще о Константинополе. Шепотом молился, уже светло было.

8.5.21. Суббота

Утром не молился. Пошел с папой в город. В «Маяк». Потом сниматься. Потом пошел в «Маяк» со Смысловым, обедал под палаткой и говорил о Гурджиеве. Потом несколько раз заходил в «Эспресс» к Меликову, но его не застал. Домой. Пошел в церковь, зайдя за Васей домой. Дома заснул.

9.5.21

Утром сидя переписывал Рудольфа Штейнера. Потом пошел вниз к Спиридонычу на именины. Вернулся. Пошел молиться в ту комнату. Молился долго. Потом уже 10 ч. было. Поехал сперва в «Маяк», где никого не было. Потом в Стамбул. Читал Кузнецову выписки из «Пути» и говорил с его матерью на площади. На Таксиме встретил Юризма. Он рассказывал мне очень интересную теорию <...>.

10.5.21

Были с Меликовым. Слишком поздно узнал <...>. Утром, кажется, молился. В «Маяке» видел Юризма. Он носился только на лекцию. Успенский был очень интересен. Говорил о этажах личности.

11.5.21

Утром с папой к зубному врачу. Там никого не было. К Кузнецову поздно вечером. Он был. Говорили с матушкой Кузнецова на балконе. Видел до этого Меликова. Он на окне ел с Ваней. Книгу не нашел.

12.5.21

К зубному врачу. Утром встали. Оделись. Опоздали. Молился одной молитвой. К Лозянскому пошли в посольство <...> у папы итальянская вместо французской. В «Маяк». Павлик. К Сереже. Немного говорили о искусстве. Видишь, живя в вещи, на которую смотришь. (Встретились в земской столовой.) Оттуда к Васе. Очень много говорили с ним и еще с одной дамой, сидевшей на скамейке. Ночь молился. Утром гулял с собаками.

13.5.21

Утром встали рано. Пили кофе внизу. Пошли в посольство. Оттуда сели на 12 трамвай <...> и приехали к Кузнецову. Он, Ксения Павловна и его мать пошли посмотреть обелиск у Суит Атема, чудо <...> красоты. 4 стороны его дали мне мысль о 4 путях. Вернулись, зашли за Ольгой Николаевной. Она вышла красавицей. Пошли к Баязету. Папа купил им <...>. Обрато она со мной пошла в Парк Стамбула. Гуляли. Очень долго говорили. Потом поехал в «Маяк» и к Елизавете Х. Домой.

14.5.21

Долго спал. Встал, ибо вчера позорно заснул, не молился, печально. Утром пошел вниз пить кофе. Засиделся там. Зарисовался. Вдруг опять 3 часа. Пошел наверх. Одел скаутскую форму (взял у Смыслова золотую звезду). На трамвай, доехали до Б... с часами 5 минут 5-го. Со Смысловым слезли у Тон Капу, наверх. Купили <...>. И пошли там же вдоль дома к его отцу с ребенком и его мачехой. Все очень милы. Говорили о ребенке. Пошли в «Маяк». Обедали (творожники). Смыслов ел артишоки. Поехал к вечерне. Молился. Домой. Дома придумывал песню.

15.5.21. Суббота

Я поехал к врачу, бросив Смыслова. Доктора не было. Кажется, обедал в «Маяке». Смыслов ел артишоки. Поехал за Кузнецовым. Мы пошли к Деметковой. Я все время говорил с Кузнецовым. Не застав, дошли обратно до моста. Я встретил своего <...>. Из больницы бежал всю дорогу, было уже поздно. Зашел в «Маяк». Взял у Гринберга <...> доехал. Там уже кончилось.

16.5.21

Утром рано в 1/2 6 я пошел на «Обрыв». Обошел знакомые места, желая запомнить. Ответственность. Около дома «Эмира» над забором куст жасмина. Я перелез, сломал его и забыл в Гумаморе. Пошли в посольство и в кооператив. И я к доктору. Он больно сверлил передние зубы. <В> 3 часа встретил папу на улице Биржи. Пошли опять в посольство, ничего. Вечером последняя лекция записана. Был у Се-

режи. Взял 2 рисунка. Домой. Встретил Катерину Исакову. Прощался. Милая.

17.5.21

Утром встали рано. Я молился. Связали одеяла и взяли араба... что привез вещи Смыслова отца. Сдали на хранение. Обедали у Покашлы в Галате против остановки 22-го. <...> На пароходе наш отряд с Федором Николаевичем. Я сидел на самом носу и смотрел на море. Позже я пошел через гору купаться. Купался как прежде. Обедал. После обеда пошел к патеру Джанс-Джану и очень много говорил о сравнении религий. Заснул поздно.

18.5.21.

Утром Етралие. С офицером съездили за вещами. К папе и к Кузнецову. С Ольгой Николаевной в парк. Вдруг вспоминаю — зубной врач. Добежал через С...джи. Поздно в «Маяк». Львов написал записку прощания с первым местом моей новой жизни на Барма Калу. Грек заклеил мне зуб. Домой. Они у Сидорского. Уходил. Снова вернулся домой. Мой последний закат был так чуден. Ребята пришли прощаться. Был у Вечерни. Складываюсь. 12 часов ночи. Хочу не спать.

19.5.21

Сперва к Сереже. Его не было. Вспомнил я свой припадок отчаяния на этой улице и молитву. К Деметковой. Прощался до <...>. Пешком, видел Дружинина и офицера с ним. <...> В Стамбуле встретил на извозчике папу и Славу. Больше я его не видел! К Кузнецову, с ним на пристань. Чуть повздорили, но простились очень хорошо.

20.5.21

На пароходе пытался запечатлеть в памяти уходящий Стамбул. Заинтересовался какой-то армянкой и *опять заболел позой*. Завтраки, обеды, я еще не вошел в колею. Вечером познакомился с барышней из «Маяка», а ночью на палубе с Жозефля заговорили на арго. С «Ней» произошла безобразная сцена. Она назвала меня пьяным на прощанье. Слушал калмыка о <...>. Нашлись знакомые.

21.5.21. Кажется, суббота

Сегодня утром на палубе. Потом днем усыпил себя на кресле, пробегая систему «Спящего и проснувшегося». Потом говорил о Гурджиеве с Португаловой и немного с Карлом Беляр<ом>. Вечером на палубе фокстрот и вальс. Я заснул на лавке. Потом в трюм. С Тамарой все еще в контрах, хотя поклонились у лестницы. <...> Написал «Лота».

22.5.21

Утром проходили Италию. Громадные горы и деревни как замки. Потом ночью вулкан. На палубе. Смотрели в бинокль, а вечером смотрели закат, как огненный диск над бесцветной водой. Слегка поклонился на палубе. Говорил с сержантами о большевиках.

23.5.21

Утром встал поздно. На палубе днем заговорил с Зелюком. Говорил о Учителе. Потом с Татьяной много говорили. Я сумел оправдаться перед нею. Говорил с Кирой Петровной. Потом с нею, какая она милая. Закат и облако, горящее от солнца на горизонте. Вечером лежал на шезлонге на палубе со стариками.

24.5.21

Утром говорил с Татьяной много. Показался берег Франции. За ним впервые зашло солнце. Говорил с Татьяной о матросе. А вечером пел «3 пажей» Кире Петровне. Написал сонет и ночью лег на шезлонге на средней палубе. Говорил о том, что дать на чай человеку. Заснул поздно.

25.5.21

Через некоторое время все уже встают. Одеваюсь, выхожу на палубу. Серое утро до восхода солнца. Пароход вошел в порт. Восхитительное зрелище фантастического мира, приближение города. И вот он на горизонте. Кира Петровна прощалась с сержантами. Мы говорили с ней у борта. Проверка билетов. В таможене нежное прощание с турчанкой, и мы вышли на улицу. Господи, благослови. Дошли до Биржи, пили кофе в кафе, взяли извозчика, поехали на вокзал. Я взял номер в гостинице. Я там мылся, и мы поехали обедать. Мне дали плохо. Я и Софья Яр. на вокзале.

Я сдал вещи в багаж. Киргиз, я и она сели на извозчика. Он нас привез в Шерилова. Вылезли, потеряли калмыка. Сели на трамвай, приехали в порт. Спрашивали. Сели на трамвай, нашли своих. Отправили <...>. Пошли с Зелюком в церковь. Купили конфет, пришли на вокзал. Сидели с старухой-барышней в гостинице.

26.5.21

Нашли вагон. Купили книг и приехали вместе с Шапошниковым. Говорили. Я не спал. Все время смотрел в окно и восторгался скоростью. После тяжелой ночи утром села и огороды. И Париж. Проводили Зелюка, слезли, потерялись, жалко. На автомобиль до rue Jacob. Устроились. Пили кофе. Я взял карту Парижа и к Hôtel de Ville и на автобусе к Рацигу. Его не было, оставил записку. Домой. Чай. Сел опять на автобус. Приехал, ждал в столовой и сидел у него в комнате. Говорил о <...> (все очень хорошо). Потом пошли в кафе и в бар. Возвращался на метро с пересадкой.

27.5.21

Утром оделся, пошел гулять по Парижу. Был на rue de la Paix и в Notre-Dame. Домой. А оттуда на метро к Grégoir'у, у него флюс. Говорили сперва чепуху о Джаз-банде, потом о теории относительности. Возвращался на метро. Просил меня у Réaumur-Sébastopol.

28.5.21

Утром оделся в скаутскую форму. Пошел искать штаб. Смутился, вернулся. Молился. <...>. Пошел в город, rue de la Paix. Сидел в Tuileries, писал стихи. Домой. Папа и все пошли на Монмартр. Ходили, смотрели, вернулись немного поздно. Видели художников в плохих костюмах, едущих на бал.

29.5.21

Утром пили кофе в своем кафе. Молился много. Потом пошел к Грегору. Метро. Меня завел в обратный конец. Посидел у него. Он обедал. После этого пошли посмотреть Place des Vosges и сели на трамвай к Монмартру. Пришли, сели в кафе. Поили проституток какао. Они ушли, сели другие. Я задал несколько безумных вопросов. Возвращался.

30.5.21

Молился ночью. Утром встал рано. Оделся и пошел к обеду. Сел на месте, где всегда молился, возвращаясь вечером, у поворота заплакал горько и пошел, тоскуя и ужасаясь. У обедни нас было трое, и в тихой церкви с солнцем, играющим на образах, пел хор <...>. Я молился, поставил свечи и пошел.

31.5.21

Молился. Поехал к Грегору, ругал его за то, что он не приехал. Пошли с ним в кафе около Étoile. Обрато на автобусе. Еду, вижу, идут папа и Верблюдов. Пошли в кафе. Печальные эти кафе с фарфоровыми девушками. Домой. Дома очень долго сидел и писал. Написал 2 песню. Воскресенье. Утром должен был прийти Грегор. Не пришел. Папа и Верблюдов поехали гулять за город. Вечером я пошел к Грегору. Оттуда на автобусе домой. Дома молился. Вечером пил молоко.

1.6.21

Утром кофе. Столовая. Молился довольно тяжело. Сел писать. Пришел папа. Говорит, что у него сонливость. Пришел Грегор. Папа дал 10 франков. Мы сели на автобус. Я купил газету Р.Дункан. Приехали <...>. Вскочили, вошли в кафе, и вот был в итоге замечательный разговор до 2 часов о распознавании реальности и нереальности. Домой шли поздно. Расстались на бульваре. Шел домой. Дома переписывал сонеты.

2.6.21

Господи! Утром кофе. Потом обедать. Домой. Молился 3 молитвами. Вечером оделся. Пошел искать Boulevards. А часто рабочие кварталы. Обрато ехал на трамвае. Пил кофе у себя в кафе на углу rue des Saints-Pères. Домой. Днем писал дальше. Написал до конца вступление. Надо писать «Странника».

3.6.21

Утром перетаскивал вещи в 31 номер. Устроился. Потом пришел папа. Ушел. Я молился, в 7 кончил. Пошел за молоком. Разлил его. Вытер. Стал одеваться. Чуть не плакал

от припадка бедности. Ушел. Вернулся из-за галстука. Метро. [К] Грегору, никого... В квартире Грегори 7 человек. Поговорил очень уверенно. Пошли в кафе. Он и она красивая, как картина. Говорили мало. Больше как флирт. Они пригласили нас пройти до Place Blanche. Метро. Но дома долго говорили о трудности дела посвящения. Пешком домой.

4.6.21. Пятница

Был вечером у Грегори. У него бал. <...> Решил обязательно еще раз пойти. А я пошел к Деметковой. Долго говорил о теософии. Домой. Меня свели в вегетарианский ресторан.

5.6.21

Сегодня в ресторане. Приехал Грегори. Поговорили. Я дал ему листок с правилами ордена и Рудольфа Штейнера. И дежурили в кафе до полночи. Никого. Ушли. Вдруг она нас догнала. Сели в другое кафе. Мы ей надоели. Она пошла спать. Мы тоже.

6.6.21

Сегодня в ресторане. Ходил в Лувр, до шести часов болтался. Замечательны «Тайная Вечеря» и «Торжество религии» Рубенса и <...>. Музей утомил меня. Домой, молился. Ждал у входа и говорил с <...> рабочим.

7.6.21

Опять не ем. Перешиваю платье. Поехал на Монмартр искать «Общее дело». Слез на самом холме. Чуть не подох от каких-то диких спазм. Шел очень далеко. У Биржи видел толпу продавцов. Жалко их. Домой.

8.6.21

Написал продолжение поэмы. Много хуже.

9.6.21

Утром пошел в академию. Первый раз. Сел рисовать обнаженную натуру. Первый раз в жизни. Неприятно. Шел обратно. Голова гудела, и так блаженно синело небо. Утром ходил с папой в пале Бурбон. <...>

10.6.21

Утром ходил искать фотографии, и я купил цветы. Утром молился. В вегетарианский ресторан, в академию. Пришел домой и заснул с «Современными записками» в руках. Еще раз молился. Из академии, научился молиться о свете. Вечером я поехал к Грегори. Очень поздно пришел. Лазил наверх, его не было. Он, оказывается, приходил ко мне.

11.6.21. Суббота

Утром: молоко, молитва, метро, академия. Приехал поздно. Рисовал много и спокойнее. Под конец меня раздражала одна натурщица. Завтра перехожу на мужскую натуру. Потом обед [в] семь и в церковь. В темном подвале один молился. Домой. Грегори говорил о 16 лепестках лотоса. Проводил его. В кафе пили кофе. Метро. Я домой. Дома рисовал папу.

12.6.21. Пятница

Утром ходил сниматься. Потом молился и в академию. Хочу познакомиться с художницей рядом. Вечером в вегетарианскую столовую. Потом домой. Читал «Записки». Очень хорош Толстой. Идиотски заснул, не молясь.

13.6.21. Воскресенье

Ездил в академию. Заперта. Писал письмо Смыслову. Написана «Речь странника».

14.6.21

Рисовал. Познакомился с Костей. Шел с евреем. Он немного меня проводил. Он говорил о своих рисунках, что забыл, и хочет работать систематически.

15.6.21

Утром гулял по Латинскому кварталу. Пантеон. Пошел в академию. Натурщица... На выставку. Рисовал немного. Выставка замечательная. Обрато шел с евреем. Потерял бумажник. Много говорили о теософии. Домой. Письмо Смыслову.

16.6.21

Утром домой. Пошел в Люксембург. Молился. Я в академии сидел поздно. Был и другой. Пошли с Костей в столовую. Оттуда к Еве. Я читал. С ними в кафе (печали). Оттуда в таверну на St.Michel, где основали клуб. Оттуда пошел ночевать к Гингеру. По дороге говорили о теософии.

17.6.21

Утром домой. Молился. В академию. Костя предложил идти в спортклуб. Пришли. Вавилонский порт? Он бегал. Оттуда к Гингеру. Оттуда к <...> Никого. Кажется, писал продолжение к поэме.

18.6.21

Утром встал. Пошли на метро. Карт, сидел до 5. В 1/2 6 получили (молился плохо до 2). Залезли. Пили кофе. Поехал за Грегором. Не застал. В церковь. Пришел на окончание. Молился. Обедать. Составлял программу к <...>. Домой. Пошли с Верблюдом на Grands Boulevards¹. Карпантье победил <...>. К Гри-Гри. Никого. Потом много народу. Провожал Воловика спать. Там я читал. Было хорошо. Оттуда в ночное кафе. Бедный Талов. Домой.

19.6.21

Утром с папой к Верблюдам. Потом по площади к Грегору. Папа и они брали билеты. Я взял такси. Поехал к Грегору. Он вставал. Я отпустил такси. Грегор проводил меня. Я взял трамвай. Долго ехал в St.Germain². Там обедал с папой. Были в замке. Пошли в сквер. Поссорился и нагрубил В. Слушал музыку, была «Она». «Проблески». Смотрел спорт. Купил конфеты. Трамвай. Слез на ярмарке. Карусель. Стрелял. Пошел искать вечеринку. Говорил о Учителе с Таловым. <...>

20.6.21

С папой ходили на метро за карт. Не получили. Домой. В академию. Рисовал до конца в академии. В ресторан. <...> Оттуда Порт Шампере. Обратное метро. Писал стихи <...>. Спать.

¹ Большие бульвары (фр.).

² Сен-Жермен (фр.).

21.6.21

Утром в академию. Потом пришел Грегор. С ним сели на автобус. Говорили сперва о Карпантье. Потом очень интересно о теософии, о системе. Прошли они, поздоровались и ушли. Заняты, бедные.

22.6.21

Утром молился. В студию опоздал. Рисовал. Вечером в столовую. К Грегору. Он собирался к матери. Проводил меня до St.Michel. «Гатарапак». Я читал доклад... Потом были прения. Футуристические танцы. Шел обратно с Карским. Говорили о Терешковиче. О его магнетизме.

23.6.21

Меркреді. Утром молился. В академию пришел поздно. В столовой не ел. Потом пошел в Люксембург. Ева и Цвибак меня догнали. Сидели в саду. Потом ночью пели Вертинского. Я ее провожал. Вспоминал Женю. Было уже поздно. К Грегору нельзя. Было я забыл книги в кафе. За ними домой. С Карским в «Гатарапак». Очень интересно говорили.

24.6.21

Утром «Общее дело». Молился. Купил у М.Регіе ящик. Недодал двух франков. Взял из мастерской две маски лучшие. Домой. К Грегору. Приехал поздно. Сидели. Долго говорили о Публичной библиотеке. О 50 000 лет, чтоб ее прочесть. Читали Блаватскую о Монако Дуадентриаде. Был в столовой. Еды не хотел. Купил бриош на Итали.

25.6.21

Чистил ящик. Все утро ходил покупать кисти. Встретил девушку с «Сиркасис». Проводил до центра. Не молился. В студию. Провожал Паниса до Люксембурга. Я пошел к нему. Очень странно живет в студии среди мраморного человечества. Говорили о евреях. Домой. Сидел у окна в кресле. Слушал часы. Не молился. Встретил на улице [девушку?]. Простился. Уехала.

26.6.21

Утром ходил покупать краски. Молился до половины 3. Сел рисовать комнату. Папа. Я кончил молиться. Пошел купил черную [краску?]. В академию. Начал наверху. Потом внизу работал маслом и карандашом. Церковь. Немного поклонился. Champregret¹. Никого. Домой. Обедал рядом в маленьком ресторане. Домой. К несчастью, «Лицо». Шел мимо Сены. Чудный вечер. Был «Гатарапак». Читал реферат. Была Цимбалист. Провожал Карского, Гингера и Терешковича.

27.6.21

В Сен-Жермен. Церковь, конец обедни. Грегор. Трамвай Сен-Жермен. Зашел в церковь. Слушал мессу. Потом далеко ушел в лес. Писал очень много. Устал, домой.

28.6.21

Утром молитва. Академия. Я отдал застеклить несколько вещей. Когда я шел домой, уже играла музыка и танцевали люди. А на площади выюга из листьев.

29.6.21

Утром папа пошел с Верблюдами гулять, а я к Скульптору. Пошли на Grands Boulevards. На Сене видели фейерверк. Потом на St. Michel и в «Ротонду». Всюду <...> люди. St. Michel. 3 девушки <...>. Воловик. С ним сперва поссорился. Всю ночь. Потом, когда ушел скульптор, я вернулся и проводил его домой. Много говорил. Раскаянье, и вот все хорошо.

30.6.21

Спал поздно. Молился. С Карским за Женей к «Интер». Она идет переодеваться. В «Ротонду». Я рисую, опрокидываю столик. Все платье в пиве. Домой. А мы обратно в «Ротонду». Рисую фигурки. А утром от Монпарнаса по <...> кафе и Сена. На мосту рассвет, где фигуры напротив. Хотели купить <...>.

¹ Порт Шампере (фр.).

1.7.21

Утром рисовал на Сене с Карским. Домой. Заснул. Молился. Вещи не готовы. Весело шли ко мне домой. Работа ничего.

2.7.21

Утро. Молитва. Столовая Arago. Никого. Пешком домой.

Понедельник. 3.7.21

Утром сел рисовать, целый день. Пошел к Жене. Никого. Обедать. Цвибак. Пошли к Гингеру. Роза и Женя. Женя пошла домой. Мы к Розе. Я рисовал долго и плохо. Они обиделись. Потом они пошли в «Ротонду». Я домой и заснул, не молясь.

4.7.21

Молился, рисовал. Баловался. Домой. Папа в темноте. Я сел рисовать. Нарисовал человечков <...>.

5.7.21

Утром молился. Потом академия. Опять шум. Столовая с Цвибаком. У него. Потом на В. Arago. Говорил на пороге по-французски. Домой. Купил книгу.

6.7.21

Утром с папой получили карт дидантите. Домой. Написал монолог женщины и еще сто строк до вечера. Вышел. Закат горел. Творчество, что та же молитва. Долго стоял на Монпарнасе, смотрел закат. Взял вещи у [..?]. Столовая заперта. К Цвибаку. Карский читал поэму. Ходил пить шоколад в «Ротонду». Домой. До 4 разбирал рукописи. Молился. В 6 лег.

7.7.21

Утром ходил далеко за молоком и брился, потом считал рубашки и молился, потом купил картон <...>. В академию. Рисовал большие лица. Американка презирает. Обедал с евреем-художником, пошел в «Хамелеон», рисовал на улице и в <...>. Пил с Карским [на] брудершафт, на улице с Фиксманом говорил хорошо. Домой. Городовой остановил.

Четверг, 8.7.21

Утром молился, но в 5 пошел в академию, под конец немного рисовал, в столовую. Скульптор обещал прийти рисовать, рисовал дома с папой, потом закат. Нарисовал <...> к людям, смотрящим на закат, смотрел в окно.

9.7.21

Утром молился, в академию, рисовал, пошел к Карским, встретил Карского, поговорили на скамейке на Port Royal¹, после обеда был у Цвибака, никого, у Карского никого, после обеда пошел к Дементьевой, она сказала про Конгресс. Ночью писал этюд крыши и луну, хорошо.

10.7.21

В субботу я ходил на бульвар Рапп, мне сказали, что будет Конгресс. Я спросил Цыпкина, потом пошел к Карскому и Цвибаку, его нет дома. Поехали на автобусе ко мне, читал стихи, в общем, очень кисло с ужином. Спросил он по дороге, что я уверен ли в том, что я говорю.

11.7.21

Утром пришел к подъезду, меня не пустили. Вышла Маша, вошел внутрь и заплакал (дико зарыдал, затрясся от счастья, страха, не могущий молвить слова, от счастья, что они: Безант и Кришнамурти — здесь). Повела меня в сад, успокоила, приняла в члены, написала карту. Я вышел.

...Поехал на Монпарнас, слишком рано. Домой. Ел твоя.

12.7.21

Великое продолжение того же самого великим неэлегантным человеком с рваной жопой. Сокращенный текст и оккультно-сексуальный комментарий весной-зимой 1935 года *sur les hauts plateaux désertiques du désespoir continu et resplendissant*². Молился и пост.

¹ Бульвар Пор-Руаяль (фр.).

² На высокогорных равнинах неотвязного и великолепного отчаяния (фр.).

Lundi 12 juillet¹

Молился и к Карскому. Писал небо на этюде. Пошел в столовую, оттуда к Цвибаку. Купил у него сапоги, мерил в подворотне, отдал сапожнику. В библиотеку, видел, ел цветок миндаля и сделал беспорядок на столе. Увы, забыл шляпу. К Розе. Дома нет. Домой. Дома сидел у окна и читал. Пошел в контору к папе к 5 часам.

13.7.21

Утром пошел к Мазурину с папой. Писал письма. К 5 поехали на Grands Bds., оттуда к М. Обедали <...>. Дали мне пальто и башмаки. Домой, сидел у окна, потом заснул.

14.7.21

Утром молился... писал билеты для Цыпкина. Купил «У ног Учителя». Отнес билеты к регенту в театр Шанз Élisées², домой, брился <...>. Кришнамурти и Анни Безант. Пел русский хор. Чудно он говорил, долго, перевели. Опять пели. Пошел, пожал ему руку. Он посмотрел в глаза. Сидел на улице и плакал.

15.7.21

Молился в St.Germain³ перед уходом. Утром проснулся в 4 <...> молился, пошел, купив молока, на Сену. Встретил нищего, говорил о большевиках. Вернулся, дал френч и штаны. На Конгресс. Много говорили дамы <...>. На Сену обедать. Хорошо говорили Кришнамурти и Анни Безант. Домой. Пришел Гриша. Условились в 9 вечера. (Гриша Ратциг — мой первый парижский-константинопольский знакомый. Фонари метро на Porte Champerret⁴. Oh qu'on est follement solitaire...⁵)

16.7.21

Ночь несчастная... Утром рисовал Кришнамурти на память. Потом молился долго и трудно. Поехал обедать. Взял

¹ Понедельник 12 июля (фр.).

² Театр Шанз Элизе (фр.).

³ Церковь в Сен-Жермен де Пре (фр.).

⁴ Порт Шампере (фр.).

⁵ О, насколько человек безумно одинок... (фр.)

сапоги, одел, вышел... с Цвибаком долго говорил о А.Толстом.

...Домой. Молился сидя. Звездному небу. Медитировал. И еще польского скульптора проводил.

17.7.21

Буду молиться... Утром дал Павлику башмаки. Пошел молиться. Карский <...>. Он уехал на автобусе, хотя и дослужил...

С папой заказали костюм. Обедать с творогом. В «Гатарапак». Читал «Шар Солнца»... рисовал, отвечал на вопросы Ларионова. Познакомились. Долго и хорошо говорили.

18.7.21

Утром пришел Карский. Я не молился. Пошли к Воловику. Говорил с ним о 27 и о чувствовании природы. Проводил обедать. Позже пили чай. В столовку. Долго сидели с Карским и ругались о Деникине... Карского я обидел. Он стал раздражаться. Я его искушаю баловством. Сидели в «Ротонде», говорили о Эдгаре По. Решил писать рефераты...

19.7.21

Утром молился. Потом пошел на Grands Vds. искать ботинки... На мосту дал старухе 5 фр. В столовую. Еврей-художник. С ним в «Ротонду». Рисовал Фиксмана... Пришел Гингер, показал стихи, раскритиковал. Я немного рассердился. Терешкович и Карский. Я отделился и пошел домой. Повесил головы на стенку, подрисовав карандашами.

20.7.21

Утром молился, потом пошел купил сапоги у Fayar¹, жмут. К Аронсону, никого. К Воловику*. Гингер ко мне. Я дал сапоги на Итали. В столовку. Цвибак — кредит на франк. Пошел с Воловиком в «Ротонду». Талов к Д. — сухой разговор. Надо осторожнее с этой стервой. К Цвибаку,

¹ Файар — обувной магазин (фр.).

* Целый день по знакомым, не умел сидеть дома, не мог до слез. — Примеч. 1935 г.

через минуту через «Ротонду» домой. Пробовал молиться, трудно. Надо Талову достать 10 фр. Молился.

21.7.21

Утром папа сказал о конце своей службы. Я взял пять франков. У прачки белье. Еще 3 франка. В столовую. Дал Талову 5 франков... Ко мне. Говорил о теософии. Спать.

22.7.21

Молился. Обедал во французской столовой. Домой. У Верблюдов* трагический разговор о конце совместной жизни и об отъезде. Слезы мои. Минута пробуждения. Плакал всю ночь.

23.7.21

Утром... с папой на вокзал... нагрубил Верблюдову, бросил билет и пошел. Папа рассердился... Верблюд не пришел, и папа уехал обиженный. Домой. Молился. Хватился — денег нет. *Не рассердился*. Зашел в магазин, просил мальчишку. Обещали завтра. К Воловику. Сидел в «Ротонде». К Карскому и Цвибаку. От трубки мутило. Домой. Рисовал автопортрет, утешился.

Суббота. 24.7.21

...Рисовал елку в Тюильри. К Mme Ginger¹ — лечила зубы. В Лувр. Цимбалист. Грехопадение. Возрождение. Голоден. К Карскому и Цвибаку. Никого. В столовую. Занял обед, стало бодро. С евреем в «Гатарапак», говорил плохо, шел и думал, что без молитвы как без пищи.

25.7.21

Покупал хлеб. Папа простил, получил открытку. Утром молился. Испортил три конверта, бросил... ел в долг. Цвибак заплатил. В «Хамелеоне» очень много народу читало, меня забыли, в конце читал я. Пошли с Цимбалист**. Рас-

* Верблюды — Верблюнские, папины старые грубые знакомые, у которых мы пили кофе. — *Примеч.* 1935 г.

¹ Госпожа Гингер (*фр.*).

** Сухая, нервная, черноволосая, изящная, первая моя симпатия, влюбляться еще не умел, с ней никогда не говорил о чувствах, считал, что теософу не приличествует. — *Примеч.* 1935 г.

кин и Лебсоев ко мне. Заговорил о пробуждении. Сидели против Нотр-Дам, проводил Раскина. Обижал?

1 су нашел на полу 55 с.

26.7.21

Утром пил кофе и покупал хлеб на 50 с. Читал «Египет», молился, наполовину написал письмо мальчику... молился. Обедать с евреем, в «Ротонду», рисовал, вдруг Френкель. Я страшно рад был. Рисовал его. Пошел ко мне, хвалил рисунки. Говорил о Нотр-Даме. Я проводил его. Говорил об эволюции, не пошел домой. Сидел на Паскале. В «Клюни» много рисовал. Терешкович есть хороший человек.

27.7.21

Утром... к портному... есть к Воловику, искал студию... домой, рано зашел в кафе «Парнас». Воловик с французенкой говорит трагические глупости о воспитании. Домой, заснул, не молясь, как скот.

28.7.21

Утром молился. Пошел к родителям мальчика и объявил, что он не виноват. Потом в столовую, занял полтора фр., хотел отдать еврею его франк, к «Ротонде», его нет. Конторщик взял у меня в долг. Шел домой, купил конфеты, заснул с ними под подушкой.

29.7.21

Утром... в магазин... домой, молился, к Воловику. Пошли в Люксембург, рисовал черную даму. В «Ротонду»... Я рисовал на скамейке, домой.

30.7.21

Утром молился, пошел к Воловику и с ним в столовую, вечером «Хамелеон», потом французский вечер для России. Рисовал очень много и хорошо. Обидел Воловика. Утром рисовал у Гингер... забыл деньги. В. уехал, я пешком. После вечера провожал Раскина, не говорил, потом плакал, и, к несчастью, опять лицо*.

* Мучил перед зеркалом лицо. — *Примеч. 1935 г.*

31.7.21

Утром молился, потом к Френкелю, с ним к Аронсону... показывал работы, говорил о страхе перед старинными вещами... В «Гатарапак». Я отказался читать экспромт, молчал, и тотчас же заметно уважение всех... Проводил Ратцига и дал «У ног Учителя».

*Notes de juillet*¹

Каждый вечер учусь молчать, трудно.

*Lundi 1 aout 21*²

Сидел в столовой (мальчик, мальчик, где была твоя радость. От неба было больно, а Н. было 11 лет). С Френкелем пошел в кинематограф. Утром Павлик смотрел папку... 1919 года. Ходил за хлебом... Молился, начал легко писать, писал... нетрудно. Оделся <...>. К Френкелю, он лепил Иова, чудная работа, потом сломал, пошли в «Гатарапак», рисовал много и хорошо, язвил и забыл себя. Говорил хамские вещи о бытии, читал очень плохо «Королеву цирка». У входа поспорился с Воловиком. Шел и плакал, решил извиниться.

2.8.21

Утром молился и с надеждой пошел к Воловику... у него Терешкович, боксер С. и Френкель. Пошли обедать, потом в «Ротонду», с Симановичем разговор о теософии. Они пошли в кинематограф. Я к Френкелю. Никого, домой, учился молчать (жалкая жизнь в слезах на людях). Рисовал для папы и убирался.

3.8.21

Утром молился, пил кофе, в 5 пошел в Grande Chaumière, рисовал очень легко и очень хорошо. В столовую, в «Ротонду». Терешкович уезжает, галдели в кафе. Англичанка, рисовал ее, встал, ушел, учился молчать. Рисовал для фонаря?

4.8.21

Утром молился, потом пошел к Френкелю, он лепил девушку, дал билетик в Гранд Шомьер, рисовал мою красави-

¹ Записи за июль (фр.).

² Понедельник 1 августа 1921 г. (фр.).

цу карандашом. Был Воловик. В столовку (опять), оттуда к Френкелю. Его нет, домой, он только что был, к нему, сидели в кресле, пели песни. Хорошо, но вредна печаль, говорил немного и без энтузиазма. Домой. Рисовал карандашом улицу; спать.

5.8.21

Утром к Френкелю, с ним к зубному врачу. Я рисовал в гостинной, оттуда в Лувр. Девушка, прошедшая, как парусный корабль. Улица, домой, рисовал натюрморт. К Верблюдовым... Там *Она?*.. Говорили долго, пошли провожать. Говорили насмешливо, простились, кончилась сказка, домой с Верблюдовым. Сидели на фонтане против Комеди Франсез. Домой, лег, потом молился до рассвета. Утром смотрел восход солнца.

6.8.21

Утром сел рисовать, потом к зубному врачу, оказалось 5 часов вместо 3. В Grande Chaumière. Рисовал вяло, дал Добринскому 5 франков. К Верблюдам. Там *Она*. <...> К Зелюку с папой. Будем ходить по музеям (с его женой), и он издаст мою книгу. Взял Дон Аминадо и к Верблюдам. *Она* там. Меня никто не пойдет провожать. Грустил. Из всех сидящих карма лучше всех у меня. Знать свое дело и молчать. Заснул, не молясь.

7.8.21

Был у Френкеля. Щека распухла, спешил, зная, что придет Зелюк. Кончил и повесил рисунок... тут же перевел «Девушка пела»... прочел, засмеялись. Пошел провожать Цимбалист. Говорил мало и плохо...

8.8.21

Утром Павлик. Рисовал портрет Блока гуашью под Врубеля, напортил... молился, показал портрет у Верблюдовой. Она равнодушна. Молился. В «Палату», показал Талову. Повесить нельзя. Рисовал с Добринским на длинной его бумаге Парнаха и Евангулова, шли обратно вместе, споря об искусстве. Смотрели танцы, мы с Терешковичем домой.

9.8.21

Утром молился. К Цимбалист. Бежал Гуревич. Пошел пешком на Bd.Rapp¹, библиотека закрыта... обратно в метро, начал говорить, сбился, кошмарное впечатление, она добрая, кажется, поняла. Дождь, обедал рядом с ней, на трамвае. Шляпа из платка.

10.8.21

Подкрепившись какао на Ste.Geneviève, молился. В академию, купил холст, шли с Воловиком в столовую, оттуда в «Гатарапак», жаль, идет спор. Дал Карскому книгу «Карма»... потом отнял. Шел с Раскиным, немного говорил, домой.

11.8.21

Утром купил акварель, у входа меня встретил голландец, не поклонился, рисовал... К Ginger<y>. Ждал Воловика на лестнице, жаль его. Рисовал... у Люксембурга шлялся по граверским лавкам... в столовую, говорил о астральном мире.

12.8.21

Утром молился, и к Mme Ginger, к Зелюку. Никого, в академию, рисовал мало. В столовую. Карский говорил немного. Пошел в Ste.Geneviève, много книг. Безант... читал до закрытия, очень доволен. Говорил... довел Карского до автобуса. Утром два письма.

13.8.21

Утром кофе, рисовал натюрморт. С 10 до 5 молился, не обедал... к Грегору, рады были оба. Говорили немного на Монмартре в нашем кафе, наша знакомая (проститутка) подошла и сказала, что была больна... в метро через путь попрощались, от Орега² шел, учился молчать.

14.8.21

Утром виноград. Молился впервые искренно о «Нас». К зубному врачу, очень больно, в столовую и к Зелюку, говорили «светски», в библиотеку. Вышел, молился звездам.

¹ Бульвар Рапп (фр.).

² Оперный театр (фр.).

В «Гатарапак». Доклад Барта, рисовал кубизмом, проводил Цимбалист с Воловиком, сидели на лавке. Полицейские просили бумаги. Надо спать.

15.8.21

Утром купил винограду, потом дома не решался молиться, в 3 пошел молиться в G. Обедал, мылся, сел на автобус... рисовал впервые с полным сходством, руку набил. Цимбалист ушла... В «Ротонду» с Терешковичем. Проводил его. Раскладывал рисунки. Устал.

16.8.21

Не спал. В понедельник утром рано пошел, взяв полотно, к Френкелю, его не было, пришел позднее. С ним поехали перевозить бюст (Бетховена) к Гингер<у>. Оттуда был в галереях и пошел пешком до дому. Вечером в столовую (тоска, тоска).

17.8.21

Гингер... метро Гласиер... купил бумагу, в столовую, пошел брать кольцо... в академию... музей был заперт... домой... трамвай. Смотрел чудные коллекции об Индии... Молился.

18.8.21

Купил кисть, тушь, картон. Пошел на Сену... Долго шел, наконец сел рисовать баржу, испортил, <...> в столовую... Домой, молился.

19.8.21

Был в академии... по ресторанчикам, напротив «Ротонды»... Затащил к себе Воловика. Смотрел рисунки... много говорил о теософии. Проводил до Люксембурга, взяв кисть... Папа ругался... рисовал.

20.8.21

Рисовал дома... Пришел папа, отравленный, сел. Потом предложил ему лечь, сложил его чемодан, он не мог спать, его рвало, заснул на моей кровати. ...в «Гатарапак»... к Барту, говорил с двумя дамами (еще о теософии)...

21.8.21

Утром уехал папа, натер ему лоб одеколоном, в столовую... в «Гатарапак»... читал «Небо уже». После вечера дурачки предложил читать лекции о теософии. Лицо сломалось... Возмутительная глупость... Домой, до 6 молился одной молитвой.

22.8.21

Утром оделся и к Воловику... говорил много и попусту, так что физически больно. Рисовал с ним (на улице)... Домой на крыше вагона... Ждал трамвая, вдруг ясно увидел «сферу». В столовую вся компания, доругался приподнято — наркоз властолюбия, ушел, вернулся, остался.

23.8.21

Утром пришли Сахаров и Павлик... Гингер, Евангулов, лакей пожал руку ему тайком, он ответил... Брюнелли... Френкель писал портрет, полное сходство... Домой, молился одной молитвой... в галстук, говорил о пробуждении... Домой... учился молчать.

24.8.21

Утром сел печатать на машинке. Вечером кончил все, не вставая. В столовую. Домой.

25.8.21

Рано утром молился, в 12 в маленький французский ресторан. Молился опять. В театре. Ресторан. Рисовал. Большая радость. Вечером молился 3 раза.

26.8.21

Утром рисовал Сахарова. Зубной врач... Домой... Обедал в маленьком ресторанчике. Молился 2 раза. К Цимбалист. Опоздал на лекцию, осторожно говорил о Прудоне... поздно пошел домой. Плутал пешком.

27.8.21

Папа уезжает, складывали вещи, был у баронессы. Рисовал папу и побежал за такси. Поехали, молился перед отходом в разгромленной комнате. Прощались с баронессой. Домой, молился.

28.8.21

Утром пришел Терешкович, Павлик и Меликов. Я молился до трех, пошел к Сахарову, писал лицо. Оттуда со мной домой, варил чай на купленной машинке. Вечером я молиться не смог. Глупо заснул. Пошел в «Гатарапак», рисовал, потом на скамейке говорил с интеллигентом... долго читал он стихи мне, поздно домой, учился молчать. Опять ночью нарисовал радости для.

29.8.21

Утром поздно проснулся, молился. Пришел Терешкович, пил чай. Я молился. Поборолись, пошел к С., очень нервничал. Нашли пиджак, оттуда к Цимбалист пешком, записка на двери, сели на лестнице, пианино печально играло, кто-то упражнялся. Потом рисовали. Я был дерзок и хмур. Обедали после в кафе.

30.8.21

Гингер... домой... молился... к Сахарову. Написал галстук и руки... домой... молился, с Терешковичем в кафе, долго и очень полезно говорили...

31.8.21

Гингер... «Printemps»¹... мебель. Купил 3 «У ног Учителя»... к Сахарову, в столовую, не обедал... в библиотеку... ко мне... говорили до 2 часов... молился.

*Notes d'août*²

Август пропал в зуболечении и рисовании. Пробовал несколько раз писать стихи. Ничего не выходило. Папа уехал, деньги летят направо и налево... Тоскую о Цимбалист, [но не] думаю, [что это] любовь... С молчанием лучше, часто дома, даже среди улицы минут 15 молчу.

1.9.21

Зубной врач... к Сахарову... Воловику. Домой... в академию. Был в академии. Рисовал много, горел свет. Так хорошо.

¹ «Прентан» («Весна») — один из парижских больших магазинов (фр.).

² Заметки за август (фр.).

...По дороге Терешкович и Френкель поссорились. Карцев и Френкель пошли ко мне. Заснул, не молясь.

2.9.21

Утром Мне G. вырвала мне зуб. Боль ужасная. ...Пришел домой, плевал кровью, но, опершись на стул, стал молиться... С Терешковичем пошел в «Палату поэтов», рисовал в пальто Ларионова... В «Ротонду»... разговаривали о буддизме. Рисовал углем натюрморт.

3.9.21

Проснулся до 10, потом молился. Решил поздно, заснул и впервые помнил себя во сне <...>. Проснулся... сидел в разрушенном доме. В 3 молился. В 5 пришел Терешкович ставить натюрморт. Молился, пошел обедать, не хватило 50 сантимов. Был у Барта.

4.9.21

Мне G. Взял краски. Пошел к Цимбалист. Пошел с ними гулять в парк. «Я вообще предпочитаю дела всему и всем». Я был виноват, гримасничал. Говорил о Матиссе. Домой, оплатил деньги. Молился.

5.9.21

Рисовал Павлика... пришли Терешкович и Воловик, которые хвалили портрет, оделся, проводил их. Молился, кажется, хорошо.

6.9.21.

...Писал маслом натюрморт. Вечером был у Грегора, обедал поблизости, поехал домой мимо Guimet¹. Обещал молиться за пьяного рабочего соседа.

7.9.21

...Писал натюрморт. Вечером лежал на диване и пил чай... Молился... поехал в академию... поехал к Грегору... он болен.

¹ Гиме — Музей восточного искусства (фр.).

8.9.21

Ехал в автобусе... горит «Printemps». Опоздал к Mme G... домой... читал... сел писать натюрморт... писал до темноты. Пошел к С. ...домой... молился.

9.9.21

Утром к Mme G. ...никого... читал. В Tuileries¹. Баронесса дала 5 франков... поставил коронку... домой... молился. Хотел утренней... рано молиться, не спать. Заснул как убитый, мучился во сне.

10.9.21

Утром рано молился, пил кофе. Пришел Павлик... ел виноград, пошел к Mme G. Ее не было, пешком обратно, учился молчать. Читал в Tuileries. Утром баронесса дала 10 франков. Пошел обедать. Вернулся домой, вдруг ключа нет, папа приехал. Поцеловались... к Mme G. ...и домой. Ходил за спиртом, варил чай.

11.9.21

Поехал утром к Mme G. Потом молился дома... Цимбалист. Говорил много с ней и ее приятельницей. «Гатарapak». Доклад Цвибака о Чехове, говорил плохо. С Шаршуном говорили о теософии.

12.9.21

Утром пошел провожать папу, на бульваре познакомился... с двумя французами. Много говорили о материализме... Домой... варил чай с сыром, обедать опоздал, молился до ночи, опять чай, списал книжку о теософии. Поздно, около рассвета, пробовал отделиться [от тела]...

13.9.21

Mme G. ...молился... в 4 взял бумагу и в академию...

14.9.21

Mme G. ...та повела меня к себе обедать. Пошел с Евангуловым и жалел дамочке 5 франков. Домой, читал, молился и в академию.

¹ Тюильри (фр.).

15.9.21

Как-то ментально молился, один раз очень долго, в 3 к Mme G. ...в академию. Воловик познакомил меня с французами, интересующимися теософией. Говорил. Вечером в столовую и на фуар¹, ели фрит², были в цирке. <...>

16.9.21

Молился... Днем был в академии, обедал с Воловиком... Пошел к Барту со своими работами. Очень ругал. Я обиделся и сказал грубость. Видел работы Терешковича, чудно. Читал им стихи. Домой.

17.9.21

Mme Ginger... картина... домой... молился один раз... в академию. Хохотал с французенкой... В столовку... Получил долг 5 fr. Проводил Воловика (нет, кажется, человека, которого я не провожал, подобострастно, печально)...

18.9.21

Утром рано проснулся до 8. Молился до половины первой молитвы. Потом пошел купаться. Начал, не мог кончить... Пошел к Барту, сидел и слушал о синтезе до 3, вернулся, потом 2 с половиной большой молитвы... В академию (Цимбалист не было дома). «Гатарapak», рисовал, читал, хорошо. Проводил Шаршуна. Говорил о магии*.

19.9.21

Утром... за газетами... Потом рисовал. К Барту. Не принял, домой принес Чюрлёниса. Молился. Пришел Терешкович. Взял ее белье, еще молился до 2. Опять Терешкович, рисовали карикатуры на вечеринку. Четко видел ауру. Во время танцев было в первый раз нескучно, хотя я не веселился**. Повидали Цимбалист с Воловиком. Ночью во время медитации отделился от физического тела и три раза сказал: «Христос Воскрес». Странное чувство удачи.

¹ Ярмарка (фр.).

² «Фрит» или «пом фрит» — жареный картофель (фр.).

* То есть я, конечно, скучно, подневольно плел, а он высокомерно, вежливо, гениально молчал. — *Примеч.* 1935 г.

** Танцевать я еще не умел. — *Примеч.* 1935 г.

20.9.21

Утром в отчаянии пил кофе, рисовал эскиз для фуар, утомление ужасное, написал стихов... Пошел к Барту и за сыром и сахаром, пил чай. Баронесса сделала грубое замечание — заплакал от отчаяния. *Желтая духота*. Молился до половины большой молитвы, читал Чюрлёниса и делал эскиз. <...> Сейчас буду молиться. Дай Бог, кончу большую молитву. Сварю чай.

21.9.21

Был в академии и купил темперу. С Воловиком пошел в его столовую, оттуда домой (рисовать)... Между молитвами написал два стихотворения. Молился.

22.9.21

Утром... рисовал композицию до вечера, обедать поздно пошел к Барту, купил сыру, масла и хлеба, пили чай. Был у меня Терешкович...

23.9.21

Рисовал темперу «У оперы». Молился и ему рассказывал о ней. Потом опять молился. Был у Барта, никого. В «Палате поэтов» читал «Змея», провожал. Шаршун говорил о публике и художниках.

24.9.21

Рисовал левый край оперы. С Пашенькой ругались с Кремнем, что не дает работу, от «Ротонды», потом с Воловиком смотрел работы Терешковича и Барта, обратно провожал и читал ему стихи.

25.9.21

Утром к зубному врачу с отцом. Оттуда на Отель де Виль (Ратуша) (в лавочку «Зв. на В.»). Говорил очень долго с продавщицей... К Сахарову с конфетами... и оттуда к Цимбалист... Оставил свет на пути... проводил... Дома читал немного о буддизме. Из стойков. Шел с Шаршунами и говорил о теософии.

26.9.21

В воскресенье утром поехал в русскую церковь, спутал метро, наконец попал, [как раз] кончилась, вышел, истерическим взглядом осмотрелся, привлек внимание, пошел обедать рядом в бистро, где дали сала в картошке; съел. Затем к Грегори и в Теософическое общество. Вечером в «Гатарапак», читал первым: «Змей», «Сегодня я», «Благослови, Господи», «Карма», шумел, смеялся на собрании, делал замечания, пошел провожать Цимбалист, бежал. «Вы не первый и не последний бежите за мной». Горько плакал.

27.9.21

Утром пил кофе, молился с перерывом на «Буддизм ésotérique¹». До вечера был Терешкович. В 10 часов отделился 2 раза... Молился 2 раза. Вечером поехал в академию на Place Clichy². Закрыто, еще бродил по фуар. Дал оборванцам 5 фр. Золотой упал. Домой. Заснул, не молясь, как свинья.

28.9.21

Утром пил кофе, сел рисовать до обеда, обедал, пошел к Барту. Говорил о «Гатарапаке» и что я хочу попасть в «Палату поэтов» (в которую так и не попал). Барт недоволен. С Терешковичем в русскую столовую. Девушка в магазине, вторая красавица на нашем скорбном пути, оказалась русская; из столовой с Вигдоровским в Ste.Geneviève. Купил пирог, <...> читал «Доктрин секрет», очень интересно. К Барту, играл в шахматы. Замечаю, что начал я грубо остерить. Домой, не молился. Утром «отделился» и был у Жени (во сне), поцеловавшись у порога избы.

29.9.21

Рисовал с Терешковичем и нарисовал на большом листе портрет его. Вечером растушевывал большую голову.

30.9.21

Утром рисовал, был в «Ротонде», взял Воловика, смотрел мои работы...

¹ Эзотерический (фр.).

² Площадь Клиши (фр.).

*Notes de septembre*¹

Утром взял отцу костюм, обедал, молился. Пошел в академию. Она меня, видимо, презирает, но бешенство мое начало проходить. С Терешковичем пошел в «Vavin»*. Ждал Ромова, потом в русскую церковь, вечером проезжал над Сеной. Смотрел на Эйфелеву башню. Домой, бежали до Конкорд. Заиграла скрипка за окном. Терешкович положил руку на голову, лег и заснул. Пришел папа, проводил его на вокзал. Говорил о кризисе металлургической промышленности. Выпросил денег. Пошли через Большие бульвары в «Олимпиаю», [оттуда] нас выставили, не хотел подавать в зале. Пошли на Монмартр, где был революционный бал, в трактир, где пели похабные песни, потом мы пошли домой.

2.10.21

Был у Цимбалист. Она быстро вышла. «Зимний ветер гонит по дорожкам снег». Приходите все не только во вторник. У парадной двери разлетелся грохот.

3.10.21

Читал «Змея».

5.10.21

Был Терешкович. Я сказал, что Цимбалист пригласила к себе во вторник, *он хотел идти сейчас*. Написал у портрета рубашку... Неужели буду настоящим живописцем? После работы мы бегали наперегонки до столовой.

7.10.21

Молился очень долго. Расковырял щеку, какой-то прыщ. Шел с Терешковичем из дому в пальто с поднятым воротником (удивленье первой зимы в Париже). Был в «Палате поэтов», рисовал, не читал.

8.10.21

Ехал на трамвае из старого «Гатарапака» в новый. Никого. В «Vavin» никого. Домой. Утром был Терешкович, напомнил о собрании. Молился очень долго. Шел по берегу Сены,

¹ Записи за сентябрь (фр.).

* Кафе это больше не существует, оно теперь часть «Ротонды». — Примеч. 1935 г.

спешил в пальто и круглой шляпе (это мое *первое* пальто, чужое, извозчиком купленное в Константинополе у какого-то офицера). Вечером поехал в старый «Гатарапак», но никого не было, с опухолью возвратился домой, мне разрезали щеку.

9.10.21

Утром огромный нарыв. Пошел напротив, долго ждал. Доктор увидел, что я теософ (по звездочке в петлице), разрезал щеку, замотал, домой, первый день не молюсь, читаю затем Краснова, есть принесла горничная наверх, омлет и какао. Спать без молитвы*.

10.10.21

Целый день дома, читаю... Краснова. Баронесса присылает ватрушки, пишу супрематическую композицию маслом «Сферы и ангелы»... Написал «Трагедию луны».

11.10.21

Утром... снял повязку. Написал «Я помню, музыка играла в казино», пришел Терешкович. Я с пластырем рисовал у Воловика. Сидел долго у Воловика, вид несчастный, был впервые у «Гатарапака». Новая полоса жизни. Говорил очень легко, и очень слушали.

12.10.21

Написал «Вечер под каменным домом». Поехал к Цимбалист, читал стихи, шепеляво, сильно кривлялся. Заснула на софе. Я говорил с Е.А. ...очень долго шел и в кафе пил какао с сэндвичем и зеленым сыром.

13.10.21

Дома кончил композицию «Летящий ангел», весь в желтом, был Терешкович, ругал «У ног Учителя» <...>. Был второй раз у голландки, говорил очень много, пили чай...

14.10.21

Был в «Палате поэтов», сел рядом с Mme G., рисовал Евангулова и Парнаха с рукой... Талов предложил мне,

* До чего я был еще дохлый. — *Примеч.* 1935 г.

я отвернулся. Шли с Шаршуном, говорили (конечно, сво-
лочь).

15.10.21

...Шел мимо «Vavin». Барт познакомил с парнем из де-
ревни (Грановским), пошел к нему, сидели всю ночь на ди-
ване и говорили о теософии. Под утро заснул у печки.

16.10.21

Утром печаль, шел домой, пришел Терешкович, сел ри-
совать портрет мой... Пошел к М. Моисеевичу. Говорили
о творчестве и о своем счастье. Устал совершенно.

17.10.21

Был у Барта, рисовал для доклада. Воскресенье — до 3
был с Терешковичем в морском музее. Домой, сидит Гран-
новский... очень много и долго говорили о медитации. Ва-
рили чай. Пили его. Нарисовал ему диаграмму. Пошли в
«Гатарапак», там доклад Барта, очень все ругались. Гранов-
ский о движении света, пошли вместе со скульпторами, се-
ли говорить на бульваре.

18.10.21

Утром оделся, пошел стричься... домой и к Барту (у не-
го спорили), бежал домой, пришел Грановский... поехали
к С. Глупо попрощался, пошел к ней... та варила чай, и мы
до поздней ночи говорили о ее муже.

19.10.21

Дома молился, пошел, дрожа, поднимаясь по лестнице,
уже поздно... Долго говорил с ней и Е. о медитации*.

20.10.21

Написал манифест. Читал Барту и Карскому. Очень по-
нравилось... Был в академии с Френкелем, вечером пошли
в русскую столовую. Он пошел к графу Б., но часы остано-
вились, и мы просидели до 12 (malaise absolu¹).

* Кстати, ее звали Густа Львовна, почти как Ольга Львовна, которой та
была сексуальным двойником. — *Примеч. 1935 г.*

¹ Удручающее чувство неловкости (*фр.*).

21.10.21

Писал портрет Н.К. Будет мне большим другом. Обедали. Терешкович мои работы принять отказал после долгих мучений моих. Долго сидели и говорили о карме и о пустяках. Слабость...

22.10.21

Был в академии с Терешковичем с 2 часов... в столовую, домой... был у голландки. Дома рисовал чуть не до утра.

23.10.21

Утром нес Барту вещи на выставки. Был Терешкович... академия с Френкелем. Там встретил Меликова, он рассказал, что Кузнецов мне написал, он был у меня. Говорили о теософии до 12.

Воскресенье, 24.10.21

Утром работал как бешеный, до и после обеда, кончил портрет... на вернисаж. Был в Армии Спасения, слушали оратора, сидел неподвижно. В «Гатарапаке» я читал доклад и 2 стихотворения. Душа навыворот. Сидел с Д., говорили о любви. Она мне рукой взъерошила волосы. Милая.

25.10.21

Терешкович у меня исправлял портрет, пошли в академию. Рисовал темперой. С Френкелем и книгой <...> Зданевича, Меликовой отвез письмо, рисовал на улице, с вокзала, читал «Силу мысли».

26.10.21

Решил написать «Бог погребенных». Не молюсь. Тяжело. С Терешковичем пошел в «Хамелеон» и к Сони Морис. Купил холст. Пришел Терешкович, принес бумагу для программы, я рисовал до вечера... С Меликовым пошел на вечер Куприна. Терешкович демонстративно смеялся, смотря на Цимбалист и меня*.

* Как была пуста жизнь, чтобы замечать, записывать такие мелочи. — *Примеч. 1935 г.*

27.10.21

...Сидел дома (с Н.К.), потом поехали в орден. Сидели в маленьком кабинете под диаграммами. Уговорил с трудом поехать на Монмартр, в академию, вечером показывал рисунки <...> устал. Вместо театра ужасов молился всю ночь. Хорошо.

28.10.21

Утром пришел к Терешковичу. Мы рисовали. Вместе пошли в академию. Раздражающее ню. Я пошел к Цимбалист, ее долго не было... Разговаривал с ее сестрой. Пришла, официальный разговор. Домой, вырвался к голландке, взял за руки, поцеловал руки. Сидели, пили чай без сахара. Гувернантка не уходила, поцеловала, прощаясь нежно, в голову. В постели молился, до половины первую молитву.

29.10.21

Отъезд. Утром пришел Терешкович. Уложили вещи. Я забыл в тюке прошение в Теософическое общество, на почте послал книгу Грегору. Поехали на метро, отдали вещи на хранение. Пошел без шляпы обедать. Странные люди предместья. Длинный человек, с летаргии <...> красный. 2 часа поезд шел и стучал чечетку, в вагоне отсутствие веры. С кулями через плечо. Комната без окна. Вечером гуляли при луне.

30.10.21

В постели молился. В холоде встали. Варили чай... Сели рисовать далеко за фабрикой. Пошел сперва один. И нашел пейзаж... Яичница, после обеда наложил тона, устало домой. Бегали много, варили чай. Я переводил на большом листе композицию и написал путаное письмо Н.К., кроме открытки. Впервые провел медитацию.

31.10.21

Утром торопливо молился. Терешкович видел. Пошли, теплее, река казалась чугуновой. Сели рисовать акварелью, оставив ящики в кафе. Побежали обедать... червивые яблоки, набили целые карманы. Ел бобы и яичницу, отправил письма в траурном конверте, мазал марки и играли на

бильярде, ...писал много... Пошли в церковь и слушали через окно орган и танцы поселян. <...>

1.11.21

...Пошли в ресторан. Терешкович завел орган. Ели арико вер¹. Дома рано спать. Видел Н.К. во сне. Думал, что любовь такая будет с минусом чувственности. Я только поцеловал ее. Тихая и настоящая нежность.

2.11.21

Утром довольно поздно... пили кофе, играли на бильярде, исправлял пейзаж. Обрато бежали за грузовиком, очень долго, ночью писал пейзаж, написал о дачах. Решил писать пьесу.

3.11.21

Утром молился до 3 часов в постели до усталости. Намазал хлеб себе и Косте, через огород, собрал яблок, варили чай, немного, потом — рисовать за скирдами. Мальчишки сперва ругались, потом вместе бегали. Вечером рисовал Терешковича...

4.11.21

Молился утром... Пошли рисовать пейзаж, красиво вышло. Обедали плохо, сели рисовать. Терешкович уговаривал уехать на 2 дня раньше. Внизу открытка: «Вы ждали тетради». Это решило дело. Бегали с мальчишками, рисовали в столовой... Поздно зажгли лампу, придумал 3 строфы. Видел сперва «ужасный» сон.

5.11.21

Утром медитировал о планах. Видел страшный сон с поднятыми помостами. С утра волнуясь, молился... Днем читал...

Notes 6.11.21

Н.К. и Терешкович — главные люди месяца. Он прочел мне свой дневник, где пишет, что я бездарный художник, было больно, через несколько дней я *победил его примером*

¹ Haricots verts — зеленая фасоль (фр.).

своей поэзии. Провинциал полюбил столичную танцовщицу. Она из-за него бросила все и купила книгу хозяек, но он не любил ее язвящей. Новый танец. Она выгоняет его, он приходит и стреляет, а друг увозит ее и ждет, когда она полюбит его.

7.11.21

Утром делал темперой левый край Оперы, обедали внизу и играли на бильярде. Счет 14 fr. на 2 fr. приблизительно больше того, что есть. Собрали вещи. Пошли вниз... пешком мимо... заката на станцию, говорили о вечности, и мимо кладбища. Терешкович нервничал, говоря о Теософическом обществе. (Еще бы...) В Париже, в городе печали и бегущих, холодно. Был у голландки и в «Вавен».

Воскресенье, 7.11.21

Я целое утро рисовал темперой. Пришел Меликов. Долгий разговор. Я долбил ему о состоянии материи. Пошли в русскую столовую. По дороге говорил о двух человеках, ибо я вырвал грубо у него из рук альбом. Из столовой, где съел 4 супа, пошли к Терешковичу и в «Гатарapak». Барт и Грановский говорили о живописи, я согласился читать доклад. Свершается.

8.11.21

Утром пробовал молиться. Папа послал за бельем, пришел, кончил композицию. К Барту и Ларионову, хвалили, разбирали, возвращаясь в «пустое место». Пришел Терешкович, и еще раз в ресторан и в академию. К Сони Морис, взял гуашь, работал много... Ходил с Мандельштамом в «Хамелеон», с Грановским и маленьким скульптором в русскую столовую. С Вигдоровичем к Цвибаку, пешком до Пантеона мимо К. к кинематографу. Потрясающая драма. Домой... Заснул позорно.

9.11.21

Утром молился и пошел в лавочку и в Теософическое общество... Вернулся, пошел к Н.К. и очень долго говорил с нею о Законе и Благодати. Понедельник. Вернулся, пришел Константин Штурман. Был груб с Константином. Трудно стало. Говорил немного о... руководстве извне и из-

нутри. Ушли. Проснулся и написал Б. <...>. Заснул, сильнейший случай левитации во сне.

10.11.21

Утром рано промыслил всю огромную мысль о докладе. Встал, пошел в Теософическое общество. Заперто. Забыл деньги, вернулся, купил «Оккультизм в природе» и сел читать историю «Атлантиды», кончил, вышел. «Благослови, Господь, дом сей, ибо так много радости от него». Дома написал... и заснул позорно. Молился в кровати половиной молитвы.

11.11.21

Утром читал Безант и пошел обедать, вернулся и сел писать. Посылал формы мысли в будущее место лекции (quel salo¹), например, хорошую всю первую идейную часть. Пришел Терешкович, пошли вместе в «Ротонду», я нашел Воловика, Грановского, и мы пошли к Цимбалист. ...Шли домой с Воловиком. Милый он очень. Хочет поговорить со мной о магии.

12.11.21

Пришел Меликов. Занимались с ним. Много писал. Мозг болит. Утром начал молиться, не кончил, побежал обедать, оттуда к Барту. Поругались, потом помирились относительно «Гатарапака» и религиозной поэзии. Дома пришел Павлик, и до 3 мы пили чай. Я читал Шюре до половины 4, потом сел писать, ...написал «Атлантиду». Побежал читать к Терешковичу, там пришел Воловик, мы пошли к Ларионову... смотрели фотографии. Я купил сэндвич с ветчиной.

13.11.21

Утром не молился. Рисовал с фотографии. Пошел обедать, был у Барта, читал доклад. Решил печатать. Напечатал одну страницу и потом молился за «Хамелеон», и сел писать, сперва не выходило, ...поехал на машине обедать. Вернулся, очень хочется спать. С Френкелем шли и говорили о гармонии, он думает, она цель жизни.

¹ Прав.: quel salaud — каков мерзавец (фр.).

14.11.21

Утром, подымаясь, поехал с Павликом в русскую церковь. ...Метро и артистический вид после службы. Государины императрице многие лета... Дома писал до 9. Вчера был Меликов и Терешкович. ...Долго ждал открытия. Читал металлическим голосом. Говорили много.

15.11.21

Отдыхал этот день, помазал красками темперу, пошел спать. В академию, после обеда пошел к Барту... Пришел домой, лег молиться, заснул и очень реально странствовал. Голос странный, это было во сне, полнота моя. Пришел Меликов, варили чай, начал с ним заниматься... Читал «Великие Посвященные» и сердился за наивность Шюре.

16.11.21

Утром обедал, потом пошел в академию. Сидел с Грановским. Наверху начал страшно ругаться с ним... познакомился с грузинкой, рисовал большие рисунки с Терешковичем, пошли купили хлеба. Писал маслом. Дома читал Терешковичу. Пробовал молиться. Заснул.

17.11.21

Глаз запыллил. ...Обедал дома, писал маслом темперу. Пришел Терешкович и просил белья. Я сперва ругался, потом дал рубашку и кальсоны. Был Т. и Штурман. Очень несправедливо сердился на Меликова...

18.11.21

Утром глаз закрылся. Папа промывал. Я обедал и сел писать рассказ... Кончил красками темперу... Терешкович был здесь, варили чай... Занимался ночью, переписывал пьесу...

19.11.21

Молился половиной молитвы утром. Кончил темперу. Пошел обедать. Дома папа денег не дал. Пришел Терешкович. Я рисовал... Пришел Меликов. Я начал на него кричать. Долго и позорно бранились. Ушел Терешкович. Я стал заниматься с ним. Лег спать, видел сон.

20.11.21

Писал дневник, сидел у отопления. Утром пил кофе. Пришел Терешкович. Мы натерли желтой пастели и стали работать. Пошли обедать. Пом фрит и арико. Я рисовал на улице и пошел к Ларионову показать рисунок, и к Барту. Домой и к Н.К. Очень печальная она. Рисовал там икону. Домой, писал маслом ню. Пришел папа, пошли обедать. Видел замечательную девушку. Дома... Буду молиться.

21.11.21

Утром я сделал тушью рисунок... повесил его. Пришел Терешкович, пошли обедать и писать доклад на машинке. Я пошел за Н.К. Терешкович уже ушел. Поехали (я в рубашке), читал хорошо. Потом Грановский сорвал собрание. Шли с Брюнелли и Карским, бедные все. Проводил К. Я взялся читать вечером. Шел и «не думал» до дому. Придумал пьесу. Пробовал молиться.

22.11.21

После вершины недели доклада я опять в погребении смерти. Завязывается страшная битва. Я гибну. Воскресить молитву. Утром писал маслом. Пришел Терешкович. Пошли в академию. В «Вавен» с Оливье, говорил мало, обругал матерно Воловика, домой, Меликов, Штурман и Терешкович. Со Штурманом говорил. Потом язвил Меликова о гимнастике в середине разговора. Потом я заорал. Вечером Меликов плакал, и я уговорил его взять билеты.

23.11.21

Дай Бог, чтобы был длительный поворот к лучшему. Утром писал ню маслом на бумаге. После к Ларионову. «Вы эволюционируете». К Барту. Вернулся, лег и молился, всего половины молитвы без последней <...>. Пришел Меликов. Занимался с ним. К «Вавену». С Воловиком к Цимбалист. Кормила. Говорили о композиции. Учился молчать.

24.11.21

Утром пришел Терешкович, и я после обеда пошел в академию, спеша, не молясь. Рисовал из ряда хорошо. Как эта американка меня тронула нежным и жалостливым взглядом. Потом... я не помню ни одного такого и пылко

привязался. Засматривал. Как пошло. Пошли в «Вавен». Воловику нагрубил жестом (крутите все). Дома молился довольно-таки [долго], в постели.

25.11.21

Утром молился очень долго. Потом пошел в академию. Сел с ней рядом, бесился, кривил глаза. Уходя, она склонилась ко мне, опершись на локоть о скамейку. Это любовь. С Френкелем пошли в столовую. Оттуда с Карским. Говорил все время как бешеный. В студии я наорал на него, потом плакал и провожал его. Шел и думал. Я все сначала. Пожалуйста, ибо я люблю.

26.11.21

Утром молился до и после кофе. Пришел Терешкович. Я одел скаутскую форму и пошел обедать и в академию. Ее долго не было... Потом сел за ней. Она встала. Я не посмотрел, но когда она выходила, *взгляд милый*. В столовую с Терешковичем и Воловиком. Пошли в кинематограф. Лег с тяжестью в душе. Заснул...

27.11.21

Утром написал «Американку» и лег молиться, после кинематографа мысль прыгала, и я зарекся больше не ходить. На трамвае в академию. Нарисовал большой рисунок. Вышел с Терешковичем. Вдруг «Она» с мужем. Идиотски скосил глаза. Пробежал обратно, схватил папку, наверх. Но она вовсе не приходила, в столовую, оттуда бежали до боли в «Вавен». (Добринский рисовал себе натюрморт.) Домой. Я заплакал. Был Меликов. Боролись.

Воскресенье, 28.11.21

Утром был в церкви и плакал о Единой жизни в солнечном свете через купол. С Меликовым пошли в Теософическое общество. Была конференция о школах. Я придирался к нему. Потом пошли на Монпарнас. Я читал стихи и рассказ, плохо. Ночью пошел к Грановскому. Он показал картонную скульптуру, и мы шупали мускулы. В 3 часа домой.

29.11.21

Надел костюм и пошел в академию. Мне Роза улыбнулась. Работал у входа хорошо, потом пошел в столовую и там решил писать портрет армянки. Домой (написал Ницше). Читал Шюре.

30.11.21

Утром написал «Бог погребенных». Потом молился, обедал и в академию, купил бумаги, сел рисовать. Муж смотрит злой. Лицо мое прыгает, и все неуловимо меня презирают. В столовую <...>, и домой.

*Notes de novembre*¹

Милая девушка. Я смял и напортил все. Самое главное быть естественным, ибо прошел год. Внутренняя жизнь есть какая-то. Ибо эфирное ...и все это неуловимое сделали старое внешне невозможным, а главное — молчать и знать свое дело. Милая боль.

1.12.21

Пошел обедать, потом с Меликовым в академию. Он рисовал полотно, а я познакомился с Кацем, русским хорошим художником. Пошли в столовую. Там я поругался с Меликовым из-за мяса, которое он съел. Пошли домой. Я обижал Меликова за отсутствие вопросов.

2.12.21

Утром пошел к зубной врачихе. <...>

Пришел Меликов и Терешкович, а я лег молиться. Потом в академию, не было резинки. Она сидела, смотрела. Пошли с Воловиком на rue de Voétie² в галереи. Посмотрели одну и вернулись. Заснул в 9 часов, проснулся рано.

3.12.21

Утром к Гингеру. Вернулся, обедал один, молился долго. Пришел в академию. Она от меня спряталась за столб. Так стыдно. Работал сангиной и карандашом. Был в сером пиджаке и свитере*. Домой, обещал прийти Воловик, но

¹ Записи за ноябрь (фр.).

² Улица Боэси (фр.).

* К чему это. — Примеч. 1935 г.

никто не пришел, и, написав «Конец», лег и заснул, читая о Пифагоре.

4.12.21

Утром рано проснулся. Был темно-желтый туман. Написал до публичного дома «Бог погребенных». Обедал, пошел к Барту, ругал работы Терешковича. Пошел домой, от ругани трудно было молиться. В куртке в академию. Познакомился с барышней из Ростова, милая. В русскую столовую, оттуда с Сакуленко домой. Нежданно варил чай. Безапелляционно поговорил о море.

5.12.21

Утром работал, потом один раз молился, потом пошел к Гингеру... домой. Был в академии. Нарисовал голову сангиной и подарил американке. Спал, обратно, в девять поехал к Грегору и с ним в наше старое кафе на Монмартре. Сидел, наши девочки пропали, одна уехала с американцем. Спрашивал, как пережил процесс Ландрю. Потом говорил о теософии.

6.12.21

Утром чудное солнце. Пошли обедать к Викторовой. Потом через Пале Бурбон пошли <...> ехать за город, но там был кошмар, и Терешкович остался. Встретил Демидова, пожал ему руку, и он стал холоден. Пешком с Грегором. Было нервно, но я думал, что у нас на родине в высшем иллюминантском плане всегда светит солнце счастья. Его не было... его жена проводила меня до метро, и я приехал домой. Потом в «Гатарапак».

7.12.21

Молился утром рано. Утром... эскиз. Пошел обедать и к Гингеру, вернулся, делал эскиз дальше. Пришел Меликов, и Терешкович заснул, пока мы говорили о карме. Одевался, в концерт, опоздали, поехали прямо в зал. Грегор взял мне билет. Бетховен, Сен-Санс и Рахманинов. Гений Человек и Астральный ад. Бежали по всей авеню Оперы, потом через мост до дома. Я обогнал. Терешкович ночует у меня.

8.12.21

Великолепно о величии русского общества. Утром с Терешковичем пили 2 кофе, потом я пошел обедать, вернулся и молился 2 молитвами и очень довольный пошел в академию, заплатив этим долг с воскресенья. В академии рисовал кубизм и пошел в русскую столовую. Американка в балагане замечательная девушка, но нужно быть естественным, иначе будет все по-старому. На вечер Шаршуна. Французские дадаисты ругали публику. «Священный» гнев поднялся, бросил Терешковича и «пошел думать». У берега земель и вод мыслит океан вечности.

9.12.21

Утром поругался с папой из-за истраченных денег. Сказал: «стыдно ждать на карандаши». Пошел в 9 утра к Гингеру. Идти было трудно, все обращали внимание, ибо нервен я. Возвращался через Лувр. <...> В коридоре встретил мою американку с мужем, потом дома молился и был в академии, где была милая рыжая натурщица. Дома рисовал темперой и убирал.

10.12.21

Терешковича нет. Сделал... темперу «Джаз-банд». И... кубистическое ню. Был у Барта. Терешкович пропал. Сидел дома.

11.12.21

Поехал к Гингеру. В Лувр и брился. Смотрел скульптуру. Когда уходил, Она. Я весь сделался механическим, посмотрел плохо. В академию. В конце пришли Воловик и Талов, и мы пошли пить чай. Я рассказывал про кубизм Воловику. Пошли в «Хамелеон». Я ничего не пил, толкнул Терешковича. Француженка поливала шампанским мужа, а с англичанина на столе сняли штаны.

12.12.21

После кофе заснул. Видел сон: колодезь с окнами, где встали ангелы... Проснулся, молился крепко. С Терешковичем в ресторан и в «Вавен». Потом с Таловым и Воловиком в цирк. Я поссорился с Воловиком. Обрато бежа-

ли очень, с Терешковичем, болела нога. Стреляли из револьвера.

13.12.21

Сегодня целый день спал. Проснулся днем, сделал эскиз... Был Терешкович. Мы обедали, потом проснулся. Вечером сидел и расспросил, что из тетрадей... Опять заснул, видел сон, в котором после того головой удержался около виадука, открылись какие-то двери. Меликов.

14.12.21

Молился, потом пошел за машинкой, ее нет. В академию. Рисовал кубистические... рисунки... Пятница. Молился, делал американскую темперу. Кажется, написал продолжение «Змея». Не побрился. Никто не пришел ко мне.

15.12.21

Молился, сел писать... Пришел Вигдорович и Сахаров с книгой. Я писал письмо Сакуленко. Пришел Терешкович. Ушли. Я прочел ему стихи. Мы пошли за машинкой... Я отправился домой. Потом обедать. Вернулся, рисовал контрабасиста.

16.12.21

Утром рисовал. Пошел обедать. Вернулся, лег молиться, потом брал ванну до 4. Поехал в академию. Сел повыше ее, страдал страшно, любил безумно. Она демонстративно пересела на место мужа. Пришел Френкель, с ним пошли гулять. Я рассказал ему, он отсутствовал. Взял папку, в русскую столовую. Пошел с Вигдоровым в синема. <...>

17.12.21

Утром медитировал о символе «Soukia»¹... пил кофе, делал морскую темперу. Пришел Терешкович, сделал акварель «Акробатку» и провел его в академию... Был в Люксембурге у З. Взял книгу и с ним к Mme Ginger, <...> пешком домой. Считают педерастом, потому что ношу пальто

¹ Сукия (фр.).

отца. Варил чай, кончил посв<ящение> Гингеру, пошел к Гуревичу, никого. Был у Карцева.

18.12.21

Утром молился долго, пошел к Барту, купил всего, стали варить обед, купил хорошую краску, сделали темперу... молился все-таки и наэлектризованный поехал встречать Новый год. Сперва было пусто, и Барт ругал мои температуры. Потом пили шампанское, пели и танцевали у «Вавена». Сидел, как Байрон, пошли и вернулись с Гингером, говорил о Учителе... и с Таловым в Люксембурге о поэзии.

19.12.21

Утром в 10 пришел домой, пил кофе и пошел в церковь, не достал автобуса, пешком пошел в Лувр, и дома заснул до 2, до 4. Написал к Б.П. ...Пришел Терешкович, Вигдорович и <...>. Терешкович просил у меня костюм, но я сам оделся и поехал на бал. Все танцевали, под конец заиграли <...>, и я под джаз-бандом чуть не заплакал, на улице нас остановили полицейские.

20.12.21

Утром проснулся, пошел молиться, опять заснул, пил кофе и (опять) лег молиться. Молился двумя молитвами до 5. Пошел в академию. Видел свою обезьяну, никакого действия, делал кубизм. Русская столовая и Цимбалист. Говорил хорошо о Учителе [с] Е.А. и с Цимбалист о Рождестве. Дома заснул без медитации.

21.12.21

Утром пил кофе и писал... пошел обедать и к Барту, вернулся после трех... с трудом молился с 3¹/₂ до 6. Папа пришел, сказал, что Беликов приехал, уже два месяца. Начал темперу. Пошел купить сыру и прочего. Терешкович пришел, рассказывал, что был у девицы, что была на балу.

22.12.21

Молился, потом оделся, был у Поволоцкого. <...> Вы все кокаин нюхаете, я думаю, сумею отнестись по-человечески. Вечером в «Палату поэтов» из академии, читал Гингеру, всех вымели. Пили кофе у стойки с Терешковичем.

23.12.21

Был у Барта. Терешковича нет. Сидел в «Ротонде» с Терешковичем. Смотрел на девушку с длинным лицом, что при Смыслове. Было глупо и печально.

24.12.21

Был в академии. Оттуда фатально в русскую столовую, оттуда с Френкелем в кинематограф и к Карцеву. У камина пили чай, и он рассказывал о войне. Вдруг без 20 12 сорвался, метро, вызвал отца, обидел баронессу, ссора, глупо заснул. Это сочельник.

25.12.21

Утром дома много медитировал. О Сирии, молился и читал книгу. Некоторый подъем. С баронессой помирился, она подарила мне agenda¹.

26.12.21

Молился и пошел к Беликову, говорили о живописи, потом простился и пришел домой. Вечером пошел на бал. Цимбалист в простом платье, не хочет разговаривать. Жалок я от нервности. Все презирают.

27.12.21

Дал Терешковичу 25 франков. Лег, не молился, пошел в академию, работал мало. Пришел к Б. Мы спустились до нее и пошли до столовой, потом домой, кажется. Бежал страшно, скоро, после истерической молитвы, до судорог. Благословен Мир Твой. Решил не тратить так магнетизм.

28.12.21

С утра писал письмо. Папа очень нервен. Собрал бумаги. Папа прогнал в свою комнату, оделся, стал писать, потом лег и не вставал, не обедая. Есть улучшение в сторону против обидных слов. Молился. Ночью поехал в «Вавен», ел сэндвич... с сыром и чувствовал, что желание жить унизительно.

¹ Записная книжка (фр.).

29.12.21

Утром писал Б.П. ...писал темперу, в ресторан, молился, был у Гингер<a>. Домой, молился страшно быстро. Пришел Терешкович, я дал ему деньги на комнату, был у Цимбалист, оставил письмо. Смотрел миниатюру «Радость Будды». В Теософическое общество. Но очень спокойно, нервно как не было.

30.12.21

Лувр. Утром пошел к Барту. Бежал до синема Danton... и обратно до Лувра. Смотрели <...>, мне положительно нравится, потом в академию. Рисовал страшно нервно, в русскую столовую с Алексеевым. Терешкович презирает меня. Домой. На углу Жакоб расстались.

31.12.21

Утром просидел за стихотворением до 12. Начал медитацию и молитву. К зубному врачу, вырвал, у меня 100 фр. С Гингером до бульваров, потом в свою столовую, где говорил страшно много. К Барту и домой. Заснул после одной медитации. Сны тяжелые — «плохие».

Notes de décembre¹

Прервал истерически медитацию в воскресенье и в 2 день Рождества. Воевал с чувственностью в представлении, весь год академия помогала мне. Усилился к концу года гнев и злоба... Теперь я решил, что уважение нужно приобретать, создавая соразмерения, чем наказывая за его отсутствие... Молчание*.

1922

5. Воскресенье

Утром пошел писать портрет, проработал немного в музее Ключи, смотрел мало, зато основательно.

¹ Записи за декабрь (фр.).

* Конец черного agenda. Следующая тетрадка, выдранная из кожного переплета, сгнила в подвале у Татищева, с трудом разбираю кусочки, высушив на печке. — *Примеч.* 1935 г.

Понедельник

Утром пришел Грановский. Процессия, как в «Боз Ар»... в академию. Пришел Терешкович <...>.

Вторник

Пришел Сакуленко и Грановский, я написал ему... мы пошли к обезьянам. Купили пряник... работал.

8. Среда

Утром пил настоящий кофе... кубизм, гуашь... Грановский. Я злюсь, когда... надо уничтожить.

9. Четверг

Утром пробормотал несколько трогательных слов. Занавес нового дня... началась трагедия, кофе... к врачу.

...Все сразу переменилось... в сердце... Бежали вдоль Люксембурга. Шли, искали парикмахера. Встал рано, закрыл накрест фон темперы, перекрыл старый кубизм, пришел Терешкович <...>. Поставил картины у Л.*

Заснул... пусто почти. Сидел со Свешниковым, Сакуленко и Карцевым, чиркал карандашом... желтые сумерки, утром тоска... Медитация... молился... заснул, снилось мне, что я в астральном мире обнял его... и потом увидел... и оставил с усилием... белые руки... до конца ужасно нервничал... Терешкович... долго брились и мылись... в трамвае... Я снова видел сетку и потоки эфира, вдаль и к себе из угла по правой... Был Свешников и принес сапоги... в «Ротонду»...**

Утром пил кофе и пошел к Сакуленко, лежит Меликов, он одевался и пел, потом пошли в русскую столовую. Я думал встретить... никого, домой.

Утром несколько слов о часах, что проходят как враги, разрушители будущего, но которых можно сделать рабами... кубизм до отца, и писал о России, не хотел идти в академию.

Вторник

Проснулся утром, повторял несколько раз странный сон, чтобы не забыть... на диване.

* Лохмотья. — *Примеч.* 1935 г.

** Боже, какая грусть в воскресный день. Как снова надо себя заставить жить. — *Примеч.* 1935 г.

Убеждал отца не менять квартиры, обедал и поехал к зубному врачу... Грановскому новые температуры, но было смешно. Надел штаны спиной к публике. Рисовал, поражая хорошенькую соседку, потом пошел в «Ротонду»... Талов.

Пошел к Сакуленко и обедать. Когда возвратился, застал разгром и двух горничных... на расстоянии ауры... баронесса... ходил извиняться, потом лежал и плакал, ибо гнев и карма, колесо души на призме... Молился...

Утром пошел к Сакуленко, его не было. Вышли с Меликовым, он долго до этого одевался и пел песни «Зуд в душе от меня»... говорил о помощи... говорил о том, что мне тяжело с его знакомыми... Впечатление осталось тягостное. Я проводил его в академию... [в] столовую. Все те... одни, с Терешковичем и Камраде на Итали... Ходил и гулял... в метро, ночью заплакал.

Собирал бумагу дома... покупал у Сони Морис... сделал надутого... дал 4 фр. Сакуленко. Потом доставал ногой, кто выше... Я споткнулся и потом на Мишеле¹ пытался орать.

Утром сделал рисунок с себя, потом взял его в закутку и пошел к Сакуленко... Пошел к Барту, он похвалил, и я купил банку молока... обедать. Сакуленко убежал играть в шахматы, а мы пошли в 4 республику, жевали супе и конфитюр, долго сидели на диване, задушевно говорили.

Утром пил кофе и пошел к зубному врачу, она со страшной болью врезала мне коронку, что не могу. Терешкович... но я, тяжело обиженный, с мятой одеждой, заснул очень рано.

Вторник

Утром делал темперу круглую, кажется, лучше всего остального, отупевший, намотал красный шарф на шею и пошел страшно гордый к Сакуленко... потом Сакуленко ушел, и я в полной усталости, молился одной малой двойной молитвой. Надел галстук и пошел... кричали Vive le, в «Ротонду»... потом бежал... (Писал стихотворение о гимназии.)

Утром завязал галстук на белый воротничок и в нервно смешном виде поехал к Сакуленко, его не было. Американ-

¹ На бульваре Сен-Мишель.

ка, муж ее был там, мне было противно, встретил Френкеля... на кладбище Монпарнас, рисовал дома, потом в академию, встретил Барта, пошли домой. Дома пили молоко... В разгрома тосковал от припадка уныния. Всеми я оставлен.

Утром судорожно хотел молиться, пил кофе и пошел к Сакуленко, его не было, и я через St. Michel поехал домой, обедал и поехал на Метро Odéon¹ в академию. Из ботинка высовывался палец, и мне было стыдно, в академии я сел в углу <...> мы мило переглядывались с нею. С Добринским шли домой, говоря о Великой Условности Живописи, я показывал, как бешеный, ему рисунки. Пришел Сакуленко, с ним я обидно не разговаривал, все время, потом меня спросили, занимаюсь ли оккультизмом <...>. Ушли, я заснул...

Пятница

Решил молиться двойной молитвой. Кажется, сегодня первый день нового периода работы и жизни. Молился 2 половины и больше молитвы утром. В 12 час. пошел к Сакуленко, писал его портрет без него и говорил с Меликовым о его снах. Кажется, турок с механической головой его преследовал. С ним и с Сакуленко до академии. <...> Рисовал карандашом изумительно свободно. Пришел Грановский, и мы пошли домой. Он говорил, что плохо живет. Пришел Терешкович и демонстративно ушел, пока мы <...> и бегали обедать... Терешкович молча слушал Сакуленкину болтовню, его необразованность.

Воскресенье

Делал «прибор», рисовал на диване, сделал, оставил белую. Поехал к Сакуленко. Пришел Свешников, рисунки... там же читал ему старые стихи. Неужели «Бог погребенных» будет однажды так же плох, как они? Когда он ушел, в желтом свете лампы докрашивал. Лег, не молился, не мог, заснул.

Суббота

Пошел в академию <...>. Дом, смотрели аэропланы <...> какие-то девушки бегали мимо.

¹ Станция метро «Одеон» в Латинском квартале.

Утром поехал к Сакуленко, решили, поедem в Версаль. Дома взял Свешникова. Я искал гуашь... говорил с Сакуленко немного о теософии. <...> Страшно рассердился... С Добринским говорили страстно о фактурах. Пошли на карнавал.

Дома делал 4 гуашью. Очень красиво и очень пусто. Смотрел до отупения на <...> на полу, гуаши не хватает... не засыхало. Самая поспешная молитва и опять «Гатарапак» с огромной тетрадкой. Цимбалист... смущался... противно. Она меня ругала... говорили о Выставке*.

Делал темперу, выдрав рисунок из альбома, нервничал, ждал Терешковича, думал о том, что будет, когда увижу ее на балу. Время шло, пришел Сакуленко, с ним говорил о теософии. Терешкович не пришел.

Был у Барта, показал три темперы, он назвал их достижением. Целый день сидел дома, молился, читал Ледбите-ра (папа лежит, я очень кашляю тоже, но бегаю), на улице очень холодно.

16 января

Пришел домой, начал молиться до половины. Около Кремня оделся на трамвай. Вечером к Цимбалист. За дверью подозрительный разговор. «Я не пойду, Елена Анисимовна». Позже метро Эколь Милитер¹. Сел на крайний стул, чудно пела и хрипела финская музыка, гусли с органом, над головами натянуты нитки. Я вышел и бежал за трамваем.

17.1.1922

Опять сидел дома, кажется, начал маслом натюрморт. Усиленно молился. Заехал к Барту. Читал... Каждый день бегаю. Растянутая нога болит. Терешкович приходил: говорит, надо окончить. Молился. Не хотел выходить, вытянул белые подштанники, выпал рыхлый снег, шел нарочно не по тротуару в «Гатарапак». Какабадзе читал доклад о конструктивной картине, я обидел его, сказав: «Вам лучше заниматься фотографией». Ночью Цинтронович и Френкель.

* Весь этот кусок в лохмотьях должен был бы быть после следующего куска в сохранности... у меня. — *Примеч.* 1935 г.

¹ От фр. *École militaire* — Военное училище. Здание расположено на южной стороне Марсова поля.

Пошли в кафе, играли в снежки на Rue de Rennes¹, потом у Maine² строили бюст Карла Маркса из снега...

18.1.1922

...У Барта пил чай с медом и моим шоколадом. Терешкович пришел и вдруг ушел, сидел дома, делал темперу «Парикмахерскую»... с Бартом говорили о политике и о необходимости социальности без культуры, вечерело, домой. Пирожки и египетские папиросы, рассказывал у камина про купцов... перебивал Воловика, ушли после часа, поздно (подарок кармы). Первый суп за 1,5 года заставил нас умиленно прощаться. Домой. Включил Какабадзе в молитву за обиду.

19.1.1922

Был у Барта. Он сказал, что Терешкович ушел, потому что американка его ждала внизу. Сердце судорожно сжалось, пошел по переулку. Здравствуй, моя карма. Был в академии, видел Терешковича. Пошли в столовую, там Сакуленко. Я домой, начал темперу. Сакуленко ушел, ночью одна т<емпера> была готова <...>.

20.1.1922.

Переписал темперу, окруженный баночками, пришли Воловик и Грановский, смотрели и ругали они мои рисунки. Пили чай с молоком, Грановский пальцем рисовал узоры. Пошли обедать к обезьянам и пешком через Опера к галерее. Пикассо с фактурой под фанеру, rue de Vohin³, кубистическое движение цвета. Вышел, расстался с ними, пошел к зубному врачу. Домой, читал и заснул, растроченный, разбитый, как паяц, «говорливость». Делал темперу на коленях.

21.1.1922

Утром папа мрачен. Сел делать «Семью» в кубизме, как в бреду, вымазывал и перекрашивал, под конец оделся, молился. Пришел Терешкович. Показал, он в первый раз в

¹ Улица Рен (фр.).

² Авеню дю Мэн (фр.).

³ Прав.: rue de Beaune — улица Бон (фр.).

жизни похвалил. Перекрашивал т<емперу> на коленях. Вечером в «Вавене». Божнев и другие читали Ахматову, ос<трил> в угоду Терешковичу. Шли домой, неживые они какие-то. Я говорил, что *Модильяни* до захода солнца был самый большой святой. Пошел молиться, но начал желтизну в кубизме, кончил, заснул без молитвы.

22.1.1922

С утра кубизм. Хотел идти в церковь, но намеренно опоздал, ибо всю ночь молился напролет, кончил легко и красиво. Вечером после молитвы кончил, поехал в «Гатарапак», встретил Френкеля, пошли покупать хлеб, вернулся Свешников, поговорили, бедный, рвется в Константинополь, «Синяя птица». Читал отрывисто, без успеха, потом все сидели в «Ротонде» и пили кофе <...>. Провожал Шаршуна, говорил о расах. Он придет в понедельник в орден. Потерял сто франков.

23.1.1922

Медитировал, кажется, пришел Терешкович, побежали обедать, потом в академию. Пригласил Сюзанну с Оливье, пошли в «Ротонду». Говорил о расах, желая их поразить. Он придет говорить о математике. Молился быстро дома, к Г.Л., проводил их в орден. Ошиблись мы и попали на заседание каких-то «братий», провожал Шаршуна. Говорил с Оливье о теософии до половины 4 по-французски.

24.1.1922

Пил молоко, лег, заснул, видел в астрале сон «Сегодня вторник», пошел в академию поработать, пришел домой, сел читать «Доктрин секрет». Пришел Сакуленко и Свешников. Свешников сперва говорил и читал стихи до потери сил. О теории Эйнштейна, я нашел, что слишком трудно... Поздно ушли, шум в голове, лег и заснул каменным сном, пытаюсь молиться.

25.1.1922

Утром читал «Доктрин секрет», пришел Сакуленко. Пошел в музей Гимэ, голова кругом от Будд. Пришел домой медитировать, лег, заснул. Пришел Оливье, много говорили, показывал рисунки, проводил до метро... Видел в астра-

ле «Сегодня вторник». Пришел Терешкович. Стали мыть голову, пришел папа. Тоска охватила меня, и мы пошли к Рискину. Край голода, читали стихи <...>. Я взял Терешковича за плечи: «Возьмите у меня папиросы, высшие люди одиноки». Читал стихи Терешковичу. Заснул я у печки газовой, хорошо говорил о теософии. Решили организовать кружок.

26.1.1922

Утром встал, босиком, пил молоко и лег молиться двойной молитвой малой «extrêmement pénible»¹, дождь уже три часа. У француза рядом дали две картошки, одну — подозрительно, не на сале ли, другую в мундире. Девочка ела бисквит. В академию. Френкель сделал очень хорошие рисунки. С Френкелем пошли к Меликову, нет никого. Пошел в «Вавен». Терешкович и Гингер. Терешкович, заведующий литературной частью журнала («Удара») меня не пригласил. Не сдержался я. Написал стихотворение, прямо плакал. Домой к Шаршуну, показывал наклеенные бумажки (орнаментный кубизм).

27.1.1922

В 12 пошел с Терешковичем обедать к обезьянам. Он пошел писать портрет маленькой барышни, звал меня ждать в «Ротонде», но я мужественно отказался и пошел молиться домой. После молитвы оделся, под дождем к Беликовой, она насмешливо отказалась. Узнал адрес «Еврейской трибуны», выходя, забыл номер. В 3 двери уже заперто... Такой улицы нет... на трамвае в академию. Спрашивал всех: «Вы были на вернисаже?»... у меня была масса билетов, я махал ими. Вечером Терешкович в столовой отказался дать ботинки. Я был оскорблен.

28.1.1922

Бежали с Терешковичем через Люксембург. Я обогнал... на Grande Chaumière увидели американку, и он догнал ее, и меня бросил в светлом «камзоле». Работал немного, потом к Воловику, тот дал мне ботинки, узкие-узкие. Я подбросил рваные туфли в академии под зеркало. Бил чечетку в порт-

¹ Крайне тягостно (фр.).

ретном классе. Понюхал волосы Воловика, тот демонстративно отстранился, меня презирает. Мы пошли домой. Довольно вяло говорил с Воловиком, больше о себе. Шли обратно. Читал ему «Невесту» <... > прошлым летом, те же рисунки даже. Одевались для приличия в пальто и шляпу. Сидел с вытянутыми ногами, чтобы не растянуть брюки в сапогах, которые Терешкович назвал дедушкиными, статского асессора <...>. Пришли к ним. Ждали у камина. Обед, яичница и цветная капуста.

29.1.1922

Одел ботинки с мучением, пошел к Беликовой, ее, слава Богу, нет. К Воловику через Люксембург. Одел другие сапоги. Ботинки демонстративно поставлены для отца, на утро, смешны и жмут, как на иголках, не поднимая глаз, шел по Люксембургу к Воловику. «Они меня измучили», — сказал он. Одел сапоги под штаны, лестницей, и пошли обедать. В ресторане мне ничего не дали. Воловик заметил мою резкость и, не допив черного кофе, ушел к Грановскому. Цинтронович показывал плохие круглые рисунки. Пошел Грановский с неоконченными вещами из дерева и меди. Пошли, разговаривая по-немецки, ко мне, где я оделся в солдатское, и в Ключи до головной боли. Пили потом кофе на набережной. «Вы красивы, Поплавский». Мне было очень больно, я не молился эти дни. Они меня проводили и не зашли.

30.1.1922

Кажется, молился одной молитвой. Встретил за «Вавеном» Френкеля. Купил хлеба. Пытался быть спокоен, смотреть изнутри круга. Показывал кубистическую «Семью», все хвалили. Свешников, поговорили о Константинополе. Я читал плохо Гингера и «Дачи». Подошел к Рискину, тот был доволен этим. Пошли в «Ротонду», где я много шумел. Потом проводил Шаршуна. Говорил много о расах. После обеда молился одной молитвой, думал сделать перерыв, сел исправлять стихи о Пера и <...> измучился. Страшно, было уже поздно, сел на автобус и поехал в Теософическое общество. Зал полон, сидел, в передней с перекошенным лицом наблюдал разезд. У Парламента сел на трамвай, купил пеклеванную булку и сделал дома чай, хотел молиться. Конечно, заснул.

31.1.1922

Утром не молился, оделся жокеем. Обедал, к Сакуленко, пошел в академию. С... подъезда бегал с Терешковичем, пришедшим за углем. Наряден я, Жоржет и все милы ко мне. Красный влез наверх, сделал ню на коленях и голову в профиль. Пришел и ушел Гингер... измучился. Терешкович враждебен. Пошел в «Вавен», где Гингер, и в ужасном смятении к Воловику, в ателье показывал работы. Он кончил круглые вещи на ассонансах и пишет диссонанс, он талантливый. Пошли ко мне, обсуждая подробности путешествия в Италию. Я проводил его, пытаюсь заговорить о теософии. Но я совсем слаб.

1.2.1922

Взял утром деньги, поехал к Сони Морис, купил огромный холст. Повертелся в академии, где на меня подозрительно посмотрела Mme Роза. Начал рисовать, пришел в отчаяние, все замазал. Домой. Лег молиться, молился двойной молитвой, потом одной большой. Пришел Терешкович, мы весело пошли обедать и в «Гатарапак», пытался быть спокоен, но бегал от столика к столику, показывая, что дружен со всеми. Засел в углу, делал сангину, потом из другого, нелегко читал. Со Свечником страшно усталый дошел до St.Germain, где я читал ему «Боль Дали». Он пошел бродить по улицам. Домой. День лучше остальных.

2.2.1922

Утром после молока опять поехал к Сони Морис, купил маленький холст и под дождем поехал до Ile St.Louis¹. Начал рисовать, довольно хорошо, большая часть лица. Я взял Меликовские очки, одел и весело пошел с Сакуленко домой. Взял бумаги, и он проводил меня в академию. Рисовал наверху рядом с французенкой головы. Пошел в другой класс, где Жоржет была очень мила ко мне. Я говорил до пошлости, что мои рисунки — дрянь. В очках пошли в «Ротонду», говорил с Оливье через стол о астральном плане и засмотрелся на обнаженные руки Жор-

¹ Остров Сен-Луи (фр.).

жет, под газом кофточки. Его лицо перекошилось, дикая чувственность, больше не смотрел*.

Пошел к Сакуленко. Берлинской лазурью сделал волосы. Он спросил меня, чем отличается футуризм от кубизма. Я нагло и гордо стал объяснять ему, разругались, потом рассказал ему то, что было между нами и Оливье. Проводил меня в академию. Я сделал 2 рисунка мальчика. С Воловиком и Френкелем в столовую. Там разругался с Воловиком из-за Пайлеса и продолжал ругаться, пошли ко мне. «Вы не понимаете в живописи». Я понял. «Вы не способны». Стало очень больно. Потом Воловик несколько раз говорил, что я талантливый. Хвалил кубизм.

Утром молился половиной большой. К столовой опоздал, пошел в академию. Сделал один кроки с <...>. Пошли ко мне. Я мучительно вытряхивал перед ним рисунки... Довел его до St.Germain и пошел обратно быстро, стремительно. Я стал верить себе, он тоже. Утром сделал сангину, вещь в пространстве. Выйти не пробовал, читал «Доктрин секрет», но не молился. Утром сделал гуашь. Судейкин сказал Терешковичу, малиновое и зелененькое, побежали обедать, подтрунивали над прислугой на углу улицы... нагло шатались. Я пошел писать портреты. Он ждет моего труда. Все спрашивает, ибо [от] моих кубизмов его знаменитое «мнение» заколебалось. С Сакуленко шли в академию. Сделал 2 сангины. Пришел Терешкович. Пошли на выставки... От Вламинка пришел в первый раз в жизни в трепет. Устал. Дома он сделал копию. Мы говорили «в пространство» о Ницше и о пр. Он сидел молча и говорил, что все понимает <...>, шли на вечер поэтов... *не молился.*

...Утром встал поздно, пальцы из сапога вылезали. К Сакуленко. Желтой не было, и я разрезал тюбик. Потом он проводил меня до дому. Я влез в пустую комнату и *не чувствуя уныния.* Половину малой, вышел было, вернулся, молился, пошел обедать. Дома сделал темперу и рисунок, автопортрет. Хотел молиться, но заснул. Никто ко мне не пришел. Печальный вечер.

* Снова кусок в лохмотьях, продолжение куска, переписанного по ошибке в начале года. — *Примеч.* 1935 г.

Понедельник

Утром делал гуаши. Менял тон и разглаживал их, на-вертывая на папину ручку, с чувством исполненного долга я пошел обедать. Купил у Настеньки альбом и со Смирновским пошел ко мне, по дороге бегали. Терешкович и я обидно предлагали друг другу [нрзб.]. Разговор, рисунки, сумерки и в 7 часов пробовал медитировать, заснул, проснулся (звезды из окна), молился большой молитвой... вытаскивал рисунки до галлюцинации.

Утром кончал темперу «Прибор в пространстве», все-таки очень наивно. Был в академии и дома <...>. Терешкович лежал тут же и смеялся надо мной, как я выдавливаю слова на вопрос: «зачем это нужно?», назвал темперу красивой, из столовой пошли в кремери¹, где я говорил о теософии, и играли в шахматы... по улицам с Сакуленко домой.

Среда

Утром пришел Шаршун, пригласил меня на выставку. Я проводил его к Поволоцкому, говорил, что скоро едем, он советует в Италию, ибо песета дорога. Тучи летели, была переменчивая весенняя погода. К Сакуленко... в Версаль. По его огромным залам, смотрели картинки, снимки с которых (1812 г.) напомнили детство. Огромные аллеи.

Четверг

Писал портрет, потом пошел через Люксембург в академию, ходил из ателье в ателье. Провожал Дусю Рысс. Она меня обидела: «Все вы... тоже мальчики». Работал с графом Ланским под презрительный смех окружающих, проводил его до метро, говорил о теософии. Пошел за Терешковичем в столовую. Терешкович ругает Воловика. Я не пошел с ним, но мужественно домой, заснул.

Пятница

Был у Сакуленко, его не было, опять в академию. Видел Ланского и уже в сумерках пошел с ним домой смотреть рисунки. Он ужаснулся. Как хорошо, а я проводил его до

¹ От фр. *crème* — молочная, *crêpe* — закусочная.

метро. Купил мыло и пошел домой, написал одну гуашь и испортил, пытался молиться, дальше не помню.

Суббота

Ждал Терешковича, потом обезьяны и Сакуленко. Около 3 его нет, пошел стричься, потом поставил в окне стол... работать гуашь. Пришел вечер, и стало очень холодно. Я судорожно менял цвета. Пришел папа, сел пить молоко и разговаривать о войне. Наконец я лег молиться, беспмятство сна ударило... Терешкович заснул на моей кровати, покрыл его пальто и сел у окна со звездами. Ждал чуда голоса Молчания. Господи, помоги умирающему.

Воскресенье

Утром оделся. Решил две малые молитвы и медитацию. Пошел в столовую. Терешкович и мы пошли на скачки и в аквариум. Смотрели как на педерастов. Какая-то девушка рядом повернулась, когда мы проходили, и смотрела вслед (она была русская). Терешкович поставил 50 франков, но все проиграл. Солнце садилось, я <...> позорно не мог влезть на дерево. Упала моя тетрадка, кругом говорили: «Студент техник». В Буа де Булонь¹ страдали на скамейке. Как совы пролетали машины. Пел Вертинского... останусь я сиротой... Пили чай...

Понедельник

Погладил ночью штаны. Пришел Терешкович, я молился утром, пошли обедать... писал дома, фактуру испортил. В академию. Смеялся над соседями... В столовую, оттуда ко мне и в кинематограф (дурили как пьяные)... Заснул, как скот.

Вторник

Сделал икону, пришел Терешкович... пошли обедать, потом я на трамвай мимо солнечного St.Michel на Плас Мобер. Кончил портрет. Желтыми и красными. Вышел, стыдно нести домой. Дома молился, пришел Свешников. Я подавил его в споре, говоря, что дегенерат. Он ушел, я окончил икону. Намаслил портрет, молился... вялый и од-

¹ Булонский лес (фр.).

ной малой, сделал... заснул. Сидел у окна и плакал. «Де-вушка пела о всех кораблях, ушедших в море».

Среда

Утром встал, рад, что к Сакуленко не идти. Сделал коричневый простой рисунок и ню, обедать бегал. Пришел Терешкович в глаженных брюках. Опять в столовую, оттуда на выставки. Хотел уйти молиться, на мосту ужаснуло — это конец. Дома пробовал медитировать. Заснул, опять пробовал, опять заснул. Тень смертная опустилась на мою душу. Неужели вынести Принкипо я не могу, *умереть*. Кажется... пошел в академию. Все презирают меня. Сделал один рисунок. Потом домой. Может быть, на лестнице надеялся увидеть милую свою англичанку. Сегодня она приехала. Встретились на нашем этаже Изобразил приятное удивление. Она повернулась вслед. Я не сумел.

Был в академии. Рисовал кубизм. Поднимая бровь, рядом с Ланским, смеялись... Работали, не глядя на это, потом русская столовая. С Карским пошли в кинематограф. В «Ротонде» пил кофе с Бартом, говоря о Ларионове.

Со Смирновым в академию. Пошли в «Инвалид». Знамена и картины, гуаши и канцелярии, ко мне. Сидели на постели, говорили о его поездках на Суматру. Потом пили молоко... Утомительно. Варил чай. Очень плохо молился.

Хотел идти лечить зубы, но заглянул в академию, работал очень хорошо. В антрактах делал кубизм... Дома делал икону... потом вечером в столовую, оттуда со всеми в кинематограф, бесконечно и глупо вертели о заботе и любви, потом пустой Gobelin¹, «Ротонда», возвращался по Ренн в огнях лиловых звезд.

День воскресный, как не весел ты. Утром пел, страшась соседа, русские песни. После обеда в русской столовой искал Терешковича, никого до ночи не видал. Дома сделал одну гуашь с желтым кишечником. Как сказал папа, сорвался на автобусе, пел в... ночь «ой, тоскуй, тоскуй о самом дорогом, не найдешь ни капли счастья ты ни в чем другом». Ждал великих событий, но Терешкович ушел к Ромову. В «Ротонде» было пусто для меня... и я пошел домой мимо Люксембурга. Опять за эту неделю неоконченные молитвы. Утром

¹ Авеню Гобелен (фр.).

начал делать темперу с трубочистом. Пришел Терешкович, сказал, что она сугубо плохая. Он болен, и поэтому я бегал один, показывая стиль, в академию. Он бледен необычайно. Вдруг Жоржет села предо мной, потом ушла и, оставшись без места, встала предо мной. Я нервничал, натурщица меня презирает, я не выдержал, кажется, демонстративно встал. Господи, вероятно, тоже будет обида. Со Смирновым пошли ко мне, разговора никакого не было, наконец он ушел и я сорвался и, как бездомный, поехал к Грегору. Сел болезненно, неподвижно, но у них был очень смешон и естественен. Говорил о Москве, прожег скатерть но этим вечером показал, что можно...

Сделал темперу с белым треугольником. Сидел, думал, что это настолько хорошо, что теперь пора бросить живопись... Бегал в столовую через Люксембург. В метро все обращают внимание. Лицо мое, изъеденное тоской, делает меня похожим на кота. Не выдержал, вместо зубного врача забился домой. Сделал еще одну темперу и молился... Видел ее один раз у отца...

Утром пришел Терешкович. После обеда побежали, как и все, на St.Germain, где застали шествие, картонные дяди в... чалмах. В академии я взял свою папку и всем показывал рисунки, потом в столовую. Там собралась компания, сперва толпились на углу Гобелен, потом сели на автобус, где пели во все горло, и поехали в «Олимпию», где видели много красивых женщин и акробатов. Встретил Меликова и Сакуленко. Толкались со Смирновым по Grands Vds., потом я утащил его в «Ротонду», где через стол судорожно кричал Свешникову о большевиках, карме и Иисусе, потом пели до 6 часов утра.

Утром шли по улицам, вставало солнце, я прыгал через скамейки, припер домой, вертел зеркало, пил кофе и спал до 12. Пошел в академию и этот день особенно много бегал. *Не молился.* Отдал застеклить кубизм и «Джаз-б.» для канадки. Вечером пошел со Свешниковым на лекцию о Сократе... Рядом сидела Шухаева и рисовала маленькие рисунки. Я тарасил рожки, чтобы не заснуть.

Утром пришел Терешкович... бегали через Лувр, зашли к Поволоцкому, смотрели выставку Ханы Орловой. Б. гладила статую по заду и звала меня к себе. В академию и оттуда в русскую церковь, беспамятно через весь город, слушал деву-

шек... Пели бесцветно, или я слушал плохо. На автобусе в русскую столовую.

Утром пришел Терешкович и утащил меня на выставку «1000 лет французского искусства». Смотрели хорошо... Обрато бежали через Лувр, я отстал, молился при Терешковиче и работал. Потом в метро говорил ему об астральном мире. Потом опять бежали до Лувра, я обогнал его. Начались...

Утром пришел Терешкович, и мы работали... потом в столовую, в академию, потом к американцу. Он сказал, что хочет работать. Домой, кончил «Гимназиста» и сел молиться, положив его перед собой. Вечером ел чай с маслом. Так прошел этот день.

Пришел в академию и сел рисовать натурщицу рослую. Смирнов очень рад был... я проводил его до угла Бонапарт и побрел домой варить на чугуне чай.

Утром папа, ругаясь, принес новую кружку. В академии работал вечером очень хорошо. Разговаривал с американцем. Моя болезненная нервность совершенно проходит, все идет хорошо. В 5 с усилием оторвался и, не заметив Mme Rose, ушел пешком. Над городом темнела гроза. Кончается мое бегство из дома, последний победил, молитва и медитация. Все-таки я падал не без пользы, но это тайна. Утром делал гуашь, большой кубизм. Скакал с одной босой ногой перед Терешковичем. После столовой в академию, рисовал скверно, скоро устал. В «Ротонде» Жоржет встретила меня надменно, ибо Оливье только что уехал домой. Чтобы увидеть Ее, бегал к портному, но Ее не было. Пошел вечером обедать, поперся и вместо 4-й молитвы заснул, как скот.

Утром сорвался к Гингер<у>. Белый воротничок на грязном пальто терзал меня, мне казалось, что все принимают меня за кота. Немножко молился. С Терешковичем побежали есть. В академию. Затянуло, остался, работал очень хорошо на стуле. Обрато провожал Рысс. Дома сидел у дождившего окна и пытался молиться. Заснул, ночью видел страшный сон. Я и Мать ходили по каким-то проходам, удары грома, она бережет какой-то крестик. Потом говорили в зале о Достоевском и футуризме.

Сидел на диване, соображая, что за эту неделю, если сегодня кончить малую двойную и сделать 2 маленькие, будет 7 молитв от субботы. Катался по дивану от радости. Пришел Терешкович, и мы после обеда вдруг собрались и, смеясь,

к Сони Морис. За <...> уехали ночью. Шли мимо кладбища... Но в Dreux [?] в колпаке сказал, что комнат нет. Дошли до моста <...>. В Мери тоже со станции гонят. Поехали в Болет¹. Ночью спали в одной постели.

В 8 встали, гуляли до 5, бросали камень и полено и бегали. Я обогнал на Грос Каунтри на 2. У дома нас удержал сержант и проверял бумаги. Хозяин в комнате отказал. Поехали в Болет, один согласился, но когда мы принесли вещи, спросил 10 фр. в день. Напротив нам предложили дать комнату за 15 фр. в неделю. Гуляли и прыгали на одной ноге. В общественном саду я упал и вдруг заплакал было. Напротив дома зазвенел кинематограф, пошли, не выдержали, ночью Hôtel заперт, ужасная минута, но открыли любезно. Молился ночью, а вчера на станции Мери Терешкович спал у меня на коленях.

Понедельник

Опять занимались спортом и бегали. Я в плечах, оказывается, как Терешкович, а левой рукой поднял балку шесть раз, а он ни одного. Писал пейзаж из окна. Гуляли... Лежали, смотрели на облака. Он лазил на сенокос, я не хотел трепать нервы. Ночью желание поездки. Запахло брагой. Результат: в Италию не идти, потому что работа важнее.

Вторник

Утром переписал пейзаж, зелено-красного уже нет. Побил Терешковича на состязании, но вечером он пробежал 5 кругов. Мы шли по городу (тон Коро), и я рассказывал ему об астральном мире. Потом вместо молитвы читали «Деревню». Поехали к Свешникову, тот выгнал <...>, но лицо коршуна.

Среда

Вечер гонит облака, я заменил линию горизонта на пейзаже. ...Терешкович ругает. Читали «Деревню». После обеда прыгали и толкали камень до отупения. Мужаясь, крепнут... Потом на балконе города рисовали и пошли рисовать для денег, но никого не нашли и вернулись, боясь сержанта, ибо денег даже показать нет. Решили завтра ехать.

¹ Дрё, Мери, Болет — названия городов на железной дороге Париж—Фонтенбло.

Четверг

Утром лежал, очень долго пытаюсь молиться. Обедали и пошли на поле. Терешкович побил меня в беге, а я его в толкании балки... Быстро сложили вещи, боясь скандала, но ничего. Шел дождь, когда мы пошли... В вагоне нас ругали рабочие со свадьбы. В столовую <...>. Потом хотел идти к Цинтроновичу спать, но его не было, и я молился дома.

Пятница

Утром пошел к Барту, взял у него 3 fr. Он сказал мне: «я вашу работу принял за Терешковича». Хвалил. К Mme G. и в Лувр. Смотрел аккуратно примитивы... Дома молился малой и позже большой. Надеюсь кончить неделю полную молитв. На лестнице она затянула меня показывать ателье. Свешников стоял и ждал. Потом я ругал его.

Суббота

Папа уже дал 5 fr., отдал Барту. Ел 3 лимона, жаден до еды садически. Пошел в академию. Рисовал сангиной, но очень паясничал на первой парте. В русскую столовую, опять еда без конца. Со Свешниковым хотели идти на лекцию о масках, но ее не было. Мы грустно просидели в кафе на St.Жермене, читая друг другу стихи. *Думаю, чтоб 5-й лучше* Парнаха, это очень важное событие.

Воскресенье

Утром хотел молиться, но пришел Смирнов, и Костя мылся и брился. Ели пом фрит. В яркий день поехали на пароходе. Терешкович в закрытое отделение. Там толкали камни. Левоу бросил очень далеко. Терешкович даже сказал: «подозрительно», потом я потерял очки. Бежали обратно по улице в столовую. Со Свешниковым домой, дал ему книгу Евангулова. Заснул, смерть.

Понедельник

К Mme Гингер не пошел. Чувство весны занимает душу. Смотрел календарь и считал дни. Один месяц до смерти. 22 молитвы во время ее и 7 (полных), значит, ровно месяц нужно отдать. Полон надежд. Работал в академии. Терешкович очень добр ко мне. Нервен был до исступления.

Пришел домой, лег без часов молиться и медитировал. Гардениной адрес узнать хотел. Идя из академии, усумнился, но закон любви силен в мире, и я ею помогу ей...

Вторник

Молился концом большой. Мои <...> и удвоенные молитвы сделали раз в день очень легкой. Я возвращаюсь не из-за страха наказания, не из-за желания награды, ибо желание жить <...> для меня. Но когда внутри моего круга будет Учитель, а не я, тогда и невозможно будет самолюбие... Был в академии, медитировал и бился головой. Господи, дай свидеться с Ольгой.

Среда

Пил жадно кофе, потом убрал все рисунки, душа чувствует отъезд. Пришел Терешкович в новом пальто, пошли есть пом фрит. Потом по дороге я взъелся из-за того, что он купил мне холст, но он вообще гораздо дружественнее, привык я. Вчера я думал, что тайна Дон Жуана в том, чтобы без <...> любить все равно кого и все одна любовь. Это, привыкнув, он меня полюбит как брата, а сразу человеку вне круга кажется странно. В академии 5 шедевров. Гарденина уехала. Завтра будет «величайшее» счастье покоя сделанного дела, как просто.

Четверг

Утром пошел в Лувр, потом к М.Ларионову, <...> хвалил за фразу «Зданевич за чертой оседлости довоенного футуризма». Потом из столовой заходил в Люксембург с Терешковичем. Он хвалил все, может быть, издеваясь надо мной.

Пятница

Я медитировал, кажется, пришел Терешкович. Я встал. Яркий день. Мы пошли по выставкам, бегали. (Через два дня первое покалывание и сердцебиение от чая.) Потом в Булонском лесу были в клубе, оттуда опять бежали, и я опоздал домой, проморгал. Прибежал домой, колото сердце. Зачесал волосы, истомленный вышел из подъезда. Сперва увидел собаку, потом ее. <...> Обедал. Заснул, конечно...

Суббота

Так страшно, что Пасхальная, так страшен разрыв с Христианством обрядным, из-за одной фразы Ледбитера. В прошлом году было столько воли, теперь ругань одна. Из дому пришло письмо: Ладю берут в солдаты... а я пришел требовать денег, чтобы купить вина. С ним поехал к Терешковичу. Болезненно обжираться фритами и пирожными... В церкви, как в глупом сне, Христос Воскресе. Не <...> ли здесь, что я так весело бросил все обрядное. Шли с Терешковичем и жрали на чемодане.

Воскресенье

Ночью проснулся. На ноги лег Гингер, было ужасно больно. Утром грязно оделся. Пошли печально с Костей. Не к кому деться. Он стал поглядывать очень странно. Не думает ли он, что я педераст. Ругаюсь я похабно. Хотели идти в кинематограф. Но я довел их до метро «Одеон» и пошел домой молиться. Вечером надел чужое пальто как сюртук и поехал слушать Зданевича. Путник Фалус, бя, боливар, бульвар, от декабристованус... храм Тютчева, клозет, уход из жизни. <...>

Понедельник

Утром пришел к Терешковичу. Он сух. Ругаемся все матерно. Свешников позирует. Пошли на Бальмонта, но они ушли, а я остался. Опять, как вчера, началась мука. Не могу ни на кого смотреть, как сумасшедший, армяне поворачиваются. Это от придавания значения преходящему, вызывал волю к победе, и стало немного легче. Бальмонт некоторой эволюции человек. Теперь он уже не в моде, как раньше. За это он давно мне инстинктивно не понравился. Домой.

Вторник

Молился утром. Потом от обезьян пошел в академию. Нервничал так, что не мог говорить. Рядом сидел тучный американец и та девушка, которая не смотрит. Она нарочно рисовала плохо и показывала это. В 5, купив хлебцев, пошел домой. Дома подряд 2 раза молился до оупения и хождения по комнате. Ее не видел, после знакомства так страшно с ней встретиться.

Четверг

Утром до обеда медитировал 2 раза, сидя по-индусски на диване. Пошел в академию. От нервности не мог смотреть на прохожих, не говоря о городских. Канадка покормила. Домой. Сел писать на машинке. Пришел папа, еще раз медитировал. Молился лежа. Еще написал статью, читал папе. Он, побежденный, сказал: нанизанные слова. Он там с этими Денисовыми перестал разбираться, социалисты и коммунисты все равно. Лег молиться. Мир всем жукам и букашкам, мурашкам и таракашкам. Почти две недели все *остаюсь* дома.

После вчерашнего усилия опять день упадка. У Сони Морис купил альбом, а после мы со Смирновым сорвались и пошли в St.Марсель¹. Видели Шарло² и решили ходить рисовать по Парижу. Потом я затащил его в «Ротонду», где мы пили у столика кофе и какао, и пошел домой.

Утром он пришел ко мне, и мы пошли из-за непогоды в Лувр. 2 бегущих неунывающих парня. Девушки милые, англичанки, смотрели и грустно смеялись на нас. Я показывал Смирнову Клоде и модерную живопись. На верхнем зале Ван Гога рисовали из окна. Потом ели картошки и пошли к нему, купив еще альбом у Сони Морис. У него долго бранился, хваля немцев с той честной француженкой, а потом с ней пошли в кинематограф. Леон ушел из-за грязи, а мы сидели рядом, и собака нежности, кажется, с любой девушки просит подаяния.

К Смирнову должен был зайти я в 10, но было, кажется, 4 медитации и молитвы, и я пролежал в постели, нарочно ходил обедать. Мне принесли письмо от Дементьевой, что она здесь и хочет меня видеть. Пойду обязательно. Дома сидел и делал кубизм, потом молился и медитировал.

Утром после обеда пошел в академию. Еще никого не было, толкался у Сони Морис, потом купил туши и сел рисовать кубизм «легкий и декоративный». Я балуюсь. Это означает кризис в моей живописи, облегчает «esprit³». Измарал весь альбом, потом домой, конечно.

Сегодня сидел на первой парте и рисовал уже лучше тушью кубизм. Рядом американец, прямо меня презирает.

¹ Бульвар Сен-Марсель (фр.).

² От фр. Charlot — Чарли Чаплин.

³ Дух (живописи) (фр.).

Потом поехал к американцу, тот завел беструбный граммофон, и мы говорили о кубизме и потом о религиозных коммунах.

Бегал, несмотря на сердце, в столовую. Встретил англичанку на лестнице, глупо, радостно, растерянно и ей, кажется, сразу стал противен, она передразнила меня, здравствуйте. 3 раза медитировал и пошел к Дементьевой. Встретил Смирнова, завтра придет. У нее дома слишком естественно говорил о делах Константинополя. Утром встретив Зелюка, не снял шляпу, будет обида. В Законе надо уважать женщину. Урок этот запомни.

Ездил к доктору, меня не приняли... Вернулся со Смирновым, пошел в Grand Palais¹, декоративный фейерверк салона, потом под окном городских пошел в Буа де Булонь. Ехали над городом, Смирнов звал к себе, я сдался. У него варили какао и яйца.

Четверг

Утром Смирнова не было дома. Я с Терешковичем, по столовой пошли с евреем в картузе. Были в Лувре... устали. Потом пошли ко мне, я хвастался работами, но не мог показать ничего. Поехали к Терешковичу, по дороге говорил о религиозных коммунах. У Смирнова кто-то из-за стены меня обидно дурачил, притворяясь спящим. Под окном городских домой. Ужасно страдаю от обуви. Со Смирновым ходил гулять, и голос мой по-прежнему срывался, вызывая презрительные взгляды прохожих. В столовой в первый раз мелькнула мысль, нельзя ли 2 медитации и молитву. Скоро кончаю книгу, я перемучился, отнесу и узнаю.

Утром после «ужасного» сна хотел было молиться, но пришел Смирнов, и, поев пом фрит, мы пошли в салон. Я в сапогах изображаю знатного иностранца. В салоне 5 fr. за вход, и мы пошли в Petit Palais² напротив.

Много «нотр³ Курбе». Мухи огромные. Вышли, пошли под мост, где рисовали. Я Смирнова. Домой, чай с хлебом и маслом. Наконец Смирнов уходит, и я остаюсь медитировать. Молился немного. Потом читал свои старые доклады, насколько дальше ушел теперь возможности огра-

¹ Большой дворец (фр.).

² Малый дворец (фр.).

³ От фр. nôtre — наш, свой.

ничения кармой... пока нужно сделать все, что можно сделать, но хорошо.

Понедельник

Мы со Смирновым окончательно подружились и обсуждали <...>. В Париже начались первые солнечные дни, с их автомобилями и фонарями, но что-то вообще лопнуло, завеса какая-то церковная, и все это стало не нравиться из-за своей поэзии и без тоски о жизни уходящей. Господи, если бы я вошел в русло молитв. Освободился бы от долгов, все взял бы радостно. Я так полюбил наблюдать человечество...

Дня этого не помню, поэтому пишу нормальный, предположительный. Утром... жадность к поджаренному хлебу. Смирнов, бег мимо неприятных городских, в общем, лето да будет озером работы, ибо отдыхи (читай: прогулки) да будут использованы на письма, ведь столько случаев кругом пропустить. Ларионов, Шаршун. Господи. Писал. Птица пищала, солнце на косяке. Бегу к Дементьевой. 15 май.

Со странным, чуть улыбающимся от долгой молитвы взглядом, поехал к Дементьевой, потом она ушла, и я довольно долго и до слез сосредотачивался на некой «фразе». Она вернулась, и мы долго разговаривали о символах Троицы. Потом мимо фонарей домой. Бог не создал нас совершенными, потому что часть абсолюта не могла иметь в начале определенного сознания, это результат чтения «Тайной доктрины», вот видишь! Поехали со Смирновым в Буа де Булонь. Я по-прежнему срываюсь в голосе и неестественен. Как рождественские мальчишки стояли перед оградой Расинг-клуба, это тоже желание жить. Бегали, преступно сидели на скамейке, играли в мяч. Проплывали корабли, женщины. Радость разделенной радости не есть ли величайшая радость? — ответил я Смирнову на вопрос: «Зачем любовь?». Сделал гуашь с буквами, понес к Терешковичу. Встретил меня холодно. Но я знаю, я не могу осуждать. Для этого надо отдать жизнь жившим, как единое усилие, поэтому он будет больше меня, я думаю, это *нас примирит*. Чудная книга

<...> открыла горизонты на неосуждение мира, ибо «на некоторой ступени развития ученик может быть даже антирелигиозен».

Я измучился, книгу кончил, подчистил и сегодня после медитации понес, но парикмахер задержал меня, и я все пропустил. Пережиток Принкипо: я так боюсь полицейских, но вот слово, которое вернуло меня к человеческому дружелюбному общению: Имей мужество иметь странности, в тебе противно то, что ты играешь в естественность, но душа твоя не всецело в преходящем делает роль явно полуфальшивой. (Знай свое дело.) «В нас она радовалась для презирающих синие птицы».

Весна. Сена вылезла из берегов, и я, несмотря на сердцебиение, бегаю по улицам, как мальчик. Неожиданно сели в трамвай, поехали в Версаль, там чуть не поссорились из-за лодки, и я наконец уехал один, срываясь на глазах американцев грести, мотаясь от берега к берегу, нас принимают за переодетых французов, но слыша говор, смотрят странно задумчиво. Скучал, как демон, среди шляющихся лиц. Обратнo увидел даму, которая грустно улыбалась на нашу молодость из автомобиля с американцами.

Понедельник

Утром, не молясь, с книгой пошли к Люксембургу. Медитировал дома. Так, может быть, создаются всякие связи между людьми. У Зелюка дела, и она сперва через пенсне говорила надменно, но когда я рассказал о своем горе застенчивости, она подобрела и подсела. Он взял мою книжку. Завтра будет ответ. Дома хотел вечером сорваться к Гингеру, но вспомнил о медитациях и остался. Господи, если она сможет принести радость, да будет она. Девушка пела в церковном хоре, она в американце ждала разрешения внутренней тоске <...> красивым, но оказывается, никто не вернется назад.

Утром не засыпал до 3. Молился, в академию. Пошел к Зелюку. Он официально пошел со мной наверх, и глаза его стали злыми. Печатать не хочет. 320 fr., но когда я искренно сказал, что <...> другой Зелюк среди зеленого моря вылез и обещал в июле между делом напечатать. Смирнов с поездкой в Бордо. Я было согласился, <...> но не

есть ли тайная жажда жить в этом, ведь в прогулках и нашел же я [ее?].

Среда

После последнего дня очень поздно сорвался к Дементьевой. Читал статью, в вопросе о борьбе произошла заминка, он считает, что зло не связано с человеком... для нас, давно больных, теряется великое разбойнику <...> за единый час покаяния. Дождь. После обеда убежал от жизни в кинематограф. С молитвами опять долг. Вообще, не есть ли Смирнов моя карма?.. Он фактически отрывает меня от работы. Дома летели капли дождя, они как волны проходящие, если похитить их...

Утром пошли на Сену писать, ничего не вышло из-за дождя. Смирнов ругал меня за испачканное масло, и я лег дома молиться. Хлопало окно, но я сделал, ибо [был] безучастным к нему и в перерыве «молчания» ясно выплыл головой вниз, подумав не надо ли <...>.

Утром пришел Смирнов, и я, несмотря на медитацию «не уйти», пошел с ним в Люксембург прыгать и посмеиваться и к Сони Морис. Оттуда вырвался домой. 2 раза подряд медитировал, читал Талова, начал молиться, как пришел папа и мы пошли к Вигдоровым. Захмелел от глотка шампанского. Котуар и Конгос, с ними не сумел заговорить. Был естественен, не скучал от брожения. С Кривошеиным говорил о теософии.

Воскресенье, 14 мая 1922 г.

Прошло три недели, как я в последний раз писал дневник, жалею, жалко забывать прошлое, ибо с днями уходят части души, так быстро меняющиеся. Со Смирновым пошли в Лувр, в сад, вечером в кинематограф. Я этой девочке сказал <...>.

Был у Терешковича, взял свои рисунки. Там был Божнев, и все было довольно кисло, обратно ехал на автобусе, так любое разъединение карается разлукой. Если бы Жения была здесь, весна была бы весною, а солнце солнцем. Варил дома молоко и сидел у окна в кресле, смотрел на закат. Потом бессмысленно долго рисовал у зеркала. Потом заснул.

Переписывал первый кубизм, купил себе все краски и опять полюбил ящик и кисточку, только не могу уже помириться с Константином Терешковичем, и я понял даже, при одинаковых способностях (?¹) даже он делает больше меня, ибо его напряжение колоссально, а уже у меня мучительно борется желание рисовать с долгом помощи и медитации. Баронесса часто бывает у меня, и я с ней говорю о пустяках. Флирт и тоже синяя птица.

Читаю Зборькина, сделал сегодня кубизм, пришел Терешкович, оставил картинку, чтобы ее продать у кого-нибудь и, очевидно, увидев его, написал: Дорогой Борис. Был в академии. У входа Ланскому с большим жаром говорил, что нужно колоссальное напряжение. Была весна, рвали ветры. Пожалуй, я наслаждаюсь своей обреченностью, и поэтому играю <...>. Опять переписывал кубизм, так приятно рисовать кистью свою мысль. С Терешковичем не вижу. Смирнов тоже охладел и часто не заходит. Молюсь усиленно, решил после долгой смерти молиться двойной молитвой и двумя медитациями и не отдавать долгов. Читаю Зборькина.

Делал кубизм, самый простой, ставил точки до отупения, молился, кажется, затем папа взял меня к Третьяковым, сперва ели спаржу, и я говорил с детьми о разведчиках и с ними ушел в детскую, когда сказали: «Дети, идите к себе»; ботинки донельзя рваные. Сидел и глядел с настоящим удовольствием, как все плясали кадрили... но тоски не было.

С Терешковичем и Смирновым сели на скамейку в зоологическом саду. Я давно не видел Терешковича, с тех пор как нас разлучила его мысль, что я педераст. Заговорили о живописи, как равные, потом о Кузмине, и здесь я резко сказал, что я чувствую, что это мерзко и жалко, с этой минуты все пошло опять хорошо. Прыгали и бегали, пока нас не прогнали. Пили лимонад, и здесь он нарочно спросил, загорел ли он, и уставился мне в глаза. Я не глядел.

Утром ждал Кривошеина в «Ротонде», но он не пришел, и я, купив большой картон (ню, оказывается, нельзя открыто носить по Парижу), пошел домой, молился и медитировал. <...> решил написать... семь статей. С Вайсбремом сидели в «Ротонде» и говорили о театре.

¹ Видимо, вставка 1935 г.

Утром пошел в «Ротонду», говорил только с Кривошеиным об атомах, потом в саду о <б> обреченности и автобиографии, блистал, тот устал и, кажется, все понял. (С тех пор я замечаю, холоден к себе, ибо слишком разговаривать унижает слушателя), потом говорил В. о долге, сидя в Люксембурге, но так устало, потом мучился в академии.

С К. и Карским поехали в Булонский лес. Ждал, прыгал через скамейку. Ехали русские барышни, что видели меня мрачным презрителем, «вот сейчас чемпионский прыжок», улыбнулись, стали смотреть, проехали, разбежался, упал, встал, не дрогнув, продолжал смеяться, потом сидел у дороги и презрительно улыбался девушкам. Это надоело. Говорил Карский, что мои рисунки совершенны. Это его возмущало, придет смотреть.

С Терешковичем ездил к Третьяковой, та нас выставила, потом к Вигдоровой, той не было... потом долго сидели на площади St. Germain, осуждали. В кафе сделал пятый кубизм, очень гладкий. Терешковичу, кажется, *не нравится*. Утром Карский не пришел, я ждал и думал, что не нужно слишком блистать. Это так унижает неудачников.

Утром папа уехал, оставив мне 65 fr. и пустой дом. Потом пришел Терешкович, и мы пошли на Сену лежать на солнце и толкать ядро и копать песок, жара страшная, я так устал, что пришел домой и лег голый. Пили какао... Терешкович пошел звонить к Шухаевой, прощаться. Потом пошли в «Ротонду», где долго объяснял студенту из Лондона о кубизме и теософии. Он был у меня до поздней ночи. Боролся с <...> мыслями.

Утром с Терешковичем метались по городу, я купил ему красок. ...Уехали с 10 fr. Пели Вертинского, со станции шли с холстами через поля... В 7 мы пошли на реку. Я разделся и сразу прыгнул, течение понесло, но было приятно, толкали ядро по дороге... Вечером поздно легли спать, причем я выиграл отдельную кровать и пытался молиться.

Суббота

Утром ходили купаться, до 2 плавали через реку и прыгали с высоты без волнения, бегали голыми, потом толкали ядро и пошли пить чай напротив... Хозяин сделал нам выговор, денег у нас больше не было, и вместо <...> я пошел просить у Поволоцкой на отъезд, встретил ее, милая женщина, говори-

ли в вагоне <...>, немного невежливо с моей стороны, потом метро и с пыльными сапогами домой.

Воскресенье утром

Терешкович ташил меня на состязание, но я не хотел и, купив вермильону, пошел домой, потом сидел на лестнице, ругался с баронессой и думал, что «уйти не могу»... живопись меня съедает, и хочу бросить все, чтобы прочитать Ницше и написать Х.В.

Понедельник

Я был в академии и спрашивал Терешковича о состязании, он нарочно почти не ответил, потом сидел в Люксембурге и читал «Заратустру», бедный и рваный, но далекий от людей современник, ибо я отличаюсь от них тем, что с малых лет самые большие реальности и события мои были [их] идеи и их жизнь моя жизнь.

Вторник

Папа все не едет, денег почти нет, занимаю у баронессы и в столовой. Рано засыпаю и поздно встаю, пытаюсь молиться. Все составляю оглавление для Х.В. В центре должен быть самый тихий час...

Среда

Отца опять нет, ни денег. Был в академии, нервность моя быстро проходит, но при виде это несносное тяготит в груди. Приехал Оливье, мужичок. Работать не работаю, а как-то мечусь и томлюсь, только <...> ко мне хорошо относится. Он растяпа, но благородствует.

Четверг

Сегодня папа должен приехать. Сидячи на лесах, поругался с баронессой, и наконец ночью грустный папа привез мне ненужные акварельные краски, и очень большой страх за молитву. Наташа сидит в тюрьме за кражу, ибо теперь полковник ее муж и они дошли до соседских <...>. До утра молился.

Пятница

Очень рван я. Шел ужасный дождь с молниями, пошел к Мещанинову, взял вещи Терешковича, потом к американцу,

пошли пешком. Я толково говорил о долге без теософии, как это ни странно. Дома показал ему вещи, потом в академию, потом дома пытался молиться. Но за все это время разучась прогорать ночи, стыдно заснул.

Суббота

Утром хотел молиться, но и только, заснул. Выплыл вниз и вниз, боялся увязнуть в твердом астрале [?]. Вверх повернулся, как бы катаясь на бок, кругом тьма <...>, потом сам ясно увидел, как завеса наполовину пожеланно соткалась. Переулок и кто-то в пальто, стреляли, я вызывал выстрелы. Потом сон простой. В столовую с Юлиусом, читал ему стихи. Вечером в академию. Оттуда со Смирновым в столовую и в кинематограф. Вышел, сел на скамье и не почувствовал тоски о счастье на ленте. Пошел, была самая лучшая медитация на улице об обреченности.

Воскресенье

Утром сорвался к Юлиусу. Бежал, вероятно, опять начну бегать. Пошел в бистро и в Люксембург. После вчерашней медитации на улице мысли совершенно путались, никогда так позорно не пил. В столовую и домой. Пришел Терешкович, и мы побежали в Пале Бурбон в спортивное общество, но никого не было, пошли на фуар, нас принимали за американцев, на борьбу. Потом бросил Терешковича, пошел к Сене и домой, пошел молиться, но пришел Бродский, интересно говорил о теософии.

Опять две недели не писал. Надо взять себя в руки, притом здесь случались разные события, и карлику было заявлено: «Слушай, карлик, ты или я, а не я или они». Скоро весна моя, Господи, прости.

Ночь. Март 1935. Весны все жду, огромный слоновый, и все, все еще впереди. Иванов ушел, Саша убрался, Пуся исчез. Огромный день кончился. *La position du <...> — de l'impossibilité de la mort*¹.

¹ Положение <...> — о невозможности умереть (*фр.*).

Я

говорю, что я был активным нигилистом, ибо существуют два страха смерти — сознательный и бессознательный. Бессознательный — как страх потерять маленькое удовольствие для дня и маленькое удовольствие для ночи. Сознательный — как потеря возможности некоего свершения великих сроков. Это есть активный нигилизм, это есть учение тех, кто слишком благороден, чтоб любить жизнь для ее суеты сует и кинематографа, переходящего и...¹

Когда-то я был кокаинистом, ибо, подобно многим здоровым юношам больного человечества, не боялся потерять 65 лет [удовольствия?]. И после четырех лет непрерывной нервной судороги здоровый и нормальный сын человеческий был как² веселым мертвецом. Всем было страшно смотреть на меня. Неделями не спавший, не евший и [не] раздевавшийся. Я уже видел себя оставленным [в] лодке. Пароход жизни быстро удалялся. Напротив меня сидели, скорчившись, умопомешательство и смерть. Но что могло спасти меня? Мое поколение не родилось любить жизнь из-за похотливого прозябания тысячей, и я, переживший старых богов, танцуя, дошел до самого края символической пропасти. Сбывалось великое пророчество Ницше: лучшие мои, вам должно становиться все хуже и тяжелее, все большие и лучшие из вас должны погибнуть, ибо так превозмогает человек себя. Пророк активного пессимизма через грань двух столетий видел тучу великого презрения, великого отвращения ко всем людям, которые [повиснут?] над небом лучших сынов Его.

¹ *Далее зачеркнуто:* не имея цели, играет ее безумными днями, ибо иметь свободу от некоего великого рабства, чтоб быть...

² Так в тексте.

Nous avons en nous une énorme force de sentiments moraux et aucun but qui pourrait les satisfaire tous¹. Ибо близко то время, когда те, кто потерял Бога, создадут Его, и человек сам поставит перед собой цель, ибо трагедия активного пессимизма есть потеря уважения к жизни, «у коего все Боги из папье-маше». Но что-то во мне хотело жить. Я не хотел жить для себя, но позади меня встали трагические тени высшего человека.

В эти минуты величайшего кризиса я почувствовал, что не все во мне хочет умереть, что есть одно — любовь к высшим людям, трем, четверем, пяти, которая хочет, чтоб я жил еще. Никогда еще книги Евангелия, Бога любви, не производили на меня такого потрясающего впечатления, а потом я выучил кровью своей одно великое слово — [воля?]. Воля может двигать горами, ибо в душе самый униженный впервые понял абсолютную свободу человека в себе, ибо все живое и нормальное давно возмутилось во мне, но я не поднимал и пальца против врага своего, ибо воля, как сила, зависит от «стоит ли» ее [притеснения?]. Ибо мое величие было улыбаться на своих похоронах. Зачем?

Но вот из безумной черной напряженности сверкнула молния Евангелия — я должен еще жить! Убеждение в своей неограниченной свободе воли дало мне безумную мысль — исполнить Евангелие, первые 30 лет коего есть воспитание предающегося. После этого умирающий человек стал вдруг безудержно молодеть. В один день я бросил то, что питало радость разрушения в течение четырех лет, и приносил домой, и вытряхивал в окно керамические баночки. После там, на раскаленном рыже-красном островке, среди [июльского?] моря, похожего на разогретую паточку, совершилось, родилось нечто...

Мой возврат в Константинополь был возврат к жизни воскресшего. И с тех пор начался тот неистово-блаженный период непрерывного бдения, который привел ко второму большому кризису моей жизни в Константинополе. Я познакомился с теософическим учением, которое есть раньше всего упорное воспитание интеллекта и чувства через сосредоточенное мышление и молитву. Самого «бездея-

¹ У нас колоссальная сила нравственного чувства и никакой цели, которая могла бы эти чувства удовлетворить (*фр.*).

тельного человека» скоро прозвали безумным братом, ибо эти два года прошли как бы в едином устремлении к Цели, но в каждой душе однажды приходит подозрение: не есть ли это великое чувство реальности Божественного — застарелое безумие отравленного. То, что было после этого, можно назвать превращением в противоположность, ибо, думая, что я вообще «уйти не могу», я совершенно прекратил на время свои благочестивые упражнения. Время шло, и я стал ждать, что некая безудержная инерция вырвется из-под охладевшей почвы моей души и все опять пойдет в гору. Но голые сучья покрылись зелеными листьями и опять опустели, а ничего не вырвалось, подобно лаве.

Меж тем проходит жизнь моя и со дня на день ждет спасения. С одной стороны, великая тоска и пустота доказывали, что годы безумия были не бесплодны, но в глубине [религиозной?] души росло чувство какой-то ошибки и смутно томило. Теперь, после стольких перемен, все стало ясно для меня: в начале всякой теософической карьеры первое горение есть чаще всего безудержное желание роста, которое в конце концов тот же земной, пошлый Бог под другим лицом, ибо самолюбие имеет много форм и, погибнув, видимо, под одной, оно появляется вновь под другой.

Цели человечества, великое отвращение к коим характеризует «святую болезнь» его творческих душ, — чувствительно-утилитарная синяя птица джеклондонского Мартин Идена в интеллектуально-утилитарной цели. Высшая жизнь есть творческая добродетель, ибо жизнь повсеместно стремится к своему утверждению, [к] противопоставлению смерти и небытию, поэтому дарящая добродетель, соприкосновение реки с океаном, есть единственное, естественность высочайшего человека, в котором жизнь самоутверждается в его любви к человечеству.

У Ницше эта встреча его с его великим врагом, духом тяжести, является одним из центральных моментов Заратустры. «Слушай, карлик, ты или я, мою самую высшую цель, ты бы не мог ее нести, поэтому ты должен умереть». Дух тяжести есть великий холод храбрых сердцем, великое *зачем*, космическое уныние (Мартин Иден, Печорин, Байрон). «Я хотел жить, поэтому откусил голову этой гадюке, зеленой змее, заползшей в глотку», — говорит защитник [зелени?]. И я, совершенно измученный чужой, праздной и пья-

ной жизнью, залезшей во все монастыри и обители моей души, остановился на мокром ночном бульваре и сказал: «Карлик, ты или я», и это [нрзб.] спасло меня.

С этой минуты, задолго еще до моего фактического окончательного возврата к аскетическому горению религиозной деятельностью, в душу мою проникло тихое и страшное чувство обреченности, признак моего грядущего выздоровления.

О синее небо вокруг меня, о послеполуденный час, кругом осень и [нрзб.] человек. Правда в человеке раньше всего светится в счастье и в глубине его глаз. Помните Блока: «И только высоко, у Царских врат, причастный тайнам, — плакал ребенок о том, что никто не придет назад».

ДНЕВНИК Т.
Октябрь 1927 — январь 1928
Париж

Искусство только там, где оно отсутствует, и может быть взято только оттуда, где совершенно нет искусства.

Первая тетрадь заметных знаков и более красивых, чем красота, ничтожных и скрытых вещей и корни ясных и очевидных форм, необходимых вульгарным людям.

Освещенный путь
юмора,
любви,
смерти
и до смерти.

Эта любовь была тем острее, что в ней заключалось что-то ужасное.

«Анна Каренина»

[?].10.1927
Первая встреча



Первый раз мы встретились у нас дома. Мама сказала мне, что кто-то хочет со мной познакомиться. Я, уходя куда-то, вошел в столовую и пожал чью-то руку, больше я ничего не видел, было очень неловко (нужно быть храбрым, чтобы пойти на такую неловкость). Потом я тотчас же ушел, считая себя сильным человеком. В самом же деле от страха. «Потому что мне духи тумана говорили об этом слоне» (но Т. оказалась сильнее меня).

18.11.1927
Встреча вторая

Я ждал Тебя и слегка волновался. Больше всего меня поразили глаза. Темно-карие, они невыносимо сверкают, но не сексуальным огнем. (Невроз сердца от стальной интен-

сивности нервной энергии.) Ты отводишь их охотно, ибо тебя самую смущает их откровенно-софийная, чисто мистическая сила. Так что в этот день они показались мне черными. «А зачем это нужно?» — сказала она, нежно сбивая с толку, когда я стал возносить жестокость и одиночество как способствующие единству самозрения. «По-моему, все люди верят в Бога и, не думая об нем, все же постоянно (недифференцированно) об нем думают, как я о своем отце». Она сказала также одну жестокую фразу: «Нужно быть только с теми, с кем хочется быть».

Потом я топил камин и, улыбаясь, думал о ней как о софической иллюминатике.

В тот день я болезненно, как электрический удар, почувствовал твою страшную, своеобразную силу, я был мягко оглушен в тот день.

«Это был самый счастливый день в моей жизни», — скажет она потом.

Вторник, 21.11.1927

Встреча третья

В этот вечер я, дрожа от страху, пришел к Тебе и злоеще заскрежетал из глубокого кресла о жестокости, но ты успокоила меня, сказав, что ты не воспитана на эгоистическом эстетизме (на стихах). Потом я читал «А.Б.». На столике у ее дивана я заметил снотворные капли, милые снотворные капли, глядя на них, я впервые почувствовал ее жизнь (и полюбил ее).

Потом она скажет: «Я не спала эту ночь от “А.Б.”».

Но мысль о том, что она Меня любит, ни разу не приходила мне еще в голову.

26.11.1927

Встреча третья¹

В промежуток произошла заключительная трагическая сцена между мной и Спящей. Так, ничего не зная об этом, начинает Т. свою роль в моей жизни разрушением. Мне вдруг показалось, что эта любовь имеет в себе нечто ужасное. И я сразу захотел оторваться от этого небесного видения.

¹ Так в тексте.

Тогда я, форсируя болезненность происходящего, заговорил о Слоне, о том, что «за что» мне страдать от Вас, [и] посмеялась надо мной, тотчас же рассказав это тетке.

Тотчас я решил не встречаться больше, и мы оба чуть не заплакали.

«Приходите завтра».

27.11.1927

Встреча четвертая

«Я плакала всю ночь об Вас, ах, как у меня мало самолюбия говорить Вам это».

Закрывая глаза, я говорил о верности, о войне и о завоевании и об основании городов.

29.11.1927

Встреча шестая¹

Во вторник я ждал целый день, тоскуя и немотствуя. Она подарила мне платок, надушенный ее духами Muguet Cote, и во второй раз уже задержала мою руку в своей, когда мы прощались. В этот день я провожал ее до дому.

1.12.1927

Встреча седьмая

Она была дома попросту, в чулках и алжирских шлепанцах, неподстриженная и толстая, толстая от своего кротового халатика, «беременная». Кажется, именно в этот день я полюбил ее. Она сказала, что любит мой голос, и спряталась за письменный стол, откуда, не видя, говорила со мной, как по телефону.

«Я готова играть на любую сумму».

«Бедная буржуазная девочка, как ты переоцениваешь свои силы», — скажу я потом, ибо мы все сильны в момент иллюминации, но как удержаться потом на такой высоте.

2.12.1927

Встреча восьмая

Я ждал ее у Генриха IV. Своею чудною быстрой походкой она пришла. Но я решил сказать-таки ей, что люблю ее.

¹ Так в тексте.

В руки твои предаю дух свой.

И взойти на арену смерти.

Я расставался с нею в отчаянье и весь следующий день, ничего не делая, лежал на кровати.

3.12.1927

Встреча девятая

Очарование ежедневных свиданий.

Ждал у Алезия с мидинетками. Затем она храбро пришла со мной к Блюму, у которого я¹, плача от нежности, сказал ей, что ее люблю.

«Но я тоже. Разве все это по-другому называется?»

Она взяла мою руку и стала ее гладить.

Затем я положил свою буйную голову к ней на колена, и она сказала: «Киска».

«Вот Вы какой человек. Будь здесь на Вашем месте кто другой, — я давно выкатилась бы из комнаты».

Потом она, как залетный ангел, стояла в нишей блюмовской комнате и сказала одно очень милое: «Ну, я бы не хотела жить в такой комнате».

Я — страшный дурак в искусстве. Блюм, мечтая, сказал: «Искусство как раз затем существует, чтобы передавать индивидуальный шарм такой девушки». Еще он сказал: «Хорошо, что к ней ничего такого чувствовать невозможно», — что уже было прямо-таки величественно.

4.12.1927

Встреча одиннадцатая²

У нее дома. Встреча началась тяжело и, как воз в гору, поползла, прерываемая молчаниями, на гору болезненного пафоса.

«Я на коленях прошла бы расстояние от своего дома до моего».

Что до меня, я все время форсировал тон и нестерпимо плакал. Уходя, решил отомстить за скупость (за неумелость), ибо она вместо щедрости только защищалась от меня.

Смешно, что мы из скромности оба не верим в любовь другого.

¹ Далее зачеркнуто: рыдая от пафоса.

² Так в тексте.

5.12.1927

Встреча двенадцатая

Послал письмо, где было: «Прощайте», да, кажется: «Прощайте», но она письма не получила.

Встретились, как Атлас и Аталанта. Она рассказала о Кесселе.

«Что же я могу сделать, если сперва по-одному относятся, а потом по-другому», — и вдруг я почувствовал отвращение к ней, она показалась мне очаровательным паразитом.

6.12.1927

Встреча тринадцатая

Она письмо получила и плакала.

Потом около Данфер, в сквере, я поцеловал ее в шляпу два раза. Она сказала: «Я страшно смущаюсь и сейчас уйду». Я сказал: «Ну что же, уходите. Уходите».

Потом я бросил перчатки через парапет моста. Она сказала: «Милые старые перчатки, я больше всего сердита на Вас за эти перчатки», — и поцеловала мне палец. Я сказал: «Хорошо, я прощаю Вас, я приду завтра».

Так лошадь берет препятствие, она не хочет, но прыгает.

Дома дверь была заперта. Я сел на ступеньку, сдерживаясь, чтобы не заплакать.

Я не люблю ее. Кто меня избавит от этого мучения? А ведь она сказала: «Вы столько говорите о том, что Вы меня любите, что я не успеваю Вам сказать это».

(Дописывая это, я решил пощадить ее, ведь я был виноват, но она не пощадила меня, а я-то, я-то...)

На следующее утро ее уже не было духовно около меня, и милый запах ее платка тяготил меня, как назойливость, но вот опять, опять то же — Атлас и Аталанта.

Милый Парнок, я сказал ему, как я возненавидел буржуазную жизнь, как я ненавижу надменную приветливость буржуев, но все же Любовь есть предчувствие того, что будет жить в смысле содержания, Искусство же — того, что будет она в смысле формы. Но моя любовь голубая, еще любовь розовая.

7.12.1927

Встреча четырнадцатая

Дорогая, дорогая, как сладостно ждать и содрогаться от холода и от страха. Но когда ты приходишь, весенний ветер рождается среди ледяного тумана. «Ах, как тепло», — говорю я и распахиваю пальто, что это? Розы расцветают, или музыка заиграла в темном саду. Милая, милая, как много тревог внесла ты в мою жизнь, как много страху и сожаления. Но зато какое счастье увидеть твое освещенное нежною радостью лицо, твое свежее, коричневатое, нежное и здоровое лицо, с розовыми губами и нестерпимыми карими глазами.

Я проводил тебя до Porte de Chatillon¹. Ты сама взяла свою твердую рукой мою руку и сказала: «Спасибо Вам за то, что мы сегодня не поссорились».

*Встреча пятнадцатая**В четверг, в три часа*

Я все время тосковал о том, чтобы ее поцеловать. Поцелуй есть мистическое совокупление духов. Поцелуй нежный — какая пропасть от него до поцелуя страстного, пропасть, которую перешагнуть одну секунду, которую мы никогда не перешагнем. *Я пришла усталая и злая, с внешним благодушием каким-то, но со внутренней жестокостью, неподвижностью. В такие минуты кажется, что видишь мир насквозь. О, лживейшие из минут.*

Потом на кладбище Монпарнас она смягчилась и стала смеяться. «Какие тяжелые камни, из-под них не вылезешь в день Страшного Суда, — сказал я. — Что же я говорю опять? Вам бы с подъемной машиной могилку. Нет, простую, лежать вот так с Вами рядом» (ассоциация с двумя соседними кроватями, но мистически скомпрометированная). Потом она стала смеяться над могилами. «Осторожнее, — говорю я, видя тонкий деревянный крест, привязанный к решетке грубой часовни, — этот, как на поле брани». Она иронически швырнула ему букет фиалок. «Подъемная машина, — говорила она, — кабине де туалет, фонтан», — и смеялась, смеялась своим восхитительно-здоровым и нежным смехом, показывая крепкие белые зубы, смеялась,

¹ Шатийонская застава.

сияя, как Вечная Жизнь, как Вечное возвращение, как София великолепная.

Четверг, вечером, 8.12.1927

Встреча шестнадцатая

Жестокий, воплощение рока и необходимости, нежно и отчетливо заговорил я.

— Мне кажется, что я Вас люблю гораздо меньше, мне кажется, что я Вас совсем не люблю.

— Я давно это почувствовала, я дала бы пять лет жизни за то, чтобы вернуть это хорошее отношение.

— Вы хотите, чтобы все было чрезвычайно просто, Вы хотите, чтобы я вместил свои чувства в Вашу схему двух-трех простых понятий, тогда как во мне все непросто, я построил свой дом на непростоте.

Очаровательный паразит, нежный и чувствительный, укрощающий сильнейших.

— Я думаю, что Вы хотите меня бросить. Так возьмите и бросьте. Но я Вас прошу, пощадите меня. Я писала Вам в письме: «Не жалейте меня», — но не отправила письма.

— Вы предаете меня бесу покоя.

В конце концов я как бы победил во всем, то есть показал то, что и следовало, а именно, что ей следует подняться до сложности, а не мне опуститься до простоты. Она лежала ничком на диване и так и заснула потом, не раздеваясь.

Она прочла мне стихи и сказала: «Я как будто знакома с новым человеком, давайте познакомимся».

В субботу, 10.12.1927

Встреча семнадцатая

Dieu guéris-moi du mal des larmes.

M. Maeterlinck¹

Она была в черной шляпе, и лицо ее было еще более взросло и еще более нежно. У решетки Обсерветуар² я хотел ее поцеловать, она отвернулась. Я жалко запротестовал, и наконец она позволила чуть, невинно поцеловать ее в нежную щеку, и это было так сладостно. Я обнял ее, но она

¹ Господь, вылечи меня от беды слез. *М. Метерлинк (фр.)*.

² Obervatoire — Обсерватория (фр.).

едва заметно отстранила мою руку. Тотчас же я решил отомстить. На скамейке на avenue du Parc Monceau¹ она спросила: «Ну, а как Блум поживает?» — причем села нарочно так, чтобы быть от меня подальше. Я сказал: «Вы это только затем спрашиваете, чтобы я Вас не смел поцеловать». Она обиделась, а я ожесточился и сказал потом: «Вы просто буржуазная девочка, которая боится себя скомпрометировать». Она повернулась ко мне и в гневе: «Да! И что же, это Вам не подходит?» — «Я считаю это кокетством». — «Вам это не подходит?» — «Да, не подходит», — сказал я и, пожав ее руку, быстро ушел.

Так шел я довольно долго и, повернувшись, увидел (как мне показалось) какую-то фигурку, скользящую за деревья бульвара. Потом сел на скамейку, посидел минут пять, потом пошел обратно, решив пройти по тем местам, где мы расстались, и тем, куда она ушла. И вдруг из-за левого края бульвара жалкая, растрепанная фигурка, в распахнутом пальто, с беспомощно болтающейся на шнурке сумкой (она никогда ее так не носила), воплощение усталости и сдавшегося самолюбия. А я-то перед этим думал: «Она повернется и, прямо и крепко ступая (как всегда), пойдет за мной и скажет: “Я сдаюсь”», — и я восхитился бы перед ней.

— Простите, — сказала она (у нее полное отсутствие чувства). — Я не могу от Вас отказаться.

Потом я шел молча, и вновь мы продолжали ссориться. «Кончено, кончено, все кончено», — говорил я, бросил на землю перчатки.

— Я подняла эти перчатки. Какую жалкую роль Вы мне предоставляете.

— Ведь всегда буду пытаться Вас поцеловать, как Вы буржуазно смотрите на вещи.

— Как будто нельзя любить и не целоваться.

(Между прочим, я ее-таки действительно за это вот и брошу.)

Я сержусь и говорю:

— Ну, значит, я низменный человек.

И вдруг после всего этого она говорит сперва:

¹ Аллея парка Монсо (фр.).

— Я не знаю, как это выговорю. Я делаю Вам предложение. Если Вы когда-нибудь захотите жениться, я предлагаю Вам себя в жены.

Я притих и, сбитый с толку, сказал:

— Но это уж что-то очень красиво, то, что Вы говорите.

Но я был благодарен ей за эти слова, я всю жизнь буду ей благодарен за эти невозвратные слова, incorruptibles¹, может быть, хорошо, что все проходит, ибо, если бы все пребывало в нашей досягаемости, мы потом, наверное, всегда бы уничтожали и портили, брали бы обратно все лучшие движения нашей души, а так прошлое, как лед, охраняет их от кощунственных рук. Признаюсь, в этот вечер она вчистую обыграла меня, вследствие чего на следующий день я, читая Шопенгауэра, вдруг подумал, что схожу с ума, как будто страшный ветер на меня налетел, я встал — что я? где я? Да очнись же ты, дурак. Так полюбил я ее за эти слова.

В воскресенье, 11.12.1927

Встреча восемнадцатая

Я был у нее и блистал черными очками, только вымытыми волосами и перед Верой, которая:

— Слишком много целуемся с белочкой и читаем Пруста «Коммерсанта», так интересно.

Потом мы играли в «шестьдесят шесть». Литературная реминисценция. Вера вдруг сказала:

— В тебе есть что-то светское.

Потом я гладил ее руки, которые довольно простонародны, с широкими запястьями (как я люблю такие руки), и прощаясь, поцеловал ее волосы и опять страшно рассердился все за то же. Видимо, тяжело нам вместе без поцелуев. Иногда бывают молчания.

Волосы у нее рыжие, крашенные. Это я узнал из того, что она с беспокойной совестью стала резко протестовать, когда я сказал, что у рыжих специфическая рыжая психология (о Бродском).

Она сказала одно мистическое:

— Ведь люди никогда не расстаются, так, только парадные хлопают.

¹ Нетленные (фр.).

Волосы у нее не очень приятные, слишком как бы проволочные, электрические.

Нет, так не может продолжаться, чего она боится, не понимаю, собственной страстности, меня, *mystère*¹?

В понедельник тоже не помню.

Во вторник — не помню.

Провожал под дождем, желая доказать свою любовь. Сказал о том, что простил унижение. Она только жалостливо смеялась и мокла под дождем, спрятав шляпу под мышку, чтоб она не потеряла форму.

Я написал ей письмо, в котором лаконически (после 20 опытов) отказался ее видеть на всю неделю.

В четверг утром она пришла ко мне, как я и ожидал, и мы пошли на Сену. Она достала мои письма, но, когда я хотел их разорвать, взяла обратно. В конце концов я ей простил.

— Я опять [вымолила?] у Вас.

Я называл ее мещанкой и т.д. Она сказала, что знала, что тогда должна была меня поцеловать.

— Люблю, что Вы меня не шадите.

Четверг, вечером

Она сидела на пуфе у моих ног, и прижимала мою руку к своему горячему лицу, и глазами гладила эту руку, и говорила о том, что хотела бы со мной открыть сапожную мастерскую в провинциальном городе, где много церквей (нет, Вы бы всегда уходили в эти церкви), а потом:

— Я, может, Вас за то и ...²

Пятница, 16.12.1926³

Целый день сидел у Минчиных. Часы тикали, печка шумела, рояль стеклянно тренькал, а Соня, как птица в клетке, пела какие-то старинные песни. Я чувствовал, что время, как темная вода, несет меня к весне, к ней. Написал два письма. Потом вдруг встретился у своего дома с ней. Проводил ее по морозу до автобуса, заметил: шуба ее не вся на белке.

¹ Тайна (*фр.*).

² Не закончено.

³ Так в тексте.

Суббота, 17.12.1927

Она пришла к Блюму и сказала, что не должна была бы так часто говорить мне, что она меня любит. Я ответил, что как раз эта способность к дурацким жертвам есть ее единственный талант.

Воскресенье, 18

Встреча двадцать пятая

Я в три часа пришел к ней, принеся письмо на оранжевой бумаге. Было холодно. Оранжевое солнце садилось в голубом тумане, из которого неподвижно и прямо тополя простирали к нему серые руки. Ты была одета в синий морской костюм с медными пуговицами и вся обвешана драгоценностями. На руке кольцо с пятью бриллиантами и широкий браслет с камеей, изображающей [Кроноса?], с отделением для яда и пустым медальоном. На другой руке филигранный браслет, а на шее витая золотая цепь, сияющая мертвой петлей, на которой безвкусный эмалевый медальон, который Ты, показав мне, в [трамвае?], с потемневшей «топе»¹, опустила к себе за ворот, где из большого выреза сияла твоя желтоватая кожа.

У Черновых Ты стояла у парового отопления и так и не удостоила сесть. Царственная и молчаливая, ты только поворачивала голову, не двигая плечами. Там я увидел редкое совершенство твоей анатомии и заметил, что твои щиколотки так же широки, как и запястья, и ступни так же прекрасны, как и руки. Я бросался на людей, я жадно топтал направо и налево только для того, чтобы Тебя позабавить*.

О красавица, я по-другому полюбил тебя в этот вечер, и из божественного ребенка Ты стала для меня Прекрасной Дамой, и я по-новому возненавидел Тебя, о прекрасная, хотя Ты сказала:

— Когда я слышала Ваш голос, мне показалось, что только Вы и я существуем, а остальные ничто.

Я начинаю думать, что я долго смогу любить ее, но что она придет ко мне, она положит блестящий лоб свой ко мне на грудь и скажет: «Милый, поцелуй меня, ведь мы одни на Земле».

¹ Мина, гримаса (фр.).

* Довольно трудно было не вырвать этой страницы, хотя это все и по-своему правда. 17.2.28. — *На полях карандашом.*

Оказывается, жизнь изобретательнее и богаче, если такие новые стадии возможны. Но я не думаю совершенно о ней сексуально, хотя сексуально люблюсь ею.

Боже, спаси мою душу¹.

Понедельник, 19

Встреча двадцать шестая

Еще прошлый раз, расставаясь, я страшился: «Ведь она не Божественный ребенок и ответственна за все».

Я страдал и целый день лежал как убитый. Вечером решил быть совершенно официальным с нею и загнать еще раз свои лучшие чувства обратно за порог «общения», и сразу все пошло угрожающе, нарастая к гибели, к гибели. Она молила:

— Боря, милый, ну, бросьте это, бросьте вот на этом перекрестке, дойдите и бросьте.

Но я не сдавался. Я с величественной решимостью отказывался от нее, я сказал:

— Ваша мать лучше, она думает: парий попал в дом, выгнать пария.

Она сказала:

— Это самое больное, что Вы мне сказали, да еще и то, что Вы не хотите поехать к Але на именины.

И мы расстались, и я с нарочитой твердостью ушел, так что она сказала, что какая-то девушка с сожалением посмотрела ей в глаза.

Вторник, 20

Встреча двадцать седьмая

В тот вечер я с сатаническим энтузиазмом смеялся у Минчиных. Но в этот день темнота спустилась на мою душу, и я застонал, я завертелся и заскрежетал зубами, я был болен. Мать выгнала меня от печки в столовой к холодному окну и наконец отказала в трех франках на трамвай.

Я вскочил и [с] невыносимой тревогой ждал ее на мосту. Потом, сжимая кулаки, поехал к ней, и она положила свой гордый лоб ко мне на грудь и полюбила меня, и затем села рядом со мной на спинку кресла, и я коснулся лицом

¹ Фраза написана зеркально.

ее меха, от него исходил запах старых вещей, но прикосновение мне было противно.

Потом она поставила одно колено на ручку кресла, и моя рука, держащая ее руку, прикоснулась ко внутренней стороне ее бедра, это ощущение для меня незабываемо, оно очень сильное, но не очень сексуальное*. Потом надела шубу, чтобы как-то отделить себя чем-то и закрыть. Она часто любит говорить, что принимает ванну. Мне начинает казаться, что она очень чувствительна, но падка на комплименты и поэтому так щепетильна, ибо редко прекраснотушна и прямо мистически нежна, она Моцарт чувств. Только этим можно объяснить очередной ее ужасный поступок, когда я полублудил ее, сидящую на ручке кресла, она, очевидно, для того, чтобы я не поцеловал ее в щеку два раза в опасный момент (то есть, в сущности, совсем не опасный, ибо я уже сообразил, в чем дело), клала свою руку на свою щеку между ей и мной.

Потом я сказал, что нуждаюсь в ней. Она: «А я не нуждаюсь, а просто люблю». Я решил, что любовь ее прекраснее моей (неторопливее, сильнее, нежнее) и что пусть она делает, что хочет. Я решил учиться у нее любить. Потом я христиански и героически склонился над ней, считая, что учить ее больше нечего, ибо я уже проучил ее, а большего она не сможет понять, ибо граница ее иллюминации уже достигнута (на сейчас) в том, что она не смогла и в этот вечер, второй раз, прийти ко мне сама и не отослала замечательного письма, которое написала. Но потом отдала его мне и опять пожалела об этом. Я пожалел ее и решил поддержать за то, что она уже не может дальше защищать нашу любовь, и сказал: «Теперь я буду защищать, и наши чувства до самой смерти будут жить в долине вечной весны».

В среду

Встреча двадцать восьмая

Я просто и быстро пошел к ней навстречу, и она сказала: «Я увидела по Вашей походке». Я уверял и утешал ее.

* *Пометка карандашом:* и сексуальное. 17.2.28; *на полях:* Ничего тогда не подумал, хотя, au fond [в самом деле, фр.], это, конечно, сексуальное ощущение. 1.2.28.

В четверг, 22

Встреча двадцать девятая

Мы с Ладей ждали ее у метро. Она пришла в коричневом манти и в коричневой шляпе, из-под которой наивно и пошло виднелись «акрош-кер»¹. Я сказал ей, что это плохо, и она тотчас же спрятала их. Потом полетели пешком к Блюму. Его не застали. На вечере я мягко и уверенно [паясничал?] и пародировал. Потом, когда мы остались одни, она устроила мне резкую сцену ревности. «Я не хочу Вас видеть». По-моему, *Petit Pont*². Она перчаткой, как маленькая девочка, стерла с углов глаз две слезы. «Я вот никого не вижу и не могу никого видеть». Я неловко и глупо поцеловал ее шляпу с отлета, и она как будто была облегченно довольна этим.

Я сказал ей: «И если женюсь, то только на Вас».

В пятницу, 24³

Встреча тридцатая

И вдруг опять я стал жестоко позировать перед ней, говорил о [карьере?] и о жестокости. На этот раз она как-то странно замолчала и шла, продолжая молчать, и мне стало так прямо-таки физически больно, что я чуть не схватился за грудь. Я в слезах просил у нее прощенья, понял, что предел ее тайновидения, может быть, достигнут. И она сказала:

— Я и не думала, что знаю так много о Вас.

И когда я умолял ее спасти меня от самого себя, она не поняла:

— Вы это из доброты говорите, обидели девочку, а теперь хотите сделать приятное.

Одного я от нее добился:

— Я буду счастлива, если смогу быть Вам нужной.

Но говорила это совсем не доверчивым голосом.

Отношение мое к ней продолжает подыматься на мистическую гору. Сегодня Рождество. Я написал ей письмо на голубой бумаге. Как будто посылал письмо Пречистой Деве. Я начинаю видеть свет во всем этом, и от всего этого,

¹ Завитки волос, локоны (фр.).

² Малый мост (фр.).

³ Так в тексте. Путаница в числах.

и действительно, эмоциональная нежность моей мистики (такая бедная, исландская) чуть зацвела.

Я почувствовал себя целиком рядом с ней и сказал:

— Или Вы меня спасете, или я Вас погублю.

Перелистывал тетрадку, заметил расстояние — Аталанта, Прекрасная Дама, а теперь Дева Мария, София.

Ах, я начинаю верить, что моя любовь к ней только раскрывается.

Она с Блюмом обменялись таинственными пневматиками, и Блюм сказал:

— Тебе это будет сюрпризом.

Я смеялся, сравнивая ее с этой ужасной Ниной. Я никогда не забуду ей, как она свято, как Богородица, смеялась с моим бедным, милым, грубым и циничным братом, — в то время как Нина не устаивала с ним говорить.

В субботу, 25

Встреча тридцать первая

Пока рождественское письмо на голубой бумаге где-то тихо шло (я как будто слышу на расстоянии, как письма идут, какая мистическая вещь почта), мы жестоко ссорились.

Она пришла в плоских лаковых туфлях, которые делали ее нарядно-неуклюжей и уменьшали (неприятно) подъем ноги, и принесла мне тяжелую коробку с двумя гирями на пружинах (как мы любили друг друга тогда и как были близки от полной ссоры).

Затем отвели Нину к Терешковичу. Оттуда Таня ушла демонстративно. «Еще рано», — сказал К. — «Ничего, я подожду». — «Ах, даже так!» (Душа моя Блюм потемнел, завидев ее, но потом был страшно мил.) У Блюма она села на стол, и я сказал ей, положив голову ей на колени:

— Я вверяю свою жизнь Вам в руки, — и еще в этом роде. Тогда она закурила папиросу и заговорила о другом, я потемнел.

— Что с Вами, Боря?

Тогда я закурил папиросу, и она вырвала ее у меня из рук (один из замечательнейших моментов). Тогда она обняла мою голову, я прижался к ней, и дыхание ее жарко повысилось. И вдруг какая-то змея проснулась в ней, тихо, нежно глядя меня по щеке, она сказала:

— Трус и безвольная детка.

На что я сказал:

— Я пропаду из-за Вас.

Я отпрянул и жестоко заговорил:

— А все-таки я бы не мог из-за Вас самоубийством закончить.

— А я могла бы.

И вдруг разговор стал ужасающе погружаться. Я укрывал ее, а она:

— Если бы я хотела пойти в аптеку, я бы пошла в аптеку.

Она не захотела сойти со стола, с которого она, как статуя Афродиты, меня доминировала, а когда сошла, пошло еще хуже. Она первая захотела уйти, а я стал нервно зевать. Страх мой дошел до апогея, я метался, и слова мои бесцельно уносили меня к гибели. О, эта вечная речь. На углу она сказала:

— Я и одна дойду!

Хотела прогнать меня, спешила вперед, но я шел и фыркал, как боевой конь. Сильные мужчины борются с драконами, я не уступал и не отступал, и вдруг засвистал какой-то властный марш, и она была побита, и ужас мой прошел, и я как бы отказался от нее и заговорил:

— Все равно я не умру от этого, так вот встану и пойду, как солдаты встали с земли в дионисийском пафосе.

Плакал и говорил:

— Все равно и Вы встанете, отдохнете и пойдете дальше, к добру, не для меня, так для другого.

И так говорил это, что как бы встал выше *principium individuationis*¹, и отождествился с этим другим, и морально победил:

— А я верю, что еще нам будет хорошо, я верю, верю!

— Однако Вы самомнительны, — пробормотала она, темнея, но сдаваясь. Я обнял ее и крепко прижал, и куда там было освободиться. Она посмотрела на меня в упор своими ужасными джиокондовскими глазами и сказала:

— Я боюсь Вас.

И потом на фразу «банальная острота», опять в упор, и как бы величественно гордясь собой, и освобождаясь от

¹ Принцип индивидуализации (лат.).

дамского притворства, да и ассоциация с балами (она была великолепно). Но я с огромным шиком скептически и дружески улыбнулся*, и это сразу приблизило нас.

— Жаль, что Вы все-таки сердечный человек, но видеть Вы умеете, а удерживать не умеете.

Я остановился с видом бойца.

— Смотрите, как мало нам осталось места, чтоб помириться.

И еще раз так, обливаясь слезами и как летя в атаку, но остался всего один шаг.

— Прощайте, — сказала она.

— Прощайте, — сам подавая руку, — но добро будет.

И вдруг она поняла (мистически) бесполезность борьбы и сдалась.

— Милый, простите, — сказала она.

И я, торжествуя, поцеловал ее вскользь, и она в первый раз слабо возвратила мне поцелуй. И это после всего-то.

— Приходите завтра.

(Перед этим она решила было завтра меня не видеть.)

И я опять важно ушел, умирая от усталости и восторга, больной и без голоса, но победивший дракона, и решил: она заслужила немного счастья, она устала. Самые [меткие?] мои слова были: «Моцарт должен быть Моцартом». С<альери>-то для нее не нужен. И упавшим голосом она воскликнула:

— Нельзя же всегда высокую трагедию, ах, водевиля бы, немного водевиля!

В воскресенье, 26

Встреча тридцать вторая

Я ходил под дождем. Я сидел в церкви Сен-Северин. Решил — вижу ее три лика: лик софийный, божественно-детский, лик новый, который я вдруг разгадал по письму, взрослый и трогательный, человеческий, скрываемый ею, лик джиокондовский, неподвижный и чуждый. И вдруг я понял, что Леонардо — сатанолог и что он сам, вероятно, был в ужасе от своего искусства.

К какому лику обращаться ныне — ко второму, и угадал, и обратился, и выиграл. Мы вдруг спокойно и мило заго-

* Мол, взрослые люди, негодяистые, а все же хорошие. 1.2.28.

ворили друг с другом, как взрослые (и это ей нужно было, ибо взыскуем о силе формы и сопротивления, ибо за безотчетно-божеское расплачивалась неумением сопротивляться и безотчетно-сатанинскому).

Мы вернулись давеча в три часа утра, она еще не спала и была необычайно молчалива и величественна.

— Я Вас еще больше за то люблю, что мы так долго воевали.

Нам впервые было [взросло?] и спокойно хорошо вместе.

— Я играла, то есть то, чем я была, чтобы Вам понравиться, также есть во мне.

(Я люблю Вас больше за то, что увидел в Вас зло.)

Потом мы заводили граммофон, и он нежно-нежно, как астральный, пел между нами.

Понедельник, 27

Встреча тридцать третья

Мы целый день заводили граммофон, который стоял на диване между нами. Мы наслаждались покоем и своею взрослостью, как супруги. Мы были очень нежны. Я поглощен мыслью о ее коже, болезненно-нежной и интенсивной.

— Я совершенно не могу носить шерстяных платьев, с меня прямо кожа может сойти.

Она похудела. Мне это не было тяжело. Нам было очень хорошо в тот день. (Я уехал с граммофоном на Réveillon¹ к Беляеву.)

Вторник

Встреча тридцать четвертая

Я купил ей разбитую пластинку и отдал 70 франков за машинку и иголки. Она была тронута (очень тонко) тем, что собрали деньги. Потом она сидела, в старом халате, неприятная, неприятная. Я сжимал ее влажные руки в своих и чувствовал, что и грязь ее рук любима мне. Она была совсем больная. Милая, ты сошла в шлепанцах вниз (бледная) позвать меня, милая, милая.

В субботу альбом.

¹ Встреча Нового года (фр.).

В пятницу Блюм и гости.
В четверг у Бонмарше.
В среду¹ Нина.

Среда

Встреча тридцать пятая

Мы пришли пешком от Quai des Orfèvres до Porte de la Villette и обратно до Porte de Chatillon. На ее невычищенной шубе нитки и пыль. Обратно шли необычайно скоро. Я тосковал. Я вспомнил старые обиды.

— Не смейте идти скорее, чем я.

— Я люблю Вас даже тогда, когда Вы столько говорите.

В четверг

Встреча тридцать шестая

Она в морозный день (я читал на углу без очков «Miroir des sports»²) вышла необычайно здоровая, похудевшая и розовая. Снегурочка, она принесла мне письмо на желтой бумаге (письмо № 5, в котором: «Я так радостно люблю Вас»^{*}).

Были у Блюма и дрались около Бонмарше из-за M. des S., которым я хлопал, как утиным клювом. Потом слушали пластинки.

Я ездил в тот вечер за пластинкой, страшно устал и был зол на нее (неблагодатный вечер).

Встреча тридцать седьмая

В четверг вечером,

под снегом

Заводили «Похороны маленького негра». Стали ссориться. Граммофон мешал, потушили его.

— Я счастлива Вас видеть.

— А я нет.

— Как будто я сыта, а Вы голодны, да? Хоть бы я хотела бы от Вас пострадать, а Вы только обижаетесь и меньше любите.

Нас разлучают искусственно (мать), а мы должны были бы еще пять часов выяснять отношения и тогда договори-

¹ Далее зачеркнуто: я был у нее, и мы ссорились.

² «Зеркало спорта» — спортивная газета (фр.).

* Идиот. 22.2.28. — На полях карандашом.

лись бы или расстались. Было что-то подобное разрыву протянутых рук при отходах пароходов, и я вдруг почувствовал роковые силы и ценность чуда любви (думал о коже, совершенно не хотел бы поцеловать ее в уста, а в щеку, о Моцарт, Моцарт).

Я не [пущу?].

И вдруг я поверил, и вера вернулась, что еще будет счастье.

Я не хочу никакой литературы. Мне было бы легко искусственно поцеловать Вас.

В пятницу

Встреча тридцать восьмая

Был Блюм, Нина и англичанка. Потом мы говорили при Блюме, и она так антично, так вечно, так просто, так по-эсхиловски и откровенно держала себя, что Блюм восхитился, и я почувствовал, как серьезно это все. «Я действительно, кажется, [буду] очень любить тебя»¹, — скажет он<a> потом прекрасным тоном.

Сперва я чуть безнадежно говорил со стороны (левой, я сидел на ее месте).

Я люблю лишь высокую трагедию и антракты.

А в старину между трагедиями водевили играли (смеется).

Она очень умна.

— Я боюсь, что Бог позавидует мне.

Она сказала это с самовниманием, как профессионал и поэт (но как сказала, мило, мило).

В субботу, 31

Встреча тридцать девятая

Подарил ей акrostих на украденном у Оли альбоме (подлость из любви*). Она отняла у меня ее четки. Вчера благодатный день для меня, мы чуть обнимаемся иногда, и кажется, от сердца (при гостях в столовой тайно прижалась ко мне щекой у буфета). Она поцеловала меня на улице в щеку, причем попалась как [раз] знакомая ее (вмешательство черта). Мы неэстетично прощались, ибо сперва она [схамила?]:

¹ Так в тексте.

* *Сверху над скобкой*: наслаждение. — *Примеч.* 1928 г.

— Когда Вы захотите, я Вас разлюблю.

А потом я не захотел ее подождать 20 минут, я несколько раз таскал ее за руку и под конец невольно поцеловал в щеку (не нужно было).

Целый день говорил о хамстве Черновых. Ночь танцевал с О.А.Ч. Она объяснялась мне в любви. Я не спал. Жду четырех с половиной часов, необыкновенно любил ее утром. Стоит, да стоит, это стоит!

2¹.1.1928, воскресенье

Встреча сороковая

Мы оба не спали, я у Черновых, она на балу Красного Креста. О. выпила три бутылки шампанского, и не опьянела, и тогда почувствовала: «Как я Вас люблю, если бы были вместе, то не узнала я этого». Мне даже страшно стало.

[Карина?] богатая, 200 франков в месяц карманных денег.

На Новый год я заметил, один сказал Шуре, что сидел направо: «За твое семейство!», потом он сказал: «Выпьем за некоторую Шапиро!» — и пожал мне руку выше кисти (единственная ласка от Гингера за всю жизнь). Потом пришли гости, и я, когда она взялась меня провожать, показывал ей через окно то место, где мы должны будем завтра встретиться. Там бежал трамвай с желтым огнем.

Получил остроумную открытку с фотографией ворот Парижа.

3.1.1928, понедельник

Встреча сорок первая

Неожиданно из-за моей спины она окликнула меня, необыкновенно хмурая и грустная, и мы пошли за город.

— Я решила, что все это впустую, что нужно работать и уезжать.

Шел снег. Мы несколько раз ссорились по дороге. Потом мирились и слегка обнимались, очень трогательно, кажется, первый раз в жизни голос мой одну минуту притягательно прозвучал: «Милая, милая дорога. Все равно все счастье, — говорил я. — Если пройдет — хорошо, пройдет сладостно и трогательно, если не пройдет, женимся, я буду работать».

¹ Так в тексте. Путаница в числах.

— Я не смела связывать Твою жизнь со своей, если бы можно было бы жить для Тебя.

Шел густой снег. Она промокла насквозь, даже платье ее промокло. У меня же рука отнялась от холода. Но она нежно смеялась посреди снега, как вечная жизнь.

Вторник, 4

Встреча сорок вторая

У меня было очень плохое настроение, и утром этого дня я решил, что ее больше не люблю, решил (когда ехал в трамвае 128 в первом классе) не выводить ее из пределов встреч, не придавать ей значения.

Запутались дорогой, много шутили и смеялись, но, прощаясь, опять было тяжело, она отводила глаза и, видимо, боялась, чтоб я ее не поцеловал.

— Ведь это только так привязываться, если Вы меня бросите, что со мной будет, мне хоть в реку бросаться.

Она сказала:

— Хорошо было бы так вот взять и умереть вместе.

Она сама сказала.

Среда, 5

Встреча сорок третья

Опять у кладбища, за заставой. Ждал долго. (Утром плакал над мыслью о том, какие письма я напишу, если окончу самоубийством, глаз страшно болел, не нашел врача.)

Мы страшно поссорились опять. Она не позволила мне обнять ее и сказала, полуотстраняясь:

— Ну, отойдите, отойдите.

— Я отказываюсь от Вас, — сказал я, и около заставы: — Прекратите эту пытку.

Она быстро ушла. В тот же вечер я послал пневматики и получил от нее письмо:

— Простите, если можете.

Четверг, 6

Встреча сорок четвертая

Она пришла, не получив моего письма. Мы сидели в скверике у Генриха. И потом целовались так, что сторож хотел нас отправить в участок. Я рассмотрел ее руки,

очень широкие, ногти, как мои, зубы ее не совсем ровные, глаза прекрасные, сперва тяжело было — из-за неглядения в глаза, потом в первый раз в жизни, и это даже как-то забылось. Играли, как дети, я говорил о Софии, она сказала:

— Да ведь это все знают, только сказать не умеют.

Среда — дождь «перед рассветом».

Вторник — помирились.

Понедельник — поссорились.

Воскресенье — был у нее, последние полчаса было так хорошо.

Суббота — были у Блюма — Дадя, я болен.

Пятница — она водила меня в аптеку.

В пятницу, 6¹.1.1928

Встреча сорок пятая

Я ждал ее под мостом des Arts². Она сверху, ступень лестницы, окрикнула меня и радостно помахала рукой в воздухе. На ней были красивые желтые чулки и желтые перчатки. Сходя с моста, я обрызгал вышеупомянутые чулки грязью, а когда мы подошли к rue de Lille³ — весь правый чулок был покрыт ею чуть не до колена.

— Пишите мне, чтобы, когда Вас не будет, я смогла перечесть эти письма через двадцать лет.

Это довольно величественно — смочь произнести о своих чувствах: двадцать лет, вздохнул я, думая — шесть месяцев, год — и сладко завидуя.

В субботу, 7.1.1928

Встреча сорок шестая

Она пришла на минутку, но потом согласилась все-таки зайти к Блюму (дядя ее в ударе, амнезия на слова и т.д.). Она упрекала меня:

— Из Вас ничего не выйдет, Вы не хотите работать.

— Кто-нибудь же должен так жить. О, я, мечтая и безнадежно улыбаясь туманам, я оправдан перед собою.

Не люблю самомнительных. Самомнение мое есть благодарность. Если Ваш ботинок жмет, Вы журите его,

¹ Так в тексте. Путаница в числах.

² Мост Искусств (фр.).

³ Улица Лилля (фр.).

а удобно служит, никогда не похвалите и [не] погладите, я обожаю Вас.

В воскресенье, 8

Встреча сорок седьмая

Мать ее сказала: «Достаточно было бы и раза в месяц». Она травила меня. Злой и мстительный, я воевал с нею два с половиною часа до пяти с половиной, потом я сел с ней рядом, и нам вдруг стало хорошо.

Я говорил:

— Не стоит жизнь реализации таких чувств.

Она не слушала меня, и [я] рассердился.

— Трудно мне с Вами, — сказала она, — достаточно мне на мгновение не любить Вас, как тотчас же все погибает.

— Вас легко сокрушить словами.

— Вы грубы, я Вас ударю.

— Только когда я этого захочу.

И потом ее вечное:

— Ну, значит, такая судьба.

В понедельник, 9

Встреча сорок восьмая

Сосчитав свои письма, я увидел, что только три из них написаны от избытка чувств, чуда и беспричинно, остальные — из страха или деловые, спасающие отношения. Я написал ей об этом и стал укорять. «Вы же не хотите, чтобы я отвечала Вам из вежливости?» — «Хочу, потому что вежливость есть лишь количественный минимум, а не качественно отлична». — «Я не пишу потому, что воспитана на том, что письма потом показываются всем, и значит, Вы продолжаете считать себя собственником своих подарков». — «Да, так». — «Вот почему я на Вас ничего не ставлю». — «И не надо». — «Вы сердитесь?» — «Много чести!» — Я ушел. Ушел далеко. Потом, не торопясь, вернулся. Она тоже вернулась, бежала за мной, не догнала, мы не встретились. Я отослал все ее письма и плакал, как смерть.

Май 1928

Тетрадь вторая

Черноглазый ангел уже далеко, на самом краю жизни, готовится отлететь. И те, кто близки друг к другу навеки, готовы уже расстаться навеки.

О, ни с чем не сравнимая боль соприкосновения двух вечностей и дни, когда нечем жить ни в присутствии и вне присутствия. Не отходи, ведь Ты — предчувствие грядущих лет и будешь лучшим воспоминанием юности.

ИЗ ДНЕВНИКА. 1929—1931

Париж

1929

Я

сидел и слушал звезды, все они молчали, и одна лишь из них пела, и это пение стало моей жизнью и счастьем, и я полюбил ее навсегда из благодарности, что в ее пении я люблю ее, я спасу ее и погибну вместе с ней.

*

Музыка приходит к душе, как весна, как поток, как женщина. Душа бросается в нее и исчезает в ней, подхватываемая ею. Самое явное воплощение ее есть женщина.

*

Дух же музыки не приходит к душе, душа может стать им, а ослабев, упасть в музыку и тогда зазвучать сладостно (как Блок).

*

Поэзия создается из музыки, философии и живописи. То есть от соединения ритма, символа и образа.

*

15.4.1929

Ничего отдельно сделать нельзя, можно сделать только все вместе, в новой жизни, которая начнется завтра и никогда уже не окончится. Впрочем, не завтра, а сегодня первый день новой жизни, и это, несмотря на все поступки, несмотря... на пропуск (вынужденный) «Зеленой лампы», на все, на все. Или нет — первый день новой жизни начинается сейчас, в шесть с половиной вечера, и продолжится тридцать лет. Все смеются надо мною, воздух полон хохота духов и призраков. Но я знаю, что «мы» сильнее их.

*

Постепенно выясняется простым приведением в порядок, что вторая революция была-таки народным явлением.

Внешне в вопросе о земле и мире, внутренне в чем-то, что понял Блок, и согласным со всем музыкальным строем русской литературы и культуры. Таким образом, чтобы оставаться антибольшевиком, следует найти какую-то антинародническую опору (и антихристианскую также), и Бунин служит такой опорой для многих, он и Леонтьев пытаются подсушить русскую душу.

Дело в том, что глубоко христиански народническая литература слишком уже маслила, мазала, сахарила и гладила русского человека, и Человека вообще (именно за его «несчастье» — музыкальную неудачность). И вот находится мужественный человек, который громко говорит о «неприличности» русского человека. Вещь Бунина часто развивается так: сперва говорится о красоте солнца и земли, затем о красоте растений и животных, и все это с оттенком стоического гимна благодарности золотым силам. Но вот на сцене появляется человек, и гримаса отвращения перекашивает лицо стойка. Дело в том, что с точки зрения гармонического сочетания каких-то совершенств, человек один во всем творении отвратителен и неприличен.

Звезды, звери и боги используют свое назначение, человеческая же душа блуждает, отказывается и скрипит, как ножом по тарелке. По иным выходит, что она росток и начало чего-то, именно поэтому она и не есть нечто осуществленное и вообще никакой голос в хору светил и сил. Человек неприличен вообще на земле, русский человек, для которого больше, чем для других, назначение есть именно проблема, больше других неприличен и антимузыкален, не участвует в хору.

Стойк отвращается от человека и смотрит в прекрасные, как небо, теплые и верные земле и небу лошадиные глаза. Но Бунин не отрицает всего творения, как Шопенгауэр, из-за неудачливости человека, и в том его скрытая сила, что он все же принадлежит к писателям с положительным остатком, а не к тем, которым всегда хочется сказать: «Так уйдите же сами, если вам все так больно».

*

Русская литература немного надоела со своим страдающим от социальной несправедливости человеком.

Поговорим о Любви и Смерти, как будто бы ничего не случилось, и действительно ведь ничего не случилось; да

и для Любви и естественной смерти (единственно прекрасной) нет истории. Революций в этой области не происходит.

*

Перед лицом этих Дел всякая социология — неприличная болтовня.

*

Он говорил: никто не страдает. Низшие потому, что у них нет памяти: так, они завтра уже не помнят умерших в любви или в смерти. Также нет у них воображения, даже чтобы страдать более низменно, то есть от призраков возможного. Они — дети и цветы, жизнь их еще не вышла из сна. Во сне рождаются, во сне и засыпают. Отсюда и призрак их величия (простить перед смертью), ибо они ничего не понимают и не умеют ценить. Храбрость их от отсутствия понимания важности жизни.

*

Единственная мечта: сидеть на диване и грустить в табачном дыму с несколькими возвышенными людьми. Или с одним очень умным величественно позировать на улице.

*

Старшие уже не страдают, ибо жизнь их полна метафизическими утешениями и потому что все у них призрак и воображение. Только посередине есть что-то вроде страдания (Блок иногда бывал посередине).

*

Страдают из-за Идеи возможности, — которой нет совершенно. Ибо существуют или атомы, или Провидение. И в том и в другом случае жизнь абсолютно не может быть чем-то иным, чем она есть. Возможное-то и есть как раз самое невозможное.

*

Если птицы не прилетают, сиди, красуясь в античной позе, между двумя молчаниями. Если птицы не прилетают, всматривайся молча в синеву. Тот, кто ни о чем не мыслит, красуется в античной позе на берегу дороги, как грязный мраморный Гермес, тот, может быть, ближе к цели, чем постигший, забывший окружающее. Фон, на котором рождаются мысли, всегда значительнее самих мыслей. Всматри-

ваться в фон благороднее, может быть, чем присутствовать при рождении надписи.

*

Красоваться в величественной позе: пусть вся душа превратится в душу позы, в душу руки и плеча, в душу поворота головы. Может быть, молчание статуй ближе к цели, чем подвижная болтовня людей. Говорить и писать общими местами, быть неэнигматичным, то есть всегда на границе общего места и нестерпимого намека, между идиотической статуей и статуеобразной мудростью.

*

Когда иллюзия раскрывается, сделавший открытие становится самым открытием. Часто он оказывается именно на границе Света и Тени, на нулевой точке, где Свету уже не хочется быть самим собой, откуда Смерть зовет его, то есть зовет мир, и мир еще раз умирает в нем.

*

Молчание белой бумаги. Белый лист наводит на меня какое-то оцепенение. Как студеное поле, перед которым кажется неважным все — цветы и звуки.

*

Интересно знать, писал ли Пруст от обилия или от скудости. Оттого, что ему не из чего было выбирать, что он писал — все. Или это из-за ясного чувства масштаба и выбора того, об чем стоит, и того, об чем не стоит.

*

Больше всего научиться ценить — это чувство масштаба. Зданевич погибает из-за отсутствия его. Что важно и что не важно делать и любить.

1930

Христос и православие

1

Православие смиренно и полагается на Христа.

2

Наиболее глубоко, глубже всех иных христианств, в православии развито учение о том, что все ценности Разума и

Духа, Силы его красоты ничто есть и зло [от них] скорее, то есть, чем могущественнее человек в этом отношении, тем хуже и гибельнее перед Христом.

3

Православный священник смиренен и даже умилен простотой своей. Не учится, не читает и не пишет от лукавого книги, только дела и вера от Бога. Католичество в 1000 раз более книжная религия. Но только Христом оправдаюсь и через раскаяние и смирение говорит православие.

4

Воистину же это правильно, ибо тем оригинален завет Христов, что он созерцанию и молитве противопоставил жалость к людям и служение им. Ни к Богу, а к страданиям человека должно быть обращено внимание христианина, и может быть, даже нет времени молиться, а не то что философствовать, трудиться и служить надо страждущим, лечить и кормить нагих и голодных.

5

По двум вещам отличается присутствие или отсутствие Христа в данной Церкви.

1. В сильном движении к нищете и интенсивной апологии ее. Нищете также и умственной.

2. В сильном массовом движении против убийства людей на войне и скотов бессловесных (отказ сектантов касаться оружия) и вегетарианстве молокан, например.

3. В сильном эсхатологическом веянии: самосожженцы, скопцы и т.д.

4. В кротости — в непротивлении злу.

5. В терпении — непротивлении большевикам.

6. Ибо жертва — единственный выход, единственная точка опоры вне сатанического аэона гибели, эгоизма материального, но еще горше духовного, единственное зерно новой жизни*.

<Между 20 и 29>. 12. 1930

* Отдаленно, но точно и смиренно... — На полях.

1931

Христос и Адам

1

Вменение и боль совместно со свободой есть все последствия особой гениальной участи человека, которую он сам избрал еще в духовных мирах.

2

Ему предстояло быть менее гениальным творением, но он сам избрал более ответственную участь, акт, который был одновременно и восстанием, и падением, и рождением в низшей сфере.

3

В чем же заключается этот акт? Он был подобен акту пробуждения и засыпания одновременно, акту выделения из неразличного единства.

4

Тайный замысел Творения был именно в том, чтобы это выделение — падение — творение произошло. Однако столь трагическая участь не была насильственно дана проточеловеку, ему было дано на выбор две судьбы. Одна безопасная, ангельская, другая трагическая, человеческая, и он свободно избрал вторую.

5

Свободно ли и знал ли он, что избирает? Этот выбор был тоже и первым его свободным актом, он создал свободу этим выбором. То есть в нем духовная ткань ринулась, проснулась к бытию в этом акте. Думаю, что энтузиазм этот был жертвенным к совершенству Плеромы, однако нежертвенно настроенные монады отказались быть людьми.

6

В этом факте интеллектуальная ткань положила себя как тьму — общество субъектов, исполнив этим заветное центрального субъекта, темой этого воления была жертвенность, и это начало [нрзб.] каждой монады [нрзб.], только через человека возможно сделаться Христом, ангелу же невозможна эта степень.

7

Раньше всего потому, что эта степень есть продукт воскресения и восстановления единства, вступительное коего условие есть смерть и отпадение.

8

Христос есть раскаявшееся общество демонов*.

1931

Христос и аэон Адама

1

Была ли трагедия вначале или все по воле Господней и прямолинейно?

2

Боль и ужас превышают всякую меру, и не может быть причина ее всецело на ответственности Божией. Человек избрал сам самое страшное в творении — вменение. Это было грехом Адама.

3

Под наущением кого — Змея-искусителя. Змей — это аэональное становление, вернее, почин аэонального становления. Проснувшись в глубине нового аэона монады, он представил ей яблоко логики объекта, коим она была во внешнем своем слое. Вернее, наущение Змея касалось ранее всего женской половины монады, объективности ее, приглашая ее закрыться, выделиться в самостоятельное целое.

4

Адам — активная природа монады, уснул сном Евы, выбрал ее реальность, произвольно утвердив самим выбором и право выбора.

1931

* То есть — тело Христа — душа Его — Господь Сам. — *Приписано позже.*

О дохристианском Христе

1

Распятие, его смысл. 1. Жертва для утишения гнева Иагве. 2. Наказание Дьяволом Бога за спасение людей. В первом случае Бог — мучитель, во втором Дьявол — мучитель.

2

Смерть на кресте как смерть греха и смерти есть мистический термин, означающий волевое самоотрицание аэона, распинающего себя. Здесь Христос идет на гибель своего человеческого естества, как солдат, во имя.

Древний Адам согрешил. Он должен быть принесен в жертву Иисусу.

1931

Христос и аэоны

1

Хотя в общем станет ясно, что аэон Христа — единственное новое качество в мироздании и что путь к Нему и в Него есть путь поступательно-диалектический, или к совершенству, сопряженному с бессмертием и свободой. Однако путь к Нему будет совершенно закрыт и не найден, если сознание вздумает идти в его сторону из старых адamicких побуждений самоутверждения, то есть самоусовершенствования, превращения самого себя в новую, несгораемую, качественно более совершенную статью, чем ткань мира.

2

Нет, таким образом аэон Христа вовсе не допустим, ибо вход в Него должен начаться через смерть старой твари, но сущность старой твари в мотивах ее. Итак, то, что кажется преуспеванием и самосовершенствованием, должно быть в личности саморазрушением, гибелью и снисхождением в низший, абсолютно мучительный план, и так вечно, ибо до смерти. Смерть — уже разрушение аэона, значит, здесь полное его уничтожение.

3

Не то, что аэон себе на уме, может, предположим, зажмурившись, прыгнуть в смерть как во временную холодную ванну, ожидая вскорости процвести у Христа под крылышком.

4

Нет, ничего подобного. Смерть адамического аэона реальна, и весь он без остатка умирает, мучительно самоотрицаясь до этого и угасая, и только Христова часть возобновляет жизнь свою. Но Христова часть та, которой будет даровано воскресение. Это именно та, тот слой, который вовсе воскресения не хотел, это энергия духа помещается в чистую жертву, бескорыстная абсолютно, и однако для чего же получить жизнь, для вечного Распятия, вечного крестного пути и сплошного ввинчивания в боль, которое есть одновременно для нее и счастье, ибо любовь ее жизнь, но в центре своем все крепнущая мука сострадания страдающим и одиноким.

5

И не видно вовсе абсолютного конца ей. Ибо если даже до конца мира слезы Христа будут литься. Но если вовсе на земле не будет ни одного страдающего. Разве вопль страдания иных миров, земель, иных солнц не долетит до Него и разве не предпочтет золотому сну Парузии отлет в иные солнечные миры, где страдание длится, ширится.

6

Но еще важнее Память. Память прошлых ужасов и мук. Разве не навеки, не навеки будет жива она, и не навеки должна оплакиваться прошлая, погибшая в ужасной тьме, жизнь.

7

Нет, абсолютно черною мыслью я участь Христа, абсолютно прикованного, мог бы сказать адамический ум, к абсолютной глубине людского горя.

8

Итак, безвыходность адамического духа на карте Христова аэона ясна (не это ли есть вечное осуждение).

.....

То, что составляет его бытие как ткань диалектической данности, как вся его конститутивная сфера, рождает боль естественно, ибо она есть неразрывная ткань первоначального протохристического аэона, ткань Божия. Свободною волей аэона Адама увлеченная в отдельное его существо и в зло. И так, ткань аэона, будучи тканью Божией, безостановочно рождает боль на все усилия ее центра, т.е. инициативы адамического аэона. Ибо само возникновение этой инициативы и ложность ее устремления и идеалов подобно нарыву на теле и в теле Божиим, принципиально бессмертным теле и все ввинчивающемся в боль и ужас*.

1931

История религий. Христос и протестантизм

1

Церковь духовно держится на мистиках, но и борется с ними — внешне постоянно, мистикам тесно в рациональных формулировках догматов, ибо все для них загадочно. Так они разрывают Церковь изнутри.

2

Но [необходимо] разрешить свободное исследование, где-то в своем рационалистическом пафосе остановиться; а главное, очень скоро (Кальвин) нападет на таинства, без которых нет уже религии, а только религиозная философия. Нет Церкви, а лишь молитвенная община и молитвенный дом.

3

Кроме святости личной, святости коллективной, святости софической, а также святости учения и слов Христа, есть еще святость культа, который навек не подлежит ре-

* Это очень точно. 7.12.1934. — *На полях.*

формированию, ибо магический смысл имеет, ибо и Христос, и Апостолы прибегали к операциям магического характера, и не только к символическим (отыскать их).

Опять в Сорбонне.

15.1.1931

Христос и Страх

* * *

Если нормальное состояние древнего человека — страх, страх за личность, то Христос делает жертву личностью легкой — сладкой даже. Поэтому отменяет страх, Он делает страх легким.

* * *

Поэтому Христос рождается в семье и на войне. В жертве за возлюбленную, в заботах о детях, в гибели за род на поле брани.

* * *

Христос толкает душу к жертве, к самому трудному, обещая воскресение из мертвых, но ведь не единовременна жертва, следственно, не единовременно и воскресение. К тому же, если жизнь была целью, к чему же было ее терять, чтобы ее же возвратить, — спекуляция на времени — слабо как-то это для христианина. <...>

* * *

Нет, для христианина смерть есть постоянное мистическое состояние гибельной жертвы отказа и забвения себя. Ибо даже в Раю, даже на небе, разве некому будет служить, разве некого будет утешать, а те, например, чьи братья, или возлюбленная, или отец погружены в адские муки, а мучающиеся воспоминаниями и раскаянием, кто их утешит — не Бог ведь, ибо Бог их погубил, Бог и позволил погибнуть, Бог сотворил их для гибели. А разве грешников в аду не нужно будет утешать, а дьяволов в бездне кто утешит? Да и просто после смерти, разве святые не продолжают мучиться за людей, молиться за них, плакать их слезами, умирать их смертью?

* * *

Следственно, если смерть постоянна, то и воскресение постоянно, перманентна гибель, перманентно и спасение. Но в чем заключается событие Христу после согибели Ему? В дыхании любви, в сопричастии Его соборной коллективной жизни, путь к вступлению в коею есть Смерть-жертва, но следует ли, входя в Христову Жизнь, искать жизни, не есть ли и это род религиозного эгоизма, следственно, еще в круге древнего человека?

* * *

Что есть древний ужас. — 1. Чувство пассивное непознаваемости воли Божией. 2. Чувство неправильности своего выделения в личность, вернее, онтологической неправоты этого, чувство временности этого. 3. Смутное чувство того, что ангелы сил только временно и неохотно терпят личность, постоянно угрожая ей за ее ошибки, торжествуя в каком-то смысле при ее гибели, как будто какая-то справедливость восстановлена. 4. Так, даже усиление личности воспринимается этими ангелами судьбы неприязненно, как будто она становится более актуальной угрозой Богу, ибо, будучи злом, большая личность только большее зло, отсюда античное: Бог поражает гордых и сильных, милует малых и послушных. 5. Необъяснимое наследие Рока. 6. Предопределение к смерти. 7. Предопределение к нравственному злу. 8. Предопределение к конечной гибели. Невозможность соглашения с Богом и угождения Ему ввиду принципиальной непознаваемости Его воли. Ибо единственное последовательное угождение Богу как абсолюту было бы самоуничтожение онтологически враждебной Богу личности. 9. Но несомненность осудимости самоубийства и оскпления. 10. Ибо зачем-то, совершенно непонятно зачем, Бог также и хочет жизни древнего человека, и хочет его размножения.

* * *

Отсель законное состояние древнего человека есть страх, чувство онтологической неправоты. Отсюда сомнение во всем — экклезиастичность и титанизм, как спор с Богом-мучителем, ненависть к Мучителю.

* * *

Древнее сознание, понимая, что самое его существование как выделенное и свободное есть факт несправедливый, не благой, разрушающий единство Божественного мышления, как своевольная мысль или взбунтовавшаяся травма невроза, — понимало свое уничтожение как естественную справедливость. Отсель квиетизм — мистическая деперсонализация, рабская монархия, политическая деперсонализация — самоубийство как нечто как бы угодное богам, убийство злого как очищение мира и смерть как естественное наказание за успехи жизни, ибо жизнь личности есть метафизический грех. Однако и квиетизм, и рабство, и убийство, и самоубийство — называется Роком, следовательно, неугодны Богу — а смерть Богом отвергнута, ибо пол Им благословен. Словом, Бог хочет индивидуальной жизни человека, но зачем, если она ложь, гадость, — эту тайну древность понять не могла. Смысл этой тайны в Христе...

Опять в Сорбонне

Христос и Страх

1

Появление страха, как часовой, предупреждает о возвращении в древнего человека, о нисхождении нового в низший план. Ибо когда сердце вновь обращается к тьме, жизнь, уже построенная на новых Христовых основаниях, становится для нас невыносимой.

2

И вновь страх становится препятствием, об которое в борьбе с ним загорится Христовый эон. Ибо жизнь сораспинающаяся находит услаждение в гибели своей и, вернее, в ущербе и в минимальности; все это становится невыносимым.

3

Может быть, даже величиною страха измеряется и углубленность в христианскую жизнь, величину, высоту, на которую вкачен камень бытия.

Отсюда Паскаль как пример неблагоприятной, нерадостной, не любимой Богом души.

21.9.1933

Христос и Евангелие

Три рода дурноистолкований:

1. Еврейское — Иисус Мессия — Царь.
2. Античное — Иисус Мистерий — Символ.
3. Церковное — Иисус Церковный — Папа.
4. Кроме того, Иисус гностический — Манейский сфинкс.

Христос и История

1

Где историческая истина о Христе? — В абсолютной сумме всех предположений.

2

Христос одновременно и дохристианский миф, и историческая реальность.

И Бог не страдавший.

И человек, оставленный Богом.

И гностический эон, и исторический факт.

И еврейский Мессия, и Бог Мистерий.

И Посвященный, и Иллюминат.

И социалист, и государственный.

И мистик первых веков христианства, и Папа последующих.

Христос и зоны

1

Христос есть огонь, в котором следует сгореть, чтобы не сгореть в огне Конца.

2

Эон древнего мира может умереть и воскреснуть в Христе или умереть и погибнуть в Отце.

3

Смерть во Христе есть воскресение, ибо это есть возвращение на лоно основы. Тогда как смерть в Отце есть полное уничтожение того, что было создано.

1931

Честность с собой

1

- Ну а зачем Тебе жизнь?
- Для других.
- А сам Ты захотел в нее вступить, завершённую?
- Нет.
- Почему?
- Тоска о содеянном съедает меня. Неискупимость прошедшего.
- Ну а воскресение плоти?
- Может быть, в него трудно верить.

1931

ИЗ ДНЕВНИКА. 1932
Париж

Опыт Теодицеи



еречитьваю:

19 июля 1935, когда кончился наконец Монпарнас и дни упорно-неуклюже пошли в гору, в полыхании астральных снов и в благоухании чеснока.

В кафе. Напротив сидит какой-то Булатович [книги, очки, симпатично что]¹, серый день.

Как трудно умыться от грязи.

Татищева нет, и почему я всегда так робею, когда прихожу в чужое место, почему также они были все так вежливы? П.Урусов, М.Воронцов с братом и еще кто-то на gue [нрзб.]. Весь промок и жарко. Гегель труден, но лучше, то есть ближе, не напишешь. Сегодня с утра [как и вчера утром, но тщетно] ясное осеннее освещение. Что же делать, нужно как-нибудь устраиваться вне христианства, если и дверь смерти, и магическая дверь передо мною не раскрывается. Observer dans la position des stoïciens et des yogis. Tranquille². Дина близка, но страшна. Н<аташа> далека. Р... И снова все сначала.

22.10.1932

1

Моральная реабилитация Б<ога> — вот заветная тема или осуждение Его. [Ведь я никогда не сомневался в существовании, а лишь в благодати, и всю жизнь прожил между благодарностью и возмущением, но никогда не сомневался.]

¹ В дневнике 1932 г. фрагменты, взятые в квадратные скобки, в оригинале зачеркнуты.

² Созерцать подобно стойкам и йогам. Спокойно (фр.).

Действительно, Бог нуждается в моральной реабилитации, ибо сознание глубокой «бездонной» горестности мира есть наша общая и первая посылка метафизики, и христианство завершило его. Ибо если человечество делится на удачных и неудачных до распространения христианства, тогда хотя бы удачные могли быть счастливы, а по его полному усвоению организмом [что, кроме смеха, встретило бы хамскую «Политику» Гегеля сейчас] несчастные продолжают быть несчастными, а счастливые не могут уже быть таковыми, ибо сердце их отравлено состраданием. Не отравлено, скажете Вы. Но тогда речь идет о скотском самодовольстве доморальных существ.

2

Как жалко все-таки, что я не увижу Тебя завтра: «каждую минуту, когда ее нет, помни, что она могла бы быть и что ей не хочется — потому что она не любит». И нет сил с ней бороться — заставила себя не любить, ибо дорога, лень в себе такая любовь. В среду она дошла до судороги в руке, до слез, до того, что сама меня поцеловала. Но эта школа боли дается ей трудно, и сегодня было письмо: мне слишком больно, я беззащитна.

Серый день на дворе. Дина шьет, уже сумерки, вчера целый день переписывал, спешил, ходил куда-то, вернувшись, заснул, не раздеваясь от печали. И нет больше сил с нею бороться. Вчера не молился. Сегодня молился утром. <...> На улице дело идет к весне. Не дам Тебе входить в боль дальше положенного, не пушу дальше. Ибо не Ты, а Иисус взял на себя все грехи мира. Ты же только грехи [окружающего?]. Светлая полоса началась с момента, когда я решил работать тогда на бульваре Edgar Quinet, возвращаясь от Дины.

Как тяжело было тогда у Цици: ангел, упавший с неба в ненастную погоду. Ужасный Дряхлов, пьяный Проценко, искалеченная Раиса, к которой я таки не пойду, хотя красива и привлекательна стала она до странности. Татищев с расквашенной губой на метро Maine, бодрость на тоненьких ножках.

Боже, как быстро темнеет. Ноябрь, ноябрь.

За и против

1

Как странно, страдающий Бог меня нисколько теперь не вдохновляет. Значит, и на небе страдание. Если страдающий, значит, не Бог смеялся, Гераклит над Озирисом. Сделав несчастных людей, Бог безысходно сочувствует им и тоже этим страдает. Старый Бог умер от сострадания, сострадание к людям было его адом.

2

Спасти хотя бы счастливых, приспособленных к жизни, сострадав им, их одиночеству, их гибели от сострадания, [понял?] Ницше. Вся дрожащая, звенящая цыганская нота его пения была в сострадании этому высшему человеку, по-едаемому состраданием спасти хотя бы его, вылечить его от этой муки.

3

Стыдно быть счастливым, стыдно быть красивым, стыдно быть умным, стыдно быть, когда столькие вкушаемы червием, — вот до чего это доходит.

4

Понимал ли Христос, какую ответственность брал Он на себя, уча любить ближнего как самого себя, — с такою пронзительностью, после которой все античное искусство кажется пресным. Понимал ли Он, чего Он лишает счастливых, что после Него невозможно уже будет радоваться, и если Он ошибся и все это тщетно, как дорого нам обойдется Его ошибка.

5

Радость и грубость. Глубина и страдание вечно встречаются в мире. *Быть глубоким и быть радостным — вот что кажется мне совершенно невозможным, и отсюда победа грустная страдающих богов над безмятежными.*

6

Христос отравил нам, удачникам, источники жизни.

Хамство Наташи в телефон. Слезы.
Разговор с Диной: ангел, ангел,
я дьявол, черный, как огонь.

Снова за и против

1

Иисус. Все для другого, без жажды — естественно, радость дарования и подарка.

Адам — все для себя, или для себя — личности, а когда Адам раскроет призрачность личности, все для себя — мирового субъекта, которому и личность приносится в жертву, своя и чужая, буддийский аскетизм.

Нахожу третье, среднее между ними. Бафомет — сексуальность, в которой отчасти для себя, отчасти для любимого. Ибо жажда в своем перекипании и переплеске становится жертвой за жаждуемого, отменяет самого себя.

2

Ибо в Адаме личность борется со всеми другими или уничтожается, в Иисусе сохраняется, но обращается в Бафомете же, этой школе Иисуса. Личность учится побеждать себя тем, что она сперва удваивается [я и моя жена одна личность], а потом и уничтожается [мои дети — моя плоть]. Учиться сострадать, жертвовать ей всем, но строго блюсти эту двойную личность, ее интересы во внешнем мире — вплоть до убийства, ибо лучше умереть. [Франция оправдывает добродетельное убийство своей половиной], расплата: теряется чувство личности, своей и жениной. Ангельская наивность.

Четыре часа, спал немного и выпил чаю,
относясь к ней спокойно.

Paroles sans suite¹

1

Удивляюсь смерти в себе общественного человека, и как мало интересуют меня сейчас собрания, журналы и вообще

¹ Бессвязные мысли (фр.).

Россия. Я обнищал этим, ибо он занимал много места на поверхности вместе со своей наклеенной бородой, вообще — клюква. Но зато *убавилось* едоком. И лучше будут себя чувствовать личный человек и религиозный человек, особенно личный, *который долго был у меня в загоне.*

2

Хочу жить во мгновении и в вечности, но не во времени вообще, против средневозвышенного, самый грубый разговор — спорт, порнография, и сразу — бездны творения.

3

Общественный человек — это также немного и моральный человек. Ибо *религиозный человек необходимо немного аморален, во-первых, потому что он оптимист, ибо для него вовне зло и добро необходимы как две строительные силы, и ни добро, ни зло не есть ценность, ценность же есть жизнь, цель становления, достигаемая в целом столь же с помощью зла, как и добра.*

4

И зло и добро, отдельно выпущенные на свободу, погубили бы мир. Добро потушило бы вечный костер героизма и страдания, а зло сожгло бы весь мир и умерло бы от скуки.

5

Горе и радость. Поверь художнику, который Тебя лепит, — судьбе, что ей нужно травить Тебя муками и так пробуждать Тебя спящего. Горе пробуждает, а от «счастья и славы безнадежно черствеют сердца».

6

Я теперь скромнее и честнее, я понял свою люциферическую природу, и я ищу другого Люцифера, который бы растаял в моем присутствии, тогда и я обращусь, но не раньше. Наташа вне вызывает во мне слишком сильно древнего человека. Характерна для силы ее личности ее скрытность. Рассказать — это пустить другого в мир своих воспоминаний, а она хочет объемлеть Тебя, но не быть объемлема, превратить Тебя в объект, сама же оставаясь невидимой. Я же тоскую от богатства. Но это — если Бог хотел меня Люцифе-

ром в общей гармонии мира, а я, идя к Христу, свое не осуществляю, в Нем же уничтожаюсь до конца, ибо мое и Его — это огонь и вода, для меня христианизироваться — это умереть целиком, и не видно воскресенья, войти же в Него тем, что я есть, — чистая порча его действительности.

7

Боже, как в последнее время вспоминаю Татьяну, может быть, потому, что служба в то<м> же квартале. Это опять какие-то сказочные города, золотые долины, торжественные античные сибиллины разговоры, и все это в отцветах роз и звуках отдаленных оркестров, и опять зима. И тогда мне ясно, что я не люблю Н<аташу>*

Paroles dans le sommeil¹

1

Это я пытался работать накануне того дня, когда мы расстались на месяц в Madeleine², где было пыльно и светло.

Граммфон орет за стеною
сегодня первый день.

Lumières froides³

1

Четыре реки, вытекающие из-под дерева жизни, четверодная поляризация вокруг пупа. Верхняя половина отражается в нижней по пояс, правое — в левом: le subtil et l'épais, le fixe et le volatil⁴. Субъект в объекте, как зрение и бытие, и правая рука — в левой, действие [или совокупление] субъекта на объект, и обратное действие объекта на субъект.

* Все дневник. Дневник. — *Запись на полях.*

¹ Слова во сне (*фр.*).

² Мадлен (*фр.*) — церковь Святой Магдалины.

³ Холодный свет (*фр.*).

⁴ Это нежное и плотное, устойчивое и летучее (*фр.*).

2

Против морали принуждения. Она — источник печали, безрадостное долженствование, большая хула на создателя, чем радостный эгоизм. Умножение бытия от его накопления и затем от его растления. Вред излишнего накопления — ожирение души, бесполезная экономия избытка сил. Вред от излишнего растления, изнеможение. Радостная жизнь брать на себя ровно столько, сколько можешь, радуясь своей силе и умножая ее, нести.

3

Неудача есть вина. Болезнь есть ли зло человека, наравне, напр<имер>, с жестокостью, но ведь жестокость тоже его врожденное свойство, но почему можно отстраняться [от] жестокости и нельзя отстраняться от больных — по-античному, как от нечистых. Потому, может быть, что только зло субъекта в человеке вменяется *непедагогически* объективности его. Но еще глубже человек должен отстраниться от себя, жить вне отвратившегося, и останется 99% личности, тогда из покаявшегося слоя будет сформирована новая маленькая, но качественно неподкупная личность, которая и будет спасена при второй каббалистической смерти, после которой тень Геракла даже 99%-я остается в Аде.

Tu parles, Paulot¹.

4

Личность соткана из памяти. Она есть не разум, не воля, не любовь, она есть живое соприсутствие во всем прошлом? И она есть продукт участия внимания Иисуса к каждой жизни. Отсюда и влечение? Прошлое возвращается и не забывается миром. Печаль нижних миров в их медленном рождении. Вечный свободен, но его жена есть часть его, и поэтому, зачав, он должен ждать рождения своего действия как удар семя или поцелуй обратный через века? Сперва от отца к матери, затем от матери к отцу.

Уже 21.11.1932

¹ Мели, Емеля, твоя неделя (фр.).

Paroles claires et sombres¹

Пятый день мук, вчера будто уже и не помнил, был истерически весел. Сегодня с утра трудно, трудно. Но нужно дать ей возможность понять, прежде чем все кончится, грустный серый ноябрь. Физическая боль при мысли <...> и что вдруг если она не захочет встретиться, но все равно нужно было решиться на что-нибудь.

1

Христианство, может быть, и было вначале моральным движением, но религиозный момент скоро возобладал. Так, в Иерусалимской общине все имущество было общим, и богатый не мог вступить, не отдавши имущество, что и отражается в споре Иисуса с богатым юношей. Спор же Анания с Петром отражает более позднее состояние дела и начало трений и мук на этой почве.

Однако Петр строго наказывает утайку. Павел же при своем бешеном ораторском темпераменте не мог удовлетвориться меньше, чем планетарными масштабами. Поэтому он начал принимать и богатых, дабы увеличить количество за счет качества*.

2

Однако и другое соображение важно: кто, собственно, есть Христианин. Первый ответ напрашивается следующий: исполняющий заветы Христа, но в какой мере, спрашивается. Если целостью, то христианами следует считать только святых. Христос же пришел к грешникам. Богатый есть грешник, но следует ли грешников гнать из церкви? Так образовалось священство, эти, по крайней мере, чисты, а затем, ввиду обмирщения священства, — монашество. Во всяком случае, моральный момент все больше заслонялся религиозным. В Боге же нет моральной непримиримости. Бог терпит грешников. Может быть, даже зло было ему необходимо для совершенства дела.

3

Тогда христианство сразу куда-то провалилось, «сделало карьеру», и что может быть грубее, хамее, некультурно-бе-

¹ Слова ясные и темные (фр.).

* История религий.

зотраднее апологетов вроде Тертуллиана или Иринейя. Нежность же Христа не пошла дальше Иерусалимской общины, чтобы воскреснуть только в Святом Франциске.

4

Не знаю, приобрели ли мы что-нибудь от христианства, во всяком случае, понимаем ли мы, сколько мы потеряли. Я уже говорил о гибели возможности быть счастливым, — живя исключительно среди счастливых, приберегая свою любовь для них и отвращаясь от несчастных как от нечистых, но христианство лишило человека не только счастья, но и величия, ибо только презрение к жизни делает человека величественным, христианство же подло-оптимистично. Оно сделало его каким-то «рабиком», который, не имея настоящей жизни, не имеет и права от нее отказываться, а должен постоянно молить о ней и Иисуса, [который, кстати, ничего не делает *spontanément*¹, а только тем, кто хорошенько намнут ноги в передней.] Все лишается *величия*, если существует нечто выше него. *Так, атеизм окружает человека [несравненным] печальным ореолом.* Христианство лишает несчастных, не помогая им, ибо Христос помогает, общается только со святыми, которым и так хорошо, [лишает их] даже возможности презирать жизнь, которую давал им всецело стоицизм и буддизм. Ибо Бог хотел жизни, утверждал ее, и не слепая жажда быть вызвала богов и людей к бытию. Бедный неудачник. Дав жизнь, не смог сделать людей счастливыми и сам сделался несчастным. «Со страдание Бога есть его Ад», — говорил Ф<ридрих> Н<ицше>. Вы скажете, еще будут. Ну а кто искупит прошлое? Забудется, скажете Вы, цель оправдывает средство. Но тогда Христос, к чему ведь он весь? Память: «Несу все Ваши боли в сердце, помню о Вас постоянно».

5

О невозможности совмещения счастья и правоты.

1. Есть способ помогать окружающим только из успокоения за остальных; не брать на себя ответственности за все боли мира. Но а как же с полным отождествлением, подражанием Христу?

¹ По порыву (*фр.*).

6

Чтобы быть счастливым, надо жаждать соединиться с объектом счастья. Но как научиться жаждать Бога, если мы так долго учились жить волей и побеждать природу, безрадостная добродетель, холодное раздаяние, не замечающее, в сущности, презиравшее одаряемого. Ибо только более нищие нуждаются, а мы интересуемся обществом только более богатых. Если же поддакнуть этой склонности, куда денется свобода, ибо добро кончается, где начинается удовольствие от него. Где же кончается удовольствие, смысл, полнота бытия, кончается и возможность делать, *во-первых*, кроме как у изуверов, но нерадостны изуверы.

7

«Царство Небесное есть счастливая жизнь, но это все-таки жизнь». (Прекрасная фраза Пуси: сказано неподражательно-печально-комическим тоном.)

8

Христианство разрушает семью. Семья есть магическое целое, сперва мужа и жены, затем родителей и детей. Однако Иисус говорит: каждый близкий, а не только муж, и почему только мужу, отсюда специфическая христианская измена из жалости. То же и измена детям ради общего блага, и не все ли дети христианина его дети. Отсюда невнимательность к своим детям родителей, занятых благотворительностью, или же: все равно всем не поможешь, и никому не помогают.

9

Наконец, христианство уничтожает даже и саму благотворительность. Ибо раньше люди одинаковой профессии, верования, снобизма соединялись в замкнутые общества, внутри которых существовала известная естественная солидарность, такова семья, корпорация, клуб, партия. Теперь же все братья, но всем не поможешь, поэтому не помогаете никому. [Уж куда лучше еврейская десятина, а то «все отдай» — естественно, человек ничего не дает в результате.]

Корпорация по рождению — семья — аристократия — нация — защищается только *contre la déchéance*¹, но вступить в нее нельзя. Неудачно родившиеся должны просто погибнуть «за “*hors caste*”»². Профессиональные же общества сходятся только как отбор ценнейших, ибо вход в них надо заслужить. Открыть их всем значит их погубить.

10

[Зато явный недостаток буддизма — антимузыкальность, ибо он лишен противоречий. Только противоречивое музыкально, ибо сама музыка есть разрешение противоречий.]

11

Все, конечно, опять возвращается к вопросу о ценности жизни вообще. <...>

Какое невероятно дикое и тихое счастье было сегодня встать рано, вымыться и выйти на улицу, серую и теплую.
25.11.1932

Quelques principes très abstraits³

1

Что было раньше и что из чего родилось, конкретное из абстрактного или абстрактное из конкретного? Если конкретное из абстрактного, то как, если абстрактное как таковое есть зрительное и лишенное жажды, кроме жажды созерцания себя как сущности и разнообразия.

2

То есть, иначе говоря, воображение Бога, реальный мир, не могло родиться из мышления Бога, ибо мышление Его как таковое и в себе довольно своею теоретичностью, и своим созерцанием общих форм возможности падения в разнообразия, и себя как сущности в основе оно.

¹ От падения (*фр.*).

² За то, что вне касты (*фр.*).

³ Несколько нравственных правил, весьма отвлеченных (*фр.*).

3

То есть если бы это было так, засыпание абстрактного мышления и рождение мира как Его сна было бы чистым падением Его, чистым грехопадением Бога, благодаря которому все идеи родились бы как вещи, и, следовательно, добродетель была бы в том, чтобы разбудить Бога в себе, пробудить Его от жизни исключительно для мышления, однако мышление быстро отменяет количество как низший момент — принцип индивидуации, и далее уже не лично — это мышление вообще вне личного, об котором даже нельзя сказать: мое или твое мышление, а оно происходит свечение во мне, как солнце отражается в капле воды, и это буддизм.

4

Следственно, если воля к жизни, реальной и личной, и высшая форма ее, сострадание, любовь к ней в других, есть только *сонливость*, грехопадение мирового теоретического «я», то истина есть буддизм.

5

Но как могло произойти такое внезапное помрачение, падение теоретического субъекта, дошедшего, однако, до максимума самосознания или родившегося таковым, — вопрос, который для Гегеля был страшно труден. Абсолютная идея отпускает себя на свободу, туманно говорил он, — объяснение, которое Шеллинг справедливо называл недостаточным, простой перефразировкой этого события.

6

Как одолела его сонливость. Греки считали, что Дионис заигрался, увлекся игрушками — вечными идеями, зеркалом, шаром и т.д. — и заснул, и спящего его растерзали титаны. Однако почему разум, дойдя до высшей диалектической собранности, вдруг ослабевает, теряет самосознание и превращается снова в низшую диалектическую ступень, — остается неясным. Ибо возможны только две причины: 1) или он в этом прозревает еще высший смысл, чем его абсолютное сознание, 2) или он несет в себе противоречие — в склонности своей к бессознательно-

сти, что и есть вечная трудность метафизики, — о том, как вывести относительное бытие из абсолютного.

До века и от века.

7

Следственно, мы считаем, что теоретическое состояние есть уменьшение, порождение, разрежение состояния конкретности в Боге и что Бог в себе до мира есть не разум, а жизнь — магически-конкретное, идеально-прекрасное бытие, а не мысль, хотя и созданное на почве конкретизации какого-то мышления, но конкретизации совершившейся, до века бывшей его началом, и Бог-разум — начальная инстанция Миротворения — есть лишь сын, редукция, часть Бога-жизни, имеющей, следственно, и свою объективность внутри бездны непостижимой. Следственно, до мира была не только мысль Бога, но и объективность его — супруга его, непостижимо прекрасная жизнь, как и говорит гностический вариант Евангелия от Иоанна. *«Вначале было Слово», и со Словом была Жизнь, которая в большей близости с Ним, чем все порождения их, и эта Жизнь есть Свет человеков, и без него ничего не начало быть, что начало быть.*

8

Следственно, начало есть как бы уход, смерть Бога для своей прекрасной реальной жизни, Он покидает дивное зрелище своей супруги-жизни и рождается во тьме. Познает другую свою супругу, глубину молчания, символизируемую мировым пространством, вернее, все начинается с того, что Сиге, мировое пространство, озаряется изнутри, это в нее снизошло семя Божества. Логос, который постепенно просыпается внутри ее, как Сын внутри чрева, ибо он есть лишь субъект, а не тварь, а она — сфера его мышления, момент, полный удивления и печали, как говорит индусская поэзия. Здесь он, то есть субъект, начинает вспоминать, ужаснувшись молчания, и вспоминает своего отца и небесную мать, вспомнив и вновь согласившись на свое рождение. Логос начинает обдумывать все возможности творения, и это и есть «мировой» разум за работой до начала творения или самосознание абсолютного субъекта.

9

Как уже было сказано, только дойдя до идеи Иисуса, он радуется и, наконец, ее забытие, тогда как предыдущие возможные формы жизни он отвергает одну за другой. Не выяснен для меня вопрос, в какую минуту он вспоминает об отце и матери, в начале ли обдумывания или только дойдя до идеи Иисуса, сходство которого с не известными им отцом и матерью порождает в нем радость воспомина-
ния.

28.11.1932

Gratitude¹

Какой все-таки сегодня счастливый день. 1. Я написал 10 страниц Каббалы Сексуалис. 2. Я молился в двух церк-
вах почти час. 3. Я видел Тебя, родная, обиженн<ая>, лас-
ковая девочка. Какое все-таки счастье жить. Да, еще я зара-
ботал 10 fr., писал эти билеты для папы, засыпая. Сейчас
еще буду делать гимнастику, таскать свою гирю. Боже, как
хорошо жить. Спасибо, спасибо, милая, дорогая, и дай Те-
бе Господь всякого счастья.

Кот моет свою лапу. Солнце.

Как боязно все-таки с «Числами».

Письмо, мокрое от слез

Gratitude infinie de l'ombre perdue au pays de la peur².

1.12.1932

1

Свет Голубя, уже над нами только тень его, еще не сов-
сем спустилась к жизни. Жизни же нет вне плоти. Ни в ду-
хе, ни в теле. Даже *в духе ее больше, чем в теле*, страшном
обнаженном (оскверненном) теле выпавших из жизни.
Что же есть плоть? Плоть есть величайшее живое чудо,

¹ Благодарность (фр.).

² Бесконечная признательность от тени, потерянной в мире страха (фр.).

для которого ни духовной, ни телесной жизни недостаточно. Плотская жизнь есть тайна воскресения Христа и воскресенья конца недели мук, отдыха счастья жизни. Чистая духовность еще скорее губит чудо плотской жизни, чем чистая телесность, которая все-таки, любя мгновеньями, подымается до нее.

Страшные дни раскаянья и страха. Надежда только на милосердие Голубя, чувство бессилия заслужить Его, сохранить свет Его над собою. Ибо нужно было всю жизнь готовиться к этому, всю жизнь отказываться жить и любить, бороться за жизнь, приобретать власть, чтобы, когда оно наступит, быть ярче, богаче, музыкальнее окружающей жизни. А я все это предназначал для Бога. *Кто* знает, сколько мне *Бог* уже стоил, сколько я уже лишился из-за Бога, чтобы под конец лишиться и Бога. Хотя только теперь я сделался по-настоящему религиозен в старом смысле. Только теперь приобрел страх Божий, ибо раньше что мог он у меня отнять? «Что могут нам <дать> Боги, здоровье и богатство — пыль и призрак, добродетель же и знание человек дает себе сам». Бог есть создатель жизни, поэтому не любящим жизнь Он не может ничего ни дать, ни отнять, Он относительно их не в силах даже и существовать. Теперь, когда впервые средоточие моей жизни находится вне меня, я безумно боюсь Бога и благодарю Его, когда хоть несколько дней Он еще не отнимает его у меня. И по-настоящему страшны стали неудачи, мое сумасшествие, которое я ношу в себе, нищета и безродность, нет, не для меня, а вот все, что приношу в приданое лучшему меня, и мне хочется бежать, мне так отвратителен я сам, что хочется прямо убить себя, избавиться Его от себя. Прости меня, Голубь, ты слышишь, прости меня — не за то, что я делаю, а за то, что я есть. Ибо всякая неудача и несовершенство есть вина. Вина предков, как говоришь Ты. Ибо нужно, чтобы многие-многие поколения были счастливы и магически [сексуально] правы, чтобы родился хотя бы один здоровый человек, говоришь. Так мне стыдно за своих родителей, за прадедов, за всю жизнь, неуловимо осквернившуюся, не дождавшуюся Тебя в чистоте*.

* Скучно, дорогой громкоговоритель. — *На полях.*

Дни безумной радости, страшной тревоги, непрерывного ясновидения. Дни совершенно вне себя, как будто душа лишилась кожи, минуты бесконечного беспричинного счастья, особенно на улице утром, где все время зима похожа на весну. Да, конечно, ты не заслужила такого человека, а гораздо лучше. Твоя [нрзб.] голубиная правота приводит меня в ужас, я чувствую себя до дико<сти> *difforme*¹, искалеченным, пере- и недоразвитым, что у меня голос отнимается в твоём присутствии, и я могу только деревянно улыбаться и ждать, когда кончится мука встречи и начнется мука ожидания встречи. О Господи, если бы Голубь мог меня успокоить, сказать что-то, что уже дает, скупо, но честно, отдает безвозвратно. Ненавидя преувеличивать [нрзб.] в чувствах, ибо как часто мы лжем себе и другим, считая, что мы любим, плохо воображая это.

Если бы Голубь понял, что меня следует крепко взять за плечи и потрясти как спящего, может быть, даже побить, и сказать мне твердо, что, пока я не научусь верить и давать словам Его равно такую ценность, которая на них значится, никогда-никогда-никогда не прикоснусь к счастливой жизни.

Если Тебе будет грустно, мне тоже будет грустно весь вечер. Спасибо, ну, спасибо, милый. Бог Тебе заплатит за все это, ибо я слишком беден, но я так Тебя люблю, и неужели бедные не имеют права любить?

Спал пять часов, выпил черного чая. Бог помогает меньше ее любить. Так можно жить.
2.12.1932

Противоречия радости

1

Я помню, как поразили меня слова Йенсена: «Он пожалел ее всем сердцем, прижал к себе и соединился с ней». Сладострастие их сострадания кажется мне теперь убийством из сострадания, сердце мое обратилось. Но сладострастие

¹ Безобразным (фр.).

из сострадания есть новая его и страшно современная форма. Утешим друг друга. Отдохнем друг у друга на груди. Яд острейший, с которым трудно бороться христианину, ибо почему бороться?

2

«Тогда мертвые не воскреснут», — ответил голос. Разъяснение потонуло в тумане. Порождение потомства есть закон воскрешения мертвых. Встать в ряд. Не оторваться от дерева. Через меня жизнь потекла дальше. И когда она будет вспоминать, воскресну и Я. Ибо откуда воскресает? Из памяти. Но как вспоминают — сперва себя, затем обстановку. Те, через кого жизнь не прошла, будут вспомнаны только как тупики, непроезжие пути обстановки.

4

Две категории вещей кажутся нам добрыми*. Самая удачная и самая неудачная. В удачниках и в удачных вещах есть одна из основных правд жизни, и мы ищем, радуемся их присутствию. Это строительная правда. [Голубь сказал: «Ты не знаешь, сколько поколений удачных и чистых браков нужно, чтобы родить хотя бы одного здорового человека».] С этой точки зрения права лучшая, лучше удавшаяся вещь, и неудачную следует уничтожить, отстранить. Такова мораль древнего мира — внешнего, напр<имер>, мораль Гомера, мораль (эстетическая, другая). Ахилл прав, и Боги его любят за его красоту и совершенство, прощают ему его гадости, способствуют. Так же и любим мы того, в ком выражается, плотски является лучшее, самое совершенное в нас, любовь начинается с восхищения, любить и презирать — тяжелая хамская форма только русской безвольной рабской любви — сладострастия.

5

«Я увидел Бога и был восхищен до третьего неба» (или наоборот). Отсутствие восхищения, жажды приблизиться, жить в свете [отца?] различает любовь и жалость — симпатию, и здесь начинается ошибка сладострастия из сострадания: «Утешу их теплотою своего тела», — говорят луч-

* *Сверху приписано: важнейших.*

шие, добрейшие женщины. И убивают себя и их из сострадания. Ибо сладострастие без любви есть страшная жестокость. [А я думал раньше: только жестокость есть грех, сладострастие же утешение, она добродетель.]

6

Ибо кроме прекраснейшего, и тотчас же рядом, у иных же раньше его, трогает душу уродливейшее, самое нечистое, неудачливейшее. Преступление есть болезнь, самый преступный есть самый божий, самый «жалостливый», толковал Достоевский. «Я знаю страдания Христовы (грязь Его и раны), и что нужды мне до остального», — говорил Франциск.

7

Утешить страдающего хотела С<оня> и Д<ина>, и обе растратили, погубили жизнь. Только Д<ина> любя, *и поэтому она сохранила красоту, но теряет жизнь*, а С. даже и не любя, и поэтому она представляет зрелище сущего чудовища — здоровой краснощекой красавицы, совершенно лишенной магической, электрической притягательности, и поэтому она, если не поймет [поздно уже], будет неудачницей. Заплатит уродством, страшной смертью. Ибо красота есть прямая награда за правоту, и особенно «легкость» смерти — прямое последствие сексуальной правоты [чистоты], потому и говорят, что невинные юноши и девушки умирают чище всех, и их хоронят в белых гробах.

8

Жизнь хочет, чтобы мы соединялись только с удачнейшим, больного удалялись, берегли себя для него. Не теряли бы электрической напряженности. Иисус же европейский учит сексуальной жалости. И здесь Он — одна из язв жизни: «Ценою жизни ты мне заплатишь за любовь». За безумие любви. Ибо какую жестокой кажется женщина, не хотящая утешить теплотой своего тела. «Чего ей жалко, трусливая, собака на сене». — «Сберечь себя в чистоте». — «Кому нужны эти чистые». И не говорил ли я сам: не стыдно ли Тебе, Борис, быть таким чистым, и не правее ли тот, кто может сказать, что он не чище ни одного чело-

века на свете, что он от стыда нарушил все законы, побратался с чернейшими?

9

«Античные погибли от своего сладострастия», — говорили отцы церкви. Да, но стоицизм был чище христианства, и он владел душами к появлению Христа. «Античные погибли от своего сладострастия, а затем от бесстрастия», — сказал бы я, не перехватили и недохватили. «Для достижения того золотого экилибра мыслей и чувств», — пишет Голубь. Увы, бесстрастие — еще худший выход из музыки, выход из жизни. Ибо бесстрастие — это печаль свободы, силы и зрения [Аполлон Безобразов].

10

Буддизм-стоицизм и радость утверждения жизни несоместимы. Ибо радуется только «предстоящее перед лицом Славы», видящее, жаждущее видеть свет лица любимого и потому не принадлежащее вполне себе, зависимое от притяжения к светилу радости. Стоик же свободен. Но это не все, разве не может он, ни к чему не притягиваясь, свободно, спокойно, как солнце, расточать себя произвольно темноте окружающей. Нет, ибо жалость стоицизма — бездонная печаль его, ибо она — вне тайны воскресения мертвых, воскресения отцов, если она совершенно вне сексуальности. «Разве можно забыть прошлое страдание?» — «А на звездах все будут страдать, разве всех утешить?»

Безумие сострадания. «Постыдно быть умным, если столькие темны, и здоровым, постыдно быть счастливым и жить, если столькие вкушаемы червием». «Ты счастлива снова, и Тебе стыдно», — говорит Голубь.

11

Надежда на воскресение мертвых есть надежда отдавшего все и, конечно, не скрывшего и миллиардной части мировой боли. Эта единственная возможность быть счастливым даже отдавшему все, исполнившему весь свой долг. [Помню, как поразил меня тогда Шиловский — святой человек — в Фавьер: прямо об этом, прямо от <ненаучности?> Бога.]

Schola theosophica¹

12

[Когда все вспомнят свои прежние жизни, они простят все свои страдания всего множества своих погибших личностей. Но разве мы и наш бессмертный дух — одно, и разве есть вообще страдания и личность у «соединившегося со своим демоном»? Святым среди духовных услад страдать нетрудно, их страдания похожи на то, как бросаются солдаты из раскаленной бани в снег, торжествуя от силы своего здоровья. Но кто воскресит личную погибшую жизнь всех людей — грешников, запутавшихся, вырванных из книги жизни?]

13

Продолжение рода есть физическое бессмертие, а также воскресение отцов. Сказал голос, пока я молился...

14

Радость жизни или радость о жизни возможна, только если счастье есть, если кто-нибудь вообще счастлив. Но мы можем любить только «любящего много», а такой любящий, не несчастен ли он всегда бессилием своим помочь вокруг себя? «Нужно твердо проникнуться мыслью о том, что, исполнив свой личный долг и согрев непосредственное свое окружение, спасаешь весь мир». Ибо остальное взял на себя не ты, а Христос, и нехорошо человеку брать на себя то, что только Бог может сделать и сделал. «Помните, Я взял на себя все грехи мира», — сказал голос, и жизнь опять сделалась для меня возможной. На этот раз это не Голубь сказал, а свет над Голубем. Не воплотившаяся еще нежностью душа Голубя. Потому что некому еще было помогать.

15

Как я плакал сегодня о том, что не сохранил свою жизнь в чистоте до того, как встретил Тебя, и поэтому не сразу и не чудесно Ты меня полюбила, и от Тебя зависит, захочешь Ты или нет, и молился, и вдруг голос сказал: «Хорошо,

¹ Теософская школа (лат.).

Я помогу Тебе не любить ее, пока она того не захочет, ибо придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Ибо только полюбив, она сможет объяснить Тебе, зачем Тебе любить нелюбящую, Ты же ее не любишь в Боге, и Бог Тебе помогает ее не любить такую. Ибо она должна еще доказать Тебе, что жизнь любви стоит. Трагедия отсутствия мотива и [нрзб.]. К чему все это, если это — такая мука. Оттого, что я не достиг, изменил, предал воскресение в себе Христа, вне плоти, богадельни для разбитых душ. Так, значит, мое пробуждение к войне от звука трубы, воскрешающей мертвых, будет уже вне ее, ибо в целостности и чистоте не будет уже ни ее, ни брака тел*.

16

«Берегитесь любви павших ангелов. Когда они просыпаются, они начинают ненавидеть утешение своей смертной ночи». Только если она пожалеет меня, поверит в меня, что я живу, она <оборонит?> себя от того, что потом, проснувшись, к ослепительному дню я не оставлю ее, а возьму с собой, ибо у рабов копится страшная ненависть к своим владельцам, и горе им, если привычкой или искусством они сделаются им необходимыми.

17

Основная моя нечестность относительно Наташи. То, что я хочу получить точный образчик Царства Небесного на земле, дабы тем лучше и стремительнее уйти от него [и от всякой плоти] в поисках Царства Небесного на небе, в смерти и воскресении Христа. Но, может быть, она знает тайну [еврейскую] примирения обоих этих царств и сплошного перехода одного в другое. Не знаю, но тогда она не должна меня мучить до того, чтобы всякая жизнь переставала для меня быть интересной, кроме Бога: «Не соблазняйся никогда о ней». То есть если она не права, пусть она будет Тебе и не привлекательна, как сейчас. *Ангел может быть рабом только во сне, ибо тогда он раб сна. Но с какой легкостью он покидает хозяина сонного, едва он просыпается. Поэтому да не унижает плоть его во время сна, ибо боль разбудит его, а Бог хотел, чтобы он заснул. Ибо только хозя-*

* Все это позорное громкоговорение. — *На полях.*

ин сна может сказать ему, где дерево вечной жизни, и только голос Его напомнит ему о звуке трубы воскресения мертвых. Поэтому, Голубь, не обижай Его, он упал издалека, и сон его легок. Но явь его слишком страшна, слишком прекрасна, войдя в нее, он не сможет уже никогда вернуться к жизни*.

Lumière sans ombre¹

1

Algh: начало есть здоровое тело, в котором все заключено, но все скрыто, остальные буквы есть история заболевания тела, распадаения и обнаружения Его состава, наконец, нисшествия воплощенной жизни, исцеление тела. Таи, или Омега, есть тело, выздоровевшее, воскресшее, но через свое распадение узнавшее о своем составе.

2

Иисус не Iehouda — милосердие только; Он и строгость. Это Его правая рука — судьба — не знает, что делает левая — милосердие, но в мозгу и в сердце их поведение рождается из одной музыкальной темы, которую я теперь называю утверждением жизни. То есть Иисус никогда, хотя бы и мог, не делает зла и преступления ради добра, а жить дальше окаменевшему [нрзб.] было бы преступлением, то есть Он сдерживает свою жалость, свою справедливость и наоборот. «Бездна Божественного милосердия равна бездне Божественной справедливости», — сказал Данте. Именно равна, а не глубже она. «Тот золотой экилибр мысли и чувства», — сказал Голубь.

3

Все, что стало ложью воплощенной, будет уничтожено идущим вперед мыслительным потоком жизни этого воплощенного мышления. Но и, прибегнув через раскаяние к Богу, получит новый смысл, и Ангел похитит его из моря огня уничтожения. Так потерпевшим магическое сексуальное крушение остается Иисус.

* Дневник никоднев. — *Приписано на полях.*

¹ Свет без тени (фр.).

4

Обдумай жизнь денег, вокруг которых дышит жизнь. Так Ты поймешь еще одну аналогию. Ибо деньги — еще одна аналогия Логоса — живого семени, которое перетекает от положительного богатства к отрицательной бедности.

5

Я буду любить Тебя только в том случае, если Ты окажешься милосерднее Бога, которому я служил*.

3, ночью

Зачем Ты меня так унижаешь? Так глубоко и обижаешь, так ломаешь. Ведь вот я сейчас мог бы вернуться домой человеком, я мог бы даже написать что-нибудь, и вместо этого я сейчас жалкий, трясущийся скот, который только плачет и плачет. Боже, как легко Ты обращаешься с чужой жизнью, когда она у нас в руках. Из-за какой прихоти, из-за какой чепухи оставляем мы тех, кто не могут жить без нас, на эту страшную, несравненную муку ждать, ждать, ждать. Не жить, не есть, не думать — ждать, ждать, ждать. Боже, кто выдумал эту муку, и Тебя, изверг, накажет все-таки Бог, и Ты, как я, обливаясь слезами, будешь ждать, не жить, а только ждать. О, будь Ты проклята, проклята. Хоть бы заболела, хоть бы Ты умерла, изверг, скот, мучитель жестокосердный. Ты хочешь сломать меня, чтобы я виделся с Тобою, как раб, против своей воли, сломанный мукой, против чистоты уважения к себе, свободы. Тебе нужен такой сломанный человек. Берегись, зверь, если Ты меня доведешь до смерти, Ты тоже заплатишь, и ничто тогда уже Тебя не укроет и не спасет. Как я ненавижу Тебя, в точности как нищие Плюшкина, который, расспросив их, любят ли они есть, и перечислив разную снедь, спокойно уходил, прибавляя: «Ну, Христос с вами». Так оставайся со своим богатством, пусть прогниет Твоя сила, как плюшкинские амбары, ломящиеся от хлеба. Будь Ты проклята, проклята, проклята. Бог Тебя накажет, гад холодный, отвратительный, лживый и скользкий. Ну, погоди, худо Тебе будет.

* Странная фраза. — *Приписано снизу.*

Опять спал, не раздеваясь, вчера целый день играл и плакал. А я мог бы жить и радоваться. За что, за что все это?

4.12.1932.

Утром

Vois dans l'obscurité¹

1

Суета сует, и все суета. И к чему это множить книги? И так уже за пятьдесят лет нельзя прочесть больше пяти тысяч, а их десять миллионов в публичной библиотеке — достаточно для любителей чтения. Но истина, скажут мне, истина не важна, а правда.

2

Есть две правды — лично религиозная и лично любовная, и та и другая — вне общества, вне истории, вне культуры. На необитаемом острове и в Риме она одинакова, и все в ней «знаешь сам», «доходишь собственным умом». «Ведь и так темна и хороша темная звериная душа», и другая правда личного сексуального общения души с Богом, и опять книги здесь ни при чем.

3

Личная жизнь — вопрос удачи. Всегда человек встречает суженого, но всегда ли готов все деньги на него поставить, отнестись к нему по-настоящему, — и он пропускает поезд. И тогда только Он остается ему в утешение.

Она, конечно, не написала.

Вечером 5.12.1932

4

Но утешает ли Бог? Бог не помогает жить, Бог помогает не жить, не нуждаться в утешении. Как после молитвы, все муки кажутся «старой историей», но корни их остаются, видимо, и достаточно «рукам опуститься», достаточно ос-

¹ Умей созерцать во мраке (*фр.*).

лабеть на минуту — и опять она здесь. И опять кажется: полно, стоит ли, виновата ли она в чем-нибудь, так, от несходительности сердца мира, он двадцать раз бы уже погиб, если бы не доблесть сердца мира.

5

Вчера. Пуся в кафе. Только что видел ее на кладбище, где она повторила ему мои слова о Адамовиче. Сегодня за-снул было измученный всем и вдруг слышу: подле меня голос Над<ежды> Петр<овны> говорит: «А Наташа иронически улыбается и говорит: “Изверг, изверг, все, весь воздух полон Тобою, и некуда деться, чтобы об Тебе не слышать, о Тебе не думать”». Интересно знать, что, собственно, она думает обо мне, зная, что достаточно было бы ей сойти на двадцать минут вниз, и я целый день радовался бы жизни: ел, мылся, работал, учился бы, и не делать этого ей лень. И так сойдет. Лень богатых. Жестче жестокости злых. Но теперь уже ничего не надо, ибо как не отомстить когда-нибудь за этот жест, которым она выхватила у меня из рук свое расписание уроков. По которому было бы ясно, что никаких лекций позже девяти часов у нее не может быть. Да еще в воскресенье. Она именно из таких, каких убивают топором, бритвой, стулом, — не знаю. Героиня с первой страницы «Paris-Soir»¹. Как все это грубо, тяжело, обидно. Русские власть имущие, которые всегда бьют детей, солдат, жен, мужиков. Хамская кровь, не уважающая человеческого достоинства. Унижающая с наслаждением. Со скукой. Ей скучно в пустоте ее. «Это мое обычное состояние».

6

Но как я буду жить без нее? Полюблю опять свою логику, спокойную долю, «бесполезную, золотую, стальную речь богов». Когда субъективное понятие раскрывается как мнимое, оно исчезает, объективное понятие распадается на атомы [нрзб.], дурнеет, мучается и умирает. Но для это<го> нужно опять полюбить свои тетради. Полюбить отдаленное, бесполезное, обреченное только через [нрзб.] быть, вступить в жизнь. Ибо то, что я люблю, как река из плеса в

¹ «Вечерний Париж» (фр.), газета.

плес, передается из книги в книгу, никогда, как кровь, не выступая на поверхность истории. Все это течет в грядущие дни, когда будет досуг, будет пустота, такая, что будут есть камни, и потом все это *in sich, für sich. Nein für ein ander*¹, ничего не прибавит к ней, а лишь утешит прошлое, но где-то будет.

7

Какая все-таки страшная освобождающая сила заключается в молитве, я долго боялся ею пользоваться. Боже, освободи меня, который может работать, радоваться Тебе, жить вообще, который приспособлен к Твоей жизни, от этого страшного прорыва в кровяной системе. Лишающей сил, лишающей последнего «зачем». Вчера за литургией страшный текст от Луки о кровоточащей женщине. И в миг болезнь ее прекратилась, я тогда не понял. Какая все-таки звериная рожа у русского человека, когда ему дана полная власть над жизнью и смертью. «Я есть твой царь и Бог», — кричал зритель Достоевскому.

Печка слабо шумит. Чувство дикой свободы и страха перед Богом, не перед нею, а перед Богом.

Страшное место

1

Было совершено два преступления [и оба дерева были перевернуты], и за них два наказания — как два дьявола грызут мир. Это есть сладострастие и жестокость.

2

Ты поняла, но не хотела принять. Ибо то, что я говорил, значило: человек был сотворен как жена Бога, однако Бог захотел испытать ее верность, дать ей возможность свободно определить себя к нему, и поэтому он отдалился от нее, прекратил с ней непрерывное до того половое сердечное общение. И тогда Люцифер ее научил изменить Богу с ним, воспользоваться совокуплением не для утверждения жизни, а для наслаждения ею. И часть ее сопротивлялась это-

¹ В самом себе, для себя. Не для другого (*нем., неправильн.*).

му (спор Адама и Евы), но слабость воли и обман победили. Страшная сонливость сковала ее, и сон мира начался — падшая природа родилась.

3

Но Люцифер пал раньше. Ему Бог дал абсолют воли и чистоты.

Но отделил ее от себя, дал ему, может быть, слишком много, и Люцифер соблазнился о своем богатстве. Он увидел за полнотою Божественной ткани и жизни нагую природу логическую, ткань ткани, и этим убил Бога.

Адам же лишь соблазнился о Боге [нрзб.].

7.12.1932

1

Никогда я так не освобождался от Тебя, и никогда я так со стороны свободно не мог отнестись ко всему нашему. И никогда также с такой яркостью и дикой силой не снилась мне другая жизнь, чистая, как стекло, яркая, как лед на солнце, который, не тая, сияет. Умыться на холоде от грязи литературы, вступить всеми четырьмя ногами в нищету и в науку. Ведь мне очень страшно вмешиваться в жизнь, работать, иметь семью. Ведь Тебя, если Ты раскачаешься любить, подвести будет нельзя совсем, ибо нельзя дать половину тому, кто отдает все, и нет ни капли зла, чтобы обидеть Тебя, если бы Ты захотела наконец по-настоящему серьезно ко мне отнестись. Все это страшно, а самое страшное — телесная жизнь с Тобой, которую до боли невозможно себе и представить, Голубь.

И вот Ты опять, мой Голубь, достаточно было себе позволить опять, чтобы это так было. Сделать усилие, помолиться немного о умиротворении сердца. Только почему я опять решил на боль [*ведь мне опять будет больно*], потому что я верен своему хозяину, своему сюзерену, если я сказал и если он наконец, как бы проснувшись от оцепенения, захочет «доброй жизни». То есть без слов, потому что мне жалко Тебя и нашего ангела, жалко прошлого, жалко несбывшихся чаяний, жалко жизни, вне и над которой я пролечу без Тебя, как ледяной ангел, а Ты, что будет Твоя жизнь без меня? «Она будет проще и здоровее», — сказал голос. И я задумался, заколебался опять. Но кто знает, где Твое счастье, где Твое на-

значение, ибо раз дышал этим ярким и мучительным воздухом метафизики, и много ли нам нужно будет денег, чтобы быть счастливыми. Только вот дети. Но если Ты меня полюбишь, то, значит, и поймешь страх мой перед всем этим, согласишься подождать, дожждаться лучших дней, ибо какая мука, какой позор — несчастные дети. И еще потому, что хорошо принести немного в жертву близкому, гордость и доблесть свою, но нужна ли ему эта жертва?

Вот теперь, когда Ты уверена, что я Тебя ненавижу, мне так легко, так тепло и так невольно любитя. Как хочется без объяснений, без самолюбия прижаться к Твоей теплоте и мурлыкать, бормотать что-то смешное, детское.

Мама, мамочка, зачем Ты так мучаешь меня своим отсутствием, доводишь им до таких слез, до такого озлобления? И понятно, что если это есть «веселая жизнь», никогда не поверит сердце, что Бог всего этого не проклял, что это все не грех.

Печка шумит, а что если Ты не захочешь помириться? Тогда к черту все, ибо тогда, значит, ей не стыдно делать больно.

Голоса в огненном тумане

1

Как это ни странно, но я хотел бы врасти в Сефиру строгости в Адаме Кадмоне, а не в Сефиру снисхождения. *Ayant tout compris, je pourrai ainsi être indulgent sans faiblesse*¹.

Строгость, доблесть, суровость приличнее мне, и я не талантлив к доброте, я всегда чрезмерен, то слишком сладок, унижительно снисходителен, то презрителен. По-моему, даже следует долго сопротивляться доброте и Иисусу и сдаться только на форму доброты, совместимую с абсолютной невозможностью слабости и унижения. Ибо сущность находится совершенно вне доброты и жестокости, и даже вовсе вне добра и зла. Сущность есть утверждение жизни и всего необходимого для нее зла, как и добра, и от смерти она абсолютно отвращается. Снисходительность же абсолютная заласкала сны, замаслила, загладила бы мир, превратив его

¹ Все поняв, я могу быть снисходительным без слабости (*фр.*).

или в игорный дом, или же в постный ангельский пансион благородных девиц.

Пуся ушел, обидевшись. Но что бы было, если я еще пошел играть. Жестокая тварь. Как она меня истребляет.

Triste paysage de guerre¹

1

И снова она меня имела, то есть не меня, а бедного нашего ангела полуживого. Целое утро, как и вчера, я готовился ей позвонить, и какое-то дикое грубое оживление было и в ее голосе. И снова день вычеркнут из жизни. От обиды и волнения не мог уже ничего делать, ретушировал немного, думая до боли в сердце, что скажу на суде, если убью эту гниду Гашкеля, и какое это будет освобождение — тюрьма, цепи, океан, Гвиана, Бразилия, потом устал от этого до тошноты и заснул днем от четырех до восьми; сейчас с тяжелой головой и с ненавистью в сердце сел писать. Удивительно все-таки, как я могу заниматься — только когда ее ненавижу. Утром светлая Дина. Аполлинер. Холод солнца.

Вчера розовый, но замученный Урусов, подвешенный в чердаке над землей. Одноглазый Воронцов, черный совершенно Ростислав и милый Татищев в кафе, где я понял, что все четверо связаны накрепко. После разговора страшный мистический подъем, и десять раз молитва на коленях посреди гие Гласиер. «L'homme que j'ai tué», и все время сзади шаги, не оборачиваюсь, это дьявол.

Напрасно Ты торжествуешь. «Это не лекции, а travaux pratiques»², — смеется Пуся. Но, Боже, как несчастны те, которых молитва не освобождает от позора.

Région dévastée³

1

Жизнь есть компромисс между обеими правдами, какая-то гармония, примирение двух императивов [но как

¹ Печальное поле боя (фр.).

² Опустошенный край (фр.).

³ Практические работы (фр.).

ее достичь]. Правда жизни, строительной, музыкальной, правда здоровья и удачи и правда жалости и смерти, вечной, мучительной, пронзительной муки, пощады всем, внимания ко всем, отказа от своего, вообще от жизни личной.

2

Правда жизни требует накопления вообще удачи и равнодушия к остальному, свой сад за крепкой стеной и над ним солнце, это здоровье, *tempérance*¹, работа, брак, семья, счастье отдельное, патриаршая смерть. Правда же жалости и смерти требует равнодушия к своей удаче. Все братья, все дети, всюду семья, и нигде нет дома, чтобы отдышаться, отогреться, всюду ледяная ночь боли и слабое дыхание только, чтобы отогреть ледяные горы, дома, моря.

Смерть под забором от слез, с совершенно растерзанным сердцем, не смогла никому помочь, прокляв, в сущности, жизнь.

3

Кости отделяются от тела.

Так в Дине, благодаря тому, что ее тело не защищается и что она не была никогда счастлива, эта мука победила совершенно, и здоровая безжалостность жизни и вообще отдельных судеб ей стала ненавистна совершенно. [«Религиозная проституция из сострадания», — сказал злой голос.] Ей именно потому хочется поссориться с Николаем, что ей какое-то счастье его видеть и что это «заинтересованно». Но именно таким нечего дать, ибо они не сумели ничего скопить, не берегли ничего, и жизнь уже растрочена. В ней дикий недостаток самосохранения, в котором и я виноват. Ибо тоже никогда не зная счастья, никогда не веря в него совершенно, ни в жизнь, я считал, что так правильно было жить вместе, из сострадания, столько лет и этим губить друг друга, отрываясь все больше от жизни. Это сладострастие имело вкус дикой грусти, жалости, звездного холода, какого-то дикого бесконечного одиночества. И оно всегда воспринималось как какое-то падение, а идеалом всегда была стоическая святость, так я состарился прежде-

¹ Воздержание (*фр.*).

временно собачьей старостью какой-то, но все не мог понять, почему меня физиологически боятся все вокруг, почему я нервно уродлив и жалок [потому что я был не прав]. О, проклятое — пожалуй до конца и умереть — сколько оно мне стоило!

4

Плоть лишается костей и валится.

В Наташе же противоположная крайность. В ней сила растущей жизни, никогда не преданной и не растроченной, дико боится в нас и во мне того, что еще есть полумертвое от этого *нас*. Жизнь в ней, независимо от нее, боится дико, что это ледяное и щемяще прекрасное не любит «своих» детей, ибо чужие ближе, не любит необходимой победы в жизни, ибо неудача трогательнее. И инстинктивно она прячется к этому бессильному, слабому, как ручеек, но расово чистому Гашкелю, который подчиняется совершенно, с которым будет нестрашно, ибо он никогда не посмеет ее послушаться, всегда будет «дрожать», но которого она не может любить, ибо она «ищет воскресить мертвого», а живого, не умершего, не падшего никогда, дурачки узкоплечевого бородатого ангела презирает, и ему еще предстоит усумниться в жизни, а эти уже на возвратном пути из смерти в жизнь, украшенные всеми звездами ночи, всеми тайнами преисподней. Ибо как сломанная и сросшаяся кость на левой ноге моей здоровее не ломавшейся никогда правой, так умершая и воскресшая жизнь глубже, сознательнее и дико ярче любит день, солнце и жизнь, чем никогда не умиравшее, это вечно живучее, как овцы, племя, но в котором жизнь в чистоте своей уже ослабела, ибо растянула как-то искусственно свою чистоту и не захотела освежиться в ледяной воде смерти и временного отпадения, отчаяния. Со мной она будет, может быть, неудачнее, но ей всегда будет интересно, ибо я, полуразбитое, полуискалеченное, но уже полувоскресшее к жизни растение, а жизнь после воскресения несравненно прекраснее, ибо это начало, и все оживет во мне, все расцветет, если она поверит, что это начало, только начало, а с ним она будет в безопасности, но и без исхода, вне музыки, которая возобновляется через прекращение каждой из ее тем, через потерю и распадение мелодии утра.

5

Татищев сперва перехватил, потом перераскался, и сейчас Д<ина> за собою на глазах выводит его из жизни, уничтожая заговор, сон их о счастье. Но если Дина его покинет и останется умирать, доживать вне жизни, одна, всякое счастье с Наташей сделается для меня невозможным и я тоже уйду из всякой жизни. Для ледяной, но, в сущности, золотой победы своей, ибо я уйду из жизни не разбитый, а со всем богатством и со светом воскресения, отдыха Бога над собою. Но для этого мне нужно будет самому «бросить» Наташу, а не быть брошену, ибо только тот, кто сам выбрал свою судьбу, может ее вынести. А я имею на это право, потому что я честнее ее и на большее играю, то есть в атмосфере вины, кто сильнее. А в атмосфере мира другое совсем, и необходимость в этом все сильнее. Если я прав, *et il y a un Gachkiel caché qui explique tout*¹, все ближе время, когда она поймет, что нужно выбрать сразу и «*brutale-ment*»², ибо обе истории погибнут из-за этого, ибо уже вышло на поверхность древнее дно мое, холодное ангельское отвращение и злоба, а она из жалости продолжает посещать свои лекции после обеда. А если я ее брошу утешаться Гашкедем, она не захочет, она бросит все и уедет*.

6

Отношение ее к Гашкедю — это тоже религиозная проституция и убийство себя и «ангела» из сострадания. То же, что у меня было с Диной и что будет наказано преждевременной старостью. «Если она за него выйдет, — сказал мерзавец, — она опустится, опухнет, нальется водою, погрузится в сон». И она от него бежит в Россию, но этот мерзавец побежит за нею, как плющ бежит за деревом, которое, отстраняясь от него, рвется к солнцу. *Mais ici gare au coup dur*³. Она-то поедет в Россию, но и Гашкель и я поедут. Он на кладбище, а я — *dans le pays des grandes prières, du grand*

¹ И существует скрытый Гашкель, что объясняет все (*фр.*).

² Решительно (*фр.*)

* Это все потому, что Ты такая скрытная и не понимаешь, что, не зная, всегда выражаешь злое, ибо жизнь всегда была хуже, чем надеялся. Ты же добрее, чем мог я думать, потому что Ты живая благодать, которую послала мне Матерь Божия. Пожалев меня и видя, что «так» я уже не спасусь. — *Приписано на полях.*

³ Но тут берегись (*фр.*).

soleil, des vrais athlètes et du vrai vent¹. Так я послужу ей на прощанье. «Nous ne sommes pas des hommes de plaisir»², — говорит убийца у Жуандо. Je passerai le reste de ma vie dans la belle position du Bouddha tranquille ou je la trouverai même au fond de la terre et la tuerai pour que nous nous envolions ensemble vers les grandes eaux sombres³.

Поздно ночью

Играл в карты, и это меня освежило. Посередине вдруг с такой радостью вспомнил, что забыл о ней.

Просто не нужно ее любить, не нужно ее любить, и напрасно я вчера утром сам повалил ту стену, которая выросла во время тех молитв, которой оградила меня Пречистая Дева от ее эгоизма. Если она не хочет играть на все кровные, я не хочу играть ни на копейку, потому что вообще не хочу «играть», а жить, работать, по-взрослому*.

Спал пять часов. И сейчас пишу среди ночи, напившись чаю. Спокойной ночи, Голубь, серая святая птица.

Soleil et nuages de la vie nouvelle⁴

10.12.1932

1

«Вчера был, может быть, самый счастливый день моей жизни», — сказал я Пусе в синема, когда он смеялся над Библокораном, и мы оба плакали от Folie des Hommes⁵, от музыки, от непоправимости всего: возвращаться было холодно, но свет долго не хотел погаснуть. День необычно-

¹ ...в страну великих молитв, ослепительного солнца, могучих атлетов и буйного ветра (фр.).

² «Мы не прожигатели жизни» (фр.).

³ Я проведу остаток моей жизни в величественной позе невозмутимого Будды или же разыщу ее хоть на дне морском и убью, чтобы вместе унести над великими темными водами (фр.).

* Не преувеличиваешь ли Ты, — сказал голос, — дай ей сжиться с тобою, срастись радостью взаимного заговора: «Мы против всех». Нет! Все это было бы возможно, если она была бы откровенна. Скрытность — это мертвая стена. — *Приписано на полях.*

⁴ Солнце и тучи новой жизни (фр.).

⁵ Безумие людей (фр.).

венно чистой и яркой погоды. Как мне независимо сейчас, думал я на rue Glacière, наслаждаясь холодом, здоровьем своим, свежим розовым отблеском неба. Однако в кафе после долгого ожидания перед «американским городом» произошла заминка, где-то после радостной встречи. Все кончилось в страшной нервности и опять зажглось, едва я вспомнил.

2

Сегодня с утра снег, ходил нарочно час по городу, опять радуясь здоровью и с большим толком заставляя себя не бояться смотреть людям в глаза, измучился, но в каком-то диком волевом торжестве вернулся домой. Потом страшный долгий разговор с Валею у печки, а я за негативом, о их жизни. «Пропил все, погибли мы, приходит, гадит прямо посреди комнаты, бедный мальчик, ведь он для меня всегда останется мальчиком», — и бедная девочка, как состарилась от горя, и это в 24 года. Как быть здесь, Голубь, а? Маленький мой и больной человек, и нельзя помочь.

Как я смел Тебя ненавидеть так еще позавчера, мне стыдно, право, Ты не думай, я не шучу с этим словом и редко им пользуюсь. Сегодня удивительный нервный покой. Усталость от слов, может быть. Минутами мне было тяжело, и с тяжелой головой я ушел в кафе du Dôme, честно как-то хочется не помнить, то есть хотелось, а сейчас все прошло.

Déméter d'Eleusis avait une gueule de lion¹.

Лицо льва. Нет, это медведь. Радость все-таки вне Тебя. То есть радостно было просто дышать, не боясь чувствовать опять, что ничего не будет страшно.

Но как все-таки жестоко физическое тепло, отпущенное на свободу. La grande Diane d'Ephèse avait un regard de colombe².

Но потом я понял, что просто Тебе было приятно расправить плечи, вздохнуть свободно всем телом.

Счастливые минуты. 1. Разговор «по-простому» на улице. 2. Когда Ты позвала меня в дом, а я, уже и так счастливый вполне и довольный, готовился уйти. 3. Разговор о Шатерлее, безошибочность Твоего чувства художе-

¹ У Деметры Элевсинской львиная пасть (фр.).

² У великой Дианы Эфесской было чистое око голубя (фр.).

ственности и неискусства. 4. Расставанье в комнате, когда Ты «звала гостей», как говорила Дина, уткнувшись милым своим лицом в мой рукав. 5. Поразительное удовольствие, когда я сказал, заметил, как хорошо сделано у Тебя это место — от края глаз до уха, что-то мистически очень хорошее в Тебе за этим. 6. Удивительна разность, мгновенная смена ощущений, радостных и мучительных. Лицо, чувство страшной важности его — святая святых, как будто прикасаешься к огню и рукою хочешь закрыть это пламя — страх Божий. Рука — холод мучительно-приятный-приятный (самое приятное), свежесть, время, успокоенье, музыкальное согласие, радость встречи, возможность долгих встреч многолетней жизни вместе, залог пощады.

Грудь. — Свежесть кожи, холод как от кожи облака, чувство благодарности, доброта.

Я обнимаю Тебя рукою вокруг талии. — Чувство крепости руки своей и удивления, уважения к крепости тела, *pos gars du quatrième*¹. Товарищеский покой.

Если рука, так обнимая, случайно касается боков, — чувство мучительной мягкости, боль в руке и в груди — сразу чистая мука, не мучительно сладкая, бррррр... Какое выражение, а просто — мучительное и не сладкое. Не страх Божий, а страх смерти. «И это нехорошо», — сказал голос. Все остальное — бедра, колени, ноги — не мучительно, потому что ощущается совершенно покой, возможность спокойно поцеловать. Отсюда невозможность Тебя представить не одетой. Но зато возвращенье из забытого совершенно, из юности, удивительно нежное сердцу чувство одежды, так что, кажется, и волосы я воспринимаю иногда физиологически одинаково, как какую-то экстериоризацию, как голос, пальто, перчатку, как часть тела. Отсюда новая ненависть к *Favière*², мука воспоминания, то есть, как всегда у меня, их исчезновение. Кажется, только одно воспоминание о Твоем теле, которое могу вспомнить без боли. Это когда Ладинский сказал *хорошо*, когда Ты входила в воду спиной к нам в черном толстом костюме. «Да, здоровая девушка, что и говорить», — сказал добро, с ка-

¹ ...как у ребят из четвертого полка (*фр.*).

² Фавьер (*фр.*).

кой-то благородной завистью к жизни вообще, но и с благородным каким-то «ну, пусть себе»*.

11/12.12.1932

«Кости отделяются от тела», — так я думал, бедный ребенок, который никак не может поверить своему счастью.

1

Конечно, сегодня был не самый счастливый день в жизни, но просто никогда я Тебя еще так не любил (как грубы слова!), с мучительной благодарностью какой-то. И, по моему, Ты поняла, что страшно сперва «так Она меня не полюбит», потом «так Она не будет счастлива». Самое трудное — это равновесие между нашими правдами, не [нрзб.] и не медвежья свадьба. Ибо если в тебе победит одна земля, Ты потемнеешь, ослабнешь, дойдешь до последней пустоты, если только материнское небо, Ты состаришься, не живя, нальешься водою от грусти и тоже погибнешь. Нужно, чтобы огонь сперва поднялся на небо, потом спустился на землю.

2

То есть нет такого второго, более «физического» человека, чем я. Тело для меня — Божественное откровение души, явление ее. Но странное дело. То же тело, которое только что было так прекрасно, как воплощенная доброта и сила, как живой разум, вдруг от одного «не такого» взгляда становится страшным, как грех, как смерть, и то же лицо, сиявшее только что голубиной силой, вдруг становится уродливо, львино-свирепое в силе своей.

3

Достаточно было увидеть Дину, как страх и боль сковали все вокруг, и все в душе будто умерло**.

* Страх Божий перед телом как каббалистическим чудом, презрение к себе за некоторые уступки из дурацкой жалости к ее молодости и детской непосредственности, впрочем, мгновенное тем более, что она всегда слушается. *Верит* мне, что я знаю лучше, *чего нельзя и не надо*. Помни *Favière*. *Твердое решение никогда их больше не делать*. — *Приписано на полях*.

** Перечитано в один присест. Папа режет салат, остря над Сталиным. 18.6.35. — *Приписано на последней странице дневника*.

ИЗ ДНЕВНИКА. 1933
Париж

Первого января 1933



одил по городу с открытой шеей, бледный и «слоновый». Никого не заставая, вернулся медленно домой. Вечер был неподвижно стеклянный, и медленно таинственные руки зажигали огни, низко нагибаясь к ним. Повторяя: Господь поможет жить, если не поможет, утешит от жизни, если же даже Он и не утешит, все же Он будет прав, и так надо. Выпрямлял грудь, сжимал страшные руки. Но уставал от этого и понял, что То поразительное успокоение, которое пришло вчера на рассвете, после которого я опять заснул, было чувством безопасности в «деснице Божьей», которая (вдруг понял) держит так крепко, что нельзя даже пошевелиться (как Франциск в истории с привратником). Думал о том, что было бы, если бы она (демон гордый, об котором всю жизнь мечтал, не зная даже, что вообще могу любить) вдруг подошла на улице. Поразило меня измученное лицо в сумерках с широко открытыми глазами. Понял, что потреплю по щеке, но откажусь и встретиться. Вечер был какой-то странный. В магазинах меня встречали буквально как убийцу кассирши. Медленно дошел домой. Так начался год. Самым счастливым днем жизни, слезами, и вдруг я увидел ее перед собой в пьяном хаосе, но не понял, что это она. Потом она говорила со всеми, нисколько не скрывая, прямо глядя в глаза, спокойно защищая меня своими руками. Я плакал, уткнувшись в ее колени. Она поняла все. (И все сразу усилилось под лучами ее внимания. Мука с Проценко.) Потом праздник запутался, с дневным светом возвратился невроз, и только когда я потом один днем пытался заснуть [нрзб.] спровадив немца и уложив Ладю, я вдруг не смог, не смог заснуть от невыносимого счастья, думая о том, кто будет нашими шаферами,

решил: Воронцов и Савинков. Оба воплощение не слов, а верности неуклонные.

И это был самый счастливый день моей жизни, опять понял я после того, как я был у нее и она была такая некрасивая и измученная, и день был смутный, но я понял, что мы все-таки дошли до времен, когда само собою и как благодать телесное тепло делается священным.

Другой самый счастливый день был тогда в кафе на площади Сен-Мишель, где не хватило на чай и я буквально сгорал от невроза и презрения к себе, а ты «начала тратить свои деньги». Впрочем, «начала тратить» уже раньше (когда я разорился окончательно) на углу улицы Люнен. Когда сказала: «Как я хотела бы пожить с тобой, чтобы объяснить тебе это», — а я, пораженный, сделал вид, что не заметил. «Мужчина без женщины не бывает в Боге» (Каббала), в кафе с астральными свистунами в дни страшного ужаса, неудачи и зла по утрам (страшный сон — Фавьер с бутылками в море и банками в лесу). Помогло тогда, что решил твердо: «Никогда не совершу непоправимого, пока не побегу жизнь, не получу работу, не смогу защитить».

Еще был долгий разговор с Воронцовым о Каббале, потом о России, где он себя показал действительным царевым слугою [нрзб.], а Татищев подарил мне бритвы, чтобы сделать что-то, [нрзб.] чем-то удачу и добро этих дней. Письмо от Дины о бале счастливое и крепкое (счастье мое). Дни переутомления из-за 8 часов карт после странной иллюминации о конкретном разуме, когда я заснул на минутку и во сне *узнал*, что она вечером не будет свободна. Проснулся черным (все потемнело) и весь сжимался от страха удара, звоня по телефону. Страшный разговор с Пусей на Инвалидах о том, что не только люди, но и вещи невыносимо давят на сердце [нрзб.] уничтожить [нрзб.] достоинство, откровение одиночества, и о том, что нужно бороться взглядом, как перед Богом.

Завтра в одиннадцать увижу тебя, с которой чудо почти невыносимого иногда счастья и тайнозрения вошло в нашу жизнь, и уже повсюду вокруг пустя это целительное святое тепло. Мы все, не только я, но вся группа, [нрзб.] а не только я, рвались к тебе, ждали тебя. И вот ты пришла, и все — Дина, Татищев, я, Проценко, Раиса, — все, все сразу узнали в тебе давно обещанную благодать, спасение,

откровение (Мессию этого мирка). И сразу заговорили, зашумели, обрадовались о тебе (так же, как мирок Татищева о Дине). Но кто же попадет в рай, спрашивает папа наверху «абсолютным» голосом. [Нужен подвиг] целой жизни, чтобы научиться так спрашивать, и мне больно, больно до ужаса слышать их разговор. Мамин ответ: «Справедливости нет никакой. Ты будешь вечно дирижировать».

Мама, как поразительно прекрасно прошел праздник. Что это такое. Мама, смотри, сбывается тысячу раз больше и ярче *все*, о чем я мечтал в гимназии, на приходе, в Академии, в кафе, ночью на страшных голых улицах, в изнеможении возвращаясь домой. Боже, как выразить, как выдержать это счастье (до дикой боли в сердце). Останешься без руки и ноги, сказал Пуся на Елисейских Полях. Ребенок, он не знает, он еще [не] знает, он еще [не] знает, что *все сбылось*.

Второе января 1933

И вот уже все другое, и нужно было ее возненавидеть, чтобы мочь дышать, ибо меня не мучила, а просто невыносимо жгла обида, колола и буквально терзала. Так я дошел до Воронцова, который голый, при опущенных шторах мазал кремом лоб перед зеркалом на кресле. Он был груб, и [я] ушел облегченно, ибо мне была противна его неестественно белая кожа. Нашел наконец Пусю и после шахмат, через четыре часа, смог начать немного бороться с собой. Заставить себя ничего не чувствовать. Да еще Дина прибавила, она все смеялась как обычно, говоря со мной, как с маленьким¹, рассказывала мне много диких моих слов и художеств, об которых я ничего не помнил, до того был пьян. Недаром я все-таки боялся приглашать Наташу. Как только я вошел и, дрожа от страха, хотел привлечь ее к себе, она решительно, хотя только на локоть, отодвинулась от меня и сразу сделала мне так больно, что я совсем потерялся и делал потом все наоборот. На улице мы еще поссорились из-за Савинкова, она до яркого румянца и до того, что говорила про меня, что вы грубияны, не можете себе представить, что можно носить прибор и быть деликатным. Кстати,

¹ Вечная обида. — *Приписка на полях рукой Н.И.Столяровой.*

очень характерно, что она тоже согласилась: «И я тоже слабости не уважаю».

Я — Пуся. Перед нею можно откровенно говорить и показывать, насколько ее любишь, а вот она не простила мне моего ужасного вида, до которого я дошел из-за нее, из-за того, что она опоздала на два часа. И она еще спрашивает: «он пошел рвать?» «Нет, нет», — сказал Пуся, но уже по компании пошло: «лестницу облевал». Не выдержал и позвонил о том, что *не могу* ее видеть, и чтобы стоять своего Безобразова. А она тихо, но твердо: «приходи завтра в 4». *Что будет?*

Наука, наука, не знающая ни горя, ни радости, ни добра, ни зла, ни жизни, ни смерти, но сейчас Пуся придет.

2.1.1933

Теперь мы страшно счастливы (Дина о нас).

1

Tu n'es qu'un балда¹. Сумерки золотились над полосатой крышей. Дина устала немного и усталым движением прикладывает одеколон ко лбу. Как она помогает мне любить тебя, и все как хотят этого, значит, это правда.

2

«Почему Наташа не познакомилась с мамой?» — «Это очень сложно». Действительно, все эти основные события, встречи твои с другими, «ничто», составляющее мою жизнь с Диной. Ты уже встретила с папой. Это я спокоен, ибо это самая светлая сторона моей жизни, но с мамой? Этой «ошибкой» моей жизни. (Ибо «моя жизнь» — это вся «веревка», которая становится ею, когда она перестает быть [змеею] астрального света, по сравнению Будды, и моя жизнь — это не только мое тело, а целый пучок живых волокон, идущих параллельно. Это и папа, и мама, и мои друзья, и Россия, и эмиграция, и Адамович, и Пуся.) И как светло Наташа «приняла» от Дины этот огонь охраны, как свечку зажженную, которую несут домой из церкви.

¹ Ты всего лишь балда (фр.).

3

Поезд еще раз остановился, но буквально на мгновение и не теряя скорости, так что его вовсе не нужно было толкать дальше, а он сам, едва препятствие устранилось, покатился вперед. Однако встреча была нерадостная, и [я] все время, без минуты отдыха, боялся и мучился. Я опять был «жалобный и невзрослый» и не такой, каким она меня любит, а такой, каким жалеет, болезненно восторженный, дрожащий, «saccadé»¹. Однако тем теплее и сильнее, без всякой *hésitation*² ее материнская сила излучалась на меня. «Ты думаешь, я способна видеться из сострадания. Вот у меня есть друг, который меня любит, и я никогда его не вижу». Но я страдал до того, что мне даже было скучно с ней, то есть я боялся, что ей скучно. «Выйдем отсюда... надо выйти куда-нибудь».

У меня заболело сердце, и я не могу дальше говорить с Диной. Как странно, все, что я делал, и ничего не помню (это как объективный дух Гегеля). Мял Терешковича, сукин сын, гений в Лувре, Татищева мял, как медведь, Карского. И все чувствовали, все ждали тебя, а ты и не отказывалась от того, что ты должна прийти, подтвердила молчаливо, что я мог тебя ждать и плакать. И опять эта игла в сердце насчет Проценко, и того, что он положил голову на твои колени (как страшно в «Митиной любви» это описано). Дина сразу поняла. «Конечно, ведь в нем нет ничего ребяческого, он весь мужской, как Пуся, и это ведь была для него твоя невеста как бы». (Теперь это пойдет меня мучить.) И Наташа не могла не позволить, потому что я здесь лежал. И внешняя логика жизни как бы вне плоти, как «в Царстве Небесном». «Останешься без ноги и руки», я уже вижу, как бы я тебя ревновал, в одно мгновение все превратилось бы в уголовщину.

4

Все есть совокупление положительного и отрицательного, и «кормчий всему молния». Вождедея что-нибудь, мы посылаем, изливаем в его сторону свой астральный огонь и вступаем в брак с этой вещью, с костюмами, то ли с духами или с путешествиями. Огонь смешивает, сращивает душу.

¹ Прерывистый (фр.).

² Колебание (фр.).

Темнеет, теперь скоро уже и увидимся, а я трачусь в разговорах и не пишу ничего, не пишу писем, ибо все, что я пишу, это только письма тебе. Чувство непоправимого — физический ужас, нравственное бесстрашие, свобода, будущее. Татищев напрасно уступает, я не хочу, чтобы мне уступали, я хочу жить среди равных. Говорящая колонна среди говорящих колонн, и я устал от детской ноты и от отцовской, не отец и не ребенок, а равный всем одинаково, (почти невыносимо) нагруженный, так же могущий в одну минуту сокрушиться в пыль. Конец безопасности был началом жизни. Темнеет жизнь, в темном кафе, когда гроб в цветах проехал в зеркале, мы еще раз поняли, что ко мне и к нам ко всем она снизошла, «как начало времени пощады», когда мы уже отчаялись даже в отчаянии.

Переч<итал> 2.8.1934.

Кончилось, кончилось, кончилось, стучит сердце.

1

Каждому в начале жизни дается его спасение на руки в виде некоего капитала не мертвого золота, а скорее некоего подвижного тела, которое как бы мужской огонь, мужское семя, в каждой душе само собою естественным тяготением рвущееся к жизни, рвущееся вступить с ней в соединение-совокупление, срастись с ней, в результате чего они двое делаются роковым образом одной плотью*.

2

Однако этот пыл** может быть отведен, отторгнут от своего природного русла и весь обращен к Богу, тогда, поднявшись на небеса, он возвращается к земле с неба, уже не притягиваемый ничем, а жертвенно, как рука, которая глубоко погружается в песок, но может быть в любую минуту извлечена обратно, она не склеивается с ним, не становится с ним одной плотью, и это есть святость или «union complète»¹,

* Длинно и словесно. — *Приписано на полях.*

** Половой пыл срастается с своим объектом. Пыл святости, как рука в песке, в любую минуту разожметя — и прощай все.

¹ Полное соединение (*фр.*).

в точности это есть половое совокупление с Богом, достигнутое только редчайшими душами, и не об этом сейчас речь.

3

Но астральный огонь, падающий на землю, несмотря на уступку этой его склонности, называемой иногда перво-родным грехом, все же может не погубить человека, ибо от века освещен Богом иной путь, путь земледельца или добродетельный брак, в котором золото, падающее в землю само собою вместе и в обличии ее возвращается к Богу и солнцу, подобно зерну, прорастающему из земли. Ибо муж, хотя и вожделеет жену свою, но за этим вожделением не-сется к ней и все добро его души и так согревает, просвечивает эту часть внешней жизни, что та медленно и постепенно сама возвращается во плоти к Богу, это как бы рука, сросшаяся с песком, но так прогретая его своим теплом, что [нрзб.] или целая вся вместе с нею возвращается, когда наступает время отливу жизни извне вовнутрь или свертыванье развернутого*.

4

Но если астральный огонь упал и сросся с жизнью вне добродетели; и не так, как с женою, погасла медленно первая мука тела и медленно небесная любовь старости наполнила все [не] как жертва долгой жизни, а как пыл развратника, рассеянный по бесконечному количеству горячих тел, и когда он захочет собрать его обратно из коагуляции сгустков его грехопадения, он почувствует, что там они заживо погребены и не отвечают на зов, тогда начинается для развратника мука Дон Жуана, который после смерти так и будет странствовать по отелям своего блуда и искать свою рассеянную жизнь. Так золото астрального огня как бы можно только дать взаймы жизни, — но рано или поздно следует начать собирать долги, ибо оно есть цена Царства Небесного и выкупа души**.

* Нужно, но длинно. 2.8.34. — *Приписано на полях.*

** Отлично. — *Приписано на полях.*

5

Это как в страшном анекдоте с Медведем: «отдайте мою ногу». Рано или поздно рука должна быть обратно собрана из материи, и вот тут-то она начинает замечать, что вступила благодаря жажде преступной с недостойной жизнью в столь тесное соединение, что не может освободиться, а так как ангел смерти идет уже, то она будет отрезана от туловища и будет жить вместе с телом как в страшном стихотворении Лермонтова, где после смерти он видит себя прикованным к гниению тела.

6

Это и есть погребение заживо, окаменение заживо или приход каменного гостя. Но что есть мой случай. Я весь астральный огонь разобшил от жажды жизни, но не смог опять найти Христа, который есть брат мой, человек на земле. Я как бы миновал центр религиозного круга и вступил в прочнейшее соединение с реальностями интеллектуально-титанического (ментального) мира, и они хотя и бессмертны (защитил, спас свои [нрзб.] заживо от рассеянья), помешают все больше и больше следовать за другим свертываньем, другим отливом жизни в глубину свою, следовать за возвратом в Эдем — рай и [нрзб.] мир. Ибо легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное, и ужас этого заживо погребения значительнее, больше, ибо ярче и чище сфера, где стоит стеклянный гроб Аполлона Безобразова, откуда он, однако, не услышит трубы воскресения мертвых*.

7

Тогда, поняв это, я решил и стал искать спасения в браке, стал искать Христа в едином человеке, и так не погибну благодаря тебе.

Мучительно писать (разговор с Татищевым). Немец погрузился в АРТ, свесив свои дурацкие локоны.

5.1.1933

* Неплохо. — *Приписано на полях.*

О России

1

Французская живопись есть плод французской мирной патриархальной жизни (жизни Моне, напр<имер>) к дереву жизни, истинной любви ко всему живому, и она сделалась каноном живописи. Вообще национальное это придало свою форму интернациональному, как, напр<имер>, еврейское добро сделалось добром вообще, ибо оно сейчас лучшее, или немецкая философия*.

2

Россия погибла оттого, что Петр сбрил бороду и, куря трубку в виде члена, пел похабные песни на улицах Москвы, из-за плоского протестантизма Петра, ибо кончился царь-батюшка, наместник Христов. Каббалистически это муж-монарх, не уважающий своей жены-народ и насилующий ее не в любви и согласии, не природно и благостно. Отчего народ и родил уродливое беспочвенное дитя — интеллигенцию.

Надежда Петровна жалуется наверху на дочь.
Кики рычит на Мимишку. Мука из-за отсутствия денег завтра на синема. Тяжелый мрак вечернего сна.

9.1.1933

После того как я запретил себе думать при папе, Ладе и маме, под Ладин рассказ, бесконечно правдивый, о русских ресторанах (о Маяковском), когда я ясно почувствовал, как отвратителен мне этот вечный разгул, вечная смена происходящего, чтобы увидеть которую, нужно идти из происходящего, (в то время как) жизнь и Бог, как кровь, скрыты именно внутри происходящего, и вдруг останавливая тормозы, препятствую раскрытию до боли в носу сферы за сферой, я вдруг получил прочный козырь [нрзб.] в своей игре-муке-деле, открытие, которое будет иметь для меня колоссальные последствия, а именно, что всякая дружба для познания из корысти какой-то внутренне пуста, и всякая интересность человека внутренне неинтересна для облада-

* Пикассо — начало конца. Дерево знания. Парижская школа. — *Приписано на полях.*

ющего всей полнотой логической реальности, или во всяком случае временна, пока не разгадаешь тайны, не утилизируешь намагниченность данного человека относительно мира вещей — понятий, из которого он изошел как поляризация фона (ой, ой, ой, стону я вслух под желтым огнем лампы, зачем я столько знаю, как тяжесть ответственности, кстати, завтра пойдем обязательно в префектуру с Пусей на счет торговли газетами). И что ценно — лишь общие воспоминания, давняя близость, золотая тайна, взаимная обжитость, спаянность кровью, теплом Христа в прошлых жизнях, и что самый лучший способ заполучить еще провиденциально магическим путем таких извечных, из прошлых, родных душ — это родить их телесно, сделать их своими сыновьями и дочерьми, дав им наитончайшие наэлектризованнейшие тела. Ну, чудо мое дуся, святая, прощай. Ты знаешь, Ты уже приснилась мне раз без ужаса и страха в том теплом сне, где папа был в берете. Звери с полки ожили и свинцовые и неуклюжие шли по дороге, а Ты плыла в синей воде, как будто летела — одетая в какие-то голубые, необычайно красивые одежды. Сегодня опять был самый счастливый день в жизни. Час всего, но весь без пятнышка, как наконец заставившая себя услышать прозвучавшая величественно спокойная музыка. Это я понял «магическую» свою ошибку: не ребенок и отец, а брат [нрзб.] Гильгамеш, страшась и угодный Богу, сказал голос: «Я принимаю эту на себя», я скоро смогу ответить на этом громовом и тяжелом языке перед грозой. И сразу, как в лучшие дни, я увидел перед собой прекрасный горный пейзаж, горы в синеве дождя, страшные и суровые, а у их подножия наш дом, низкий и теплый, и солнце на его соломенной крыше. «Отпусти бороду», — а я тогда не понял.

«Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы» — это и было открытием, и сразу после муки и молитвы голос сказал: «Не плачь и не притворяйся ребенком, не фальшивь, не нежничай, не спеши». Два равных величественных, фресковых, микеланджеловских человека. Суровость и нежность движений, глубокий голос, серьезный львиный взгляд, видящий далекое. Я понял, понял ноту нашего счастья, казалось мне, и я дошел домой в каком-то безумии счастья, благодарности, веры, повторяя: «тяжелые колесницы, тяжелые руки, мой спорт, теплый глубокий го-

лос, гром тяжелых пушек, гром, духота, сила, вера, мужество». Вот что значила эта загадка. Я разгадал, казалось мне, и так в иступленной усталости дошел домой, где дверь была заперта. И Раиса сказала: «Какой Вы сегодня красивый и как все с Вами носились, жалеючи, на балу, и она тоже». Я заметил ее руки, такие тяжелые, желтые и красивые. Затем я заснул от усталости, проснулся при немце в муке, тяжелый, страшный, белый, почти в отчаянье, и сел читать. Слава, слава, слава создавшему все, в меру нагрузившего всех.

Мама вернулась из лавки в слезах, старой. Сегодня впервые, может быть, проснулся счастливый, белое солнце, думаю 10 или 11, и обрадовался тебе и жизни.
10.1.1933

12.1.1933

Макс Шелер

Как, однако, я быстро падаю с высоты своего «нового стиля». [Нрзб.] когда ты меня оставляешь, не могла или не хотела? Пуся о тебе в «Capoulade»: «была недовольна, что меня увидела, искала кого-то со злым лицом». А как я, дурак, целый день готовился тебя увидеть, нехотя работал (не мог работать из-за боли в носу, день отпуска, заставил себя вынырнуть на улицу... прямое утверждение вне разума, сквозь утомленье и бледное солнце), зашивал брюки, чистился, брился. И вдруг новый, впрочем, другой, уже теперь менее насмешливый, голос Кати: «приказала звониться завтра». И сразу все остановилось вдруг, медленно, еле двигаясь, шел к Проценко, затем мука у Татищева, с дураком [нрзб.] натрудившим ручку, [нрзб.] каббалистикой, и мучительно кашляющей Диной в том самом халате, из-за которого была последняя ссора у Пантеона. <...> Унизительная откровенность, дрожащая тяжелая нервность, холодная рука Лиды, которая все хотела тронуть мою (я отстранялся). Леля отвратительный себе в зеркало, нелепый Мандельштам. Ссора с Гариком, который долго и жалко ругался после того, как я оттолкнул его в грудь. Жара, сдавленность, нервность, нервность, истреби их, и съел настроение [нрзб.], Мандельштам: «Разве он может любить, он равнодушен ко всему миру». Тя-

желые и черные, они ушли, я им, конечно, что-то сделал, отравил их чем-то, упрекнул «между крестом и топором», опять: «Митя в беседке», пришел к вам, как в публичный дом, когда уже хуже не было. Измученный, разгоряченный, ждал Пусю около метро «Вавен», и мы долго ходили, ежась при луне, и он каялся о испанке, которую он, слава Богу, не употребил. Видел ее, у нее дрожащее взволнованное чахоточное лицо большой красоты. У дома Пуся показывал «смерть, которую нужно носить на себе, ибо смерть боится смерти», сделанную и раскрашенную сумасшедшими испанцами. В общем, «отдайте мою ногу», уже видимо и несомненно, что, впервые рискнув, я могу много проиграть и выиграть. Днем молитва, тяжелая гимнастика <...>. Вчера не молился, ибо слишком был восхищен и измучен и слишком утомлен иллюминацией, внебожественной, холодной, логической лучезарностью.

Студент, никогда не делающий в штаны, мучает Кики, стекло часов разбито, и я не знаю, когда будет время уже тебе позвонить.

Заработал 10 фр., научился в совершенстве вкладывать объяв<ления> в конверты.
Ожил наконец относительно тебя.

12.1.1933

Из двух сладострастников каждый иссякает в самом себе. Сон, мертвое безразличие, если не отвращение, есть железный венец дела. Двое же любящих иссякают, измучившись, в третьем взаимном ангеле их любви, который вскоре и рождается как их победившая смерть любовь. «Смотри, наша любовь победила смерть». И тогда тела измучены братски, детски согреты души.

12.1.1933

Грубая хамская брань с матерью из-за грошовой каши для немца. День идет дальше. Ездил в консерваторию, работал, пораженный [нрзб.] который читал в метро. По поводу француженки в расстегнутой шубе, которая пыталась

со мной знакомиться. «Как, однако, Ты, Господи, держишь меня в руках этим неврозом», особенно прежде. «Потому что от счастья и славы безнадежно черствеют сердца». Незаметно, возвращаясь, помирился с Тобой. Это я перемучился, переболялся вчера, и мне стало мертво и пусто, я даже теплоты Твоей больше не понимал. «Разве можно так запугивать, Расскажи да Расскажи, довела меня до слез, правда, потом, потеряв голову, я немного кокетничал невольно, вернее, ломался, играл какие-то кошмарные роли, навязанные нервностью. Так вообще хочу Тебя видеть, это так трудно, и я так мучаюсь, жду и волнуюсь, что уж я и не рад, когда это случается, ибо и сердце и голос у меня отнимаются. Мне хотелось уйти, лечь, забыться.

Милое. Перчатки, гребенка. Как наши руки похожи. «И конечно, мы — мы». «Все будет хорошо, не мучайся». Моя рваная фуфайка. Дорогое телесное тепло. Слишком много о тебе думаю, слишком боюсь, слишком мучаюсь, и счастья нет. Одни эти телефоны, на которые уходят последние деньги, когда почти нечего есть. Но может быть, ты действительно занята.

Печка трещит. Дина в красном халате закуривает перед цветами. Как хорошо, что они решили, наконец, искать квартиру. Снова кости отделяются от тела.

18.1.1933

1

Кроме узкого пути и пути гибели есть еще средний путь, то есть кроме безбожия и христианства есть еще иудейство, и христианство вовсе не отменило его, вернее, православие есть улучшенное, возведенное в свет иудейство. Поэтому православие не понимает святости — девства, потому только счастливо женатый может быть православным. Одиночка же, неудачник, раскаявшийся изверг по праву должен быть католиком, то есть тот, кто отверг мир совершенно, (должен) отвергнуть мир совершенно.

2

Неудачники, ибо если можно сказать, что Бог любит суворее, чем один человек другого, ибо Бог с человеком лишь

иногда и постольку, поскольку человек прав, а человек с человеком всегда при всех обстоятельствах и никогда не отказывает ему в своей благодати, то также правильно и другое, а именно, что любят, могут полюбить только физиологически правого, то есть все-таки богатого, чем-то прекрасного, а окончательно растратившегося, состарившегося человека никто уже не полюбит, кроме Бога.

6

«Вот наша любовь победила смерть», не жизнь, а любовь побеждает смерть, ибо жизнь творится из небытия ценю вызова к бытию отрицательного электричества смерти, и только сублимацией, повышением своего потенциала до уровня любви она побеждает смерть, с которой она нейтрализуется на обычном своем уровне — жажде.

7

Ребенок есть не продолжающаяся жизнь родителей, а продолжающая жить любовь их и не [нрзб.] тел жизней передается детям, а свойство любви их, так двое злых, пока явшись в любви своей, рожают ребенка не как порождение себя, а как воплощение своего покаяния, доброго ребенка — удачного — воплощение доброй и удачной любви от злых и неудачников.

Письмо, которое я так долго носил с собою,
в Безобразов привело меня в новое бешенство и дало
мне новые силы против нее, ибо как ненавистен
человек, считающий себя правым.

19.1.1933

Plusieurs propositions antichrétiennes¹

3

Не познавшие и не понявшие семьи погибают от магической ошибки, ибо магическое действие может быть на пользу лишь параллельное, потому что параллельные линии жизни, разврат с новыми и новыми людьми est une pure perte².

¹ Несколько антихристианских предложений (фр.).

² Чистая утрата (фр.).

Они погибают, а Левины семейные, хотя и скопидомы и кулаки, торжествуют в своем долголетии, ибо угадали магическую правильность, угодили Богу жизни.

Разврат бесконечно жесток к индивидуальности тогда, когда она лишается сил и блеска, ибо кому нужна и кто пожалеет, кто полюбит *un vieil omnibus*¹. Семья — это кровный союз параллельных жизней, которые старятся, нищают одновременно и всегда берегут друг друга. Берегут их и дети, эти сбережения жизни, и в таком кругу из него жизнь среди преисполнения благодати отлетает к своему создателю, ибо если рождение есть слово, вопрос, летящий от Бога к жизни, смерть есть ответ от матери к отцу.

6

Мука святости есть невозможность раздвинуть семью до универсального братства, ибо раньше всего семья есть магическое целое, собрание физиологически, нервно, социально, культурно и денежно однородных и связанных людей, внутри круга которых возможны чудеса понимания и жалости.

7

В досемье «никого не жаль», в семье «бесконечно жаль своих» (чужих Бог пожалеет), и эти свои под рукой и потому им в меру сил — полная жертва собою — полезна, в святости «жаль всех», и это «не в меру сил» и полная жертва собою бесполезна, ибо им и не понять твоей жертвы, они другие, чужие, им наплевать, хоть и больно им, вот отчего Христос плакал, он плакал от стыда за Творение, за Бога, который, опьяненный любовью, как Парис на пиру богов, опьяненный амброзией при рождении Афродиты, не учтя мук, закрыв глаза на муки, сказал: «Да будет свет», — и свет отделился от тьмы, разрушив первичное спокойное небытие*.

8

Когда евреи поняли, что такое христианство, их охватил ужас: «это против природы», это против меры человеческих

¹ Старую рухлядь (фр.).

* Какое добродетельное многословие. Стыд и позор. — *Приписано на полях. Параграф 7 перечеркнут.*

сил, это конец счастья семьи, родины, радости, и они были правы, ибо пастор оставляет все стада в поисках единой заблудшей овцы и не утешится никогда, и вся краса мира для него покажется отвратительной, если она запуталась без исхода, да и к тому же не ищет спасения, посылает его к чертовой матери.

9

Мое глубокое убеждение, что Бог никогда человека не предаёт, если тот к Нему обращается, и всегда Он тем ближе, чем тяжелее нагрузка мук и препятствий. Ибо сдавленной со всех сторон, гонимой [нрзб.] жизнью, как растение, тянущееся вверх из городского двора, душе легче броситься к Богу, то есть излиться вовнутрь, чем душе, которой все пути открыты и которая легко вступает в непоправимые связи с недостойной жизнью. Нет, окончательно ломает и губит один человек другого, ибо судьба может только свести с человеком, но человек свободен подвести друга, брата, мужа, ибо он не машина, и Бог бессилён перед его свободой. «Ломает» только человек человека, ибо он безвозвратно хамит, а Бог с возвратом, одной рукою наказывая, а другой утешая, нашептывая утешенье от сердца к сердцу скованному рабу*.

10

Однако опасно слишком близко приближаться к Богу, ибо семья есть объект применения Божественных сил — солнечного жара, а святость — вступление в самый субъект Бога, слияние с причиной и понимание, сочувствие, «каково» Богу смотреть на мир и видеть железный посох судьбы, опускающийся на мир. Мука святости есть мука Христа о мире, и она безысходна.

11

Времени больше не будет, время свернется, и все его моменты будут одновременно мучить сердце Бога, как незаживающие раны, ибо времени больше не будет, чтобы им зарости. Старый Бог умер от сострадания, говорил Ницше, вся разгадка пафоса которого в этом слове, только он пытался его ограничить «высшим человеком».

* Длинно. — *На полях.*

12

Итак, тот, кто попал под колесо, кто растратил силы на разврат или на святость, тот понимает, каково миру досемейных осужденных народов, и я сейчас таков, и от меня зависит, прошу ли я свои муки или не прошу Богу и сделаю непоправимой свою боль, как рану в теле Иисуса, или же прошу, поверю и приму на себя вину за свои муки.

13

Знание же вредно, ибо если индивидуальность есть мнимое, нанос, фокус свечи, игра принципа индивидуации, законы отношения к ней есть равнодушие к ней в себе и равнодушие к ней вообще, напрасно она упорствует и упрекает, ей бы лучше понять, что она ничто, и смириться, погибнуть, если она окончательно проиграла — потерять сознание, попытаться выиграть, если еще не все растрчено — обрести полноту знания.

14

(Индивидуальное временно в себе, оно ничто, но оно нечто в глазах Иисуса, и Он воскресит всех в последний день и всем несчастным предоставит счастливую жизнь, но когда это будет: не все ли равно, сколько веков пройдет до этого, ведь сон без сновидений в тысячу лет не длинней, чем сон без сновидений в одну секунду, и не короче. Но если они слишком порочны, Он вспомнит — воскресит их в других подходящих для них мирах. Нет, это не совсем то, дело ведь здесь не в бессмертии души, а [в] искуплении прошлого, прошлое всякой жизни искупается в жизни загробной.)

15

Измученный, я отхожу в великое исходное основание матери, я превращаюсь в зрение, чтобы ничего не чувствовать, ухожу в вечное бывание из временного бытия. Кто осудит меня? Жить так было слишком тяжело, значит, ты никогда не узнаешь, «каково» человеку под колесом судьбы, не простишь, не искупишь этого состояния глубочайшей боли.

Теперь началось состязание в терпении и кто окажется бесстрастнее, победит, если не победят оба, то есть победой своей не разрушат «поля». Я добился от нее «обнажения причины» (письмо о свободе последнее, которое так подогрело мою ненависть, возмущение, подтвердило меня в моих подозрениях). Но она не видит, чем это плохо, и считает, что я, одумавшись, вернусь на старое жалованье. И только когда она поймет, начнет понимать, что Бог меня хранит от недостойной жизни рабской, хотя бы для себя она пойдет на уступки или уйдет совсем — что и требовалось доказать. Но что бы был я без молитвы теперь, а теперь мне ясно: или проиграю и освобожусь, или выиграю и буду богат, но зато терпи крепко. Ибо в нашей борьбе победит тот, кто свободен окажется от змея, закусившего свой хвост, — жажды*.

Видел «Mädchen in Uniform»¹. Даже плакал, бесконечно трогала самая простая музыка, взвесился в метро, 77 кило, это да, всего 3 не хватает до poids lourd².

Снова в электрическом поле

1

Нет тепла, нет дружбы, нет жизни вне природы. Когда друг оставляет друга, чтобы пойти на свидание, друг не обижается, он знает, что это важнее, затем расходящимися кругами, в которых тепло уже слабеет, класс — экономическая семья, нация — та же семья — раса, человек вообще ближе. И Христа в этом нигде нет, ибо по мере ослабления иудейского чуда мужа-жены — слабеет и тепло. Принесла ли его хоть капельку антиприродная жертва, порыв к чужому, вне естественного кровного сближения? Сомневаюсь, ибо сразу ненужность, «нечего сказать», «никогда не поймет», то же хождение в народ.

2

К чему же здесь во всем Христос? Обещание: некогда будет рождаться жизнь и тепло не там, где хочет природа, а

* Античная меланхолия. 2.8.1934. — *На полях*.

¹ Кинофильм «Девушка в мундире» (нем.).

² Тяжеловес (фр.).

там, где хочет свобода, произвол, выбор. Христос причина плохих браков. Пуся и Дорис, я и Дина — *сколько горя приносят такие чудеса.*

3

Устал, огромный и грязный завалюсь сейчас. Письмо пошлю завтра после 12, чтобы она получила его утром, на заре дня, когда трудно начать жить и нужно друг другу помогать. В церкви не был, Китя помешал, и письмо вышло на 18 страниц. Мороз и молитва, вот все об этих днях, каждое утро на рассвете и этим весь день жив. Вчера страшная иллюминация, воскресение из живого гроба жажды. Сегодня молитва о ней. Господи, разлучи нас, дай, чтобы этого не было, если Ты знаешь, что я не смогу заработать денег, выбиться. Никогда, может быть, не было столько света, такие лезвия не вонзались в сердце и путь к Царству не был так видим, и все-таки так это его деньгами я откупился от дьявола, я принадлежу ей и не иначе как вместе перед Богом, если только она захочет.

25.1.33

Вот мое рассуждение, оно просто и неопровержимо. Чувствовать на твоих руках, волосах, на твоём лице чужие поцелуи, чужие прикосновения я не хочу, и потом я всегда буду думать, что ты, уходя от меня, идешь к ним познавать жизнь фавиерским способом, поэтому завтра, несмотря на твои письма, на мою, на твою любовь, все кончится из-за *разврата*. Ибо ты не уступишь (через полгода уступила бы, но теперь непоправимая истина вышла наружу, как бы нарыв лопнул), и я не уступлю. Так мы и расстанемся, ты к своим скотским опытам *demi-vierge*¹ из «Капулада», а я к своему железному христианству.

Голос сказал, победит тот, кто сильнее подавит в себе сексуальную муку, может быть, повременит с ссорой. Видеться редко, отказываться от любовной близости всякой. *Да*. Но тогда начнется вдвойне железная жизнь. Только удастся ли это, ибо страшная ангельская злоба уже проснулась, и как долго и как зрительно ясно я воображал себе, что я избил бы, убил бы ее, если бы она мне изменила.

¹ Девушка легкого поведения (фр.).

Яркие зимние дни, по утрам, когда хожу пересаживать тетку, дикое счастье холода, силы, здоровья, веры, потом устаю и к трем часам еле живой прихожу домой. Долгие молитвы на рассвете, вчера 1,5 часа и сегодня больше часа. Бог страшно помогает и обещает взять совсем к себе, если не выйдет чистой магической жизни, а сегодня стало ясно, что не выйдет. Четвертого дня перед ее письмом ослепительная иллюминация о живом гробе жажды, о рождении, воскресении и иной жизни сквозь такую дикую боль, как будто шел на бритву, и все-таки шел, обливаясь слезами и простирая руки, в грязной своей рубашке, к окну, где золотым пятном вставало солнце. Небывалая, никогда не сбывшаяся близость Христа, ранее никогда не бывшая и довольно легко переносимая сдавленность жизни. Ибо ни работы, ни литературы, ни Наташи, никого. Один с Богом.

2.2.1933

Nuit complète¹

1

Все меньше надежды и веры, вездесущее чувство грязи, от которой трудно отмыться. Не могу даже позвонить, до того противно всякое напоминанье. Постепенный конец яркой зимней погоды. Старый торжественный вагнеровский дождливый фон постепенно выступает вновь, особенно сегодня на Marché², когда я, нервничая, покупал папе шляпу. Вообще страшная нервность со времени смерти тетки. Пришел, обливаясь слезами от одиночества в Боге, и тотчас подумал, что бы украсть, украл одеколон и морфий, читал Псалтырь, обливаясь слезами, а на следующий день после пятницы и ссоры с Нелидовой, переволновавшись, молился прямо на улице от Пуси до Проценко, почти у каждого фонаря, если этот человек на тебя не посмотрит, Бог тобою недоволен, вернись и победи страх, и я вернулся и «долго» молился на коленях посреди Gobelins под фонарем. Потом в понедельник на Marché, когда я отчаялся, как мертвый, пришел ответ: «Это я все это сделал, и ее болезнь, и во мне всякое благоприятствование и всякая разлука». Но тотчас же я, ободрившись и [нрзб.], а вчера и позавчера

¹ Глубокая ночь (фр.).

² Рынок (фр.).

были совсем мертвые дни, ни ее, ни работы, ничего вообще, только яркие астральные сны по ночам, как сегодня башня и великан, за мною Дина, встреченная на половине высоты, где я устал от высоких ступеней, ангельская (разочарование) мельница наверху. Потом астральное письмо, также на облаках, разноцветное «не убивай». То ли готовится последнее решительное столкновение и оба врага молчат, то ли она действительно больна. Замечательна моя первая реакция, а вот и тебя Бог настиг, ну хоть бы ты умерла, сволочь, а потом, ну хоть бы посерьезнее, и только в синема на следующий день вечером меня разобрало, и я прозвонил пять франков, каждый раз встречаемый ярким и наглым голосом Кати. После ненависти — равнодушие (ну, слава Богу, месяц отдохну от этой бляди), любви страшной (ну хоть позвала, если только не позовет), снова ненависть — равнодушие.

Карты, дождь, ведро с углем и <...>, молитва, церковь, тетка и фотографии, нервность, болезненные отношения с Диной — Николаем, которому я, может быть, даже мешаю*. Кошки, хмурость папы, освобождение от всего на улице под ритм шагов. *Je suis un moment de la pensée universelle*¹. Большие «Светы» за переутомлением. Вот моя жизнь и сны, бесконечные, путаные астральные сны с полетами и странными ландшафтами. Победит тот, кто сильнее другого победит в себе чувственную скуку. Но жить вне ее, пожалуй, сейчас желание победы, ибо «какой победы», победы ведь так различны, и если бы когда-нибудь у нее было такое лицо, как у бабушки моей на фотографии, кроткое, святое и упрямое, нет, она уже истаскала свою жизнь и лицо старое, вялое какое-то. *Après tout, c'est une demi-vierge, et c'est encore plus sale qu'une putain*².

Борис, вот здесь есть горячий картофель, если желаешь кушать, и салат вот еще. Милый папаша.

2.2.1933

* Забавный сон с неприличной влюбленностью в какую-то сухую женщину с орлиным носом. Проснулся радостно, ах, значит, я еще могу любить и не вечно «царство блядей». — *Приписано на полях.*

¹ Я — мгновение всемирного мышления (*фр.*).

² А вообще она девица легкого поведения, что еще хуже, чем проститутка (*фр.*).

Ressemblances cabbalistiques¹

4.2.1933

В церкви я горько плакал, мучился самолюбием, актерством, нервностью, отсутствием платка, болью в коленях, но никогда еще служба меня так не трогала, не проникала до глубины нервного существа. «У обоих нас, у меня и у тетки Нины, никого кроме Тебя, Господи, нет».

Возвращаясь с Диной, чужой и хмурой, в новой пушистой шубе, в такси Ладином, все ниже и ниже склонялся к отчаянию. И дома лопнуло, прорвалось по ничтожному поводу (из-за молока), разбросал мебель, повалился на пол в исступлении, наслаждении, отвращении, отчаянии, пропадай все, странно, сладко даже было лежать среди побитой посуды (кстати, повалившись вся вместе со столом, она чудом не разбилась), лицом на линолеуме среди воды, как в крови — имели, имели вы меня. Дина здесь очень помогла, утешала, гладила, целовала, била, прижимала к себе. Потом <...> дома у нее совершенно успокоился и примачивал алибуром разбитый лоб, когда пришла мама извиняться. Договорились до страха, и когда я ее провожал с Татищевым, снова холодок, что он ревнует, что ли*.

Папа и мама обедают. В разных носках пытался себя успокоить в Люксембурге. Измученный вернулся домой. Живи в науке. Это твое уже завоеванное.

4.2.1933

Что со мною, или я и всерьез впервые в жизни сомневаюсь в Боге.

Хозяйка хамит из-за чернила, но ты не уходи.

Не поддавайся, вообще, защищай свою правду.

¹ Черты каббалистического сходства (*фр.*).

* Утром светлая молитва, но какая-то без сил после страшного разряда вчера, близость к тете Нине «будет помогать Вам», будет ему за это счастье, поразила мысль такая простая Дины, что, так забинтованная, она, может быть, не может писать. Мука телесной близости у киоска с фотографией Лионского вокзала.

Сон ангела был долог, точно римская дорога, огибающая землю, точно солнечный путь, возвращающийся к началу, — точно тело змеи, закусающей свой хвост. 2.8.1934. — *На полях.*

Rapport concret¹

1

Светлый день, может быть, и жить было не трудно. «Je suis presque heureux»², — сказал бы я, если бы увидел Тебя. Только когда не застал Дину, тотчас же обнаружилась хрупкость с трудом построенного настроения. Сейчас же опять выплыл под писк птицы и желтый режущий электрический свет. Видеть Тебя хочется не очень, и все сильнее, яснее понятна важность, решительность, непоправимость того, что будет, и встречаться не хочется, не хочется и писать. Вчера от усталости почти не жил, лечился отсутствием, едой, сном, позавчера до утра морфий, Лида, музыка. «А танцуете Вы лучше всех». День был удачный, и только к вечеру оборвался, подался в болезненно-радостной спешке бриться, мыться, одеваться. А позавчера были эти страшные слезы и похороны. Только по временам небывалая, редкая сладость воображения, и кажется, что все будет хорошо, но как это опасно. Берегись, милый.

Теперь лает собака и орут французы, но я, кажется, привык к этой дыре.

2

Что более всего похоже на решение творить, мировую причину, начало всего. Это минута, когда двое любящих друг друга так счастливы, что им становится стыдно как-то и жалко, что их такая прекрасная любовь не будет иметь свидетелей, пропадет бесполезно. Тогда они решают иметь ребенка, дабы он был свидетелем и наследником их любви. Так Бог и Жизнь решили по любовному согласию родить Адама и Еву*.

3

Что больше всего похоже на грехопадение Адама.

Жена, изменяющая своему мужу, и боль Бога на боль мужа, не могущего объяснить ей, что она не права, пока на опыте не испробует наследие греха.

¹ Конкретный рапорт (фр.).

² «Я почти счастлив» (фр.).

* Чудак, ваше благородие. 2.8.1934. — На полях.

4

На что похоже раскаяние души и благодать.

На возвращение жены к мужу, и поэтому смирение и молитва так трудны для мужественных натур; на возобновление совокупления Отца и Царства, сама же благодать — духовное семя, перетекающее от мужа к жене и рождающее жизнь.

5

На что похожи конец мира и страшный суд.

На комнату — квартиру умершего человека и то чувство безразличного уважения, которое испытывает наследник при виде грязных и запотелых вещей умершего. Сжечь бы все это поскорее и оставить только стоящие, ценные вещи «на память». Очистить бы поскорее комнату от грязных, замученных отбросов, уйти, спешат ангелы мщения.

Трудный день, снова мука в груди и все время придется идти в гору против самого себя, против себя, против счастья-страдания.

7.2.1933

Джордано Бруно

1

Первый день, как я с утра пытаюсь работать, вчера весь день ходил, истребляя и подавляя в себе все живое. Тяжелый стоический пыл чистоты, усталость, заснул рано и видел сны о Дине, которая опять мучительно близка. А она все плачет и мучается, запутанная в деньги (?) слабоволия Н<иколая> (с Мишей и Мишкой), болезнь, какое-то особенное, нам с ней так свойственное чувство непоправимости всего. В общем, жизнь гонит меня в гору, вытесняя из себя, и отчаянность будущего сражения все копится.

2

Бог бесконечен интенсивно и экстенсивно. Мир же только экстенсивно бесконечен, гадает Бруно.

5

Всякое объективное целое есть всегда целая объективность какого-то централизованного субъекта, итак, все ми-

ровое пространство есть риза одного Бога, однако существуют ли вне его другие мировые пространства, на лоне мирового [нрзб.] пространственности другие ризы шире — темнейший вопрос.

Итак, реальны Бог и Божественность, неиссякаемая бездна Божественности. Конечно, Бог, но тогда Он одинок и несчастен, ибо как же, если Он Бог, Он живет без Бога. Он один во всем Творении не будет иметь, где преклонить голову, и в том одиночестве Он один никогда не познает молитвы. Да, но одиночество это разделено и утешено жизнью, супругой, ее и их любовью, ну а выше ужели ничего нет над ними, кому они могли бы помолиться, ибо они одни во всем Творении были бы безграничными (?) существами.

Над каждым сотворенным Богом есть другой сотворенный Бог, а перед ним супруга его, а над ним сумма их, их центр — любовь — одна корона двоих, и над нею и ним Бездна, где преодолевается принцип индивидуации или число.

Забудем об этих семидесяти франках. Бобик, смотри, что я сделала со своими иконами. Как, однако, тихо у Дины, святой кролик Божий.

9.2.1933

Le soleil se lève lentement¹

Несчастье приближает человека к смерти в Иисусе, ибо оно делает жизнь горькой и облегчает развод, разлуку с ней заживо. И этим облегчает путь. Но зато только счастливый в браке может почувствовать, представить себе сладость любви мистических супругов в Боге и как им стало невозможно дать ей забыться.

9.2.1933

Так вдруг, как будто гром послышался надо мною, и я понял, что я тоже буду сейчас счастлив, и, бросив обедать, начал молиться. Тогда в эти короткие пятнадцать минут до прихода Лади с узлами я тоже впервые понял, как может быть сладка любовь Божия, когда иссохшая земля жаждала так долго дождя, а потом как будто солнце засветилось на

¹ Солнце медленно всходит (фр.).

каплях, и я понял, что значит фиксированный на [нрзб.] астральный огонь пречистой Божественной магии, свободный падать, свободный пролетать дальше, пока не скопится здесь внизу еще больше давление жажды. Что-то летнее, полное и почти язычески-библейско-счастливое было в этой иллюминации, совсем не похожей на те прежние, и весь день был такой напоенный солнцем, влагой и добродушием, хотя к вечеру очень измучился. Заснул рано, а сегодня по поводу Такра так переволновался, что прямо вне себя, съедаемый неврозом, ходил без пальто. Такр милый, высокий, нежный, обещал стипендию и дал денег. У него дома деревянные панели и цветные стекла.

11 февраля

Купил себе перчатки и гирию в 15 кг, которая мне до того нравится, что я то и дело выхожу просто на нее посмотреть, покатаать, постучать ею. На рынке объединились с Дряхловым, который любит меня ободрять и хвалить. Сказал он мне м<жду> п<рочим>, что Лида говорила про меня, что я тип приятного мужчины. Посему я долго смотрелся в зеркало в профиль и думал, что действительно у меня симпатичная «gueule»¹ и волосы, но, к сожалению, Бог все это оставляет для себя и не хочет поделиться этим с людьми — мучая меня.

Вчера, возвращаясь от холодной Мата Хари и дикой ревности, зависти к Дине, такой милой, нежной, но трогательно и смешно детски счастливой. Мысленно разговаривал с Лидой по-французски (почему вдруг). *Comme vos yeux sont grands et doux, comme des enfants, qui sont devenus grands*². И был весь овеян спокойствием, строгостью, человечностью воспоминания о ее взгляде, в мыслях о ней заснул. А сегодня увижу ее.

Н<аташи> нет нигде вокруг меня, к ней все больше отворачивания, отвращения, отвращения, какой все-таки самодовольный и грязный человек*.

¹ Физиономия, морда (фр.).

² Бессмысленно, рифмовано: «Какие у вас большие и нежные глаза, похожие на [выросших] детей» (фр.).

* Все эти дни молился хорошо и целые дни, ходя в муке по улице, подавляя в себе уже такую слабую и прошлую сладость ее лица-рук. Теперь уже все меньше и меньше разговариваю с ней, в ужас прихожу. — *На полях.*

Сумерки. Хорошо, что остался дома. Светлое письмоцо от Дины. Звон часов все тот же с самой Москвы. 4 часа.
11.2.1933

15.2.1933*

Удивительно все-таки, как я спокойно все переношу, это прямо чудо воли. Я абсолютно о ней не думаю, и она кажется мне маленькой, толстой и уродливой с ее раскоряченными носками ботинок, до того, что «совершенно не могу поверить, что она страдает». «Таким сволочам никогда не больно». Снова Дина и иногда мучительная ее нежность ко мне. Вчера я мирил их, уговаривая, хлопоча, чтобы скорее уже все было кончено и неисправимо. Карты до головной боли, но в общем медленное повышение Нити. Когда мне стало легче, я тотчас же повалился, пролил эту благодать в глупое оживление смеха друзей. «Не опирайся никогда на людей, даже на человека опасно»**.

Письмо от нее усталое и какое-то виноватое. Что ответить, не знаю, быть ли искренним, будет ей слишком больно. Суббота. Полмолитвы. Рынок. Сон днем. Счастливое, счастливое пьянство с Лидой после долгих поисков до 11 на Монпарнасе. В три часа милый [нрзб.]. Воскресенье. С утра с Пусей пешком вдоль метро¹. Переутомление [нрзб.] Мережковских (скука). Не молился.

16.2.1933

Мама ест папу из-за мыла. Милая гиря, хотя сердце немало билось из-за трижды переписанного письма. Вчера первый день, когда я работал, мол<ился> и даже немного читал, напуганный [нрзб.] Карского. Ходил на закате по rue de Rennes², ища бесстрашия и бесстрашия в Боге. Вернулся к ней с конфетами. Чуть ссорились из-за колечка. Она мне так «греховно» нравится. День серый с огнями солнца среди туч. Молился утром, сейчас буду читать.

* Понедельник. Полмолитвы утром. «Как ты не веришь в радости», пол- — . Дина, нервность, гиря. Молился поздно и плохо после гири. Вторник. Днем Дина, Николай, оккультизм <...>, приближение лучших дней. — На полях.

** Здесь перерыв. — На полях.

¹ Длинная надземная эстакада метро проходит около дома Бориса. — Примеч. Н.И.Столяровой.

² Улица Рен (фр.).

*

Страсть это или жажда без насыщения, или же насыщение и окаменение, материализация, грехопадение. Тоска от жажды — тоска от утоления жажды.

*

Святость: уничтожь универсальное совокупление с мыслью — радость знания, с воображением — радость яркой жизни — сексуальность. Совокупление с покоем тела, согласие с ним, и это сразу мистическая смерть. Прекрати совокупление с Евой и стань невестой Бога.

*

Страх и победа над страхом. Страх за формы гонит нас в глубину музыки и от нее к Музыканту — Богу. Все в руке Его, иногда она сжимается и больно, но зато чувствуешь, что она держит тебя крепче, иногда она раскрывается, но тогда жить легче, но тогда меньше Его и чувствуешь. Где боль, там и врач.

Поел рису. Чудный какой день, впервые смог остаться дома с тетрадами. Только что Мишка, должно, помирает.

16.2.1933

**К Логике 34.
Propositions antichrétiennes¹**

О Начале

1

Дело в том, что стремящиеся, льющиеся друг к другу отец и мать, соединяясь, порождают не насыщение и покой, а муку вечного повторения самих себя в сыне и дочери. Сами же, иссякнув, как ипостаси, лишённые Логоса, не познавшие свой центр в себе, медленно разлагаются в сволочном темном конусе.

2

Итак, совокупление есть боль, сперва боль жажды, затем боль падения и смерти. Следственно, супруги должны расстаться. Абстрактная жизнь приходит на смену ре-

¹ Антихристианские предложения (фр.).

альной, и покой достигается силой волевого воздержания и отвращения к жене своей — жене или жизни вообще. Буддизм и стоицизм здесь сходятся. К концу, когда все поймут это, мировое колесо остановится, ибо половина человечества погибнет в огне, другая в воде. Тогда мир кончится...

17.2.33

Боже, как они меня имели и истребили. Вчера, замученный нервностью, руганью с Мандельштамом (?), я буквально скитался как потерянный, и всюду был отказ, меня стыдили, презирали, боялись, чуждались. С Лидой, к которой я ехал весь сияя от радости, поговорить не удалось, кроме как минутку в трамвае, и опять на мгновение мы были близки, близки, и длинные ее, холодные, когтистые руки, как клещи, невольно касались моих. Варшавский и Савинков защищали один теплым своим воловьим голосом, другой — теплым широким мужицко-царским рукопожатием. После этого была мука в *café des Deux Magots*, и они гордо укатили на такси. Совсем разбитый, с сердцебиением, пил кофе у стойки в «Ротонде», и казалось, идя от Распай, что все погибло навек невозвратно. Но сегодня удивительно легко оправился, ибо уже под ударом, сидя около Пусинога Распутина с воловьими глазами, оправился немного. Нравлюсь женщинам, ненавидим мужчинами. Уважаем, но злобно отвергнут всеми. Злоба Ладинского до странности, милы Мережковские, и как он метался по пустой передней, «ни церкви, ни общества», [нрзб.] в бобровой шапке*.

18.2.1933

Удивительная радостная молитва утром, когда я проснулся еще в темноте, вообще ночь была странная. Я несколько раз просыпался и видел астральные сны. Мучительный сексуальный сон о ней, о Дине, объяснил мне многое, и фотографии Марлен Дитрих вчера у Парамонта¹

* Наташи нет. Письмо бросил только ночью. Теперь все готово к последней отчаянной борьбе, и, дай Бог, короткой, а тогда опять при солнце. Рассвет. *La grande presse à vapeur* (Под сильным давлением пара, *фр.*). — *На полях.*

¹ Кино. — *Примеч. Н.И.Столяровой.*

после негритянского консульства с настольной лампой. Счастье смерти, похожей на легкое пробуждение. Полнокровная, радостно теплая новая жизнь, потом запутался в мыслях о Числах, но сейчас выплыл из них и счастлив от каббалистической книги с жирным письмом. Кандауров, мысли об «Аполлоне для Записок», попробую в конце концов самые неприятные дела, самые святые, ибо наименее заинтересован.

В центре всегда Среда будет давить на него, выпрямляя его к идеальной кубической форме, или о давлении на куб, дабы возвратить ему нормальную форму.

Учение о наказании

10

1. За злоупотребление духовностью, уход в монастырь от обязанностей, напр<имер>. Изоляция в болезни, дабы почувствовал муку нужд тела. Дина.

2. За злоупотребление физичностью. Мука Тьмы — дабы почувствовал необходимость духа, низшее социальное положение, труд, лишаящий времени для духовной культуры.

3. За злоупотребление властью. Подневольное скованное рабское состояние, нищета. Я.

4. За злоупотребление пассивностью. Одиночество. Дабы сам научился действовать. Варшавский.

5. За злоупотребление психологизмом — реальностью, ссылкой во всем на человека. Жизнь в безнравственной, безмужественной, безгероической среде. Чеховщина. Адамович.

6. За злоупотребление чувством долга. Положение, в котором человек станет жертвой чужого долгового изуверства, — Ибсеновщина.

11

Эти шесть сторон суть шесть сил, которые вытаскивают человека на его горе из центра куба, где он в безопасности, но совершенно не активен в начале. И он, победив и уравновесив их, должен с трудом завоевывать себе опять центральное положение.

Человек должен научиться не искать духовности, не искать конкретности, не искать властолюбия, но любить и подчиняться. Не быть фанатиком прошлого и рода, ни фанатиком будущего, ни свободы. В центре же он еще должен победить небытие, невыработанность воли — лень, и тогда он свяжет собою Дух и Материю. Речь и слух. Прошлое — память и Будущее — откровение.

Soleil inconnu¹

Рука дрожит от гири, но сердце спокойно. Гимн<астику> делал на платформе, на солнце, при яркой зимне-весенней погоде, как удивительно тихо и ярко дома. Хотя с утра хотелось куда-то идти, но я победил это и остался. Темная, трудная молитва, отблеск Сефиры и Гедулы над жизнью Лиды. Боже, разве это зло, ведь это так далеко от непоправимых дел тела. Тяжесть комплицистности судьбы, сдавленный как никогда, разрешение в Боге. Боже, ломаюсь, Боже, сдаюсь, падаю, ложусь на дороге, делайте со мной что хотите, ведь даже золотой Аполлоновской поддержки у меня нет, ибо астральная жажда грандиозности и мысли тоже должна умереть, и это вездесущий грех. Наташи нет нигде. Дина за пределом боли. Пуся занят. Проценко нахамил мне из-за бликов и окна. Один перед судьбой. Подозрение, да вся моя жизнь — экономия вынужденная астрального золота, но никто не получит, значит, все для Бога. Что же, *très bien*². Если не Безобразов, так было бы почти легко. Н<аташа> не отвечает, поняла, наконец, глубину обиды.

Немного легче. Вчера черное возвращение из Кружка слесарей, евреев, патриотов. Дикий невроз из-за новых чужих брюк.

20.2.1933

Какое это все-таки было чудо воли.

¹ Неведомое солнце (фр.).

² Отлично (фр.).

21.2.1933

С утра снег, сперва сухой, потом мокрый, крупный. Папа накрывает на стол. Растеньице, может быть, оживет. От стихов больно. Вчера ночью, возвратившись пешком от Эдгара Кине в тщетных поисках *cinéma*¹, написал что-то о снеге (а сегодня он уже выпал), после черного двухчасового ожидания около «Чисел», где никого так и не появилось, я ли ошибся, или они были и ушли, не знаю. В кафе прочел газету от доски до доски, опять ждал на холоде, думал о неврозе и о том, что так легче покинуть жизнь, но что придется когда-нибудь ее покинуть счастливой и прекрасной и что это будет труднее. Все как будто в сговоре, чтобы облегчить эту моральную смерть. Холод, чернота, тусклые фонари и недостроенные дома по ул. Вожирар — все теснило меня, и я постепенно погружался в железное христианское безразличие, особенно когда, уже на улице Ванв, стало выясняться, что в Синема никакого нет. Дома заснул в час и опять видел астральные сны. А перед сном долго *en esprit*² разговаривал с Л.Д. Особенно меня поразила мысль о том, что теперь впервые за долгое время во всем огромном мире есть кто-то, кто хотел бы меня видеть и даже идти со мной по улице Тольбиак, несмотря на бедность, невроз и т.д. Что все равно это так, и *пусть*, и это как предчувствие иных миров, иных способов существования и вовсе вне, вне муки тела*.

С утра в отчаянье. Не застал Пусю, который только что перестал. Ну что там, завтра увидимся. Сейчас уже полегче немного.

21.2.1933

Страшные тайны — открытия, и я отказался кланяться. Выплюнут экстаз изо рта.

Ужас, измученность. Просто вера.

21.2.1933

Не могу, измучился, усталость страшных тайн, одиночество, отсюда и страшно за них.

¹ Синема (кино, кинематограф) (*фр.*).

² Мысленно (*фр.*).

* Серый мутный день. Всю ночь гремел гром, мучили клопы и снились астральные сны. Письма нет, но, может быть, будет днем. Как после грозы в душе мир белого неба, избывшего свою боль. 7.8.1934. — *На полях.*

Aphorismes cabbalistiques¹

1

23.2.1933

Удержался все-таки и остался дома. Дома все-таки тепло, дома печка. Из одной боли в другую. Еще одиноче. Но успокоенье в том, что Мы, Лида и Я, не хотим ничего, сдаемся перед всем, жертвы жизни еще раз и все-таки. Снег идет и тает. Вчера: «Что ты улыбаешься» — понял. Не пустил ее, или нарочно не пошла, или была занята, не знаю. Ночью поздно тщетно искал его хамское веселое такси. Потом на ярмарке истребил [нрзб.] и курносого боксера морально. В напрасно, ненужно чистой рубашке шел домой. Повторяя, и не надо и т.д. Письмо Н<аташе> мало беспокоит, хотя следовало бы смягчить как-то его, нет сил писать [нрзб.]. Снег, снег. «И на земле и в небе только снег».

Ближе опять Иисус, замученный, желтый, «числовой», Господь, Отец, Жизнь, дальше это для счастливых. Страшно пойти в церковь, буду реветь слишком*.

Слезы. Жалобы. Мама вчера днем играла и плакала.
Дина была мила.

23.2.1933

28.2.1933

С утра такая тоска и невроз, что [не] знаю, как дошел домой, не застав Пусю и найдя дверь закрытою, страшное унижение. Отчаянная попытка позвонить, но грубый и красивый Лелин² голос в ответ, хорошо еще что у меня был пред<ыдущей> ночью астральный сон о разговоре с молнией, узнать в себе присутствие зрителей, огонь, свет и грохот в сотне этих слов.

Но сделал гимнастику, вымылся, мучительно кокетничая у зеркала, и вот пишу. Спирт и его доблесть очень помогают, особенно вчера, когда, никого не найдя, с бьющимся сердцем пришел в «Кермес», но все было в порядке, кроме негра, который не кричал.

¹ Каббалистические афоризмы (фр.).

* Как странно, еще глубже спустилась эта любовь в прошлое, вспомнился Кривоколенный переулок, снег, сидение на окне. Барыш<ень> Кенигсберг вижу в первом этаже, с которыми так и не познакомился. Что-то бесконечно деликатное, строгое, не требующее почти ничего. — На полях.

² Видимо, Л.Кельберлин. — Примеч. Н.И.Столяровой.

Вчера, дважды пытаюсь молиться и молясь, тоже заснул в 3 часа дня, а в 5 утра делал гимнастику.

Спал целый день, с утра меня рвало, и все тело от мороза было чужое. [Нрзб.] все в тисках мистической смерти с закрытыми глазами на диване, но молился и даже делал гимнастику.

Молился и целый день одевался, ждал, летел в [нрзб.]. Действительно, мы мучительно полно, унизительно сладко танцевали, объяснялись и сидели в «Космосе» и в «Оазисе», не в своем уме и дико фальшивя [нрзб.], я потерялся и проиграл что-то, хотя она, кажется, меня поцеловала, помню какой-то поцелуй легкий и свежий на щеке. У стойки милы были Леля и Смоленский, которого поцеловал, и это было мне приятно. С Лелей долгий разговор о Канте и Гегеле, «чувствовал себя на редкость человеком, а не собакой», пока Мандельштам меня так не обидел с зажигалкой и все обвалилось в бесчувствие, отчаяние слабости. Il faudrait peut-être lui casser la gueule¹, абсолютное отчаянье утром на улице Тольбиак и в кафе на углу Гласьер.

Не полагайся на людей, но и Бог как будто меня оставил. Странные нищие дни в действительной близости от tout finir². Почти равнодушие к сегодняшнему концерту и «Числам» mais que serais-je devenu sans la grande presse à vapeur³.

2.3.1933

Уже три месяца прошло от Нового года, все кончилось, и снова, как сок дерева под снегом, тепло приливает к тебе, Н<аташа>. Характерно, как Пуся переменялся сразу, как саламандра, сообразил тогда в кафе: «Ну конечно, Лиду, это наше холодное звездное привычное» и дома: «Конечно, Наташу, тебе с ней жить». Дождь сменил снег. Смирение и бодрость сменили дикое гложущее отчаянье и протест против всего, еще вчера плакал лежа, молился почти целый день, Боже, дай выжить. Но ответа не было, и это было к добру, показалось вдруг, что я не прав к Н<аташе> и что Бог хочет взять нас вместе. Опять Солнечный Христос Типерет, отказ от всего, особенно на улице под мукой невроза. Но-

¹ Вероятно, надо набить ему морду (фр.).

² Покончить со всем (фр.).

³ Но хорош бы я был без этого (фр.).

чью во вторник разбил руку в «Кермесе», истратив 10 фр. с мальчиком Колей, который был рус и мил, но с каким трудом я дал ему 2 фр. у Льва. Спирт вообще очень помогал, и радовало, что отравка проходит, но она была уже потому, что с субботы не [нрзб.].

Вчера утром двойное восхождение к Дине, унижение и смерть на улице. Астральный сон о книге и другой сон о Дине. «Теперь бы я была очень чувствительна». Monde de Papillons¹ стыдливая, блудливая и несколько счастливая, но это ведь ей так ново*.

Папа объясняет маме наверху насчет Дурново и дворян. Как легко сегодня вдруг стало, и даже серый день кажется полным света и шума.

2.3.1933

Дождь идет и идет весна.

Короткие определения. Устаешь, не волнуйся.

По [нрзб.] охватить многое. Боль во лбу.

Не соблазняйся и не пугайся этого.

3.3.1933

«Ах ты, Господи», — говорит мама, уронив кастрюлю. Раздражение против вещей, как мы похожи. После молитвы отяжелело под ложечкой, трудно лежать, когда весишь 77 кг. Молитва о ложе умерших, дабы умереть еще раз и совсем. Тепло на сердце. Любовь к своему желтому большому телу. Поразились «Телом» Баку<ниной> и Диной, которая с графиком все более отрывается от глубокого низа спектра. Мука из-за письма Наташи с маминым выпадом ко мне, молился два раза, и все боль в груди. Читал книгу о Тибете, холод и сила. Типерет, красота надо мною, от этого нравлюсь. Вчера дико ругал Оцупа за «Числа», он был красивее когда-то (но ведь 10 лет прошло). Вернулся рано, сломав очки и простившись навсегда с Лидой.

¹ Мир бабочек (мотыльков) (фр.). — Книга? — Перев. и примеч. Н.И.Столяровой.

* Я верю, Господи, что Ты не отвечаешь мне, но слышишь жалобы мои и что поддержишь меня без молитвы, без страха, когда я повалюсь совсем. — На полях.

Кольцо пусть у нее останется на память*. Je vous ai aimée un soir¹.

Сокращай, не расплывайся, пиши манюэли², тяжесть под ложечкой. Дина спешит. Прости ей ее счастье.

3.3.1933

Яркий свет на белой клеенке. Страшная, таинственная фотография Блаватской на столе. Мир с тетей Ниной. Живая связь через нее с <...>. Не смею даже смотреть в глаза этой картинке. Тяжесть дремоты после медит<ации>, прошли и страшные 11 часов.

Revenons sur les pas du Soleil³

Отца и Сына и Святого Духа. Страх Господень есть начало.

3 часа утра. 4.3.1933**

Здесь я остановился скованный, измученный страхом невыносимых открытий. После стольких молитв на полу, искоченев, слез [нрзб.] с истертым лицом и мокрыми волосами, заснул, отказавшись от гимнастики, положив под подушку «образ» Блаватской, который я поставил на стол, садясь писать, но так его боялся, что убрал прочь и опять поставил до муки. Думал, узнаю, какое качество, свойство нужно раскрыть в себе, чтобы знать, что можно писать и о чем нельзя. Засыпая, сперва пришли юмористические призраки в цилиндрах, затем нелепые астральные сны. Газовая гора в грязной квартире с дорогой пламени винтом вокруг

* Боже, если такой случай, если все случилось, чтобы мне оторваться от всего, умереть всячески, помоги мне. Ведь от счастья будет труднее уйти, оно держит крепче, но и это нужно будет когда-нибудь. — *На полях.*

¹ Я любил вас некогда целый вечер (*фр.*).

² Manuels — учебники (*фр.*).

³ Идем обратно по следам Солнца (*фр.*).

** Люби мать свою из-за отца, не разлучай их в мысли. Ведь так и грешный мир и чистый Бог, и в жизни любовь их победит смерть. Важнейшие различия (как Вечная птица, выпивающая молоко и оставляющая воду, интенсивности происходящего и качества происходящего. Злостное утверждение, что интенсивность заменяет качество, есть признак гибели (фашизм, разврат и т.д.). — *На полях.*

нее, восхождение по каминам с математичкой, где при ее помощи (она подняла меня за ногу) я продавил потолок, скольжение на топчанах-самокатах с Проценко, радиоаппарат тетки Нины с плавающим льдом. Проснулся усталый и не мог медитировать. Утро было серое, усталое и нежное, нежное*.

А может быть, кто-нибудь видит сверху мой труд и даст мне немного денег, чтобы поддержать милый этот дом.
4.3.1933

Какой-то свет из окна над дверью. О Семите даже и забыл.

Наташа Поплавская храпит на руках у папы, солнце, ужас нищеты, невроз. Почему я думал, что Бог отвернется от меня, ведь я остаюсь несчастным.
8.3.1933

1

Судьба явно художественно скомбинирована так.

10.3.1933

Судьба стучится в дверь. И так, все наново и наново несчастен, впрочем, никогда, кажется, еще так не плакал, как тогда, спокойно, неподвижно облокотясь на окно трамвая, завидуя даже Дине (которая другим кажется такой бедной) впервые сегодня. «Mon mari vient à sept heures»¹, и стало вдруг одиноко и больно. Ты увидел Бога дважды, и ты не в силах отказаться ни от того, ни от другого, откажись от жизни. Достигни абсолютного безразличия к презрительным взглядам на улице, к работе. Наташа вдруг сделалась страшно близка, прозрачная, с неприятными холодными руками, она «вся тает, тает от доброты». Такой она всегда мне снилась, и от нее такой защиты нет. Даже глаза [нрзб.] переменили цвет, зеленый звериный огонь исчез, «никогда уже не буду такой здоровой». Черные с синевой, темно-серые стали они. И так легко было ей все переменить, нет, она сама возвратила

* Держись в измученные дни. — *На полях.*

¹ «Мой муж приходит к семи часам» (*фр.*).

все подарки, все счастливые наши милые жесты и слова и стала вдруг еще ближе, так что, уходя от нее, до утомления хожу по солнцу, которое уже греет и почти мучает, весь полный доверху, до слез бесконечной глупостью «отдаленной близости». Особенно сегодня, после того как я было уже собрался уходить, но тьма в душе и страх улицы. Опять ты покинул своего давно изученного железного человека. «Я больше отрываюсь от жизни и так сильнее всего». Молитвы по утрам и днем, вчера странно явственный астральный сон, долгий полет в темноте и сложная глубина, музыка по желанию. Иногда сладострастные сны о Дине с истечением спермы. Сегодня абсолютное подавление жизни в себе. Встал рано, хотя спал мало, вымылся, оделся во все чистое. Весна, растворяется первая рама, и над домами неподвижные спящие белые полосы облаков. Как давно я уже не работал, хотя молюсь почти весь день, когда борюсь с унижением улицы, и на диване. Стал очень тяжел [нрзб.], что все рвется и мнетя на мне. Милы очень «Числа» с их взаимно обогревающей болтовней. Там будут теперь балы и вечера, и как удивительно я теперь вошел во все — расставшись со всем, теперь они меня держат, не отпускают, хвалят. Хамские и грустные танцы в «Оазисе». Тусклое объяснение с Лидой. Удивительно, мучительно красивый, нежный скелет, в точности, как Дина, холод и свежесть. «А где Вы теперь?» — «Теперь я опять на пароходе отплываю от родных берегов и с фальшивым билетом», и как Наташа, просто так, без усилия, на целую сферу выше «en pleine Kabbale, en pleine illumination»¹. Ухаживал за мной и Оцуп, что за диво, или я их имел, отказавшись иметь. Со страхом, с ужасом шел к ней. Боже, помоги, защити, дай мне не пропустить единственный случай умереть совсем и дважды. Но сразу стало ясно: «Ведь это через нее тебе достался свет». Как она захочет. А она из Малкута перешла в Гедулу и даже в Бинах свою родину, в больнице она была еще дальше от жизни (ближе), спор с Диной: «Вне всего», — говорит она. «Все внутри тебя», — говорю я. «Живучая кошка» — с этого всего и началось, и поистине простое прикосновение равносильно было возобновлению мистического завета, обручению светил и

¹ «Полностью в Каббале, в иллюминации» (фр.).

света. «Скоро тридцать лет. Женить или же Я его возьму к Себе, ибо судьба отпустит его на свободу». Откажись от жизни, любовь это не есть жизнь, а источник жизни, а источник не жаждет. Но ею одною светятся теплом небеса, и страшный мир сделался розовым, как будто она и есть жизнь (всегда [нрзб.] отказаться от жизни в себе), и все звери в ссоре помирились через нее со мной. Как скоро забываются страшные, такие страшные слезы утром. Но вдруг они вместе — Господь и она, вдруг если все оставить*.

Но ведь, правда, ей хотелось меня видеть во вторник вместо среды, и голос ее был в общем этим. Все-таки я лысый со лба. После гимнастики пульс 80.

Солнечный день с диким припадком отвращения от жизни у Porte de Versailles¹ около Дины, ибо даже Дина сильнее, жизненнее меня.

11.3.1933

В борьбе с печалью

1

Бог создал воздух, голубую даль. Но превзошел себя, создав печаль. Сладкая печаль *est une quantité négligeable*², это для тех, которые никогда не делали усилия, никогда не напрягались, не тратили никаких сил. Другое — черный ужас разорения, растраты всего и никакого ответа, но жди тогда, это значит, что Бог слушает тебя внимательно и тем теплее ответит, когда ты, измученный, замолчишь.

2

Я опять вижу Бога дважды и не могу поверить, что одно исключает другое, голос ее стал проще и ближе. Не так сдается, хотя с неизмеримой высоты смотрит на мир, который весь в ней, ибо внутри ее сердца идут лошади и та-

* Глаза, которые еще не разучились плакать, не увидят света. Да, я еще плачу и не поверил, что в Боге разлуки нет, и снова жизнь вышла под суд. — *На полях.*

¹ Версальская застава (*фр.*).

² Не стоит внимания (*фр.*).

ет синевой небо, как она тает, тает от доброты. Торжественна и спокойно мила*.

3

Правильное замечание P.Janet, что, мол, совершенно одинаково считать формы бытия формами мышления, как Кант, или, наоборот, формы мышления формами бытия, как Гегель, то есть субъективировать мир или объективировать логику.

4

13.3.1933

Вчера был день чернее ночи, только что церковь утром, где я истово полутеатрально, полуюродственно кланялся, искренен был страх причастия, страх смотреть на алтарь без царской стены, на обнаженные органы церкви. Потом по жаре, жалко пыжась, дошел до онана Максимова и истерическим дураком [нрзб.] которого вынесли на руках. Загадившись совершенно, в изнеможении вернулся домой, где Пуся мне не дал спать. У Мережковских приятен был бодрый Керенский и Адамович, запускавший волчки крышкой от чайника в коридоре. Затем мука у дверей Дины, которая, красная и красивая, только что сорвавшаяся с члена, притворялась заспанной, долго не открывали, открыли в каком-то переполохе, он жалкий, на тоненьких ножках, тоже перебудораженный, рад был откупиться от меня тремя франками**.

Утром едва встал с кровати от отвращения ко всем. Внутри тьма и опустошение, ни сил, ни света. Если Ты мне не поможешь, Н<аташа>, повалюсь совсем.

* Как грустно, шутя против воли, в жалкой истерии смешливости, мы говорили с Лидой, когда я провожал ее до дому. В «Оазисе» тоже было темно, хотя она так «красива», мила и столько понимает простых зимних снежных вещей. Но как высока Н<аташа> над всем, над жизнью и в прямом соседстве с Б<огом>. Мука нового равнения на жизнь уже сказывается, темно и странно все вокруг. — *На полях.*

** В синема в Ванв удивительно, до галлюцинации ясно, видел Тебя с Твоими незнакомыми новыми глазами, только эту минуту, кажется, и жил, и Бог меня оставил совершенно, как ненужную вещь. — *На полях.*

13.3.1933

Не морально, ну хоть магически я хочу быть правым. Написал письмо Л<иде>, что не пойду к ней, пожертвовав всем этим Тебе.

17.3.1933

С тяжелой головой, но здоровый, жду у подземника книгу. Невроз меньше. Теплый желтый свет электричества [нрзб.], в шуме ветра молился в полусне, чтобы Бог построил стену между мною и Л<идой>. Даже пьяный, тяжело пьяный от пива, в черном отчаянье не хотел сдаться почти до самого конца. Трудно было очень уйти из «Чисел», но не надо было ходить. В розовой вязаной кофте, широкоплечая, худая и стройная, она мне мучительно до муки нравится. Когда же я наконец ушел, оторвавшись, от турецких папирос и сладкого, как эфир, холода, еще ярче мука эта продолжалась на улице. И все-таки Н<аташа> есть вечная моя жизнь и всех, между этими двумя силами сдавленный, повалился в черную ночь тоски. В «Кермесе» у негра встретил двоих огромных русских, с которыми мы ломали аппараты, пили и орали уже до 5 часов. Возвращался с Петром Петровичем, который упрекал меня, домой шел, шатаясь, в черном, черном отвращении от всего.

Обе колонны Elogim и Jéhovah¹ — столб огня среди ночи и столб дыма среди дня.

19.3.1933

20.3.1933

Когда я шел вчера от Н<аташи> по солнцу, все обвалилось, умерло вокруг меня, даже не плакал. Грязное платье жало и мучило меня, невроз пригибал к земле, в церкви [нрзб.] добродушный швейцар в очках сказал мне: «Vous avez froid, asseyez-vous près du chauffage. A côté il y a un club pour le jeunes gens qui ne travaillent pas...»² Не знаю, как дотащился до Проценко, где до вечера играл в карты, вечером еще мучился в «Кламаре», унижительно состязаясь с Янов-

¹ Элохим и Иегова (фр.)

² «Вы озябли, садитесь, посидите около отопления. Тут рядом есть клуб для безработных молодых людей...» (фр.).

ским. Вот она твоя «помощь», с Диной говоря при желтой лампе, она за столом над шитьем, и в слезах на диване понял. Оставь ее совсем, она тебя не любит, не любит, не любит, терпит, нежна с тобой, но не любит, она потягивается на солнце, как кошка, и лениво, добродушно, равнодушно шуруется. Лида после кабака исчезла совершенно, не захотела увеличить ставку, провалилась куда-то. Теперь ты один, один, и сразу стало все равно — и нищета, и уродство, и все, и Монпарнас стал мил, такие же преданные, оставленные, никчемные. Молился, хотя и плохо, как бы в полусне, эти дни теперь станет молиться лучше*.

Солнце в комнате, орал на хамство матери, значит, есть еще что побеждать, и счастье будет.

25.3.1933

Сегодня Наташа уехала или уедет, оставив меня в отчаянье, в ослеплении, в зависимости, в озарении, в подчинении. Казалось, что ей действительно не хотелось расставаться со мной. [Нрзб.], конечно, мне и не хотелось выздоравливать [нрзб.]. Ты смотришь на меня как на место, где что-то сторело, было, прошло. Тогда (потому что я только перестал верить, но не перестал любить) как ребенок, бросился к ней, зарылся, закрылся ее теплом и заплакал, и она обняла меня, защитила, прижала к себе и долго, пока неловкой мукой я не расстроил очарования, мы были как бы одно целое, оттолкнувшиеся на миг от всего друг для друга. Но скоро мука возобновилась, и я отстранился. Хорошо, идем гулять. Молчание. Потом ее смех: «как твои руки живут отдельной от тебя жизнью» — и снова она осталась с мукой и счастьем своего телесного тепла, которое, кажется, всего боится на свете, кроме меня. И снова в парке, в грохоте света, зелени и лазури борьба возобновилась. «Я не отвечу тебе, но ты будешь дураком, больше ничего**». Ведь ты

* Так два дня она опять тебя любила, потом опять [нрзб.] сделалась домашняя, неуловимая, кошачья. Бог с ней, если бы где-то вне нее был источник сил, счастья, здоровья, тогда бы я еще мог тратить, тратить, но я ведь так беден, еле жив. — *На полях.*

** *Mauvaise passé.* (Тяжелое время, *фр.*) Отсутствие помощи и безблагодатная молитва. [Нрзб.] Геркулес и Афродита. Необычайное, еще никогда не бывшее отчаяние нищеты, болезни, весны, цели. — *На полях.*

все стремишься разъединить то, соединение чего составляет единственное счастье. Ты понял». Да, я понял. Уходя, помедлила, как будто ждала, как признака, символа, обряда, что я ее поцелую. Как она умна и как издали, но, может быть, непрестанно она приближается ко мне, хотя она еще на тысячу верст. А мне нужна помощь, ибо сам я против шума и жизни совершенно беспомощен.

Измученный, переволнованный, как-то вне себя, шел потом по жаре, презираемый всеми, и сразу день повалился, как трава, склонился, как земля. Как она все-таки сильна, величественна, совершенна, как я подкупен, раздвоен [нрзб.] всем. И все-таки на ней этот день выжил (как столько ссор), и она нашла что-то, после чего жить стало возможно, ее не ненавидя, снова готовясь и собираясь в какое-то грандиозное путешествие. Но мир не был еще искуплен, его мир был лазурно-темен, солнечно-холоден, лучезарно отвратителен. Да, я верю в наши отношения, нашу жизнь, нашу истину, и сразу она лишила меня всех моих утешителей и сделала чужим человеком на земле.

День страшной слабости и тоски. Самсонов, похабство Проценко, карты, ночь, попытка медитаций, Черное пробуждение, Невыносимый мир*.

Сам я жить не могу и не буду пытаться. Если хочет, пусть она поможет мне.

25.3.1933

26.3.1933

Вчера чудный день. С утра работа в комнате, налитой солнцем. Спиноза. Медитация и молитва, глубокий солнечный час на шезлонге, затем Пикельный, редкое удовольствие смотреть ему в глаза, унижение улыбки и слабости. Вечером молился и собрался было идти на Монпарнас, но заснул и, проснувшись, так далеко отошел от всего этого, что не хотел никуда. Утром сегодня проснулся на

* Вчера, 24-го, медитаций почти не было в полусне и на улице. 23. Молитва «Защити меня, Господи, от всех». Счастливый, грустный день у Лиды. «Когда я стояла у стойки и думала, что вот я здесь стояла когда-то и плакала, одна, влюблена и несчастна, и все-таки это было все до, до того, как мне раскрылся этот страшный мир». — *На полях.*

заре перед еще белым небом в ярком, каком-то тихом, удивительно верящем мажорном состоянии, которое потом немного потемнело из-за страха жизни — Наташи и из-за муки солнца, при котором всегда кажется, что что-то ждет тебя на улице, и это такой обман. Удивили вчера слова Дины о том, как Н<иколай> Т<атищев> в церкви нашел ботинки и работу. Благополучие в Боге, вот новая тема новых дней, и как будто все разделилось вокруг — солнце, небо и день говорят, конечно, люби, но что-то другое мучает, упрекает.

Папа вздыхает, он вернулся с базара с головной болью, от солнца уже жарко. Заминка в дне, трудное начало.
26.3.1933

Устал. Дина. Груда нагретых солнцем мучительных частей тела вне воли во мне. Ужас памяти, и, слава Богу, не все мертвые воскреснут*.

Слушал радио у подъезда с [нрзб.].

1.4.1933

Как всегда после отчаянья перелома молитвы [нрзб.] себя последнего отказа. Дни счастья, благополучия, но я растратчик и вот, начав по-настоящему жить, надо на крохи дня, ибо уже ночь. С трудом сломал себя и возвратился обратно, уже идучи к Проценко, хотя весь день прошумел и промучился с Пусей и Дорис, с их бегством неудачным [нрзб.], ноской чемоданов, а утром и вечером писал письмо. Сейчас жизнь в письмах, и от них ослепительное богатство открытий, понимания, до мучения, до «зачем и за что мне все это». Но едва неувязка с письмами случилась, опять Лида, руки ее и плечи, холодные, широкие и горькие, как полынь-снег. От горя и горе радость. Мука из-за обосравшегося на собрании Оцупа, воображаемые избияния коммунистов и страшная нервность до боли сердце-

* Смерть весьма обитаема, я это поняла. Нет, ключ жизни во мне вне жизни. Да, но ты еще никогда не проигрывала. Кроме Ахиллесовой пяты. И вся задергалась. Христос принес в мир юмор.

Когда Тишка стучит ногами в дверь и орет: «Тикода, Тикода», — я прямо вижу перед собою себя, молящегося Богу. Какое нужно терпение, чтобы перенести все эти жалобы на горе, которое собственными силами легко бы мог человек превозмочь, а он плачет. — *На полях.*

биения. Кстати, вчера ослепительно яркая радость встречи с Лидой, бывают же такие удачи, не выдержал и ушел ходить по улицам, в «Ротонде» были голые и жалкие французы, потом мука и скука [нрзб.] и грустное возвращение с Володей, которого поцеловать было бы такое удовольствие*.

2.3.1933

Очень трудный, жаркий, мучительно рабочий день. С утра ушел по городу укачивать, заговаривать жизнь своей мукой. К Дине пришел, наполовину победив что-то, но уже полуживой от усталости. Ссора с Диной из-за Лиды и «Чисел». Как ты подкупна, несколько цветочков и баночек заставили тебя забыть всю боль мира. Бесстыдство счастья, за которым последует горе, ибо оно не чисто, то есть не грустно, а до конце мира всякое счастье должно быть немного пронизано болью. Потом был у Лиды, которой не было, но симпатичный гарсон, педераст боксерского вида, ласково, сомнительно мне улыбался (извращенно пыжась и мучаясь в метро). Письма нет, и это несправедливо, хотя и естественно. Мука, борьба с улиточным страхом работы. Нет, без помощи не могу, если она поможет. Сейчас и утром долгие медитации без света. Медитации вообще без пропусков с какой-то дикой жаждой внутреннего труда и Бога, без ответа, но без света.

О личном и общественном человеке

1

Холод общественных разговоров, подозрительный их и неживой тон, но где же страстность этого поколения, она в личной жизни.

2

Нет ни общества, ни личности, как нет ни положительного, ни отрицательного электричества без муки разъединенности и без направленности друг к другу, ни

* Благополучие — безопасность в Боге. Неужели, мучившись так долго, ты на пороге своего счастья. За каплю утешенья отдашь, развеешь все богатство, нет, ты не пойдешь к ней в понедельник. — *На полях.*

того, ни другого в чистом виде, ибо повсюду кружки, группы, семьи, вообще живая безграничная среда и во всяком случае не демократическое равенство, нет, один человек бесконечно ценнее другого, но не вообще, а по роли своей около любящего его. Так Христос воскресил Лазаря, поступив нелогично, несправедливо, соблазнительно, потому что, почему тогда не всех вообще умерших. Ответ — потому что Лазарь был его друг. То же и Иоанн, друг Божий. Царство Небесное не казарма и не театр, никакого равенства (перед) Богом, начальством, а ряд живых, ничем необъяснимо личных, заговоров с Богом.

3

Не существует абсолютной личности, и это декадентская выдумка, потому что, даже желая остаться сама собой, личность остается со своими воспоминаниями, то есть она суживает круг присутствия, но никогда не остается одна. Так верующий никогда не один, а лишенный друзей [нрзб.] всем остается хотя бы с тенью, с идеей абсолютного друга, который бы разделил его жизнь.

4

И личность, и общество есть лишь математические пределы, тенденции, но не реальность, и большее приближение к этим полюсам характеризуется увеличением боли, чужой в народе, со всеми и без никого, отсюда печаль демократий.

5

Неповторимость личности, раскрывающаяся любящему, и присутствие любящих как единственная среда, чтобы родиться, распуститься дарованию. Отсюда мораль тесных кружков жертвовать степени раскаленности, нагретости внутренней атмосферы.

6

Идеи в логическом порядке и идеи-ритмы — практические идеи атмосферы, новая теория снобизма как защиты своих не логически, а ритмически-атмосферически выраженных идей.

7

Так Пруст и Сван были (принадлежали) к тому обществу, а министры и депутаты — (всего лишь) чучела третьей республики.

8

Христианство как заговор, атмосфера личной дружбы Христа, апостолов, и тогда ошибка Павла, не хотевшего сродниться с друзьями Христовыми, ошибка, напр<имер>, в отношении к браку, сравнение его грубых слов с присутствием и чудом Христа в Кане.

9

Эмиграция как создание, рождение кадров будущей России, но не кадров скучающих [от] бездействия, а уже восхищающих Россию. Ибо там, где два еврея читают Тору, там и Палестина. Россия как интеллигибель не нуждается в количестве, но даже и в бесконечности времени сюда [нрзб.]. Поэтика о двух абсолютах.

10

Личность и индивидуальность. Жизни целой мало, чтобы понять тебя единою. Математизация личности как конец гуманизма. Апология Франции, неповторимость эмиграции, личный заговор ее.

Жарко и спокойно в библиотеке на углу стола в углу.
Дуся напротив.

De la constance du sage¹.

5.4.33

5.4.33

Наконец она написала нехотя и о том, и все-таки в конце: «целую тебя крепко». Что делать, Господи, научи, научи, ведь я ничего не понимаю в жизни, то есть в ней. Мощественные [нрзб.] религиозные дни, но без света. И так, сдавленность явно повышается, и свет может вспыхнуть каждую минуту. С Лидой долгое объяснение, во время которого добро и свет вырвались так тяжело и грубо на поверхность, что уничтожили жизнь. Астрально rappe

¹ О постоянстве мудрого (фр.).

d'éclairage¹ с этой стороны. Скучал вчера после чернорабочей «Зеленой лампы» с Боранецким, но понимал, что пусть, это все-таки *mes seuls copains véritables*².

Медитация всегда теперь больше часу-полтора и два, иногда на улице, медленный, солнечный ломовой подъем к благополучию. Умерший Христос на кресте все-таки ближе всего и мне, и им, но и ей.

Трудно стало потому, что я пошел к соседям
и вышел из себя из-за письма.

5.4.33

7.4.1933

Увидел только что в библиотеке девушку, точно чем-то похожую на Н<аташу>, и весь вздрогнул. Она шла некрасивая, широкими тяжелыми шагами отходила от меня, когда я поднял голову. Как ты неосторожен, Борис, и не видишь, с какою превосходящею тебя силой ты хочешь бороться. Мука тотчас же прошла сквозь все тело, и жить стало труднее. Вчера горький, но высокий день, кончившийся переутомлением, сердцебиением, когда в три часа ночи я возвращался домой с граммофоном, который так и не играл, поднимаясь в гору. Медитация в страшном отчаянии послеобеденной сонливости, боль в сердце. Утром Гегель, письмо, опять письмо. Мне кажется, я тебя люблю меньше, но все-таки и разорительно для себя и тупо храбр. Вечером у Юры Манд<ельштама> игра в откровенность, что Вы думаете обо мне самого хорошего и самого плохого. Мучительно близка Лида, хотя, конечно, ценою жизни, счастья, дела. Она защита от боли. Но может быть, я неправильно понял письмо, Боже, как мне нужно было бы видеть ее и поцеловать, ибо телесное всегда безошибочно.

Тяжесть под ложечкой, звон часов, так трудно мне без тебя.

И т.д. и т.д. и т.д.

¹ Авария со светом (фр.).

² Мои единственные настоящие товарищи (фр.).

И когда это все кончится. Ничто снова проступает
сквозь жизнь.

7.8.1934

А граммофон все гудит и гудит то же самое, как сам идио-
тизм жизни.

ИЗ ДНЕВНИКА. 1934

Париж

О свободе

Посвящается Наташе С<толяровой>

Конец февраля 1934



то посвящается тебе, авантюрист, дикарь, не девушка, а сущий кентавр, чистый зверь-дух, великая охотница за душами, вдруг умаявшаяся, скитаясь по своим мифологическим болотам и взывающая к концу мира звучным и отчаянным гласом, ибо вся жизнь твоя греховна, жестокая, демоническая нимфа. Очнешься ты пещерной девственницей, и только тогда голос твой напомнит легкий дальний звон из глубины светло-голубого пейзажа Моне, подобно утру в день возврата блудного сына¹.

Б.П. 27.2.1934

* * *

27.2.1934

Шил и красил, время прошло, но его не жалко,
приволье обреченности себе.

La lubricité du bouc est la splendeur de Dieu.

W.Blake²

Не пиши систематически, пиши животной, салом, калом, спермой, самым мазаньем тела по жизни, хромотой и скачками пробуждения, оцепенения свободы, своей чудовищности-чуждости...

Попытайся дать *почувствовать*, как тебя мучает Бог, как ты его ненавидишь за это, как античное животное, за

¹ Перевод с фр. Н.И.Столяровой.

² Похотливость козла свидетельствует о величии Бога. У.Блейк (фр.).

которым охотится сильнейший его, как травит тебя Бог в твоём мифологическом болоте, как преследует, тяжело дыша, а когда загонит тебя слишком далеко, как тихо зовет пастушечьей свирелью своей на медном закате расплаты, когда среди циклопического пейзажа пламя начинало покрывать мир. Великий Ловчий, некогда звери будут с тобой разговаривать, и осел скажет неглупые вещи, потому что все-таки возил Христа, и лев, потому что не он ли дружил с Евангелистом, не говоря уже о змее, которая, так долго обернувшись вокруг познания, вся налилась его электрическим соком, не дьявол ли вознес Христа на вершину Храма?

Потому что Бог жадно нюхает твой нестерпимый козлиный запах, восхищаясь глубиной зла в тебе, зная, что, когда Он превратит тебя в человека, дикая сила твоих пороков превратится в великолепие сияния твоей доблести. Il le sait parce que tu lui as si longtemps résisté¹. Он ведь тоже, как умная женщина, любит тех, кто ее презирает, и презирает тех, кто Его любит, эти всегда сидели дома и с ангельским идиотизмом исполняли домашние работы.

Ты же, в юношеской славе своего сомнения, первый вырвался из дому и тысячу лет, рождаясь и умирая, терзал и был терзаем, презирал и был презираем на ледяной неосвященной половине земли, но в каком гиперборейском великолепии ты возвращаешься, «соединяя диалектические моменты». Тихо в христианской голубизне звенит колокол, и с каким удивлением счастья сердце слушает покой весны. *Voilà les démons devenus chrétiens, quelle farce et quel mystère*².

* * *

*Oui, je suis un hérésiarque*³. Да, я вхожу в мир, вернее, сознаюсь в чудовищном учении, перед которым поблещают гностические трапезы с поваленным подсвечником, учение о том, что дьявол ближе и дороже Богу, чем человек.

¹ Он знает это уже по тому, как долго ты Ему сопротивлялся (*фр.*).

² И вот так бесы превращаются в христиан, какой фарс, но и какая тайна (*фр.*).

³ Да, я ересиарх (*фр.*).

* * *

Я чувствую [в] себе не смешение тьмы и света, добра со злом, но две равные и обе совершенно абсолютные бездны морали и аморальности, из глубины каждой из коих, едва это становится необходимым, вылетает готовое обоснованное суждение, оправдывающее всякое мое решение. Но не между злым и добрым действием качаются весы, а между действием и воздержанием от действия, аморальностью безучастия и моральностью участия, потому что от активного зла меня удерживает ужас наказания, железный опыт того, что за каждым действием следует рождение его результата и этот результат есть беспощадная судьба. И между ними, как сковывающая действующего...

* * *

Почему-то я пишу так скучно, так нравоучительно, монотонно, так словесно, не потому ли, что не смею писать непонятно, я не свободен от страха публики и даже от страха критики, потому что я недостаточно обречен самому себе, недостаточно нагл, но и смиренен, чтобы ходить голым без <...>, обмазанный слезами и калом, как библейские авантюристы, мою рабскую литературу мне до того стыдно перечитывать, что тяжелое, как сон, недоуменье сковывает руки. *Monstre libère-toi en écrivant, non je préfère prendre un café crème*¹.

* * *

Я просто краснобай, я передаю свои мысли мимикой, жестом, я обнажаю их перед любым случайным свидетелем в нескончаемом поспешном и всегда корыстном разглагольствовании, после чего без зазрения художественной совести я отбрасываю эти мысли, как дурной мастер, который отступает от работы при первом сопротивлении стихии слова. Все это — лишь оргия духа, истратившего бесчисленные богатства с туманной целью соблазнить молодых особ, которых, однако, трудно провести и обмануть в моих истинных намерениях².

¹ Чудовище, возмись за перо, это высвободит тебя, нет, лучше заказать стакан кофе (*фр.*).

² Перевод с фр. Н.И.Столяровой.

Textes abstraits ou puants¹

Мама мажет варенье на пирог, который печет.

Он ярко горит в луче солнца.

1.3.1934

Почему у тебя не хватает храбрости остаться одному, если ты согрешил и ничего не видишь вокруг себя, кроме рож, рыл, оборотней, кикимор и вурдалаков, если бы все знали, как уродливо выглядят они в твоём сердце, и если бы ты знал, из каких жалких, мелких и болезненных черт соткан ты для них? И эти энтелехии друг друга, несмотря на защиту, липнут друг ко другу, и скоро, погарцевав, сдаешься и принимаешь, одеваешь образ, который они дают тебе, съезживаешься, краснеешь и фальшиво жестикулируешь, и, только возвращаясь домой в лунном холоде, вдруг просыпаешься к благородству высокомерия и отчужденности.

Прав только тот, кто никогда не забывает глубину своей отверженности, своего нескладного, недоброго, жестокого, кристаллического строения, которое при любом движении в живой среде режет и делает больно.

Только тот, на лице которого написано ясное знание о невозможности общения и стыд за презрительно-добродушное общение, неполное, без восхищения и страха перед чудом человеческой неповторимости, которое одна любовь может временно дать, любовь, от которой вдруг начинаешь дрожать от счастья быть удостоенным видеть такое чудо — до того, что человек, сам не зная о своем чуде, смеется над своим верующим, а тот утомляет его. «Вы все фантазируете, и я устаю от Вас», — часто говорила Нина.

Мне стыдно делать вид, что я Вам друг, если я не дрожу от счастья перед чудом Вашим, и отчужденность и мрачная холодность точнее выражают мое действительное уважение к Вам, ибо сколько есть неогненного, презрительного, нерелигиозно-унизительного во всяком «он мне симпатичен», как будто симпатией, а не восхищением жива душа. Да, восхищение, и не среди нечистоплотного потока слов, а спокойное, тщательно скрытое за слоем вежливости и льда.

¹ Абстрактные и смрадные тексты (фр.).

* * *

Так, исполнив непоправимое и, несмотря на ангельские протесты, сделав человека свободным, Бог впервые остановился и как-то по-другому, с новым уважением посмотрел на человека. А тот стоял, ошеломленный новизной своего одиночества, и с недоумением счастья осматривался вокруг. Так иногда, перебившись над тем, чтобы доказать что-то или убедить в чем-то, вдруг останавливаешься и со странным удивлением смотришь на собеседника, думая, может быть, впервые, что этот сидящий перед тобой человек свободен и что даже Бог, могущий его принудить отказаться от своей свободы из уважения к нему, (не сделал этого), и здесь же понимаешь смутно и обреченность его самому себе, но и то, что плохо сделать по-своему лучше, чем хорошо поступить, давши себя заморочить чужой заботой или нежностью.

Песнь безумца о свободе камней

Все, что я пишу, — лишь письмо, так и не отосланное тебе, зверь-дух.

Прекрасные, нагретые на солнце камни, похожие на спящие тела, как я завидую вашей незыблемой, неподвижной, тяжелой свободе. О свобода иметь форму и не знать о ней, свобода падать и не страдать от этого, свобода существовать, презирая время и течение его. Медленное движение глубоко спрятанного электрического напряжения, смутное ощущение чередования геологических периодов, а также солнечных и даже суточных смен — все они свойственны мне, чрезмерно возбужденному маниаку.

Кстати сказать, лет тысячу тому назад мне распороли правый бок, а ныне он гладок, как стебель, как все быстро меняется на свете. И в то же время как медленно, бесконечно мистически медленно, сотни тысяч лет, пробуждалось сознание того, что ты существуешь, что ты появился из недр морских, что ты вдруг холодно удивился этому.

* * *

О свобода любить или останавливаться в любви с твердым и наполненным кровью членом, с холодными, довольными глазами, с внезапным утолением от найденной симметрии. Горячая молния в чистой, нежной плоти, значение которой выше телесного жара. Огненный взлет молнии над верхушками деревьев в саду претворяется в любящем в безумную жажду и стремление — в лазурь нравственную. Я так долго любил твое тело, что могу уже только добиваться твоей души и ее симметрий, я даже не мыслю обнять тебя, чтобы не очнуться от слишком острого наслаждения или боли. О созерцание, смерть, обморок, утрата и вдруг нежданное воспарение души, забывающей наконец о себе и мгновенно пересекающей те сто тысяч арктических преград, что недоступны и запретны для «человека в исподнем». Находясь с тобой рядом, я не смею дотронуться до твоей руки и отдергиваю свою словно от раскаленного угля, охваченный древним страхом святотатства. «Перестань быть таким прекрасным или я умру», — кричала Тереза, а так как чары продолжались, она уже помышляла лишь о том, как унести ноги.

* * *

И наконец, свобода оставаться наедине с собой, не любить, не молиться и даже не спать (ибо сон есть уже согласие терпеть жизнь и отдавать себя всему, что так терзает тебя, всему, что полюбил, сам того не желая). О сопротивление, божественное сопротивление, не надо, однако, стать жертвой собственного сопротивления, подобно сильному атлету, падающему на уже поверженного противника. Уметь презирать себя и зорко и холодно следить за собой в радости и удаче. О грубость наслаждения без боли и без принуждения, резкость голоса, жеста, самодовольствие мысли. Жирное самолюбование полунощных удачников, бросающих вызов мщению неба. О вы, с утра в шелках, в полдень в ярких одеяниях, ведущие приличные беседы и вполне доступные прикосновению, насколько мне милее зловонная нагота пустыни, усеянной античными руинами, скорпион, запутавшийся в волосах, и рот, полный дерьма. Безумная сила добровольно принятой муки, муки преодоленной, но не уничтоженной, бедность, нужда и смертель-

ная тоска от каждого лишне прожитого дня. Великолепная и полная религиозность, тяжело, впрочем, лежащая на сердце, в этом городе, с неоновым освещением, набитом кабаками, газетами со сногшибательными фотографиями, с мягкими мертвенными дождливыми днями, проведенными в гостиничных комнатах с большим зеркалом, уставшим отражать загробный мир, воспоминания урановое и мочевое (урологическое отчаяние). О свобода насмеяться, ненавидеть и мучить себя, а потом, выпив, и пожалеть, и, уходя, посмотреть на себя в зеркало, и найти себя интересным мужчиной, совершенно незаслуженно неизвестным.

* * *

Снова и снова свобода отнять руку, закрыть глаза, перестать думать, повторить, отступая, заученные жесты смерти, усталости, разлуки. И там, в солнечном одиночестве, отсидеться, одуматься, с похорошевшим и здоровым, очнувшимся лицом вернуться к жизни, спокойно не узнавая иных, иным вдруг против обиды, долго смеяься, смотреть в глаза и долго еще смеяться невпаад от свежести в груди, невпаад и незаслуженно любя и радуясь.

* * *

О счастье пробуждения в другом настроении, с новой любовью в сердце, забыв совершенно об унижениях ночи, с ее настойчивой музыкой, табачной едкостью, пьяной безнадежностью, в самой отчаянности своей скрывающей, показывающей явственно недобитую, непочатую любовь к жизни, молодость. Но вдруг воспоминание о ссоре, о злобе, о путанице ночных самолюбий. Где ты, человек, наутро забывающий все ночное, за ночь омывающее твою душу в вечном золоте Божественной обреченности? Сердце, вечно воскрешающее от униженья, разлуки, обиды, опустошения, нелада, скуки, случайности, сердце, доблестно-новое при каждом пробуждении, омытое водой из-под крана, как бы летейской свежестью, восстановление достоинства, справедливости к родным, «когда лицо старается сохранить заспанную хмурость сна, но сердце все вздрагивает от свежести, смеха и тепла дружбы».

Наташа, милая, как я люблю вечно писать о тебе, рассказывая тебе о тебе, удивляя тебя тобою, о золотой воздух

разделенного, но потерянного одиночества, горы, утро, свежесть воды под листьями, вечная великая любовь — обреченность.

Когда твой дух устает от жизни и постоянных потерь, решишь на крутой и быстрый конец, мощным движением пловца вырвись к почти абсолютному одиночеству, такому, которое неподвластно и неподсудно ни любви, ни долгу, никакой обычной жизни. Окуни их в вечную, нетленную Божественную свободу, и, проснувшись, ты обнаружишь их свежими, точно блистающими от росы, ты найдешь свою любовь, отдохнувшую, упругую, омытую суровым одиночеством огромных солнечных пространств¹.

¹ Перевод с фр. Н.И.Столяровой.

ИЗ ДНЕВНИКА. 1934

Париж

<1>

16.2.1934



пять эта жирная теля Нина¹, опершись на костистый Лелин² бок. «У меня не дом, а постоянный двор», — говорит немытая, нечесаная Лида³ на кровати. День был солнечный, но недостаточно теплый, а я недостаточно силен, и ветер уступки, уменьшения метафизического нахальства, золотого задора наперекор пригнал меня сюда, где весело, потому что терять нечего. Но день так не перебьешь, день, прослоенный льдом Наташиного голоса в телефоне⁴, который сразу остудил, расширил и опечалил мир. Теперь Ленька говорит шутовскую речь по-немецки, чем жив этот человек, чем мертв. Нет, сегодня я не тот, не вечерний, и не уступаю, не так легко таю, бесформенно разжимаюсь и меняюсь в лице.

Счастливая встреча вчера, когда я умирал от слабости и переутомленья, но при Н., через облако смеха, вышел к дикой полноте жизни, когда мы толкались и жили грубой, счастливой, полнокровной полнотой жизни в малиновом кафе (о, эти семь франков), под граммофон, в стеклянной комнате, в избытке жизни и чувства, разорительном до утомленья. Раздражает меня, что я за весь день собираю всю кровь своего тела (так же, как деньги), чтобы растратить их в безумном избытке щедрости.

Сегодня, особенно когда после Лиды, успев обожраться дома, я вернулся к Лиде и снова растратил силы в смерти

¹ Нина Постникова, знакомая Поплавского. — *Примеч. Н.И.Столяровой.*

² Бывший муж Лиды. — *Примеч. Н.И.Столяровой.*

³ При людях. — *Примеч. Н.И.Столяровой.*

⁴ Речь о племяннице Наташе Поплавской, уже умершей. — *Примеч. Н.И.Столяровой.*

окружающей, и потом в кафе, где не удавалось от усталости сжать, сдавить мысль в один жгут. Выходя, холодный розовый закат весны сумрачно, чисто нес чуть видный серебряный месяц, холод грыз меня насквозь, но я не поддался и в несколько усилий вырвался, выплыл к Богу, к вынесению участи растраты, холода и блох, которые меня унижительно и мучительно ели в кафе.

Дома сегодня свалился в тяжелую медитацию-сон и, вставая из него, с налитыми кровью глазами, в духоте ночи [нрзб.], по своей любви спрашивая, что же в ней такого, чтобы так тащить меня из кровати, из работы, из святой участи.

Но в кафе опять тело налилось кровью, и до конца, среди сногшибательной скорости понимания, мы царили, княжили в своем вновь завоеванном сексуально-религиозном царстве.

17.2.1934

2

О поле, две ловушки: или все (баня), или никого (дьявол Северного полюса, омертвление, одиночество ледяной победы), а вечна жизнь, тонкая, как золотой волосок, приплюснута посередине, и вечно в своем остервенении и пустынный, и медведь пролетают мимо.

3

Недостаток еврейской нежности. Слишком большая ее обнимающая телом пощада, если уж муж, то пусть калека, изверг или старик, все равно обнять его всего ложеснами, и отсутствие полное отказа «родить такую гадость», отсутствие полное демонизма и доблести девства: «лучше не надо», ибо «о вынимании не может быть и речи».

4

В чем дело?

Без Тебя я не понимал радости жизни Бога, в Тебе я ее понял, и вот я хочу украсть у Тебя, отделить от Тебя понятие через Тебя и уйти на поганых ножках к Нему, но разве Он не увидит, что это краденое и что не от Него и через Него до Тебя дошел я, а через Тебя к Нему. «Приведите Вашу жену, — скажет Он. — Я ее люблю больше, чем Вас».

А может быть, все это — только новое грехопадение старого Адама, но откуда же тогда столько золотого света победы на этом «блудилище»?

Можно же так жрать, еле дышу, а приятно, холодный белый день, и уже сумерки. Так скоро мы расстались и до завтра, но до завтра так далеко.

«J'ai deux amours, mon pays et toi»¹, и как вас разместить? Ты и Бог, оба такие большие, и оба требуют всего, хотя каждый как-то отсылает к другому. Вчера ночью вдруг ясно как день: «Но неужели же Тебе не нужен друг в Боге?» Яркое небо над встречами без единой тени, и вдруг сегодня мертвый в раскаленном мире страх греха и любовь, разрывающая грудь, дышащая во всем теле, и вместе с тем чувство непоправимости, сыгранной судьбы, на балконе в ярком современном кафе, где, как наши души, ярко и властно фордыбачила музыка, а там, за окном, голубая улица и люди в голубизне, бесформенные, неповторимо-живые и праведные, и было странно то, что физическое счастье было полно, и то, что глубоко было наслаждение перегибать ее руки (пойди, перегни) и так *безошибочно* слушать и говорить.

Возвращаясь, смотрел на всех диким чуждым взглядом вырвавшегося на волю, и в груди еще дышала огромная теплая волна, потом сразу заметил город бело-голубой, неподвижно-глубокий, без солнца. «Расставаясь, она говорила: “Не забудь ты меня на чужбине”». Она светлая, ледяная, скучная, святая, религиозная, Она — жизнь.

Масло это я съел и стал себе еще противнее, и вдруг конец раскаянья, возмущение, как будто проснулся.

18.2.1934

Nudités²

Почему, когда Ты чувствуешь себя такой не приспособленной к дружбе, Ты, душа, так ненавидишь себя, или Ты боишься «холодного основания», не поняла ли Ты *même*

¹ «У меня две любви — моя страна и Ты» (фр.). Слова из песенки.

² Обнаженность, нагота (фр.).

dans tes jours de ferveur¹, что Бог не запретил обходиться без Его любви и ненавидит только действующего с холодным сердцем, как Ты, зрителя же, с холодным сердцем и стальными глазами, Он просто не видит, оставляет в покое смерти.

В сердце ни капли жалости, ни капли любви, ни капли сочувствия ни к кому на свете, разве что к деревьям. Но это опять декорация и ближе к делу — помни, что даже у этих строк, написанных путешественником пальцем на снегу, тоже есть читатель, если ты из лени себя щадил, не вылезая в уродстве своем из-под одеяла ночами, тебе стыдно теперь щадить себя и его, потому что ты бы не перенес такой пощады умалчиванья.

Сердце твое сейчас мертво протестует против навязыванья Ей непереносимого для Нее, что делать, если я не моральный человек и не ценю личных отношений, и мне ничего не нужно, кроме молчания, неподвижности, стеклянного звона логических сфер, «боксер с глазами астронома», но что делать, жизнь моя слишком разрушена, чтобы думать вернуться к ней. Отчаянье, отчаянье в сухости и пустоте своего сердца, до того, что вдруг возмущен: да, я таков, таков, таков, и это надо понять и раззнакомиться, изгнать меня из среды живых. Мысль *о работе* стала вдруг до того нестерпима, что все перед этим бледнеет, и сейчас ты никому еще ни в чем не обязан, кроме отца и матери, но разве не сказано: «Оставь отца и мать». Черно до невыносимости в сердце, но это значит ли, что «настоящая жизнь» недостижима тебе одному и ты не на нее продаешь Н., а на «холодное основание», но тогда держись за Н., прильни лицом к ее плоти и пей запах жизни, Христа в звериной шкуре Пана, и вдруг полегчало*.

Tu te fais des illusions, mon pote, c'est depuis longtemps, longtemps que le Christ ne te parle plus, ton coeur est beaucoup trop dur².

¹ Даже в часы рвения (фр.).

* На левом поле: Но, может быть, Она поймет и поможет переждать, а не эту каторгу такси. Ах, эту страницу надо вырвать. *Сверху написано:* К Хр<исту> нельзя подойти через две измены, измену родителям, бросить их, измену Н., которой я столько *должен* уже, к чему здесь *должен*, разве только к ней тает сердце. Усилия ответственности.

² Ты обольщаешь себя, парень, вот уж давным-давно как Христос с тобой не беседует, уж слишком жестко твое сердце (фр.).

В то время, как во сне, счастье, долгожданное счастье, долго ждавшее [нрзб.], нам так хорошо, в глубине души происходит самая последняя, самая отчаянная борьба с Тобю, ибо не только счастья, но и цели хочет сердце, а Ты можешь ли быть другом цели, а не только моим другом, а все это слова, *но правда*.

Логика [Зигварт]¹

2. Возможность и необходимость.

2

Ничего «психологического» в понятии возможности нет, ибо оно — простая констатация категории сходства данного понятия с несколькими другими, расположенными в постепенном отдалении, но строго ограниченными от невозможного.

Напр<имер>, если у двери позвонили, тотчас же, во-первых, отделяются все невозможные виновники на самом далеком месте как абсолютно невозможные, никогда не существовавшие герои романов, затем ближе, тоже очень далеко, все мертвые люди (хотя возможно, что они позвонили спиритически), затем из остающихся живых людей все незнакомые, затем из остающихся знакомых два-три человека, постоянно бывающих, дальше этого ограничительное суждение возможности не идет, сообщая только, что если было условлено на этот час с Сократом, то очень возможно, что это он, но что все-таки это не необходимо, потому что это может быть полиция или Иисус Христос, которому все возможно.

6

Лейбниц требовал сперва доказать возможность Бога, а затем уже Его необходимость, потому что Лейбниц — гений, а Зигварт — упрекающая его ничтожная профессорская сопля.

1. Передел белье, и на жопе приятная свежесть чистой материи. Выпустил фиолетовый воротник и с удовольстви-

¹ В дневнике 1934 г. фрагменты, взятые в квадратные скобки, в оригинале зачеркнуты.

ем посмотрел на себя в зеркало. Я вообще люблю на себя смотреть в зеркало, думая о том, как когда-то, до открытия гимнастики, я был узкоплеч и белесоват и как я теперь нравлюсь всем без исключения, и это несмотря на невроз. Так, сидя в кабаке, пробую свою власть на женщинах и, когда одна за другой уступают, успокаиваюсь.

Смотрясь в зеркало (тоже чисто женская, утробная мысль): и это все пропадет, и жалость к себе растет, но странно, до известной точки, после которой входит мысль о «воскресении из мертвых» и полноте физической жизни после отрыва от всех блядств, особое наслаждение от своей силы и девственности — неподкупности, соединения животного пыла и холода, которое и покоряет. Люблю ходить в свежести этой власти, окруженный ею как облаком, думая о том, что будет, когда невроз окончательно кончится, и не удастаивать, истребив взглядом, подойти познакомиться.

2. Все больше, то есть вглубь идущее бешенство от дневника Н., и еще не знаю, переварю или «изрыгну» его вместе с добросовестностью сердца, и конечно, немного крови души, хотя и немного будет ее, так как Нина будет здесь. О душа моя, когда ты научишься не щадить никого и не перенежничать, чтобы после того перекаливать и, опять раскаиваясь, уступать оценкой?

4. Бедность художественной организации, вечные суперлативы к каждому встречному: «О мой князь» и т.д., отсутствие средних слов, фальшивая болотная неподвижность чувств на мертвой мерзлой почве. Но отсутствие, полное отсутствие желания любить и *хотя бы раз перепрыгнуть через свой эгоизм, никакого желания очищения в любви, а только рабские фразы*, от которых каждый раз вздрагиваю — скорее брезгливо, чем ревниво, и так больно понимаю, почему ей нравится «ССР» и тяжелая лапа всеми принятого отказа от свободы, — во всем этом есть неподмытая баба, целующая руку, которая ее только что побила. Ах, Русь, Русь. Как мало в тебе силы, могущей сколько угодно лет или поколений носить свое золото в абсолютном холоде чужих краев, как англичане, которые никогда ни на каком острове не перестают быть англичанами, мне поближе к печке, «в толпе укрыться», ибо жизни в себе на *доисторической земле* я найти не могу, мне на солнышко, слабая, мягкая физиология, налитая жизнью только *временно*, как член, налитый кровью, а не как

[нрзб.], и поэтому тоскующая, что стареет, и это в 21 год, и что лучшие силы уходят. Читая это, каменею от презрения и благодарю своих отцов, что они столько дали мне дикости, одиночества, каинизма, в грязную избу не лезу погреться, обещая приноровиться, приспособиться. *Один в поле не воин**. Только рабский народ, ничего не знающий о Люцифере, мог создать такую поговорку.

5. Благодарю за то, что, хотя мне 30 лет, я еще не помирился, не сдался, один в пустыне сужу народ свой и презираю его за рабство и жуликоватую дрожь в лице, которую в себе так знаю, в прошлом русский или рабский. Рабовладелец, *и все-все слова* Наташи о достоинстве человека только литературой кажутся рядом с этим международным воплем души. «On sent les mains du maître»¹.

6. Мужайся, душа моя, не из такого горячего теста, а из стали делаются доисторические герои, среди которых ты хотел бы жить, а без которых тебе довольно и Бога и медленной верной весны, уважения ко всему в сердце. Пусть поедет и поплатится, ибо тот, кто жизни в себе не имеет, *должен* смириться и принять рабское стадо, в которое превращается народ под лапой хозяина.

Кстати, в кружке бараньи глаза каких-то доморощенных грузин *в почете, барские сталинские сынки*, ах, рабы, рабы.

7. От всего этого тошно, тошно, тошно. Мужайся, *oh mon âme*², не раз уж ты оставалась одна на постройке от отвращения, пусть он будет и архитектор, и учитель тебе во многом; корова, кстати, — тоже «учитель сельской тишины», не зная о том.

Один, один перед Богом, огромна, до неба, постройка, такая высокая, что вверху конусами сходятся ее массы, и на площади, среди тысячи инструментов, машин и чертежей, один ты, боясь, не смея быть одному.

8. День вчера прошел в шатании по кафе и в трате денег, так всегда становится жалко денег, когда стыдно за отношения, и больше всего ее ложь, что она говорит о своей любви и здесь же, придя домой, пишет, что я поняла, что это нужно было ему сказать и т.д.

* *Сверху приписано: А я и Шаршун всю жизнь одни в поле.*

¹ «Чувствуется рука хозяина» (фр.).

² Душа моя (фр.).

Но есть и другое к самому концу, сохрани равновесие неподкупного зрения.

24.2.1934

Логика

Не так поддаваться бешенству, увидеть потом и стоящую сторону, но не бояться бешенства, проверка — это чистка партий, все, оказывается, еще так непрочно, и поэтому, странно сказать, как будто даже по-новому интересно, уже потому, что, если она еще сейчас не по-настоящему любит, преждевременно судить о ее богатстве-бедности, ибо она ведь еще вовне и только наполовину раскрылась.

Ведь человек не только не раскрывается, но почти и не существует, пока не полюбит, ибо находит себя, формируется, только найдя свою радость — свой смысл радости.

* * *

Вижу я, что еще один день пройдет в служенье жизни, своей и чужой, в шатанье друзей и кончится усталостью, но глубоким отеческим юмором над своей работой. «Погоди еще варить зелье, не все травы собрал».

Солнце в комнате. Мама стирает. И шляется всюду этот шалый и нервный, слишком умный ребенок, ни за что не хотел бы иметь такого необычайно тупого, как Наташа, медленно развивающегося, но защищенного, подлинного удачника, чтобы дух не просыпался в теле много раньше плоти, как было у меня, пусть даже плоть немного раньше проснется, и от страха «почему нельзя» он *вспомнит* дух.

* * *

Вчера с Пусей под визг гармоники и в оцепенении невроза глубокое античное смирение, сила покоя весны с Пусей, когда он признался, что и он Ставрогин, все молодеющий, отсиживаясь от жизни.

Он. Мы все молодеем, не совокупляясь с жизнью, с роком, экономим жизнь, но где же грех?

Я. Грехи есть только против жизни.

Он. Когда же Сократ?

Я. В мифологическом покое весны и т.д. Сил нет писать. Боже, Боже мой, какая мука полноты, мука, мука веры.

От дневников вдруг сделалось больно, и больше не могу писать.

О свободе

6.3.1934

«Погода эта вгоняет в сон, ты заметил?» — говорит Дина с дивана. Милая, красивая, беспорочная, сегодня ты опять меня как сына приютила, и отсиделся в книгах до сумерков, но день начал темнеть, и все опять медленно становится невыносимым. Долго и безблагодарно боролся с Наташей вчера среди тысячи слов и слез, и вдруг чужое, омертвевшее тело ее мучило мертвой отвратительной болью, как будто двойное дыхание жизни, не находя выхода, завертелось десятками жгучих очагов гангрены. До Дины несла меня радость — моей новой безупречности. И это она так гордо разговаривала в кафе, автобусе и на углу, ожидая трамвая, но едва заиграло радио, сердце разорвалось, ведь мы одно, одно и то же, пойми.

И так же утром сегодня. Наташа в телефоне была добра, и милый голос ее «полный» звучал открыто-обреченно, просто, и это сразу обреченно успокоило меня, когда, совсем ослабевши, брел в свинцовом пальто под дождем мимо Porte Brune, весны, Татьяны, жизни прошлого. И лишь около улицы Dantzig прорвалось в сердце: «Ну хорошо, со всем, со всем готов расстаться». И опять нужно было встать на колени, но я испугался рабочих и только на самой ул. Dantzig победил страх. «В сущности, у меня к тебе глубокая женская обида, и если бы я сейчас почувствовала, что ты меня любишь, я бы вернулась к тебе. Есть у тебя одна черта, которая может это сделать, но ты не можешь сознательно быть таким». Не знаю, снится ли мне, но надежда, может быть, еще есть, есть, есть. Только я-то, люблю ли я ее так солнечно, непорочно, как когда-то, ни да, ни нет. Я люблю еще обреченно-весенне, взросло и на всю жизнь, не так язычески, но сто раз добрее тех дней.

Теперь Дина зажгла свет, и на тетради сложные оранжевые отблески, и я кажусь себе скрытым, забытым, где-то в

углу. Мир стал беднее, осиротел, стал каким-то тщедушным и хрупким, и шум улицы кажется совсем тихим. Куда же деться вечером, отсижусь здесь, авось Ангел не прогонит.

Наташа, Наташа, как же Ты не знаешь за рациональным люциферическим хамством мою совершенно простую, и детски доверчивую, и не верящую в зло душу, как я бесформенно открыт Тебе весь, все холодное ведь только «нарочно» сделано во мне, а я без защиты и без возможности разлюбить Тебя. Наташа, Наташа, как тихо и беззащитно я сейчас при-тыкаюсь к Твоему телу, милая моя радость — судья мой.

Тучи несутся в темнеющем воздухе, огни зажглись в домах, и все обреченно, беззащитно, брошено, пусто.

Нет, Борис, только люби и ничего не делай, она поймет.

Из дневника Аполлона

Что, собственно, он может любить в этой толстой, самоуверенной женщине, что жизнь и т.д.

9.3

Несмотря ни на что, стихотворение получилось холодное, и утром, как и вчера вечером, хотелось больше не жить от всего и от всех. Мучение из-за родителей сделалось непрестанным кошмаром. Однако радость вчерашнего утра была полная, и под нее не подкопаешься, радость холода, солнца и не испытанного еще телесного восхищения. А сейчас от печали останавливаются руки.

Вчера долго шел через весь город, бледный, но твердый, борясь с неврозом, в церкви было так же, но счастья меньше, может быть, оттого, что и счастье утомляет. Боже, как сейчас тихо, а сердце ищет покоя, *покоя весны*.

Жить опять нестерпимо.

Логика — ледяное счастье.

Логика

Особенно наивна мечта Зигварта о целокупном понятии Бога, исчерпывающем Его реальность, в то время как

Бог именно участник и память всего неповторимого, происходящего.

10.3.1934

Извлек Гуссерля и весь ощетинился, теперь не уйдет. С утра хаос начал укладываться, снова поле полегло двойниками, грубыми личностями неврозов. Все-таки подогнулся вчера «в сторону Нины», под дождем, уже перемучившись, гонясь за Володей, и, конечно, нашел всех их, неподвижно сидящих, и Нину, с тупыми своими слабыми рожками, не здороваясь с ней, но кокетничая отчаянностью, сел поближе к Адамовичу, и тот ласково-устало закокетничал со мной: «Говорят, Вы в “Числа” замечательную прозу дали». Это Фельзен, милый, чистый, как стекло, еврейский барин, но на докладе я был вне себя от невроза, униженья, противопоставленья себя всем, неожиданно вырвали меня говорить, и я холодно твердил, но ни к селу ни к городу сказал о том, что у Адамовича не хватает сил на развод с женщиной (Россией), которая (не уважает его собственного достоинства). Берберова и мадам Вейдле сияли очами и сердились, что я не кланяюсь, и только Дина была как всегда молодо-безупречна.

С Наташей потом тяжело, до слез, не женских, самых горьких, сидение в пустом «*Val aux Fleurs*»¹, где для таких клиентов не достаивают петь.

Проводя ее, споря о России и свободе, где она договорила до того, что Германия — царство свободы, из-за не солидарности ее и ночного одиночества хотелось остаться на Монпарнасе и найти Фельзена, но я переменял это и поехал как всегда в метро с ней, терзаемый неврозом от ужаса не срамить. И у ворот опять непорочная светлая личность вышла из облаков и целую ночь снилась так, что все утро видел ее перед собой.

Проснулся поздно, в разгромленной жизни, долго не мог прийти в себя и найти, за что зацепиться среди рваных носков, страхов и нелепых вечных великих планов своих. Но на улице, борясь с неврозом, выпрямилось сердце. Ценно в Наташе то, что она любит грязные руки и нечесанные головы, то есть чувствует живой хаос жизни, еще не нашед-

¹ «Цветочный Бал» (фр.), кабаре.

шей формы, как и ее жизни, и это куда выше из [нрзб.] опустошенного благородства Нины.

11.3.1934

Стихотворение «Холодное, румяное от сна...» я написал, и оно вышло полуживое, между двумя жизнями — Ниной и Наташей. Нину сегодня снова видел во сне, ибо иногда решимость устает, и чистое ее спокойное лицо опять передо мною, хотя оно не для меня, не для меня.

Сегодня с утра шумит дождь и из-под двери залил половину комнаты. Папа чистит картошку, а я сейчас выплыву к логике, как вчера, когда, переутомившись от счастья открытий, вырвав пакет с кофеем у католиков и встретив Наташу на бульваре, повалился в сон с шести вечера до утра, когда изо всех сил так долго рвался к жизни, все вновь засыпая, но к концу так наполнился всемогуществом внимания, что от счастья лял, высунувшись из-под одеяла.

13.3.1934

Мрачное пробуждение при электрическом свете часа в три утра. Можно же так спать, потом опять продолжалось, и в пять и шесть я не мог проснуться, разделся, начал медитировать и только в семь-девять выполз к долгой бесформенной мольбе о счастье, ибо я больше не могу жить в сплошном черном усилии, отяжелев от сонного перепоя, в отчаянье от грязных носков, невроза, тупости Наташи с ее вечными кафе, не мог решиться встать, зачем, когда, когда я целый день ни разу не буду счастлив. Только папа вызвал меня из гроба, и сейчас, напившись кофею, разъярился я прочесть 50 стр<аниц>. О Наташе счастливый сон с лазаньем по горам и глупым концом, с купанием, наводнением и голыми путешествиями, какая радость — солнце во сне. Сейчас солнце по-весеннему греет, звенит наверху швейная машина, и сердце ожило. О, если бы Наташа поняла две равные бездны в сердце. Бездну тоски и отвращения от жизни и бездну восхищенья и радости жизни. Наташа, je t'embrasse¹.

¹ Я целую тебя (фр.).

14.3.1934

Теперь осталась только часть о выводе, легкая, чтобы дочесть этот том (Зигварт — Логика). Сегодня холод, бодность, шомаж, письмо Шаршуна о ротаторе, Наташа поздно вечером в кафе. Сердце глубоко борется за нее, со всеми сомненьями и спиритическими ужасами, от которых ночью страшные сны. Дина, по-моему, как-то неуловимо ревнует, и «духи его слушаются». Дина, Дина, золото мое дорогое, больное, милое бесконечно. Наташа «обижает» меня своей самоуверенностью и отсутствием (внешним) глубокой пораненности жизнью, весной, Богом, отсюда (внешнее, вероятно) отсутствие в ней глубоких эхилловских ночных нот.

Наташа моя золотая, сердце к Тебе рвется с отчаянной верой, не смейся над ней и не *остри*. Вникни немного в глубокую обреченность и в черную *боль* весны, ибо жить все-таки больно от всего, хоть и радостно всегда. Светлая моя безупречная дуся.

[Личность и общество]

Только еврейская и греческая древность додумались до моментов личности и свободы, и вот почему именно они, а не египетская, вавилонская и древнегерманская древность, легли в основание культуры. Хотя древности эти бесформенны и лишены архитектурного единства, ибо все греческие герои до легкомыслия импульсивны и свободолюбивы, и даже в богах согласия нет, однако греческая древность и еврейская бесконечно симпатичны, в то время как, всматриваясь в туманное чередование каких-то анонимных Зооростров, какая-то презрительная оторопь берет, и скука чистой археологии нестерпима в истории фараонов, до того они бледная тень один другого, а в Риме и в Греции как неповторим Алкивиад, Перикл или Александр, какие живые люди перед египетскими роботами в коронах. Египет — действительно «скучная история».

*

Персидские цари, по многочисленности войска, имели обыкновение не считать, а мерить его на версты тогдаш-

ние, но это было рабское быдло, и когда босые македонские хулиганы увидели это быдло, то кривошеей Александр засмеялся: «Разве это люди, солдаты, личности!» — толкнул лапой, и повалилась персидская декорация, и трава не растет там, где царей в их золотых палатах даже видеть не полагалось, «дабы не умер от счастья».

...Конечно, демократическая свобода не абсолютна, потому что полиция разгоняет манифестации, бьет и т.д. Но все дело именно в нюансах, так, бить было дозволено, а стрелять было слишком, и в этом чувствовалась дрожащая рука зарвавшегося жулика, так же и с шоферами, конечно, муниципальные власти, авангард промышленной олигархии и прочие общие места, однако, несмотря на колоссальные убытки компании, шоферы продолжают получать пособие безработных, и это на 28-й день стачки, следовательно, все не так марксистски-просто в демократическом болоте.

Однако свобода, утверждаю я, есть вторичный и не природный диалектический момент. Ибо так же, как общие понятия, несомненно, появились первыми (ибо язык дикарей и детей состоит именно из немногочисленных самых общих прагматических понятий съедобного, несъедобного и т.д.), а все частные специализировались из них сверху вниз, так, несомненно, что общество — племя — коллектив появились бесконечно раньше личности, а не создались из суммы или контракта их, как то наивно думали французские политические романтики, так что общество, не знающее личности и свободы, есть первый термин диалектики свободы, тот, в котором она наиболее отсутствует: люди родились рабами тех сексуальных агломератов, которые их родили. Так, женщина прежде, чем стать рабой одного мужчины и одной семьи, была долго рабой всех мужчин, ибо все племя «мешалось без различья» или только с различием антикровосмесительным. Мужчины же все были изначала рабами общины, функцией, органами ее, и она одна существовала, вечно возобновляясь от ритмической смены безындивидуальных поколений. Несомненно, что первой личностью был преступник правды отцов, например, ревнивец, для которого жена уже не могла принадлежать всем, и, изгнанный из рая примитивного коммунизма, как Алеко из цыганского табора, со своей женой избрал личность и дьявольские ее искусства.

Первоначальное исконное состояние есть рабство женщин и мужчин роду, обязательная женитьба кого угодно на ком угодно, и есть народы, которые, презирая индивидуальность, создали страны, презрительно [порождающие] цивилизацию по принципу одной семьи. Таковы Египет, Вавилон, Карфаген.

Религия всех этих народов первой диалектической ступени была Религией великой Богини, не знающей своих мужей, не шадящей своих детей. Мораль — религиозная проституция, то есть возведение в культ дезиндивидуализации любви для женщин и деспотическое повеление и рабское служение для мужчин, дабы не привязывались ни к какой индивидуальности. Пунические женщины должны были и почитали за честь с радостными песнями сжигать своих детей в утробе огнедышащих солнечных Ваалов, универсальных, бесконечно плодовитых солнечных мужей бесконечно плодовитой Великой богини.

Но гибель этих культур при столкновении с греческим миром, изобретшим индивидуальную семью и личность, поистине смехотворна и мгновенна; тем смехотворна, что нечего о них и вспоминать, до того они были величественной суммой неиндивидуальных единиц, нулей, и их коллективная история, наподобие истории колонии бобров или тюленей, окутана такой мертвой скукой, что холодный историк начинает не на шутку внимать библейскому проклятию пророческого фольклора.

Итак, если общество — племя есть первый диалектический момент, второй есть личность, и она, как побеждающая безликую родовую сексуальность и аскетически индивидуализирующаяся, становится в прямую оппозицию к первому термину, и скоро выясняется метафизическое уродство этого антитезиса, и оно есть раньше всего роковое одиночество такой личности в себе, «мировая тоска» романтизма, которых никогда не знали родовые народы, где каждый, едва достигши половой зрелости, опять начинал поглощаться племенем, женился и получал готовую отцовскую профессию, и занятие, и место в общине, *не успевая обособиться и начать скупать, ибо правильно сказал оракул: одиночество — мать всех пороков.*

Одиночество в себе и полная неприспособленность к действию в организованной общине, которая раньше всего

требует глубокого упрощения личности и принятия традиционных форм, как, например, брака, требует огромных уступок личной свободы, слишком же индивидуализированные люди очень часто вообще безбрачны, ибо слишком редко им удается найти дополнение себе. *В истории этот период есть Ренессанс, и, когда личностей очень много развелось*, — новая история, с ее неизбежным капитализмом и драматической борьбой за частную свободу, ибо личность, рождаясь, оказывается вообще на улице, и ей предоставляется погибнуть или бороться против всех, не переступая только известных границ, а именно насилия.

Люди капиталистического мира, окруженные всеобщим равнодушием, ибо все заняты собою, в разделенности, замкнутости, клеточности Европы часто вспоминали о древних коллективистических цивилизациях как о золотом веке, не понимая, что они никогда не могли бы там ужиться, ибо даже Сократ был слишком личен и потому развращал юношество, отвращая его от городской традиции, и потому, как правильно понял Ницше, десять раз заслужил смерть как разрушитель греческого единства, что он и понял, предпочтя ее изгнанию, ибо, как всякому втайне родовому человеку, ужас путешествовать и быть одному был для него пуще смерти, и вообще ни один европеец не может понять, что было для древнего изгнание и почему оно до тюрьмы и галер прямо шло за смертной казнью.

Так род тоскует по личности, тщится к ней, а личность тоскует по соборной жизни, и здесь останавливается печально диалектика демократии, понимая, как мертвое одиночество в большом городе и смерть от голоду среди гор запасов необходимо связаны с демократической свободой, и в этом смысле жизнь Рембо и Бодлера есть откровение индивидуалистической Европы о самой себе.

Скажу прямо, что свободно принятый коммунизм кажется мне третьей диалектической ступенью, включающей в себя возврат и отменение, сохранение частичного добра, достигнутого уже в двух первых. Но в нем важнее всего точное разделение нерушимой области личного и свободного от столь же нерушимой области обязательного и коллективного. И в этом все, ибо перегнуть в одну сторону — анархия, перегнуть в другую — деспотия.

Фашистские государства покупали свое могущество возвращением к доистории, то есть к этапу приказа и подчинения. Да, внешне эти государства гораздо симметричнее и архитектурно законченнее, и это не есть деспотия, а свободный отказ индивидуумов от индивидуальности, радость войти в ряды и больше не быть одинокой личностью. Эти народы споткнулись о камень преткновения, и гибель их будет мгновенна, ибо они не состоят из личностей и, следовательно, подвержены массовому паническому героизму и панической подлости.

В сущности, фашизм и коммунизм есть возвращение России и Германии к природе.

28.2.—7.3.1934

В поисках собственного достоинства. О личном счастье в эмиграции

1

Наше положение похоже на полярную зимовку многочисленной экспедиции, и так же, в то время как дни проходят и бесконечная полярная ночь длится, с одной стороны, новые черты раздражительности, злобы, мании преследования и мании величия появляются в нас под влиянием однообразной моральной пищи и вечного искусственного света, но так же истинная сплоченность растет среди нас, мы теперь гораздо более похожи друг на друга, чем вначале, и поняли, как нуждаемся друг в друге, не родниться же с эскимосами, ибо, несмотря на Пруста и Селина, — чуждо, глубоко чуждо нам французское глубокомыслие, от пресыщения счастьем и свободой флиртующее с Советами... Эту речь я слышал на днях — где же: конечно, в кафе, литературном кафе, где после периода снобизма и благополучных острот опять пошли традиционные русские разговоры, и, оглянувшись, действительно почувствовал странную симпатию к товарищам по приключениям, и, когда я вышел наконец на воздух, опустевшая ночью и ярко освещенная улица показалась мне грозным полярным ландшафтом, которым можно восхищаться, но жить в котором невозможно. Потом вдруг я подумал о [том, что таково тем только, кто действитель-

но живет в кафе и на собраниях]. Таковы мы в общественном смысле, но что за этим: вечная логика жизни осталась неизменна с ее полюсами — счастливой личной жизнью и одиночеством, с той только разницей, что те, кто лично счастлив вокруг, немного менее нагло наслаждаются своей удачей, что у них здесь античная страна судьбы, и что те, что одиноки здесь, немного менее абсолютно одиноки, чем в русских провинциальных городах, где действительно [кроме трактира] некуда податься вечером, потому что под давлением полярной ночи мы лучше друг к другу относимся в зимовище.

2

Так я успокоился, найдя на мгновение хорошую сторону в таком плохом положении, но, всматриваясь в редких прохожих чуждой и счастливой расы и невольно сравнивая их с собою, с нашими, поражало меня их спокойное самообладание, сила их покоя душевного, их невольного физиологического высокомерия, которого почти нет в нашей среде. Следственно, надо было бы сбросить сознание своей вины, спросил я себя, вины своей и отцов за гибель России, ибо всякая неудача есть вина, и прийти к успокоению посредством полной потери чувства грандиозной исторической вины, которая давит нас, подобно тому, как долгие века евреев давила «вина за разрушение храма», вина за то, что они не смогли его защитить? Нет, подумал я, превращаться в туристов не стоит [как противны вообще всякие туристы, ибо если лишить эмиграцию всякого чувства особого ее назначения, она рассыплется в груду бедных и богатых туристов, полумертвых путешественников без возврата, а она посерьезнее этого, и тогда почему не вернуться в Россию]. Но и интегральная эмигрантская униженность типа комического персонажа с карикатур Мада мне мучительно, как какое-то унижение вечного вненационального, внерасового человеческого достоинства, которое уже метафизическая категория, но каждым, даже самым нерелигиозным культурным человеком чувствуется унижение, которое так сильно в России.

Следственно, ни снимать с себя звания эмигранта, ни подгибаться под ним не требуется. *Что же требуется, что же я от себя требую?*

3

Я от себя требую добиться счастливой личной жизни, потому что* несчастный по своей вине человек есть унижение для расы, неудачник от лени и социальная опасность, ибо он своею безнадежной и глупой грустью отравляет источники существования, особенно если он пишет, вечно клеветая на мир. Конечно, именно собираясь обзавестись семьей, русский за границей особенно чувствует необходимость ему Родины, русской среды, даже русского пейзажа, и это до физической точки и иногда даже до временной экскурсии в «Союз возвращения на Родину». Потому что мысль о семье и особенно о детях, которые никогда не будут знать о воздухе России и поэтому потеряют родителей и навсегда останутся какими-то уродами, а воспитать их в клюквенном стиле кружков по познанию России — значит дать им ложный <рецепт?>, выбить их из окружающей жизни, мысль эта часто приходит в голову, но удача и неудача личной жизни всегда корнями уходит в донаучное и в доисторию, и может быть, еще глубже счастье тех, кто нашли здесь счастье оттого, что так холодно вокруг, по контрасту.

Во-вторых, если личная жизнь мне не удастся, я требую от себя не винить в этом эмиграцию и на нее все не сваливать. Гамлет жил на родине и Вертер тоже, и оба не имели извинений, следственно, и я должен не искать их, а возвращаться и укрепиться в вечных позициях человеческого одиночества, в каких-то тайных и проклятых способах существования, которые до меня создали Рембо, [Бодлер], Эпиктет, Марк Аврелий, Малларме.

Я одинок, потому что я согрешил; но это — уже религиозная категория и к эмиграции имеет мало отношения.

4

Но так ли это? Во всяком случае, я от себя требую одновременно присутствия чувства виновности за падение России, ибо я, принимая преемственность своего образования, во всем ритме своей души, ибо я, принимая преемственность и с ней первородный национальный грех, продолжаю, наследую вину тех, кто, властвуя в России, все

* *Написано над строкой:* что я еще не дорос, чтобы уйти совсем.

погубили, и одновременно чувство невинности, собственного достоинства, вечного гамлетическо-люциферианского одиночества тех, кто, от Каина начиная, отделились от патриархального рода мышления.

5

Сделай честь России, будь лично счастлив, ибо ничего нет прекрасней и ценнее человека счастливого и ничего унижительнее и позорнее неудачника, но сделай ей честь также и, не принимая до конца вину ее и свою как часть ее, сохрани равновесие между манией преследования русского мессианства и манией величия свободного человека на свободной земле. [И об этой чести личной жизни мне и хочется поговорить.]

«Богатым, вероятно, трудно носить свое богатство, не знаю, но бедному очень трудно с достоинством носить свою бедность» — все из того же разговора.

Достоинство одиночества есть аскеза. Закончено путешествие в глубь своего я, т.е. закончено путешествие в глубь семьи. Достоинство счастья есть добродетель, но в коллективном смысле мы все вместе, вся эмиграция, — как муж без жены — Родины, и Россия — жена без мужа, ибо, как особенно ни щемит сердце по разлуке со своей суженой (Родиной), — если она не уважает моего личного достоинства, мой решительный долг ее покинуть, как Бог покинул человека, едва тот согрешил, как супруг отделяется от супруги в Божественном имени Шехина. — Радость покидает землю.

Достоинство личного и внационального одиночества есть аскеза, следовательно, мужество, здоровье (спорт, спорт и спорт) и образование, и мы слишком поздно ложимся и мало читаем, поэтому в нас мало чего-то холодного, сдавленного, героического и счастливого, которое есть у всех героев одиночества [а мы все-таки герои национального одиночества].

Мы можем быть ущемлены в ущерб как целое, но именно поэтому каждый из нас тем отчаяннее должен искать спасения через человека, и достоинство этого спасения — патриархальная добродетель со всем, что из этого следует, — Евлогиевской церковью, московским землячеством и пр. — или спасение через одиночество в Боге, и до-

стоинство этого спасения — суровость, здоровье, сдержанность, высокомерье, универсальное образование, хотя это и люциферианская, ставрогинская дорожка. Образование, добро и добродетель [идеи, здоровье] — как можно больше счастья, т.е. здоровья, в каждом из нас необходимо нам, чтобы выдержать с достоинством наше путешествие в глубь национальной ночи, как [больше холода] юмора, здоровья, высокомерья и добродушия, как это нужно на полярных зимовках. [Ибо мы — Россия, она там, где двое студентов особенным образом ссорятся из-за идей с Достоевским и Розановым в кармане, и все-таки это дико интересно.]

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые и т.д.

Что до меня, я не обменялся бы своей общественной участью ни на что другое, разве что на [«свободную Россию»] свободную жизнь дома.

Мое глубокое убеждение: Россия погибла из-за того, что богатые в ней недостаточно умели ценить жизнь и семью и, следственно, не защищали ее. Мне возразят, что это подвиг, если богатые классы в России тратили деньги на революцию, я отвечу: не всегда, потому что очень часто это признак отсутствия интереса к жизни и умения быть счастливым, «как лев, который охотно отдает сто тысяч яблок», может быть, даже от каких-то сексуальных ошибок, от потери счастья, семьи и счастья одиночества, и девства, и свободы, — во всяком случае, все тосковало и не умело, разучилось радоваться [жизни], потому что жизнь извратила пути свои [достаточно прочесть письма Блока к матери его]. Вновь открыть землю, как ее открыли люди Возрождения, вновь открыть то глубокое счастье жить, которое нужно сперва испытать на пути к христианскому отрешению, как Зосима посоветовал Алеше, и тот, упав, поцеловал землю.

Если человек один, он должен уйти на самое дно величия, быть совсем один, окружить себя античными образами и героическими [«романтическими»] образами, испить до дна горькую и пьянящую, как эфир, чашу стоической разлуки со всеми, так обретет он величие своего падения, вечную тему Рембо-Люцифера, участь которого и больше и глубже человека.

20.12.1928



рогательно только то, чего коснулась, чего касается, к чему склоняется смерть. Вот если бы не писать ничего, думаю я, тогда все было бы по-настоящему перед Богом от любви к искусству. Стихи — это загробная жизнь чувств, бессмертие их души. Но жизнь только потому и трогательна, что бессмертие души не очевидно. Только потому она тогда звенит чисто, как золотая монета, падаемая в море. Ах, этот жест для Поликрата — чистая ложь и порнография. А рыба стихотворения всегда все приносит в разинутой пасти, все потерянные утра, погибшие вечера, неповторимые ощущения городских поворотов.

27.12.1928

Нас интересует, насколько всецело художник в поисках ценного и истинно поэтического в себе склоняться должен в сторону безусловно индивидуального и личного. Ведь существовали искусства, и большие эпохи искусств, в которые художники явно не искали индивидуального. Не искали неповторимо выйти из ряда, а наоборот, как бы слиться и раствориться в некоем надличном стиле, напр<имер>, в готике вообще, или же в искусстве своего учителя, как, например, греческие продолжатели Гомера или русские былинписцы. Такое явление кажется нам вполне желательным в эпохи, когда существует у данного народа или группы народов какое-нибудь общее большое искусство, ради продолжения и развития которого законно жертвовать тенденцией к оригинальности, как строить прекрасное общее здание предпочтительно тому, чтобы отдавать свои силы на приукрашение собственного жилища. Такие эпохи и есть

классические эпохи как бы объективного стиля или задач, и художественное целеискание его в целом закономерно отмечает поиски своих неповторимых личных эстетик. Но такого рода искусство не свойственно индивидуалистической цивилизации. Последними опытами в этом направлении была, пожалуй, русская социальная литература XIX века, которая отчасти продолжает развиваться в России. Но для душ более эстетически настроенных, взыскующих скорее о постигании и претворении мира в красоте, а не в правде, это искусство, центр которого, в сущности, находится вне искусства, в некоем искании правды среди людей, закономерно чуждо. Дело в том, что вся русская культура, кроме символизма, почти исключительно моральное явление. Все русские писатели, кроме, может быть, Пушкина, моралисты, доброискатели. Русская революция и послереволюционная советская литература — законное продолжение этого действенного морализирования, и попытка современного марксизма основать социальную драму на механической борьбе интересов есть, по крайней мере для России, отрицание листьями своего ствола.

Но высокого, одного чисто художественного стиля (подобием которого одно время казался кубизм для французской живописи) в настоящее время ни в русском, ни в иностранном искусстве нет. Нет недостроенного храма, поэтому закономерно художественное перестроение жилища или же домашней часовни. Поэтому тенденция к повышению ценного в искусстве находится, как нам кажется, в настоящее время в стороне искания наиболее индивидуального, наиболее личного и неповторимо субъективного миро- и духоощущения. Но каковы же его опасности? Они велики. Стремясь к дневниковому, к домашнему, к «нелитературному» в дурном смысле этого слова, можно так углубиться в свое, одному себе понятное, что предел этой тенденции ведет постепенно через суживание круга читателей до полной криптографичности, до никому непонятности, до никому неценности. Причем все же, принимая во внимание, что по мере специализации художественного материала круг читателей такого художника все более сводится к кругу чудаков, единомышленников, себя находящих в нем, чтобы наконец в пределе ограничиться только личными друзьями, влюбленными в одинокого, и наконец даже для

них перестать быть ценным. Ибо совершенно правильно, что мы в художнике отчасти ищем и не себя, а, наоборот, ищем потерять себя, временно другую, новую, отраженную жизнь прожить. Но и это не вполне, ибо каждая душа обладает известною пластичностью, которая позволяет ей на время хотя бы вполне стать подобной другой, как бывает с влюбленными, напр<имер>, вплоть до любовного перенимания внешних манер, даже голоса и улыбки, но нам кажется, что это только до некоей степени, и тогда, когда то, во что спешит превратиться любящий, тоже возросло на том же мистическом корне, как и превращающийся. Так чахоточный Марк Аврелий следовал Кратесу, беззаботному афинскому нищему атлету. Так горожанин Гумилев искал исчезнуть в идеале стоического, арабского и негритянского разбойника.

Но души Аврелия, Антонина и Кратеса возросли на одном и том же духовном стволе внутреннего, мужественного противления, духовно-мужского начала, формирующего активно-душевный мир. Гумилев же, несмотря на свое городское сложение, всегда душою блуждал в ледяных ночах африканских пустынь.

Так распределяются души в мистической атмосфере. Некоторые из них — более родовое явление, и гораздо большее количество видовых воплощений для них возможно, вплоть до душ величайших мистиков, кои легко чувствуют себя, как дома, даже в образе чувствования животного или дерева на горе, настолько они стоят выше и вне того образчика их возможностей, коими является их эмпирическая судьба. Иные души представляют собою зрелище гораздо меньшей свободы выбора, их постигание как бы сработано и этактически отлично по их эмпирическим интересам, и они гораздо более дети необходимости внутренней, психической, которая заключается в большей определенности и стихийности их душевного течения. Предел этой тенденции мы находим в инстинкте насекомых, вся внутренняя жизнь которых до мельчайших ее подробностей затвердела в определенной форме.

Но в среднем поясе, где живем мы, царствует не профессиональное мышление и не абсолютное сочувствие всему. Как бы разделяются души по кардинальным духовным силам. Таковы, напр<имер>, дух социальности, дух инди-

видуализма, дух пассаизма и любования небытием, дух героический и т.д. Это и есть стволы, т.е., вернее, намеки на существование стволов, на коих группами, сериями, тайными братствами сквозь века рождаются души. Поэтому художник, все глубже погружающийся в свое индивидуальное, переходит от любования единым аспектом своего духовного строя к вариации на общую мистическую музыкальную тему творения, к любованию своей эмпирической жизни, своих личных материальных приключений, своих причуд, привычек, ногтей, привкусов. Конечно, невозможно провести резкую границу между тем, что в душе есть аспект жизни вообще, метаморфоза и маска Диониса, и тем, что от случайно-эмпирического. Конечно, и в малейших манерах, в способе надевать шляпу, в форме рук, в тембре голоса отражается общая духовная музыка, создавшая человека; интеллигибельный его характер. И куда бы ни стремился человек прочь из Божества, из общего, он только детализирует общую мистическую тональность, его создавшую, в свою очередь детализацию общей тональности, создавшей все. Абсолютно индивидуального нет ничего. Абсолютно несимптоматичного, не отражающего целое духовной жизни, нет ни одного поступка, ни одной причуды. И даже в нарочитом чудачестве еще более отражается духовная музыка, как в нарочито измененном почерке еще более явствует то, к чему довлеет человек, в том, что он считает красивым. Но все же, если в духовном мире нет совершенно внеположных вещей, понятий, все же в нем явствуют некие тенденции, никогда, впрочем, до конца не реализованные. Такова тенденция к свирепому индивидуализму, к личному, к самодовлеющей оригинальности во что бы то ни стало, за неимением ценного в душе материала, не общечеловеческого, не общегорестного или общерадостного с людьми. Такая душа имеет тенденцию создать его, вызвать его к бытию. Так, одинокий произвольно становится одиночкой и лирический отшельник — каверзным чудаком. Скрываться, покрываться и прятаться в оригинальности хочет такая душа, но даже так не перестает быть интересной, но уже как тип эстета-индивидуалиста, уже скорее становится интересным, как мог до этого прийти человек, а не до чего он дошел. Но совсем не в эту сторону довлеет правильно понятый художественный анархизм. Не к

активному, агрессивному индивидуализму индивидуализирующему, а к пассивному, наблюдательному субъективизму. Задача просто в том, чтобы как можно честнее, пассивнее и объективнее передать тот причудливо-особенный излом, в котором в данной жизни присутствует вечный свет жизни, любви, погибания, религиозности. Следует как бы быть лишь наблюдателем неожиданных аспектов и трогательно-комических вариаций, в которых в индивидуальной жизни присутствуют общие вечные вещи. Для нас поэзия есть рассказ о том, как Бог (жизнь, сущность времени) пронизывает человека; религиозный опыт со стороны индивидуального в нем. Тогда, когда сходная область метафизики и мистики есть рассказ о проникновении Богом Вселенной, людей вообще, жизни вообще, со стороны их общности. Поэтому также индивидуалистическому искусству вообще свойственны прочие, рождающиеся от живого удивления перед неожиданностью сущности, напр<имер>, веры или любви, и неожиданные совершенно колена и выходки преломляющей среды отдельной эмпирической жизни. Следует не активно создавать индивидуализм и потом его описывать, а пассивно и объективно описывать уже имеющуюся налицо собственную субъективность и горестно-комическую заостренность и выделенность. Великие образцы этого — Розанов и Рембо — абсолютно общечеловеческие в смысле своих интересов, абсолютно правильно передавших странность и неожиданность преломления вечных вопросов в их душевных мирах.

Вопрос, в сущности, стоит так: где поэту в своей душе искать истинно-поэтического, ценного? Обычно дается ложный ответ: в прекрасном, стыдясь и чуждаясь своей юродивости и тривиальности. Поэты с губительным энтузиазмом погружаются в «прекрасное», глубокомысленное, великое, роковое, как во время романтизма в гуманное, трогательно-близкое к природе, человеческое. И что же получается?

Стихи, которые в первой, чисто примитивной, стадии были нужны хотя бы одному человеку, им самим, как дневник, напр<имер>, становятся чуждыми и ненужными даже им самим; себя в них они не узнают больше, а перед читателем имеется некий странный, стандартизированный, безличный продукт, вид среднего, довольно глубокомыс-

ленного, довольно совершенного, довольно неуязвимого, благородного стихотворения, которое, чем более оно совершенно, тем более похоже на что-то хорошее, неизвестно где прочитанное, и между прочим, нигде, ибо это общий, синтетический, отстоянный настой из шести или семи модных хороших поэтов; т.е. абсолютно уже нечто никому не нужное, не интересное — ни пишущему, ни читающему.

Дело в том, что здесь имеет место смесь губительного стыда и скромности. «Разве мое домашнее интересно, — думает такой поэт, — когда так много великого?»

По-нашему же, поэзия должна быть личным, домашним делом; только тот, кто у себя дома в старом рваном пиджаке принимает вечность и с ней имеет какие-то мелкие и жалостно-короткие дела, хорошо о ней пишет. И бесконечно правы те поэты, которые, как Гингер, откровенно сознаются, что какие-то мистические, радостные мгновенья переживали перед лицом разных милых земных вещей: собак, лошадей, трубок, игральных карт, бритья, бильярда, спанья. Или, подобные Кнуту, которые сознаются, что Бог с ними говорил, когда «нога с ногой боролась». Одни поэты должны были бы писать только об онанизме, другие только о бильярде или вялой праздности и т.п. Все эти стихи перестали бы быть красивыми для того, чтобы сделаться искренне-трогательными, ибо человек, когда он до нас доходит в своих отношениях с абсолютным и в глубоком горе от долгого отсутствия этих отношений, всегда искренне трогателен. А все трогательное нужно, все оно разбивает лед нашего внутреннего сна. Только трогательное мы любим, а только то, что мы любим, мы постигаем. А поэзия есть способ сделаться насильно милым и сделать насильно милым Бога.

21.12.1928

Как грустно, только что написал и уже сомневаюсь: хорошо ли, не словесно ли очень, не слишком ли понятно, не слишком ли мало, и сумерки уже ползут вместе с треском мотоциклета, писком часов, шепотом за стеной. Что же, я делаю, что могу, я делаю, что могу, я делаю, что могу, и закрываю лицо руками от стыда, ведь говорить нужно «цинично и с непорочностью».

15.3.1929

1

Строение личности есть защита от музыки, от всеобщей волны, от Бога в действии, также и от чувственности. Моцарт, может быть, играет на самых низменных инстинктах — на сладостном. Защита от музыки.

2

Интересный вопрос: может ли быть «сальеревское» — великие цивилизации, великие религии, т.е. не природные, не подхваченные и не несомые природной волной, а наступающие шаг за шагом, с трудом, кропотливо и стойко побеждая «дух тяжести»?

3

Стоическое — милое — нет родины, нет своего языка, своих привычек, своей природы, своего характера, своего города — все в становлении, все от притяжения ценности: «Мы были разными и потом ничем, когда возмутились властью природы». — «Затем мы стали тем, что полюбили». — Превращение в любимое. Любовь как сила превращения в любимое, как пластический медиум становления.

4

Время проходит, все умирает, а N по-прежнему ходит в котиковой шубе; эта шуба — вызов судьбе. N, несомненно, будет в аду. Но что-то в нем есть стоическое.

5

Темы:

Смерть Европы — под шум пропеллеров своих полярных экспедиций, под пение тысячи граммофонов, под прекрасные и идиотские улыбки своих королей красоты.

6

Отличие от старого декадентства: то, что мы радостные, золотые. Умираем, радуясь, благословляя, улыбаясь. В гибели видя высшую удачу, высшее спасение.

7

Основная логическая печаль и причина многих причин. Сколько ни говори о трагическом оптимизме, все тебя бу-

дут понимать как бонвивана, как оптимизм простой, от-
вратительный, глубоко ненавистный; поэтому новый ло-
зунг — погибание.

8

Именно если эмиграция погибнет, то только умирая,
исчезая, расточаясь, она сможет допеться, голос ее может
звучать в веках золотых. Ибо только все умирающее по-
ет в духе.

9

Не жить и сохраняться, а сгорать и исчезать, прекрас-
но пламеня, озаряя своим исчезновением золотое небо.
(Так мы идем через мост.)

16.3.1929

1

Защита от музыки. Музыка безжалостно проходит.
Брак как защита от музыки. Искание захватить музыку,
сковать ее, не убивая. Архитектура, живопись есть музыка
остановленная, но все же не убитая, как бы *moteur immo-
bile*¹, рождающий непрестанно музыкальное движение.

2

Начало угла — Стравинский, не начало ли затверде-
ния, остывания музыки в бергсоновском смысле?

3

Всему благополучному, довольному музыка просто
враждебна, ибо она становление и изменение, а не сохра-
нение чего-то. Но спасение через музыку, следственно,
через женщин.

4

Спасение через женщин, потому что через музыку мы
слишком сильны и демоничны, следственно, не музы-
кальны.

¹ Неподвижный мотор (*фр.*).

5

Я слишком силен против природы, я могу делать с ней что угодно. Все, что угодно, превращать или прекращать, а главное, ссориться, бросать прожитую жизнь, отречься от веры. Но что стоит сохранять и усиливать? — вот в чем вечное беспокойство огня. И только музыка (женщина) может ответить: «Нет, не бросай этого, пощади это» или: «Нет, брось это, отойди».

6

Т. все жалела, и так, что самого себя становилось жалко, и все трагическое казалось злом, и я рвался из этой жалости. Да, только так, как я тогда думал. Такая женщина, которая могла бы сказать: «Пойди и умри» (т.е. «иди через мост»).

7

Может быть, жалость от духа живописи, а трагедия (жертва формой) от духа музыки. Музыка идет через мост, живопись же хочет остановиться, построить белый домик, любить, любовать золотой час.

8

Но женщины не музыкальны в этом смысле (становящемся), но в другом они гармоничны, у них великое чувство целой жизни и мудрость избегать лишних поступков (не в русле). Так же, как бы видят всегда весь поезд, проходящий в тумане откуда-то с другой стороны реки. А мужчины видят только паровоз, рвущийся в ночь, и ночь. Т.е. мужчины — воины.

9

Искусство рождается из разговора музыки с живописью. (Проявленного духа со сферой отражения и замирания.)

10

В нашем мире нет ни чистой материи, ни чистого духа. Но при первом остывании, или, вернее, при начале мечтания, дух рождает мир вечных форм, т.е. себе подобное.

Но что, проснувшись, сознает себя как единое, в противопоставление реальному небытию (своей объективности)

видит раньше всего основные принципы своего вращаяния в него, своей связи с «тенденцией» к объекту, и это есть первый мир форм.

11

Эти первые формы неподвижны, они качественно не меняются до вечера, до засыпания, мечтания. Второй мир есть мир музыки: т.е. мир этих форм в действии, т.е. вдыхания и выдыхания этими формами тьмы. (Так, музыка восходит к чему-то золотому, покоящемуся в своей основе.)

12

Этот второй мир есть мир вечности в работе, вечности в движении. Спасение через музыку есть согласие поменяться, сладостное чувство прекрасного, добровольного умирания (т.е. переделывания) форм, но там, где формы сопротивляются музыке, начинается третий мир (т.е., однажды родившись, не хотят уже умирать, а сохраняться).

13

Но, вырвавшись из симфонии, из хора, из танца, взбунтовавшаяся вещь пытается сама бесконечно жить, тогда музыка общая становится для нее роком, бурей, грозой (Эсхил, Тютчев, Бодлер). Будучи уже антисимфоничной, т.е., идя вразрез общей музыкальной теме, она есть уже враг мировой музыки, и здесь начинается безнадежная борьба. Шарманка все слабеет, а симфония ночи рвется в окна.

14

Этот третий мир есть мир иллюзий и агонии, мир призраков, цепляющихся за жизнь, мир страха перед роковыми силами, мир безнадежности и печали. Но спасение в возвращении в музыку, в признании ее, в согласии умереть и измениться, в сладостном согласии исчезать и свято погибать (воскресая).

22.3.1929

Я могу еще прибавить несколько слов о согласии или вражде человека с духом музыки, делающим его поэтом. Кажется мне, что музыка в мире есть начало чистого дви-

жения, чистого становления и превращения, которое для единичного, законченного и временного раньше всего предстоит как смерть. Принятие музыки есть принятие смерти, оно, как мне кажется, посвящает человека в поэты. Почему? Потому, что всякая форма перед лицом музыкального становления может или не соглашаться изменяться и исчезать, как всякий одиночный такт в симфонии, т.е. движимое чувством самосохранения, или ненавидеть музыку, в которой смысл смерти, или же героически, несмотря на ужас тварности, согласиться с музыкой, т.е. принять целесообразность своего и всеобщего становления, движения и исчезновения. Тогда только душа освобождается от страха и обретает иную безнадежную сладость, которой полны настоящие поэты.

Я читал в одном рыцарском романе, что во время одного восстания в Кастилии арабы сражались в венках из роз, как обреченные на мученическую смерть; и действительно, кому на земле пристал венок из роз, как не только согласившемуся исчезнуть. Основная тональность этого согласия есть некая сладостно-безнадежная храбрость, только таким душам и поет весна всеми своими соловьями, ибо она — символ движения, изменения и становления и глубоко мучает и страшит всех, не согласившихся еще с духом музыки, не оправдавших еще богов за свою близкую смерть.

Мне кажется, что только поэта, отпустившего им (богам) их грехи, они отпускают из мира молчания и боли в священный соловьиный сад поэзии. Мне кажется, что стихотворение, подобно слезам, рождается из жалости к себе самому; но не бесследно исчезающую мысль хочется записать, потому что мысль не исчезает, а остается в памяти, но она всегда гораздо объективнее и внешне подобна предмету, которому можно себя противополжить, но некое ощущение тех дней, тех давно исчезнувших утр, тех лет хочет воскресить душа, ибо мысль можно вообще вспомнить, ибо всегда остается от нее хвостик, за который ее можно вытащить из памяти, о чем она была. Нет, некое ощущение тех дней — вот что совершенно неповторимо, и некое совершенно особенное чувство каких-то давно прошедших праздников, когда как-то особенно развевались флаги и особенно сиреневел теплый асфальт. Теперь так же на боль-

ших шестах, медленно развеваясь, мечтают флаги, и лоснится асфальт, но ощущение этого всего совсем другое.

Когда душа это замечает, она понимает, что умирает постоянно, что постоянно теряет себя, оставляет себя навсегда на каких-то углах, над которыми над ядовитой зеленью аллей плыли весенние облака, и как будто в ад скользили, посвистывая, автомобили. Спасти себя хочет она тогда, и стихи, как слезы, рождаются от жалости к себе, постоянно исчезающему и умирающему.

Души чувствуют иногда, что вот что-то с ними происходит, что они переживают на углах что-то бесконечно ценное, но что именно — сказать не могут; причем иногда с силой физического припадка происходят некие состояния особого содержательного волнения, бесконечно сладостного. И иногда вдруг слагается первая строчка, т.е. с каким-то особенным распевом сами собой располагаются слова, причем они становятся как бы магическим сигналом к воспоминаниям; как иногда в музыкальной фразе запечатлевается целая какая-нибудь мертвая весна, или, для меня, в запахе мандаринной кожуры — целое Рождество в снегах, в России, или же все мое довоенное детство в вальсе из «Веселой вдовы».

Так создается мелодия; если поэт умеет ее изолировать и развить, разрастается в стихотворение, т.е. спасти от исчезновения хочет поэт некое ощущение, причем понял он это, может быть, только через музыку, т.е. используя магическую эвокационную силу музыки, подобную заклинанию, ибо рассказать ею невозможно; ибо область лирической поэзии есть область особого рода беспричинных переживаний, которые Рескин назвал тихими чувствами, в отличие от громких чувств — страстной любви, ревности, гнева, зависти. Да и эти более ясные чувства рассказать трудно; что можно сказать о ревности — что она была более или менее сильна, т.е. пытаться описать только ее количество, написать, напр<имер>, что она огромна, но каждая ревность каждого человека имеет еще свое особое качество. И в каждую минуту своего течения еще особый дополнительный оттенок. Язык же так беден словами, что, как уже жаловался Шопенгауэр, невозможно рассказать разницу между кислым и горьким. Все же можно намекнуть на эти громкие ощущения, пытаясь заставить действовать переживаю-

щих их героев; так, в сущности, уже окольным путем, что-то передается, но в передаче вышеупомянутых острейших, но тихих чувств, беспричинных и бесконечно ценных волнений терпит абсолютную неудачу, ибо, с одной стороны, они не имеют имен, с другой стороны, они не разрешаются ни в каком действии, кроме разве в хватании за голову романтиков.

Тогда, наконец, богами было послано два духа — дух музыки и образ о музыке. Но о духе музыки пытаться говорить сейчас не буду, ибо это еще слишком бесформенная область, где моему духу решительно не за что ухватиться, но я хотел сказать о гораздо, в сущности, менее важном, но более постигаемом: о рождении поэтического образа, об образе музыки.

Воспоминание о тихом состоянии подобно воспоминанию о музыкальном произведении или, вернее, о чистом мистическом опыте: оно началось — оно нарастало — потрясло душу — оно затихло. Оно было кратковременно, как почти все действительно высокое в душе, поэтому запись о нем и имеет короткую форму лирического стихотворения, отрывочного сна, тогда как излюбленная форма передачи отражений действительных устремлений есть поэма, символизирующая целую связанную жизнь.

Для различения громких и тихих чувств — чисто-эмоционального и мистически эмоционального, только, по-моему, следует именно обратить внимание на это различие, громкие чувства раньше всего действенные, устремленные в жизнь, они — прямые противоположности некоторых излюбленных их поступков — убийства, обладания, власти; тогда как тихие чувства не прямо подстрекают душу к бездействию, они только раскачивают душу, прекрасно и странно, как волшебное дерево, ибо они только похожи на любовь или, вернее, на беспричинную радость или беспричинную печаль, так же как ангелы только похожи на людей. Громкие чувства есть для меня противоположности действительных устремлений, удачу или неудачу которых они и знаменуют. Тихие же неизвестно к чему зовут, но любовная лирика, напр<имер>, прямо перерастает из одного этого мира в другой, т.е. от обыкновенной страстной любви, которая, по-моему, глубоко вне литературы и особенно вне поэзии, она восходит к любви мистической, где неизвестно

чего от возлюбленной хотят, в сущности, чаще всего гораздо больше, чем она может дать, уводящей в сон к некоему открытию, кажется мне, такая любовь — всегда трагическая, неизвестно чего хотящая, которой почти не знали ни древность, ни Ренессанс, которая есть, очевидно, доказательство роста и развития духовной жизни расы или же ее отхода от биологической правды и гибели.

Как же пишется стихотворение? — не могучи рассказать ощущение, поэт пытается сравнить его с чем-нибудь, как дикарь, который, чтобы сказать «горячо», говорил «как огонь» или, чтобы сказать «синий», говорил «как небо», т.е. выискивается вещь внешнего мира, которая становится как бы прилагательным оттенка, начинается описание с какого-нибудь общего туманного слова-сигнала, напр<имер>, *любовь*, или *тоска*, или *лето*, *небо*, *вечер*, *дождь*, *жизнь*. Выискивается вещь внешнего мира, присоединение коей к слову *жизнь*, т.е. присоединение ощущения с этой добавочной вещью, связанной со словом *жизнь*, создает конструкцию, образ, лучше уже создающий эмоциональную травму, подобную эмоциональной травме в душе автора, обволакивающей это слово. Так, индусы отыскивали образ дерева, кажущийся довольно далеким от слова *жизнь*. «Дерево моей жизни грустит на горе», — говорит индусский поэт, но и это кажется ему недостаточным, следует конструкцию еще усложнить; тогда извлекается еще добавочное ощущение, связанное с образом синего цвета.

«Синее дерево моей жизни грустит на горе»; если нужно, также поет или танцует на горе; эта странная конструкция — соединение многих ощущений — создает некое сложное, приблизительно всегда воссоздающее ощущение автора.

Над обрывом

Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.

Или же прямо, без объяснения, что-то передавая:

Ярко-желтый закат за окном.

К эшафоту на казнь осужденных

Поведут на закате таком.

Почему именно *на таком*? Объяснения нет, но ощущение передано; так слово к слову подлетает в уме поэта, создавая странные конструкции, напр<имер>, картину Незнакомки со шлагбаумами, остряками в котелках, рекой и девушкой в перьях, рестораном, сокровищем; все вместе — это одна большая конструкция, один сложный образ, присоединение отдельных частей которого из бесконечного моря возможностей диктовано некоей удачей, некоей странной способностью отбора и извлечения, которая и есть для меня вместе с музыкальностью талант поэта — образ музыки, причем в эту конструкцию входят не только статические прилагательные, но и целый ряд сказуемых, глаголов, которые заставляют это странное синее дерево, напр<имер>, танцевать, Незнакомку проходить, звать с другого берега реки, раскачивать страусовый веер; все это неизвестно почему, но необходимо для создания целостного ощущения, причем в результате созданный образ столь же загадочен для поэта, как и для читателя, поэт сам свой первый читатель, чаще всего самый плохой. Только дух музыки сообщает этой конструкции движение, колыхание, нарастание и скольжение, без которого стихотворение превращается в грубую энигматическую живопись, как иногда у Есенина. Причем все время поэт сосредоточен на некоем ценном ощущении, которое он, как бы кот в мешке и под полкой, передает читателю, который обратным процессом восходит от танца образов к музыке, ее одушевляющей, к ценному ощущению поэта.

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бесмысленный и тусклый свет.

.....
Я помню, в этой бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.
Четыре серых, и вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.

С соединением психических фактур воссоединяется ощущение, их собравшее, причем читатель, воспринимая их, также ничего не понимает, но сопереживает с автором. Шедевр такой конструкции есть вполне энигматическая картина Медного Всадника. Наводнение, медная лошадь, стук копыт. И все это абсолютно неизвестно почему, что, собственно, хотел сказать всем этим Пушкин, ломали себе голову горе-критики XIX века, то ли петровский режим и социальная несправедливость скачет, — конечно, нет, «Медный всадник» есть мистический опыт, ну, скажем, обще: опыт совершенного рока, что ли, но что, собственно, хотел Пушкин сказать о роке, — неизвестно, и вместе с тем мы постигли что-то через «Медного всадника», ужаснулись чему-то вместе с поэтом, и все же

Стало ясно, кто спешит
И на пустом седле смеется.

Это все формально; что же все-таки можно сказать о поэзии по существу?

Поэзия, кажется нам, есть песнь времени. Мне кажется, что область этих тихих переживаний почти полностью совпадает с ощущениями, раньше ошибочно называвшимися религиозными. Для меня это есть ощущение чистого становления моей жизни, чистой ее длительности, включенной или противопоставляющейся чистому становлению жизни вообще.

Но время есть двоякое понятие: извне оно только система счета и сравнения двух движений.

Так, можно вполне правильно сказать, что извне совершенно ложно выражение: «время стерло эту надпись», ибо извне время не сила, оно ничего не делает, оно только система счета, число, мера. Изнутри же время мною отождествляется с силой, изнутри развивающей мир. Здесь время есть сама жизнь *in essentia*¹ на том ее полюсе, где она еще напор и возможность и откуда оно осыпается в случай и необходимость.

Писание о чистом времени, своем и мира, а у пантеистических натур об одном только чистом времени человеко-

¹ По существу (*лат.*).

божеском, есть, по-моему, стихия современной лирики; недаром над греческим храмом Осипа Мандельштама так ясна Гераклитова надпись: «Все течет. Время шумит».

С этой точки зрения я и пытаюсь решить вопрос о двух любимых темах лирической поэзии, стихов о любви и о смерти. Любовь и смерть кажутся мне двумя основными моментами постигания чистого времени. Смерть как тема всяческого расточения и исчезновения времени, ибо душа умирает постоянно, и каждый день нестерпим в розоватом дыме, как последний день, но главное — умирание часов и минут, отблесков и освещений, запахов и ощущений безвозвратно. Смерть как тема прохождения времени. Любовь же как тема спасения времени для некоей качественной вечности, некоего чувства сохранения и безопасности своей жизни, наконец спасенной от исчезновения в руках любимого человека.

Но с этой точки зрения поэзия должна быть как бы по существу реалистической, она должна быть родом постигания и передачи, родом познания. Нет, кажется. Дело в том, что в чистом времени кажутся нам как бы разлитые слои его, лишь самому внешнему из коих удастся воплотиться в реальности. Внутри же времени, снится нам, звучит некий свободный, активно-пророческий слой, который еще не смог воплотиться, который еще только взыскует к воплощению, т.е. этот напор, центр коего направлен к будущему, в более глубоких слоях своих есть песнь будущего, есть некое вечное устремление далеко за пределы актуально-реализуемого. Подслушать это внутреннее становление, еще находящееся в возможности, еще не нашедшее или же почти не нашедшее еще себе воплощения, есть назначение действительно благодатной поэзии, как нам это кажется. Тогда, как я уже говорил, поэзия была бы предварением грядущих дней или даже первым их рождением в мире снов, из коего они впоследствии прорастут в мир реальности. Т.е., думаю я, все будущее уже вызревает, уже напирает изнутри на настоящее и склоняет его уступить ему место. Грядущее не вдалеке, а внутри настоящего, и первый мир, в который оно прорывается, есть всегда искусство. Но служить будущему, взыскующему к воплощению, т.е. подчиняясь внутреннему восходящему звучанию времени, создавать чувства, которых никто еще не пере-

живал, и пейзажи, которых еще никто не видел, может только поэт, внутренне морально согласившийся с духом музыки.

29. I. 1932

1

Напиши искренно и только несколько слов, длинная книга всегда означает незнание, преследование. И хотя «нет ничего хорошего без повторений», неискренность — иллюзия доказательства. Скажи, во что ты веришь, просто, и пусть это полюбят или нет. И не пиши книгу, как все они, [а] с конца, ведь вывод, заключение, приходит всегда первым, доказательства — потом подгоняемые. Начни с вывода и заключения.

2

Вот Ты мне уже и не понравился, и даже какая-то боль появилась посреди груди. Напиши в простоте, не стыдись. Те, кто не поверят, они и не могут поверить, они не знают о мире ничего, и даже самое точное описание ничего не даст им, ибо его придется комбинировать из элементов, им уже известных. Им не известно ничего хорошего, как только энигматическим темным образом; их темное и есть, пожалуй, их самое светлое, не тронутое еще их словесной суетой.

3

Но вот Ты мне опять не понравился, и боль повторилась, зачеркнуто все. Так Ты всегда делал, потом забывал. Однако именно этим Ты жил. Тебе возразят, что Ты писал стихи и, следственно, жил интригами и маленькими красивыми чувствами. Увы, пока Ты ничего не писал, Ты был для них недосыгаем, написав, Ты выпустил коготок. Теперь они сочли коготок Тобою и считают, что Тебя «имели», расправились с Тобою. Отряхни с себя эту литературную вежливость. Ибо мысли о них и об их недоброжелательствах, как вши, ползают по Твоей душе.

Но вот Ты опять потерял меру, ожесточился, попытался сам себя защитить, обойтись без Его защиты.

4

Защищающий себя сам не нуждается в защите Иисуса. Любящий себя сам не нуждается в Любви; у него есть друг, это он сам, и друг этот, может, был очень чист, верен, силен, серьезен; но Иисус не будет ему другом. С ним дружат боги промежуточных миров, которые презирают растерянных смертных и любят ясные, доблестные натуры, чтобы в них отразиться, таковы парки, сибиллы, пифии, горгоны, эринии и все доблестные, солнечные существа — от Аполлона Дельфийского до божественного Антонина (Марк Аврелий). И чему Иисус, неученый, низкого происхождения, дрожащий от страха, водящийся с порочными, их научит? Они снисходительно Его послушают и изучат Его идею. Все они солнце- и разумопоклонники. У Иисуса же смиренные друзья, как и Он сам, растерянные, пугающиеся, ужасающиеся, путающиеся, но... соблазн! — не стыдящиеся своих страданий, копающиеся в них. Боль, видимо, ими даже ценится. Ибо где боль, там и утешение, где слабость, кротость, невежество, порок, страх, там и Иисус, и какое дело Ему до богатых, светлых, сильных и мужественных: «Бог не может дать нам ничего, кроме богатства и здоровья, все же существовавшее воля дает себе сама, т.е. добродетель и покой».

Они непоколебимы соблазнами мира и, не вмешиваясь, побеждают его. Друзья Иисуса же, наоборот, всегда побиваемы, ставлены в неловкое положение, прерываемы, лишаемы голоса, запугиваемы, и Сам Иисус такой же был часто.

5

О чем же Ты будешь искренно, смешно и бесформенно писать? О своих поисках Иисуса. О дружбе с Иисусом, о нищете, которая нужна, чтобы Его принять. Ибо только нищий, не живущий ничем в себе, получает жизнь в Нем или, вернее, не копя жизнь в себе, может Его принять.

6

Однако он и вовсе хочет уйти из себя, предоставив дом Иисусу, вовсе хочет перестать быть личностью, как-нибудь называться. «Останься, — говорит ему Иисус, — посидим вместе, поговорим о людях», и он остается, из скромности вовсе на краешке, на пороге, как птица или муха на единой лапе. Еле живой в себе, слабый, как тень, но все же остав-

ленный в бытии, благодаря любви Иисуса, ибо, ужасаясь себя, вовсе готов был себя уничтожить.

7

«Брат мой осел», — говорит св. Франциск о своем теле; братик мой ослик, душа моя, чуть не упавшая, подобная Эмпедоклу, в объятия центрального огня. О Тебе, незаметной, незаметно хочу я написать и о том, как иногда Пречистая Дева пользовалась Тобой, сажала на Тебя Младенца Иисуса.

Бедная, нищая душа моя, маленькая, слабая, никого почти не любящая, раздражительная, сонливая, смешливая, недостойная внимания. Это Тебя полюбил Иисус и ради Тебя пролил кровь Свою, и поэтому Ты, так долго отстраняемая солнечными божествами, как бедная родственница, как прислуга, Ты будешь поставлена тотчас же перед Иисусом, не смогиши даже вымыть ни рук, ни ног, уже полюбятая последней сонливостью уничтожения. Не я думаю, а мышление происходит во мне, и к чему здесь я, да и не во мне вовсе, разве я равнодушна, высока, светла, тождественна себе? Нет, мышление происходит в себе, и я только прислуга при дворце, где происходят амуры субъекта и объекта. И они, смеясь, называют меня психологическим субъектом. Что до брата моего, нищего Геракла, как долго с восторгом служил он им.

8

Но главное, не стыдись рассказать о своих поисках Иисуса, как будто это что-то позорное. Сладенькое толстовство хихикает, гностический гном Мережковский — ему подавай Христа парадного, при звоне колоколов и салютах пушек, соединенного с государством и благосклонного к жрецам. Мы же слабого, облитого слезами ищем. «Я хочу знать и знаю Иисуса бедного и распятого, и что мне до книг».

19.6.1932

1

Не опирайся ни на кого, кроме Самого Бога. Зри всех в Боге, на оконечности их лепестком, т.е. более или менее

спящими и развернутыми. Ты и Бог представляют собой закрытую систему — эллипсис, где Бог — активный ныне, а Ты — пассивный полюс. Богу возвращена его пассивная активность, как растение само раскрывается солнцу. Ты же активно пассивен, т.е. вся Твоя деятельность направлена на то, чтобы достигнуть абсолютной пассивности.

2

Так вокруг Бога во все стороны протягиваются такие эллипсисы, в конце каждого из коих живет или спит человеческая душа. Это как будто лепестки цветка, более или менее развернутые до конца.

3

Так, дни печали, предшествующие иллюминации, и есть идеальное время подготовки ее, тогда пассивное электричество души скапливается воздержанием и зовет активное электричество благодати.

27.6.1932

Бытие и грех тождественны, оставшись без греха, я остался и без бытия. Остается только молить о благодати. Но она медлит. Живу не живя, люблю не любя, вижу не видючи.

— Погоди, час Твой настанет, и плоть воскреснет в Тебе. Ты сейчас — абсолютный объект Бога, живой труп, невеста Его, тоскующая о женихе.

1.8.1932

Soleil blanc¹

1

Слабость, еле говорю, и все-таки я не побит. Мне все равно, выйдет из этого что-нибудь или не выйдет и что воинства и огни от меня отказываются. Так, в грехе, одиночество мое с Христом еще глубже, ибо нет такого греха, кроме гордости, куда Христос не имел бы доступа. Мотив:

¹ Белое солнце (фр.).

я ищу применения своей энергии и чтобы в воскресении из мертвых полной беспрепятственной деятельности. Однако зачем деятельность? Или то, что во мне, достаточно хорошо, чтобы ему дать выявиться? Нет, во мне усилие, печаль и усталость. Я жажду настоящей жизни. Жажду ли? Не жажду ли я отдыха небытия? Я волю к настоящей жизни? Однако не без высокомерия считая в глубине души, что мне она не нужна, а человеку и Богу. Я жажду Бога, лишь когда я очень несчастен, и поэтому так ценю несчастья.

2

Падаю от тоски, от того, что не могу смириться на скучную и бессодержательную работу, а только на «интересную». Корысть духовной жизни. Написать письмо или пойти по делу для меня мучительно. После дел тоска и все валится. «Не ищи корысти в работе», — так часто говорю я себе, но за уничтожением пороков как мало остается у нас жизни.

3

Не нуждаюсь больше в дружбе. Прежде я думал, что все в жалости. Ну а что делать двум пожалевшим друг друга — употребиться? — да, это уже кое-что, но тоскливо это. А кроме того, я и Пуся, напр<имер>, ничем помочь друг другу не могли. Нищета. Нужно сперва получить богатство, жизнь от Бога и потом уже ее давать, теперь я думаю о монастыре, отшельничестве, а сил нет. Особенно в солнечный день, как сегодня.

4

Свист в ушах — кончаю. Все умерло. Никто из них не знает, как тяжела святость. Это страшное безбытие — пустыня отказавшейся от всего жизни. Я, у которого столько сил для зла, так слаб, так мал, так, как бабочка, еле жив в добре. Как мало золота остается после трансмутации.

5

Половина пятого, и я еще ничего не делал, ругался из-за кресла, был на marché. Вчера мука с кошками за 100 фр. Слабость, насморк, слезы из глаз, но все же медитировал на

мокрых улицах и дома. Отсутствие благодати. Молитва впустую. Совсем забыл о Роберте. Помню, молился: «Дай мне, Боже, его адскую тьму, его освободи». Печальное, печальное лето.

Август 1932

Оттуда, куда я поднялся (или опустился), что я могу сказать против Бога? Да, против, ибо мука мира глубока.

1

Нечто сделанное нами и забытое продолжает ли быть сделанным нами, особенно, если к забвению прибавилось раскаянье. Забвение сделавшего и забывшего. Бог не может уничтожить вменения. Он пассивно рождает человеку плоды его дела. Не природа ли здесь Бог?

16.9.1932

1

Ничто, буквально ничто, меня не радует. Спрашивается, к чему стараться учить мудрости, если плод ее так горек; сон и бессознательность — единственное утешение. Смерть — небытие. То же и в Боге. Я понимаю Его как невероятную жалость к страдающим, но что толку, если сама жизнь есть мука. Я люблю Бога как героя, как источник боли моей за всех униженных, но зачем спасать их и развивать, если в конце концов они скажут, как я: «Ничего нет». Бог кажется мне неудачником, мучеником своей любви, которая, подобно похоти, заставляет его, вынуждает творить. И если я вскоре не получу образчика жизни, к которой стоило бы стремиться, я уйду совсем из религиозной жизни.

2

Некоторое облегчение на коленях на улице. В чем дело Заковича? Молитва. Сон. Солнце. Сижу голый, начал немного оживать из-за спорта. Наслаждаюсь равнодушием к литературе.

16.9.1932

Каждому человеку в детстве дается его физическое бессмертие в руки — это его сексуальность. Если бы он сэкономил ее всю, он никогда бы не умер, вознесся бы живым на небо, как Илья, т.е. отделился бы от жизни в таком состоянии иллюминации, что смерти бы и не заметил, и для него ее бы и не было.

10.10.1932

1

Страшно тихо вокруг меня сейчас, ничто не мучает меня своим недостижимым светом: ни страны, ни скорость, ни труды в тумане алкогольных волн, ни чудные желтые руки, ни дальше — облака астрального мира. Я тяжел, как свинец, мягок внешне, как он, и, как он, тяжел и равнодушен ко всякому притяжению. Мне в меру холодно, как сухою осенью; я здоров, крепок, как профессиональный атлет. Мне стыдно в этом признаться, но даже в Иисусе я не вижу ничего привлекательного. Ибо боль Его, всегда растущая, есть ли это жизнь, достойная того, чтобы всех ввести в нее? Ибо Он любит, но и Он не знает, что такое счастье, и Он не знает, чему научить тех, кто к Нему обращаются... обливаясь слезами, только утешить...

Но не сильнее ли всего самые грубые утешения, но не счастливы ли Иисус своею болью?

Мне даже стыдно немного страдающего Иисуса. Но ведь Он воскрес, да, но что знаем мы о Его жизни по воскресении, мы, дети греха и усталости, зрения и силы, — ничего. Нет, счастливые знают. Итак, того, кто очнулся от всякой жажды, спасти может только счастье, но стоящее счастье, не позорная радость. Счастье, счастье в жертве, — но кому радостно, приятно, легко жертвовать, кому хочется жертвовать, неволя только хочет, но все существо рвется и тает от тепла жертвы — любимому человеку.

2

В совершенном покое, до отказа «выкатив» коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая подошва пьет воду), другою ногою в огне (правый резиновый башмак греет), нарочно усиливая, стущая нищету своего лица (не

бреюсь) и своего платья (люблю рванье), тогда, когда я победил всякую жажду и усумнился в счастье Иисуса.

3

Тьма спускается в кафе, но я борюсь с ней, не хочу, не хочу больше грусти, сколько я пил этого сладкого яду — до-вольно. Я хочу быть счастливым среди своего бесстрашия. Бог как будто отложил меня до времени.

30.6.1933

1

Никто, кроме святых, не знает, что такое святость, иначе всегда получается «снежная буря в синема», которую переживают, сидя в удобном кресле, и отсюда юмор всех книг о святых, в которых им как-то все удивительно легко дается. Так почему же их так мало, это как бы самая дешевая профессия.

2

Господи, Господи, один Ты знаешь, как скучно, как темно, как невыносимо утомительно ползут дни святости, и как редко приходит ответ, и все само льется, раскрывается, несется в сердце — *le cœur des saints est liquide*¹, но на сколько мгновений, и в какой камень оно смерзается день за днем. Ибо настоящая святость характерна своим абсолютным отсутствием всяких утешений, ибо только тот, кто долго рвался из азона древнего мира, знает, как универсально-всевидаща, всенаполняюща первородная влага греха.

3

Небо совокупляется с землей дождем и громом, души совокупаются с жизнью непрерывной жаждой тепла, яркости, движения, проявления. И во все дни от сердца человека течет астральное семя, тот, кто хочет пойти против всего этого, поймет скоро, что это буквально плавание в кипящем потоке, и тот, кто научится сопротивляться течению, измерит силу его, и как скучно вне его, и не только

¹ У святых сердце, как жидкий огонь (*фр.*).

член скучает, но и музыка, и дыхание, и весь ландшафт мира остро, до отвратительности, скучает в костях святого. «Ainsi est la nuit active de l'âme»¹. Вероятно, nuit passive² — это вроде зимы: в зимний день все кажется далеким. «Все молчит, все кажется глухим» — так отдыхают истощенные, измученные, разлившие, растратившие свой астральный огонь. Так, может быть, буду отдыхать, повалившись от усталости рядом со своим скрученным наконец противником. Как римские солдаты, которые ложились рядом с трупами своих врагов.

4

Сперва они часть Тебя, и бороться с ними (чертями) так же неудобно, как бороться с собственной ногой, а потом вдруг, побитые, как бы сделавшиеся вдруг взрослыми, с грустными и породисто низменными лицами, они возвращаются и садятся вокруг: «Ну, что, чего же Ты добился? Смотри, как скучно, голо, пусто вокруг Тебя».

Никто, кроме самих святых, не знает, как скучна порою святость, с каким каменным лицом смотрит на Тебя оскопленный мир. И как долго ждать дождя, свежести, царства.

«Кущи Твои свежи». — Пустыня, раскаленное солнце Геракла клонится к западу, тени колонн удлиняются на сухой земле.

8.7.1933

1

Писать наконец, писать без стиля, по-розановски, а также наивно-педантично, искать скорее приблизительного, чем точного, животное-народным, смешным языком, но писать, ибо пришло время писать, и все оборвалось, остановилось в жизни, смотрит на меня издали, в летнем изнеможении, унижении недоуменья.

2

Поток мирового бывания в своем безостановочном беге вперед, как легендарные реки в пустыне: днем текут в одну сторону, а ночью в другую; попеременно то из глуби-

¹ «Такова деятельная ночь души» (фр.).

² Бездеятельная ночь (фр.).

ны бездны — субъективности — рвется, стремится, жаждет прилить на поверхность, и тогда скелет зимней действительности просыпается, мир покрывается цветами, и все формы радостно наливаются краской и тяжестью, то, реализовав что-то и как-то застряв, имобилизовавшись на мгновение в формах, вдруг чувствует какую-то метафизическую, всеобщую тягу ко сну, стремление вернуться, углубиться в себя, успокоиться, обдумать случившееся. Здесь осенью свет становится прозрачнее, и как-то дальше видно, и наконец в октябре, как стрела, высоко отделившаяся от лука, жара согревшего лета уходит в глубину творения.

Это два темпа, прилив и отлив жизни, из глубины творения и обратно в глубину его: первый есть жажда конкретности, проявления, второй темп есть жажда сосредоточения, возвращения на себя, воспоминания, извлечения квинтэссенции.

11.7.1933

1

Так и есть. Святость без мучения, без предела сил, слава Богу, кончается вовсе не святостью, а развратом, следовательно, следует развить пары гораздо выше карт, велосипеда и молитвы в полусне. Так даже лучше, я даже доволен, что потерпел это ущемление. Ибо не из такого теста делается [нрзб.], это самая нужная, черновая безблагодатная жизнь верующего.

Практически я ровно никогда почти (гимнастика да молитва) не нажимал по-настоящему, и особенно вчера, в отчаянье муки тела, повалился, сорвался кататься, поиграть в карты.

2

Порок развивает свои пары для того, чтобы воля не дремала, ибо столько раз убежало уже это молоко, а жизнь оставалась голодна. Это он — первый хозяин жизненной силы, и ее у него воля должна отнять, но для этого она должна терпеть жестокие унижения и голод, пока не научится быть постоянно в напряжении, как он постоянно светится, струится, бурлит в теле. И как он интересен, а ее дорога как

скучно выглядит, и те, кто этому поддаются, стираются снова и поглощаются астральным светом, так Бог испытывает свои горшки и предпочитает разбить тысячу, чем пропустить один негодный.

3

Как поучительно иногда упасть. Начинаешь как-то больше уважать и ценить солнечный путь, если видишь, что так, вполголоса, вполнагрузки, на нем не удержаться, а то получается, «какая легкая и неинтересная вещь святость».

Вот моя мера, думаю я, получив по носу. Несмотря на свою исключительность, это все-таки не мера святого, раньше всего потому, что мера святого есть полная мера и в нее входит вся жизнь (до последней минуты), вся боль (до отчаяния), вся сила (до изнеможенья), чтобы за то получить полное счастье, полную радость, полный покой, а ты жил в полусне своих медитаций, еле-еле водя рукой по бумаге, и «полуживого велосипеда было довольно, чтобы вызвать в тебе душу велосипедиста».

23.7.1933

Один на платформе, в тени стены, босой и сбитый с толку (сомнения в своем призвании, слишком много и слишком бестолково написано). Утром ездил, умирая от страха, до боли в сердце, по жаре на велосипеде. Потом минута страшного отчаянья, дома с папой при закрытых ставнях, потом молитва, облегчение, и вот сейчас опять тяжесть.

30.7.1933

Вокруг счастья

1

Неправота безопаснее! Ужас иллюминации, от страха отнимаются руки и так устаешь, что все пропускаешь, и тогда горе и успокоение: я же говорил, что Ты еще не то во все, и те счастливы, они как рыбы в этой кипящей воде. Временное успокоение стыда за свою рожу.

2

Трудно описывать эти ощущения. Со страхом и слезами. Они до того утомляют, что после них я себя два дня чувствую «стеклянным человеком». Первое относилось к «не горе, не радость, а единственное чудо Провидения», и все, что было и что будет, как необходимые бесчисленные фигуры — выпрастывание, высвечивание, выявление единого радостного утверждения добра и счастья. Это тайна абсолютного благополучия святых, и чем сильнее душа, тем более Господь держит ее рукой благодати, а чем слабее, тем больше над жизнью руки удачи.

4.8.1933

1

Перечитывал сегодня за закрытыми ставнями. Много моего все-таки здесь, но слишком все невнимательно написано, но что это такое? Дневник для читателя, но для этого надо быть знаменитым. Мучение бесформенности, разносторонности, то самонадеяния, то самопрезрения. Но ведь иным форму дала жизнь (или бесформенность, как Лейбницу, но эта бесформенность — бесформенность жизни, т.е. каждый кусок ее целен, и только нет порядка), а я по-прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей. И снова жизнь моя собирается куда-то в дорогу, возвращается в себя, отходит от реализации.

2

Погоди, Ты еще не готов писать. Вечно живу в ожидании какой-то радикальной перемены, но ничего само не изменится, и нужно, нужно mettre la pleine sauce¹, как говорят авиаторы, и здесь страшная слабость охватывает голову, лень, онемение, глухота всего. И это и есть «дни без солнца», труд, вызывающий дождь, в котором все и делается, а иллюминация (стыдно как-то писать так просто о ней) есть только результат. Стало только больше веры, больше доверия к счастью, которое будет, если вытерпеть, перетерпеть, дожидаться. Но не могу писать. Пойду опять пройду

¹ Дать полный ход (фр.).

по городу, но сумею ли укачать, победить боль? Сегодня почти невыносимый день, все, до последнего пальца руки, полно болью особенной, специфической болью борьбы, без надежды, ибо тело забыло ласку, сияние благодати, все, все насквозь опять заплыло, пропиталось грехом.

5.3.1934

Мужественное сердце, сколько раз ты уже сдавалось и бросало писать об этом, потому что бесформенно и неистребимо-комично написанное о последних вещах. Мужественное сердце, пусть тебя не смущает уродство написанного, помни только о теме, которую ты видишь перед собою как яркую звезду тела Божия, — организм, где борются и уравниваются потоки огня, где ничто превращается в противоречивое, а из борьбы противоречий вспыхивает жизнь. Мужественное сердце, лучше плохо писать о глубоком, чем хорошо о доступном и, в сущности, скучном для тебя.

19.3.1934

1

Раскрылось и погасло, так всегда с днями отчаянного света, и только осталось яркое зрелище невидимой живописи иллюминации, загадочные картины в ярко-желто-красном освещении, но попытаюсь собрать какие-то крохи.

2

Она видима только туманно и обще, а я не умею художественно-туманно-обще писать, вот почему я увязаю в отчаянье каких-то доисторических деталей; а еще надо делать гимнастику и идти через весь город к Д., но нет сил, и я уже поем рису и останусь.

Le ridicule de toute mystique — l'impossibilité d'avancer ou de reculer dans la vie, car Dieu devient tantôt invisible par les ténèbres, tantôt invisible par l'éclat¹.

¹ Нелепость всякой мистики — невозможность идти вперед либо отступать назад по жизненному пути, ибо Бог всегда невидим — из-за тьмы или из-за своего сияния (*фр.*).

26.3.1934

Неряшливость того, что я пишу, меня убивает, брезгливость духа, не достаивающего отчитываться, и отсюда графомания, ибо легче написать десять плохих сравнений, чем докопаться до одного хорошего.

19.5.1934

1

Никогда еще так темно не было между Богом и мною. Темные, долгие, упорные молитвы без толку, однообразная жвачка, упрек Богу, обида на Него. Может быть, возврат к очевидности греха. Страшный, ужасающий, холодный, яркий мир вокруг: все как будто сделано из железа, из замерзшего кала, все выдуманно, вылеплено назло. Каждое уродство — живой, ходячий, бесполезный упрек мне... и Богу. Сухая железная тяжесть жизни.

2

Немея, забыл про семь голодных коров...

Как всегда, между душой и Богом, и разучился мужеству. Молись и будешь жить. Ты слишком поверил в медитацию, в железную лапу грубого деланья. Ты зазнался в Боге, и вот расплата — полная потеря жизни, и вдруг просыпающийся в сердце голос: «Пути без возврата».

Копии жизни, окаменелая душа, холод окаменелого ветра, ледяной скелет солнца, и все враждебно. Je suis hideux, mort, calciné, ossifié¹ — грубым и пустым мужеством медитации.

14.6.1934

Синий холодный вечер, дверь полуоткрыта, мама молча подметает что-то. С утра поход за удостоверением. Смирение, все приму. В белой жаре, полной облаков, колоссальные бутерброды; печаль сочувствия над миром на шестом этаже. В гору и гору. Бесконечные молитвы без ответа, в то время как старая жизнь обваливается вокруг, последние страницы романа, страх войны. Снова на большой дороге,

¹ Я уродлив, мертв, сожжен, окостенел (фр.).

обиды газет уже не долетают (сегодня Ходас<евич>: «доморощенный демонизм»). Вверх и вверх, еле вижу самого себя, мертвое опустошение последней решимости: ou Dieu, ou rien¹.

15.6.1935

И снова в 32 года жизнь буквально остановилась. Сажу на диване и ни с места, тоска такая, что снова нужно будет лечь, часами бороться за жизнь среди астральных снов. Все сейчас невозможно, ни роман, ни даже чтение. Глубокий, основной протест всего существа: куда Ты меня завел? Лучше умереть.

17.6.1935

Вчера день прошел в сплошной раскаленной борьбе с нестерпимым отчаянием тяжелой безысходности. На выставку в умопомрачении невроза, затем кавказские бобы ихтиозавровой гуделки. И пешком, пешком через весь город, отчаянно крепясь, борясь, защищаясь. Около Étoile невроз стал замолкать, повысаясь ростом, забыв тысячи второстепенных несчастий, для одного мучения основного, около Porte d'Auteuil уже еле волочил ноги. На счастье мое, Ш. не было дома, и я, доползши домой и нажавшись как удав, утонул в ярком море тысячи снов.

[Нрзб., речь идет об упражнении с гириями] ...счастья. 40 кило à la dévisse² на улице против метро Danton. Легкие, как перышко, полетели они на плечо, опьянение удачей, с глазами, налитыми кровью, расталкивая взглядом прохожих, давя всех. Парижский Дионис в рваных носках.

Итак, наконец раскаленная ночь кончилась, и счастье ярко вспыхнуло, лицом к стене, и долго, часа два, не погасало.

На скамейке, против редких деревьев, борьба за железный буддизм пустыни. Но поневоле или так я хотел? Лицом к стене, почти в слезах, благодарил за четыре забора, невроз, безработица, непечатанье, ни Россия, за [нрзб.], как чудо судьбы раскрылось невесомое молчанье свободы и из-за

¹ Или Бог, или ничего (фр.).

² При толчке (фр.).

которых не растерзали меня еще сладенькие менады поклонницы. Но чую, чую, что Бог не позволит. Réaliser une sainteté à si bon compte¹.

20.6.1935

Triste est le monde, le monde est triste

La belle Rosemonde embrasse son Christ.

Et encore une fois je fais connaissance avec le désespoir, je devrais déjà y être habitué².

Белый раскаленный день, ошпаренность шомажа, постыдная растерянность, тяжелая молитва лежа. Ужас нищеты, высылки младороссов, которые собираются на меня войною. Головная боль. Je devrais déjà y être habitué³, и это после счастья до слез за такую именно судьбу.

La terreur persistante, l'angoisse sans cause, le noir ennui⁴, три бедствия аскетической пустыни и три спасения. Лицом к судьбе, льдом о ее стальную поверхность, так и должно быть et c'est l'existant qui hurle la mort⁵, мертвое ожидание жизни.

Старые тетради. Дописывай и ликвидируй. Доберусь ли до логики?.. Шаршун утешает. Когда все закрывается, все двери, жизнь сдавленно сосредоточивается в Боге, но если и Бог не принимает?

Сны. Золотые паруса над черным кораблем. Лунные ужасы. Кусок желатина, превращающийся в женщину. Огромный горизонт раскаленных астральных снов за и вокруг жизни. Физическая жажда смерти.

Que les saints sont sales, maussades, lents, lourds, mains noires: ennuis indescritibles du désert en dehors des murs du ciel⁶.

¹ Добиться святости за столь малую цену (фр.).

² Грустный мир, мир грустен, Красавица Розмонд лобзает уста Христа своего.

И еще раз я познаю отчаяние, пора бы мне к нему привыкнуть (фр.).

³ Я должен был уже свыкнуться с этим (фр.).

⁴ Не покидающий меня ужас, беспричинный страх, беспросветная тоска (фр.).

⁵ А живущий взывает к смерти (фр.).

⁶ Насколько святые нечисты, угрюмы, медлительны, тяжеловесны, у них испачканные руки: неопишуемая тоска пустыни за небесной оградой (фр.).

26.6.1935

Из мрака сплошного раскаленного летнего отчаянья, из клетки железной выплыл все-таки к работе. Жизнь парижского Диониса, раскаленная клетка, все та же с детских лет, не смерть, но ее проявление — одиночная камера. Alors occupe tout l'espace par ton corps mystique, réalise l'horreur harmonique de ton destin¹.

Буддийская стихийная, неподвижная борьба за покой, потому что вся жизнь показалась, оказалась сплошной мукой: перед витриной кондитерской сплошным лисичьим балаганом перед недоступным виноградом, следственно, сделать вид, что все равно, но вот не сделать, а добиться «все равно».

По поводу Темной Ночи. Темная Ночь есть передняя Бога. Темная Ночь может длиться хотя бы одно мгновенье, но кто ее не сумел в себе раскрыть, проваливается вдруг в нее, умирая, потому что весь мир, с его цветами и стульями, сделан, соткан из беспричинной тоски греха.

Все вокруг горячее, пышное ничто. Ни друзей, ни любви, ни среды, и даже, кажется, Шлецер погубил Аполлона. Учусь равнодушию к его гибели.

8.6.1935

В буддийском осатанении снова прошел через весь город, показывая чудеса антиневрозной храбрости, и снова под аркой размышлял о тюремной судьбе неизвестного солдата русской литературы. У М. милая пикировка с А., il me cherche, mais il me trouvera²: сладкие лучи его мудрости-цинизма вносили покой и обиду за стихи, и даже, о позор, мучительную, униженную зависть к Лидиным успехам.

Невроз, невроз и невроз. Раскаленные дни, лицом к лицу с Богом и с дьяволом в молчании Бога, в белом ослепительном пейзаже пустыни, и сейчас, не могучи работать и сдаваясь, иду куда глаза глядят, и, конечно, глаза мои глядят на Champs-Élysées, да и нет бумаги, так что машинка по боку.

¹ Занимай тогда все пространство своим мистическим телом, реализуй гармонический ужас своей судьбы (фр.).

² Он пристает ко мне, ответ не заставит себя ждать (фр.).

17.6.1935

Pages de journal¹ — это звучит гордо для писателей знаменитых, обнаглевших от резонанса. А для нас это звучит издевательски-мучительно. Кто знает, какую храбрость одинокую надо еще иметь, чтобы еще писать, писать, писать без ответа и складывать перед порогом на разнос ветру.

Сегодня у <...> отчаянье неподвижного эротического сумасшествия, вдруг стало до того больно, что даже голос ослаб. После новой, свирепой, отчаянной борьбы на улице дома лицом к стене. Перестань быть мужчиной с усами, а кем-то будь; непоколебимо, холодно-ангельски, золотой ослепительный мир — и сразу тьма ожидания Бога. Вчера лицом к стене, счастливые полуденные облака раскрытого неба благодати, но не сумел вынести, онемел, и все погасло.

Жить по-прежнему, едва, невозможно, а писать невозможно совсем. Тяжелые, ослепительные дни между жизнью и смертью души.

10.7.1935

Все считают, что я сплю, on croit que je dors, je prie²; так иногда целый день подряд, в то время как родные с осуждением проходят мимо моего дивана. Но ответ почти никогда не приходит в результате в конце молитвы. Нет, ответ обычно медлит несколько дней, раскаленное отчаянье городского лета успевает устроиться в доме, парит, мучит, наливает руки свинцом, и вдруг, само собою, почти незваное сердце раскрывается до слез, до сопротивления и до переутомления.

* * *

Я никогда не сомневался в существовании Бога, но сколько раз я сомневался в моральном характере Его любви, тогда мир превращался в раскаленный, свинцовый день мировой воли, а доблесть — в сопротивление Богу — в остервенение стальной непоколебимости печали...

¹ Страницы из дневника (фр.).

² Все считают, что я сплю, а я молюсь (фр.).

* * *

Персонажи моих двух романов, все до одного, выдуманы мною, но я искренно переживал их несходство и их борьбу, взял ли их из жизни, скопировал, развил, раздул до чудовищности. Нет, я нашел их в себе готовыми, ибо они суть множественные личности мои, и их борьба — борьба в моем сердце жалости и строгости, любви к жизни и любви к смерти, все они — я, но кто же я подлинный? Я посреди них — никто, ничто, поле, на котором они борются, зритель. Зритель еще и потому, что из тьмы моей души все они и многие другие выступили навстречу людям, меня любившим.

* * *

Когда садишься писать, откуда такая странная, внезапная усталость, отвращение, раздражение, истома белой бумаги; с ручкой в руке в белый тяжелый день, когда солнца не видно, но оно всюду разлито за облаками, так что больно смотреть на небо, рука сама собою рисует бесконечные квадраты, параллельные линии, профили, буквы, и ни с места повествование, как будто не о чем писать. На рассвете же, возвращаясь домой, когда переутомление оборачивается сказочным, болезненным, стеклянным избытком сил среди болезненно-отчетливых утренних домов и деревьев, целые книги во мгновение ока раскрываются, проносятся перед глазами, но не следует и пытаться записывать: мертвая, каменная усталость без перехода сожмет голову, и часто я засыпал лицом на тетради, где значились лишь две-три совершенно бессмысленные фразы.

22.7.1935

Снова прошло полгода, и кажется, все тот же пустой, скалистый пейзаж вокруг: белое лето, облака под холодным солнцем, кажется, все то же, то же, то же, но нет во все, все совершенно другое, и я знаю, хоть слов нет, чтоб выразить, что все совершенно другое и время медленно, как ломовая лошадь, идет в гору.

Никогда еще мне не удавалось так собрать всю свою жизнь в одну комету, пук, вязанку змей.

Comme un lourd Hercule en sueur¹, шел я вчера через Трокадеро, вырвавшись из сногшибательного невроза, из-за которого на белую свою безрукавку насильно пришлось надеть пиджак, ни о чем не думая, почти ничего не видя, отстранив боль холодного лета и зрительное уродство воскресного человечества, упершись в одну точку, как слон Dolly по пути Ганнибала, переходящего через Альпы.

9.8.1935

Странный день. Целый день до семи часов спал, то просыпаясь, то опять засыпая, в странном, огненном оцепенении, среди духоты и солнечных пятен, не могучи, не могучи проснуться. Долгая бесплодная молитва, наполовину наяву, наполовину во сне, вдруг, когда я, уже отчаявшись, бросил ее, сел было на балконе с Гингером, облившись водой: привело вдруг к почти нестерпимому, вдруг до слез, реальному ощущению присутствия Христа. Лег опять, но присутствие это не обнаружилось, не раскрылось, а потерялось, но ощущение, что Он был где-то рядом, не забуду долго.

21.8.1935

За пишущей машинкой и нездоровым роем друзей забываю писать дневник. Дни эти прошли в счастливой спешке, в стуке клавишей, а ночью в путанице тысячи черных лиц на Монпарнасе, которые, как сама смерть, обвиняют, и не уйти, недостаточно счастливого, золотого отказа: «А мне и не надо».

Книги, золотое масонское счастье книг, преемственности, истории, Шеллинга, Терезы, и лишь утром раскаленная ослепительная тоска почти непереносимой августовской синевы.

Вчера ослепительные два часа в остервенении навerstываемых, пропущенных молитв, а сегодня снова грехопадение сна среди дня, после кругосветного путешествия с дыней в руках в слабом, невеселом, рассеянном стоицизме.

¹ Обливаясь потом, как неуклюжий Геркулес (фр.).

Дописываю... дочитываю, прибираю, убираю все... Чего я жду? Смерти, революции, улицы?..

Не слабей, теперь ты держишь, впервые, может быть, настоящую, крупную, мистическую игру, хотя астральные сны прекратились и из-за двух дней полного переполоха друзей и деревни в душе величайший хаос раскаленного раскаяния городского августа.

22.8.1935

Jour terrible, torride dans un découragement complet¹.

Весь проведенный на улице, в ослепительных отблесках солнца, без пиджака, борясь с мыслями, ликами невроза, ввинчиваясь в высокую стоическую нечувствительность.

Шаршун и литературная отшельническая осатанелость. Удивительно красив за своими золотыми очками, читал тихим, мучительным, скрытым голосом. Вышел от него с отвращением к себе, к литературе. Нет, только между Шеллингом и стойками чувствую себя на своем месте.

Тереза и грустная зависть непрерывности ее благодати сравнительно с моей нищетой. Проспавшись, однако, сел за работу и сейчас в желтом огне лампы выплыл наконец по ту сторону всякой тоски, поев сального, скучного супа с Ивановым.

Le principal dans la mystique c'est de toujours recommencer².

25.8.1935

Потерянный яркий и мучительный день в хаосе улиц, с Пусей. Вообще, три-четыре дня расслабления, жары улицы, ходьбы, купания, друзей и дикого, до слез, раскаяния, когда, вернувшись, полуживой, в нездоровом поту, заваливаюсь молиться (спать) и, как сейчас, поздно ночью просыпаюсь к яркому, тревожно-спокойно-вещему огню лампы.

¹ Ужасный, палящий день, в полном отчаянии (фр.).

² Главное в мистике — это всегда начинать вновь (фр.).

Nuits perdues dans un brouillard des feux. Songes¹. С кем-то над опасными полями, по которым вдоль безысходных каналов разлилась зеленая вода. Споря с ним и радуясь своей силе, спиной поднимаюсь в огненное море облаков, избегая таким образом болота и смеясь над опаснейшими местами, так выше и выше, до самой почти вершины небоскреба, где на карнизе, на спине каменного сфинкса, живут Татищевы. Вдруг вижу высоту, умоляюще прошу Д. меня поддержать, ибо головокружение тянет меня вниз вместе с новой сосновой рамой окна. Возвращаюсь через подвалы, полные переполоха колдунов, заклинания которых я забыл и, спешно вспоминая, перевираю.

15.9.1935

J'ai cent francs. Je pourrai m'acheter du papier, des chaussures, aller chez le coiffeur.

Aujourd'hui la journée respledissante à faire pleurer de tendresse, de tristesse, de résignation. Hier journée à mi-voix. Tristesse, sommeil et faible lutte avec Dieu².

С утра дождь в окно, свежесть, домашняя милая чепуха. Проснулся со стеклянной головой, вдруг странно полегчав и помолодев, как всегда от переутомления. Вчера измучился — до утра в отблесках светских декадентских ламп; с Ростиславом, Розой и Пусей в кафе, у вокзала и на улице, разоблачая ему проституционную атмосферу. Луна неподвижно стояла среди пятнистых облаков, день был измученный, полурбочий, но удовлетворенный концом романа. Теперь мечта купить новый серый блокнот для продолжения рукописного блуда. Да, был еще на marché³, оргия с брюками, как давеча оргия с ботинками, и вдруг под самым носом из-за решетки Пуся, подкравшись, как вурдалак, испугал меня.

В мистическом мире туман; слабый, упорный труд, relâche générale⁴.

¹ Ночи, затерянные в огненном тумане. Сны (фр.).

² Имею сто франков, могу купить бумагу, ботинки, сходить к парикмахеру. Сегодня великолепный день, до слез умиления, грусти и смирения. Вчера день так себе, грустил, дремал, слабые попытки бороться с Богом (фр.).

³ Здесь: барахолка (фр.).

⁴ Общее расслабление (фр.).

20 septembre

Hier grande crise mystique, débutée par une lourde lecture demi-consciente de mes cahiers sacrifiés par le cataclisme qui avance. Somnolence, méditation noire. Suffocation de l'abondance. Monde mystique soudain visible à grand renfort de figures symboliques. Joie énorme de rapport personnel avec Dieu. Larmes. Grand rassemblement des amis astralux. Mon Dieu fais-moi travailler. Grande difficulté de réadaptation à la réalité¹.

23, понедельник

Три дня отдыха, три дня несчастий — полужизни, полурботы, полусна. Истерика со свитерами. Мертвый, навязчивый карточный хаос до утра, до изнеможения, до черного отчаяния. <...> с библейской мягкостью страдающей стриженной головы. <...> факирские утхи домашнего прощателя. Муки, мании преследования — мании величия, планы равнодушия и мести, тотчас забытые, темные медитации, сквозь гвалт и топот дома, при сиротливо открытой двери на по-осеннему тревожно-яркое небо. Черные ужасы с шوماжем, а вдали, над домами, ослепительный белый человек облаков манит, повернув голову, лежащий в синеве. Жаркий день, позавчера истерика поминутно то снимаемого, то одеваемого пиджака, и медленный, чуть видный возврат из переутомления к жизни, сквозь недостаток храбрости, величия, торжественности, обреченности.

24.9.1935

Гигантским прыжком, в грохоте слоновых подошв, закончил трудовой день в сторону кота, энигматическая астральная жизнь которого интригует мои досуги. Сумерки, свет зажег я, обернутый бумагой, над папой и мамой и их

¹ 20 сентября

Вчера испытал глубокий мистический кризис, начавшийся с тяжело-го, полусознательного чтения моих записей, принесенных в жертву навдвигающимся катаклизмам. Дремота, мрачная медитация. И вдруг дух захватывает от поразительного изобилия, мистический мир со множеством символических фигур предстает передо мной. Огромная радость от личного общения с Богом. Великий сбор астральных друзей. Боже мой, заставь меня трудиться. Как труден возврат в действительность (фр.).

сложно-психологическими бобами. Свет зажегся, чуть сжав сердце знакомым ощущением непоправимости и оставленности. Целый день Кант, рассуждение об абсолюте на желтой бумаге с бахромой, сонные обмороки между десятками страниц, перед открытой дверью, где в неправдоподобной синеве реют над каменным сортиром астрально-белые полотенца. Мгновенные сны. Четыре руки вместо двух; две борются с двумя. С.И., которого пытается обнять моя раздвоившаяся личность, матерчатая его круглая, коричневая голова — видел, идучи ночью. Страшный, мгновенный ужас испытующего Божьего присутствия, как таракан, прижимаясь к земле, лопочу о том, что пытаюсь по-немногу, неуклюже соответствовать невыполнимому, недостижимому.

Ф., встреченный утром, железными глазами пустыни, пробудившими вдруг старые обиды: «Не пригласили». Мука ослепительной улицы в хаосе кошмаров. Счастливое возвращенье домой, газета. Вечность солнечного движения над Кантом и желтой бумагой.

26.9.1935

Жалкий солнечный день «после иллюминации» и после шомажа, тяжелая звенящая голова, скромное упорство непечатных трудов под астральный адский хохот оскаленных рож. Труд, съедающий жизнь.

Вчера огромный день с тысячью приключений. Утром переписыванье «Сопrotивления музыке»¹. Счастье хорошего рабочего в золотой сфере вещей и инструментов, и вдруг ужас неблагодарности Богу. Кант — почти до изнеможения, под грохот чужой человеческой ерунды. Молитва в слезах: прими меня на работу, ne me chasse pas de Ton chantier². Центральная станция знакомств и центральная станция по квалификации умов. Слезы, среди ропота двух семей, живой и мертвой. Пробуждение, потемки, поход с раскаянием сердца, и снова мягкая, почти пуховая, лебединая, строгая нежность обреченного, бледного, монгольско-

¹ Статья, наспех взятая кем-то сразу после смерти Б.Поплавского и никогда не возвращенная. — *Примеч. Н.Д.Татищева.*

² Не гони меня со стройки своей (*фр.*).

го лица среди неожиданной [нрзб.] и *amitié dans l'horreur du sacrilège sensuel*¹.

3.10.1935

«Ne pleure pas, la vie est terrible»², — говорю я себе, становясь на колени, ища тетрадь в нервном бешенстве тревожного бесплодия. Целый день Петр I, до боли в глазах, а когда желтое мертвое солнце на краю неба осветило стену дневника, при двойном свете оранжевой лампы, сердце сжалось от знакомого отчаяния непоправимого, измученности и мертвого исступления упрека. Вчера день пропал в унижительном пешем хождении под дождем между <...> и <...>, одинаково неприятными, нестрашными, ненапряженными. Ночью, в хаосе сонливости, попытка молитвы, как и позавчера, после целого дня на улице с Пусей, в протертых ардашевских штанах, ослепленный, оглушенный бесчисленными молниями жизни, богатства, красоты.

Сны. Я перед неминуемым судилищем скрываюсь, удираю, уплываю по гнутым коридорам в подземное царство нищих, но все равно: некогда, нет, и лучше сдаться.

Утром, во тьме упреков, дикая вспышка <...> полумужского тела, глухая борьба, дневные сумерки. Снова ужас жизни и войны, дикими буквами кричащей на первой странице газет. Лягу, буду молиться, может быть, пройдет злая дрожь отчаяния.

О субстанциональности личности

Снял все-таки этот «субъективный» куст со стола.
Солнце, отшельничество, труд, счастье.

5.10.1935

1

Весь немецкий идеализм явственно пронизан буддийскими настроениями, отсюда его спокойное величие и его музыкальность, потому что музыка, на мой взгляд, есть раньше всего аспект связи частей в целом, аспект тайной

¹ Дружба, пронизанная страхом чувственного святотатства (фр.).

² «Перестань плакать, жизнь ужасна» (фр.).

власти целого над частями, а также аспект вечного схематического повторения всего, потому супериндивидуалистические народы, «истинные демократы», как голландцы, шведы, англичане, французы, не создали большой музыки, и только французское декадентство (т.е. те, кто чувствительны к просвечиванию имперсонального небытия сквозь жизнь) создало «великую упадочную музыку» Дебюсси, Сен-Санса, Равеля. Все это потому, что музыка, на мой скромный взгляд, по существу, песня о целом, и следовательно, персональное в ней «мистически ощущается», ибо гипертрофия личности есть раздробление, расчленение, глубокое сокрытие «тени целого». Но могут ли быть музыкальны народы, до личности вообще не додумавшиеся? Нет, кажется мне, и поэтому и активное ее отрицание глубоко антимузыкально, как антимузыкален всякий фашизм, особенно советский, потому что если в демократиях целое принесено в жертву бесчисленным частям, то в советском фашизме части могущественно принесены в жертву целому, но ни целое, ни части не музыкальны в себе, ибо они и не диалектичны, а музыкально лишь рождение и гибель частей на фоне целого и, следовательно, временность и феноменальность всего индивидуального на фоне Абсолюта, но временность, не естественно, а трагически поглощаемая Абсолютом, трагически, т.е. в великой меланхолии своей особенной и вечно попираемой ценности.

В общем, сила немецкого идеализма в его связывающей, все объединяющей гармонизирующей целостности, и поэтому мыслительно отсталая Франция додумалась до музыки только в бергсоновские-прустовские времена. Ибо немецкий идеализм лежит в основании немецкой музыки, по счету, в сущности, второй, ибо первая музыка есть музыка произвольной песни, орнаментальная; декоративную и лирическую — цыганскую — стадию никогда русская музыка не перешла: ни в лице Мусоргского, ни в лице Стравинского — этого песенника, клоуна-декоратора по существу. Вторая музыка есть музыка смерти или небытия, сквозящего сквозь половую оптимистическую песенную стихию, и это есть Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Вагнер; наконец, третья музыка должна была бы быть музыкой воскресшего о Христе Пана, панхристианской, — союза бессмертия и солнечного жара, которые трагически разлу-

чены в предыдущем союзе, ибо солнечный жар в нем есть пол и, следственно, смерть, а бессмертие есть аскетизм, стоицизм и раньше всего холод высот. Так, к третьей музыке касается, на мой взгляд, едва ли только один Бах, единственный бесспорный оптимист германской мистики.

2

Отсюда и особая слабость идеализма, а именно его внежизненность или, вернее, его пессимистическая, печальная, поющая хрустальность, нашедшая свое выражение в последнем из великих метафизиков XIX века, Гартмане.

Гартман в своем учении о феноменальности личности еще раз признал скрытый буддизм идеализма, и все учение о снежном коме памяти Бергсона есть возражение на это учение Гартмана, у которого он перенял всю свою теорию о бессознательной творческой эволюции к личности и сознанию, основанную на исследовании ослепительной телеологии животных форм.

3

Что, в сущности, личность с точки зрения идеализма? Личность есть сама сущность мира, или абсолютно общая его основа, однако явленная в самом большом противоречии с самой собою, ибо в личности основа наиболее [нрзб.]. Следовательно, праведность личности заключается в максимальном приведении себя, как внешнее, в гармонию с собою, как сущность, т.е. *de facto* имперсонализация, деперсонализация, отрицание себя как личности, что и реализуется в холодной имперсональной зрительной позиции ученого. Ибо если личность есть самосознающий абсолют, момент личности в ней чисто служебен и несущественен. В существенном же, т.е. в смысле своей субстанциональности, она есть сам Абсолют. Отсель оттолкновение идеализма от идеи бессмертия души, ибо личность-де и так бессмертна в существенном, ибо Абсолют бессмертен, личное же в личности как раз несущественно и поэтому и не нуждается в бессмертии: «отдохнуть в Абсолюте» на устах учеников Шеллинга всегда означало умереть, вернее, учили они «примириться с Абсолютом», т.е. исчезнуть как личность, раствориться, как волна на лоне сияющего мирового океана. Это прямо подготовило и облегчило путь

перехода учеников Гегеля к воинствующему материализму, но уже, в отличие от предыдущего материализма XVIII века, биологически, позитивистически настроенного. Личность в нем бессмертна: в человечестве — у Конта, в роде — у Спенсера, в вечной диалектической экономической конструкции — у Энгельса.

4

Ибо в высшей степени важен вопрос, который является слабейшим местом учения Бергсона о бесконечности качественного различия окрашенно-мистического бытия, что если все индивидуально, как возможно, во-первых, общение, во-вторых, вся глубина неиндивидуального — общего мироощущения, напр<имер>, как возможны семья, нация и общее антропологическое сознание полов, как вообще возможна сексуальная жизнь пассивная, а именно такая, в которой один человек открыт бесконечному количеству других, не ведая самого себя, следовательно, как возможен разврат, национальное сознание, музыка, религия? Ибо если человек абсолютно индивидуален, «смотреть в себя» ему совершенно бесполезно, ибо дальше своего носа и «неповторимого пупа» он все равно не увидит, если же познание другого, внешнего, совершается внешним образом, то как может интуиция окраситься внешним бытием, если она а priori не может стать бесцветной, объективно воспринимающей, если она вечно прикована к своей субъективной окрашенности. Человек или ничто — все, внутри себя, ввиду призрачности своей индивидуальности, видящей весь свет и все как через лишь слегка замутненное индивидуальностью стекло, а также посредством внешней интуиции, будучи ничто, теплым, мягким, восковым зеркалом, отражающим, воплощающим что угодно; или он совершенно слеп, навек ослеплен своим неповторимым субъективизмом, внутри себя видя только себя, вовне — только похожее на себя. Бергсон все-таки не смеет отрицать абсолютную, чистую имперсональность разума, но к разуму он относится с пренебрежением, и непостижение им столь же чистой имперсональности интуиции делает его учение об интуиции совершенно вздорным. Человек именно потому и видит все бытие насквозь во внутреннем, огненном зеркале либидо (которое, кстати, и есть седалище музыки), что

слой персонализации в нем очень слаб, и за ним он и мир — одно на трагическом лоне мирового пола, понимания коего Бергсон лишен.

Но следует ли из этого, что я отрицаю понятие личности как снежного кома памяти?

Нет, совершенно не следует, но воспоминание об имперсональных актах никогда не составляет персональный снежный ком, следовательно, неповторимое рождается лишь при безумии либидо, т.е. при утверждении иной личности за абсолют, вопреки всякому смыслу, оно неповторимо, ибо оно антиприродно, но составляет только слабейший, чуть заметный слой «сознательно сумасшедшего, т.е. морального бытия».

Всякая комбинация индивидуальных красок никогда не создает личность, ибо она не вопрос пропорций, а вопрос безумия морали, ибо только моральные акты свободны и, следовательно, неожиданны, непредставимы, однако положены за абсолют бытия. И следовательно, только слабый, тонкий слой индивидуален в человеке, ибо не сексуальная, не разумная и не аскетическая жизнь вовсе не индивидуальны, а лишь личная дружеская жизнь. Рай и Царство друзей.

ПИСЬМА

A stylized, handwritten signature or scribble consisting of several overlapping, curved lines.

17 мая
9 мая 1988
2

И каденось что
подтем Кид Фракиса
а мануе то жомо -
кюддь вурсеитер каарин
"Трочететер, обласити ^{иностранно воевно} жушкя
интересесе и каемо рупне
Трочететер - Вав
Трочететер

→ мному мнм
Мурка воевум
К мному мнм
Морому мнм
Мурка кино Карка

Д.Г.ШРАЙБМАН

1

15.09.1932



Орогая Диночка, узнал Твой адрес от Н.Т., ибо Ида не то не знает его, не то не хочет его мне сообщать. Я приехал 13, ибо запутался в дороге и, переплатив массу денег, целых 50 fr., доехал только 13 в 5 часов утра. И какая досада, Ты только что уехала накануне, но это, конечно, хорошо, ибо все говорят, что Ты совсем измучена. Завтра пришлю Тебе 100 fr., которые выручу за Larousse¹, который папа по секрету разрешил продать. Хожу как потерянный по городу с Пусей, перемена места на меня подействовала плохо, я слаб и при моей дикой худобе выгляжу совсем плохо. Плохо мне очень и на сердце, и мне так нужно было бы с Тобою поговорить откровенно и долго, чтобы Ты все поняла, все объяснила, на все посмотрела успокоительно и внимательно со стороны.

Вчера до трех часов ночи гулял и говорил с Николаем, вышло очень хорошо, и мы наконец очень по-братски объяснились, но к концу мне стало грустно, грустно. Говорил он мне о свете, который ему через Тебя открылся, о том, что через Тебя он родился к новой жизни, воскрес, что Ты ему нужна как солнечный свет и воздух, кстати, он нарочно дал мне прочесть Твое очень милое письмо по приезде, в котором Ты пишешь, что его целуешь. Письмо это и фотографии, где Вы сняты вместе, сжали мне сердце, однако я ясно понял Вашу какую-то общую правду, другую, чем мою, я вообще сейчас [так] измучен, что понимаю многое, чего раньше бы не понял. Я хожу в церковь и плачу там, едва войдя в церковь, сразу начинаю плакать и не могу остановиться. Вчера заснул в Ste.Anne. Что-то совершенно новое открылось или открывается для

¹ Лярус — толковый словарь французского языка (фр.).

меня в религии. Вчера я был в госпитале Ste.Anne. Хочу лечиться от невроза гипнозом. Не вылечусь (я больше, признаться, рассчитываю на молитву и чудо), решил твердо прекратить свои мучения сам, как тот бедный голландец.

Ну прощай, и напиши, пожалуйста, мне так нужно, чтобы Ты меня поняла и пожалела.

Б.

2

16.09.1932

Очень огорчен, что от Тебя нет письма для меня. Я прочел письмо к маме и очень обрадовался за Тебя, что Тебе там хорошо. Мне же здесь очень плохо. У меня что-то вроде гриппа, сделался насморк, кашель, сонливость, бессилие, усталость целый день. Кроме того, я не знаю, где и как обжег себе рот, и есть мне больно очень, кроме того, на зуб мудрости нарастает дикое мясо, еще кроме того, я спаршивел, похудел и чувствую себя ужасно плохо. Ничего не могу делать, только спать, и целый день плачу. Неужели Тебе меня немножко не жалко, от причины всего этого? Я, может быть, вообще сегодня-завтра не выдержу. Бог знает, что будет. Нехорошо, нехорошо, Дина, я так ужасно сейчас несчастен, что всем, буквально всем меня жалко, даже маме, кроме Тебя, мстительный Ты человек, ну ничего, прости, что я так пишу. Мне очень радостно, что Тебе хорошо, что Ты наконец увидела море, хотя говорят, что вредно для людей со слабой грудью; Тебя, думаю, успокоит и зрелищем своим подкрепит. Ведь Ты любишь широкий, широкий, открытый вид, чтобы сразу все было прозрачно и далеко видно. В этом отношении океан много прозрачнее юга, ибо <нрзб.> ветру. Ну, прощай. Буквально не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь и не кончится ли все сегодня или завтра на том же самом месте, где кончилось все для бедного немца.

Целую Тебя крепко.

Твой сын Борис.

Видел вчера Иру, у нее процесс в легком. Бедная девочка. Как и где она будет лечиться?

17.09.1932

Дорогунья моя,

я хочу очень тихо, очень нежно немного поругать, очень тихо, как совсем больной человек. Ибо я совсем плох, совсем, ко всему прочему, я страдаю такими припадками беспричинного ужаса и невроза, что, ей-богу, скоро больше не выдержу. Откуда Ты взяла, что я нахожусь в бешенстве, что я свиреп и буен? Я кроток, молчалив и измучен, в Favière¹ я вел себя в конце совершенно спокойно, пил меньше всех и пьянел меньше других, все это сплетни. Я ни в каком, абсолютно ни в каком бешенстве не нахожусь, а только угрюм и измучен, и если плачу, то в церкви Ste-Anne. Поэтому Твои слова о покое меня просто удивляют, и я не понимаю, откуда и через кого до Тебя дошла такая чепуха. Спроси, напр<имер>, Николая, как я себя веду и буянню ли я. Этого и [нрзб.] давно нет, и только в начале самом было, когда я совсем не понимал тех мучительно сложных отношений, которые связывают Наташу с ее женихом. Я невероятно подавлен и гораздо [нрзб.] явно *тише* обычного. С Николаем я вчера провел весь вечер, и он, признаться, меня огорчил, у него был какой-то торжествующий вид, ему кажется, что все уже устроено, и в конце концов около 11 всего, когда мне было тяжелее всего, он меня бросил и ушел. У меня это оставило горькое чувство, тем более что он все время говорил о своей любви ко мне и о дружбе на всю жизнь и т.д. Я с ним говорил много о Тебе, говорил ему, что у нас с Тобой слишком внежизненная, нечеловеческая любовь и что поэтому, если он Тебя по-настоящему любит, и Ты его, я ничем не хочу мешать Вам, ибо Тебя нужно постоянно беречь и защищать от жизни. Он соглашался и был в страшном восторге, но на следующий день не удержался, чтобы не обидеть меня, и чувствую, что, едва он почувствует свою власть над Тобой, он постарается совершенно наверно совсем разлучить нас, потому что Тебя он любит, а меня боится, боится какого-то не существующего влияния моего на Тебя, которое все же основывается на бесконечной Твоей жалости ко мне. В общем, я вижу, что если у Вас с ним выйдет хорошее, Тебе все-таки придется против его бессознательной воли

¹ Фавьер (фр.).

выгородить мое место в Твоем сердце и времени. Но все же я признаю, что он Тебя любит ближе к жизни и реальнее, чем я. И если Ты тоже так любишь или можешь любить, то отнесись к нему со всею серьезностью, на которую способно Твое слабое и измученное сердце. Если не можешь, скажи ему прямо и не мучай его, лаская и целуя, ибо он отчасти от моих слов, отчасти сам по себе дошел до состояния болезненной экзальтации относительно Тебя, которая мне так знакома. Напиши мне обо всем этом совершенно откровенно. Ты ведь знаешь все мои дела, я бы все Тебе рассказал, все, что чувствую, но как-то стыжусь писать обо всем этом и только, приткнувшись к Тебе, как щенок, я бы все-все Тебе рассказал и выплакал свое горе. Горе действительно страшное, и выдержу ли я его, не знаю, совсем не знаю, очень возможно, что сегодня-завтра все для меня кончится. Я прямо не могу, не могу жить с таким неврозом, с таким ужасом, с такой страшной болью в сердце. Относительно того, живешь ли Ты с Н. или нет, то это не важно, это не означает <...> любви настоящей, хотя я *продолжаю настаивать на страшной мистической разрушительной силе неправильной сексуальности*. Я не совсем Тебе верю, что Ты с ним не живешь. Во всяком случае подожди, не мучай меня понапрасну, Ты же знаешь, что я все чувствую, подожди, дай всему успокоиться, пусть будет все по-настоящему, по-Божест<венному>, и помни еще, что мы уважаем только того человека, который как перед Богом боится *и не шутит со своей сексуальностью*, ибо это страшные, страшные вещи. Татищев меня, повторяю, обидел своим торжествующим видом, он ребенок, в общем. И не понимает до сих пор важности наших отношений. То, что я сказал ему, что не буду мешать ему видаться с Тобой, и постараться, чтобы Ты его полюбила, он воспринял так: «Ты, в общем, как отец, выдаешь свою дочь за меня», как будто мне это легко и не больно и я, как отец, совершенно равнодушно к Тебе отношусь. Дина, Дина, ну прощай, пишу Тебе откровенно и жду откровенного письма.

Девочка дорогая, Тебя так больше [?]

Твой бедный, сдавшись вовсе, Борис, совершенно, совершенно молчаливый и не буйный.

Папа тебе шлет огромный привет и просит не купаться.

Дорогуня моя,
пишу Тебе серьезно, а ты читай внимательно и верь, пожалуйста, моим словам, иначе Ты будешь всегда вне моей правды, вне жизни моей. Я не писал Тебе два дня, потому что был у графа (который болен диабетом и боится, что умрет, он со мной добр и мил).

Во-первых, повторяю Тебе прямо с обидой, с глубоким огорчением, что я совершенно не буйствую, что Пуся и Ира два говна, которые ничего не видели и не поняли; было такое время, длилось недолго, но они вели себя так некорректно и так дико сплетничали, что я перестал им что-либо рассказывать. Бил я только раз какого-то армянина, и то в ответ на вопль Иры, к которой он пристал, так что это все глупости и мне просто больно об этом слушать, настолько [в] сто раз серьезнее то, что со мной делается. Я молчалив и грустен, хожу понурившись. Был у [нрзб.] и взял А.Б. Пойду к Зелюку завтра уговаривать его взять другую половину.

Пишу Тебе очень искренно и страшно серьезно, любя Тебя всем сердцем так же тепло, как Ты меня любишь, и так же светло. Я люблю Наташу так, как никогда не думал, что могу когда-нибудь любить. Это сравнимо только с тем, что было на мгновенье с Татьяной, но то было шум юности, а это вся моя жизнь [нрзб.], дошедшая до предела своей силы и муки. Я совершенно ясно понимаю, что это теперь навсегда, что это самое важное событие моей личной жизни, а также и религиозной жизни. Это трудно объяснить и дать почувствовать, но это так. Дело в том, что я пережил удивительно напряженный религиозный год, весь в молитвах и трудах, но совершенно безблагодатный, и я вдруг понял, что, не могучи мне помочь сам, Иисус послал мне благодать [нрзб.] для меня в человеке, в котором открылся мне *ослепительный свет, самый яркий, самый теплый, который я видел в своей жизни*. У нас, так как мы оба копия и воплощение друг друга, сначала не совсем по-хорошему вышло, и Наташа, воплощение мира и ясности и совершенно бездонной добродетели и чувства правильности и меры, отдала меня от себя, сама раскаялась, вернулась к своему бывшему жениху, худоногому бородатому юноше, с которым она возится уже три года и давно не любит. Но теперь

Наташа опять со мною, не потому, что она понимает, что любит меня, но у нас настолько все вместе, начиная, напр<имер>, с Аристотеля и кончая адским болезненным страхом всякой сексуальности, что я не в состоянии представить себе жизни, не пронизанной, не заполненной, не освещенной другим. Наташа мне никогда не врала, никогда не преувеличивала своих чувств, никогда не [нрзб.]. Но она и я, это настолько то же самое, что не может быть и не будет нам жизни одному без другого. Все это раньше было, было только на поверхности сердца, я спал и не жил, или молился и жил не жизнью, а здесь проснулся, такая бездна природной бесконечно содержательной и <...> муки, что я сразу понял, и Ты сразу поняла. В общем, если Ты не отнесешься серьезно к тому, что я пишу, а будешь уговаривать очнуться, будто это каприз или пьянство, мы никогда, никогда уже не сможем разговаривать, не встретимся сердцем уже никогда. Я настолько понял, какое это счастье любить по-настоящему, что мне вдруг стало дико жалко Вашей любви с Татищевым и того, что я вас против воли немного запутал, но он Тебя любит по-прежнему и, может быть, глубже, а ты, не знаю вовсе, что Ты по-настоящему чувствуешь, и об этом Ты ничего не пишешь. Когда Ты приедешь, нам будет совсем легко втроем, хотя Ты знаешь, напр<имер>, ведь я ничего от Тебя не могу скрыть, какую глубокою телесною мукой я к Тебе привязан. Духовной и телесной и только без середины, без настоящей легкой, бесконечно как золото ценной, теплой жалостливой любви. Поэтому мне и духовно больно будет ужасно, если Николай нас поссорит, и телесно нелегко, будет больно, но это хорошо и надо такие жертвы приносить лучшей, правильной и доброй жизни, если она открылась человеку. Я не знаю, любишь ли Ты Николая, но мне кажется, что у Вас есть какое-то большое дело вместе, какой-то дом, который Вы вместе строите в вышине с домом другим или без другого дома на земле. Мне было бы страшно больно, уродливо больно Вам напортить что-нибудь, а будете Вы вместе жить или нет, Ваша тайна, Ваше тайное дело. Тогда не нужно было, ибо Ты и я были связаны, так что только добром и волей, а не неволей могли отпустить друг друга на свободу. И теперь то же самое, я Тебя любя отпускаю, но в

силах ли Ты меня отпустить. А я не хочу уходить против Твоей воли, и если Ты не хочешь того, что, кажется мне, нас излечит от глубокой *difformité*¹ [нрзб.] горем всей нашей <нрзб.> жизни, мы опять будем жить вместе и скоро женимся, ибо и Ты и я имеем полную власть друг над другом, основанную на неразрушимом праве благодарности за многолетнее [нрзб.] добро. Киса моя, только это будет мистическая и органическая ошибка, которую мы всегда чувствовали, живя вместе, хотя это было часто невероятно, прямо-таки болезненно приятно и как-то утешительно. Ну вот и все, кажется. Ужас мой есть ужас жизни, в которую мне теперь придется вмешаться изо всех сил, и если я, напр<имер>, не вылечусь от невроза, я, вероятно, умру, ибо не хочу мучить и мучиться дальше.

Целую Тебя крепко, крепко. У меня есть свободные 100 фр., ибо 70 мне дадут Записки, и 100, наверное, завтра я получу за словарь. Пиши скорее, и молю Тебя о снисхождении.

Твой Борис.

P.S. Я понял все это именно потому, что любовь к Наташе вовсе не столкнулась в моем сердце с любовью к Тебе, а выросла совершенно параллельно, как прекрасные и неуловимо разные вещи. Я люблю Тебя больше, а не меньше прежнего, уже потому, что моя способность любить и сочувствовать сейчас во много раз увеличилась, но любовь моя к Наташе не пугает, не мучает и не раскаивается за мою любовь к Тебе, и обе на всю жизнь. Стихотворение Твое меня глубоко тронуло, я почувствовал в нем совсем другое море и нежное глубокое небо, полное облаков, чего нет на юге. Оно мягкое и очень сложное по ритму, в общем, совершенно прелестное. Чтоб на этот зеленый простор посмотреть и утонуть. Это чудно жутко. Золото мое дорогое, напиши мне, *жалей*, большое письмо и все, все объясни, ведь Ты можешь все, все понять. Твой всегда Б.

[На конверте, с обратной стороны, приписано:] Не смей купаться. Помни, что в том письме вся моя жизнь. Отнесись к ней

¹ Уродливость (*фр.*).

Божески, не топчи, не обижай ее, я буду Тебе за это всю жизнь благодарен.

5

23.09.32

Дорогой мой,
получил Твое письмо, довольно-таки злое, все-таки с частым упоминанием о страшных вещах, давно прошедших. Что до меня, то я живу наново и боюсь памяти. Бог с ней, и так хорошо, что это, хотя где-то все помнится, здесь забывается, сглаживается, зарастает многое. Забудем наши страшные вещи, они давно прошли, эти два месяца для меня, как два года целых. Ты не знаешь, как я переменялся. Ты сейчас недооцениваешь моего отношения к Тебе, и сразу после «будем видеться каждый день» — «лучше видеться как можно реже». Я думаю, ты напрасно опасешься некоторых вещей, я об них вовсе не думаю и счастлив этим. Был я в Ste.Anne, ждал два часа среди сумасшедших и виделся с доктором, довольно величественным стариком-евреем Минковским, не родственник ли тех. Он меня долго слушал, вник во многое и просил прийти, сказав весьма серьезно и грустно: мы посмотрим, что мы сможем для Вас сделать. Затем я видел опять Н.Т., с которым на этот раз было очень хорошо. Пришел затем Мишка, который был со мной явно груб, видимо, ему не нравится наша дружба. Вид у Мишки измученный донельзя, бледный и переутомленный. Сейчас иду звонить Зелюку и еду затем к графу. Видел сегодня Тебя во сне, и Ты все говорила мне, что у Тебя другие знакомые *à part*¹, и мне было дико грустно, все это происходило на какой-то выставке или курорте, где масса ступльев стоит на улице.

К Наташе я отношусь действительно очень серьезно, с полным желанием взять на себя всю жизненную ответственность. Но вот, напр<имер>, мы опять поругались, и я написал ей тяжелое грубое письмо, и что будет, не знаю. Она и я — два «бешеных» человека, которые больше всего в жизни нуждаются покоя и кротости, которые я ценю, но никак, ни-

¹ За исключением (*фр.*).

каким образом не могу применить [в] жизни для меня [нрзб.] Блока.

«Покоя нет, возврата нет» — одна из самых высоких [?], я люблю [нрзб.] предельное, нагромождение сил Вагнера, грохот грозы и вообще всяческого рода исступление, которое боготворю и которое всю жизнь жажду.

Что до кротости, то другое мое высочайшее состояние — это непримиримое люциферическое боготворство, гордость, гордость и гордость, и какое-то грандиозное (я, как все немцы, люблю все грандиозное, *der Kolossal*) поражение в конце концов Люцифера перед Богом, поражение после состязания в творении, где Люцифер видит, что, несмотря на весь свой свет, не обладает настоящей жизнью, но ему и не нужно, это самая холодная попытка [?] мира. Не нужно, конечно, но он тоже творец и, жаждучи истинного творчества, он смиряется наконец, но необычайно мужественно, как Версанжеторикс перед Цезарем, напр<имер>. Я раньше всего дорожу своей силою судить Бога, и за это сам буду судим и расплачусь. Вся сцена должна происходить где-нибудь на совершенно голых горах и в оглушительном вое ветра и непрерывном молчании, она должна быть ужасно испуленна и вся в духе возвания Тангейзера. Это так, мы германцы, созревшие поздно, и именно теперь, в 29 лет, но, вероятно, еще больше в 30—33, я достиг величайшего прилива молодости, здоровья, интенсивности и свободы. Так, что колесница, с сумасшедшими своими конями, в любую минуту может сорваться в бездну. Так, вчера целый день я думал, что именно сегодня брошусь вниз или застрелюсь и т.д. Ну ладно, в общем, до свидания. Это так, так, так. Но я знаю также и о второй карте, о бесконечном покое, зрении и памяти, к которой стремится больше всего и Наташа. Есть у нас и такая [нрзб.], хотя слово смирение для нее так же чуждо, как и мне. *Nous, moi et elle, devons traverser encore un vide énorme de ce que les anciens appelaient la guerre dans le ciel avant de déposer les armes. Nous avons encore trop honte de Dieu et nous ne lui avons pas encore pardonné. Mais elle pardonnera la première et moi ma rédemption se fera par un reflet de sa grâce. Dieu l'aime plus que moi parce qu'elle n'a jamais péché par le mépris de la vie — le meurtre mystique qui*

était si longtemps un de nos thèmes d'exaltation. Elle est presque un animal tant elle est près de la vie avant le péché originel, et les animaux ont moins péché que Adam lui-même¹. Ну, я Тебе объясню все, все потом, [в] воскресенье, надеюсь.

Пиши скорее и прости, прости меня, Дуся, Дуся дорогая.

Твой равиди Боба.

¹ Нам с Наташей еще предстоит пройти через эту огромную пустоту, которую древние называли «войной на небе», прежде чем окончательно бросить оружие. Мы еще слишком стыдимся Бога, мы ему еще не простили. Но первой простит она, и мое искупление будет отблеском ее благодати. Бог любит ее больше меня, потому что она никогда не грешила презрением к жизни — мистическим убийством, так долго служившим нам поводом для экзальтации. Она настолько близка к жизни до грехопадения, что сама зверь почти, а звери грешили меньше, чем сам Адам (*фр.*).

ПИСЬМО Б. ШРАЙБМАН

З.Х.30



орогая Бети.

Твоя сестра Дина ходит в огромных шлепанцах, встает рано, ест много (рыдая, [клякса. — *Е.М.*] бьет) спит тоже много. Последние дни все время было солнце, и ни одного раза с моего приезда еще не было дождя. Бетинька, милая, как Твой [рисунок мужчины. — *Е.М.*], а также Твои служебные враги и друзья. Как поживает Ида [портрет-шарж Иды Карской, с палитрой в левой руке и кистью в правой. — *Е.М.*], Карский [портрет Карского, изображенного охотником. — *Е.М.*]. Гингеры очень хотели бы, чтобы Вы приехали. Хотя бы на Рождество или будущим летом. Дина вернется, вероятно, 11, а я 17. Мы идем собирать ежевику и постараемся сварить Тебе варенье.

Твой Боб.

[Рядом с подписью шарж-автопортрет Б.Поплавского с курицей. — *Е.М.*]

1



Дорогой Илья.

Приходи Ради Бога сегодня в «La Volée», мне до удешения нужно с Тобой поговорить. Заходи хотя бы на 10 минут.

Твой Борис П.

P.S. У меня есть 3 новых стихотворения. Я буду читать, хотя Тебя это совершенно не интересует.

2

Дорогой Илья.

Неисправимый толстяк все перепутал, поэтому прибудет в пятницу к двум, как ты разрешил, но и без всякой надежды. Коли тебя не будет, вернемся вспять — опозоренные — грожусь прочесть сочинение свое. На тему — Как молодому эмигранту жить за неизвестно чей счет и держать Метафизический фасон. Росчерк а ля Шурка Ginger.

Твой до гроба, в который в случае, если Тебя не будет, — лягу преждевременно.

Борис П.

[Под письмом — автопортрет-шарж и подпись со стрелочкой: «При сем авто; без висков (был у парикмахера)». — Е.М.]

3

Илья!!!!

Если Ты не отнесешь моей рукописи к Ромову, я учиню над Тобой новое «Дело Конради».

Твой Боб.

4

Ах, Илья Михайлович, Илья Михайлович!

Вы меня обвиняете в том, что я выхожу «на большую дорогу человеков», но смеем ли мы, смеем ли мы оставаться там на горе на хрустальной дорожке? Вот будете Вы

смеяться: «еще одного христианство погубило». Да, я христианин, хотя Вам кажусь лишь подлецом, с позором покидающим «храбрый народец». Да, я решил «сбавить тонну», сделать себя понятным (сделаться самому себе противным), потому что «мысль изреченная...» и т.д. Вам лучше знать. Но не замечаете ли Вы, что пути, ведущие «по ту сторону литературы», сделались короче, чем «в ваше время» (которое *не ваше*, а «ваше время» — это «наше время», и все это отцовство Ваше — лишь «юнкерское старчество» высшего тона). Не стоит ли Гингер уже «по ту сторону», «не воскрес» ли он в самом деле от людей? В стране столь прекрасной, «что из себя никто еще не возвращался», из «священного небытия», «гениальности, умирающей в неизвестности». Но я не хочу умереть в неизвестности, потому что *сатанинской гордости этого я не приемлю*, потому что я христианин (то есть чернь, по-нашему). Остается Вам начать думать, что я не прожил бы прекрасно без этого признания, что это нищета моя заговорила, как в Гингере одно время (Вы уже подумали, что и я тоже).

Я проклинаю Вашу храбрость.

Борис Поплавский.

5

Многоуважаемый Илья Михайлович.

Я прекрасно знаю, что наши взаимоотношения не требуют никаких добавочных разъяснений и настоящее письмо не имеет ровно никакого основания, только поэтому я и пишу его, ибо все без исключения письма, имеющие основание, считаю литературой несколько дурного тона, которую следует поручать секретарям. Но предлогом к нему послужила совершенно неожиданная, парализовавшая меня самого степень огорчения, которое я испытал приблизительно на углу Rue Vaugirard, когда, нелепо расставшись с Вами, я отправился (с видом Достоевского приживальщика Максимова) провожать Грановского. Неискушенному человеку это огорчение должно было показаться совершенно лишенным основания (оно так и есть) и поэтому неинтересным, меня же, наоборот, в силу такого его характера чрезвычайно заинтересовало, ибо причинные огорчения — это восходящие от вещей и затемня-

ющие небо, а беспричинные — нисходящие, небесного, духовного происхождения — просветляющие землю. Дело все в том, что (как Вы изволили справедливо заметить) в моем психическом обиходе конкурируют между собой два способа информации о жизни: зрительный и слуховой, ибо я давно нашел, что люди представляются чрезвычайно различными по восприятию их как явление формативно-пространственное или музыкальное, ибо зрение говорит лишь о локализованном, «размещенном» в пространстве бытии, слух же выдает нам бытие значительно более динамическое и полное значения, именно бытие не размещенное, не проявленное в пространстве. Не замечали ли Вы удивительное согласие древних авторов относительно того, что Бога, напр<имер>, нельзя видеть и никто не видел, но *слышать* можно и многие слышали. Видимость подразумевает значительную степень вещности, так что многое «между небом и землей» еще опускается до манифестации себя в звуке, но не дальше, не в форме, не в образе. Вот почему Брама проявлен<ный> есть слово «глагол» Парабрамана непознаваемого, но не лицо, как это основательно доказали философы до и после Спинозы. Достаточно подумать, что звук есть лишь атрибут, «virtu», действие, в общем, глагол, не имеющий реального значения вне «действующего» подлежащего, лежащего за ним. Глагол ни к чему не обязывает, «не имеет обратной силы», тогда как изображение начинает жить своею самостоятельной жизнью, жизнью статической и косной, ответственность за которую само бытие должно взять на себя, бороться с ним и наконец разрушить его, это свое «ситуированное» имя, свою антитезу — Сатану. Смысл соломоновой печати А в этой антитезе двух манифестаций божества (непроявленного), его «Logos'a», или восходящего треугольника, и его изображения, треугольника нисходящего, то есть проявленного Бога и Мира, несомого слепую силой инерции и самосохранения. Ибо *голос, звук, неотделим от говорящего или звучащего, тогда как изображение, форма, получает своим возникновением самостоятельную жизнь, «подверженную коррупции» и могущую восстать на своего создателя.* Вот почему проявленное Божество есть Мудрость, открытая себе, самосознающаяся — белый треугольник, тогда как мир — мудрость скрытая —

лишенная света, несамосознающаяся — треугольник черный. Ибо Брама не может восстать на Парабрамана, ибо звук неотделим от звучащего, тогда как форма — Мир — может и восстает на него, так что истинное знание в нем скрыто и охраняемо, тогда когда Богу открыто и доступно. Ясно также из этого, что неразмещенное, проявляясь в звуке, не разделяется в себе, ибо звук только атрибут, в форме же отразиться не может, ибо форма по своей природе — такая же субстанция. Но довольно об этих очень ясных вещах, важно лишь то, что высшая духовная сторона человека есть бытие «арупа», то есть не имеющее формы, и, если свидетельства слуха и зрения противоречат [друг другу], — «не верь глазам своим», ибо только по интонации узнается истинное благородство, она же есть верховная инстанция всякого литературного и жизненного сомнения. Ибо каждое бытие имеет свое тайное, подспудное, подводное звучание, но чаще всего мы совершенно глухи к явственному в небе пению звезд и довольствуемся лишь их анекдотически мигающей в мраке формой. «Merlin chante si loin que Dieu l'entend à peine»¹. И сколько раз меня ужасало неизмеримое расстояние, которое отделяет души людей и одну «психологическую реальность» от другой. И во сколько раз ослабевает свет, прежде чем долететь от своего источника до зрителя, а звук — тот угасает на значительно меньшем расстоянии, так что нужно с величайшим трудом добиваться мистической тишины, чтобы расслышать самый «голос молчания» — это прекраснейшее, воистину прекраснейшее на свете серафическое пение душ, таких, какие они там, у себя дома, на небе.

Основа мистического познания есть так называемый закон отражения: «То, что на небе, есть то, что на земле, то, что вверху, есть то, что и внизу». Смысл его для человека в том, что его бытие несомненно совершается сразу на двух параллельных планах — в духе и в разуме, так что одно отражается в другом. Связь между этими двумя бытиями одного и того же субъекта более или менее интенсивна, смотря по отражающей способности, чувствительности низшего сознания, как и по степени развития высшего. Встречаются субъекты, прекрасно отражающие

¹ «Merlin поет в таком отдалении, что Бог едва его слышит» (фр.).

свою малую духовную жизнь, тогда я обычно говорю, что это люди малого объема и большой чистоты в нем. Георгий Иванов, напр<имер>. Другие же субъекты, наоборот, *очень мало знают о своей собственной* прошлой духовной жизни и плохо, нехотя ка<к> бы, [о] ее отражении. Это Андрей Белый, напр<имер>, и в некотором смысле и *Вы сами*. Бывает так, что низшее сознание по каким-то своим соображениям отказывается принимать к себе высшее, когда оно вдруг решает отождествиться с ним, и беспомощно жалко и прекрасно бьется этот слетевший свет в закрытые двери и окна и умирает на время, ибо низшее сознание, слишком активно наполненное, *не дает возможности высшему выразиться в себе*, вот почему поэты бегут от жизни и культивируют пассивность — она есть та гладь воды, без которой не отражается лицо, склоненное над ним, ибо уже давно замечен тот странный факт, что особо замечательные мысли и моменты появляются *не* в момент величайшей активности сознания, а, наоборот, в полной его тишине, ни с того ни с сего, без всякой подготовки, кроме спокойствия. Подсознательное выкатывается в дремлющее сознание. Наконец, есть и другой значительный факт. Факт неотдавания себе отчета иллюминатом в том, что как раз в эту-де минуту на него иллюминация снизошла, наполнила всю улицу и переднюю и теснится на пороге комнаты. Какая это внезапная сверхъестественная полнота жизни и мысли, конечно, смутно осознается, но о причине ее не отдается себе никакого отчета. Мме де Севинье писала, что все искусство любовников в том, чтобы уметь угадывать те краткие, но довольно частые моменты, когда женщина решительно ни в чем отказать не способна. Совершенно в том же, но чуть в другом роде то, что делает простого иллюмината пророком, — *это точное предчувствие и осознание мистического припадка — внезапной близости подсознательной сферы, внезапного утончения перегородки между его обоими сознаниями, во время которого каждое усилие сознания во сто крат обрастает светом и жалкое слово человека, как бы подхваченное неудержимой инерцией, все с возрастающим грохотом вращается вокруг внесознательной оси*. Но чаще всего человек совсем не знает: что стоило бы ему в эту минуту обратиться внутрь, и он увидел бы небо и землю соединенными, бытие и небытие

одновременно познаваемыми. Но для опытного слушателя голос того, кто стоит у порога мистической иллюминации, вдруг так резко меняется и, продолжая говорить на самую банальную тему, вдруг приобретает настолько очевидно потусторонний тембр, что говорящий человек вдруг стремительно возрастает перед глазами со скоростью пушечного дыма и никогда уже не возвращается вполне к своему мнимому зрительному измерению. Это *звуковое преобразование* заставляет навсегда полюбить человека, навсегда подарить ему свое уважение. Пруст в «Содомах и Гоморре» описывает один такой случай: когда вдруг в разговоре с одним расточительным чудаком, St.-Louis, он почувствовал, «что гений Германтов вдруг, пролетая, остановился над ним на большой высоте, но что это было лишь одно мгновение». Именно об этом *слуховом преобразении* я и пишу Вам, хотя Вам и некогда меня читать.

Но знайте, пусть Вы все сделаете, чтобы в Вашем зрительном облике воплотилось совершенство золотой молодежи времени Людовика XIV. Вы этим можете мистифицировать кого угодно, но не меня. Ибо этот процесс *«превращения в противоположность»* мне давно и прекрасно известен. Но для меня, который слышал Вас таким, которым Вы станете в глазах людей лишь тогда, когда умрете и все временное сойдет с Вас как змеиная кожа, для меня Вы вечно останетесь *благороднейшим из европейцев*, несмотря на все внешние недоразумения, с великолепною легкостью разметающим эпическую пыль в противоположные стороны.

Писал в 9 часов утра
и в своем уме

Ваш Боб Поплавский
(чернокнижник).

6

4.II.28

Дорогой Илья.

Я ужасно много работаю (хотя болит глаз), поэтому давно не заходил к Вам, к Вашему удовольствию и к моему огорчению.

Стихов не пишу совсем. Из-за Ромова (морально), хотя это и не важно, то есть как не важно, очень важно, но хо-

чется говорить, что не важно, потому что тошнотворно. А еще потому, что пишу прозу.

Все думаю о том, что литература должна быть, в сущности, под едва заметным прикрытием — фактом жизни, так что не принятая миром [должна] остаться необыкновенно трогательным отклонением жизни вроде дневников (если бы Ты писал дневник, это было бы что[-то] вроде Марии Башкирцевой в поэзии, то есть величественное и милое бесконечно). А жизнь делать так, чтобы она, не давши счастья, была хоть явлением литературы, то есть материалом осуществления всяких милых выдумок.

За неимением места до свидания.

P.S. Поклон Аксель.

7

16.III.28

Так Ты, Илья, находишь, что ничего этот мой роман, не смею, право, Тебя просить, но, может быть, Ты, несмотря на отсутствие времени, отписал бы мне несколько советов. Право, я был бы очень Тебе признателен. Или лучше потом, после второго чтения во вторник.

В общем, я думаю, что, может быть, Тебе все-таки понравилось, а это так для меня важно.

Я никогда не думал, что с ним будет столько работы, особенно редакционной (помнишь, сколько Ты возился с «Парижачьими»). Потому что я по Твоей системе пишу всегда гораздо больше, чем следует, и на каждое место несколько претендентов. Много в этом романе также Твоего прямого влияния и особенно Шурикова. Это вообще попытка оправдать Нашу жизнь, роскошную и тайную, необыкновенно трогательную и значительную и вместе с тем никакую — со стороны смотря, и встать выше своей и социальной судьбы, посредством не удостаивать не только активного, но и морального вмешательства в ту и в другую. «Как Вы поживаете?» — спрашивают Безобразова. Он отвечает: «Не знаю». Потому что одно из великих свойств — это, по-моему, уметь совершенно игнорировать что-нибудь как нечто неприличное. Так А.Б. игнорирует свою эпоху и свою жизнь, между прочим, как нечто неприличное, хотя бы это неприличное и уничтожило его.

Вообще, [это] опыт романа в сюртуке (несмотря на Арапова), хотя бы в сюртуке ярмарочного престиджитатора и астролога. Прости за величину письма, но Ты, правда же, мне очень нужен.

Твой Б.Поплавский.

P.S. Да! кстати. Я забыл у Тебя эти три конверта с каталогами Арапова. Может быть, Ты бы их отправил вместе со своими, а то они опоздают очень.

Передай также поклон Аксель!

Твой Б.П.

8

14.XI.28

Дорогой Илья.

Сообщаю тебе печальную новость: набор книги уже год как разобран, ибо Ромов ни гроша туда не заплатил. Кроме этого огорчения, у меня сегодня еще одно: только что был Беляев и рассказал, как он запутался и Бог знает чего наболтал про меня у Вас; я прямо болен от этого. Если хочешь знать, то мое мнение касательно Твоего семейного вопроса как раз обратное. Ибо одному, кажется, на свете Тебе женитьба пошла как раз впрок. Ты, с тех пор как Ты женат, написал уже два романа и никогда не был так энергичен и приятен, как теперь. Может быть, Ты как сильный человек только и радуешься тому, что сильно нагружен. Относительно приема, оказанного мне, — я им был даже сильно тронут. Так что беляевская ерунда чуть не довела меня до слез. Твоя дружба ко мне — одно из самых ценных явлений моей жизни, хотя бы мы и не виделись годами. Являясь чисто метафизической вещью, она несколько не меняется от этого. Что же касается Твоей литературы, то отношение к ней ясно отражается в моем отношении к Тебе. Никогда бы я не мог так искренне восхищаться малейшими Твоими поступками, если я не считал бы Тебя столь способным человеком. А Ты знаешь, как я люблю все Твои фантастические коричневые котелки, геологические экспедиции и необитаемые дома. Все это было бы в моих глазах просто странно, не будь необычайной моей веры в Твои способности. Да и вообще никакие бредни не поссорят нас. А вот Аксель, вероятно, Бог зна-

ет что обо мне думает в результате. И я прямо боюсь к Вам ехать теперь, как это предполагал вскорости.

Ну, до свиданья. Как это на меня все шишки валятся.

Твой Борис.

[Рисунок, изображающий человека с падающей на него шишкой. —
Е.М.]

P.S. Поклонись от меня Аксель и передай ей, пожалуйста, эти картинки.

Ю.П.ИВАСКУ

1

18 мая 1930

A large, stylized handwritten letter 'M' in black ink, positioned above the name 'Многоуважаемый'.

Многоуважаемый Юрий Павлович, простите, пожалуйста, меня за то, что я не сумел Вам ответить к 15 мая, так как мне нужно было поговорить с несколькими молодыми писателями относительно Вашего любезного письма. Я очень благодарен Вам за внимание, и самая идея издавать журнал в Ревеле, где должно было сохраниться коренное русское население, мне кажется чрезвычайно целесообразной. Я посылаю Вам несколько стихотворений и свою фотографию. Относительно сотрудников Ваших в Париже, то здесь печатаются несколько поэтов из петербургского Цеха поэтов: Георгий Иванов, Георгий Адамович и Николай Оцуп. Кроме того, здесь есть несколько интересных молодых: Вадим Андреев, Антонин Ладинский, Юрий Терапиано и совершенно молодой, по-моему, очень интересный Борис Закович. Из прозаиков же — Ирина Одоевцева, Юрий Фельзен, Владимир Варшавский, Сергей Шаршун, Бронислав Сосинский. Для удобства предлагаю Вам писать пока на мой адрес: 72 Quai des Orfèvres, Paris.

С искренним уважением,

Борис Поплавский.

Вы меня очень обяжете, если передадите мой поклон Л.Х.Пумпянской.

С тем, что Вы пишете насчет удивления, я совершенно согласен. По-моему, именно удивлением жив пишущий, то есть, скорее, восхищением и жалостью, ибо восхищением, может быть, познается форма мира, а жалостью — его трагическое содержание. Восхитительная жалость (или удивительная жалость) — вот чем мне кажется настоящее искусство. Корабль со звездным креном, да, но именно склоняющийся, наклоненный к чему-то, а не благополучный, гордый высотами над водою жизни. Есенин был таким.

Маяковский же, по-моему, недостаточно плакал в жизни. Простите, что пишу глупости, но я как-то пытаюсь ответить на Ваше такое хорошее письмо. Напишите мне, пожалуйста, если будет досуг, о литературной жизни в Ревеле и какие у Вас на кого надежды. Я страшно интересуюсь таинственными мистическими вещами и людьми. И моя мечта со всеми ними познакомиться.

Искренно уважающий Вас

Борис Поплавский.

2

9 августа 1930

Дорогой Иваск, простите, что не смог Вас своевременно известить о том, что «В черном мире» и «Мальчик смотрит...» были напечатаны в «Последних новостях», но дело в том, что я потерял Ваше письмо с адресом, именем, отчеством до того и долго его искал, но не нашел. Случилось у меня вот что: эти стихи лежали в «Последних новостях» уже больше года, и я думал, что они свободны, а они вдруг их нашли и напечатали. Я очень жалею об этом и посылаю Вам другие. Кстати, я очень прошу Вас прислать мне Ваши стихи. Лидия Харлампиевна (Пумпянская) говорила мне, что Вы пишете.

Посылаю Вам также стихи Бориса Заковича. Может быть, они Вам понравятся, я их большой поклонник.

Так я буду ждать.

Искренно Ваш Борис Поплавский.

3

1 октября 1930

Многоуважаемый Юрий Павлович, спасибо за Ваше милое письмо и деньги. Мне их переслали в деревню, где я проживу довольно долго, до декабря, может быть. Это в Нормандии. Здесь страшный туман, болота, реки и плотины, и хотя холодно, но я отдыхаю и занимаюсь спортом. По-моему, это будет довольно трудно устроить рецензию в «Последних новостях». Лучше послать прямо в редакцию. Что касается «России и славянства», то я с этим журналом, скорее, в плохих отношениях. Зато я могу легко устроить рецензии в «Числах» и «Воле России». Теперь относительно моей биографии, то она чрезвычайно

несложна. Родился в Москве в 1903 году. Учился во Французском реальном училище в Москве же. Эмигрировал в 1920 году в Константинополь. Начал печататься в 1928 году в «Воле России», затем в «Современных записках», «Последних новостях», «Числах», «Стихотворении» и «Русском магазине». Теперь учусь в Сорбонне. Письмо Ваше к Давиду Кнуту я попрошу передать, хотя боюсь, не будет ли поддержки. Газданову я напишу.

Всего хорошего и большое спасибо. Передайте, пожалуйста, мой поклон Лидии Харлампиевне. Стихи я пришлю.

Искренно Ваш Борис Поплавский.

4

7 октября 1930

Многоуважаемый Юрий Павлович, я переслал Ваше письмо Давиду Кнуту. Что касается Газданова, то я пока не смог узнать его нового адреса. Написал насчет этого. Пишу Вам с просьбой прислать мне, если будут, упоминания обо мне в местных газетах, которые не всегда сюда доходят. Вырежьте, пожалуйста, или перепишите. Обращаю Ваше внимание на опечатки. Их страшно много, и некоторые из них совершенно меняют смысл.

Все изменяясь — вместо изменялось...

До самой ночи среди синих звезд...

вместо

До самой ночи средь синих звезд...

что очень меняет смысл.

Во втором стихотворении:

Подойдет, забудет муку...

вместо

Подойдет к дверям, забудет муку...

что тоже совершенно разбивает строфу.

Соломея вместо Саломея, что, впрочем, неважно. Прочел «Русский магазин». В общем, хорошо напечатан и составлен. Хотел Вам сообщить следующее. Здесь у меня имеются под рукой клише репродукций парижских русских художников, если они Вам пригодятся, я могу послать и написать пояснительную заметку. Репродукции украшают.

С искренним приветом,

Борис Поплавский.

Сообщите, когда нужны будут стихи.

Мой адрес по-прежнему — мне перешлют сюда.

Прочел Вашу статью о Шиллере и очень одобрил: она вроде декларации. Кстати — еще Достоевский обожал Шиллера.

5

19 ноября 1930

Дорогой Юрий Павлович, спасибо за Ваше милое письмо. Я прилагаю два стихотворения. Что касается Б.Заковича, то он пошлет свое стихотворение на днях. Говорил на днях с Ремизовым о «Русском магазине», он очень сочувствует ему, но относительно его успеха и распространения высказал следующие соображения: что, во-первых, с чем я тоже согласен, следовало бы заменить обложку (фотографией, например, Блока), так как сейчас ведь юбилей Блока и Белого — пятьдесят лет со дня рождения, и Вы напишите что-нибудь об этом, ибо, думаю, Вам Белый близок, а его сейчас никто недооценивает. Потом отдел спорта и кинематографа тоже, если можно, с клише. Относительно статей, то была статья Слонима в «Воле России» в новом, десятом, номере 1930-го. Так, я думаю, Вы получаете «Вол<ю> Рос<сии>», я ее не посылаю. Кроме того, в новом номере, четвертом, «Чисел» будет рецензия, одобрительная, насколько я знаю, — Варшавского. Относительно «Посл<едних> новостей» я думаю кое-что предпринять. Все о делах, еще о моей биографии. Я происхождения сложного: русско-немецко-польско-литовского. Отец мой по образованию дирижер, полурусский, полулиловец. Занимался промышленными делами. Мать — из дворян. Жили богато, но детей притесняли и мучили, хотя ездили каждый год за границу и т.д. Дом был вроде тюрьмы, и эмиграция была для меня счастьем. С детства интересовался мистикой, был страшно религиозен и остался. Приехав в Париж, занялся сперва живописью, затем, разочаровавшись, стал писать стихи и уехал в Берлин на время, где Пастернак и Шкловский меня обнадежили. Долгое время был резким футуристом и нигде не печатался. В настоящее время погружен в изучение мистических наук, например, каббалы и т.д. Учю в университете историю религий, думаю часто — не в этом ли мое призвание. Посылаю Вам другую

мою фотографию и прошу Вас прислать мне свою и подробнее написать о себе и особенно — как Вы относитесь к религиозным вопросам. Ваши стихи мне очень понравились, они надорванные, надтреснутые, какие-то болевые. Такие только я и признаю, ибо боль, по-моему, и рождаемая ею жалость — альфа и омега литературы. Я их частным образом покажу своим товарищам и напишу Вам, что они думают. Обязательно напечатайте их в «Русск<ом> магазине». Вот и все, кажется. Напишите, как распространение первого номера. «Числа» Вам посланы.

Искренно Ваш Борис Поплавский.

6

16 декабря 1930

Дорогой Юрий Павлович, пишу Вам, сидя в пальто, в совершенно больном состоянии. После страшного пьянства по поводу какого-то юбилея. На улице серо, и темнеет уже, несмотря на то, что всего 4 часа. Большое спасибо за Ваше милое письмо и за все вообще доброжелательство Ваше ко мне. Мне оно очень помогает, ибо я в настоящее время колеблюсь — не бросить ли все, не посвятить себя исключительно религиозной философии. Сомневаюсь во всем в литературной области. Страшно мало сплю, все больше разговариваю до утра. Наутро встаю больной, отправляюсь покупать книги у букинистов. Читаю, но больше сплю целый день. Дело в том, что в Париже много литературных дел, но мало людей мистически настроенных, чувствую большое одиночество. Вообще, мне свойственны разные фобии, то есть склонности к мании преследования. Все время борюсь с каким-то страхом. Только летом освобождаюсь как-то в высокие и пыльные солнечные дни, когда город пустеет и душа упивается какой-то безнадежностью и смирением. На Рождество же здесь сезон балов. Все пропивают неизвестно что, под звуки граммофонов, в ателье художников. Очень жалко, что я не могу с Вами до времени [нрзб.] поговорить на одном из этих балов, когда все танцуют и все так трогательно и тщетно. Здесь у нас в этом году повелись разные кружки о религии. Потом до утра путешествия по разным кафе и обсуждения. Под утро в том квартале художников, где все это происходит, на улице и в кафе, происходят драки. За

столом дремлют нищие и ораторствуют пьяные. Эту среду я люблю, всех жалко, и хочется быть таким же. То есть спать на улице, напиваться и плакать. Но я не совсем такой человек, я книжник, скорее (и фарисей тоже). Милый Юрий Павлович, письмо Ваше мне очень понравилось, чувствуется в нем, что Вы тоже живете как-то на краю чего-то, что все полуреально для Вас, как и для меня. И я очень жалею, что Вас нет в Париже, где мы, несомненно, с Вами каждый день встречали бы рассвет на бульваре. Относительно нашего увлечения филологией (?) я обратился к профессору Кульману, и он обещал мне узнать: какие книги об этом нужно читать. Что до «Русского магазина», то мне, откровенно говоря, не нравится обложка, что до стихов и рассказа Вашего, все это мне симпатично и интересно. Во всем этом страшный надрыв и то, что нужно сейчас, — жалость и религия, что лучше и что хуже — не знаю. Важен тон и все в нем, и вообще, будем чаще писать.

Искренно Ваш Борис Поплавский.

7

31 декабря 1930

Дорогой Юрий Павлович, спасибо за Ваше милое письмо и за Вашу карточку. Думаю я, что мы с Вами в принципиальных вопросах более согласились бы, чем сперва кажется, ибо я тоже не церковник практически и не поповец. Церкви люблю, но не хожу в них, может быть, потому, что церкви в Париже служат родом клубов, где на паперти решаются эмигрантские вопросы. Вообще, милы церкви пустые, хотя и несправедливо это, так что я охотнее хожу в католические. Как Ваш «Русский магазин»? Я перечитывал его давеча, и многое мне очень понравилось, чего не замечал раньше. Только с обложкой никак не могу помириться, да и другие типографские недостатки имеются, звездочки некрасивые под стихами и виньетки. Между прочим, рисунок на обложке вовсе не плохой, а очень даже занятный, но не обложечный, обложка должна, кажется мне, быть проще. Еще, кажется мне, — читал я в «Русском магазине» рассказ Гершельмана, который мне очень понравился, из военной жизни, что я очень люблю. А также очень интересные стихи Стернаш, особенно короткое, с короткими строками. Кто сей Стернаш?

Между прочим, я болен. Лежу в кровати, обложенный мандаринами, и читаю 20 книг сразу. Поэтому письмо получится каракулями, на что Вы не сердитесь. Нравятся мне Ваши мысли о том, что в интересах Бога не следует заниматься религией, то есть Вы хотите сказать, что религия компрометирует Бога, что религия есть нечто антикультурное, может быть, так и выходит, но нужно ли быть приличными. Я знаю и давно привык к тому, что религиозность вызывает покровительственное и ироническое отношение, что ее терпят только и втайне думают, что без нее было бы свободнее, как на дружеском собрании без присутствия какого-нибудь старика. Но я лично люблю говорить со стариками и думаю даже, что молодость — это ложь и суета сует...

Милый Юрий Павлович, пишите...

Поздравляю Вас с Новым Годом.

Преданный Борис Поплавский.

Передайте, пожалуйста, привет Стерне Львовне.

8

6 февраля 1931

Дорогой Юрий Павлович,

отвечаю пока срочно и по делу, не отвечая пока на Ваше прелестное письмо, над которым я много думал. Нравится мне в нем надрыв. Ах, надрыв, надрыв без конца, в этом вся душа России. Вот дело: напишите, пожалуйста, поскорее — скоро ли выйдет «Русский магазин»¹. Посылаю Вам другое стихотворение вместо «зеленого ужаса» («Над городом лежит зеленый снег...»), которое мне срочно понадобилось. И вот еще: сходите, пожалуйста, к Лидии Харлампович, возьмите там мою книжку, хотя в ней сто опечаток. И попросите ее выслать поскорее мне книги по железной дороге, а также передайте ей поклон. Поклонитесь еще, пожалуйста, мадам Стернаш от меня. Милый Юрий Павлович, тут вышли «Числа», № 4. Вам пошлют. Вашу поэму прочел очень внимательно, она мне очень понравилась. Там многое неравномерно, но прелестно. Милый Юрий Павлович, до свиданья. Жду от Вас срочной открытки о стихах, ибо у меня здесь с ними разные путаницы. Я нездоров — грипп, вышел слишком ра-

¹ Вторая книжка. — *Примеч. Ю.П.Иваска.*

но — простудился опять, целая история. Ну, теперь ничего. Пишу много прозы. Напишите поскорее.

Ваш Борис Поплавский.

Прилагаю стихи Бориса Заковича.

Копия. Подлинник послан Л.Х.Пумпянской.

9

17 марта 1932

Дорогой Иваск,
сделайте мне божескую милость — исполните мою просьбу, и я буду Вам страшно обязан и готов выполнить все Ваши поручения в Париже. Пойдите к Пумпянским и узнайте: сколько осталось у ней моих книг, и напишите, пожалуйста, сколько надо послать денег. Мне книги страшно нужны, и — если не Ваша доброта — ничего не смогу получить. Я здесь буду ждать Ваших новых стихов, ибо буду редактировать лит<ературный> отдел «Утверждений», три из которых, уже вышедшие, пошлю Вам тотчас же по получении подробного письма о том, как Вы поживаете и какие у Вас новые идеи. Напишите, пожалуйста, поскорее, что до меня, то я отдаю печатать своего «Аполлона Безобразова», которого Вам пошлю.

Так я жду. Простите, пожалуйста, что я Вам надоедаю, но у меня безвыходное положение с книгами. И потом просто потерял Вас из виду и огорчен этим.

Преданный Вам

Борис Поплавский.

Кланяйтесь, пожалуйста, от меня Пумпянским.

22, rue Barrault, Paris XIII.

10

30 июля 1932

Дорогой Иваск!

То, что с Вами случилось, чрезвычайно близко ко мне и ко всем стоящим моим друзьям. Тем более, что мы, исходя из буржуазного класса, тем более должны бояться неуловимой заинтересованности в своих взглядах. Меня только христианство удерживает от чистого коммунизма, ибо я всею душою ненавижу деньги и их мораль. Мы здесь живем острым чувством приближения европейского апокалипсиса, и все коммунисты в душе, в сердце, но все же

через «девочку Достоевского» мы никогда не перешагнем и останемся вне гибели мира, в катакомбах и в подполье. Однако я признаю, что готовящаяся мировая война есть прямое нападение на рабочий класс, и он только защищается, идя в революцию. Однако христианство мне лично запрещает защищаться.

Вы не можете представить, как капиталистический строй всем надоел, надоел, надоел, и самому себе больше всех. Я как «непротивленец» не буду участвовать в революции, но так будет легче дышать и мне. «Звериного времени» я не очень боюсь, если только жить останусь. Ибо я поднимаю одною рукою три пуда и готов работать даже и тяжело. Что до бедности, то беднее моего вообще быть нельзя.

Дорогой мой, единственное, что следует защищать и Вам и без чего Вы никогда не обойдетесь, это совместимость коммунизма и религиозности, и всеми силами бороться против безбожнической дешевки, хотя, может быть, она и нужна для масс.

До свидания, милый. Напишите мне, пожалуйста, ибо я считаю Вас «моральным субъектом», хотя моральная жизнь, любовь к людям всегда будет несчастна, пока не сделается религиозной, ибо, если Бога нет, нечего дать человеку, и даже при социальном рае, чем наполнит он свой досуг, ведь не физкультурой же и шахматами.

Искренно преданный Вам, нищий во Христе

Борис Поплавский.

22, rue Barrault,
Paris 13.

аксимиле Боба Поплавского. Просят не смешивать с Пипифаксом.)

Дорогой Бруно!

Пишу Вам нарочито деловым тоном, хотя знаю заранее, что из этого ничего не выйдет. И так-то здесь не было «никакого шевеления в строю» в смысле печати, кроме, конечно, «печати проклятия, лежащей на всех напишущих или пишущих неаккуратно», ныне же «как раз наоборот». Собираются выходить сразу пять журналов. Проследую систематически. Первое: Ромов согласился печатать на (свои оболочки) литературно-художественную хронику «Через», куда он пригласил для фактического редактирования: меня по стихам, Зданевича по литературе, Свешникова по статейной части, еще там будет такой молодой коммунистик Дряхлов по технической отрасли. Сейчас первый номер почти составлен, но мы ждем Зданевича, чтобы приступить, «они» придут в начале сентября. (Пусть Андреев присылает два больших стихотворения по своему усмотрению, если он не пришлет, я было уже решил напечатать «И ночь стекла...» — на свой страх и риск, конечно, не перед публикой, а перед Андреевым.) Что касается Вас, то пока мы хотели в № 1 напечатать всех хороших поэтов, а во втором номере всех писателей, то есть Зданевича, но без Бруно и (Венуса), к которому Ильязд обратится сам. Теперь второй. Выйдет, не выйдет — не знаю (уже давно должен был выйти). Капустный листок под назв<анием> «Стихотворный (он же “Смехотворный”) вестник» и редакция Божнева, Брославского и Мих. Струве. Участие Струве говорит о политическом оттенке этого издания (поэтому моих стихов там, ни Свешникова, ни вообще Зданевича там не будет). Что до сотрудников «Череза» — «вольному воля».

В-третьих. Должна выйти (Вы знаете парижское отношение к долгам) газета некого Спектора (Вам небезызвестного, кажется), газета «понеделничная», «большая» и «платная». Все это подразумевает возможность мистификации (пишу откровенно), ибо Спектор сам еле зарабатывает на жизнь, а рассчитывает на одного еврея, который до этого уже обещал трем разным лицам. В общем, была не была, он уже заказал мне статью по философии, две рецензии и взял стихи, которые он считает хорошими, но и не замечательными. Так он относится ко всем, ибо сам по себе дурак дураком, для которого литература только в России. Если это не блеф, Вам с Димой надо спешить в Париж, где я Вас усиленно пропагандирую, а то его «приберут к рукам» разные Кусиковы и т.д. Четвертый журнал — это журнал Клуба поэтов, который собирается заработать деньги посредством бала и вечеров у французов. Все это под подозрительным, но деятельным руководством некого Сидерского, большого афериста «entre nous»¹. Редактором (там) пригласили Ходасевича. Вообще, все это история густо-правая, хотя они собираются печатно опровергать свое заявление, что у них большевиков нет.

Нам сообщают, что писатель Венус начертал меня в господском романе «Война и люди», просят не смешивать с «Войной и миром».

Литературный салон Е.Е.Спектор, к сожалению, прекратил существование, ибо поэт Либерман начал применять в виде литературных аргументов [нрзб.], на коей почве вышеупомянутый писатель забрался даже «приложить руку» на Семена Либермана [нрзб.], был уговорен на основании малолетства заинтересованного.

Писатель Лев Гордон покинул гостеприимный кров дважды упомянутых Венусов (со скандалом вышеупомянутым намерением писателя Венуса), напечатал в Швеции интервью, в котором рядом с портретом во весь рост говорилось, что они [нрзб.], то есть самый популярный поэт в России.

Поэтесса Татида отбыла в Берлин по направлению российского уездного города — жениться.

¹ Между нами (*фр.*).

Поэт Свешников страдает припадками [нрзб.] лени и безделья — столь сильно, что совершенно перестал писать в «Парижском неизвестнике» и вернулся к своей [нрзб.] стрельбы в цель.

Здесь околачивается некий Туган-Барановский, но об нем успею.

Если Вы захотите, будете, вероятно, у них [ответственным?] лицом, хотя это может помешать со Спектором.

5-го в Брюсселе выходит журнал «Благонамеренный» под редакцией кн. Шаховского (это тот, кто сонеты писал). Шура Гингер мне прислал письмо, дабы я туда отправил свои сочинения, не указав, как и полагается идиоту, какого политического настроения «тама» держаться.

Итак, это все, а разве мало? Если пораздумать, это не так уж много, ибо, вероятно, одно будет исключать другое и т.д., но все-таки всего этого, вероятно, довольно, чтобы мне по отношению Вас выступить в роли демона и «смутить Ваш покой» тама, в монастыре. Я здоров и довольно счастлив, вероятно, потому, что стихов все лето не писал, сейчас опять «пал» и с ужасом замечаю, что за краткий срок совершил 8 семистрофных грехов, ну, «лана» [нрзб.], как говорят мальчишки, «холосо», довольно Вам досуждать, наша Вашему с кисточкой, с пальцем в девять и с огурчиком в тридцать пять. На обороте читайте постскриптумы [нрзб.].

Б.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Николай Татищев
ИЗ РАЗГОВОРОВ С БОРИСОМ ПОПЛАВСКИМ

(1)

...В часы сомнения следует думать о том, что каждое произведение имеет своего читателя, хотя бы одного.

Пишутся же частные письма. (Хорошее произведение всегда имеет что-то от перехваченного личного письма.)

Животные живут, как жили люди в раю. Они не знают, что должны умереть. Но вместе с тем только это знание дает человеку чудный тембр его голоса. («А у соловья?» — спросил я. Поплавский не ответил.)

«Я делал все это машинально, сам не знаю как» (из французской песни 20-х годов), — отвечает человек на Страшном Суде. Судия улыбается и, дав ему подзатыльника, пропускает в рай.

В опустошенных душах возникает видение искусства, и они еще надолго привязаны к жизни. Переставши быть действующими лицами, они еще надолго остаются зрителями, и воистину дьявольские силы имеет тот, кто научился презирать красоту мира и стал окончательно равнодушен к созерцанию его бессмертной формы. (Мы проходили перед развалившейся усадьбой XVIII века, превращенной в свечной завод.)

Читай Шеллинга. Ты узнаешь, что в Толстом художник сдерживал святого, и, преодолевая художество, святость достигла подлинного эпоса («Казачья»). Но наконец препятствие пало, и тогда, очень скоро, сама святость перестала звучать и потухла.

Удачная смерть: отвернуться от дерева познания, протянуть руку к дереву жизни, лжи и сна — какая последняя храбрость и благородство! Вновь обрести спокойное сердце в любовании жизни и тьмы. Может быть, за «невинностью» говорит могущественный инстинкт самосохранения.

Ведь ты человек светский... Уметь говорить и двигаться на людях, как у себя дома, какая тайна. Только самые лучшие писатели обладают ею, все остальные прибегают или к официальнойности профессоров истории, или, что еще хуже, к хихикающей развязности морализирующих иронистов.

Гордость высшей расточительности — ничего не писать. Разбрасывать на ветер небытия то малое, что можно было спасти для относительной вечности, — свое дыхание.

Жизнь писателя. Кинематографический эпизод: умирающий телеграфист среди грома и землетрясения, в совершенном отчаянии, выстукивает о происшествии. На приемной станции играют в карты и спят. Бесплезная лента кучей напзлает на пол.

Борис Друбецкой у Толстого поступил в масонскую ложу только для того, чтобы познать с некоторыми влиятельными лицами, которые были ее членами. Не то же ли я делаю, занимаясь философией? Ведь философия для меня — это личная жизнь философов. Их темное делание на земле и светлая смерть.

Постоянно писать на самой высокой ноте своего голоса неправильно, в этом какое-то неумение пользоваться контрастами. Пророк, который перед началом представления станцует качучу или чарльстон, несомненно, острее поразит, чем тот, который прямо начнет со слез.

Говори все о том же, о любви и смерти... Розанов был не прав, говоря: «Не хочу истины, хочу покоя», — ибо истина и покой, истина и смерть крестная — тождественны. Если найдешь — не дай Бог — истину, что останется делать, раз уж все сделано, одно — умереть от скуки или от счастья. А полюбив, найдя любовь, — продолжать любить, продолжать жить. Истина убивает, любовь оживляет.

Человек настолько хитер, что единственные два свои настоящие страдания — страдание от разлуки с человеком и от разлуки с Богом — сумел превратить в два вида самоистязания: Поэзию и Религию.

Только трагическая любовь имеет историю, как только та вода подает голос, свободному течению которой поставлено препятствие. Религиозность тоже вся насквозь трагична, ибо полна преград разума, об которые бьется и сияет воля к вере. Это одна из основных красот, свойственная только редкому и драгоценному типу любви.

Конкурс красоты. Раньше всех запела жизнь. Она пела сладко и хрипло, двигая бедрами и фальшивя. Но когда на противоположном конце города высоко зазвучала любовь, жизнь тотчас же умерла от стыда и торопливо начала разлагаться. Но когда неизвестно откуда, как будто из-под земли, смерть пропела только одну музыкальную фразу, — участь конкурса была решена. Измученное жюри встало с мест и удалилось для совещания.

Людей, которые не способны погибнуть, невозможно любить, потому что их невозможно жалеть.

Никогда не следует выходить из круга любви, из своего света на внешний холод, никогда не следует удостаивать нелюбящего тебя ни единым словом.

Каждое утро, встав от сна, помни о том, что каждый день твой по-особенному священен, и сладостен, и смертен. Пожалей его. А если останется счастья, пожалей и все остальное.

Республика Солнца. Не хочу или не могу быть моральным или вежливым со всеми. А только с теми, которыми восхищаюсь. Пусть внутри цивилизации невидимо существует Республика Солнца, граждане коей, связанные между собой исключительно одним восхищением, свободно уничтожат между собой всякое зло (это так легко, когда благоговеешь). Относительно остальных (внешний круг) морали не существует, и всякое зло позволено.

Все по-разному носят свою смерть, одни — как красивую шляпу, лихо и даже набекрень. Другие с романтической нежностью — как Офелию на руках. Третьи же (презренные) — как разъедающего рака под одеждой, который неустанно грызет их и ядовито брызжет на окружающее.

Может быть, природа от любви к человеку просто перестаралась, неосторожно наделив его столь великими способностями эстетического воображения, что он смог создать идею Бога (эта идея есть величайшее произведение искусства). И воистину, создав такой идеал, перед которым природа побледнела и с ужасом отвернулась, человек так смертельно влюбился в него [в идеал], что ему уже невозможно жить без него (загадка Ставрогина). Так вокруг людей ставрогинского типа замыкается круговорот сатанинской иронии природы, а именно, что она из ада страстей, стараясь вырваться к свету эстетического созерцания, встретила эту невыносимую, как радий, для счастья, покоя и жизни идею и умерла, убила себя от самоотвращения. Для европейцев типа Ставрогина (у нас это редко встречается, и нам не совсем понятно) если идея Бога окажется ложью, она все же достаточно могущественна, чтобы убить человека, который не сможет пережить этой ложности.

Было время, когда я видел себя на солнце. А потом совсем перестал видеть, и во всем был Один Ты.

Бесполезный, бесплотный труд, наполняющий жизнь. Усни, усни. Как странен, как нежен и как тленен этот словесный рай! Так творение пародирует Творца, но вот теперь это дерево жизни растет посредине сада, и к нему запрещено прикасаться.

Единственное законное отношение к искусству — это средневековое. Мужичье, в душе туповатое, верующее, крепящееся, мирящееся с долгим художественным голодом, верующее во внутренний рок. Ибо искусство — это благодать, которая неизвестно на какой час приходится, а если пришлось, неизвестно, сойдет ли еще раз, как Христова одежда, которая не по заслугам, а по внешнему произволу неожиданно выпадает одному из играющих воинов.

Увы, я знаю тайну тех, которые никого не любят. Я знаю и то, что они противопоставляют счастью любить: это счастье не бояться смерти. Ибо только тот, кто никого не любит, даже самого себя, ни за кого не боится и вообще не думает о смерти. Почему для наших критиков Ставрогин — неразрешимая загадка? Потому что он не знал ни слез, ни смеха, а наши знают, и тем лучше или тем хуже.

Если тебе не все понятно — Hölderlin даст объяснение. Прочти у него «Ночь спустилась». Реальна только Республика Солнца или «рай друзей», остальное нас не касается...

По небу полуночи...

(2)

Париж, начало 30-х годов, незадолго перед смертью Поплавского. Он жалуется, что «преображение все медлит». Все не происходит слияния двух голосов, земного с небесным. Потом он переходит к тому, что ничего живого нельзя написать, если сперва не увидеть этого во сне.

— Но почему так?

Потому что во сне мое «я» уничтожается, и это и есть начало вхождения в настоящую жизнь. Даже когда во сне главную роль играет одно лицо, а не множество действующих лиц, как в театре, этот единственный герой не совпадает с «я» наяву. Фон сна, его пейзаж, тоже имеет мало общего с городами и комнатами, где мы жили. Сон может воспроизвести то, что случилось с моей особой в бодрствующем состоянии, но всегда искаженно, под другим углом, так что трудно догадаться, что сей сон символиз<ир>ует. Ум и память во сне замирают, как бы впадают в обморок, и это полезно для нас.

Ум, отделенный от сердца, глуп, особенно когда пытается морализировать и поучать. Такой ум является главным препятствием для хороших стихов и рассказов.

Вчера прочел у Белинского, продолжает он, высказывание о Державине. Чуть невероятная. Белинский явился предше-

ственником для всей советской литературы, для их соцреализма. Вот эта цитата:

«Ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности. Его стихией и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством — патриотизм».

Эта оценка подошла бы скорее к стихам Демьяна Бедного и прозе Луначарского. Здесь все вранье от первого до последнего слова, от «ума» до «патриотизма». Про ум я уже сказал, а про патриотизм фальшивый Белинский так до конца дней своих не сообразил, что это чаще всего лицемерие и обычно служит для военных надобностей — солдат гипнотизируют, чтобы они умирали без протеста.

Националист уверен, что его нация лучше всех остальных, но почему? Настоящие писатели не знали патриотической истерики и национализма, этого большевистского и фашистского подарка нашему веку. Шекспир, Сервантес, Гете, Данте были свободны от этого. Раньше эта болезнь на короткий срок овладевала народом после выигранной или неудачной войны. Бодлер ни разу не упоминает про нацию, также Верлен, Рембо или Малларме. Национализм не совместим с религиозностью. Национальная гордыня не отличается от всякой другой. Почти вся советская поэзия — это барабанный треск, как французская литература при Наполеоне.

Не такова была тихая песнь из «По небу полуночи...». Если говорить о русской поэзии не по Белинскому, которым нас пичкали в гимназиях, а по-настоящему, то надо сказать, что поэтическое озарение всегда таинственно и религиозно. Его стихией и торжеством никогда не была «природа внешняя», а всегда была и осталась любовь.

Но религиозность не требует, чтобы чудные звуки небес полностью слились с песнями земли, и Лермонтов этого не сказал, о чем очень верно писал Ходасевич. Те звуки и наши песни не одно и то же, но одно не исключает другого, как музыка не исключает стихов. Тем более, что общая их стихия — это то, единое на потребу, о чем только что было сказано.

Сила «природы внешней», даже если понимать ту природу в смысле красоты — до чего Белинский не дорос, — не претендует стать силой религиозной. Поэт об этом помнит, в этом скромность нашей и всякой подлинной поэзии.

Да, на какой-то границе на неуловимое мгновение все сливается в «душе молодой», как на литургии, когда хор поет Осанну. Это выход из времени и вход в вечность, которая в на-

ших условиях не может быть воспринята иначе как мгновение. Но не следует умышленно стараться забыть о жизни во времени, куда мы посланы «для мира печали и слез».

Но мне иногда кажется, что, может быть, жизнь во времени и выход из времени — это одно и то же. Как ты думаешь? В таком случае мы всегда живем у подножия Фаворской горы, и нечего спрашивать, почему озарение все медлит. Наша вина, что мы его не замечаем.

Большая поэзия — это священное предание. Душа народа в песне поэта отвечает, как она запомнила песнь Ангела или Священное Писание. «По небу полуночи...» есть ответ души на то, как она поняла Евангелие.

«И долго на свете томилась она». Конечно, но и тем лучше, что нет полного успокоения, даже во сне. Но все же сны не должны быть безысходными кошмарами, это часто предупреждение о том, что спящий в чем-то очень провинился наяву.

Но о чем мы говорили? Да, красота полуночного неба. В лучших книгах тема очищающей ночи появилась давно, еще у Еврипида, а потом в «Гамлете»: человек добровольно ищет страдания. Зачем? До прошлого века этого не понимали. С Достоевским что-то прорвалось и сдвинулось, в ночном небе вдруг загорелась новая звезда и озарила весь мир. Все читатели книг что-то сообразили.

Секрет Достоевского в том, что, может быть, страдание и есть иллюминация или последний этап перед очищением, где душа почувствовала, что полного освобождения не наступит, пока существует «я». Но как дать понять, что «я» на самом деле не существует? Для этого нужно вынуть старое сердце и водвинуть на его место «пылающий огнем уголь», чего поэт сделать не может. Евангелие говорит об этом в притчах и один раз прямо — в главах 13–16-й от Иоанна.

Надо, чтобы сердце освободилось от всего сора, накопившегося в нем за миллионы лет, и главное препятствие для такого очищения — сам человек. Но без этого сердце не сможет принять Христа и любовь.

— Ты встречал таких людей?

— Да, в 18-м году был один священник в Москве, на Арбате. Но я не кончил. Достоевский после каторги жил на пороге полного просветления. В этом меня убеждает не столько образ Мышкина, даже не Зосима или Алексей Карамазов, сколько герой «Записок из подполья» и еще другой аноним, муж в рассказе «Кроткая». Очевидно, что их терзания добро-

вольны — как всякие неподдельные терзания. Зачем они хотели пострадать? *Затем, что, как их автор, они почувствовали, что пришла пора сделать последний и самый мучительный шаг — отказаться от самих себя.* Такие души по-настоящему, по-серьезному сознают свое падение, они не могут стать самоудовлетворенными, спокойно верующими, и это пламя тревоги может послужить к их спасению. Однако надо заметить, что простое самобичевание никуда не ведет, почти как самолюбование.

Что происходит с человеком после того, как отпала помощь его великомудрого «я»? Тогда бывшая умная и очаровательная персона исчезает за ненадобностью, душа превращается в вибрацию деятельного сочувствия ко всему, что ее окружает. Мысль заменяется делом. Но в этом новом существовании ничего не делается преднамеренно, ничто никуда не направлено и нет больше разделения на «я» и внешний мир. Это — новая жизнь «под кущами райских садов».

(3)

«В Пушкине встречается вольтерианская ирония. Ирония светского салона XVIII века, *“смешливый ад”*. С такой ледяной иронии начинается “Евгений Онегин”. От слов “Мой дядя самых честных правил...” до слов “...Когда же черт возьмет тебя”. Молодой повеса торопит смерть провинциального дяди, чтобы вступить в права наследства. День молодого повеса в столице списан с “Le Mondain” Вольтера (1739). Этот Mondain не знает любви, он лишен серьезности жизни. Он знает, по Вольтеру, что “чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей”, — этим методом элегантный повеса ловит женские сердца, что ему до поры до времени удается». Конфликт Онегина казался Поплавскому не столько соблазнительным, сколько неубедительным и мнимым. Зачем быть «пародией»? Кто из нас, теперешних, в Париже или в Москве, опустошится до того, чтобы «потолковать об Ювенале, в конце письма поставить vale и вспомнить, хоть не без греха, из Энеиды два стиха»? Какой смысл в том, чтобы остричь над жизнью, над любовью, над страданием? Зачем величайший поэтический гений России остановился на такой чепухе? Неужели проблема снобизма стоила того? Очевидно, что в конце романа Онегин полюбил не уездную Татьяну, а столичную знатную даму. Вопрос не в том, насколько сам Пушкин заразился снобизмом, а в том, зачем он отдал часть

своей гениальности для изображения самого антирелигиозного конфликта, какой только можно вообразить. Стоило ли посвящать Онегину целый роман? Тем более что подвиги молодого повесы уже были исчерпаны на нескольких страницах «Графа Нулина». Однако скептицизм и нигилизм сами по себе — не нуль и не бесполезный пустяк. Элементы сомнения в разных видах, даже периоды глубокого отрицания, более глубокого, чем вольтерианство, необходимы, без этого настоящий человек не может пробиться к реальности, к Богу. Не пройдя через пустыню отрицания, человек был бы осужден на вечное несовершеннолетие, пребывание в сумерках младенческой полуверы, полулицемерия, как сладкогласный Жуковский или Ламартин. Хорошо сомневаться во всех катехизисах и организованных религиозных системах и не доверять каждому озарению, какое, как нам мерещится иногда, мы получаем свыше. Начало и конец мудрости — это познать самого себя, свое сознание и подсознание. Тогда душа все открывает — каждый раз по-новому, проходя каждый день между Сциллой слепой веры и Харибдой слепого атеизма. Тайну, которую душа должна ежедневно открывать по-новому, можно выразить приблизительно так: истина и любовь — это одно и то же. Будучи выражено не в догмате, а в аллегорических стихах, это незаметно входит в жизнь, становится дыханием каждого дня.

Надо помнить, что мы, начиная с Блока, пользуемся словами, каких не было во времена Пушкина и Лермонтова. Они не нуждались в таких словах, как *анализ* и *синтез* или пришедшая из Индии *карма*. Мы отбросили многие слова Лермонтова, например, слово *мятежный*. Такие слова, как *томление*, *раздумье*, *блаженство*, нам кажутся бледными по причине их приблизительности. Подчинять ясность определения смутному ощущению, как делали ранние романтики, значит сводить, снижать поэзию, это — ослабление стиля и неуважение к жизни. Это не значит, что мы больше или сильнее Лермонтова или Эдгара По, но они жили в эпоху, когда казалось, что зло можно объяснить (демон? эгоизм?), а мы узнали, что принцип зла неуловим...

Роман, типичный для нашего века, — это не Онегин и Татьяна, а бракосочетание, соединение в одно Пространства и Времени, а теперь, что еще важнее, — Субъекта и Объекта. Но предчувствие об этом было у Пушкина.

(4)

— Вот увидишь, откажусь от этой чепухи, займусь делом.

— Но почему же? — не понимает собеседник. — Что же тут плохого?

— Видишь ли, Платон был прав, когда хотел изгнать всех поэтов из своей республики, сейчас этого не понимают или считают блажью философа. Что, на первый взгляд, опасного в том, что кто-то умеет выражать себя в песнях? И сам Платон считал, что красота и добро — это одно и то же. Но дело в том, что красота и поэзия — это вещи разные. Я ничего не говорю против отвлеченной, холодной античной красоты, в архитектуре, допустим. Но в стихах мы не можем не вскрывать, против своей воли, внутренний ужас нашего подсознания, всю эту борьбу, разочарования, колебания между огнем и холодом, то, что у других так запрятно, что они и не подозревают ни о чем, — разве что в ночных кошмарах, но кто их помнит при свете солнца? Мы же выпускаем этих демонов гулять на свободе, встречаться с себе подобными, будить их в чужих душах, разлагать... Мы, лирические поэты, поэты субъективного, всегда останемся несозвучными эпохе, и люди правильно делают, когда загоняют нас в подполье или доводят до дуэлей или до самоубийства. И чем лучше стихи, тем они опаснее. Яд, отравы, никакой пользы строительству жизни. Ну, у меня горе, очень жаль, но какое право я имею заражать им всех и каждого? Вагон мчится, пассажиры заснули, вдруг врывается нахал и начинает всех будить, нести свою померещившуюся ему околесину, скажем, о том, что через три минуты поезд полетит под откос. Ну и следует заткнуть ему глотку или выбросить на рельсы.

(5)

Из «Дневников»: «Я путешествовал в древнем Вавилоне, в Египте, в Китае и нигде не находил счастья. Мое сердце было пустыней, я жаждал восхищения, которое должна дать жизнь. (Но не жизнь в Китае, а сейчас, в Париже, около Place d'Italie.) Внутренняя революция начинается с языка: не надо принимать слова в их привычном значении, особенно такие слова, как *смех*, *плач*, *обида*, нужно найти язык, в котором все будет наоборот. Чтобы избежать застоя и гнили, надо каждое мгновение умирать и воскресать по-новому. Мешать воздвижению новых зданий на прежних фундаментах... Настоящая жизнь — это ничего не делать и ни в чем не быть заинтересованным, не

искать интересной выгоды... Как Николай Ставрогин, который не знал добра и зла, не считал, что такие понятия, как *справедливость*, или *красота*, или *уродство*, — неизменные свойства. Он узнал об этом не из китайских книг, которых, конечно, не читал, а из размышлений о самом себе... Читатели решат, что ты просто озорник. Так ты подведешь некоторых к безмолвию. Источник неба и земли есть Небытие, если его никак не назвали и не начали объяснять, что оно одновременно есть Бытие (ошибка Гегеля)».

(6)

«Флаги» вышли в свет в 1931 году, а следующий год был переломом в его духовном развитии. До тех пор он надеялся завоевать благодать напряжением молитвы. Думал, что благодатное разрешение не приходит, потому что он слаб, недотренирован, отсюда эта гимнастика: еще больше напряжения — и достигну. Не надо тратить силы на литературу — все на свете мешает молиться. Появлялась боль в голове, после того как он выдерживал 60 минут напряженной медитации. Казалось, что в самый важный момент, когда вот-вот все должно разъясниться, не хватает сил добежать, донести: слаб и ничтожен. «В отношении к Богу я так же перехамил, как и в отношении к людям, понадеялся на свои силы и забыл, что все дается от любви и милости других, не только от того, что сам даешь. Переоценил свои силы». Вот что он говорит в письме этого года: «Дело в том, что я пережил удивительно напряженный религиозный год, весь в молитве и трудах, но совершенно безблагодатный, и я вдруг понял: это не может мне помочь, Сам Иисус послал мне благодать, воплощенную для меня в человеке, в котором открылся мне ослепительный свет, самый яркий, самый теплый, который я видел в своей жизни».

И, как в подвиге молитвы (подвиг любви не легче), свет исчезает и следует долгая борьба за свет, надежда, восхищение, пропасть, непонятное исчезновение света, еще борьба, оцепенение, усталость, и тогда наступает в его отношениях с людьми период, считавшийся его друзьями изменой. Но тяжелее всего было самому ему от этих измен, им предшествовала долгая упорная борьба за свет, за благодать. Безблагодатность в молитве, безблагодатность в любви, какое отчаяние. И на переплетках тетрадей, на корешках книг — всюду находим записи: «*Ne pleure pas, la vie est terrible...*»¹ Из друго-

¹ «Не плачь, жизнь ужасна...» (фр.)

го письма: «Nous, moi et elle, devons encore traverser un vide énorme de ce que les anciens appelaient “la guerre dans le ciel”, avant de déposer les armes. Nous avons encore trop honte de Dieu et nous ne lui avons pas encore pardonné. Mais elle pardonnera la première et moi, ma rédemption se fera par le reflet de sa grâce»¹. Надежда на благодать через человека.

«Поплавский — прежде всего литератор...» — было сказано о нем. Может быть, может быть... так как все то, что писал он, — почти дневник. Но дневник все-таки для себя — без прикрас и даже, по свойственной ему диалектической манере, утрированный. Дневник, обнажающий автора, чуть-чуть садистский. «Зачем такой дневник, Борис?» (давно). — «Чтобы не впасть в соблазн всегда записывать свою “хорошую”, “прекрасную” личность, pour pouvoir contempler toute ma laideur»². <...>

Запись в дневнике 22 августа 1936 года: «Тереза, и грустная зависть непрерывности ее благодати сравнительно с моей нищетой. Le principal dans la mystique, c’est de toujours recommencer»³.

Пора совсем отказаться от писания стихов, да и эту музыку надо преодолеть. Почему? Потому что это все прелести (в богословском смысле). Музыка — прелесть. Стихи — прелесть. Книги — прелесть. За месяц до смерти (стоя, облокотившись о книжный шкаф и покоя на книгах руку): «Знаешь, все эти наши книги — ни к чему, я от своих хочу освободиться, ищу, кому бы подарить. Не нужно, ничего не нужно. И читать не хочется».

Он уже начинал достигать положительных результатов своей многолетней упорной аскетической борьбой, как будто одолел соблазны. Но как он смертельно устал: «Много знаю. А сердце жаждет смерти» — запись на обложке одной тетради. И жизни тоже жаждало это сердце, упорно сопротивлявшееся жизни.

Музыка преодолена. Последние стихи сжаты, обнажены, голы, без декораций словесных и музыкальных. Он уже не пишет стихов, еще пишет прозу (возмущение, протест еще за-

¹ «Мы, я и она, должны пройти еще огромную пустоту того, что древние называли “войной в небе”, прежде чем сложить оружие. Нам еще слишком стыдно перед Богом, и мы ему еще не простили. Но первой простит она, мое же искупление совершил я через отражение ее благодати» (фр.).

² Чтобы уметь созерцать все мое безобразие (фр.).

³ Основное в мистике — вечно начинать сначала (фр.).

ставляют его писать). Но он уже близок к тому, чтобы и от этого освободиться. Нищим должен предстать человек перед Христом. Не сразу к нищете приходит человек, сбросив лохмотья своих знаний, мыслей, ощущений, гордого ощущения всей силы своей личности: «Я, как все немцы, люблю все грандиозное, Kolossal¹, — пишет он в письме в сентябре 1932 года, — поражение в конце концов Люцифера перед Богом, поражение, после состязания в творении... я раньше всего дорожу своей силою судить Бога, и за это сам буду судим и расплачусь». <...>

«4 августа 1935 года. Бог дал мне 30 лет монастыря, чтобы я мог подготовиться или к гибели себя и своих книг, которую надо встретить, не замечая ее, учиться в сиянии совершенной радости, или к нападению тысячи женщин, вещей, успехов, не заметив их, учиться в сиянии Богу».

Так трагически в «ничто» вылился этот длительный «роман с Богом». <...>

¹ Грандиозно (нем.).

Николай Татищев
ИЗ СТАТЬИ «В СЕРЕБРЕ ПУСТЫНЬ»

Главной и единственной темой размышлений, писаний и разговоров Бориса был страдающий, убиваемый и почти непонятый Христос.

— Почему ты пишешь об этом непонятно? — спрашивали Поплавского.

— Потому что об этом нельзя прямо сказать, ни одного слова. Или тогда надо говорить обо всем о чем угодно, и между прочим об этом, что и делали некоторые, но выходило неубедительно... Говори все о том же, о любви и смерти, но об этом нельзя, стыдно открыто говорить, ни даже думать. Но и молчать тоже нельзя, хотя передать о самом главном легче в молчании, хорошим священникам это известно...

Потом, для стихов нужен опыт, надо найти свой звук, как для художника свой цвет. Тогда краска превратится в свет, засияет. Это довольно трудно, сразу не дается. Трудность в том, чтобы не ошибиться: что именно твое, какой цвет только тебя выражает. То же относительно линии — ничья рука не сможет ее провести — а в стихах и прозе твой звук. После того начинается рост, а до того — дилетантщина, игра, смутный проблеск.

...Для искусства тот же закон, как для подлинной жизни всякого человека, — найти свой настоящий путь. Этот путь тесен и для каждого свой — только ты сможешь по нему идти. В некоторых монастырях учили так: надо полностью исполнить хотя бы одну заповедь, жить только одним правилом. Остальное само приложится потом, ущерб не произойдет, напротив, все чудесно расширится... Как у Розанова: «Будь верен в дружбе и верен в любви, остальных заповедей можешь не соблюдать».

...К Центру ведут много дорог, ищи свою. Святой Франциск не сразу нашел святую бедность, сначала он понял буквально голос, услышанный во сне: «чини церкви» — и стал ремонтировать каменные храмы Умбрии.

— Церковь, — как-то сказал Поплавский, — это тот опьяняющий напиток, который иерусалимские жены давали распинаемым на крестах и который Христос не захотел пить.

«Не сдавайтесь перед фабрикой или канцелярией, — записывает Поплавский в дневнике, — боритесь, идите странствовать, ночуйте под мостами, питайтесь подающими»...

«Гленна жизнь без постоянного усилия. Плохо, когда обыватель размяк до такой степени, что вполне удовлетворен сво-

им прозябанием между сновидениями и бездарной работой... Синема да спанье, в воскресенье спать до обеда... И вам не стыдно? Нищенствуйте, блуждайте по дорогам, боритесь за дух, сидите под арестом... Нет, избавьте, нам бы наработаться, наупотребляться, избыть, излить жизнь и с глаз долой... Туда вам и дорога!»

«Нет такого греха, кроме гордости, куда Христос не имел бы доступа. Но постоянная, беспросветная гордыня, когда это случается? Никогда таких не встречал. Сила и слабость нашего (русского) религиозного сознания в том, что, изжив период “строительства на земле”, к сорока годам мы легко и для самих себя неожиданно вдруг отказываемся иметь дело только с мирским и переключаем свое упование на жизнь будущего века».

«Поэзия — это предлог ничего не делать, как материально, так и морально, потому что делание мутит воду, в которой что-то должно отражаться из высших миров» (Дневник).

— Ужасно люблю оккультную макулатуру, — говорит Борис, появляясь в кафе «Ротонда». — Вот унес у Зелюка книгу «Агни-Йоги». Шестьсот страниц барахла, но шесть стоящих. Что значит чушь (сердится он на возражение). Вспомни, что Блаватская писала об электричестве, это целое откровение! А все эти понятия — Кама-лока, астральный свет.. не ругай старуху... Много мы получили от нее в подарок, да и сами индусы тоже, вероятно...

КОММЕНТАРИИ

СТАТЬИ. РЕЦЕНЗИИ. ЗАМЕТКИ

За сравнительно короткий период — всего пять лет — Поплавский успел опубликовать три десятка статей, рецензий и заметок. Их можно разделить на две группы. Первая включает работы, посвященные религиозно-философским и литературным вопросам. О религиозной теме в творчестве Поплавского мы подробно говорим в комментариях к дневникам, здесь же остановимся на других излюбленных темах писателя — его рассуждениях о творческом процессе, о новой эмигрантской литературе, о живописи русских художников-авангардистов, о взаимоотношениях между личностью и обществом и, наконец, о назначении эмиграции.

Собранные вместе, замечания Поплавского о вдохновении, о сущности поэзии могли бы составить новый «art poétique», манифест молодой эмигрантской литературы. Но любой манифест, а значит, регламентация, система, были чужды поэту, предпочитавшему им вариации на одну музыкальную тему. По сути, статьи Поплавского, как и стихи, надо читать подряд, как единое целое, чтобы из многих штрихов родилась общая картина, некогда поэтом увиденная.

Есть две поэтики, считает Поплавский. Согласно первой, художник стремится к созданию эстетически совершенного произведения, отвечающего раз и навсегда заданным канонам, вполне сознательно облекает в прекрасную форму некую «идею», сформулированную им еще до начала творческого процесса. В результате возникает надуманное, аморфное произведение, которое Поплавский язвительно сравнивает с «мертвой ящерицей». Другую же поэтику характеризует отказ от «чистого искусства», художник должен подчинить свое творчество неким подсознательным силам, дионисическому началу, которое Поплавский, вслед за Ф.Ницше, противопоставляет началу аполлоническому, связанному с идеалом «надземного солнечного культа», воспеванием классической греческой красоты, замечательной, но застывшей. Подобное искусство статично. Дионисизм же — экстатический культ, иррациональное и вместе с тем динамическое начало: «Художник прав, лишь когда пифически, пророчески импульсивен относительно своего духа; он как бы мист подземного экстатического культа...»

Такое искусство музыкально: «Архитектура, живопись есть музыка остановленная, но все же не убитая, как бы *moteur immobile*¹, рождающий постоянно музыкальное движение» (Дневник. 16 марта 1929 г.); «Поэзия... есть песнь времени» (Там же. 22 марта 1929 г.). Поэт должен уметь прислушиваться к музыке времени, как это делал Блок, который «всегда чувствовал себя во власти, чисто во власти Рока». Только согласие человека с духом музыки делает его поэтом, утверждает Поплавский, «только дух музыки сообщает этой конструкции (“Незнакомке” Блока. — *Е.М.*) движение, колыхание, нарастание и скольжение, без которого стихотворение превращается в грубую энигматическую живопись, как иногда у Есенина» (Дневник. 22 марта 1929 г.). В таком стихотворении «отображенное превращается и изменяется, как живая ткань времени», в которой звучит «песнь будущего», «внутреннее становление, еще находящееся в возможности...».

Прислушиваясь к внутреннему — восходящему — звучанию времени, поэт помогает будущему вызреть и родиться. «Поэзия есть продолжающееся творение», — вслед за Шеллингом повторяет Поплавский и, возвращаясь к этой мысли в статье «Около живописи», развивает ее: «Как будто мир полон остановившихся, замерших по дороге к реализации ощущений природы, которая как бы не смогла выявиться до конца. Остановилась, не осилив сопротивления материи. <...> И вновь художник всему помогает, он помогает дереву таять в воздухе, цвести и сиять полдневному саду, зеленеть отражениям рек, он продолжает творение, он помогает Богу».

Рассуждая о творческом процессе, Поплавский замечает, что само решение творить не свободно. И прежде всего потому, что зависит от вдохновения. Кроме того, творчество художника полностью предопределено его личностью, прошлым, конкретными обстоятельствами, в которых он живет. Поэт обречен на «изображение своих навязчивых тем, непрестанных своих кошмаров». Полемизируя с Бердяевым, который называет искусство «максимумом свободы», Поплавский уточняет, что речь здесь идет о «строении сознательном и волевом». Однако художник нуждается в максимальной свободе, чтобы, как медиум, писать под диктовку «своего непостоянного демона». Ибо «в искусстве, — напоминает Поплавский, — всякая форсировка, всякий выход из пассивного — не творящего, а рождающего себя в красоте состояния, — тотчас же создает выдуманность и публицистический оттенок». Литературное произведение — это документ, вернее, отбор «бесчисленных текстов-документов, написанных бесконтрольно».

¹ Остановившийся двигатель (*фр.*).

В рецензии на книгу Ильязда «Восхищение» Поплавский замечает: «В настоящее время не принято как-то в эмиграции подробно останавливаться на достоинствах писателя как художника-изобразителя. Скорее рассматривается его религиозно-моральное содержание, и симпатии критика склонны идти в сторону менее талантливого произведения, но более глубокого».

Автор же «Флагов», в противовес мнению, царившему в эмиграции, считает, что хорошее описание может быть таким же глубоким, как и «прямые рассуждения на “вечные темы”». В самом деле, пафос утилитаризма столь же чужд Поплавскому, как и пафос «чистого искусства». Не зря в статье «О смерти и жалости в “Числах”» он подтверждает, что молодые писатели отошли от обеих этих точек зрения, согласно которым цель искусства, по сути, находится вне самого искусства. В глазах Поплавского ценность романа Зданевича — в создании особого фантастического мира, не существующего в действительности, но тем не менее закономерного и реального в рамках романа. Это достигается не просто введением «этнографического» описания, но построением особой — воображаемой — Вселенной, что удается лишь подлинным художникам.

По убеждению Поплавского, молодая эмигрантская литература — достойная преемница русской литературы XIX в. Именно она провозгласила: активное утверждение любви и солидарности — «мистической жалости» — единственно возможного способа борьбы с большевистской жестокостью. Нельзя забывать, повторяет Поплавский, любимую мысль Ф.М.Достоевского о том, что «страдание абсолютно, и смерть единого человека зачеркивает всю красоту мироздания, со всеми его закатами и звездами», и поэтому новому инквизитору надо противопоставлять «воинствующее добро». Следовательно, молодые писатели не мисты некоего «культга смерти» и «не разлагаются заживо», как полагает критика позитивистского толка, а, напротив, являются борцами за права личности: «Нужно бороться, может быть, даже некультурными средствами, нужно среди грохота кричать о своем».

Этой «стоической бодростью», этим духом сопротивления молодая эмигрантская литература резко отличается от произведений «эмигрантщины», не устаивающих внимания личную жизнь, которая приносится в жертву «общему делу», «общественности», в чем Поплавский усматривает склонность к вавилонскому принципу — деспотизму. Именно это позволяет ему утверждать, что большевизм — детище русского мистического социализма, которым с давних пор подпитывалась отечественная литература. В статье «Человек и его знакомые» Поплавский высказывает по этому поводу мысли, весьма схожие с рассуждениями Бердяева (см.: «Русская идея», «Истоки и смысл русского коммунизма»):

«Напрасно вы думаете, большевизм вовсе не такое поверхностное явление для России, ибо не только он уже был в писаревско-добролюбовском предпочтении хорошо сшитого сапога Венере Милосской, но и в страстном радикализме Толстого он уже был, да и вообще в глубоко свойственном русским желании свести христианство только к христианской морали, все это ошибка масштаба, назначение которой привести человека в “темную ночь” святого Жуана де ла Круа. После которой, т.е. после полного, предельного разочарования во всяком “позитивном” счастье, только и начинается религиозная жизнь».

Марксизм же, выдвинувший на первый план тезис о «борьбе за выгоду», а также мысль о том, что экономическое бытие определяет сознание, привел к извращению «по существу верной вещи, а именно русского мистического социализма». По свидетельству Фельзена, Поплавский одно время увлекался марксизмом (правда, в его интерпретации, близком к «божественному коммунизму» св. Франциска и его учеников), и это увлечение отразилось в его набросках к докладу о книге Г.Иванова «Петербургские зимы». Не следует забывать также, что поэт считал себя «парижским пролетарием» и в статье «Среди сомнений и очевидностей» писал: «Эмигранты родились в буржуазном мире и знают его земную сократическую глубину. Но они на опыте, а не из брошюр знают, что такое эксплуатация и какой ценой можно лишь защитить свою духовную жизнь».

Именно в социальной несправедливости, в эксплуатации рабочего Поплавский усматривает причину будущего поражения Европы, ибо она выбрала «строй, породивший предстоящий ужас». Поплавский предупреждает об опасности, которую представляют и люмпен «новой» германской Европы, «героизированной войной», и рожденный в Стране Советов «пятилетний комсомолец» (ибо в двадцатилетнем возрасте он «несомненно попробует свою несравненную техническую силу и свою новую антихристианскую мораль, разрешающую всякое насилие над “старым миром”»). Писатель задается вопросом: «И будем ли мы укреплять дух человека улицы, дабы он шел на смерть в облака смердящего газа за “священный капитал” Коти и за “третью империю” Гитлера-Круппа?» Вывод, к которому он приходит, удручающ: Запад, как и Советская Россия, отдал предпочтение материальным ценностям, и в этом его трагическая ошибка.

В каждом человеке, считает Поплавский, живут жажда симметрии и порядка и противоречащее ей стремление к свободе и творческой раскрепощенности. Первая тенденция воплощается в «Новой Ассирии» или в «Новом Вавилоне» — тоталитарном государстве, где монументальная архитектура символизирует власть, которой подчиняются обезличенные массы. Этой «мертвой скуке

небесной симметрии», в которой заключен принцип будущего разложения, Поплавский противопоставляет «хаотическую свободу», произвол личной инициативы и творческого индивидуального начала.

Подобно многим творческим ровесникам, Поплавский довольно долго не мог выбрать между живописью и поэзией. Остановившись наконец на поэтическом ремесле (после слов К. Терешковича о том, что из него никогда не выйдет хорошего художника), он, тем не менее, всю жизнь продолжал рисовать «для себя», дружил с художниками.

Можно заметить, что не один Поплавский пребывал в нерешительности по отношению к выбору своего истинного призвания.

Художник Лев Зак (сводный брат философа Семена Франка) рассказывал, что, будучи студентом филологического факультета Московского университета, он посещал художественные студии и одновременно увлекался поэзией. Вместе с поэтом Шершеневичем Зак издавал и редактировал журнал «Мезонин поэзии», куда помещал свои собственные стихи, подписывая их псевдонимом Россиянский, и прозу, обратившую на себя внимание Маяковского и Пастернака. Окончательный выбор был сделан лишь в силу тяжелых условий эмиграции, когда создавать декорации или костюмы для балетов оказалось занятием более надежным, чем писать стихи.

Другой художник, Сергей Шаршун, также приехал во Францию (1912), чтобы изучать живопись. Однако, окончательно поселившись в Париже в 1920 г., он примкнул к французским дадаистам и, судя по рецензиям из журналов, именно тогда стал выступать как поэт и литератор. Роман Шаршуна «Долголиков», который ему удалось опубликовать полностью лишь в 1961 г., был известен читателям «Чисел» — правда, отрывочно — с 1913 г. Шаршун — «единственный русский дадаист», по словам его общего с Поплавским друга Б. Сосинского, «человек редчайшей счастливой судьбы: через 60 лет нишей богемной жизни еще при жизни Шаршун добился мировой славы» (незадолго до смерти художника в Париже состоялась крупная выставка его картин).

Ильязд — Илья Зданевич, «поэт-заумник», вместе с братом Кириллом и художником Ле-Дантю «открывший» грузинского примитивиста Пиросманишвили, долгое время исполнял каллиграфические украшения по ткани для Сони Терк-Делоне, а затем десять лет работал художником по ткани.

Вообще нельзя забывать, что авангардные течения начала века стремились стереть границы между различными видами искусства. Это стремление было живо в начале эмигрантского периода, пока энергия «артистической братии» еще не растратилась в изнурительных поисках хлеба насущного. Например, на вечере Сергея

Шаршуна под названием «Дада Лир Кан», устроенном 21 декабря 1921 г. «Палатой поэтов», выступали французские поэты-дадаисты (впоследствии называвшие себя «сюрреалистами») Луи Арагон, Андре Бретон, Поль Элюар, Филипп Супо и американский дадаист Ман Рэ. На вечере также исполнялась «музыка-дада». Сергей Шаршун читал доклад о дадаизме, а Валентин Парнах представлял «графические танцы»...

Вспоминая это время, Бронислав Сосинский пишет: «Художника Амедео Модильяни я в Париже уже не застал в живых: опоздал года на два, когда приехал из Берлина. Но зато Борис Поплавский познакомил меня с целым рядом его друзей. Боже, сколько имен, и каких: Тристан Тцара, шеф дадаистов; Сутин — Достоевский в живописи; Фужита — гордость Японии; Ларионов, создавший тогда у Дягилева чудеса декоративного искусства; Мане-Кац, ставший первым художником Израиля; наконец, Минчин, безвременно погибший гений. Они все были влюблены в Амедео и с трепетом произносили его имя» (Конурка // Вопр. лит. 1991. № 6. С. 176).

Поплавский также посещал выставки своих друзей и писал о них рецензии. Сосинский называет поэта «талантливым искусствоведом: его статьи в альманахе “Числа” о Марке Шагале, Сутине, Терешковиче, Минчине, Фужита, Юрии Анненкове, Ларионове, Гончаровой навсегда остались в истории мирового искусствоведения».

Эти статьи действительно поражают проявлением безошибочного вкуса и меткостью суждений. Они отличаются тонкостью восприятия, как бы вживания их автора в разбираемые полотна. Поплавский умел определять самое существенное в творчестве того или иного художника.

Увлечение живописью отразилось и на поэтическом творчестве Поплавского. В его поэзии, по выражению В.Варшавского, «магически расцветает сюрреалистическая и фра-анджеликовская живописность метафор» (Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 211). Ходасевич, анализируя манеру писания стихов Поплавского, замечает: «Поплавский идет не от идеи к идее, но от образа к образу, от словосочетания к словосочетанию — и тут именно, и только тут проявляется вся стройность его воззрений...» (Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 242). Зато Глеб Струве, не любивший Поплавского, ставит ему эту живописность в упрек: «Но сюрреалистический мир Поплавского создан “незаконными” средствами, заимствованными у “чужого” искусства, у живописи (что Поплавский, в сущности, поэт не музыкальный, а живописный, было кем-то из критиков отмечено: наиболее сильное влияние на Поплавского оказала новейшая живопись — кто-то сравнил его стихи с картинами Шага-

ла...)» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 339).

Некоторые образы «Флагов» действительно напоминают Шагала, но другие — «башни», «колоннады», «статуи», а иногда даже и целые стихотворения, например «Римское утро», — навеяны атмосферой картин де Кирико. В стихотворении же «Homage a Pablo Picasso» («В честь Пабло Пикассо») Поплавский описывает поэтический мир полотен испанского художника, посвященных цирку.

В «Аполлоне Безобразове» Поплавский прямо называет некоторых из самых своих любимых художников: «...Безобразов показал нам свою картинную галерею, или длинную комнату, в которой не было ни одной картины, и только на задней стене, перед которой стоял покрытый пылью стул, висели прикрепленные кнопками репродукции трех луврских картин Леонардо да Винчи, Клода Лоррена и Гюстава Моро, двух рисунков Пикассо и одного пейзажа де Кирико, изображающего огромное здание с черными окнами».

Самому Поплавскому, в отличие от Аполлона Безобразова, удалось собрать «настоящую» коллекцию, где были представлены уже известные в то время художники-авангардисты, в основном знакомые или друзья поэта. О ней мы знаем благодаря объявлениям из газет, извещавшим о ее распродаже, устроенной после смерти поэта с целью собрать деньги для издания его стихов. Как же нищему Поплавскому удалось собрать такую коллекцию? Вероятнее всего, он обменивал свои собственные полотна на картины друзей, покупал их за гроши или получал в подарок (часто в знак благодарности за отзывы или рецензии). Статьи об изобразительном искусстве Поплавский стал публиковать с появлением «Чисел», уделявших большое внимание всем видам искусства.

Именно «Числа» стали своего рода духовным средоточием эмиграции, зародышем того тайного ордена, о котором мечтал Поплавский: «Может быть, Париж — Ноев Ковчег для будущей России. Зерно будущей ее мистической жизни, Малый Свет, который появляется на самой высокой вершине души и длится не более половины одного *Ave*». Миссия этой «общины друзей» — не просто выжить физически, если над Европой снова повиснет мрак и за «грехи имущих начнется организованный расстрел на двадцати фронтах», но выстоять духовно, и для этого необходимо, отстранившись от окружающего хаоса и мрака, полностью уйти в апокалипсическое искусство, чтобы, когда минет гроза, проповедовать, организовывать новые общины, насаждать «божественный коммунизм» св. Франциска Ассизского: «Вновь посеять древние семена, возродить сперва тайные союзы, немногочисленные секты; потом, двенадцать часов “ударно” работая, — петь

гимны и псалмы; уничтожаемые, но непреклонные, — вынести вновь на свет наше абсолютное утверждение Свободы и Духа».

О судьбах России (с. 7). — Рукописный текст этого доклада, прочитанного, как значится на титульном листе, в 1921 г. в Константинополе, вероятно в «Маяке», — был обнаружен Е. Менегальдо в архиве Поплавского. Он интересен прежде всего как свидетельство о душевном настрое автора в первые месяцы эмиграции. В докладе народнические идеи облачаются в футуристическую фразеологию, заметно и увлечение юного Поплавского «Заратустрой» Ницше. Пафос и надрыв «под Маяковского» — то, что Адамович назовет «истерикой» Поплавского, — будет звучать затем и в более поздних, парижских статьях и докладах, правда, уже гораздо более приглушенно. К теме, затронутой в этой статье, Поплавский будет возвращаться неоднократно. В дневнике за 15.4.1929 он запишет: «...вторая русская революция была-таки народным явлением. Внешне в вопросе о земле и мире, внутренне в чем-то, что понял Блок, и согласным со всем музыкальным строем русской литературы и культуры». См. также статьи «В поисках собственного достоинства», «Среди сомнений и очевидностей».

О русской выставке в Берлине (с. 10). — Эта неоконченная статья Поплавского была обнаружена в архиве Николая Дмитриевича Татищева С.А.Карлинским и опубликована им в 1974 г. в английском переводе (Poplavsky B. Unpublished Notes. Introd. by S.Karlinsky and annot. by J.-C.Marcadé // Art International: The Lugano Review. 1974. Vol. 18, N°5. P. 62—65). Оригинал статьи после публикации пропал, и лишь недавно ксерокопия рукописи была обнаружена в архиве Ж.-К.Маркаде, французского слависта и крупного специалиста по русскому авангарду. Составители выражают ему признательность за возможность опубликовать этот текст в настоящем издании.

К концу 1922 г. Поплавский вместе с Константином Терешковичем, в то время участником журнала «Удар» (издавался в 1922—1923 гг. в Париже С.М.Ромовым), уехал из Парижа в Берлин. «Ударники» занимали просоветскую позицию, желая сблизиться с московскими группами «Маковец» и «Леф», и, естественно, приветствовали Первую выставку русского искусства, которая открылась в Берлине в октябре 1922 г. в галерее Ван Димена на Унтер-ден-Линден (откуда затем переехала в Амстердам). Выставка была организована в пользу голодающих России отделом изобразительных искусств Народного Комиссариата просвещения (ИЗО Наркомпроса), во главе которого стоял художник Давид Штеренберг. Желая ознакомить Запад, в те годы особенно ценив-

ший мирискусников и русский фольклор, со всем богатством и многогранностью русского изобразительного искусства, организаторы выставки представили очень широкий спектр художественных течений — от передвижников до нового, авангардного искусства.

Неизвестно, отправились Поплавский с Терешковичем в «третью русскую столицу» по собственной инициативе или по поручению редакции «Удара». Возможно, он писал свою статью, рассчитывая на публикацию в журнале. Желая из первых рук получить информацию о новых тенденциях в русском изобразительном искусстве, Поплавский интервьюирует Натана Альтмана, одного из организаторов выставки, и присутствует на докладе Ивана Пуни «Современное искусство и выставка в Берлине». Доклад вызвал ожесточенные споры между В.Маяковским и Андреем Белым (позднее эти споры нашли свое отражение в докладе Маяковского «Что делает Берлин»), а также другими участниками вечера (Н.Альтман, Д.Штеренберг, Эль Лисицкий, Н.Габо, М.Осоргин, П.Муратов, В.Ходасевич, В.Лурье, А.Бахрах и др.). Публика разделилась на два лагеря — «беженцев» и представителей советской России. Столь бурная реакция объясняется тем, что воинствующий авангардист Пуни стал нападать на своих соратников В.Татлина и К.Малевича, утверждая, что «в русском беспредметничестве “танцевали” только первые вещи, только первые, вот тот Малевич квадрат, еще несколько — и затем ничего. Затем триста тыщ комбинаций из одного круга и пары квадратов». Докладчик заявил, что вчерашние открытия превратились в прием, что революционное искусство «переходит в новый академизм». Пуни предостерегал против стандартизации, конвейерного способа создания произведений искусства и провозглашал реабилитацию предмета, станковой живописи и художника как личности. Он считал, что эпоха кубизма миновала, что мода на супрематизм грозит ему перерождением, что необходим поиск новых форм и в этом направлении надо следовать примеру Пикассо.

Поплавский, не слишком посвященный в перипетии авангардного искусства на родине, все же сумел уловить смысл полемики и оценить парадоксальную манеру И.Пуни. Его заметки могут служить своеобразным комментарием к докладу художника, опубликованному год спустя. В своей статье Поплавский уделяет большое внимание вопросам композиции и фактуры и упрекает, порой справедливо, некоторых авангардистов в чрезмерном эпатаже. Несмотря на некоторую предвзятость к «левацкому» (в художественном, а не политическом смысле) искусству, Поплавский тщательно описывает работы всех направлений, отмечая в первую очередь их качество.

С. 10. *Альтман Натан* Исаевич (1889–1970) — художник, скульптор и график. Учился в Одесском художественном училище. В 1910–1911 гг. во время пребывания в Париже посещал Русскую академию Марии Васильевой и присоединился к сообществу русских живописцев и скульпторов в знаменитом «Улье» (А.Архипенко, Х.Сутин, М.Шагал). В середине 1910-х гг. создал серию блистательных живописных и графических композиций, среди которых самая знаменитая — портрет Анны Ахматовой, написанный в 1914 г. в Петербурге (об этом холсте Ахматова упоминает в «Эпических мотивах»). Альтман, одним из первых в России использовавший кубистические приемы, сыграл значительную роль в организации выставки, о которой идет речь в статье Поплавского. В 1928–1935 гг. он жил и работал в Париже, затем — уже безвыездно — в Ленинграде. К концу 1930-х гг., по понятным причинам, слава его тускнеет. Художник создает декорации для театра и иллюстрирует книги.

С. 11. *Архипов* Абрам Ефимович (1862–1930) — живописец. Учился в МУЖВЗ (Московском училище живописи, ваяния и зодчества) у В.Перова, А.Саврасова, В.Маковского и В.Поленова. В 1890 г. примкнул к передвижникам, в 1903 г. — к «Союзу русских художников». Уделял большое внимание фактуре, ритму и свету, даже в самых дидактических своих картинах. Архипов занимает значительное место в истории пленэрной живописи конца XIX в.

Малявин — в каталоге выставки его работы не значатся.

Туржанский Леонард Викторович (1875–1945) — художник-передвижник.

Жуковский Станислав Юлианович (1875–1944) — живописец, свои работы выставлял от «Союза русских художников».

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) — живописец, сценограф. С 1910 г. — постоянный участник выставок «Мира искусства». В своих картинах и театральных постановках с любовью воссоздавал жизнь купеческой Москвы и провинциальных городов; особенным успехом пользовались его декорации к пьесам А.Н.Островского.

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1968) — живописец, театральный художник, заслуженный деятель искусств России (1928). Входил в объединения «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза». Его ранняя живопись — мир смутных оккультных видений в соединении с восточной экзотикой. Нередко отдавая предпочтение темпера перед маслом, часто достигал в станковой картине эффекта фрески. Сумел сохранить творческое лицо и в постреволюционный период.

Якулов Георгий Богданович (1884–1928) — художник, сценограф, теоретик искусства. В 1917–1918 гг. оформил интерьер арти-

стического кафе «Питтореск», где впервые применялись принципы, предшествовавшие конструктивизму.

Филонов Павел Николаевич (1883–1941) — художник, сценарграф, теоретик искусства. Активно участвовал в выставках «Союза молодежи». В 1911–1912 гг. путешествовал по Италии и Франции. В 1914–1915 гг. иллюстрировал футуристические издания. В 1925 г. он создает Коллектив мастеров аналитического искусства (МАИ, Школа Филонова), в 1929 г. публикует «Декларацию “Мирового расцвета”». Утверждал, что картина, созданная по «принципу сделанности», будет продолжать «расти» уже без помощи мастера.

Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) — живописец, театральный художник, по словам А.М.Эфроса — первый русский импрессионист. В 1885–1900 гг. оформил для мамонтовской Частной оперы спектакли «Снегурочка» (по эскизам В.Васнецова), «Псковитянка», «Садко» (совм. с Малютиным и Врубелем), «Хованщина», «Князь Игорь» и др. С 1900 г. — постоянный художник Московского Большого театра. Всего за свою жизнь Коровин оформил 80 опер, 37 балетов и 17 драм. В 1923 г. эмигрировал из советской России и обосновался в Париже. В 1920-х гг. работал в различных эмигрантских театральных труппах, но без особого успеха.

С. 12. «*Мир искусства*» — первоначально группа, объединявшаяся вокруг одноименного журнала в Петербурге под ред. С.П.Дягилева (А.Н.Бенуа, Л.Бакст, К.Сомов, Е.Лансере, Д.Философов и др.). Под этим названием устраивались и выставки. В 1910 г. Бенуа, Сомов и Н.Рерих организовали новое художественное общество с тем же названием. В 1916–1917 гг. в «Мир искусства» влилось ядро «Бубнового валета». В 1920-е гг. почти все учредители общества эмигрировали; Бакст и Бенуа участвовали в Дягилевой антрепризе. Последние выставки «Мира искусства» состоялись в Ленинграде (1924) и Париже (1927).

Сарьян Мартирос (1880–1972) — армянский живописец. Родился в семье богатого землевладельца. В 1904 г. окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (среди его наставников были В.Серов и К.Коровин). В 1910, 1911 и 1913 гг. посетил Константинополь, Египет и Иран, в 1926–1928 гг. — Париж. До октябрьского переворота 1917 г. жил преимущественно в Тифлисе и Москве, с 1921 г. обосновался в Ереване. Участвовал в выставке «Голубая роза» (1907), а также в выставках «Союза русских художников» и «Мира искусства». В своей живописи творчески продолжил традиции символизма.

«*Бубновый валет*» — первоначально название футуристической выставки, устроенной в Москве в декабре 1910 — январе 1911 г. Д.Бурлюком, М.Ларионовым, Н.Гончаровой, А.Экстер, В.Бартом

и др. С 1911 г. — общество художников, где ведущую роль играли П.Кончаловский, И.Машков и А.Лентулов.

Ларионов Михаил Федорович (1881—1964) — живописец, график, сценограф, теоретик искусства. Участник и организатор большинства авангардных выставок, в том числе в таких известных, как «Бубновый валет» (1910), «Ослиный хвост» (1912), «Мишень» (1913). В 1913 г. он опубликовал книгу «Лучизм» — манифест нового беспредметного искусства, которое пропагандировал и в своем творчестве. В 1914 г. в Париже в галерее Поля Гийома состоялась выставка Ларионова и Н.Гончаровой, предисловие к каталогу которой написал Г.Аполлинер. В 1915 г. Ларионов покинул Россию и навсегда поселился в Париже. В 1915—1930 гг. он работал для антрепризы С.Дягилева. Активно занимаясь графикой и станковой живописью, всю жизнь оставался верен духу авангарда.

Гончарова Наталия Сергеевна (1881—1962) — живописец, график, сценограф, художник прикладного искусства, жена М.Ларионова. Представительница русского авангарда, она участвовала во всех экспериментах, полностью изменивших лицо искусства в начале XX в.: после недолгого увлечения импрессионизмом и кубизмом обратилась к примитиву, а с 1911 г. вместе с Ларионовым, теоретиком лучизма, экспериментировала и в этом направлении. Активно помогала мужу в организации на шумевших выставок «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень». С 1913 г. стала работать для антрепризы С.Дягилева (оформила спектакли «Золотой петушок», «Русские сказки» и др.). В 1930—1940-х гг. исполняла эскизы декораций и костюмов для многих театров Европы и США, продолжая заниматься и станковой живописью. Ее работы выставлялись на персональных выставках в крупнейших европейских городах и в Нью-Йорке, а также в Париже — на Осеннем салоне, салонах Тюильри и Независимых.

Архипенко Александр Порфирьевич (1887—1964) — скульптор. В 1908 г. поселился в Париже, где общался с художниками, жившими в «Улье». Познакомившись с новыми течениями в искусстве, увлекся кубизмом и стал применять его в скульптуре. В 1921—1923 гг. жил в Берлине, где открыл свою школу. В 1923 г. переехал в США, стал американским гражданином, однако продолжал выставлять свои работы в Европе, как это видно из статьи Поплавского «Русские художники в салоне Тюильри».

С. 13. *Кончаловский Петр Петрович* (1876—1956) — живописец. В 1908 г. выставлял свои работы в Париже в салоне Независимых и в Осеннем. Один из главных представителей сезаннизма среди членов «Бубного валета».

Машков Илья Иванович (1881—1944) — живописец, один из организаторов «Бубного валета», председатель «Мира искусства» с 1917 г. Сторонник умеренного неопримитивизма. Автор «неис-

товых» полотен, в свое время шокировавших публику (см. «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского»).

Фальк Роберт Рафаилович (1886—1958) — живописец. Учился в мастерской К.Юона и И.Машкова, а в 1905—1910 гг. — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у К.Коровина и В.Серова. В 1910—1911 гг. путешествовал по Италии. Один из организаторов «Бубнового валета», участник объединения «Мир искусства» (с 1911 г.). В 1918—1928 гг. преподавал во ВХУТЕИНе в Москве. В 1928—1938 гг. жил в Париже (в 1928 г. выставлялся в Осеннем салоне). Затем вернулся в Москву.

Малевич Казимир Северинович (1878—1935) — живописец, сценограф, график. В 1913 г. в Уусиниркко (Финляндия) организовал Первый всероссийский съезд футуристов (вместе с А.Крученых и М.Матюшиным) и создал эскизы декораций и костюмов для кубофутуристской оперы «Победа над солнцем» (Петербург). Участник выставок авангардистов, автор ряда манифестов, где поясняет свое кредо: «От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм» («Супрематизм», 1919; «О новых системах в искусстве», 1920; «От Сезанна до Супрематизма», 1921; и др.). В 1919—1922 гг. Малевич преподает в Витебском художественно-практическом институте, участвует в организации Уновиса (Утвердители Нового искусства), с 1923 г. возглавляет Гинхук. Применяя принципы супрематизма к архитектуре, изобретает «архитектоны», «планиты» и «земляниты». В 1927 г. в Варшаве и Берлине прошли его персональные выставки.

Лисицкий Эль (наст. имя Лазарь Маркович; 1890—1941) — архитектор, график, типограф. Вслед за К.Малевичем разрабатывал супрематистскую систему, отвергая свойственные Малевичу мистические элементы. В 1917 г. принимал участие в выставке «Мир искусства» в Петрограде. В 1918 г. стал членом отдела ИЗО Наркомпроса; в 1918—1920 гг. преподавал в Витебской народной художественной школе и работал вместе с Малевичем над «проунами» (проектами утверждения нового). В 1922 г. опубликовал в Берлине книгу «Про два квадрата» — своеобразную «библио-конструкцию»; вместе с И.Эренбургом издавал журнал «Вещь/Gegenstand/Objet». В 1923 г. оформил «зал проунов» для Большой Берлинской художественной выставки. В 1925 г. вернулся в Москву, преподавал во ВХУТЕИНе, работал как книжный дизайнер и оформитель различных выставок.

Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943) — живописец, сценограф. С 1910 г. примыкает к «Бубновому валету». В 1911 г. путешествовал по Италии и Франции, учился в Париже у Анри Ле Фоконье. Через год выставил свои первые футуристические работы. В 1913 г. выработал стиль, напоминающий эксперименты четы Делоне: см. изломанность линий и цветовую гамму его знаме-

нитой картины «Василий Блаженный». В 1914 г. создал декорации к трагедии Маяковского «Владимир Маяковский» (так и не увидели свет). В 1919 г. оформил постановку «Виндзорских проказниц» В.Шекспира в Московском Камерном театре. После революции преподавал в Москве в ГСМХ, ВХУТЕМАСе, ВХУТЕИНе, МИИИ, принимал участие в камерных и экспериментальных постановках, в том числе инсценировал «Незнакомку» А.Блока в кафе «Питтореск». В конце 1920-х гг. перешел к натуралистическому традиционному стилю.

С. 14. *Удальцова* Надежда Андреевна (1885–1961) — живописец, одна из «амазонок» русского авангарда. Вместе с Л.С.Поповой изучала принципы кубизма под руководством Ле Фоконье и Метценже в Париже перед Первой мировой войной, затем под влиянием К.Малевича занялась супрематистскими изысканиями. Участница многих авангардных выставок: «Бубновый валет», «Трамвай В», «0,10». В 1917–1918 гг. вместе с Якуловым и др. работала над оформлением интерьера кафе «Питтореск» в Москве. Участвовала в Первой выставке русского искусства в Берлине, перешла затем к более реалистической манере.

Экстер (урожд. Григорович) Александра Александровна (1882–1949) — живописец, график, участница выставок русских авангардистов «Союз молодежи», «Венок-Стефанос», «Бубновый валет» и др. В своем творчестве отдала дань импрессионизму, кубизму, футуризму, конструктивизму.

Пуни Иван (Жан) Альбертович (1894–1956) — живописец. Как и многие русские художники, Пуни побывал в Париже незадолго до Первой мировой войны, увлекался кубизмом, выставлял свои работы в салоне Независимых. Вернувшись в Россию, вместе с женой К.Богуславской организовал выставку «Трамвай-В» и «Последнюю футуристическую выставку “0’10”». Участвовал в выставке «Бубнового валета» (1916), увлекался беспредметным искусством. После октябрьского переворота 1917 г. преподавал в Витебском художественном училище. Эмигрировал из России в 1919 г. С 1923 г. поселился в Париже. Отойдя от беспредметничества, стал писать натюрморты, интерьеры, парижские пейзажи в духе импрессионизма, а после Второй мировой войны еще раз изменил манеру письма, перейдя к чистым цветам и упрощенным формам.

«*Общество молодых художников*» (1919–1922) — настоящее название общества «Обмоху», а не «Обмолоху», как ошибочно пишет Поплавский. «Обмоху», созданное учениками московских «свомасов» (свободных мастерских, заменивших прежние структуры — художественные академии и пр.), имело целью производство материала для пропаганды — плакатов, транспарантов и т.д.

Габо Наум (наст. имя и фам. Неemia Абрамович Певзнер; 1890—1977) — скульптор, график, теоретик искусства. Брат живописца и скульптора Антона Певзнера. С 1912 г. жил в Европе. В 1915 г. исполнил первые кубистические скульптуры — бюсты и головы из металла. В марте 1917 г. вернулся в Россию. В 1920 г., в связи с проводимой в Москве выставкой работ Габо, А.Певзнера и Г.Клуциса, составил и издал вместе с А.Певзнером «Реалистический манифест», положивший начало конструктивизму. В 1919—1922 гг. создал ряд эскизов кинетических предметов, а также проект радиостанции и др. В 1922 г. выехал в Берлин вместе с Первой русской художественной выставкой. В 1924 г. вместе с братом выставлялся в Париже — в галерее Персье. В 1927 г. братья работали над декорацией и костюмами к балету А.Сюге «Кошка» для антрепризы С.Дягилева. С 1932 г. поселился в Париже, стал одним из организаторов группы «Абстракция—Созидание». В 1936 г. переехал в Англию, затем в США.

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953) — художник, график, сценограф. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у К.Коровина и В.Серова. В 1908—1911 гг. сблизился с братьями Д. и В. Бурлюками, М.Ларионовым и другими художниками-авангардистами. В 1912 г. был участником выставки «Ослиный хвост» в Москве. С 1914 г., после поездки в Берлин и Париж, стал создавать свои первые рельефы и контррельефы, которые экспонировались на выставке «Трамвай В» (Петроград, 1915). В 1919 г. начал работу над моделью памятника-башни III Интернационала; в 1923 г. оформил постановку «Зангези» Велимира Хлебникова в Петрограде — всего оформил свыше 80 театральных постановок. В 1929—1932 гг. разработал проект планера «Летатлин». Стремился к созданию нового, объемного искусства, основывающегося на «материале, объеме и конструкции», но в 1930-е и 1940-е гг. перешел к фигуративному искусству.

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967) — живописец и литератор, один из идеологов футуризма, основатель поэтической группы «Гилея». При его участии были организованы выставки «Стефанос» (Москва, 1907/1908; Санкт-Петербург, 1909), «Звено» (Киев, 1908), 1 и 2-й «Салоны» В.Издебского (1909—1911), «Союз молодежи» (Рига, 1910; Санкт-Петербург, 1911), «Бубновый валет» (Москва, 1910—1911). Бурлюк — участник знаменитой выставки В.Кандинского «Синий всадник» (1911), выставок «Штурм» (вместе с В.Кандинским, 1910—1914) и «Кубофутуризм» (вместе с В.Маяковским, 1911). Организатор футуристских перфоманс — с вызывающей одеждой и не менее вызывающими воззваниями. Один из авторов сборника «Пощечина общественному вкусу» (1912) с одноименным манифестом футуристов, призывавшим «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого... с Парохода со-

временности...». С 1920 г. Бурлюк в эмиграции. Обосновался в США, где продолжал заниматься литературой и живописью, создавая как примитивистские работы, так и декоративно-экспрессивные. В 1930–1960-е гг. вместе с женой издавал журнал «Цвет и рифма».

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) — живописец, график, поэт, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства, автор экспрессивных, динамичных композиций, построенных на сочетании красочных пятен и ломаных линий. В 1910 г. он исполнил первое абстрактное произведение, «Автохарактеристика», и написал трактат «О духовном в искусстве»; через год организовал объединение немецких экспрессионистов «Голубой всадник». С 1913 г. сотрудничал с берлинским объединением «Буря». В начале Первой мировой войны вернулся в Москву. После октябрьского переворота активно включился в общественную деятельность, участвовал в организации Института художественной культуры (ИНХУК). В 1921 г. с разрешения Наркомпроса уехал в Германию, преподавал в Баухаузе. В 1920-е гг. художник достиг всемирного признания — его персональные выставки прошли во многих странах Европы и США. После закрытия нацистами Баухауза (1932) Кандинский переехал в Берлин, а оттуда в конце 1933 г. — во Францию, где жил до самой смерти.

С. 15. *Штеренберг* Давид Петрович (1881–1948) — живописец и график. В 1918 г. был комиссаром искусств в Петрограде. Председатель Общества станковистов. Писал лапидарные по композиции, выразительные натюрморты.

Родченко Александр Михайлович (1891–1956) — художник, график, скульптор, фотограф, один из столпов конструктивизма. В 1917 г. вместе с Татлиным, Якуловым и др. оформлял интерьер кафе «Питтореск» в Москве. В 1918–1921 гг. работал над пространственными конструкциями, экспериментируя с тремя измерениями и находя новаторские решения. Сотрудничал в журналах «ЛЕФ» (1923–1925) и «Новый ЛЕФ» (1927–1928). В 1925 г. сделал проект Рабочего клуба для Международной выставки художественно-декоративного искусства в Париже, в конце 1920-х гг. преимущественно занимался фотографией, причем и в этой области оказался блестящим новатором.

Древин Александр Давидович (1889–1938) — художник латышского происхождения. Учился в Рижском художественном училище (1908–1913), после 1914 г. переехал в Москву. В 1920 г. начал преподавать в СВОМАСе, затем во ВХУТЕМАСе. Участвовал в дискуссиях в ИНХУКе, не желая отказаться от станковой живописи в пользу производства, после чего вернулся к фигуративной живописи экспрессионистского типа.

С. 16. *Эренбург* Илья Григорьевич (1891–1967) — прозаик, поэт. В начале 1920-х гг. находился в эмиграции.

Заметки о поэзии (с. 19). — Впервые: Стихотворение-II. Париж, 1928. С. 28–29.

С. 19. *Шеллинг говорил: поэзия есть продолжающееся творение.* — Немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775–1854) в своих лекциях о живописи (1802–1805), опубликованных посмертно, утверждал, что в природе заключено духовное начало, раскрывающееся в творчестве художника. Последний должен имитировать не природу, а ее созидательную силу: «Вдохновенный натуралист <...> узнаёт в произведениях искусства истинные архетипы форм, которые в природе проявляются неясно». Отзвук учения Шеллинга, несомненно, слышится в статьях Поплавского о живописи, в его утверждениях о высоком назначении художника.

Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова «Петербургские зимы» (с. 21). — Впервые: Русская мысль. 1990. 4 мая. № 3826. С. 11.

29 апреля 1929 г. Поплавский записал в дневник разговор с Георгием Ивановым о Блоке и Гумилеве. В дневнике сохранились и наброски предстоящего доклада Поплавского о книге Г.Иванова «Петербургские зимы» на собрании «Кочевья».

Объединение писателей «Кочевье» возникло весной 1928 г. в Париже по инициативе Марка Слонима, покровительствовавшего молодым русским литераторам; во многом благодаря усилиям Слонима в пражском журнале «Воля России» печатались стихотворения и прозаические опыты молодых писателей.

Собеседования на литературные темы в «Кочевье» проходили по четвергам в таверне «Дюмениль» на Монпарнасе; из-за наплыва слушателей заседания часто переносились из малого зала в большой. На вечерах «Кочевья» оживленно обсуждали произведения эмигрантской и советской литературы, от внимания участников собраний не ускользали все сколько-нибудь заметные новинки.

На одном из четвергов, посвященных разбору «Жизни Арсеньева», Д.П.Святополк-Мирский заявил, что «променяет всю “Жизнь Арсеньева” Бунина за несколько строк из романа Фадеева “Разгром”». Г.Адамович вспоминает, что, когда «кто-то из публики крикнул: “Что же, Бунину следует учиться у Фадеева?” — Святополк-Мирский ответил: “Да, учиться правде”».

Собрания «Кочевья» — интересный опыт свободы и важная страница в летописи литературы русского зарубежья 1920–1930-х гг.

2 мая 1929 г. в газете «Последние новости» (№ 2962) было помещено извещение о собрании «Кочевья»: «Сегодня, в 9 часов вечера, в таверне “Дюмениль”, 73, бульвар Монпарнас, состоится вечер устной рецензии. Разбор книги О.Мандельштама “Египетская марка”, литературного отдела “Воли России” (№ 1, 2, 3) и др.».

Что скрывалось за этим «и др.», узнаём из краткого отчета о вечере устных рецензий, помещенного в № 8/9 журнала «Воля России» за 1929 г.:

«Вечер устных рецензий был посвящен новым книгам — “Египетской марке” О.Мандельштама (докл. Б.Сосинского), “Зависти” Ю.Олеши (докл. Н.Рейзина) и “Петербуржским зимам” Г.Иванова (докл. Б.Поплавского). Прения возникли вокруг книги Г.Иванова. Доклад о ней был очень хвалебный — поэтому В.Андреев и др., уменьшая значение ее в общем, указали многие ошибки, неточности — в описании реальных событий. Н.Оцуп подробно защищал Г.Иванова, сравнивая его книгу с “Воспоминаниями о Блоке” А.Белого». (По-видимому, Н.Оцуп имел в виду воспоминания А.Белого о Блоке, напечатанные в берлинском журнале «Эпопея» (1922—1923. № 1—4). Воспоминания переизданы на Западе в 1969 г.) Здесь приводятся запись разговора Б.Поплавского с Георгием Ивановым и фрагменты доклада в собрании писателей «Кочевье» о «Петербуржских зимах». Отмеченное Ириной Одоевцевой знаменитое «убийственное остроумие» Г.Иванова, его «ядовитые» суждения о современниках находят еще одно подтверждение в записи Б.Поплавского.

С. 21. *Раевский* (наст. фам. Оцуп) Георгий Авдеевич (1898—1963) — поэт. Младший брат известного поэта Н.А.Оцупа. Окончил университет в Германии, прекрасно знал немецкую литературу. В начале 1920-х гг. переехал в Париж. Автор поэтических сборников «Строфы» (1928), «Новые стихотворения» (1946), «Третья книга» (1953).

Познер Владимир Соломонович (1905—1992) — поэт, прозаик, журналист, переводчик, литературный критик. Член группы «Серапионовы братья». В мае 1921 г. вместе с родителями выехал из Петрограда в Литву, с сентября 1921 г. жил в Париже. Окончил Сорбонну. Примыкал к объединениям «Через» и «Кочевье». Публиковал стихи в парижских и берлинских периодических изданиях («Голос России», «Современные записки», «Эпоха» и др.). Автор поэтической книги «Случай» (Париж, 1928). В конце 1920-х гг. стал писать по-французски, в основном прозу, переводил русских писателей на французский язык. С начала 1930-х гг. — член французской компартии. После Второй мировой войны издал несколько романов и мемуары на французском языке.

Фельзен Юрий (наст. имя и фам. Николай Бернгардович Фрейдштейн; 1894—1943) — прозаик. В 1912 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. В эмиграции жил сначала в Риге, затем в Берлине и, наконец, в Париже (с 1924 г.). Принимал участие в собраниях «Зеленой лампы» и «Кочевья», пользовался всеобщим уважением на Монпарнасе, общаясь порой с представителями прямо противоположных направлений. В 1935 г. был избран председателем Союза молодых поэтов и писателей. Автор романа «Обман» (1930), повестей «Неравенство», «Письма о Лермонтове». В прозе Ю.Фельзена критики усматривали влияние Пруста.

Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — историк литературы, литературный критик, эссеист. В 1919 г. эмигрировал в Болгарию, читал лекции в Софийском университете. В 1922 г. переехал в Париж. Член редколлегии журнала «Звено». С 1924 по 1941 г. занимал должность профессора в Сорбонне (русское отделение); с 1934 по 1947 г. — должность профессора в Богословском институте. Разрабатывая тему неоклассицизма в русской поэзии, подробно рассматривал творчество В.Брюсова, А.Белого, А.Добролюбова и др. В дальнейшем в своих работах уделял главное внимание литературной эволюции писателя, определяемой его духовными исканиями. Автор монографий «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934), «Владимир Соловьев: Жизнь и учение» (Париж, 1936), «Достоевский: Жизнь и творчество» (Париж, 1947).

...*Рембо — гений, но можно его и не читать... в то время как позор не читать Блока...* — Критики (Г.Адамович, В.Вейдле) отмечали романтическую стихию поэзии Поплавского, волшебный фантастический мир, возникающий из снов, близкий сюрреалистической живописи, влияние Рембо и «глубокое средство» с Блоком.

С. 22. *Абзац о Клюеве очень характерен.* — В «Петербургских зимах», в главе о Рюрике Ивневе, Г.Иванов приводит слова Н.Клюева — предсказание в 1916 г. революции, по духу близкое апокалипсическому пророчеству: «Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочат птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божья обнаружится» (*Иванов Г.* Петербургские зимы. Париж, 1928. С. 158).

С. 23. *Божнев Борис* Борисович (1898—1969) — один из самых талантливых поэтов «младшего» поколения. В 1919 г. уехал в Париж, надеясь получить высшее образование. В 1922 г. вошел в литературное объединение «Гатарапак» (вместе с А.Гингером, В.Познером, Б.Поплавским, М.Струве, С.Шаршуном). Активно участвовал также в объединениях «Палата поэтов», позднее — в «Через», созданном по его инициативе. Именно Божневу был по-

священ вечер, организованный группой «Через», на котором выступали французские поэты (Элюар, Тцара и др.). Впоследствии вместе с товарищами Божнев примкнул к литературному объединению «Кочевье». Автор сборников «Русская лирика» (совм. с К.Парчевским, 1920), «Фонтан» (1927). В 1930–1940-е гг. книги Божнева издавались крохотными тиражами, рассчитанными на очень узкий круг читателей.

Его жизнь была для него его личным делом с Создателем, а не делом Общим. Он виртуоз, а не идущий в хоре. — Размышляя о мистическом родстве душ, Б.Поплавский писал в дневнике: «Чахоточный Марк Аврелий следовал Кратесу, беззаботному афинскому нищему атлету. Так горожанин Гумилев искал исчезнуть в идеале стоического, арабского и негритянского разбойника. Но души Аврелия, Антонина и Кратеса возросли на одном и том же духовном стволе внутреннего, мужественного противления, духовно-мужского начала, формирующего активно-душевный мир. Гумилев же, несмотря на свое городское сложение, всегда душою блуждал в ледяных ночах африканских пустынь» (Из дневников. Париж, 1938. С. 8).

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939) — литературный критик, публицист. Князь, сын министра внутренних дел П.Д.Святополка-Мирского (1857–1914). Участник Первой мировой войны. В 1919–1920 гг. — офицер армии Деникина, начальник штаба дивизии. Летом 1920 г. эмигрировал в Афины. С октября 1922 по 1932 г. преподавал в Лондонском университете, читал курс русской литературы в Королевском колледже и Школе славянских исследований. Получил признание в лондонских литературных кругах, печатался в журнале «*Criterion*», издававшемся Т.С.Элиотом, опубликовал две книги: «*Contemporary Russian literature*» (L., 1926) и «*A history of Russian literature*» (L., 1927). В 1931 г. Святополк-Мирский вступил в Коммунистическую партию Великобритании и опубликовал апологетические книги «*Lenin*» (L., 1931) и «*Russia: A social history*» (L., 1931). В 1932 г. он получил советский паспорт и уехал в СССР, где активно включился в литературную жизнь, участвовал в создании горьковской серии «История фабрик и заводов» и за пять лет опубликовал более ста статей и рецензий. В 1937 г. Святополк-Мирский был арестован. Погиб в лагере.

С. 24. ...«*пьянство есть совокупление астрала нашего существа с Музыкой времени*». — Сентенция, которую Г.Иванов вкладывает в уста поэта Б.А.Садовского (1881–1952) (Петербургские зимы. С. 102).

В этом смысле и Гиппиус всегда права, когда, заслышав восторги о Блоке, и дальше стремится его низвести до погибшего мальчика... — «Пропавшими детьми» З.Гиппиус называла А.Белого и

А.Блока в стихотворении о Христе — «Шел...» (май 1918; *Гиппиус* 3. Стихотворения. Париж, 1984. С. 104—105).

О согласии погибающего с духом музыки (с. 25). — Рукописный текст из архива Поплавского. Впервые опубликован: *Новый Журнал* (Нью-Йорк). 2008. № 253. С. 273—279.

Доклад был прочитан 23 мая 1929 г. в объединении писателей «Кочевье».

С. 25. *...демон советовал...* — У древних греков демон — добрый гений, посредник между богами и людьми. Имея возможность бежать из тюрьмы, Сократ решил, что важнее соблюдать государственные законы, чем спасти свою жизнь. Плутарх и позже Апулей сочинили каждый по трактату под названием «Демон Сократа».

...переложением на стихи басен Эзопа. — В «Федоне» Платон вспоминает, что в тюрьме Сократ сочинял басни.

...называем духом музыки. — «Дух музыки» — также название стихотворения Поплавского из сб. «Флаги». Музыка вообще, как верно заметил Н.А.Бердяев, центральная тема Поплавского.

С. 26. *...темного Гераклита...* — Древнегреческого философа Гераклита (ок. 540—480 до н.э.) называли «темным», т.к. он оперировал парами противоположных понятий, сжатыми изречениями, нелегко поддающимися толкованию. Ему приписывается знаменитая сентенция: «Человеку нельзя дважды выкупаться в той же реке».

Фалес (624—547 до н.э.) — древнегреческий философ-материалист, математик, физик. Первоначалом всех явлений природы считал воду.

...розы пахнут смертью... — См. стихотворение Поплавского «Роза смерти» (сб. «Флаги»), посвященное Георгию Иванову, где встречается то же выражение. «Розы» — название стихотворного сборника Г.Иванова (Париж, 1931).

...так много говорил Пруст... — Французский писатель Марсель Пруст (1871—1922) оказал огромное влияние на «младшее поколение» эмигрантских писателей (в том числе на Ю.Фельзена и Г.Газданова). Сохранился лишь план доклада Поплавского «О Прусте и Джойсе», прочитанный им в «Кочевье» 20 октября 1931 г., однако отношение писателя к Прусту можно восстановить по разным его высказываниям. Поплавский был не согласен с жизненной позицией Пруста, который как бы заперся в «пробковой камере», пожертвовав реальной жизнью ради эстетического ее перевоплощения. А с эстетической точки зрения Поплавский упрекает Пруста в переизбытке рассуждений, превращающем его романы в некие эссе, и утверждает, что «между Джойсом и Прус-

том такая же разница, как между болью от ожога и рассказом о ней» («По поводу...»).

С. 27. *Аврелий Антонин* — Марк Аврелий (121—180) — римский император из династии Антонинов. Представитель позднего стоицизма. В поисках «стоической бодрости» Поплавский часто ссылается на изречения этого философа, чей подвиг в духовном плане он уподобляет подвигам мифического героя Геракла.

Стоик Гингер... — Гингер Александр Самсонович (1897—1965) — поэт, принадлежавший, как и Поплавский, к «младшему поколению» литераторов. В Париже с 1921 г. Близок к объединениям «Гатарapak», «Палата поэтов», «Через». Перу Гингера, который, по мнению Г.Адамовича, «был подлинным, рожденным поэтом», принадлежат пять стихотворных книг: «Свора верных» (1922), «Преданность» (1925), «Жалоба и торжество» (1939), «Весть» (1957), «Сердце» (1965).

Муж поэтессы Анны Присмановой, написавшей прекрасное стихотворение на смерть Поплавского. О Гингере с большой теплотой вспоминает Бронислав Сосинский: «Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что русская поэзия до появления в Париже Александра Гингера не знала такого оригинального, своеобразного, с “приветом” поэта.

Будучи замечательным знатоком русского языка, особенно <...> церковнославянского, и из всех писателей наиболее любившим протопопа Аввакума, Николая Семеновича Лескова из села Горохова Орловского уезда и Алексея Михайловича Ремизова, — Гингер зачастую писал стихи так небрежно, нарушая все правила грамматики, которую обожал, так, чисто по-хулигански, вкрапывал нарочитую безграмотность, которую в других презирал, что я, прочтя его новое стихотворение, взрывался: “Каким же надо быть Эллиотом, чтоб писать такие стихи! Побойся Бога, Саша!”

Глеб Струве называл Гингера “юродствующим” и гневно говорил Саше:

— Железный колпак! Вот тебе копеечка. Но ради Господа Бога, замолчи!

В этом смысле — только в этом — Гингер приближался к Председателю Земного Шара Велимиру Хлебникову» (Конурка // Вопросы литературы. 1931. № 6. С. 192).

По мнению Ю.Терапиано, Александр Гингер — прототип Аполлона Безобразова. В коллекции Ю.Иваска в архиве Амхерст-колледжа сохранилось письмо Ю.Терапиано, подтверждающее это предположение: «Гингер — Аполлон Безобразов, хотя, конечно, А.Б. — преображенный Гингер, как всегда бывает в литературных произведениях» (Ю.К.Терапиано — Ю.П.Иваску. 27 декабря 1965 г.).

«Ты доволен сегодняшним светом?..» — Последняя строфа из стихотворения А.Гингера «Знают мифы: неистойной волей...» (1922).

«Долой мои воспоминанья!..» — Из стихотворения А.Гингера «Леки».

С. 28. «Я теперь уж не такой, не прежний...» — Неточно цитируется стихотворение А.Блока «Перед судом» (1915). У Блока: «Я и сам ведь не такой — не прежний, / Недоступный, гордый, чистый, злой. / Я смотрю добрей и безнадежней / На простой и скучный путь земной».

«И голос был сладок, и луч был тонок...» — Не совсем точно цитируется последняя строфа из стихотворения А.Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905).

В знаменитом «падении» Блока... — Имеется в виду эволюция Блока от «Стихов о Прекрасной Даме» к поэме «Двенадцать».

С. 30. Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, философ. По свидетельству Н.Д.Татищева, один из наиболее любимых писателей Поплавского. На заседании «Зеленой лампы», при обсуждении доклада З.Н.Гиппиус о Розанове «Б.Поплавский в парадоксальной, но интересной форме попытался оттенить одну из глубоких черт мирозозерцания русского философа — его страх перед прыжком и перерывом, его невменение смерти» (Возрождение. 1928. 14 апреля. № 1047).

С. 31. Плотин (204—270) — древнегреческий философ-мистик, видный представитель неоплатонизма.

Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — римский философ-стоик, оказавший решающее влияние на Марка Аврелия, эстетику неоплатонизма и византийское монашество IX в. Об Эпиктете, Марке Аврелии и стоицизме Поплавский часто упоминает в своих дневниках и стихах (см. во «Флагах»: «Римское утро», «Стоицизм»).

«Аполлон» — художественно-литературный журнал, издававшийся в Петербурге в 1909—1917 гг., редактор — Сергей Маковский. В «Аполлоне» печатались символисты — Ин.Анненский, Вяч.Иванов, А.Блок, В.Брюсов.

Оцун Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт, критик, мемуарист. В 1920 г. вместе с Н.Гумилевым, Г.Ивановым, М.Лозинским основал «Новый цех поэтов». С 1922 г. в эмиграции. Автор сборников стихотворений «Град» (Пг., 1921), «В дыму» (Берлин, 1926), поэмы «Встреча» (Париж, 1928), «Дневника в стихах. 1935—1950» (Париж, 1950), романа «Беатриче в аду» (Париж, 1939) и др. Основатель и редактор журнала «Числа». В годы Второй мировой войны участник итальянского Сопротивления (дважды бежал из тюрьмы, за ряд смелых операций был удостоен английских и американских военных наград). В 1951 г. ему была присуждена ученая степень доктора в Парижском университете за работу о Н.Гумилеве.

...отвратительных запертых квартир, где мучают детей... — Невольный намек на детство писателя (см. письмо Поплавского Юрию Иваску от 19 ноября 1930 г.).

С. 32. «*Выхожу один я на дорогу...*» — Из одноименного стихотворения М.Ю.Лермонтова.

«*Очищается счастье от всякой надежды...*» — Автоцитата из стихотворения «Астральный мир» (сб. «Флаги»).

Florent Fels. Kostia Terechkovitch (с. 33). — Впервые: Воля России. Прага, 1929. Т. V/VI. С. 207. Под псевдонимом Б.П.

С. 33. *Терешкович Константин* Андреевич (1902–1978) — живописец, график. С 1920 г. жил в Париже. В начале 1920-х гг. он знакомится с Ларионовым и Бартом, позднее с Сутиным и Кремнем, значительно повлиявшими на его творческую индивидуальность. Создал галерею портретов своих друзей-художников. Участвовал в группе «Через». С 1924 г. выставлял свои работы в салонах Тюильри и Осенем. В 1920–1930-х гг. устроил ряд персональных выставок. В последние годы — один из самых известных художников Франции: выставки Терешковича проходят во многих странах мира, его картины приобретают крупнейшие музеи Европы. Приятель Поплавского. Подверг резкой критике его художнические способности, из-за чего, по мнению друзей, Поплавский решил не заниматься живописью профессионально.

Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1946) — живописец, график, театральный художник. В 1897–1909 гг. учился в Московском училище живописи вместе с П.Кузнецовым, Н.Сапуновым и др. В начале 1900-х гг., по заказу С.Мамонтова, исполнил совместно с П.Кузнецовым декоративные росписи в одном из подмосковных имений; тогда же оформил с Н.Сапуновым несколько постановок в оперной антрепризе Мамонтова. Сотрудничал с Вс.Мейерхольдом, успешно оформляя его спектакли. Участвовал в создании петербургских литературно-артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». Получил широкую известность и как художник-график (иллюстрировал журналы «Весы» и «Золотое руно»). Был активным членом содружества «Голубая роза». В 1920 г. он эмигрировал в Париж, в 1922 г. переехал в Нью-Йорк. В 1920–1930-х гг. оформил около десятка постановок в «Метрополитен Опера» и в лондонском «Ковент Гардене». В 1934–1935 гг. Судейкина привлекли в Голливуд для работы над постановкой фильма «Воскресение» по роману Л.Н.Толстого. Его персональные выставки проходили в крупнейших городах США.

Молодая русская живопись в Париже (с. 35). — Впервые: Числа. 1930. № 1. С. 192–196.

С. 35. *Утрилло* Морис (1883–1955) — французский живописец, известный своими пейзажами Парижа и особенно старого Монмартра. В его ранних работах ощущается влияние импрессионистов. С 1925 г. его знают не только во Франции, но и за границей, где он часто выставляется. Поплавский не очень высоко ценил талант Утрилло, утверждая, что он охотнее жил бы в Париже Абрама Минчина, «чем в Париже Утрилло, условном и однообразном, хотя и безошибочно-механично-удачно-живописном».

Дерен Андре (1880–1954) — французский художник. Уже в 1905 г. выставлялся в Осеннем салоне. Примыкал к фовизму, но вскоре вернулся к более академической манере, к холодным, темным тонам, что многими воспринималось как измена новой живописи. В поисках новых форм художник обращался к французскому лубку (*images d'Épinal*), к игральным картам, к византийскому и африканскому искусству. К 1930 г. Дерен числился среди признанных «мэтров» французской живописи.

...немецким экспрессионизмом *Сутина*. — Сутин Хаим (1893–1944) — художник. Родился в бедной еврейской семье. Бежал из дома в Минск, затем в Вильно, где поступил в Школу изящных искусств. В июле 1913 г. переехал в Париж, поселился в «Улье», познакомился с А. Модильяни, а через него — с коллекционером Л. Зборовским. Благодаря помощи последнего отправился в Сере (поселок у подножия Пиренеев близ испанской границы, полюбившийся многим художникам), где написал около 200 полотен, замечательных по фактуре и изумительному сочетанию тонов. Эту серию приобрел знаменитый американский коллекционер А. Барнес, что позволило Сутину значительно упрочить свое материальное положение. По свидетельству Р. Фалька, К. Коровин в 1920-е гг. называл Сутину в числе пяти-шести лучших художников мира. С 1925 г. Сутин жил в Париже. Выбором сюжетов, экспериментом над «ядовитыми сочетаниями красок» (Б. Поплавский) он в самом деле напоминает немецких экспрессионистов. В 1930-е гг. экспрессионистские тенденции в творчестве Сутина несколько ослабевают. В полотнах последнего периода — глубоко религиозное восприятие мира, любовь к жизни, единение с природой.

С. 36. *Шукин* Сергей Иванович (1854–1936) — русский промышленник, коллекционер. Одним из первых «открыл» Пикассо и Матисса.

Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) — театральный и художественный деятель. Вместе с А. Н. Бенуа создал художественное объединение «Мир искусства», был соредктором одноименного журнала. Организатор «Русских сезонов» (с 1907 г.), создатель труппы «Русского балета С. П. Дягилева» (1911–1919). Для антре-

призы Дягилева работали такие крупные художники, как А.Н.Бенуа, Л.Бакст, Н.Рерих, М.Ларионов, Н.Гончарова.

Кремень Пинхус (Павел) (1890—1981) — художник. Давний друг Х.Сутина. С 1912 г. жил в Париже, где в 1923 г. организовал группу «Удар». Участвовал в групповых выставках вместе с Х.Сутиным, Л.Воловиком и др. Его творчество нашло признание во Франции: последняя крупная выставка художника состоялась в Париже в 1993 г.

Гайден Анри (Генрих) (1883—1970) — живописец. Родился в Варшаве в зажиточной семье, учился в Политехническом институте, посещая одновременно Школу изобразительных искусств. Обосновался в Париже в 1907 г., посещал художественную академию Ля Гранд-Шомьер. Дружил с П.Пикассо, М.Жакобом, Д.Северини, А.Матиссом, Ж.Кокто. Писал кубистические картины. Выставлялся у Л.Зборовского.

Сюрваж Леопольд (1879—1968) — художник. В 1905 г. выставлял свои работы в «Голубой розе» вместе с М.Ларионовым, Р.Фальком и С.Судейкиным. С 1908 г. жил в Париже, где в 1917 г. Аполлинером была организована его первая персональная выставка; предисловие к каталогу также написал Аполлинер. В 1922 г. Сюрваж оформляет декорации и создает костюмы к балету «Мавра», поставленному антрепризой С.П.Дягилева в Парижской опере. В 1928 г. Сюрваж участвует в выставке современного французского искусства в Москве. В 1966 г. (в музее Гальера) и в 1975 г. (в Ницце) состоялись ретроспективные выставки художника.

Шагал Марк Захарович (1889—1985) — живописец, график, сценограф. Сын мелкого еврейского торговца из Витебской губернии, он стал одним из самых популярных во Франции художников XX в. В Париж приехал в 1910 г., с 1911 г. выставлялся в салонах Независимых и Осеннем. В 1914 г. вернулся в Витебск, где возглавил Витебскую народную художественную школу. В 1919—1922 гг. работал в Еврейском камерном театре. В эти же годы участвовал в ряде выставок, провел персональные выставки в Москве и Петрограде. С 1922 г. в эмиграции — какое-то время жил в Берлине, а с 1923 г. поселяется в Париже. Выставки художника прошли во многих городах Европы, Америки, Японии, Израиля. Его нежная, поэтическая живопись, которой не чужды элементы фантастики и юмора, и по сей день пользуется большой известностью во всем мире.

С. 37. *Ланской* Андрей Михайлович (1902—1976) — живописец. С 1921 г. жил в эмиграции — в Константинополе, а затем в Париже. Посещал академию Гранд Шомьер. Дебютировал в 1921 г. на выставке группы «Удар». К концу 1930-х гг. перешел к абстрактной живописи. Пользовался большим успехом в 1950—1960-е гг. — его

персональные выставки прошли в самых крупных городах Европы и в Нью-Йорке.

Минчин Абрам (1898—1931) — живописец, близкий друг Поплавского. Выставлялся в салонах Тюильри, Независимых и Осеннем. В 1929 г. устроил в Париже две персональные выставки. В 1931 г., после смерти художника, ретроспективный показ его работ состоялся в салоне Тюильри. Творчеству Минчина Поплавский посвятил отдельную статью — «Абрам Минчин».

Блюм Моисей (псевд. Морис Blond; 1899—1974) — художник. Очень рано проявил способности к рисованию: его первая работа (акварель) была приобретена Киевским музеем в 1911 г. В 1922 г. Блюм поступает в Школу изящных искусств в Варшаве, но не может продолжать учение из-за отсутствия денежных средств. Он уезжает в Берлин, где знакомится с А. Минчиным и К. Терешковичем. Проведя два года в Германии, Блюм вслед за друзьями приезжает в 1924 г. в Париж. Дружит с И. Пуни и П. Кремнем, живет на Монпарнасе вместе с Терешковичем. Выставляет свои работы в Осеннем салоне (1925) и салоне Независимых (1926). С 1930 г. сотрудничает в журнале «Числа» в качестве художественного консультанта. В 1932 г. в Париже организована его первая персональная выставка. Регулярно выставлял свои работы в различных галереях. Был знаком с Поплавским (вероятно, еще по Берлину), написал его портрет.

С. 38. *Аранов* Алексей Павлович (1904—1948) — живописец. С 1923 г. жил в Париже, состоял в группе «Удар». С 1926 г. участвовал в салонах Осеннем, Независимых и Тюильри. В 1930 г. поселился в США.

С. 39. *Пикельный* Роберт (1904—1986) — художник. Родился в Польше, в Лодзи. Учился в Московском художественном училище. В Париже с 1923 г. Сначала бедствовал, затем благодаря помощи И. Пуни сблизился с русскими художниками (О. Цадкин, Л. Гинденбаум, И. Пайлес, М. Кикоин). С 1930 г. выставлялся в Осеннем салоне и салоне Тюильри. Любил изображать мир цирка и балета, его сюжеты всегда окрашены грустью.

Шатцман Борис (1896 — не ранее 1939) — живописец. В середине 1920-х гг. поселился в Париже. В 1926—1939 гг. ежегодно выставлялся в салонах Независимых, Тюильри и Осеннем. В 1933 г. была организована его персональная выставка в галерее Зака. В 1936 г. Шатцман участвовал в выставке группы русских художников (В. Андрусов, К. Терешкович, Н. Пуни и др.) в галерее Кастелучо-Дайана.

Добрынский — Добринский Исаак (1891—1973) — художник, входивший в группу «Через». Уроженец Украины, которую он покинул в 24-летнем возрасте, Добринский с 1912 по 1934 г. жил в «Улье», где нашли приют многие русские художники и скульпто-

ры: М.Шагал, Х.Сутин, П.Кремень, М.Кикоин, Л.Воловик, Л.Гинденбаум.

Карский Сергей Осипович (1902–1950) — художник, приятель Поплавского. Посещал те же кружки, что и Поплавский. В 1924 г. выставлял свои работы в Осеннем салоне. Позднее отошел от искусства, зато его жена, Ида Карская, стала впоследствии довольно известным художником-абстракционистом.

Анненков Юрий Павлович (1889–1974) — художник, прозаик, театровед, режиссер. В 1911–1913 гг. учился живописи в Париже, в 1913 г. впервые выставил свои работы в салоне Независимых. С 1924 г. в эмиграции. Известен прежде всего как портретист (портреты Горького, Пастернака, Прокофьева, Бенуа, по заказу советского правительства — Ленина, Троцкого и др.), иллюстратор (в частности, книги Блока «Двенадцать»). В его живописи, графике, декорациях заметны влияния различных модернистских течений — конструктивизма, кубизма, сюрреализма. В Париже Анненков работал в основном декоратором, общался с крупнейшими французскими художниками — от Пикассо до Фужита. В 1923 г. опубликовал первую повесть (под псевдонимом Борис Темирязов) и с тех пор стал выступать с прозой и публицистикой. Самое известное его произведение — двухтомный «Дневник моих встреч: Цикл трагедий» (1965–1966).

Гук (или фон Гук) — судя по дневниковым записям Поплавского, приведенным Анатолием Вишневым (Перехваченные письма. М.: ОГИ, 2001. С. 158, 198) — русский художник, с которым поэт дружил в 1929–1930 гг.: «...с Гуком (вот милый человек) купили искусственную бороду и клоунскую шляпу», «Милое кремовое ателье Гука, где-то там, далеко за Монпарнасом, где почти нет домов». В архиве сохранился портрет-шарж Гука, исполненный Поплавским.

Лучанский Яков (Жак) (1976 — после 1958) — скульптор. Приехал в Париж в 1903 г. С 1907 г. выставлял свои работы в салоне Независимых, а с 1923 г. — в салоне Тюильри, где устраивались его персональные отделы. Работал преимущественно с деревом, бронзой, терракотой и мрамором, в строгой классической манере. В 1950 г. переехал на жительство в Израиль.

Гинденбаум (Инденбаум) Лев (1890–?) — скульптор. С 1911 г. жил в Париже. С 1926 г. выставлялся в салоне Независимых. Участник группы «Удар».

Андрусов Вадим (1895–?) — скульптор. С 1917 г. поселился во Франции, где получил известность как автор небольших фигур из терракоты и бронзы. В 1926–1928 гг. участвовал в салоне Независимых, в 1928–1945 гг. — в салонах Тюильри и Осеннем. Принимал участие в выставках русского искусства в Праге (1935) и груп-

пы русских художников в галерее Кастелучо-Дайана (1936). Провел самостоятельную выставку в галерее Арбус (1936).

Цадкин Осип (1890—1967) — скульптор. За исключением четырех лет, которые он провел в США, спасаясь от концлагеря (1941—1945), Цадкин всю жизнь прожил в Париже. С 1911 г. регулярно выставлялся в парижских салонах. С 1945 г. он — профессор академии Гранд Шомьер. Прodelав путь от кубизма к экспрессионизму, Цадкин постоянно экспериментировал, используя комбинации различных материалов. В послевоенные годы его творчество получило всемирную известность. Ныне его мастерская на Монпарнасе — Музей Цадкина.

Орлова Хана (1888—1968) — скульптор. В шестнадцать лет вместе с родителями покинула родную Украину, эмигрировав в Палестину. В 1910 г. поселилась в Париже, где занималась в Русской академии Марии Васильевой. С 1913 г. выставляла свои работы в Осеннем салоне, затем в Тюильри и салоне Независимых. В ее фигурах ощущается влияние Модильяни — тяготение к стилизации, упрощению, тот же поиск удлиненных форм. Х.Орлова работает с мрамором, камнем, бронзой, но особенно любит дерево. В 1919—1924 гг. она создает портреты парижской художественной элиты (П.Пикассо, Ж.Брака, А.Матисса, А.Архипенко), в 1930 г. — первую монументальную скульптуру. В 1942 г., во время оккупации, художница была вынуждена бросить свою разгромленную нацистами парижскую мастерскую и до 1945 г. скрываться в Швейцарии. После войны работы Х.Орловой выставлялись в США и Европе (Париж, Осло, Амстердам). С 1949 г. она поселилась в Израиле.

Выставка группы русских художников в галерее Зака (с. 40). — Впервые: Числа. 1930. № 1. С. 256—257. Под псевдонимом Б.П.

Зак Евгений Савельевич (1884—1926) — польский живописец, график. В Париж приехал в 1902 г. Посещал художественную академию Бозарт, затем академию Коларосси, путешествовал по Европе (Италия, Германия), выставлял свои работы в салоне Независимых, Осеннем салоне. В 1912 г. участвовал в выставке польского искусства, организованной в Барселоне галереей Дальмау. После 1916 г. вернулся в Польшу, но с 1922 г. окончательно обосновался во Франции. В 1926 г. прошла его персональная выставка в галерее Бинг. В том же году Зак умирает от сердечного приступа. Вскоре ретроспективные выставки Зака проходят в Варшаве (салон Гарлинского) и в Париже (салон Тюильри), выходит монография М.Готье, посвященная художнику.

В 1929 г. вдова Зака открывает галерею, где представлены работы М.Шагала, Ю.Паскина, А.Модильяни, Р.Дюфи, М.Громера и др. В том же году в галерее устраивается выставка В.Кандинско-

го, в январе 1930 г. — выставка представителей «молодой русской живописи в Париже», о которой можно судить по статье Поплавского.

С. 40. *Любич* Осип (1896–1990) — живописец. Учился в Одесской художественной школе. В 1923 г. приехал в Париж, где вскоре сблизился с главными представителями будущей «Парижской школы» (термин, изобретенный критиком Андре Варно). Два года спустя, благодаря покровительству скульптора Бурделя, Любич выставил свои полотна в Осеннем салоне и в салоне Тюильри; он пишет пейзажи, пропитанные ностальгией, и картины, изображающие безрадостный мир цирка. Ныне его творчество представлено в парижском Музее современного искусства и в Национальной библиотеке.

С. 41. *Рюо* Жорж (1871–1958) — французский художник. Учился в мастерской витражей, что позднее сказалось в его полотнах, где фигуры часто обрамлены толстой черной линией, и в Школе декоративных искусств. Писал полные трагического пафоса картины на религиозные темы.

Глуценко Николай (Микола) Петрович (1901–1977) — живописец и график. В 1918 г., во время Первой мировой войны, попал в плен и оказался в Германии. После успешного побега добрался до Берлина, где профессионально учился живописи. С 1925 по 1936 г. жил в Париже, писал маслом и акварелью пейзажи Южной Франции, портреты и жанровые сцены, а также исполнил графические серии на темы литературных произведений («Мертвые души» Гоголя, 1930–1931 и др.). Проводил персональные выставки в парижских галереях и по всей Европе. В 1923 г. принял советское гражданство, активно сотрудничал с Торгпредством СССР, в 1932 г. вступил в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции. В 1936 г. вернулся на родину, где в последующие тридцать лет писал картины в духе соцреализма.

Воловик Лазарь (1902–1977) — живописец, мастер прикладного искусства; муж Л.З.Гржебиной, давний друг Поплавского. Учился в Киевской художественной академии. В 1920 г. эмигрировал. В Париже жил с 1921 г. Обосновавшись в «Улье», занимался в частных академиях и принимал активное участие в жизни «русского Монпарнаса». Примыкал к объединениям «Удар» и «Через», создал декорации для Бала Бюлье. В 1960-е гг. экспонировал свои работы в Париже и Лондоне.

О боксе (с. 42). — Впервые: Числа. 1930. № 1. С. 258–261. Под псевдонимом Аполлон Безобразов.

С. 43. *Удзукум* (прав.: Узкудун) *Паулино* (1899—1985) — испанский боксер. В 1926 г. в Барселоне стал чемпионом Европы в тяжелом весе. В 1933 г., надеясь заслужить титул первого испанского чемпиона мира, состязался в Риме с Примо Карнерой, которому покровительствовал Муссолини, лично присутствовавший на чемпионате; победил Карнера.

Карнера Примо (1906—1967) — итальянский боксер-великан (рост 2,01 м, вес — 122 кг) по прозвищу «Ходячие Альпы». В 1933 г. после победы над Джеком Шарки стал чемпионом мира среди тяжеловесов; отстоял свой титул во встрече с Паулино Узкудуном.

С. 44. *Шакаров и Компайтис* — по-видимому, боксеры из эмигрантской русской среды.

О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции (с. 45). — Впервые: Числа. 1930. № 2/3. С. 308—311.

В этой статье Поплавский включается в полемику между В.Ходасевичем и с Г.Адамовичем. Ходасевич считал, что образцом для литературы должны служить Пушкин и классическая традиция; Адамович же делал ставку на искренность, призывал писать о «самом главном», о «последних вещах»: пушкинскому мастерству и художественному совершенству у него противопоставлялась лермонтовская неземная музыка. Известно, что молодые поэты, и в особенности представители «Парижской ноты», в большинстве своем пошли за Адамовичем и утвердили культ Лермонтова — поэта более близкого их «мистической атмосфере».

С. 45. *Армия Спасения* — христианское благотворительное общество, созданное в Англии в 1878 г. Его основатель Уильям Бус — методистский пастор, впоследствии проповедник в лондонских трущобах. Желая оказать обездоленным более эффективную помощь, Бус задумал свою «армию» как иерархическую, дисциплинированную организацию военного типа, с генералом во главе. Организация вскоре достигла международных масштабов. В Париже действовал русский филиал этой организации, с 1926 г. выпускавший периодическое издание «Вперед».

С. 46. ...«недоступным, чистым, злым». — Отсылка к стихотворению А.Блока «Перед судом» (1915). У Блока: «Я и сам ведь не такой — не прежний, / Недоступный, гордый, чистый, злой».

С. 47. ...*граф Нулин...* — Имеется в виду персонаж одноименной пушкинской поэмы.

Парни — Эварист Дезире де Форж де Парни (1753—1814) — французский поэт, автор сборника «Эротические стихотворения» (1778) и нашумевших поэм «Война богов» и «Христианида» (рукопись последней власти купили в целях уничтожения), приобрел скандальную славу своим богохульством и разоблачением без-

нравственного поведения высших кругов французского общества своего времени. В России Парни был одним из учителей не только раннего Батюшкова и Жуковского — последний перевел его на русский язык, но оказал влияние и на раннюю поэзию Пушкина.

С. 48. *Квиетизм* (от лат. *quies* — покой) — религиозно-этическое учение, возникшее в Италии в XVII в. и окончательно оформившееся во Франции в конце XVII — начале XVIII в. Проповедовало покорность, созерцательное, пассивное отношение к действительности, полное подчинение Божественной воле. Поплавский высоко ценил квиетизм за то, что он подготовил мистический ренессанс XVIII в.

«*И свечи пылают в соборе...*» — Из стихотворения Н.Оцупа «*Въезжают полозья обоза...*» (1930).

«*С полным сознанием безнадежности...*» — Из стихотворения Г.Адамовича «*Невыносимы становятся сумерки...*» (1930).

«*Не спасусь, я борюсь...*» — Из стихотворения З.Гиппиус «*Всё равно*» (1921).

«*Ничего, как жизнь, не зная...*» — Из стихотворения Г.Иванова «*Синий вечер, тихий ветер...*» (1930).

С. 49. «*И за стебель, что клонится...*» — Неточная цитата из стихотворения А.Блока «*Болотный попик*» (1905). У Блока: «*И тихонько молится, / Приподняв свою шляпу, / За стебель, что клонится, / За большую звериную лапу, / И за римского папу.*»

«*Но если спасения больше нет...*» — Неточная цитата из стихотворения А.Гингера «*Рубашка*» (сб. «*Сердце. Стихи 1917–1964*»).

С. 50. «*Очищается счастье от всякой надежды.*» — Автоцитата из стихотворения «*Астральный мир*» (сб. «*Флаги*»).

Ильязд. *Восхищение* (с. 51). — Впервые: Числа. 1930. № 2/3. С. 258–259.

Ильязд — псевдоним Ильи Михайловича Зданевича (1894–1975), графика, художника прикладного искусства, критика, прозаика, поэта. Уроженец Тифлиса, в 1911 г. он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Сблизился с футуристами. В 1912–1913 гг. часто выступал на конференциях и диспутах с манифестами авангардизма («*Да-манифест*», «*Всечество*» и др.). Вместе с братом Кириллом и Ле-Дантю «открыл» Н.Пиросманишвили, чьи работы экспонировались на выставке «*Мишень*» (1913). Окончив университет, Зданевич вернулся в Грузию, где возглавил издательство «41°» и одноименную футуристическую группу, организовал театр и газету. В 1921 г., получив стипендию от грузинского правительства, уехал в Париж. В 1922 г. организует в Париже банкет в честь В.Маяковского. Вместе с М.Ларионовым устраивает знаменитые «русские балы». В 1923 г. публикует заумную драму «*лидантЮ фАрам*». В Париже

Зданевич пытается пропагандировать идеи «Университета 41°» и с этой целью организует группу «Через» (в которой состоял и Б. Поплавский). Становится секретарем Союза русских художников, активно участвует в собраниях сюрреалистов и дадаистов. В 1927–1937 гг. он работает на трикотажной фабрике (занимается оформлением тканей), впоследствии вошедшей в фирму «Шанель», в 1933 г. становится директором этого предприятия. В 1930–1940-х гг. Зданевич занимался в основном литературой, опубликовал роман «Восхищение» (1930), сборник сонетов (1941) и др. Позднее вернулся к издательской деятельности.

В парижском архиве И. Зданевича Режис Гейро нашел и разобрал его переписку с братом Кириллом в 1921–1967 гг.

Из этой переписки мы узнаём о попытках опубликовать роман И. Зданевича «Восхищение» в издательстве «Федерация» (Федерация объединений советских писателей — ФОСП — существовала в 1926–1932 гг.). Роман свой Ильязд закончил к весне 1927 г. и потом, видимо, по главам отправлял его брату. Однако бывшие футуристы, успевшие приспособиться к новым веяниям, проголосовали против этого произведения, объявив его мистически настроенным, а автора упрекнув в оторванности от советской действительности и требований времени. На эту критику Ильязд ответил в письме от 24 июня 1928 г.: «Вы спрашиваете, почему.. я написал вещь, якобы вне времени и места? Я интернационалист, а не ученик Лескова. Я и имена взял такие, которые встречаются повсюду, чтобы, не лишая вещь качеств зоркого наблюдения, отнять у нее тот невыносимый “style russe”, которым... еще щеголяют наши “бытовики”. Мне писали также, что вещь производит впечатление “перевода с иностранного”, — тем лучше. Но насчет “безграмотности” — это, во всяком случае, преувеличение. <...> Если я представляю якобы святого, окруженного ангелами, и потом показываю, что это блудник, всякой сволочью окруженный, в чем же тут опять злосчастная мистика? <...> Нельзя... называть, положим, Горького, если его герои молятся, — религиозным писателем...»

Отказавшись переделать свой роман ради гипотетической публикации на родине, Зданевич сам издал его в Париже в 1930 г. (издательство «41°»). На него, кроме Поплавского, положительно откликнулся Д. Святополк-Мирский (NRF. 1931, декабрь), но, как напоминает Р. Гейро, книга коммерческого успеха не имела. В 1987 г. она вышла в переводе на французский язык.

Русские художники в салоне Тюильри (с. 52). — Впервые: Числа. 1930. № 2/3. С. 286–287. Под псевдонимом Б.П.

Салон Тюильри, основанный в 1923 г., ставил себе целью конфронтацию новейших течений в искусстве, причем картины

и скульптуры подвергались здесь предварительной селекции и группировались по направлениям. С 1924 г. эта своеобразная выставка пополнилась многими иностранными художниками, покинувшими салон Независимых.

С. 53. Осенний салон — ежегодная художественная выставка, устраивавшаяся с 1903 г. и демонстрировавшая новейшие течения в искусстве. Экспонаты на нее отбирались специальным жюри.

Салон Независимых — ежегодная художественная выставка без жюри, устраивавшаяся Обществом независимых художников. Здесь выставлялись работы как знаменитых, так и совсем неизвестных деятелей искусства, и это способствовало ее успеху. Однако с наплывом художников-иностранцев, обосновавшихся в Париже после Первой мировой войны, французские художники подняли протест, заявив, что отечественному искусству грозит вырождение, после чего оргкомитет выставки во главе с П. Синьяком предложил ее участникам группироваться по национальностям, что было воспринято большинством как выражение ксенофобии. Многие знаменитые художники отказались от дальнейшего участия в салоне, что привело его к скорому упадку.

Вюйяр Эдуар (1868—1940) — французский живописец, работал как иллюстратор для «Ревю блаш» («Белый журнал»). Один из основателей группы «Наби».

Марке Альбер (1875—1947) — французский художник. Участник движения фовистов. Кисти Марке принадлежат многочисленные виды Парижа, он любил изображать не «блистательную столицу», а непримечательные уголки в разные времена года: тусклую Сену и нависшие над ней свинцовые тучи, заснеженные мосты с обозами, стройки, лоснящиеся от дождя мостовые... Художник сумел проникнуть в душу любимого города, передать его скрытое от туристов обаяние.

Буден Эжен (1824—1898) — французский живописец, представитель раннего импрессионизма. Любил изображать порты, курорты, морские пейзажи, уделяя большое внимание передачи нюансов изменчивой атмосферы. Его стиль сближается с манерой Коро. В 1874 г. он участвовал в первой выставке импрессионистов, признавших его своим учителем. В 1883 г. крупная ретроспективная выставка Будена в галерее Дюруа-Рюэля подтвердила значение его творчества для новых течений в изобразительном искусстве.

С. 54. Федер Адольф (1886—1943) — живописец и график. Учился в Одесском художественном училище. В 1906 г. покинул Россию, жил в Берлине и Женеве, с 1910 г. обосновался в Париже. В 1920-е гг. сотрудничал в левых парижских изданиях «Кларте», «Монд», в литературно-художественном журнале молодых рус-

ских авангардистов «Удар»; вскоре добился широкого признания как талантливый представитель русско-еврейской школы живописи. Иллюстрировал произведения Артюра Рембо и книги Жозефа Кесселя. Арестованный нацистами, погиб в концентрационном лагере Освенцим.

Козинцева Любовь Михайловна (1900—1970) — живописец и график. Ученица А.Экстер и А.Родченко. Вышла замуж за И.Эренбурга, с которым в 1921 г. выехала в Берлин. В 1924—1940 гг. жила в Париже. С 1926 г. выставяла свои работы в салоне Независимых. В 1940 г. вернулась в СССР.

Маковская — Поплавский не называет имени данного лица. По всей вероятности, речь идет не о Елене Маковской, сестре поэта Сергея Маковского, а о Елизавете Маковской. Обе художницы экспонировали свои работы в салоне Независимых и салоне Тюильри примерно в одни и те же годы, но первая проживала в Гамбурге, а вторая с 1927 г. жила в Париже, принадлежала к «Парижской школе» и провела персональную выставку в галерее Зака — т.е., несомненно, была знакома с Поплавским. О дальнейшей ее судьбе ничего не известно.

С. 55. *Бурдель* Эмиль Антуан (1861—1929) — французский скульптор, живописец и график. Учился в Школе изящных искусств в Тулузе и Париже. Долгое время работал в мастерской Родена. От влияния учителя освободился к 1900 г., сохранив с ним дружеские отношения. В творчестве Бурделя преобладают античные, мифологические темы, сосредоточенность на человеческой фигуре, однако пластические решения его работ пронизаны новаторскими идеями.

Майоль Аристид (1861—1944) — французский скульптор. Выходец из крестьянской семьи, приехав в Париж, он сильно бедствовал, несмотря на помощь, оказанную ему Бурделем. В первые годы занимался живописью, испытывая влияние Гогена и группы «Наби», увлекался производством шпалеров: с этой целью открыл в родном селе Банюльсе мастерскую. В свободное от работы время занимался резьбой по дереву, затем перешел к работе с камнем и мрамором. Лишь в 1905 г. Майоль полностью сосредоточился на скульптуре.

Липшиц Хаим Якоб (Жак) (1891—1973) — скульптор. В 1909—1911 гг. учился в Париже в Школе изящных искусств, в академии Р.Жульена, в академии Коларосси. С 1911 г. постоянно жил в Париже, дружил с А.Модильяни, М.Жакобом, Р.Радиге, Х.Грисом. В этот период Липшиц широко использовал кубистические приемы. В 1930-е гг. в его творчестве наметился переход к экспрессивным, динамическим формам. В 1941 г. он переехал на постоянное жительство в США. Автор многих работ на мифологические и библейские темы, Липшиц часто обращался к монументальным формам.

ментальной форме. Первая большая ретроспектива работ Липшица состоялась в 1935 г. в Нью-Йорке. В 1960–1970-х гг. его выставки проходили во многих городах Европы, США, Израиля.

...*статуэтками Танагры*... — Танагра — в Древней Греции город в Беотии, расположенный к востоку от Фив. С 340–330 гг. до конца III в. до н.э. в нем производились глиняные — очень изящные — статуэтки, изображавшие по преимуществу женские фигуры. Считается, что в них воплотился идеал женской красоты.

Об осуждении и антисоциальности (с. 56). — Рукописный текст из архива Поплавского. Окончание не сохранилось. Впервые опубликован: *Новый Журнал*. 2008. № 253. С. 284–289.

Известно, что политика была изгнана из «Чисел» в пользу эстетических и метафизических вопросов. Редакционная вступительная заметка к первому номеру вызвала полемику внутри самого журнала, и 12 декабря 1930 г. состоялся диспут на тему «Искусство и политика». Уцелевшие страницы, возможно, предназначались для участия в прениях по этому вопросу, которому Поплавский, защищавший позицию журнала, посвятил несколько статей: «О смерти и жалости в “Числах”», «Вокруг “Чисел”» и др.

С. 56. ...*уход Толстого и уход Рембо*. — Имеется в виду уход Л.Н.Толстого из Ясной Поляны 28 октября (10 ноября) 1910 г. и начавшееся в 1875 г. и продлившееся до конца жизни скитальчество Артюра Рембо, навсегда отказавшегося от литературы.

С. 57. ...*никто не мог понять, почему так груб был он всегда*... — Грубость, считает Поплавский, свойственна натурам ставрогинского типа, к которым он относит и Рембо, и своего литературного героя Аполлона Безобразова: отказом от реализации, неучастием в мире, согласием на безызвестность и смерть — своим «уходом» — они освобождаются от принятых норм поведения и от всяких условностей, в том числе и литературных: «На вечере “Союза молодых поэтов”, где говорилось о “духе” журнала, Поплавский защищал грубость в искусстве <...>, необходимую в трагические эпохи. Помянув о греческих циниках, нарушавших “хороший тон” во имя правды, он призывал писателей следовать их примеру и заниматься самыми серьезными вопросами, ибо “никто не имеет права говорить о ‘хорошеньком’, пока существует хоть один страдающий”» (Из отчета Б.Заковича // Числа. 1930–1931. № 4. С. 258–259).

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1910) — русский писатель и философ. Неприятие Леонтьевым современной западной цивилизации ярко выразилось в его знаменитой книге «Восток,

Россия и славянство» (1885–1886). Идеи Леонтьева оказали несомненное влияние как на скифство, так и на евразийство.

...*ненавижу молодого человека, хотящего писать «много и хорошо»*... — Ссылка на известный литературный анекдот, приведенный Г.Адамовичем в «Числах» (№ 2/3. С. 240): умирающему Тургеневу, который жаловался, что ему ничего не удастся, Боборыкин ответил: «А я пишу много и хорошо».

С. 58. *«Двенадцать спящих дев»* — «повесть в двух балладах» В.А.Жуковского.

...*«Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан»*... — Не совсем точно процитированные строки Н.А.Некрасова из его программного стихотворения «Поэт и гражданин» (1855–1856).

Клодель Поль (1868–1955) — французский поэт, драматург и дипломат. Как дипломат представлял Францию во многих странах, в том числе в Китае, Японии, США. Апологетик католицизма.

С. 59. *Леон Блуа* (1846–1917) — французский католический писатель. Автор ряда биографий (Наполеона, Жанны д'Арк и др.), в которых он пытался раскрыть истинное значение судеб своих героев. Блуа также в течение двадцати лет регулярно публиковал выдержки из своего дневника.

...*жестокый, как Савонарола*... — Савонарола Джироламо (1452–1498) — итальянский монах, проповедник, страстный обличитель роскоши богачей и пороков Церкви. Был сожжен на костре.

...*«приложением к Ниве»*... — «Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал, издавался А.Ф.Марксом в Петербурге в 1870–1918 гг. В ежегодных приложениях к журналу печатались собрания сочинений русских и иностранных писателей.

Валери Поль (1871–1945) — французский поэт и критик. В 1930-е гг. находился в центре интеллектуальной жизни Франции, общался с русскими писателями-эмигрантами.

...*после Марселя Жуандо я больше не могу читать ни Барреса, ни Бретона... ни даже Андре Жида*. — Жуандо Марсель (1888–1979) — французский писатель, автор романов и многотомного дневника, ставил проблему выбора между небом и адом. Его духовный поиск и манера письма, несомненно, очень близки Поплавскому. Баррес (Барес) Морис (1862–1923) — французский писатель, автор «Сцен и доктрин национализма» (1902), где встречаются откровенно антисемитские тексты. К концу жизни Барес признал, что национализм как мировосприятие «слишком узок и лишен размаха», и призвал немцев и французов к примирению. Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель, поэт, основоположник нового течения в литературе — сюрреализма. Жид Андре

(1869–1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1947). В межвоенный период его личность и творчество находились в центре внимания литературной жизни Франции. 25 марта 1930 г. А.Жиду было посвящено собеседование на «Франко-русских собраниях». С «русской точки зрения» выступал Адамович, говоривший о «разрушительных силах, таящихся в творчестве Жида» (см. Отчет Юлии Сазоновой в кн.: *Le Studio franco-russe. 1929—1931* / Подг. текста и комм. Леонида Ливака, редак. Женевьева Тассис. Торонто, 2005).

С. 61. *Поль Бурже* (1852–1935) — французский писатель, мастер психологического романа, защитник традиций и моральных устоев, вращался в консервативных католических кругах.

Ростан Эдмон (1868–1918) — драматург. Автор знаменитого «Сирано из Бержерака».

Анри де Ренье (1864–1936) — французский поэт, принадлежавший к младшему поколению символистов.

Барбье д'Оревилю Жюль (1808–1889) — французский писатель, критик. Автор романов на кощунственные темы: «Женатый священник», «Одержимые сатаной».

Джемс — имеется в виду ирландский писатель Джемс Джойс (1882–1941). Знакомство с произведениями Джойса оказало решающее влияние на Поплавского.

...*Тургенев... рассказывал, как его дочь...* — Тургенева Полина (Пелагея) Ивановна, в замужестве Брюэр (1842–1919), внебрачная дочь И.С.Тургенева и вольнонаемной белошвейки Авдотьи Ермолаевны Ивановой, служившей у В.П.Тургеневой, матери писателя. До 1850 г. она жила в Спасском у прачек на барском дворе, затем была отправлена Тургеневым в Париж, в семью Виардо, где получила начальное образование. В 1854 г. была помещена в пансион, где находилась до 1860 г. В 1857 г. Полина получила фамилию Тургенева, т.е. была узаконена отцом в своем происхождении. В 1865 г. П.И.Тургенева вышла замуж за владельца стекольной и фарфоровой фабрики Гастона Брюэра.

С. 62. «*Если бы ты был холоден или горяч...*» — Апок. 3:15.

О смерти и жалости в «Числах» (с. 63). — Впервые: Новая газета. 1931. 1 апреля. № 3.

В 1930 г. по инициативе Н.Оцупа возник журнал «Числа», сотрудниками которого стали в основном «младшие» представители так называемой «Парижской школы». Журнал отличался изысканным полиграфическим оформлением — прекрасной графикой, цветными репродукциями произведений лучших русских и французских художников, что дало повод даже упрекать его в некотором эстетизме, противоречившем редакторскому кредо: говорить о самом простом и главном — о цели жизни, о смысле

смерти. Напрочь была изгнана из «Чисел» политика, зато все место уделялось литературным и эстетическим проблемам. «Числа», заявил Поплавский, «авангард русского западничества». Сотрудников журнала объединял некий общий «дух» — вера в ценность личности, в высокое предназначение искусства. Не случайно Д.С.Мережковский назвал «Числа» «чудом русской эмиграции». Всего с 1930 по 1934 г. вышло десять номеров журнала.

С. 63. ...*Долохов, от избытка жизни играющий со смертью.* — Имеется в виду персонаж романа Л.Н.Толстого «Война и мир».

С. 64. ...«*meridianus daemon*», «*демон полдня*»... — Греки думали, что в полуденный час появляются опасные божества. То же выражение Поплавский применяет по отношению к Аполлону Безобразову: «Разве не он — тот солнечный гений, который, по учению древних, просыпается в полдень — Меридианус-Даэмон — и славит вечное совершенство солнечного движения?» («Домой с небес»).

«*Бесследно всё, и так легко не быть*». — Из стихотворения Ф.Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (1870).

«*Вечер у Клэр*» — первый роман Гайто Газданова (Париж: Изд. Я.Е.Поволоцкого, 1930). Был высоко оценен эмигрантской критикой, усмотревшей в нем явное влияние Марселя Пруста. Так, например, М.Осоргин отмечал: «...“событий” в книге мало, центр рассказа не в них, а в углубленных мироощущениях... В искусном кружеве рассказа незаметно ставятся и не всегда решаются сложнейшие проблемы и жизни, и смерти, и любви...» (Последние новости. 1930. 6 февраля).

...в описании гибели вундеркинда Лужина... — Речь о герое романа Владимира Набокова «Защита Лужина» (Современные записки. 1929—1930. № 40—42; отд. изд.: Берлин, 1930).

...«*Мальчиках и девочках*» Болдырева? — «Мальчики и девочки» (Воля России. 1928. № 7, 10/11; отд. изд.: Париж: Новые писатели, 1929) — повесть Ивана Болдырева (наст. имя и фам. Иван Андреевич Шкот; 1903—1933), посвященная жизни юных обитателей «Единой советской трудовой школы» в 1918—1919 гг. Сам Болдырев, в 1920 г. поступивший на физико-математический факультет Московского университета и ставший одним из создателей независимой студенческой академической группы, весной 1924 г. был арестован и после восьми месяцев тюрьмы сослан в Нарымский край. Весной 1925 г. бежал из ссылки, перешел польскую границу, добрался до Франции. В 1927 г. поселился в Париже; работал на металлургическом заводе в Коломбеле (Нормандия). С 1928 г. — член литературного объединения «Кочевье», с 1931 г. — студент Русской технической школы на Монпарнасе. В отчаянии, что ему угрожает глухота, покончил с собой. Публи-

кация его повести была встречена критикой довольно сдержанно. Многие отказывали ей в художественной ценности, хотя признавалась ее «точность, правдивость ощущений, верный тон» (из некролога Л.Червинской // Числа. 1933. № 9. С. 232–233).

...споря с новым Великим Инквизитором... — О постоянном споре с Достоевским свидетельствуют навязчивые темы Поплавского: вопрос о теодицее — оправдании Бога человеком за всемирное страдание, — ставка на жалость, защита свободы личности перед натиском тоталитарных — «вавилонских» — государств. В основу романа «Аполлон Безобразов» легла «ставрогинская тема». Великий Инквизитор — фигура, заимствованная у автора «Братьев Карамазовых», — обозначает здесь, конечно, советскую власть, отделившую русский народ от Христа и пообещавшую ему, взамен свободы, земное счастье, пресловутое светлое будущее. Не только к спору, но и к борьбе с большевиками Поплавский призывает «стойчески настроенного» молодого эмигранта в своей статье «Человек и его знакомые».

С. 65. ...литературная оргия Уайльдсов — Пшибышевских... — Уайльд Оскар (1856–1900) — английский писатель, автор знаменитого романа «Портрет Дориана Грея». Культивировал репутацию декадента, но за этой маской скрывалась сложная, противоречивая натура. Пшибышевский Станислав (1868–1927) — польский писатель. Его романы, драмы и поэмы представляют собой смесь эротики и мистики и проникнуты ницшеанскими идеями. В России аллегорические пьесы Пшибышевского в начале XX в. ставил Вс.Мейерхольд.

«И Ангел клялся, что времени (то есть смерти) больше не будет». — См. Апокалипсис: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (21:4).

Сосинский — см. коммент. к письму Б.Поплавского Б.Сосинскому.

Яновский Василий Семенович (1906–1989) — писатель. Получил медицинское образование. Работал в парижских больницах, одновременно занимался литературным творчеством. Дебютировал в 1930 г. повестью «Колесо». Позднее вышли его книги «Мир» (1931), «Любовь вторая» (1934). «Завоевав известность во Франции, — пишет С.Довлатов в предисловии к его книге «Поля Елисейские», — Яновский в 1942 г. переехал в Соединенные Штаты. Впоследствии его книги выходили в Европе и в Америке...» Среди них: «Портативное бессмертие» (1953), «Челюсть эмигранта» (1957), «Американский опыт» (1982) и пять книг на английском языке (по мнению Довлатова, это самые значительные его вещи). В книге воспоминаний «Поля Елисейские» (1983; 2-е изд.:

1993), первая глава которой посвящена Поплавскому, Яновский воссоздал духовную атмосферу русского Парижа.

Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903–1971) — писатель. Вместе с Добровольческой армией Врангеля в 1920 г. эвакуировался в Галлиполи. С начала 1920-х гг. жил в Париже. Активно участвовал в объединении «Кочевье», печатался в «Числах». Известность Газданову принес его роман «Вечер у Клэр» (Париж: Параболо, 1930). Критика (в частности Бунин, Горький) высоко оценила роман, отметив влияние Пруста. Анализируя «Вечер у Клэр» в «Числах» (№ 1), Н.Оцуп назвал Газданова «настоящим писателем». Роман разбирался на литературном вечере «Кочевья» (6 апреля 1930 г.): вступительное слово М.Слонима, прения с участием Н.Оцупа, Б.Поплавского, Б.Сосинского. Позднее Газданов написал еще восемь романов, а также несколько десятков рассказов, эссе, статей.

Шаршун Сергей Иванович (1888–1975) — живописец, график, писатель. Во Францию впервые приехал в 1912 г., учился в Русской академии М.Васильевой. В 1913 г. выставил свои кубистические полотна в салоне Независимых. С 1914 по 1917 г. жил в Барселоне, затем вернулся во Францию, где принял участие в Первой мировой войне в рядах русского экспедиционного корпуса. С 1920 г. окончательно обосновался в Париже, где в том же году состоялась его первая персональная выставка. С 1932 по 1944 г. он эпизодически участвовал в групповых выставках, а с 1944 г. ежегодно устраивал персональные выставки в парижских галереях. В 1976 г. в галерее Сен в Париже состоялась мемориальная выставка, утвердившая славу этого художника. С.Шаршун писал и «сюрреалистическую» прозу. Отрывки из его романа «Долголиков» были напечатаны в первом номере «Чисел» (1930), но отдельным изданием произведение вышло в свет лишь в 1961 г.

Варшавский Владимир Сергеевич (1906–1977) — прозаик, мемуарист, литературный критик. С 1918 г. в эмиграции. Окончил юридический факультет Парижского университета. Примыкал к объединению «Кочевье». Автор книг «Семь лет» (1950), «Незамеченное поколение» (1956), «Ожидание» (1972), «Родословная большевизма» (изд. 1981).

Северянин Игорь (наст. фам. и имя Лотарев Игорь Васильевич; 1887–1941) — поэт. В 1918 г. эмигрировал в Эстонию.

Бахтин Николай Михайлович (псевд.: Н.Боратов, Н.Бор.; 1894–1950) — филолог-классик, философ, критик, поэт, мемуарист. Брат литературоведа М.М.Бахтина. Участник Первой мировой войны, с октября 1918 г. воевал в рядах Добровольческой армии. В 1919 г. эмигрировал, вступил во французский Иностранский легион, воевал в Северной Африке (Алжир, Марокко), после ранения был демобилизован. С 1924 г. жил в Париже, посещал

Сорбонну, был сотрудником редакции журнала «Звено». Печатался в журналах «Новый корабль» и «Числа». В 1932 г. Бахтин переехал в Англию. В том же году стал доктором филологии. С 1935 г. преподавал классическую филологию в Саутгемптоне, с 1938 г. — в Бирмингемском университете. Принял английское гражданство, во время Второй мировой войны вступил в английскую компартию.

...прекрасную «Атлантиду» Мережковского... — Имеется в виду отрывок из книги Д.Мережковского «Тайна Запада: Атлантида — Европа» (отд. изд.: Белград: Русские писатели, 1930), опубликованный в журнале «Современные записки» (1930. № 41).

Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист, оказавший огромное влияние на поэзию XX в. Переводчик стихотворений Э.По.

Ответ на анкету «Новой газеты» (с. 67). — Впервые: Новая газета. 1931. 1 апреля. № 3.

Ряду писателей газета предложила ответить на вопрос: «Какое произведение русской литературы последнего десятилетия Вы считаете наиболее значительным и интересным?»

По поводу... (с. 68). — Впервые: Числа. 1930/1931. № 4. С. 161—175.

С. 69. «*Иисус Неизвестный*» — роман Д.Мережковского, отрывки из которого в 1930—1934 гг. публиковались в газете «Возрождение» и журнале «Числа».

С. 70. ...убийства *Эроса и Ареса*... — У древних греков Эрос — бог любви, безотлучный спутник и помощник Афродиты. Считался порождением Хаоса и светлого дня, или Неба и Земли. Позднее его называли сыном Афродиты и Ареса. Убийство бога любви здесь обозначает извращенную сексуальность, содомию, за которую была потоплена Атлантида. Арес (у римлян — Марс) — сын Зевса и Геры, грозный, кровожадный бог войны, которого греки ненавидели, а римляне, наоборот, почитали. Ненавидели Ареса и его родители: Гера помогла Афине ранить Ареса копьем, чтобы дать ему испытать ту боль, которую он причинял людям.

С. 71. *Реми де Гурмон* (1858—1915) — французский писатель. В его ранних повестях и романах преобладала мистическая, антиэротическая тема. Р. де Гурмон — проповедник «рассудочной любви», освобождающей человека от ужасов плотского греха. Но затем, под влиянием идей Дарвина, писатель отходит от идей символизма. Его новое кредо изложено в книге «Физика любви. Очерк о половом влечении»: любовь — явление глубоко инстинк-

тивное, плотское. Это иллюстрируют и его романы «Женская мечта» (1899), «Девичье сердце» (1907) и др.

Древс Артур (1865–1935) — немецкий философ. Считал, что в основе бытия лежит иррациональная и безличная божественная стихия, обретающая самосознание в религиозном и философском творчестве человека.

С. 72. *Зелинский, В.Иванов и Мережковский — для нас сейчас три светила по изучению древности...* — Филолог-классик Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944) — разносторонний исследователь античной литературы и религии, сделал ряд ценных открытий в области науки о древности; поэт и филолог Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) глубоко и всесторонне исследовал вопросы эллинизма (широко известной была, например, его книга «Эллинская религия страдающего бога», 1904); славу Д.С.Мережковского в эмиграции как знатока древности упрочили такие его историко-художественные исследования, как «Тайна трех: Египет и Вавилон» (Прага, 1925), «Тайна Запада: Атлантида — Европа» (Белград, 1930), «Иисус Неизвестный» (Белград, 1932–1934).

«Обыкновенный иностранец...» — Из стихотворения Н.Оцупа «Ты говорила: “Мы не в споре...”» (1923).

С. 73. «Когда необходимой суетой...» — Начало одноименного стихотворения (1923) Н.Оцупа.

С. 74. «Какое нам дело, вздыхай, гитара...» — Из стихотворения Н.Оцупа «Как скоро мир преобразили...» (1922).

«Прощай, прощай. От фонарей...» — Неточная цитата из стихотворения Н.Оцупа «Канаты черные ослабь...» (1922). У Оцупа: «Прощай, прощай! До фонарей...»

«Как хорошо, что в мире мы как дома...» — Из стихотворения Н.Оцупа «Не диво — радио: над океаном...» (1926).

С. 75. *Смерть* — «девушка, поющая в церковном хоре...» — Отсылка к стихотворению А.Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905).

«Смерть дочью тьмы не назову я». — Цитата из стихотворения Е.Баратынского «Смерть» (1828).

«Я выучил у ржавых буферов...» — Из стихотворения Н.Оцупа «Да жил ли ты? Поэты и семья...» (1922).

С. 76. «Развейся в пространстве, развейся...» — Скрытая автоцитата, отсылающая к «преображающему герою» романа Поплавского «Домой с небес» Олегу: «Развейся в пространство, исчезни квартира, квартира моя...»

«Не надо спящего будить...» — Из стихотворения Н.Оцупа «Трамваи стали проходить...» (1923).

С. 82. «Дедалус, или Портрет автора в юности» — в русском переводе роман Д.Джойса называется «Портрет художника в юности».

«Люди Дублина» — в русском переводе: «Дублинцы».

Жакоб Макс (1876–1944) — французский писатель, поэт и художник. Познакомившись в 1901 г. с П.Пикассо, он вслед за ним переехал в Бато-Лавуар — богемную общину художников на Монмартре. Стихи М.Жакоба иллюстрировали А.Дерен и Пикассо. Его поэзия — яркий пример поиска стихотворной манеры, близкой к экспериментам художников («литературный кубизм»). Автор знаменитого «Cognet à dè» («Стакан для игральных костей», 1917), «Центральной лаборатории» (1921), книги «Советы начинающему поэту» (1928) и др. В 1944 г. М.Жакоб был арестован гестапо как еврей и заключен в лагерь Дранси, под Парижем, где и погиб.

«Путь». № 24 и 25 (с. 84). — Впервые: Числа. 1930/1931. № 4. С. 276–277. Под псевдонимом Б.П.

«Путь» — журнал, орган русской религиозной мысли в эмиграции. Редактор Н.А.Бердяев, при участии Б.П.Вышеславцева (с № 19); издательство Религиозно-философской академии. Париж, 1925–1940, № 1–61.

С. 85. **Флоровский** Георгий Васильевич (1893–1979) — богослов, философ, историк культуры. В 1919 г. — приват-доцент кафедры философии и психологии Новороссийского университета (в Одессе). В 1920 г. эмигрировал — жил сначала в Софии, потом в Праге, в 1926 г. переехал во Францию. В 1926–1939 гг. — профессор кафедры патрологии Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, сотрудник РСХД (Русское студенческое христианское движение), участник Религиозно-философской академии. Один из основателей евразийства, с которым затем, в 1928 г., порвал. В 1932 г. принял сан священника. Автор книг «Восточные отцы IV в.» (Париж, 1931), «Византийские отцы V–VIII вв.» (Париж, 1933), «Пути русского богословия» (Париж, 1937). В годы Второй мировой войны жил в Югославии. В 1946 г. возвратился в Париж, а в 1948 г. переехал в США. Участвовал в экуменическом движении, избирался в исполнительный комитет Всемирного совета церквей (1948). В 1948–1955 гг. был профессором (с 1951 г. — деканом) Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. В последние годы жизни преподавал в Принстонском университете на отделении богословия и славяноведения.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977) — философ, богослов, литературовед, поэт, мемуарист. Родился в Стокгольме, учился в Москве. С 1914 г. — приват-доцент Московского университета. В 1919 г. — профессор кафедры сравнительной истории религий Саратовского университета. В 1920 г. через Польшу эми-

грировал в Кёнигсберг. С 1921 г. — преподаватель, а в 1924—1944 гг. профессор русской литературы Кёнигсбергского университета. С 1922 г. — участник Религиозно-философской академии в Берлине. В 1945—1948 гг. жил в Париже, преподавал в Сорбонне (Институт Сен-Дени). С 1948 г. — профессор Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. Деятель экуменического движения.

Плетнев Ростислав Владимирович (1903—1985) — литературовед, литературный критик. В ноябре 1920 г. эмигрировал с родителями в Югославию, поселился в Белграде, где в 1923 г. окончил русско-сербскую гимназию. В 1928 г. окончил философский факультет Карлова университета в Праге, где затем преподавал. В 1951 г. переехал в Канаду (Монреаль). Издатель журнала «Русское слово в Канаде» (1951—1972). В 1960—1975 гг. — профессор Монреальского университета. Автор книг «О лирике Пушкина» (1963), «Беседы о русской литературе 18 и 19 веков» (1964, на фр. яз.), «О литературе» (1969), «А.И.Солженицын» (1973), «Шесть бесед о литературе» (1973).

Алексеев Николай Николаевич (1879—1964) — правовед, общественный деятель, мемуарист. Теоретик евразийства, участник экуменического движения. С 1912 г. — профессор государственного права Московского коммерческого института, с 1917 г. — профессор Московского университета. В 1918—1919 гг. — профессор права Таврического университета. При наступлении Красной армии поступил писарем в Крымский конный полк Добровольческой армии. Эвакуировался в Константинополь, затем, после Софии и Белграда, вернулся в Крым к Врангелю. В мае 1920 г. из Симферополя эмигрировал в Константинополь, где стал вице-председателем константинопольского Союза русских писателей и журналистов. В 1921—1924 гг. жил и преподавал в Праге, затем — профессор права в Берлине, Страсбурге, Белграде. Соредатор «Евразийского сборника». Во время Второй мировой войны участник Сопrotивления. С 1948 г. жил и преподавал в Женеве.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — философ, теолог, экономист, публицист, церковно-общественный деятель. Депутат 2-й Государственной думы, сотрудник религиозно-философских журналов «Новый путь» и «Вопросы жизни», участник сборника «Вехи» (1909). В 1906—1918 гг. — преподаватель Московского университета. В 1918 г. принял сан священника. В 1922 г. был выслан из России. С 1925 г. до конца своих дней руководил Свято-Сергиевским православным богословским институтом в Париже. Деятель экуменического движения. Один из организаторов и руководителей РСХД. Автор книг «От марксизма к идеализму» (1902), «Философия хозяйства» (1912), «Свет Невечерний» (1917), «Утешитель» (1936), «Невеста Агнца» (изд. 1945).

Прокофьев П. (псевд.; наст. имя Чижевский Дмитрий Иванович (1894–1977) — историк литературы. Автор фундаментального труда о Гегеле и ряда работ о русской и украинской литературах. В журнале «Путь» опубликовал всего три рецензии.

Меншиков (прав.: Меньшиков) Яков Михайлович (1888–1953) — публицист. Уехал из Петрограда не ранее 1918 г. В эмиграции жил в Париже. Печатался в журналах «Путь», «Утверждения».

Иваск Юрий Павлович (1907–1986) — поэт, критик. Окончил юридический факультет Дерптского университета. В 1930 г. редактировал журнал «Новый магазин», где поместил стихи Поплавского (вышел лишь один номер издания). С 1944 г. в эмиграции. В 1946–1949 гг. изучал славистику и философию в Гамбурге. В 1949 г. переехал в США, где в 1954 г. защитил докторскую диссертацию «Князь П.А.Вяземский — литературный критик». Преподавал в различных университетах США, в 1960–1977 гг. — профессор Амхерстского университета. Автор ряда поэтических сборников и сборника эссе о русской поэзии «Похвала российской поэзии», а также главы о поэзии «старой эмиграции» в сборнике «Русская литература в эмиграции» (Питсбург, 1972). См. письма Б.Поплавского Ю.Иваску в наст. томе.

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — государственный и общественный деятель, публицист, историк церкви. В 1906–1918 гг. — доцент, затем профессор Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. В 1909 г. стал председателем Религиозно-философского общества. В первые дни Февральской революции вступил в кадетскую партию, член ее ЦК. В 1917 г. — обер-прокурор Синода, министр вероисповеданий Временного правительства. В эмиграции с 1919 г. В 1925–1960 гг. преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Автор двухтомных «Очерков по истории русской церкви» (1959).

Салон настоящих Независимых (с. 86). — Впервые: Числа. 1930/1931. № 4. С. 250. Под псевдонимом Б.П.

С. 86. *Серж Фера* (наст. имя и фам. Сергей Ястребцов; 1881–1958) — художник. В начале 1900-х гг. поселился в Париже. В 1910 г. познакомился с П.Пикассо и Г.Аполлинером, последний стал его близким другом. Увлекался кубизмом, выставлял свои работы в Осеннем салоне и салоне Независимых. Позже перешел к декоративной манере.

Мишонз (наст. фам. Мишонзник) Григорий (1902–1982) — живописец, график. В 1919–1920 гг. он учится в Кишиневской школе изящных искусств, затем — в Бухарестской художественной

академии. В 1922 г. переезжает в Париж, где некоторое время бедствует, раскрашивает на фабрике безделушки. Сближается с сюрреалистами — А.Бретоном, П.Элюаром, Л.Арагоном и др. В 1928 г. знакомится с А.Миллером, Р.Десносом, А.Арто, М.Жакобом, И.Зданевичем. Отходит от сюрреализма, характеризуя свое собственное творчество как «сюрреальный натурализм». В самом деле, его полотна нельзя причислить к какой-либо определенной школе — скорее они навеяны духом И.Босха, в них есть элементы гротеска и фантастики.

Осенний салон (с. 87). — Впервые: Числа. 1930/1931. № 4. С. 250–251. Под псевдонимом А.Б.

Новое издание Тургенева (с. 88). — Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 270. Под псевдонимом Борис П.

С. 88. *...существующее в Париже Тургеневское общество...* — Тургеневское артистическое общество (с 1930 г.), в 1920–1930 гг. — «Русское артистическое общество». Помещалось в маленьком зале на улице Пигаль, № 77 (9-й округ Парижа). Здесь читались лекции по истории театра, давались концерты, проводились конференции на философские и литературные темы.

С. 89. *...вышло новое однотомное полное собрание сочинений Лермонтова...* — *Лермонтов М.Ю.* Полн. собр. соч.: В 1 т. Рига: Жизнь и культура, 1930.

Около живописи (с. 90). — Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 191–196.

Групповая выставка «Чисел» (с. 95). — Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 197–201.

С. 96. *Дюфи* Рауль (1877–1953) — французский живописец, график, декоратор и керамист. Известность ему принесли изображения курортов, пляжей, скачек и регат. Постоянно экспериментируя с сочетаниями тонов, в последний период жизни часто прибегал к черному цвету, что придавало новое звучание его жизнерадостным картинам. Живопись Дюфи часто называлась «легкой», «поверхностной», Поплавский же сумел оценить ее достоинства.

Мария Лорансен — Мари Лорансен (1885–1956) — французская художница. Становлению ее творчества способствовала дружба с П.Пикассо, Ж.Браком, Г.Аполлинером. Занималась гравюрой и резьбой по дереву, испытав влияние африканской

скульптуры, создавала декорации для русского балета С.П.Дягилева (1924) и «Комеди-Франсез» (1928).

С. 97. Карьер Эжен (1849–1906) — французский художник, стоящий особняком во французской живописи конца XIX в. Его цветовой мир характеризуется темной — коричнево-черной — гаммой, которую он перенял у Леонардо да Винчи, Корреджо и Веласкеса. Его кисти принадлежат росписи стен парижской Ратуши и Сорбонны (1898). Карьера интересует внутренняя жизнь, «тайна видимого мира и реальность невидимого», он пишет преимущественно сцены семейной жизни и портреты. Его творчество, пользовавшееся при жизни огромным успехом, впоследствии было незаслуженно забыто. Поплавский, со свойственным ему чутьем, сумел оценить «значительное и чистое видение мира» Карьера.

Абрам Минчин (с. 98). — Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 274–275.

См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже». 25 апреля 1931 г. А.Минчин скончался от разрыва аневризма в Ля Гард, близ Тулона. По выражению Рене Гимпеля, вскоре подхваченному критикой и друзьями Минчина, в его лице искусство потеряло «безвременно погибшего гения».

Ответ на литературную анкету журнала «Числа» (с. 101). — Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 287.

Редакцией журнала был задан вопрос: «Что Вы думаете о своем творчестве?»

Ответ на анкету редакции «Чисел» о живописи (с. 103). — Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 292.

Были заданы два вопроса:

«1) Существует ли в настоящее время самостоятельная школа живописи?»

2) Следует ли русским художникам учиться у французов?»

Заметки о Достоевском (с. 104). — Литературные франко-русские собеседования, организуемые Робером Себастьяном и Всеволодом Фохтом, были созданы по инициативе Бердяева. Их целью было установление контактов между интеллектуальной общественностью западных стран и эмигрантами. Эти встречи проходили в помещении «Социального Музея», ул. Лас-Касас, № 9 в 7-м округе Парижа, в течение двух лет, с декабря 1929 по апрель 1931 г. На них обсуждались, к примеру, следующие темы: «О влиянии французской литературы на русскую и наоборот», «О духовной роли Толстого», «О Марселе Прусте», «Восток и Запад»,

«О советской литературе». Поплавский принял участие в прениях, последовавших после докладов «Достоевский в представлении наших современников». Отчеты о докладах и прениях печатались в специальном приложении к журналу «Кайе де ля Кензен» («Cahiers de la Quinzaine», т.е. сборники, выходящие дважды в месяц).

Назовем некоторых — из самых известных — представителей французской интеллигенции, принявших участие в этих беседах: философы Жак Мартен и Габриель Марсель, писатели Жорж Бернанос, Станислас Фюме, Андре Моруа, Андре Мальро, Поль Валери и др.

С русской стороны: Н.Бердяев, Б.Вышеславцев, Б.Зайцев, Г.Адамович, И.Бунин, М.Цветаева, Н.Тэффи, Ю.Сазонова и др.

Тексты всех выступлений, с предисловием, комментариями и биографическими справками, были опубликованы на французском языке (т.е. в оригинале): *Le Studio Franco-Russe / Textes réunis et présentés par Leonid Livak sous la rédaction de Gervaise Tassis. — Toronto Slavics Library Series, 2005.*

Фохт Всеволод Борисович (1895—1941) — поэт, прозаик и журналист, в прошлом русский кадровый офицер. В Париже был сотрудником французской газеты «L'Intransigeant», соредактором журнала «Новый дом» (1926—1927). С 1927 г. участник «Зеленой лампы» у Мережковских, с 1928 г. — литературного объединения «Кочевье». Один из организаторов Франко-русской студии (1929—1931).

Себастьян Робер (1903—?) — романист, литературный критик, один из основателей Франко-русской студии.

В поисках потерянного эмигрантского молодого человека (с. 106). — Рукописный текст из архива Поплавского. Впервые: *Новый Журнал*. 2008. № 253. С. 296.

В заглавии этих тезисов обыгрывается название многотомного произведения Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

К началу 1930-х гг. «младшее поколение» — тема постоянных дискуссий и беседований. К примеру: 7 марта 1929 г. в «Кочевье» состоялись прения по докладу М.Слонима «Молодая зарубежная литература»; 22 января 1931 г., там же — «Чего мы хотим? В поисках литературного направления»; 30 января 1931 г. на «Зеленой лампе» — доклад Г.П.Федотова «Защита свободы (о настроениях молодежи)»; 21 декабря 1932 г., там же — доклад П.С.Боранецкого «В поисках 3-й России». Поплавский участвует в прениях по всем этим докладам.

21 декабря 1931 г. на собрании «Зеленой лампы» состоялось собеседование на тему «Эмигрантский молодой человек», где Владимир Варшавский выступил с докладом «О Каине и Авеле».

В отчете об этом вечере, хранившемся в пресс-буке Поплавского (без указания источника и автора) читаем: «Поэт Б.Поплавский полагает, что эмигрантский молодой человек — ни с Каином, ни с Авелем. Материализм и религиозность имеют одну общую черту — жестокость. Эмигрантская молодежь колеблется между обоими полюсами, ибо сомневается, можно ли применить насилие даже для правого дела. Эта серия символов веры эмигрантских молодых человек прерывается, к вящему удовольствию публики, начавшей уже уставать, бравурным выступлением А.Ф.Керенского».

Образ представителя «младшего» эмигрантского поколения также занимал особое место на страницах «Чисел». Так, в статье «Несколько рассуждений об Андре Жиде и эмигрантском молодом человеке» («Числа», № 4) В.Варшавский подчеркивал оторванность молодого человека от своего этноса, от живой жизни: «Здесь социальная пустота сливается с абстрактной и ужасающей пустотой». К этой же теме Варшавский вернется и в 6-м номере «Чисел» — в очерке «О герое эмигрантской молодой литературы»: «Это действительно как бы “голый” человек... В социальном смысле он находится в пустоте, нигде и ни в каком времени, как бы выброшен из социального мира и предоставлен самому себе».

Пражский критик А.Л.Бем, внимательно следивший за молодой эмигрантской литературой, упрекал ее представителей в отсутствии энтузиазма и смелости. Для «числовцев», считал он, поэзия «не активный процесс преобразования мира через собственное его постижение, а только “отдушина” для личных переживаний» (Соблазн простоты // Меч. 1934. 22 июня; цит. по: Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918–1940. Т. 2, ч. II. М., 1997. С. 58). Поплавский же целенаправленно отстаивал право писать, «как и о чем хотим, но с западной откровенностью»: «Нужно бороться, может быть, даже некультурными средствами, нужно среди грохота кричать о своем» («О смерти и жалости в “Числах”»).

С. 106. Отвращение от эмигрантской прессы, уход к новому стоицизму, к философии и к спорту. — К концу жизни Поплавский думал «уйти» окончательно в философию. «Занимаюсь метафизикой и боксом» — любил он ошеломлять своих собеседников.

Антисексуальность. — Поплавский считал сексуальную «измызганность», растраченность более позорной, чем небытие и смерть. Защита от Блока — это защита от музыки, утверждение права личности на жизнь.

Против бытия, определяющего сознание, произвол. — В этом, по мнению Поплавского, главный грех большевистского марксизма: «...никакая социальная путаница не может разрушить личной

жизни человека, на глубине которой находится его величайшая радость, его личное, никому не передаваемое общение с человеком и Богом» («Человек и его знакомые»).

Культурное одиночество, не русские и не французы — русские европейцы. — Ср.: «Не Россия и не Франция, а Париж [наша] родина, с какой-то только отдаленной проекцией на русскую бесконечность...» («Вокруг “Чисел”»).

По литературным собраниям (с. 107). — Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 251. За подписью: П.

С. 107. ...на вечерах «Зеленой лампы»... — В начале и середине 1920-х гг. воскресные встречи писателей в квартире Мережковских на улице Колонель Бонне, № 11-бис, имели такой успех, что Мережковские решили расширить аудиторию. Так начались в 1927 г. вечера «Зеленой лампы», названные в память полутайного, полупушоточного общества, которое посещал Пушкин. С докладами на религиозно-философские, литературные, общественно-политические темы здесь выступали поэты, писатели, философы и общественные деятели. Собрания «Зеленой лампы» длились до начала Второй мировой войны и были целой эпохой в жизни русского Парижа.

«Кочевье» — литературная группа, основанная Марком Слонимом с целью ознакомить писателей «младшего поколения» с новейшей советской литературой и просуществовавшая в Париже с 1928 по 1939 г. Члены «Кочевья» собирались по четвергам в таверне «Дюмениль» на Монпарнасе. Изучались произведения М.Зощенко, Ю.Олеши, В.Маяковского, М.Горького и др. Сам Слоним выступал с ежегодным обзором советской литературы. Кроме того, на собраниях заслушивались доклады о теоретических проблемах литературы и искусства, о творчестве признанных писателей старшего поколения — И.Бунина, Б.Зайцева, А.Ремизова, В.Ходасевича... Поплавский был активным участником объединения.

Слоним Марк Львович (1894—1976) — публицист, литературный критик, переводчик. Занимался также политической деятельностью — был самым молодым депутатом от партии эсеров в Учредительном собрании. С 1919 г. в эмиграции — жил во Флоренции, в Праге, Париже. Один из редакторов журнала «Воля России» (1922—1932), активно сотрудничал в «Числах» и ряде других журналов эмиграции. Автор книг «Русские предтечи большевизма» (1922), «По золотой тропе» (1928), «Портреты советских писателей» (1932), двухтомной «Истории русской литературы» (Нью-Йорк, 1950—1953, на англ. яз.), монографии «Советская русская литература: писатели и проблемы. 1917—1977» (изд. 1977,

на англ. яз.). В России ныне широко известна не раз переиздававшаяся книга М.Слонима «Три любви Достоевского» (1953).

Боронецкий (Боранецкий) П.С. — общественный деятель, философ. О нем упоминается в 2-м и 3-м томах «Хроники научной, культурной и общественной жизни. 1920—1940. Франция» (Париж: УМСА-Press; М.: ЭКСМО, 1995—1997, под общ. ред. Л.А.Мнухина). Из «Хроники...» узнаём, что Боранецкий выступал с докладами — например «Творчество и бессмертие» на семинаре Н.А.Бердяева — и принимал участие в прениях многочисленных объединений и организаций: «Кочевья», «Парижской группы Крестьянской России», «Объединенного клуба пореволюционных течений» и пр.

«*Мир*» — роман В.Яновского (Берлин, 1931).

О боксе и о Примо Карнера (с. 108). — Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 249—251.

С. 108. *Не писал ли Лермонтов в каком-то письме, что «ничто не заменит ему наслаждения врываться в аулы и проливать человеческую кровь»...* — В письме А.А.Лопухину от 12 сентября 1840 г. Лермонтов так живописал бой с горцами на реке Валерик, в котором принимал непосредственное участие: «Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас было убито 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. <...> Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными».

Примо Карнера, блестящая карьера которого была предсказана Аполлоном Безобразовым в первом номере «Чисел»... — См. статью Поплавского «О боксе» и коммент. к ней.

Чаркей — имеется в виду Джек Шарки (наст. имя и фам. Пауль Жукаускас; 1902—1994) — американский боксер-тяжеловес, выходец из семьи литовских переселенцев. Одержал серию громких побед, в том числе и над Янгом Стриблингом, до этого не знавшим поражений. 30 июня 1930 г. в борьбе за титул чемпиона мира проиграл немецкому боксеру Максусу Шмеллингу (был дисквалифицирован за запрещенный удар ниже пояса, нокаутировавший Шмеллинга, за что последний получил прозвище «горизонтальный чемпион»). 21 июля 1932 г. состоялся матч-реванш, на котором Шарки одержал над Шмеллингом победу и стал чемпионом мира. Но год спустя он уступил этот титул итальянскому боксеру Примо Карнере.

Шмеллинг Макс (1905–2005) — немецкий боксер-тяжеловес. 30 июня 1930 г. завоевал титул чемпиона мира, победив американца Джека Шарки.

Стриблинг Янг — талантливый американский боксер-тяжеловес. 3 июля 1931 г. потерпел поражение от Макса Шмеллинга. Погиб в двадцативосьмилетнем возрасте, разбившись на мотоцикле.

...с *трубами Лоэнгрина*. — «Лоэнгрин» (1841–1847) — опера Р.Вагнера, где широко используются духовые музыкальные инструменты, придающие мелодии большую эмоциональную силу. Встреча между боксерами — та же драма, но разыгрываемая на ринге, — тоже обладает особой эмоциональной напряженностью — не только внутренней, но и внешней: грохот громкоговорителей, рев толпы, ослепительный свет ламп.

Среди сомнений и очевидностей (с. 110). — Впервые: Утверждения. 1932. № 3 (август). С. 96–105.

С. 113. ...*огорчил Пастернак, когда стал выхалтуривать своего лейтенанта Шмидта по социальному заказу...* — Речь идет о поэме Б.Пастернака «Лейтенант Шмидт».

С. 114. ...*во времена Илиона*. — Илион — второе название Трои.

С. 115. ...*ко времени Клавдия...* — Клавдий (10 до н.э. — 54 н.э.) — римский император в 41–54 гг.

...*дивный Серапис Александрийский...* — Серапис — греческое божество, чей культ царь Македонии Птолемей II Керавн, сын египетского царя Птолемея I Сотера, внедрил в Египте. Серапис, заменивший Озириса, пользовался большой популярностью. В Александрии ему был воздвигнут храм.

...*божественного Антонина...* — Вероятнее всего, речь идет о Марке Аврелии Антонине (121–180), приемном сыне императора Антонина Пия, философе-стойке и римском императоре в 161–180 гг.

...*любим Европу, последнюю богиню Бареса...* — Морис Барес (1862–1923) — французский писатель, журналист, публицист. В начале своего творческого пути служил «Культу своего “Я”» (название его трилогии, 1888–1891), впоследствии перешел к идеям национализма. В «Сценах и доктринах национализма» (1902) он публикует откровенно антисемитские тексты. В годы Первой мировой войны разоблачает в своей публицистике варварство немцев и воспекает героизм французских солдат. Однако в последние годы жизни Барес признает, что национализм как мировосприятие «слишком узок и лишен размаха». Он призывает немцев и французов к примирению и к уничтожению границ, разделяющих еще недавних противников. Именно тогда Европа становится «последней богиней» писателя.

С. 116. *Иностранный легион* — во Франции и Испании — наемные военные формирования из иностранцев. Во Франции Иностраный легион был создан в 1831 г. В 1920-е гг. эмигрантам, встречавшим затруднения с получением прав на проживание во Франции (из-за неимения документов или вследствие увольнения с места работы и пр.), служба в Легионе в течение пяти лет позволяла получить французское гражданство (натурализацию).

С. 117. *«Физиолог» XII века...* — Поплавский много времени проводил в библиотеке Сент-Женевьев, где, среди прочих, зачитывался и старыми книгами — теми, которые называл «макулатурой»: древними медицинскими трактатами, сочинениями оккультистов, каббалистов, алхимиков и пр. «Физиолог», несомненно, относится к их числу.

...*«О животных» Аристотеля...* — Имеется в виду книга Аристотеля «О возникновении животных».

«Пчелы» — судя по контексту, сборник избранных духовных стихов или писаний.

С. 118. ...*«священный капитал» Коти...* — Коти — владелец одной из самых крупных парфюмерных фирм того времени, — по мнению Поплавского, готов затеять войну и бросить народ «в облака смердящего дыма», чтобы сохранить свой капитал, основанный на производстве изысканных, прелестных духов. Ему противопоставляется Крупп — представитель немецкой тяжелой промышленности, снабжающей Германию танками и авиацией. Не исключено, что Поплавский выбрал для сравнения именно Коти потому, что сам одно время работал в парфюмерной мастерской, где узнал «на опыте, а не из брошюр, что такое эксплуатация».

Человек и его знакомые (с. 120). — Впервые: Числа. 1933. № 9. С. 135–138.

С. 120. *«Друг другу мы тайно враждебны...»* — Из стихотворения А.Блока «Друзьям» (1908).

С. 123. ...*«чучела Третьей республики»...* — «Трудные 30-е годы», начавшиеся с экономического кризиса 1929 г., оказались для Третьей республики (1870–1939) периодом нестабильности и упадка. Постоянная смена министерств, крупные финансовые и политические скандалы подтачивали авторитет государства. С политической сцены исчезли такие яркие личности, как Ж.Клемансо, Р.Пуанкаре, А.Бриан. Их заменяют «чучела», бездарные министры и президенты — Гастон Думерг (1924–1931), Поль Думер (1931–1932), убитый Павлом Горгуловым, и с 1933 г. — А.Лебрен.

С. 124. ...*в писаревско-добролюбовском предпочтении хорошо сшитого сапога Венере Милосской...* — Ссылка на знаменитое писаревское заявление о том, что «сапоги выше Шекспира». Рево-

люционные демократы, литературные критики Д.И.Писарев и Н.А.Добролюбов, называвшие себя нигилистами, объявили в своем творчестве войну метафизике и эстетике. Схожую антиэстетическую позицию занимали и юные авангардисты в начале XX в. Так, накануне открытия выставки «Мишень», на диспуте, организованном 23 марта 1913 г. в Москве М.Ларионовым, И.Зданевич, «демонстрируя модные мужские башмаки, доказывал, что они “прекраснее Венеры Милосской”» (Харджиев Н. От Маяковского до Кручёных: Избранные работы о русском футуризме. М.: Гилея, 2006. С. 62).

...привести человека в «темную ночь» святого Жуана де ла Круза. — Святой Жуан де ла Круза (Иоанн де ла Круза, Иоанн Испанский), точнее — святой Иоанн Креста (1542–1691) — испанский кармелитский монах и мистик, автор трактатов и поэм, величайший испанский поэт периода Ренессанса. Известен также своей перепиской со святой Терезой. Иоанн Креста учил, что душа человеческая должна стремиться всецело войти в «активную ночь» путем отказа от созданного мира и от самой себя — освободившись от желаний, воли, памяти. Только тогда Бог придет ей на помощь и доведет ее до полного самоотречения. Эта — вторая — стадия душевного очищения называется у испанского святого «пассивной ночью», ибо активность проявляет Бог. Только после этой длинной и мучительной аскезы станет возможным слияние души с Богом.

Вокруг «Чисел» (с. 125). — Впервые: Числа. 1933. № 9. С. 204–209.

С. 128. ...*мрачностью шаршуновского героя*... — Имеется в виду герой романа С.Шаршуна «Долголиков» (Париж: Числа, 1934).

То же и у Фельзена... — Речь идет о повести Ю.Фельзена «Обман» (Париж, 1930).

С. 129. «Тело» — роман Е.Бакуниной (Берлин: Парабола, 1933).

С. 130. *Дон Аминадо* (наст. имя и фам. Арнольд-Аминад Петрович (Пейсахович) Шполянский; 1888–1957) — писатель-сатирик, поэт, драматург. С 1916 г. — сотрудник «Нового Сатирикона». С 1920 г. в эмиграции. В 1930-е гг., после смерти А.Аверченко, был признан крупнейшим сатириком эмиграции. Автор книги воспоминаний «Поезд на третьем пути» (1954).

С. 131. «Русские ведомости» — газета, издававшаяся в Москве в 1863–1918 гг. Выражала взгляды либералов; с 1905 г. — орган правых кадетов.

С точки зрения князя Мышкина (с. 134). — Впервые: Числа. 1933. № 9. С. 210–211.

С. 134. *Н.Т.* — личность не установленная. Возможно, Николай Татищев. См. о нем коммент.: *Николай Татищев*. Из разговоров с Борисом Поплавским (Приложение).

С. 135. ...*Малкут... из памяти мира в Сефире Бинах... Иод отделился от Хе и Шекина покинула жизнь*. — Известно, что Поплавский усердно изучал каббалу (сохранились тетради, где поэт комментирует эзотерическое еврейское учение). В этих двух абзацах он ссылается на «Зогар, или Книгу сияний». Этот памятник каббалы, согласно преданию составленный в XIII в. в Андалусии (Гранаде), соединяет гностическое учение с иудейской традицией аллегорического толкования Библии. Космогония, изложенная в «Зогаре», опирается на символику букв. Слово, обозначающее свет — «великое твое имя», — содержит три буквы. Первая и последняя — буква Иод, в середине же находится буква Хе. Иод — тайная первопричина всего существующего, символ Отца Небесного, а Хе — символ Матери Небесной, Шекины, «Жены Господней». «Иод отделился от Хе и Шекина покинула жизнь» — удалась от земли — с тех пор, как Адам, нарушив Божий запрет, уничтожил первоначальное единство, отделил человечество от Бога. Миссия человека на земле — восстановить потерянное единство, Божье присутствие на земле — Малкут, или Царство. Сефиры — их десять — световые лучи, отделившиеся от Бога во время сотворения мира, представляющие Божьи атрибуты и качества. Они расположены по восходящей шкале. Сефира Бинах — женский принцип, ум. Последняя, десятая Сефира, соединяющая все остальные, — это Царство, т.е. Малкут.

Личность и общество (с. 137). — Впервые: Встречи. 1934. № 3 (март). С. 130–131.

С. 137. ...*Барбе д'Оревилль о героях своего «Женатого священника»*. — Жюль Барбе д'Оревилль (1808–1889) — французский писатель, журналист, критик, дэнди. В его творчестве заметно влияние Байрона и Вальтера Скотта. Писателя интересовали «сатанинские» герои, одержимые сильными страстями, что приводит их к преступлениям, открытому конфликту с Богом и гибели. В романе «Женатый священник» Барбе д'Оревилль возвращается к теме, уже затронутой в предыдущем его романе, «Заколдованная», где повествуется о трагической судьбе женщины, влюбившейся в священника.

О деньгах (с. 139). — Рукописный текст из архива Поплавского. Впервые: Новый Журнал. 2008. № 253. С. 292–293.

В биографии, посвященной Георгию Иванову, Вадим Крейд упоминает о собрании, на котором Поплавский выступал с чтением этого доклада: «23 марта (1934 г. — *Комм.*) председательствующий Георгий Иванов открыл собрание “Зеленой лампы” на тему “Деньги, деньги, деньги...”. На нем Владимир Варшавский, в будущем автор многими замеченной книги “Незамеченное поколение”, утверждал, что деньги — это вариант борьбы за выживание или, если хотите, — способ борьбы за существование. Возражал ему Адамович: нет, деньги — вовсе не способ борьбы, а иллюзия счастья». И чуть ниже В.Крейд отмечает, что «печальной литературной новостью 1934 года было закрытие “Чисел”, причем именно от безденежья» (*Крейд В.* Георгий Иванов. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 282). «На собрании вступительное слово произнесли В.Варшавский и З.Гиппиус. В прениях участвовали Г.Адамович, А.Алферов, Б.Дикой, В.Злобин, Г.Иванов, Н.Оцуп, Д.Мережковский, Б.Поплавский, Ю.Терапиано», — сообщала газета «Последние новости». Привожу также отчет о собрании, помещенный в варшавском еженедельнике «Меч» (1934. 20 мая. № 1/2) за подписью В.З[лобин]:

«23 марта в Париже, под председательством Георгия Иванова, состоялось первое открытое собрание “Зеленой лампы”, посвященное теме о деньгах: “Деньги, деньги, деньги...”. Подробный отчет об этом собрании будет опубликован в следующем номере “Меча” вместе с докладом З.Н.Гиппиус. Пока мы даем лишь краткую заметку.

Ораторы, участвующие в прениях, разделились на две неравные группы. Большинство осуждало — не самые деньги, конечно, — но отношение к ним современного человека, для которого они — всё. Остальные возражали против слишком пренебрежительного к ним отношения, видя в этом дешевый снобизм и лицемерие, ибо, как воскликнул один из ораторов: “Нам всем хочется побольше денег!” Очень характерные доводы — житейского порядка — привел в защиту денег Г.В.Адамович. По его мнению, человек хочет казаться иным, чем есть. Человек хочет добиться большего, чем соглашается дать ему природа, большего, чем он иногда имеет право получить: в общественном уважении, в славе, а особенно — в любви и во всех “окололюбных” областях успехов и вожделений. Но если у среднего современного человека отнять понятие о деньгах и мечту о них, у него поистине были бы “подрезаны крылья”. Нечем было бы искупить обиды природы, и нечего было бы ей противопоставить.

Б.Поплавский, тоже говоривший в “защиту денег”, обвинял тех, кто их давал на революцию. Русская интеллигенция и русская буржуазия, поддерживавшая из своих средств освободительное движе-

ние, работала на свое уничтожение и на уничтожение своих детей, которых она как бы обрекала на заклятие. В этом предпочтении отвлеченного общественного идеала идеалу семейной и личной жизни, в которой, по мнению оратора, сейчас единственное спасение, величайший грех русского имущего класса, собственными руками себя уничтожавшего.

Д.С.Мережковский, как всегда говоривший последним, оживил собрание своей страстной речью. Недаром его считают одним из самых блестящих ораторов. В своей речи Д.С.Мережковский, между прочим, сказал, что нет вещи более абстрактной, чем деньги. Это как бы “чистейший кристалл похоти”, в котором сосредоточились все человеческие вожеления. Вот почему Скупому Рыцарю достаточно было созерцать свое богатство, чтобы испытывать величайшее наслаждение...»

О бедственном положении эмигрантских писателей много говорилось, например, в главе IV «Незамеченного поколения» Вл. Варшавского, где приводятся слова Ходасевича о молодых: «На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде... Нищета деформирует и самое творчество» — и о Поплавском в частности: «Достоевский рядом с Поплавским был то, что Рокфеллер рядом со мной». Известно, что о деньгах Поплавский имел самое отвлеченное представление и мог размышлять о них лишь как о категории абстрактной, философской, поскольку сам всю жизнь жил в крайней нужде, — в письме Ю.Иваску от 30 июля 1932 г. он признавался: «Что до бедности, то беднее моего вообще быть нельзя».

С. 139. *...тарасконский парикмахер.* — Речь о цирюльнике Марке Аврелии, одном из героев трилогии французского писателя Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона». В третьей части «Порт-Тараскон» Доде высмеивает обывателей, мечтавших одним махом разбогатеть.

...здоровая реакция буржуазной Франции, вышедшей на улицу, едва почувствовала, что верхи проворовались. — Намек на волнения и демонстрации на парижских улицах, вызванные финансовым скандалом, который был связан с именем Сергея Стависского (1886—1934), бизнесмена русского происхождения.

С. 140. *Федоров* Николай Федорович (1829—1903) — русский религиозный мыслитель и философ, чьи сочинения были изданы уже после его смерти под названием «Философия общего дела» (т. 1, 1906; т. 2, 1913).

Художественная хроника (с. 141). — Впервые: Числа. 1930. № 1. С. 257; 1930. № 2/3. С. 280—285; 1932. № 6. С. 243—244. Без подписи, а также под псевдонимами Л. или П. (совместно с другим автором).

С. 141. *Бернгейм-младший* (83, Fg St-Honoré) — галерея на улице предместья Сент-Оноре, 83.

Воллар Амбруаз (1868—1939) — владелец галереи на улице Лаффит, 6, где прошла первая выставка Пабло Пикассо, автор книги «Воспоминания маршана», где рассказано о встречах Воллара с Аполлинером, Роденом, Сезанном и др., издатель изысканных изданий со специально заказанными знаменитым мастерам иллюстрациями («Цветы зла» Бодлера с илл. Боннара, «Басни» Лафонтена с илл. Шагала). Известен портрет Воллара, исполненный Пикассо (Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина).

Марсель Бернгейм (Бернхайм) — галерея на улице Комартен, № 2-бис, располагала довольно широким фондом картин современных художников (П.Синьяк, М.Кислинг, Ю.Паскин, М.Шагал, А.Модильяни).

Зборовский Леопольд (1889—1932) — галерист, известный продавец картин. Родился в польской дворянской семье, получил прекрасное образование — в совершенстве владел французским языком. В Париже жил с 1914 г. С 1916 г. он — покровитель и главный продавец картин А.Модильяни, с 1919 — Х.Сутина. В 1927 г. Зборовский открывает свою собственную галерею, где экспонирует таких представителей «парижской школы», как Гайден, Кислинг, Кремень, Сутин, Модильяни. Отзывчивый и добрый, Зборовский всегда шел навстречу неимущим художникам. Разорившись, умер он в бедности и заброшенности.

Кислинг Моисей (1891—1953) — французский художник «парижской школы», выходец из Польши. Учился в Кракове, в 1910 г. переехал в Париж. С началом Первой мировой войны записался в Иностранный легион, был тяжело ранен в бою на Соме (1915). Сосед А.Модильяни и Ю.Паскина по мастерской на Монпарнасе. Известен своими портретами и ню.

С. 142. *Жорж Бернгейм* (Бернхайм) — престижная галерея на улице предместья Сент-Оноре, № 174. К концу 1920-х гг. в ней выставлялись такие художники, как Х.Миро, М.Эрнст, П.Кле, скульпторы К.Бранкузи и Я.Липшиц.

С. 143. *Гаварни* Поль (наст. имя и фам. Скульпис Гийом Шевалье; 1804—1866) — французский художник-график, карикатурист. Мастер выразительного рисунка, автор серии литографий-карикатур, в которых высмеивал быт богемы, парижских обывателей и буржуа. Посетив Англию, Гаварни обратился к более мрачным городским темам, изображая лондонских нищих, безрадостную жизнь в рабочих кварталах европейских столиц.

Гранвиль (наст. имя и фам. Жан Иньяс Изидор Жерар; 1803—1847) — французский художник-график, мастер тщательно-го рисунка, отличающегося точностью и выразительностью. Сла-

вился острыми карикатурами на злободневные темы, печатавшимися в сатирическом журнале «Карикатюр».

Шам (наст. имя и фам. Амэдэ де Ноз; 1819—1879), князь — художник-график. С 1843 г. и до конца жизни — сотрудник знаменитого сатирического журнала «Шаривари», где его карикатуры на политических деятелей второй республики пользовались огромным успехом. С 1855 г. с тем же успехом Шам сочинял и либретто для опер-буфф (например, «Пернатый змей» на музыку Лео Делиба, 1864).

Orangerie des Tuileries — «Оранжерея сада Тюильри» (*фр.*), помещение, где долгое время экспонировались импрессионисты; теперь там проходят временные выставки, ретроспективы.

Гийомен Арман (1841—1927) — французский художник, один из основоположников импрессионизма. Принимал участие в главных эпизодах становления нового направления в изобразительном искусстве — начиная с «Салона не принятых» и включая «Выставки импрессионистов» 1874 и 1886 гг., о которых упоминает Поплавский. Внутри группы Гийомен, вместе со своими друзьями Сезанном и Писсаро, представлял самую «конструктивную», наименее расплывчатую тенденцию. Поплавский верно отмечает: «Его любовь к вещам ясна и повседневно». Строгие композиции, поиски новых способов выражения, неожиданные сочетания тонов — например, зеленого, фиолетового и оранжевого — позволяют видеть в Гийомене предшественника экспрессионистов и фовистов.

С. 146. *Удэ Вильгельм* (1874—1947) — искусствовед, галерист, коллекционер живописи. Происходил из богатой еврейской немецкой семьи. В 1904 г. он приезжает в Париж, где знакомится с А.Дереном, А.Матиссом и П.Пикассо. Случайно приобретенная им в 1905 г. картина Пикассо кладет начало его коллекции, где вскоре уже фигурируют полотна Ж.Метценже, П.Пикассо, Р.Дюфи, М.Вламинка. После знакомства с «Таможенником» Руссо Удэ пишет о нем в 1911 г. монографию. Во время Первой мировой войны он живет в Швейцарии. Вернувшись в 1924 г. в Париж, возобновляет свою деятельность, пишет книгу о Пикассо и пропагандирует искусство художников-примитивистов. Во время Второй мировой войны, когда Удэ скрывался на юге Франции, его квартира и коллекции были разгромлены немцами.

Руссо Анри (1844—1910), прозванный Таможенником — французский художник. Живописью занялся в сорокалетнем возрасте. Вначале его работы представляли собой настоящее примитивное искусство. Постепенно Руссо совершенствовал свой оригинальный художественный метод; монументальность рисунка и безупречное владение живописной техникой вскоре увели его далеко за пределы примитивизма. Значительная часть картин, относя-

щихся к позднему периоду творчества художника, это экзотические пейзажи, фантастические изображения джунглей. Его внимание сосредоточивалось главным образом на придумывании, сочинении картин, а не на использовании впечатлений от природы, что имело огромное значение для дальнейшего развития живописи в тот момент, когда произошел отказ от импрессионизма.

Вивен — Вивьен Луи (1861—1936) — французский художник-примитивист.

Бомбуа Камилл (1883—1970) — французский художник-примитивист.

Буаье Кристиан — французский художник. Его воображение с юности волновал мир пустыни. На его полотнах герои больше похожи на миражи, чем на реальных людей.

С. 147. *Дюфи Рауль* (1877—1953) — французский живописец, график, театральный художник. Испытал влияние импрессионизма, в 1905—1908 гг. примыкал к фовизму. В его творчестве отразилось во многом характерное для западноевропейского искусства XX в. подчеркнуто-субъективное восприятие мира. В своих чистых и легких по цвету, беглых по рисунку картинах и акварелях изображал скачки, регаты, концерты, стремился к воплощению праздничной стороны бытия.

Милиоти Николай Дмитриевич (1874—1962) — живописец, учредитель объединения «Мир искусства». Эмигрировал после октябрьского переворота 1917 г.; до 1922 г. жил в Берлине, где участвовал в Первой русской художественной выставке, затем переехал в Париж. В 1929, 1930 и 1938 гг. в Париже состоялись персональные выставки Милиоти. Сотрудничал в журнале «Числа», уделявшем большое место живописи. По свидетельству Н. Берберовой, «в последние годы жизни он, седой, как лунь, в рваном пальто, заколотом английской булавкой, с мешком за плечами и беззубый, выглядел как типичный парижский “клошар” — бездомный бродяга».

Григорьев Борис Дмитриевич (1866—1939) — живописец и график. Участник объединения «Мир искусства». В 1921 г. обосновался в Париже, где получил известность как портретист. Выставлялся в Осеннем салоне (с 1921 г.), участвовал в многочисленных выставках. Много путешествовал по Европе и Азии, побывал в США, в Центральной и Южной Америке, откуда привез серию экзотических пейзажей.

С. 148. *Мане-Кац* (Манэ-Катц) Мане Лазаревич (1894—1962) — живописец. В 1921 г. выехал из России в Берлин, в 1929 г. поселился в Париже, где выставлялся в Осеннем салоне, салонах Тюильри и Независимых, в других парижских галереях. После Второй мировой войны поселился в Израиле.

Паскин (наст. фам. Пинкас) Юлиус Мордекай (1885—1930) — художник «парижской школы». Родился в Видине, в Болгарии (а не в русской Польше, как пишет Поплавский), в богатой еврейской семье. С семи лет жил в Румынии. Учился в Вене, затем в Берлине. С 1905 г. жил в Париже, дружил с художниками, населявшими знаменитый парижский «Улей». Во время Первой мировой войны переехал в Нью-Йорк, принял американское гражданство. В 1922—1930 гг. Паскин снова жил в Париже. «Он пользуется успехом, он богат — благодаря контракту с галереей Бернхайд. Его ближайшие друзья — Андре Дерен, Хаим Сутин, Андре Сальмон, Эрнест Хемингуэй, Франсис Карко. Он устраивает бесконечные праздники, на которых знаменитые художники и писатели перемешаны со сбродом» (*Медведкова О.* Русская мысль. 1995. 2—8 февраля. № 4063). В его творчестве ощутимы различные влияния — от классицизма до экспрессионизма, но с течением времени художник обрел свой собственный, глубоко индивидуальный стиль. Весной 1930 г. Паскин вскрыл себе вены и затем повесился на двери, написав на стене своей кровью: «Прости меня, Люси!» (Люси Крог — его долгая и безнадежная любовь). На похоронах Паскина присутствовало более тысячи человек. В 1995 г. в Париже состоялась выставка его произведений.

Инденбаум — см. коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже»: Гинденбаум.

Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933) — искусствовед, историк балета, литературовед. В 1908—1915 гг. был постоянным обозревателем журнала «Современный мир». Сотрудничал в журналах «Аполлон», «Русская художественная летопись», «Жизнь искусства» и др. С 1920 г. в эмиграции — жил сначала в Берлине, а с 1921 г. в Париже. Занимался литературной и художественной критикой.

Абель Базелер — ошибка Поплавского или неточная транскрипция: наст. имя и фам. Адольф Баслер (1876—1951) — художественный критик. Польский еврей, он приехал в Париж в 1898 г., чтобы учиться в Сорбонне. Посещая кафе «Клозри де Лиля» на Монпарнасе, сблизился с П.Пикассо и П.Фором. Публиковал рецензии в немецких и французских журналах. Отрицал возможность существования еврейской школы в живописи.

Кан Гюстав (1859—1936) — французский поэт, литературный и художественный критик. Родился в еврейской семье выходцев из Германии. Посещал Национальную школу хартий и Школу восточных языков. Известен как «изобретатель» верлибра и автор монографий о Родене (1906), футуристах (1912), Бурделе (1928) и др. В 1920-е гг. Кан активно содействовал самоопределению современной еврейской культуры; в 1924 г. он — главный редактор

журнала «Мэнора», пропагандировавшего еврейских художников, работавших во Франции и в Палестине.

Жорж Вальдемар (1893—1970) — журналист, художественный критик. Родился в Лодзи. Вынужден был эмигрировать из России в 1911 г. после публикации стихотворного сборника, где были выражены его патриотические чувства к Польше. В Париже окончил Сорбонну. В 1919—1927 гг. — сотрудник журнала «Амур де л'ар» («Любовь к искусству»), где защищает художников «Парижской школы». Автор монографий о Х.Сутине, П.Кремне, Ж.Липшице, М.Ларионове и др.

Соваж — возможно, архитектор Анри Соваж (1873—1932).

Швоб Рене — журналист, художественный критик. В статье «Шагал, еврейский художник», напечатанной в журнале «Любовь к искусству» (1928, август), утверждал, что Шагал на всю жизнь останется лишь «художником из гетто». Швоб видел в Шагале лишь «художника-примитивиста», инстинктивно запечатлевшего на своих холстах еврейский фольклор. Французские евреи, давно ассимилировавшиеся в этой стране, с некоторым снисхождением относились к выходцам из Восточной Европы.

ДНЕВНИКИ

Изданные после смерти Поплавского отрывки из его дневников вызвали большой интерес в литературных кругах русской эмиграции. На эту публикацию, в частности, откликнулся Н.А.Бердяев: «Тема “Дневника” Б.Поплавского религиозная. В нем было подлинное религиозное беспокойство и искание, была драма с Богом» (По поводу «Дневников» Б.Поплавского // *Современные записки*. 1939. № 68. С. 443). У поэта и критика Г.В.Адамовича, близко знавшего и ценившего Поплавского, встречаются два совершенно противоположных отзыва о дневниках поэта. В первом критик подчеркивает, что, несмотря на стертость выражения «искать Бога», Поплавскому «оно соответствует дословно и точно». Говоря о значительности записей Поплавского, ценности этого «религиозного документа», Адамович в заключение замечает: «А что склонятся над ней (книгой. — *Е.М.*) когда-нибудь — по примеру Бердяева — с любопытством, и даже волнением, ученые-исследователи, богословы, психологи, — в этом и сомневаться невозможно» (Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 275, 276, 280). Однако в своих «Комментариях» Адамович оценивает этот «разговор с Богом» уже совершенно иначе: «Дневник Поплавского, например, “Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы...” Постоянное мое недоумение. Как можно так писать? Если это действительно обращение к Богу, зачем бумага, чернила, сло-

ва, — будто прошение министру? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства? Не осуждаю, а недоумеваю — потому что у Поплавского бесстыдства не было... Не могу представить себе состояния, которое оправдывало бы переписку с Богом. Отчего тогда не пойти бы и до конца, не наклеить марки, не опустить в почтовый ящик?» (Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 76).

Эта противоречивость оценок, вероятно, отражает ту двойственность, которой пронизан весь дневник Поплавского: не зря Бердяев называл его человеком «двоющихся мыслей». Адамовичу, как и многим другим, претит взвинченность, надрывность тона монпарнасского поэта. Лишь Бердяев сумел разглядеть за всем этим глубокую личную драму. По его мнению, Поплавский «в значительной степени есть жертва стремления к святости, к ложно понятой максималистской святости» («По поводу “Дневников” Б.Поплавского»).

Г.П.Федотов, не раз вступавший с Поплавским в спор по поводу его «похоронных настроений», тем не менее, не отрицает искренности религиозных исканий поэта: «Поплавский со страстью и яростью вгрызлся в Непостижимое, но Бог ему не давался» (О парижской поэзии // Ковчег. Нью-Йорк, 1942. С. 195).

Первые читатели, несомненно, озадачены как формой, так и содержанием записей Поплавского, стремившегося к поискам максимальной откровенности — писать «без стиля, по-розановски, а также наивно-педантично, искать скорее приблизительного, чем точного, животно-народным, смешным языком». Поэт, хотя бы в своих записях, хочет воплотить тот идеал, о котором он страстно тоскует: «Как стыдна святость, и как далек еще мой вечный идеал — Мистический интегральный нюдизм» («С точки зрения князя Мышкина»).

К таким установкам во времена Поплавского, вероятно, еще не привыкли: зачем описывать интимные подробности, порой представляя себя в невыгодном свете? «Все то, что писал он, — утверждал Н.Д.Татищев, друг и душеприказчик поэта, — почти дневник. Но дневник все-таки для себя — без прикрас, и даже, по свойственной ему диалектической манере, утрированный. Дневник, обнажающий автора, чуть-чуть садистский». «Зачем такой дневник, Борис?» На этот вопрос Татищева Поплавский ответил: «Чтобы не впасть в соблазн всегда записывать свою “хорошую”, “прекрасную” личность, pour pouvoir contempler toute ma laideur (чтобы уметь созерцать все мое безобразие (*фр.*) — *Е.М.*)» (Татищев Н. Д. О Поплавском // Круг. 1938. № 3. С. 58).

В этих словах раскрываются глубинные побуждения, заставлявшие Поплавского изо дня в день записывать свои мысли, сомнения, религиозные прозрения, порой столь дерзкие, что он ни-

кому, даже Николаю Татищеву, не смел в них признаваться. Лишь Н.И.Столяровой, истинно родственной ему душе, смог доверить поэт свои самые сокровенные мысли — в записях, посвященных ей и составляющих дневник 1934 года. В первой тетради, озаглавленной «О свободе», можно найти следующие откровения: «Oui, je suis un hégéciarque (Да, я ересиарх (*фр.*) — *Е.М.*). Да, я вхожу в мир, вернее, сознаюсь в чудовищном учении, перед которым побледнеют гностические трапезы с поваленным подсвечником, учение о том, что дьявол ближе и дороже Богу, чем человек». Эти же мысли выражает в «Аполлоне Безобразов» Тереза: «Прижать к своему сердцу Иисуса — великое счастье, но прижать к сердцу Люцифера — еще прекраснее, ибо Люцифер глубже страдает и обречен огню. Не святого, а изгнанного и падшего любишь. Испытать Люцифера — вот что хотела бы я, если бы была Марией».

Первые дневниковые записи поэта относятся к переломному в его жизни 1921 г. Накануне Нового года он пишет в дневнике эпиграф из Библии: «Этот год будет годом скорби для Иакова, однако в нем найдет он спасение». С ноября Поплавский живет с отцом в Константинополе, где, как и в Москве, вращается в теософских кругах, много читает — Штейнера, Блаватскую, Бёме, а также посещает «Маяк», скаутскую организацию, ставшую пристанищем для оторванной от родины русской молодежи. Все, что связано с «Маяком», имеет для юного Бориса чуть ли не мистическое значение. Впервые надевая скаутскую форму, он с трепетом приносит присягу. Эту форму Поплавский будет еще иногда носить (по воскресеньям) в Париже. В Константинополе поэт состоял и в другой организации — «Звезда на Востоке». Это был своего рода мистический орден, созданный Анни Безант — сподвижницей Р.Штейнера и Е.Блаватской — для Кришнамурти, которого теософы считали новоявленным Христом. По приезде в Париж Поплавский встретился с новым Мессией: об этой встрече, сыгравшей решающую роль в его духовной жизни, Борис в восторженных словах рассказал в своем дневнике. Тогда же юный поэт вступил в Теософское общество, но впоследствии от него удалился, хотя многочисленные записи свидетельствуют о том, что Поплавский продолжал интересоваться проблематикой «Тайной доктрины» и другой мистической литературой, через которую до нас дошли различные религиозные учения, отвергнутые христианством. «Аполлон Безобразов», между прочим, дает довольно полное представление о прочитанном Поплавским в этой области: здесь упоминаются и гностик Маркион, и его противник Барбезан, философ, астролог и поэт, живший в Месопотамии, и знаменитый оккультист Рамон Люль, и многие другие.

В константинопольский период Поплавский также открывает для себя православие и посещает церковь, что, по-видимому, для

него ново. Он пытается скрупулезно соблюдать правила религиозной жизни, но это ему дается нелегко. Нередко встречаются записи вроде следующей: «Бездарно заснул, не молясь...» На наш взгляд, попытка вернуться в лоно православной церкви объясняется в первую очередь сознанием своей слабости, которое так мучило Поплавского. «Я, у которого столько сил для зла, так слаб, так мал, так, как бабочка, еле жив в добре. Как мало золота останется после трансмутации», — записывает он в дневнике. В надежде найти моральную опору Поплавский изредка обращается к священнику и исповедуется ему: отпущение грехов в какой-то мере смягчает постоянно сопровождающее молодого человека чувство вины. Другой причиной, объясняющей сближение Поплавского с церковью, несомненно, стала тоска по родине. Для Бориса, как и для многих его соотечественников, церковь представлялась как бы островком русской земли, чудом, перенесенным на чужбину. Ведь для тогдашнего эмигранта Россия была немислима без перезвона колоколов на Пасху или на Рождество, без религиозных обрядов и народных гуляний. Однако в народной религиозности многие представители русской интеллигенции начала века усматривали лишь суеверие и наивное устремление к сверхъестественному, связанное с языческими обрядами и традициями. Интеллигенция, по справедливому замечанию Поплавского, охотнее обращалась к оккультизму или восточным религиям, чем к вероисповеданию своих предков (пример подобного увлечения подавала и мать Поплавского).

Однако строгое подчинение церковным обрядам и предписаниям вскоре становится для Поплавского невыносимым. В частности, он быстро отказывается от опеки священника, считая, что «разговор с Богом» — дело сугубо личное, в которое никто не смеет вмешиваться. Кроме того, Поплавский упрекает церковь в подчинении мирской, политической власти, к которому принудил ее еще Петр I. По мнению Поплавского, православная церковь предпочитает выполнение внешних обрядов искренним проявлениям духовной жизни, тем более, когда они облакаются в не совсем привычные формы. Церковь, например, не приняла старчества, считая эту форму религиозной жизни несовместимой с традициями. Различные попытки обновления религиозной мысли, как правило, исходили не от церкви, а предпринимались писателями (Л.Толстой, Достоевский), философами (Вл.Соловьев, Н.Бердяев, П.Струве, С.Франк, С.Булгаков) и др.

Вот почему официальной церкви Поплавский противопоставляет церковь идеальную, олицетворяющую самую суть православия. Эта церковь, почти тайная, чужда догматизму: «Что такое православие? — Это нищая религия. Неизвестная и неизданная

мистическая поэзия, разоренные храмы, смиренные священники...» («Путь. № 24 и № 25»).

В этой же статье, пытаясь определить суть православия, Поплавский называет типичные черты русской народной веры: стремление к подражанию Христу, любовь к ближнему, активное сострадание и жалость. Такое православие отличается от католицизма прежде всего отказом от схоластики и схематизма и своей установкой на смирение и нищету. Этим, по мнению Поплавского, объясняется такой типично русский феномен, как юродство: «Софичность есть атмосфера, она живет в несказанной нежности песнопений, в кротком культе юродства и нищеты, в коленопреклонении, в молчании, в мистической темноте православия».

В народном толковании Иисус является воплощением именно этих качеств — смиренности, кротости, сострадания: «Христос католиков есть скорее царь, Христос протестантов — позитивист и титан, Христос православный — трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах...» («Путь. № 24 и № 25»). В своем дневнике Поплавский не раз возвращается к этой мысли: «О чем же ты будешь искренно, смешно и бесформенно писать? О своих поисках Иисуса. О дружбе с Ним, которая нужна, чтобы Его принять. Ибо только нищий, не живущий ничем в себе, получает жизнь в Нем, или, вернее, не копя жизнь в себе, может Его принять». И дальше: «Но главное, не стыдись рассказать о своих поисках Иисуса, как будто это что-то позорное <...>. Мы же слабого, облитого слезами ищем. Я хочу знать и знаю Иисуса бедного и распятого, и что мне до книг».

О своем понимании Христа Поплавский говорит и на страницах журнала «Числа»: «Скорее не могущество Бога приближает к нему сердца, а унижение Божье, распятие Его, жалобное прощение Его, *Christus patibilis*, Христос гностиков, терпящий и переносящий все». Христос, продолжает Поплавский, не может вкушать блаженство, если грешники будут страдать в аду, он «оставит свой рай и поселится навеки в аду, чтобы мочь вечно утешать этого грешника».

Здесь Поплавский, по существу, развивает мысли Ивана Карамазова, отказавшегося от мировой гармонии, немислимой для него при существовании ада: «Какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали более». Через Достоевского тянется нить, связывающая видение Поплавского с народным представлением о всепрощающем и всепонимающем Боге, которое выразилось, например, в «Хождении Богородицы по мукам». Согласно этому апокрифу (о нем, кстати, упоминает и Иван Карамазов в начале «Великого инквизитора»), Богородица посещает ад. Она так потрясена всеми увиденными ею мучениями, что умоляет Отца простить всех грешников без разбора.

В народном толковании Христос воспринимается скорее как «страдающий Иисус», принявший смерть ради спасения душ человеческих. По народным представлениям, и грешник может искупить свою вину, добровольно приняв на себя страдание. Так, например, поступает герой рассказа В.Короленко «Убийец»: желая «пострадать ради Христа», этот мужик называет себя бродягой и попадает в арстанты. «Вроде крест на себя наложил», — говорит он в оправдание своего поступка. Подобную же склонность Бердяев находил у Поплавского. В своих комментариях к дневнику монпарнасского писателя он пишет: «В другом месте Поплавский говорит: “Как поучительно иногда упасть... А то получается, какая легкая и неинтересная вещь святость”. Это напоминает Лютера, который так напугал католических теологов словами: “Греши, греши, чтобы снизошла на тебя благодать”. Но нельзя все-таки нарочно падать, чтобы святость была более интересной» («По поводу “Дневников” Б.Поплавского»).

Поплавский стремился к святости, но именно к «интересной» святости, к неким иллюминациям, в течение которых субъект познает необычные состояния и испытывает странные ощущения: «Раскрылось и погасло, так всегда с днями отчаянного света, только осталось зрелище невидимой живописи иллюминации, загадочные картины в ярко-красном освещении». В мгновения насильственной аскезы человеческое сознание иногда сливается с космосом, о чем Поплавский повествует в романе «Домой с небес»: «Оторвавшись от семьи, народа, истории, Олег стремительно полетел в чистое отсутствие, из которого Бог пытался вначале сотворить небо и землю, но не смог окончательно преодолеть его в его средоточии, и вот сперва от боли, а потом сатанинским ослепительным мужеством аскезы оно сбросило с себя, проснулось вдруг от всех форм неба и земли... Олег теперь чувствует, видит телом, мимирует музыку творения, все горы, спящие на солнце, как складки на его лице...»

Порой ощущается и реальное Божие присутствие: Поплавский описывает, например, как состояние религиозного экстаза «привело вдруг к почти нестерпимому, вдруг до слез реальному ощущению присутствия Христа. Лег опять, но присутствие это не обнаружилось, не раскрылось, а потерялось, но ощущение, что Он был где-то рядом, не забуду долго». Однако подобные моменты счастья даются ценой огромной затраты нервной энергии. После них остается чувство усталости и нереальности окружающего мира. Не зря свою статью о книге Д.Мережковского «Атлантида — Европа» Поплавский начинает со следующего откровения: «Как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю, переоценивать все по-будничному. Как отвратительно иллюминанту, очнувшемуся от “припадка реальности”, открывать глаза на нере-

альное, видеть комнату, чувствовать усталость и холод, опять погружаться в страх» («По поводу...»). Отсюда ощущение безблагодатности, которое порой наполняет душу поэта: «никто, кроме самих святых, не знает, как скучна порою святость».

Бердяев приписывает конечный провал религиозных исканий Поплавского его имперсонализму, приводящему к «дезинтеграции личности в “огненный водопад мирового бытия”» (цитата из «Домой с небес»). Однако для Поплавского процесс дезинтеграции личности лишь предпосылка, необходимая для установления личных отношений с Богом. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что Поплавский не пытался преодолеть двойственность своей натуры, считая, что «из борьбы противоречий вспыхивает жизнь».

Личные отношения с Богом Поплавский представляет себе наподобие супружеской любви. В последний период своей жизни он даже прямо будет говорить о «половых отношениях с Богом» — правда, приписывая эти кощунственные мысли своему двойнику Олегу, открыто касаясь этой темы лишь в разговорах с Наталией Столяровой и в «неотосланном письме к ней».

В этом стремлении к личному, физическому контакту с Богом кроется, на наш взгляд, и причина ошибочного толкования святости, понятой как уподобление кенотическому, страдающему образу Христа, и упрек Богу, когда он медлит с ожидаемым преображением души. «Темные, долгие, упорные молитвы без толку, однообразная жвачка, упрек Богу, обида на Него». В такие минуты весь мир превращается в раскаленную пустыню: «Раскаленные лицом к лицу с Богом и с дьяволом в молчании Бога, в белом ослепительном пейзаже пустыни». И далее: «Все вокруг горячее, пышное ничто. Ни друзей, ни любви, ни среды» (26 июня 1935 г.).

В статье Татищева «Борис Поплавский — поэт самопознания» есть одно очень верное замечание: последние страницы из опубликованного дневника поэта посвящены критике персонализма, и, хотя Поплавский упоминает Бергсона, на самом деле он, по словам Татищева, полемизирует с Бердяевым. Не принимая поверхностного самопознания персонализма, Поплавский путем аскезы стремился дойти до уровня, на котором стираются различия между Я и Ты. Так, беседуя с Татищевым, Поплавский заявил: «Роман, типичный для нашего века, это не Онегин и Татьяна, а бракосочетание, соединение в одно Пространства и Времени, а теперь, что еще важнее, — Субъекта и Объекта. Но предчувствие об этом было у Пушкина» (Татищев Н.Д. Борис Поплавский — поэт самопознания // Возрождение. 1965. № 165. С. 29).

За четыре дня до смерти, 5 октября 1935 г., поэт пишет эпиграф к статье «О субстанциональности личности»: «Снял все-таки этот “субъективный” куст со стола. Солнце, отшельничество, сча-

стве». Если вспомнить, что за четырнадцать лет до этого константинопольский дневник начинался со слов «стать поэтом субъективного», то становится ясным, что между этими двумя полюсами был пройден сложный путь. Какой-то жизненный цикл завершался, начинался новый, внезапно прерванный трагической смертью поэта. Следует заметить, что всю жизнь Поплавский стремился дойти до состояния «согласия с музыкой», когда отдельная личность, подобно музыкальному такту, сливается с космическим океаном.

Его религиозный опыт был, по сути, ближе к восточным формам религиозной жизни, что делало его непонятым и чуждым для многих, в том числе и для Бердяева, который все же сумел увидеть в Поплавском «настоящего страдальца» и «подлинное религиозное беспокойство и искание».

В небольшой книжечке Б.Поплавского «Отрывки из дневников», после его смерти подготовленной к печати Н.Д.Татищевым (Париж, 1938), содержится лишь незначительная часть всех дневниковых записей Поплавского. В то время еще было живо большинство из тех, о ком упоминал в дневнике Поплавский, и Татищев заменил подлинные фамилии и имена точками и буквами N. Тем не менее по записям, позднее сделанным Н.Д.Татищевым на моем экземпляре, некоторые имена удалось расшифровать.

Другая трудность состоит в том, что Поплавский вел одновременно несколько дневников, и не всегда легко восстановить последовательность записей. Дополнительным препятствием служит почерк поэта, который менялся с годами, а иногда и с настроением.

Большая часть дневников, которая приводится в настоящем издании, разбиралась А.Н.Богословским и его женой, А.М.Леонтьевой. Каноническую правку в тексты вносила Наталия Ивановна Столярова, ею же выполнены и переводы с французского. Значительная часть дневников и по сей день остается неразобранной, работа по их расшифровке продолжается. Тем не менее фрагменты, предлагаемые вниманию читателя, приоткрывают внутренний мир писателя и привносят много ценных свидетельств о его напряженной духовной жизни.

Часть неопубликованных записей Н.Д.Татищев приводил в своих статьях — так же, как и свои разговоры с Поплавским, которые он записывал в специальные тетради. Эти разговоры, столь значимые для понимания духа и атмосферы русского Монпарнаса (см. об этом: *Яновский В.* Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983; *Варшавский В.* Монпарнасские разговоры // Русская мысль. 1977. 21 апреля. № 3148), мы выделяем из книг и статей Н.Д.Татищева и приводим в Приложении.

Из дневника. 1917 (с. 151). — В тетрадку 1917 г. совсем еще юный Борис Поплавский записывал вперемежку — «под диктовку своего навязчивого демона» — разные прозаические и стихотворные тексты. А.Н.Богословскому удалось разобрать данный фрагмент, представляющий собой интересный опыт автоматического письма. В этом стихотворении в прозе Поплавский запечатлел одну из тех фантазий, что посещают «потребителей эфира»: полного наркоза нет, но охлаждающее вещество вызывает картины, где доминируют холодные тона, звенящие звуки... Ощущения «потребителя опиума» совсем иные, о чем свидетельствуют и поэтические опыты раннего Поплавского («Стихи под гашишем», «Караваны гашиша» и др.).

С. 152. ...в... *шляпе à la Berger...* — Т.е. в стиле пастушка, широкополой шляпе.

Дневник. 1921–1922 (с. 153). — Полностью публикуется впервые.

Этот дневник, долгие годы считавшийся навсегда утерянным, недавно был обнаружен в личных бумагах Николая Татищева и любезно предоставлен мне Анной Татищевой. Когда в 1972 г. Татищев впервые дал мне прочитать тетрадку в зеленой обложке, мне удалось продержат ее у себя недолго (вероятнее всего, она была нужна самому Николаю Дмитриевичу), и восстановленный по моим тогдашним записям дневник, появившийся в «Неизданном», был далеко не полным (Поплавский Б. Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма / Сост. и коммент. А.Богословского и Е.Менегальдо. — М.: Христианское изд-во, 1996).

В самом деле, дневник охватывает не только весь 1921 г., но и примерно первую треть следующего, 1922 г., что позволяет читателю присутствовать при зарождении таких юношеских групп, как «Гатарapak», «Палата поэтов», и познакомиться вместе с Поплавским с совсем еще юными К.Терешковичем, И.Зданевичем, С.Ромовым. Местами записи разбираются с трудом. Оказывается, дневник уже тогда хранился у Н.Д.Татищева в подвале, где тетради пострадали от мышей и сырости, что обнаружил сам Б.Поплавский в 1935 г., когда решил привести свои бумаги в порядок.

Время от времени Поплавский перечитывал свои старые записи, кое-что уничтожал (см. начало дневника 1921 г. или последние записи 1935 г.). Незадолго до смерти он записывает в дневнике: «Дописываю... дочитываю, прибираю, убираю все... Чего я жду? Смерти, революции, улицы?..» (21 августа 1935 г.). Свою юношескую тетрадь, правда с помощью Дины Шрайбман, ему пришлось переписать полностью. Именно тогда писатель и добавил свои комментарии.

Восстанавливая свои записи по «клочкам» (см. конец 1921 г.), предварительно подсушив их на печке, Поплавский сам иногда ошибается в их хронологической последовательности.

И все же в данном варианте дневник представляет несомненную документальную ценность: перед глазами читателя встают живые картины из этого столь насыщенного событиями, поистине переломного в жизни поэта года.

Именно в это время юноша берется за изучение творений отцов церкви и пытается вернуться к православию. «Еще мальчиком в Константинополе, — пишет Н.Д.Татищев, — в 1920—1921 годах, вероятно, почти бессознательно, набрел он на тяжкий путь молитвы. Почти все записи в дневнике заканчиваются так: “Молился... молился неудачно... опять плохо” и т.д.» (О Поплавском // Круг. 1938. № 3. С. 150—161). Тогда же Борис увлекается теософией и скаутизмом, а позже, в Париже, мечтая всецело посвятить себя живописи, знакомится с русскими художниками-авангардистами (он часто упоминает о Ларионове, почти ежедневно общается с Терешковичем, одно время неразлучен со скульптором Френкелем).

К этому времени юный Поплавский — уже почти сложившаяся личность. Налицо и основные особенности его характера: экзальтация, моментами переходящая в депрессию, и слезы, «хамство» и грубость, чередующиеся с чувством вины и острым осознанием своего несовершенства. В минуты медитации он стремится к слиянию с Богом и одновременно мучительно ищет любви («Там была Она...»).

Отличается этот первый, еще юношеский, дневник от последующих тем, что в нем читатель не обнаружит ни рассуждений на литературные темы, ни философских рассуждений, ни стихотворений в прозе: это еще не «творческая лаборатория» и не «дневник писателя», рассчитанный на адресата, а просто записи «для себя», в которых запечатлен пестрый поток событий и встреч, наполнивших «год скорби и спасения». Сквозь небрежные штрихи проступает трогательный облик юноши, впоследствии выведенного Поплавским в романе «Домой с небес»: «Вот она (душа. — Е.М.) неподвижно стоит на углу, без друзей, без единого знакомого, без приличного платья, узкоплечая, невыразимо покорно смотрящая на четырехчасовое зимнее небо. <...> В венке из воска и мокрыми ногами только что обошедшая всех своих приятелей-презрителей, поднявшаяся на четыре лестницы и никого не заставшая дома. Душа, которой некуда, совершенно некуда деться».

С. 153. *О Ницше...* — Об открытии Ницше упоминается в романе Поплавского «Домой с небес»: «...среди смятения отступления читал, открывал Ницше в Новороссийске в козьем полушубке...»

(гл. VII). О значении «пророка активного пессимизма» в жизни юного Бориса см.: «Из дневника. 1922. Берлин»: «Мое поколение не родилось любить жизнь из-за похотливого прозябания тысячей, и я, переживший старых богов, танцуя, дошел до самого края символической пропасти. Сбылось великое пророчество Ницше: лучшие мои, вам должно становиться все хуже и тяжелее, все большие и лучшие из вас должны погибнуть, ибо так преодолагает человек себя». А.Эткинд замечает: «Как нигде и никогда популярен был в России на рубеже веков Фридрих Ницше. Его презрение к обыденной жизни, призыв к переоценке всех ценностей оказали долговременное, до сих пор не до конца осмысленное воздействие на русскую мысль. По словам самого авторитетного свидетеля, Александра Бенуа, “идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде того, как впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда)”» (*Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. С. 4).*

Этот год будет годом скорби для Иакова, однако в нем найдет он спасение. — Эта фраза не прямая цитата из Библии, а намек на рассказ о похождениях Иакова в Книге Бытия. Судьба Иакова, вынужденного покинуть отчий дом и родную землю, созвучна судьбе самого Поплавского, который, однако, продолжает питать надежду на счастливый исход. Таким образом, под пером Поплавского, как в дальнейшем у Мережковского, Гиппиус и др., изгнанники России уподобляются еврейскому народу.

«Маяк» — скаутская организация в Константинополе, ставшая пристанищем для оторванной от родины русской молодежи.

С. 154. *Написал позавчера вступление...* — В константинопольский период Поплавский увлекался сочинением сонетов, о чем есть намек в его стихотворении «Покушение с негодными средствами» (1925), адресованном Илье Зданевичу: «Венок сонетов мне поможет жить, — / Тотчас пишу, но не верна подмога...» По приезде в Париж Поплавский в буквальном смысле «подшил» свои стихи — получилась книжечка, озаглавленная «Пропажа», с общим посвящением Евгении Лабунской. В ней четыре раздела: 1 — «Очарованные острова» (Асе Перской), куда автор поместил «Небо уже (обвалилось местами)...» с посвящением Георгию Шторму, 2 — «Горизонт», где можно найти «Пера» и «Бишик Таш», 3 — «Города моей жизни» и, наконец, 4 — цикл сонетов «Константинополь», включающий тринадцать стихотворений: 1 — «Вступительный», 2 — «Мост», 3 — «Решетки», 4 — «Кондитеры», 5 — «Базар», 6 — «Золотой рог», 7 — «Об их ремеслах», 8 — «Пустыри», 9 — «Кабаки», 10 — «Баязет», 11 — «Май» (Ольге Гардениной), 12 — «Галата», 13 — «Таксим», 14 — «Заключительный: Февраль» (А.Кузнецову). Эти юношеские стихи Поплавский

печатать, видно, не собирался, но сохранил как свидетельство о памятном 1921 г.

Кришнамурти Джидду (1896—1986) — создатель оригинального философского учения, «нового религиозного мышления».

Когда в 1909 г. отец Кришнамурти стал служащим Теософского общества, на его сына Джидду, тогда еще мальчика, обратили внимание руководители общества — Ч.Ледбитер и А.Безант. Как президент Теософского общества А.Безант много сил и энергии отдала тому, чтобы «сделать» Кришнамурти Мессией. По ее инициативе Джидду был отправлен в Англию для получения образования. А по возвращении он официально провозглашен Мессией и становится главой специально созданного ордена «Звезда на Востоке». В 1929 г. Кришнамурти распускает орден, поселяется в США, много путешествует, пишет. Огромный интерес, в частности, вызвали его «Парижские лекции». Основные книги Кришнамурти: «Свобода от известного» (1969), «Немедленно измениться» (1970), «Подумайте об этом» (1971), «О медитации» (1973). В последние годы жизни философа были созданы Фонды Кришнамурти в Англии, США, Индии, открыты специальные школы для детей.

«Королева цирка» — по всей вероятности, фильм.

С. 156. *Женя* — сестра Б.Поплавского, умершая от чахотки.

С. 157. *Римский* Николай А. — артист театра и кино, деятель культуры. Уже в 1917 г. фамилия Римского фигурирует в афишах трех фильмов, выпущенных фирмой Ермольева. К концу 1918 г. коллектив киностудии переезжает в Киев, а затем в Одессу и Ялту, где еще возможно было снимать фильмы. В феврале 1920 г. весь персонал эмигрирует на пароходе в Константинополь, а оттуда в феврале того же года отправляется через Марсель в Париж. Обосновавшись в пригороде Монтрей и переименовавшись в «Альбатрос», фирма под руководством Александра Каменки снимает значительное количество кинофильмов, пользующихся большим успехом у французской публики. Н.Римский продолжает работать у «Альбатроса» по крайней мере до 1924 г. в качестве актера и сценариста. В 1935 г. Римский выступает как режиссер и актер в Русском зарубежном Камерном театре в пьесе Ренникова «Борис и Глеб» и в том же году в пьесе А.И.Косоротова «Мечта любви». Через год исполняет роль Тихона в «Грозе» Островского в Русском драматическом театре. Дальнейшая судьба неизвестна.

Вечером трагично то, что я себе позволил лицо. — Эта таинственная заметка о «лице» поясняется самим Поплавским в 1935 г. См. примеч. к 30.06.21: «мучил перед зеркалом лицо».

Ладя — брат Бориса Поплавского Всеволод, военный летчик, в Париже работавший шофером такси.

Хамал — судя по записи от 13.3.21, хозяйский или соседский подросток.

С. 158. *Прочел до гностиков.* — Гностики — сектанты, проповедующие отказ от грешного мира, основанного на зле. Гностики противопоставляют истинного Бога, Бога любви, злему Ветхозаветному Богу-Демиургу. Среди родоначальников гностицизма новой, христианской эры можно назвать Семена-Волхва, Маркиона, Барбезона. По меткому замечанию В.Варшавского, «гностический соблазн имел власть и над душой <...> Б.Поплавского» (*Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 114), что подтверждается хотя бы следующими стихами: «Солнечный герой, создавший мир, — / Слушай бездну, вот твоя награда...»

Наташа — сестра Бориса Поплавского, поэтесса.

Вернулись через Харбие. — «Константинопольская» часть дневника Б.Поплавского пестрит названиями улиц и достопримечательностей восточного города, столь поразившего воображение юного поэта. В европейской части города, некогда основанной франкскими воинами, расположились к северу Галата и Пера, а к югу — Стамбул. Пера — наиболее современный квартал: там уже в XIX в. размещались французское посольство, католические церкви, банки и три театра. Улица Пера пролегает до площади Таксим, утопающей в садах. На улице Пера русские, нахлынувшие в Константинополь после эвакуации из Крыма армии Врангеля, открыли многочисленные рестораны, кафе и кабаре.

Получил Якоба Бёме. — Не вполне ясно, о какой книге немецкого философа-пантеиста идет речь. В «*Mysterium magnum*» (1623) Бёме комментирует символы, содержащиеся в пятидесяти первых главах Библии. Он отказывается и от гностического представления о мире как о поле борьбы между двумя вечными антагонистами — добром и злом, и от монистического толкования, считающего зло лишь иллюзией. Своим учением о первоначальной свободе, динамическом элементе, включающем в себя огонь и свет и порождающем одновременно и дух и природу, Бёме оказал значительное влияние на Баадера, Шеллинга и даже на Гегеля. Поэтическое восприятие космоса преобладает в его первой книге «*Аврора*» («*Auroga oder die Morgenröte im Aufgang*», 1612), где Бёме описывает первоначальную бездну, сотворение ангелов, бунт демона и конечное преображение мира, даже не упоминая об Иисусе Христе, что привело к осуждению его учения церковью. Эти грандиозные картины, несомненно, поразили воображение юного Поплавского (см. «*Аполлон Безобразов*»).

С. 159. *Успенский Петр Демьянович* (1878–1947) — теософ и оккультист. В своих книгах «*Четвертое измерение*» (1910), «*Символы Таро*» (1912), «*Внутренний круг*» (1917), «*Tertium organum*»

(1916) и в оккультном романе «Кинемодрама» (1917) пытался соединить ценности индийской религиозной философии, а также искания новейших адептов древней мудрости Е. Блаватской и А. Безант с идеями Ф. Ницше о «вечном возвращении». Цель познания видел в стремлении достигнуть высшей реальности в религиозном экстазе и раскрытии космического сознания у современного человечества.

Духовные поиски привели Успенского к жизненно важной встрече с Г. Гурджиевым (Петроград, 1915). Стадии восьмилетней работы Успенского как ученика Гурджиева запечатлены в его книге «In search of the miraculous» (Лондон, 1955); здесь же приведены беседы с Гурджиевым.

С 1920 г. Успенский в эмиграции. В Константинополь он приехал в 1921 г. В «Маяке» читал доклады, где пытался «соединить все лучшие идеи психологии и философии с идеями эзотеризма». С 1923 г. поселился в Лондоне.

С. 163. *Баязет* — квартал в Стамбуле. На площади Баязет возвышается мечеть.

Нурис — одна из акробаток (предположение Н. Д. Татищева; 8 февраля Борис пишет: «смешная барышня и 3 акробата, вот мои ученики») или, вероятнее всего, домработница («нурис» по-французски — «няня»).

С. 164. *Дукельский* Владимир А. — композитор, литератор. О своей встрече с будущим автором «Аполлона Безобразова» Дукельский рассказал впоследствии в поэме «Памяти Поплавского» (впервые опубликована: Перекрестки. Филадельфия, 1979. № 3): «Я знал его в Константинополе — на Бруссе, в “Русском Маяке”»; «Что нас связало? Не Европа ли? / О нет, мы вскоре разошлись. / Но в золотом Константинополе / Мы в дружбе вечной поклялись». В 1925 г. Русский балет Дягилева ставит «Зефира и Флору» В. Дукельского (сценарий Б. Кохно, хореография Л. Мясина, декорация Ж. Брака). Год спустя, на большом концерте, посвященном композиторам, проживающим за границей, исполняются и произведения Дукельского (дирижирует Кусевицкий). В июне 1928 г. С. Кусевицкий вместе с произведениями С. Прокофьева и Н. Римского-Корсакова исполняет симфонию Дукельского, а в июле 1929 г. впервые исполнены романсы Дукельского. Впоследствии композитор, видимо, переселился в Америку, последовав примеру Кусевицкого.

С. 166. *Ледбитер* Чарлз — один из руководителей Теософского общества и автор «Вступления в теософию» (1902).

Карты Таро — были привезены из Египта цыганами в средние века. Эти символические карты, связанные с каббалой и эзотеризмом, используются при гадании. П. Д. Успенский написал кни-

гу «Символы Таро» (1912). Об этих картах Поплавский упоминает и в 11-й главе «Аполлона Безобразова».

Аркан (от *фр.* arcane — тайны) — секреты, которые могут познать лишь посвященные в теософское учение.

С. 169. *Фламур* — Поплавский с отцом жили в турецком квартале Бешик-Таш, около живописного летнего дворца «Фламур».

С. 171. *Бизанс* (на *фр.* яз. — Византия) — очевидно, библиотека или книжный магазин.

«*L'homme d'où et où*» («Откуда человек и куда он идет», *фр.*) — очевидно, книга мистического или эзотерического содержания, каких Б.Поплавский много читал в то время.

С. 173. *Асеева* — Р.Асеевой посвящено второе стихотворение в рукописной книге «Пропажа»: «Вот теперь, когда нет ни гашиша, ни опия...»

С. 174. «*Переоценка*» — под этим названием подразумевается либо «По ту сторону добра и зла» (1887), либо «К генеалогии морали» (1887) — две книги, в которых автор «Заратустры» низвергает метафизику и нравственные принципы идеализма.

С. 175. *...поговорили у Воловика...* — Речь о Лазаре Воловике, друге Поплавского. См. о нем коммент. к заметке «Выставка группы русских художников в галерее Зака». Этой записью в дневнике подтверждается пребывание юного художника в Константинополе одновременно с Поплавским. В 1920-е гг. Воловик состоит в группе «Через». В 1923 г. переходит в группу «Удар» (Х.Сутин, В.Барт, К.Терешкович). В дальнейшем участвовал во многих групповых выставках в Париже.

С. 176. «*У ног Учителя*» — брошюра, написанная Кришнамурти в 1911 г. В ней излагаются основные принципы учения, которое он получил в Индии от своего «учителя мудрости». Снабженная предисловием Анни Безант и переведенная на французский язык, она неоднократно переиздавалась Теософским обществом в Париже.

С. 177. *Гурджиев* (Гурдиев, Гюрджиев) Георгий Иванович (1872–1949) — теософ и оккультист, автор оригинального философского учения и духовной методики, знаток восточных мифологий. Известно о нем немного. Вероятно, обучался в Тифлисской духовной семинарии. Во Владикавказе был вхож в Теософский салон Н. де Гермене, общался с П.А.Флоренским. Много путешествовал. В 1912 г. появляется в Москве и Петербурге, где создает группы единомышленников — по модели восточных эзотерических школ. Так, к его петербургской группе примкнул П.Д.Успенский — в дальнейшем продолжатель и популяризатор учения Гурджиева. В 1919 г. основал в Тифлисе недолго просуществовавший Институт гармоничного развития человека. В 1921 г. прибыл в Константинополь, а затем в Париж. Недалеко от фран-

цуской столицы (в местечке Фонтенбло) Гурджиев открыл свой Институт — педагогический и исследовательский центр по всестороннему изучению человеческой психики и возможностей ее духовного преобразования. В качестве главной цели была провозглашена выработка способности «быть христианином». На самом же деле учение Гурджиева — синтез многих известных духовных методик: буддизма, дзен-буддизма, суфизма и различных видов йоги. Институт просуществовал до 1933 г.

С. 180. *Португалова С.Я.* — певица, артистка музыкальной драмы, сопрано.

Зелюк Орест Григорьевич (1888—1951) — издатель, журналист, сотрудник «Киевской мысли», «Одесских новостей», «Биржевых ведомостей». В эмиграции с 1920 г., обосновался в Париже, стал владельцем крупной типографии. Оказывал финансовую помощь «Числам».

Упоминается в воспоминаниях В.Яновского: «Зелюк, владелец большой типографии, человек жестокий и сентиментальный, вдруг смягчался и выражал готовность “пойти навстречу”» (т.е. помогал материально журналу «Числа»).

С. 181. *Шапошников Л.И.* — профессор, инженер, художник, поэт, преподаватель. В 1926 г. в Париже состоялась выставка художника под покровительством российского Красного Креста.

Hôtel de Ville — Отель де Виль, ратуша, возведенная в конце XIX в. (стиль Ренессанс) в центре обширной площади, в течение пяти столетий служившей местом публичных казней.

Был на rue de la Paix и в Notre-Dame. — На рю де ля Пэ, улице Мира, ведущей от Вандомской площади к Оперному театру, находятся роскошные магазины. Нотр-Дам — собор Парижской Богоматери.

Grégoire — Грегор, или Грегори, константинопольский знакомый Поплавского по Теософскому обществу.

Réaumur-Sébastopol — Реомюр-Себастополь, название станции метро. Реомюр — французский физик. Севастопольский бульвар назван в ознаменование победы Франции над Россией в Крымской войне 1853—1856 гг.

Cidél в Tuileries... — Сад Тюильри, простирается от площади Карусель до площади Согласия.

...пошли смотреть Place des Vosges... — Площадь Вогезов, расположенная в сердце старинного квартала Марэ, одна из самых живописных и уютных площадей Парижа.

С. 182. *Étoile* — площадь Звезды, которой заканчиваются Елисейские Поля.

Boulevards — бульвары. В довоенный период излюбленное место увеселений парижан, проводивших досуг в их многочисленных кафе.

Rue de Saints-Pères — рю де Сен-Пер, улица в Латинском квартале, ведущая к набережной Сены.

С. 183. *Place Blanche* — площадь Бланш (т.е. Белая), лежит у подножья Монмартрского холма и обязана своим названием пролежавшим здесь дорогам из белого известняка. На этой площади находится знаменитое кабаре Мулен-Руж, а поблизости — площадь Пигаль.

«*Общее дело*» — ежедневная газета, редактировавшаяся Владимиром Львовичем Бурцевым, «разоблачителем провокаторов» (см. знаменитое «дело Азефа»). В Париже Бурцев был одним из организаторов, а затем членом президиума РНК (Русского национального комитета).

Биржа — здание Биржи, находится в районе Рынка.

Пале Бурбон — Бурбонский дворец, в настоящее время место заседаний Национального собрания.

С. 184. «*Современные записки*» — ежемесячный общественно-политический и литературный журнал (1920–1940), задуманный группой членов партии социалистов-революционеров (М.Вишняк, А.Гуковский и В.Руднев, а впоследствии еще и Н.Авсентьев и И.Фондаминский). Этот «толстый» журнал сумел стать органом всего русского зарубежья и заслужил репутацию одного из лучших журналов всей русской журналистики. В начале 1930-х гг. в «Современных записках» стали печататься представители «младшего» поколения и такие критики, как Г.Адамович и В.Вейдле, а также Г.Федотов.

Очень хорош Толстой. — Имеется в виду А.Н.Толстой.

Познакомился с Костей. — Имеется в виду Константин Терешкович. См. о нем коммент. к заметке «Florent Fels. Kostia Terechkovitch».

С. 185. *...в таверну на St. Michel...* — Бульвар Сен-Мишель в Латинском квартале и одноименная площадь, близ которой, на улице де Лирондель (ул. Ласточки), № 25, помещался маленький кабачок «Таверна Ля Боле» (ныне «Подвал Ля Боле»), где по субботам собирались представители различных направлений русской поэзии, объединившиеся в «Цех поэтов».

Карт — карт дидантите, удостоверение личности. Наличие или отсутствие этого документа превращало эмигранта либо в полноправного гражданина Франции, либо в изгоя. С 1917 г. иностранцам стали выдавать особую «карт дидантите», русским же беженцам, которых советское правительство декретом от 15 декабря 1921 г. лишило гражданства, выдавался «Нансеновский паспорт». С 1927 г. иностранцам стало легче получать французское подданство, зато экономический кризис вскоре привел к разным ограничениям и принуждениям: при отсутствии удостоверения о работе эмигрантов, в том числе и русских, стали высы-

лать за пределы страны. Многим русским, которым «к себе домой» возвращаться было нельзя, пришлось провести долгие годы то во французских, то в бельгийских тюрьмах.

Карпантье Жорж (1894–1974) — легендарный боксер, славившийся скоростью и точностью ударов. В 17 лет стал чемпионом Франции в полусреднем весе, а через несколько месяцев, 2 октября 1920 г., — чемпионом Европы. В июле 1921 г. в Нью-Джерси он потерпел поражение в попытке добиться звания чемпиона мира в тяжелом весе. Сам занимаясь боксом, Поплавский всю жизнь следил за этим видом спорта, о чем свидетельствуют его статьи («О боксе», «О боксе и Примо Карнера») и запись, занесенная 9 июля 1932 г. в альбом Зинаиды Шаховской: «Я надеюсь, что Ал.Браун победит Кида Франсиса <...>, потому что он принадлежит к отходящему спортивному поколению, как и я».

Талов Марк (Марк Мария Людовик) Владимирович (1892–1969) — поэт, переводчик. Осенью 1913 г. через Бессарабию нелегально эмигрировал в Париж. Участник парижской группы «Палата поэтов» (1921–1922). В 1922 г. через Берлин вернулся в Россию. О нем вспоминает Андрей Седых: «Странный человек с чувственным ртом и безумными глазами». К своему имени он скромно прибавлял эпитет: «трубадур России» (*Седых А.* Далекые, близкие. М.: Моск. рабочий, 1995. С. 268).

С. 186. «*Гатарapaк*» — литературно-художественное объединение. Последнее упоминание о нем в прессе относится к 1922 г. В тот день состоялся 36-й очередной вечер «Гатарapaка», посвященный публичной беседе «О живописи» под председательством художника Виктора Барта. Кроме чтения и разбора стихов участников объединения, а также советских поэтов (в том числе Ахматовой), здесь организовывались выставки, слушались и обсуждались доклады. Так, 21 февраля 1922 г. Вольдемар Жорж (известный французский критик) прочел доклад о кубизме, а Винсенте Гюидобро (чилийский поэт) — доклад о пуризме. После закрытия «Гатарapaка» его участники влились во вновь возникшие объединения (группы «Через», Союз молодых поэтов и писателей, «Числа»).

Шел... с Карским. — Сергей Карский, приятель Поплавского. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

Меркреду (от фр. mercredi) — среда.

Цвибак Яков Моисеевич (псевд. Андрей Седых; 1902–1994) — журналист, писатель, литературный критик. Приятель Поплавского. В воспоминаниях Вл.Сосинского о Цвибаке можно прочесть следующее: «Он (Поплавский. — *Е.М.*) был лучшим знатоком Парижа. На нем сделал себе карьеру один дотошный писатель. Я говорю о Якове Цвибаке, чьи книги о Париже выходили

не только по-русски, но и по-английски, испански и даже по-французски. А Цвибак просто знал стенографию, ходил с нами, когда мы гуляли по Парижу, и записывал все, что рассказывал Поплавский.

А рассказывал он изумительно. Мы подходили к какому-нибудь дому, дому, где жил Гюго или жила мадам Рекамье и бывали сотни великих людей, — перед нами разворачивалась вся многовековая история Франции. Где то было возможно, мы проникали во внутренние покои домов. Иногда на лестнице или в подворотне он восстанавливал сцену убийства, совершенного много столетий назад.

А Яков Цвибак все записывал. Теперь он больше не Цвибак, а Седых, Андрей Седых, главный редактор нью-йорского «Нового русского слова» (Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 189).

Можно ли полностью доверять этому свидетельству? Вероятно, Сосинскому просто изменила память. Рассказывая, например, о кончине Поплавского, он вместо Сергея Ярхо упоминает поэта Дряхлова, по его словам, «заядлого наркомана». К тому же известно, что уже 20 марта 1928 г. (т.е. при жизни Поплавского) Цвибак читал доклад «О старом Париже» в «Очаге русской культуры». Как бы то ни было, здесь еще раз подтверждается обширность познаний и увлечений Поплавского.

...тели Вертинского. — Вертинский Александр Николаевич (1889–1957) — актер, поэт, мемуарист. Путь Вертинского в эмиграцию параллелен пути Поплавского: из Москвы до Константинополя через Харьков, Одессу, Севастополь... В Париж, где он задержался на десять лет, Вертинский прибыл в 1925 г. Поплавский, возможно, слушал Вертинского в Константинополе, где певец выступал в маленьком кабаре «Черная роза» и затем в загородном саду «Стелла», о чем вспоминает Владимир Дукельский: «Где “Ваши пальцы пахнут ладаном” / Вертинский, жмурясь, распевал...» Свои шедевры — «В степи молдаванской» (1925), «Чужие города» (1934, в соавторстве с Райсой Блох), «О нас и о родине» (1935) — Вертинский создал в парижский период.

М. Perié — месье Перье, очевидно, столяр.

Купил бриош на Итали. — Купил булку на площади Итали.

«Сиркасис» — очевидно, одно из многочисленных русских кабаре, открывшихся в то время на площади Пигаль и в ее окрестностях.

Панис — неустановленное лицо, очевидно, скульптор.

С. 187. *Цимбалист* — одна из «симпатий» Б. Поплавского. Не удалось установить, имеет ли эта девушка какое-либо отношение к Ефрему Александровичу Цимбалисту, знаменитому скрипачу.

«Ротонда» — монпарнасское кафе, открывшееся в 1911 г. Здесь собиралась вся русская богема, жившая в тяжелых услови-

ях: «Работали мы не в “Ротонде”, а в нетопленных мастерских, на чердаках, в грязных мебелирашках, именуемых гостиницами», — пишет И.Эренбург и далее уточняет: «В “Ротонде” собирались не adeptы определенного направления, не пропагандисты очередного “изма”; нет ничего общего между сухим и бескрасочным кубизмом, которым увлекался тогда Ривера, и лирической живописью Модильяни, между Леже и Сутиным. Потом искусствоведы придумали этикетку “парижская школа”; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже» («Люди, годы, жизнь»).

С. 188. *Столовая Arago*. — Русская столовая на бульваре Араго.

Фиксман Давид Миронович (псевд. Довид Кнут; 1900—1955) — поэт «младшего поколения», прозаик. Давний и близкий друг Поплавского. В 1920 г. Кнут поселился в Париже, где вместе с Гингером, Парнахом, Божневым, Шаршуном основал «Палату поэтов»; был активным участником групп «Гатарапак», «Через». Вместе с Берберовой, Терапиано, Фохтом редактировал журнал «Новый дом». Участник Сопротивления, его жена Ариадна Скрябина была убита гестапо в Тулузе. После войны Д.Кнут вместе с детьми поселился в Израиле. Автор четырех поэтических сборников. В 1949 г. выпустил книгу «Избранные стихи».

С. 189. *...ходил на бульвар Рапп...* — В сквере Рапп, в доме № 4 в стиле модерн, до сих пор находится «штаб-квартира» Теософического общества, члены которого собираются в зале Адияр, названного в честь индийского города — духовного центра движения. Теософическое общество издает свой журнал «Голубой лотос».

Безант Анни (1847—1933) — теософ, одна из руководителей Теософского общества (с 1907 г.), участница национально-освободительного движения в Индии. В юности увлекалась социализмом, от которого отказалась в пользу теософии после ознакомления с книгой Е.Блаватской «Тайная доктрина». В Индии, куда она приехала проповедовать новое учение, А.Безант уделяла большое внимание развитию народного образования. Именно она открыла «нового Мессию» — Кришнамурти. Однако тяга к мистицизму не мешала А.Безант всю жизнь мечтать об эмансипации женщин. В 1893 г. по ее инициативе во Франции была создана первая женская масонская ложа с теософским уклоном. А.Безант считалась также «покровительницей скаутов всех стран мира», что подтверждает существование связи между Теософским обществом и скаутским движением.

С. 190. *Пошел в контору к папе...* — Получив в России музыкальное образование, Юлиан Игнатьевич Поплавский в Париже зарабатывал на жизнь, в основном используя свои юридические знания. В декабре 1921 г. он вместе с П.П.Гронским выступил с

докладом в Бюро защиты прав русских граждан за границей на организационном собрании Русского юридического общества. Впоследствии читал доклады в Российском торгово-промышленном и финансовом союзе и в Союзе русских инженеров, одновременно принимая участие в различных мероприятиях и как пианист; давал уроки музыки в Русском музыкальном обществе.

С. 191. ...отвечал на вопросы Ларионова. — Имеется в виду художник Михаил Ларионов. См. о нем коммент. к статье «О русской выставке в Берлине».

...говорили о Эдгаре По. — Во Франции его фантастические повести пользуются широкой известностью благодаря переводу Ш.Бодлера. Влияние Э.По ощутимо в «Аполлоне Безобразов».

Аронсон — по всей вероятности, скульптор Наум Львович, поскольку критик Григорий Яковлевич Аронсон был выслан из Советской России только в январе 1922 г. По заказу французского правительства Наум Аронсон исполнил около 15 бюстов Пастера, именно в период 1917–1922 гг.

С. 192. *Mme Ginger* — зубной врач.

С. 193. Френкель А. — художник, входивший в группу «Через».

Сидел на Паскале. — Т.е. на улице Паскаль. Поблизости, на улице Валанс, находилась русская студенческая столовая, где питался Поплавский.

В «Клюни» много рисовал. — Отель «Клюни», расположенный в Латинском квартале, на стыке бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель, представляет собой великолепный образец «пламенеющей» готики. В залах отеля, ставшего в середине XIX в. Музеем средневекового искусства Франции, находится богатая коллекция предметов прикладного искусства и столь же знаменитая серия gobelens «Дама с единорогом». Вполне возможно, что Поплавского привлекали сюда руины римских терм, примыкающих к стенам музея.

...зашел в кафе «Парнас». — После Первой мировой войны кафе «Вавен», примыкавшее к «Ротонде», переименовалось в кафе «Парнас» и стало настоящим оазисом для неимущей международной артистической богемы. 8 апреля 1921 г. здесь по инициативе Сергея Ромова и Огюста Клерже открылась выставка, в которой приняли участие 47 художников и скульпторов, в том числе Наталья Гончарова и Хаим Сутин. В предисловии к каталогу организаторы писали: «Сегодня мы выставаемся в “Парнасе”, но если завтра какое-нибудь другое кафе предоставит нам свои стены, то мы переберемся туда. Мы образуем компанию передвижников, и если это понадобится, каждый из нас превратится в человека-рекламу, чтобы на улице демонстрировать наши произведения» (Клерже и Ромов. Вступление: «47 художников выставаются в кафе “Парнас”»). Эта инициатива, горячо поддержанная критиком

Андре Сальмоном, положила начало укоренившейся впоследствии традиции вывешивать полотна на стенах монпарнасских кафе. Благодаря своей изобретательности, «младшее» поколение художников сумело обойтись без официальных салонов, куда доступа тогда ему не было.

С. 194. *Grande Chaumière* (Гранд Шомьер, *фр.*) — частная художественная академия на Монпарнасе; по всей вероятности, Поплавский не посещал ее в качестве постоянного ученика: это стоило дорого, к тому же он не смог бы придерживаться жесткого распорядка дня. Видимо, Поплавский заходил рисовать натурщиц, пользуясь «билетиками», которые ему давал Френкель (см. запись от 4 августа).

С. 195. ...*дал Добринскому 5 франков.* — Имеется в виду И.Добринский. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

Взял Дон Аминадо... — См. о нем коммент. к статье «Вокруг “Чисел”».

В «Палату»... — «Палата поэтов» — возникшее в 1921 г. объединение молодых поэтов и художников-эмигрантов, куда входили А.Гингер, Л.Гудиашвили, Г.Евангулов, И.Зданевич, Д.Кнут, В.Парнах, М.Струве, С.Судейкин, М.Талов, С.Шаршун и др. Основателем «Палаты» считался Довид Кнут, но в его статье, недавно опубликованной Владимиром Хазаном (*Довид Кнут. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1 / Сост. и комм. В.Хазана; вступ. ст. Д.Сегала. Иерусалим, 1997. С. 263*), утверждается, что это заслуга «поэта-кавказца Евангулова». «На роль основателя “Палаты поэтов”, — замечает В.Хазан, — исходя из разных источников, претендуют: Б.Божнев, <...> а также Бахрах» (Там же. С. 380).

Парнах (наст. фам. Парнок) Валентин Яковлевич (1891–1951) — поэт, переводчик, журналист. Брат поэтессы Софьи Парнок. Принадлежал к «Палате поэтов», был близок к дадаистам, что заметно уже из названий его выступлений (так, в «Палате поэтов» 27 октября 1921 г. он читал доклад «Рецепт для публики»). Валентин Парнах был и балетмейстером: на вечере С.Шаршуна (21 декабря 1921 г.) он демонстрирует «графические танцы». Парнах участвовал и в группе «Через», основанной И.Зданевичем в 1922 г. Вернулся в СССР в конце 1920-х гг.

Евангулов Георгий Сергеевич (Саркисович) (1894–1967) — поэт и прозаик. В 1921 г. из Грузии эмигрировал в Париж. В 1921–1922 гг. участвовал в «Палате поэтов» и в «Гатарапаке». В 1923–1924 гг. — участник литературно-художественной группы «Через». Умер в Гамбурге.

С. 196. *St. Geneviève* — Сент-Женевьев — Библиотека имени святой Женевьевы, покровительницы Парижа, расположена слева от Пантеона.

Барт Виктор Сергеевич (1887–1954) — художник. В России вместе с Н.Гончаровой, М.Ларионовым, К.Малевичем, И.Зданевичем и др. примыкал к группам «Ослиный хвост», «Бубновый туз», «Мишень». В Париже состоял в группе «Через», в литературно-художественном кружке «Гатарапак» и в группе «41^o». Барт часто организовывал и проводил публичные беседы и собрания (так, 29 марта 1922 г. в кружке «Гатарапак» состоялась его публичная беседа «О живописи», а 19 мая того же года он прочитал доклад «Членам моей профессии»). Вероятно, именно В.Барт ввел Поплавского в вышеупомянутые кружки.

В 1936 г. Барт, чье творчество не ценилось французской публикой, вернулся в СССР, где занимался в основном графикой. На родине его творчество также не получило должного признания. Автор теоретического труда «Относительность живописных выражений» (1922).

С. 198. *Брюнелли...* — В книге «Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни, 1920–1940» (ред. Л.А.Мнухин. Париж: YMCA-Press; М.: ЭКСМО, 1997. Т. 4) упоминаются три носителя этой фамилии. Среди них — пианистка, профессор консерватории, с которой, возможно, Б.Поплавский был знаком через отца.

С. 201. *С Шаршуним говорили о теософии.* — Речь о художнике и писателе Сергее Шаршуне. См. о нем коммент. к статье «О смерти и жалости в “Числах”».

С. 202. *Чюрленис* Микалоюс Константинас (1875–1911) — литовский художник и композитор. Его творчество пропагандировали мирискусники, в особенности С.Маковский.

С. 203. *...читал «Змея».* — Стихотворение Поплавского «Морской змей», предназначенное для сборника «Дирижабль неизвестного направления», было найдено в архиве И.Зданевича и впервые опубликовано Режисом Гейро (см.: *Поплавский Б.* Покушение с негодными средствами: Неизвестные стихотворения, письма к И.М.Зданевичу. М.: Гилея; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1997. С. 46: «По улице скелеты молодые / Идут в непромокаемом пальто...»).

...ругались с Кремнем... — Речь о художнике Павле Кремне. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

С. 204. *«Доктрин секрет»* (от фр. «Doctrine secrète») — «Тайная доктрина» (1888), известная книга Е.Блаватской.

С. 205. *Ромов* Сергей Матвеевич (1883–1939) — критик, покровитель молодых русских поэтов в Париже, близкий друг И.Зданевича, с которым основал группу «Через» (1922). Был редактором парижского журнала «Удар» (в 1922–1923 гг. вышло четыре номера), общался с французскими писателями, дружил с дадаистами, увлекался живописью и поэзией. В 1927 г. Ромов решил

съездить в СССР, но вернуться оттуда уже не смог. Был арестован (1930?), умер вскоре после освобождения.

Конкорд — площадь Согласия, отделяющая Елисейские Поля от сада Тюильри. В центре площади возвышается египетский обелиск из Луксора.

«*Олимпия*» — таверна на бульваре Капуцинов, где в 1924 г. Общество русских художников организовало «Олимпийский бал».

...из старого «*Гатарапака*» в новый. — В своей статье «Опыт «Гатарапака»» Довид Кнут вспоминает, что «впервые участники «Гатарапака»» собрались в кафе «Ля Боле», ставшем с 1921 г. излюбленным местом встреч русских молодых поэтов, но через несколько месяцев участники группы перекочевали из Латинского квартала в более просторный «Хамелеон».

С. 206. *Краснов* Петр Николаевич (1869—1947) — генерал от кавалерии, писатель. Принадлежал к знаменитой казачьей фамилии, активный участник Белого движения — сначала на Юге России, где его избрали атаманом Войска Донского, затем в армии Юденича. После ее поражения эмигрировал в Германию. Во время Второй мировой войны принимал участие в военных действиях против Красной армии. Выдан союзниками и казнен в Москве.

Как исторический романист особенно ярко проявил себя в эмиграции. Необычайно популярен был его четырехтомный роман «От двуглавого орла к красному знамени: 1894—1921» (1921—1922), выдержавший 3 издания.

С. 207. *Грановский* Хаим (1882—1942) — художник. Учился в Одесской художественной школе, затем — в Мюнхене. Поселившись в Париже, с 1909 г. работал статистом (натурщиком?) в академии Гранд Шомьер. Был известен всему Монпарнасу тем, что неизменно одевался ковбоем: в таком виде изображен на обложке каталога 1-й выставки, устроенной в кафе «Парнас». Увлекался дадаизмом, сотрудничал в группе «Через». Вместе с Соней Делоне и В.Бартом оформил постановку пьесы Т.Тцара «Бородатое сердце» (1923), через год вместе со Зданевичем и Бартом — живую картину «Триумф кубизма» для «Банального бала» (1924); автор обложки «заумной» драматической поэмы Зданевича «лиданти ЮфАрам» (1923). Был арестован 16 или 17 июля 1942 г., отправлен в лагерь Дранси, оттуда — в Аушвиц (Освенцим), где и погиб.

С. 208. *Был в Армии Спасения, слушали оратора...* — Об Армии Спасения см. коммент. к статье «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции». Русское собрание Армии Спасения помещалось на авеню дю Мен, 15 (т.е. на Монпарнасе). Там читались доклады на религиозные темы.

...книгой <...> Зданевича... — Речь о художнике и писателе Илье Зданевиче. См. о нем коммент. к статье «Ильезд. Восхищение».

...пошел на вечер *Куприна*. — Писатель Александр Иванович Куприн в июне 1920 г. через Копенгаген переехал из Гельсингфорса (Финляндия) в Париж. В конце 1921 г. стал членом правления и вице-председателем парижского Союза русских писателей и журналистов. С этим событием, возможно, связан упомянутый здесь вечер.

С. 211. 7.11.21. — Здесь, видимо, произошла какая-то путаница с датами при восстановлении текста в 1935 г.

Мандельштам Юрий Владимирович (1908–1943) — поэт и литературный критик. С 1920 г. жил во Франции. Окончил филологический факультет Сорбонны. Активный участник собраний «Зеленой лампы», «Круга», «Перекрестка», вечеров Союза молодых поэтов и писателей. Его первый сборник стихов «Остров» (1930) был высоко оценен критикой, позднее вышли еще три поэтические книги, из них одна — «Годы» (1950) — посмертно. В 1938 г. в Шанхае был издан сборник поэтических этюдов Мандельштама «Искатели». Погиб в немецком концлагере в Польше.

С. 212. *Шюре* Эдуар (1841–1929) — французский писатель-мистик, автор книги «Великие посвященные» и пьесы «Священная эвлезийская драма».

С. 216. *Мте Роза* — консьержка или натурщица.

...познакомился с *Кацем*... — Имеется в виду Мане-Кац. См. о нем коммент. к «Художественной хронике».

С. 217. ...*процесс Ландрю*. — Ландрю — знаменитый убийца, который знакомился с девушками, обещая им жениться, а потом убивал их и сжигал в печи.

С. 220. *Карцев* Ю.М. — инженер-химик.

Беликов — артист-любитель.

Поволоцкий Яков Евгеньевич (1889–1945) — издатель, книго-торговец. С 1918 г. жил в Париже, в 1920–1930-х гг. был владельцем магазина и издательства «Я.Е.Поволоцкий и К^о». Погиб в Париже в результате несчастного случая.

С. 222. ...*синема Danton*... — Кинотеатр, существующий до сих пор на площади Дантона в Латинском квартале.

На углу Жакоб... — Поплавский жил с отцом на улице Жакоб, 50.

С. 223. «*Боз Ар*» (от *фр.* «Beaux-Arts») — изящные искусства. Во время карнавала и в другие праздники художники и натурщицы устраивали шествия по городу, нарядившись в самые невероятные облачения.

Свешников — Владимир Кемецкий (Свешников; 1902–1938), поэт, член литературной группы «Через», «мистический марксист», был одним из создателей комсомольской организации в среде молодых эмигрантов и, вопреки желанию семьи, в 1926 г. вернулся в СССР (см.: *Страхова Э.* Стихи Владимира Кемецкого

// Наше наследие. 1988. № 2. С. 100; *Поплавский Б.* Дадафония. М.: Гилея, 1999. С. 108; *Лихачев Д.С.* Воспоминания. СПб.: Logos, 2006. С. 284—303). В стихотворении Поплавского «Оно» читаем: «Приятно пишет Александр Гингер / Достигши лучших чем теперь времен / И Свешников нежнейший миннезингер / И Божнев божий с неба обронен» («Дадафония», с. 21). Свешников, с которым Поплавский, возможно, познакомился еще в Константинополе, часто упоминается в дневнике поэта за 1921 г.: друзья вместе посещали лекции об искусстве и читали стихи.

С. 226. *Какабадзе* Давид (1889—1952) — художник, знакомый И.Зданевича. Жил в Париже с 1919 по 1927 г., после чего вернулся в Тифлис.

Ночью Цинтронович... — Фамилия этого художника упоминается среди членов комитета, ответственного за оформление залы для «Олимпийского бала».

С. 227. *...играли в снежки на Rue de Rennes...* — Улица Рен ведет от площади Сен-Жермен к Монпарнасскому вокзалу.

С. 229. *Рискин* Иван — поэт, входивший в группу «Через». В 1923—1924 гг. был издателем «Балтийского альманаха» (Каунас), ежемесячника литературы, искусства и экономики (всего вышло 4 номера).

«*Удар*» — художественно-литературная хроника (февраль 1922—1923 (1—4), Париж, редактор Сергей Ромов). В феврале 1923 г. в галерее «Ликорн» состоялась одноименная выставка.

Узнал адрес «Еврейской трибуны»... — «Еврейская трибуна» — еженедельник, выходивший в Париже в 1920—1924 гг. на русском и французском языках. Редактор — Максим Моисеевич Виновер. В 1920 г. редакция помещалась на улице Вашингтон, 3, Париж 8.

С. 231. *Со Свечником...* — По-видимому, со Свешниковым.

С. 232. *Пайлес* Исаак (1895—1978) — живописец и скульптор, участник Культурной Лиги в Киеве. С 1920 г. жил во Франции, участвовал в выставке группы «Удар».

Судейкин сказал... — Имеется в виду художник Сергей Судейкин. См. о нем коммент. к статье «Florent Fels. Kostia Terechkovitch».

С. 233. *Работал с... Ланским...* — Имеется в виду художник Андрей Ланской. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

С. 236. *...смотрели выставку Ханы Орловой.* — См. о ней коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

С. 238. *Удома нас удержал сержант и проверял бумаги.* — На эту тему К.Терешкович написал известную картину «Стражник города Авалона» (см. воспроизведение в «Числах», 1930, № 1).

...тон Коро... — Имеется в виду тон на картинах французского художника-импрессиониста Камиля Коро (1796—1875).

С. 243. *Grand Palais, Petit Palais* — Большой дворец и Малый дворец — два прилегающих друг к другу здания, построенные для Всемирной выставки 1900 г. В Большом дворце проходят выставки живописи. Здесь ежегодно устраивался «Салон Елисейских Полей», в котором участвовали художники академического направления, в том числе русские живописцы и скульпторы.

Курбе Гюстав (1819–1877) — художник-реалист, участник Парижской коммуны. Главные произведения: «Каменщики», «Похороны в Орнане».

С. 246. *Там был Божнев...* — Поэт Борис Божнев. См. о нем коммент. к статье «Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова “Петербургские зимы”».

С. 247. *Третьяков* Сергей Николаевич — промышленник, общественный деятель, член Русского комитета объединенных организаций.

Заговорили... о Кузmine... я резко сказал... что это мерзко... — Поплавский намекает на гомосексуализм петербургского поэта.

С. 248. *Шухаева* Вера Федоровна — художница прикладного искусства, жена В.С.Шухаева.

С. 249. *...читал «Заратустру»...* — Имеется в виду книга Ф.Ницше «Так говорил Заратустра».

Мещанинов Оскар Самойлович (1886–1956) — скульптор. В 1910-х гг. дружил с П.Пикассо, Д.Риверой, А.Модильяни, хотя сам был строгим реалистом.

С. 250. *Юлиус* Анатолий М. — поэт, входивший в группу «Через».

Из дневника. 1922. Берлин (с. 251). — Впервые: *Поплавский Б.* Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма / Сост. и коммент. А.Богословского и Е.Менегальдо. М.: Христианское изд-во, 1996. С. 137–139.

Этот дневниковый отрывок позволяет до некоторой степени представить роль наркотиков в жизни Поплавского. Ю.И.Поплавский, отец поэта, в биографическом очерке ни словом не обмолвился о губительном пристрастии сына, близкие друзья Поплавского также отрицали факт систематического употребления им наркотиков. И это можно понять: в 1920–1930-е гг. употребление наркотиков во Франции было под строжайшим запретом (эмигрантов могли просто выслать из страны). После берлинской исповеди можно определенно сказать: в мир «наркотических туманов» юноша вошел еще в России, предположительно в 1917 г. (он сам говорит о четырех годах мучений). В 1921 г. в Константинополе Поплавский принес покаяние в храме и волевым усилием попытался вырваться из объятий «зеленой змеи».

Антитезой этому распаду стало для поэта спасительное обращение к аполлоническому началу, природе. Недаром вслед за дневниковой записью в тетради мы находим своего рода манифест духовного возрождения — стихотворение Александра Гингера «Молочная дорога», написанное рукой его автора.

Впоследствии намеченная здесь антитеза послужила основой для создания противоречивого и загадочного образа Аполлона Безобразова, в котором воплощены многие черты поэта Александра Гингера (см. об этом: Полемика по поводу публикации «Аполлона Безобразова» в «Опытах» // *Поплавский Б.* Неизданное. С. 428).

Ниже приводим стихотворение А.Гингера «Молочная дорога»:

Безоружный! В назойливой битве
Щит единственный — крепкие сны,
Ты вверяйся Господней молитве,
Власти Солнца и власти Луны.

Наблюдая высокие лики,
Неудачно и тайно живи.
Ты забудешь улыбки и клики,
Ты забудешь и жесты любви.

Хорошо, что раскаяний многих
Горький опыт тебя посетил:
Ведь для скромных, дурных и убогих
Существуют утехи светил.

Поклоняясь Диане и Фебу,
Ты от ранней до поздней зари
Шли восторги прелестному небу,
В ясных высях умильно пари,

Каждый день у порога ночного
Деву моря приветствуй — Луну,
Утром Солнце приветствуй и снова
Отходи к утешителю-сну, —

Потому что на вешней поляне,
Терпелива, беспола, тиха,
Дева белых и слабых желаний,
Влажных слов и больного стиха;

Дивным именем целкой Дианы
Целомудренно наречена,
Отраженным огнем одеянна,
Сердце нежных — немая Луна.

И огонь, но уж не отраженный,
Деву моря поемлет в полон,

Пышный праздник, пожар обнаженный,
Знамя гордости — Феб-Аполлон.

Брат Дианы возникнет с Востока
И прекрасные реки польет,
Растопляя легко и жестоко
Полуночи расслабленный лед.

И великим — на ласковом блюде —
Пылом выпренного колеса
Жадно дышат и гады, и люди,
Дышат горы и дышат леса.

Обожай Аполлоновы стрелы,
Даже тело ему посвяти.
Сделай кожу свою загорелой,
Солнцем волосы позолоти.

Слугам Солнца нелепо и стыдно
Домогаться любовных отрад,
И поэтому в жизни обидной
Понесешь ты немало утрат.

Но горюет ли солнечный воин?!
В обещаниях неколебим,
И бесхитростен, и нераздовоен,
И всегда небесами любим,

Будет юн, и смешон, и незлобен,
Близок ветру, траве и зверям,
И в досаде младенцу подобен,
И по щедрости равен царям:

Так людей недостойных не трогай.
Шествуй, сонный, дорогой земной,
Восхищайся Молочной Дорогой,
Чудным Солнцем и чудной Луной.

С. 252. *...на раскаленном рыже-красном островке...* — В декабре 1920 г., после тяжелой второй эвакуации из России, Борис поселился с отцом на острове Принкипо в доме армянского патриарха. Здесь он и вернулся к православной религии, что привело к отказу от употребления опиума.

С. 253. *...чувствительно-утилитарная синяя птица джеклендонского Мартин Идена в интеллектуально-утилитарной цели.* — В романе Джека Лондона «Мартин Иден», главный герой которого двойник писателя, сильная личность, авантюрист, кончающий жизнь самоубийством, выражается протест против философии Ницше.

У Ницше эта встреча его с его великим врагом, духом тяжести, является одним из центральных моментов Заратустры. — См. гл. «О призраке и загадке» в книге Ф.Ницше «Так говорил Заратустра».

С. 254. «*И только высоко, у Царских врат...*» — Поплавский цитирует заключительную строфу из стихотворения А.Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905).

Дневник Т. Октябрь 1927 — январь 1928. Париж (с. 255). — Впервые: Новый Журнал. 1995. № 195. С. 173–205.

В единственном вышедшем при жизни Поплавского сборнике стихотворений «Флаги» (Париж, 1931) довольно много посвящений — и старшим, уже знаменитым современникам (Г.Иванову, Г.Адамовичу, Н.Оцупу, И.Одоевцевой, М.Шагалу, М.Ларионову), и молодым поэтам, писателям, художникам «незамеченного поколения» (А.Присмановой, А.Гингеру, Ю.Фельзену, Б.Заковичу, В.Мамченко, В.Андрееву, С.Шаршуну, А.Минчину, М.Блюму). Все они — ближайшие друзья Бориса Поплавского, и в истории культуры русского зарубежья о каждом из них сохранилось немало сведений биографического и творческого характера.

Несколько стихотворений во «Флагах» обращены к Татьяне Шапиро — девушке, которая была сильным увлечением Поплавского в 1927–1928 гг. и которую поэт называл «богиней жизни». Собственно, во «Флагах» Татьяне Шапиро посвящено лишь одно стихотворение — «Мистическое рондо-I» (в «Современных записках» — 1928, № 38 — напечатано под заглавием «Белый домик» и без посвящения). Другое стихотворение — «Богиня жизни», адресованное Татьяне Шапиро и ранее напечатанное в пражском журнале «Воля России» (1929, № 3), во «Флагах» оставлено без посвящения.

Татьяна Акимовна Шапиро во второй половине 1920-х гг. вместе с родителями жила в Париже и, по-видимому, летом 1928 г. уехала из Франции через Германию в СССР. Здесь она вышла замуж, пережила эпоху большого террора, войну 1941–1945 гг. и в начале 1960-х гг. встречалась с Н.И.Столяровой.

С Борисом Поплавским Татьяна Шапиро познакомилась в октябре 1927 г. в доме поэта. Мать Поплавского, скрипачка, окончившая в конце XIX в. консерваторию, в Париже зарабатывала на жизнь, открыв небольшую швейную мастерскую на дому. Может быть, Т.Шапиро попала в дом Поплавских в числе ее клиенток.

Тогда же Поплавский начинает вести дневник встреч с Татьяной Шапиро, каждый раз отмечая день и число.

Ни одна запись из этого дневника не включена составителем (по-видимому, Николаем Татищевым) в собрание дневниковых записей («Из дневников». 1928–1935), выпущенных друзьями Поплавского в Париже в 1938 г.

После знакомства с «Дневником Т.» некоторые обстоятельства жизни поэта заметно проясняются: так, мы узнаем о работе над романом «Аполлон Безобразов», начатой еще до поэтического дебюта Бориса Поплавского в 1928 г. (21 ноября 1927 г. он читает фрагменты из романа Татьяне Шапиро), становимся свидетелями его странствий по Парижу, слышим разговоры его друзей — художников и писателей, узнаем о тяжелых обстоятельствах жизни в семье Поплавского (мать, София Валентиновна, настойчиво требовала, чтобы сын искал постоянную работу и в быту нередко притесняла его), понимаем страстное стремление Бориса найти родственную душу и укрыться от всепроникающего холода жизни, желание обрести вдали от родины «трагический нищий рай для поэтов, для мечтателей и романтиков» («О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции»).

Несмотря на множество подробностей, дневниковые записи все же не дают представления о реальном облике Татьяны Шапиро.

«Бедная буржуазная девочка» в воображении Поплавского превращалась то в «софическую иллюминатику», то в «божественного ребенка», то в «прекрасную даму». Вероятнее всего, перед нами лишь один из «обольстительных фантомов», преследовавших поэта на протяжении всей его недолгой жизни.

Встреча с Татьяной Шапиро заставила Поплавского задуматься о необходимости когда-то сделать решающий выбор: высоты духовной жизни, «великолепная и полная религиозность», творчество — или иллюзия личного счастья.

Чувство Поплавского к Татьяне Шапиро, вначале не лишённое некоторой инфантильности, в дальнейшем заметно углубилось, приобретая временами подлинно трагический характер. В неизданной части дневника сохранилась запись от мая 1928 г.: «Черноглазый ангел уже далеко, на самом краю жизни, готовится отлететь. И те, кто близки друг к другу навеки, готовы уже расстаться навеки. О, ни с чем не сравнимая боль соприкосновения двух вечностей и дни, когда нечем жить ни в присутствии и вне присутствия. Не отходи, ведь Ты — предчувствие грядущих лет и будешь лучшим воспоминанием юности».

В августе 1932 г. в момент острого душевного кризиса Поплавский составляет завещание и в числе ближайших друзей и доброжелателей, «с которыми судьба мало дала видеться», называет и Татьяну Шапиро.

Хотя знакомство с Татьяной длилось чуть больше полугода, ее облик с годами не поблек и продолжал жить в душе Поплавского. В ноябре 1932 г. он записывает в дневнике: «Боже, как последнее время вспоминаю Татьяну — может быть, потому, что служба в том же квартале. Это опять какие-то сказочные города, золотые долины, торжественные античные сибиллины разговоры, — и все

это в отцветах роз и звуках отдаленных оркестров, и опять зима. И тогда мне ясно, что я не люблю Н<аташу> (Н.И.Столярову. — А.Б.)».

В 1938 г., уже после смерти Поплавского, друзья издали сборник его стихотворений «В венке из воска». В приложении к сборнику напечатаны «Дополнения к “Флагам” за 1927–1930 годы» с общим посвящением Татьяне Шапиро.

На обложке дневника и в тексте сохранились два рисунка: черными чернилами Поплавский набросал портрет Татьяны Шапиро.

Эпиграфы, которые дают ключ к восприятию последующего текста, были, по всей вероятности, приписаны позже, во время переписи тетрадей, где запечатлены особенно важные для поэта события.

С. 255. «Потому что мне духи тумана говорили об этом слоне»... — Неточная цитата из стихотворения Н.Гумилева «Замбези» (сб. «Шатёр»). У Гумилева:

Потому что мне духи тумана
Рассказали об этом слоне.

С. 256. ...читал «А.Б.». — Имеется в виду роман Поплавского «Аполлон Безобразов».

С. 257. ... *Muguet Coty*... — Мюге Коти — духи «Ландыши» знаменитого парфюмера Коти.

...у *Генриха IV*. — Памятник Генриху IV возвышается в центре Нового моста (Пон-Неф), самого старинного моста в Париже.

С. 258. ...*пришла со мной к Блюму*... — Имеется в виду художник Моисей Блюм. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

С. 259. ...*рассказала о Кесселе*. — Кессель Жозеф (1898–1979) — французский писатель русского происхождения, член французской Академии. В романе «Княжеские ночи» (1927) описал жизнь русских эмигрантов, вынужденных работать в ресторанах и кабаре Пигаля, где сам он любил проводить ночи. Страстный женолюб, Кессель, видимо, ухаживал и за Татьяной Шапиро.

...*около Данфер*... — Denfert-Rochereau (*фр.*), площадь вблизи Монпарнаса. Около входа в катакомбы разбит уютный садик, место встреч влюбленных пар.

Милый Парнок... — Возможно, Валентин Яковлевич Парнах.

С. 264. *Целый день сидел у Минчиных*. — Имеется в виду семья художника Абрама Минчина. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже».

С. 265. *У Черновых*... — Имеется в виду семья Виктора Михайловича Чернова (1873–1952), лидера партии социалистов-рево-

люционером, министра земледелия Временного правительства, председателя Учредительного собрания. Друзья Поплавского — Вадим Андреев и Бронислав Сосинский — были женаты на дочерях Чернова.

С. 272. *Беляев* Константин — художник, друг Поплавского. ...у *Бонмарше*. — Имеется в виду большой магазин.

С. 273. *Quai des Orfèvres* — набережная Ювелиров (*фр.*); в доме № 72 жил в то время Поплавский.

С. 275. *Шура* — Александр Гингер.

С. 277. *Mост des Arts* — Мост искусств (*фр.*), пешеходный железный мост, соединяющий Лувр с Национальным институтом, излюбленное место художников и поэтов: оттуда открывается вид на оба берега Сены и на Сите, сердцевину Парижа.

Из дневника. 1929—1931. Париж (с. 280). — Впервые: Русская мысль. 1989. 8 декабря. № 3805.

Пометки на дневниках 1929—1931 гг. относятся к 1934 г. Главная тема здесь — тема Христа, обозначенная во вступительных заметках. В эти годы Поплавского занимает также вопрос о сущности поэзии, чему посвящены первые страницы выдержек из «Дневника 1928—1935».

Из дневника. 1932. Париж (с. 295). — Впервые: *Поплавский Б.* Незданное. С. 173—200.

Этот дневник в основном посвящен сложным и мучительным отношениям с Наталией Ивановной Столяровой (1912—1984). В дневнике она — Наташа, Голубь, просто собеседник («Ты»).

Н.И.Столярова — дочь народоволки Наталии Сергеевны Климовой (1885—1918), участвовавшей в 1906 г. в покушении на П.А.Столыпина. Смертный приговор Н.С.Климовой был заменен каторжными работами, и девушке удалось бежать из тюрьмы. В Италии, куда она добралась через Монголию и Японию, Н.С.Климова вышла замуж, но вскоре после рождения дочерей — Наталии и Екатерины — заболела и умерла. Девочки воспитывались в Париже, где в 1934 г. Наталия Ивановна познакомилась с Борисом Поплавским. Несмотря на взаимную любовь, Н.И.Столярова решила уехать в СССР, где была арестована в 1937 г. и приговорена к восьми годам лагерей. Освободившись из Карлага в 1945 г., Н.И.Столярова впоследствии работала секретарем у И.Эренбурга. Она переправила «Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына на Запад.

Приписки на полях (кроме одной, что особо оговорено в примечании) были сделаны Поплавским в июне-июле 1935 г. К тому же времени относятся и подчеркивания отдельных фраз (в тексте выделено курсивом). Записи на полях, замечания бытового по-

рядка или же комментарии типа «позорное громкоговорение» составляют своеобразный контрапункт к основным темам, затронутым в дневнике. Здесь сказывается и тяга к музыкальному построению «живого документа», каким является дневник, и установка на предельную откровенность, выражающуюся в стремлении писать «по-розановски»: «...пиши животнo, салом, калом, спермой, самим мазаньем тела по жизни...» (запись от 27.2.1934). Отказ от чистой духовности, внимание к бытовому облику человека и выдвижение на первый план вопроса о личной жизни особенно характерны для последнего периода жизни поэта, которого встреча с Наталией Столяровой привела к решительной переоценке ценностей.

С. 295. *Дина* — Дина Григорьевна Шрайбман (1906—1940), жена Н.Д.Татищева, друга и душеприказчика Поплавского. См. письма Поплавского к ней в наст. томе.

С. 296. *Циля* Грабойс — знакомая Поплавского.

Дряхлов Валериан — поэт, друг Поплавского.

Проценко Леонид — знакомый Поплавского, о нем вспоминает В.Яновский в книге «Поля Елисейские».

С. 300. ...*вспоминаю Татьяну...* — Татьяну Шапиро (см. о ней коммент. к «Дневнику Т.»).

С. 302. *Спор... Аня с Петром...* — См.: Деян 5:1—10.

С. 303. *Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 222) — христианский богослов, родом из Карфагена. Ему принадлежит изречение: «Верю, потому что это абсурдно».

Иринея (ок. 130—208) — архиепископ галльских городов Лион и Вьен. Автор знаменитого сочинения в пяти томах «Adversus haereses» («Против еретиков»), Иринея считается первым теологом в истории христианской церкви.

С. 304. *Луся* — Борис Григорьевич Закович (1907—1995) — поэт, близкий друг Поплавского. В эмиграции с 1920 г. Публиковал стихи в эмигрантской периодике. Автор поэтического сборника «Дождь идет над Сеной». Сыграл роковую роль в жизни Поплавского, давая ему различные болеутоляющие (наркотические) средства, которые унаследовал от отца, зубного врача. Ему посвящен сборник Поплавского «Снежный час».

С. 310. *Йенсен* Йоханнес Вилхелм (1873—1950) — датский прозаик и поэт, в 1944 г. удостоенный Нобелевской премии. Автор сборников «Свет вселенной» (1926) и «Ветер Ютланда» (1931), в которых воспевал любовь к женщине, жене и матери.

С. 312. *С<оня>* — знакомая Поплавского.

С. 313. *Шиловский* — инженер, в его семье жила Н.И.Столярова в 1920—1930-х гг.

С. 316. *Algih, Iehouda* — термины Каббалы.

С. 318. «*Ведь и так темна и хороша темная звериная душа*»... — Неточная цитата из стихотворения О.Мандельштама «Ни о чем не нужно говорить...» (1909). У Мандельштама: «И печальна так и хороша / Темная звериная душа».

С. 322. *Сефира* — см. коммент. к статье «С точки зрения князя Мышкина».

Адам Кадмон — первородный, небесный Адам, прототип Адама земного — первого человека.

С. 323. *Гашкель* — знакомый Н.И.Столяровой, соперник Поплавского, вероятно, прообраз появляющегося в Фавьере «жениха» Татьяны (в романе «Домой с небес»).

«*L'homme que j'ai tué*» — «Человек, которого я убил» (фр.) — американская кинокартина Эрнста Любича (1932). Английское название: «Broken Lullaby».

С. 328. *Валя* — Валентина Поплавская, жена брата Поплавского — Всеволода.

Разговор о Шатерлее... — Т.е. о книге Д.Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928).

С. 329. *Ладинский* Антонин Петрович (1896–1961) — поэт и прозаик, друг Поплавского. Участник Первой мировой войны, офицер Белой армии. С 1920 г. в эмиграции. Жил исключительно литературным трудом (переводил с английского, служил в «Последних новостях», основное время посвящая собственно творчеству). Выпустил пять книг стихов. Первые две — «Черное и голубое» и «Северное сердце» — вышли в 1931 г. Автор исторических романов «XV легион» (Париж; Таллин, 1937), «Голубь над Понтом» (Таллин, 1938), сб. путевых очерков «Путешествие в Палестину» (София, 1937). В 1946 г. занял активную просоветскую позицию. 5 сентября 1950 г. был выслан из Франции, жил в ГДР, в марте 1957 г. вернулся на родину.

Из дневника. 1933. Париж (с. 331). — Публикуется впервые. Эти страницы разбирали А.Н.Богословский и Н.И.Столярова, которая перевела французские тексты в дневнике.

С. 331. *Франциск в истории с привратником*. — Поплавский имеет в виду беседу св. Франциска Ассизского с братом Львом (см.: Цветочки святого Франциска Ассизского. СПб.: Амфора, 2006. С. 173–174).

...она (*демон гордый*...)... — Речь идет о Наталии Столяровой. В дневнике 1933 г. она — Н., Наташа.

С. 332. *Савинков* Лев Борисович (1912–1987) — поэт, журналист, сын знаменитого эсера-террориста Б.В.Савинкова, друг Поплавского.

Письмо от Дины о бале... — Возможно, речь идет о главе из романа «Аполлон Безобразов» — «Бал», опубликованной при жизни Поплавского в журнале «Числа» (1934. № 10. С. 133–149). Дина Шрайбман могла читать главу из романа еще в рукописи.

С. 338. *...как в страшном стихотворении Лермонтова, где после смерти он видит себя прикованным к гниению тела.* — Речь идет о стихотворении Лермонтова «Смерть» (1831).

Немец погрузился в АРТ... — Вероятно, жилец в квартире Поплавских в Париже.

С. 340. *«Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы»...* — Строка из одноименного стихотворения (1920) О.Мандельштама.

С. 341. *Макс Шелер* (1874–1928) — немецкий философ, основоположник аксиологии и философской антропологии.

«Caroulade» — «Капулад» — студенческое кафе в Латинском квартале.

...голос Кати... — Катя — сестра Н.И.Столяровой.

Лида — Лидия Давыдовна Червинская (1907–1988) — поэт «незамеченного поколения». Во время Гражданской войны эмигрировала с семьей через Константинополь в Париж. Автор поэтических сборников «Приближения» (Париж, 1934), «Рассветы» (Париж, 1937), «Двенадцать месяцев» (Париж, 1956). Публиковала в журнале «Числа», помимо стихов, критические статьи и литературно-философские этюды. Поплавский какое-то время был увлечен Червинской.

Лея — Кельберин Лазарь Израилевич (1907–1989) — поэт, муж Л.Д.Червинской, друг Б.Поплавского. Публиковался в «Современных записках» и других периодических изданиях. Автор поэтической книги «Идол» (Париж, 1929).

Гарик — неустановленное лицо.

С. 356. *...возвращаясь от холодной Мата Хари...* — Видимо, имеется в виду кинофильм о шпионке Мата Хари — в главной роли Грета Гарбо.

С. 359. *Варшавский* Владимир Сергеевич (1906–1977) — писатель, мемуарист, литературный критик. Из России уехал с семьей в 1918 г. Жил в Чехословакии, где окончил гимназию и юридический факультет Карлова университета. В 1926 г. переехал в Париж, поступил в Сорбонну и в течение нескольких лет изучал литературу. Публиковал рассказы в «Современных записках», «Воле России», «Числах» и других периодических изданиях. В 1939 г. вступил в ряды французской армии, участвовал в Сопротивлении. Был в немецком плену, освобожден союзниками. В 1950 г. в Париже вышла в свет его книга «Семь лет», раскрывающая переживания автора, участника Второй мировой войны. В том же году Вар-

шавский переселился в США, где вскоре издал свою программную книгу «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956).

Café des Deux Magots — кафе «Двух китайских болванчиков» (фр.) на площади Сен-Жермен, заслужившее известность после Первой мировой войны: его завсегдатаями были Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. «Болванчиками» можно любоваться и по сей день во внутреннем зале кафе.

С. 362. ...разговаривал с Л.Д. — Имеется в виду Лидия Давыдовна Червинская.

С. 364. «Кермес» — «Ярмарка» (фр.), спортивный зал, где упражнялся Поплавский.

«Космос» — кафе; «Оазис» — танцевальный зал.

С. 365. *Тиферет* (Тиферет) — шестая Сефира в Каббале, великолепие.

«Тело» — роман Е.Бакуниной.

С. 366. ...с графиком... — Граф Н.Д.Татищев.

С. 367. *Наташа Поплавская* — племянница Б.Поплавского.

С. 368. *Весна, растворяется первая рама...* — Отсылка к стихотворению А.Майкова «Весна! Выставляется первая рама...» (1854).

Малкут — Царство Небесное в Каббале.

С. 369. *Бинах* — третья Сефира, ум.

С. 370. *P.Janet* — Пьер Жане (1859–1947) — французский психолог и психопатолог, оказавший значительное влияние на развитие психологии как науки.

С. 372. *Клармар* — предместье Парижа вблизи Медона, где жило много русских, в том числе и Н.Бердяев.

С. 375. *Володя* — Владимир Варшавский.

«О личном и общественном человеке» — конспект статьи «Человек и его знакомые» (Числа. 1933. № 9. С.135–138).

С. 378. *Скучал вчера после чернорабочей «Зеленой лампы» с Боранецким...* — «Во вторник, 4-го апреля, в зале Сосьете Савант (8, рю Дантон, метро Одеон) — открытое собрание “Зеленой Лампы”. Доклад П.С.Боранецкого: “Человек и машина”, к обоснованию титанического мирозерцания. В прениях — Б.Вышеславцев. З.Н.Гиппиус, Л.Н.Кельберин, Д.С.Мережковский, Н.А.Оцуп, Б.Ю.Поплавский, Ю.К.Терапиано, Г.П.Федотов и др. Начало в 21 ч.» (Последние новости. 1933. 1 апреля. № 4392).

Из дневника. 1934. Париж. О свободе. Песнь безумца о свободе камней (с. 380). — Впервые: Русская мысль. 1990. 28 декабря. № 3860.

Среди многих тетрадей с дневниковыми записями Б.Поплавского у его друга и душеприказчика Н.Д.Татищева сохранялась и книжка в переплете, снятом с журнала «Русский архив» (издание выходило в Югославии на сербскохорватском языке). Под облож-

ку были вплетены листы толстой бумаги; в этой тетради Поплавский вел дневник в конце февраля и в марте 1934 г.

«О свободе» — так была озаглавлена тетрадь. «Посвящается Наташе С.».

В середине 1970-х гг. я увидел тетрадь в Москве у Н.И.Столяровой и вскоре с ее разрешения начал разбирать дневник Поплавского.

Почерк Б.Поплавского довольно сложный, многие слова сливаются с соседними, некоторые разобрать так и не удалось, но большинство трудных мест прочла Н.И.Столярова, она же перевела французские тексты в дневнике, в том числе и стихотворение «Песнь безумца о свободе камней» (см. об этом: *Богословский А.* О литературном наследии Б.Поплавского и о судьбе его архива // *Поплавский Б.* Неизданное. С. 53–61).

С. 380. *Похотливость козла свидетельствует о величии Бога.* — Строка из поэмы У.Блейка «Бракосочетание Рая и Ада».

Из дневника. 1934. Париж (с. 388). — Впервые: Поплавский Б. Неизданное. С. 208–218; Вестник РХД. 1990. I (№ 158). С. 250–261.

Начальные страницы этих дневниковых записей также посвящены отношениям с Н.И.Столяровой.

С. 392. *Зигварт* Кристоф Вильгельм фон (1789–1844) — немецкий философ, профессор университета города Тюбинген, автор учебника по логике.

С. 398. *Володя* — Владимир Варшавский.

..сел поближе к Адамовичу, и тот ласково-устало закокетничал со мной: «Говорят, Вы в “Числа” замечательную прозу дали». — Разговор с Г.Адамовичем о романе «Домой с небес» (отрывок «Бал» // Числа. 1934. № 10).

С. 400. [*Личность и общество*] — по-видимому, начало незаконченной статьи «Личность и общество». В 1934 г. в журнале «Встречи» (№ 3) была помещена анкета «Личность и общество». Отвечая на ее вопросы, молодые писатели русского зарубежья — В.Варшавский, Ю.Терапиано, Б.Поплавский и Ю.Фельзен — решительно выступили в защиту личности, против поглощения ее государством (советским или нацистским), обществом, коллективом. Поплавский также высказался в защиту свободы личности, творчества и, учитывая опасность абсолютизации такой свободы, все же отдал ей предпочтение перед господством архитектурно законченных фашистских государств («Вавилон — типично фашистское государство»).

Набросок представляет собой дальнейшее развитие идеи Поплавского о борьбе личности с обществом. Следует отметить, что писатель считал возможным их примирение — в обществе, которое он назвал «свободно принятым коммунизмом». Коммунизм, о котором говорит Поплавский, конечно, не имеет ничего общего с советским реальным социализмом и скорее близок к религиозному строю первохристианских общин, и Иерусалимской общины в особенности, а также к «божественному коммунизму» св. Франциска и его учеников.

Зороастр — греческое имя Заратустры.

С. 402. *Вaal* — древневосточный бог, кроважидный культ которого был распространен в Финикии, Сирии и Палестине.

С. 404. *В поисках собственного достоинства. О личном счастье в эмиграции.* — 29 мая 1934 г. ежедневная газета «Возрождение» объявила о предстоящем собрании «Зеленой лампы»: «31 мая, в 21 час, в амфитеатре “Д” Сосьете Савант, 8 рю Дантон, метро Одеон и Сен-Мишель, — открытое собрание “Зеленой лампы”. Собеседование на тему: “О личном счастье в эмиграции”. Вступительное слово Б.Ю.Поплавского. В прениях: Г.В.Адамович, А.В.Алферов, Б.В.Дикой, В.А.Злобин, Л.И.Кельберин, В.С.Варшавский, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Ю.К.Терапиано, Ю.Фельзен».

Черновой набросок статьи «В поисках собственного достоинства» в дневнике Поплавского за март 1934 г., видимо, и является вступительным словом, которое поэт произнес на собрании «Зеленой лампы» 31 мая.

С. 405. *Мад* — карикатурист ежедневной газеты «Возрождение».

С. 406. «*Союз возвращения на Родину*» — просоветская организация, действовавшая в 1930-х гг. на территории Франции. Члены Союза призывали эмигрантов возвращаться в СССР. Ведущую роль в Союзе играл С.Я.Эфрон, муж М.И.Цветаевой, позднее разоблаченный агент НКВД.

С. 407. *...вся эмиграция, — как муж без жены — Родины, и Россия — жена без мужа...* — Эту мысль Поплавский впервые высказал на открытом собрании «Чисел» 9 марта 1934 г., где Г.В.Адамович читал доклад «Верность России» (Последние новости. 1934. 6 марта. № 4730). См. запись от 10.3.1934 г.

Характерно, что Поплавского сближает с Блоком романтическое и глубоко мистическое представление о России как о Жене, но не Матери.

С. 408. *Мне возражат, что это подвиг, если богатые классы в России тратили деньги на революцию...* — О деньгах, которые давали на революцию имущие слои, богатые люди в России, Б.Поплавский говорил и на открытом собрании «Зеленой лампы» «Деньги, деньги, деньги...» 23 марта 1934 г. «Вступительное слово

В.Варшавского и З.Гиппиус. В прениях: Г.Адамович, А.Алферов, Б.Дикой, В.Злобин, Г.Иванов, Н.Оцуп, Д.Мережковский, Б.Поплавский, Ю.Терапиано» (Последние новости. 1934. 18 марта. № 4742). Привожу также краткий отчет о собрании («В “Зеленой лампе”»), помещенный в варшавском еженедельнике «Меч» (1934. 20 мая. № 1/2) за подписью В.З<лобин>:

«23 марта в Париже, под председательством Георгия Иванова, состоялось первое открытое собрание “Зеленой лампы”, посвященное теме о деньгах: “Деньги, деньги, деньги...”. Подробный отчет об этом собрании будет опубликован в следующем номере “Меча” вместе с докладом З.Н.Гиппиус. Пока мы даем лишь краткую заметку.

Ораторы, участвующие в прениях, разделились на две неравные группы. Большинство осуждало — не самые деньги, конечно, — но отношение к ним современного человека, для которого они — всё. Остальные возражали против слишком пренебрежительного к ним отношения, видя в этом дешевый снобизм и лицемерие, ибо, как воскликнул один из ораторов: “Нам всем хочется побольше денег!”

Очень характерные доводы — житейского порядка — привел в защиту денег Г.В.Адамович. По его мнению, человек хочет казаться иным, чем есть. Человек хочет добиться большего, чем соглашается дать ему природа, большего, чем он иногда имеет право получить: в общественном уважении, в славе, а особенно — в любви и во всех “окололюбных” областях успехов и вожделиний. Но если у среднего современного человека отнять понятие о деньгах и мечту о них, у него поистине были бы “подрезаны крылья”. Нечем было бы искупить обиды природы и нечего было бы ей противопоставить.

Б.Поплавский, тоже говоривший в “защиту денег”, обвинял тех, кто их давал на революцию. Русская интеллигенция и русская буржуазия, поддерживавшая из своих средств освободительное движение, работала на свое уничтожение и на уничтожение своих детей, которых она как бы обрекала на заклятие. В этом предпочтении отвлеченного общественного идеала идеалу семейной и личной жизни, в которой, по мнению оратора, сейчас единственное спасение, величайший грех русского имущего класса, собственными руками себя уничтожавшего.

Д.С.Мережковский, как всегда, говоривший последним, оживил собрание своей страстной речью. Недаром его считают одним из самых блестящих ораторов. В своей речи Д.С.Мережковский, между прочим, сказал, что нет вещи более абстрактной, чем деньги. Это как бы “чистейший кристалл похоти”, в котором сосредоточились все человеческие вожделения. Вот почему Скупому Ры-

царю достаточно было созерцать свое богатство, чтобы испытывать величайшее наслаждение...»

Из *дневников. 1928–1935* (с. 409). — Впервые: Поплавский Б. Из *дневников. 1928–1935* / Сост. Н.Д.Татищев. Париж, 1938.

С. 409. *Ах, этот жест для Поликрата — чистая ложь и порнография. А рыба стихотворения всегда все приносит в разинутой пасти...* — Поликрат (ум. 523 или 522 до н.э.) — греческий тиран, царствовавший на острове Самосе. Боясь разгневать богов своим непрерывным счастьем, он решил принести им в жертву свой любимый золотой перстень, бросив его в море. На другой день этот перстень был найден в рыбе, поданной на стол тирана: считалось, что боги отказались принять его мелкое подаяние.

С. 411. *...следовал Кратесу, беззаботному афинскому нищему атлету.* — Кратес — знаменитый греческий киник. Добровольно расставшись со своим богатством ради «естественной» жизни, Кратес стал нищим, жил на улице; его сопровождала жена, делившая с ним все тяготы кинического «опрошения». Имел огромное влияние на учеников, покоряя их своим мужеством и возвышенными речами.

С. 415. *N* — имеется в виду Н.А.Оцуп, друг Поплавского. См. о нем коммент. к статье «По поводу...».

С. 422. *«Над обрывом / Осень, рыжая кобыла, чешет гриву».* — Неточно цитируется стихотворение С.Есенина «Осень» (1914–1916). У Есенина: «Тихо в чаще можжевеля по обрыву. / Осень — рыжая кобыла — чешет гриву».

«Ярко-желтый закат за окном...» — Неточная цитата из стихотворения А.Блока «Унижение» (1911). У Блока: «Желтый зимний закат за окном. / (К эшафоту на казнь осужденных / Поведут на закате таком)».

С. 423. *...картину Незнакомки со шлагбаумами, остряками в котелках, рекой и девушкой в перьях, рестораном, сокровищем...* — Имеется в виду стихотворение А.Блока «Незнакомка» (1906).

«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...» — Начальные строки одноименного стихотворения (1912) А.Блока из цикла «Пляски смерти». У Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

«Я помню, в этой бухте сонной...» — Неточная цитата из стихотворения А.Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...» (1911–1914).

С. 441. *Triste est le monde, le monde est triste / La belle Rosemonde embrasse son Christ.* — Цитата из Г.Аполлинера.

С. 442. *Шлецер* (Шлёцер) Август Людвиг фон (1735–1809) — немецкий математик, один из первых применил статистическую науку в области общественных наук.

У М. милая пикировка с А. — Имеются в виду Мережковский и Адамович.

...зависть к Лидиным успехам. — Имеется в виду Лидия Червинская.

С. 449. *Ф., встреченный утром...* — Имеется в виду Ю.Фельзен, друг Поплавского. См. о нем коммент. к статье «Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова “Петербургские зимы”».

Статья, наспех взятая кем-то сразу после смерти Б.Поплавского и никогда не возвращенная. — Статью взяла Мирра Бальмонт.

...и снова мягкая, почти пуховая, лебединая, строгая нежность обреченного, бледного, монгольского лица... — Имеется в виду Д.Г.Шрайбман.

ПИСЬМА

Известно, что Поплавский вел обширную переписку, которая после смерти его близких друзей пропала вместе с их архивами. Исключение составляют письма Поплавского к Илье Зданевичу, Юрию Иваску и письмо Брониславу Сосинскому, относящиеся к периоду существования группы «Через». Своим возлюбленным — Татьяне Шапиро, Дине Шрайбман и Наталии Столяровой — Поплавский отправлял особенно длинные письма — иногда до восемнадцати листов. На вопрос А.Н.Богословского, не сохранились ли эти письма, Н.И.Столярова ответила: «Большая часть осталась в Париже и пропала во время войны, так же как и мои письма к нему — их Поплавские вернули моей сестре после его смерти. Письма в Москву, тоже немалая пачка, были отобраны со всеми моими дневниками и т.д. при аресте». После смерти Столяровой из ее квартиры при загадочных обстоятельствах пропал весь ее архив, в том числе и подлинник записки Марины Цветаевой, которую А.Н.Богословский смог опубликовать по снятой им копии. В личном архиве Дины Шрайбман хранилось несколько писем Поплавского, относящиеся к переломному 1932 г., и его шуточное письмо к Бетти Шрайбман.

Д.Г.Шрайбман (с. 457). — Письма Дине были разобраны Анатолием Вишневым и опубликованы им, без комментариев и с некоторыми купюрами, вместе с письмами Дины Шрайбман и Николая Татищева в книге «Перехваченные письма», гл. 4 (М.: О.Г.И., 2001. С. 296–297, 298–299, 304–306, 310).

Дина Григорьевна Шрайбман (1906–1940) — жена Н.Д.Татищева, друга и душеприказчика Поплавского.

Пять писем Поплавского, хранившиеся в личном архиве Дины Татищевой (в девичестве Шрайбман), относятся к тому переломному периоду, когда Поплавскому пришлось сделать окончательный выбор между Диной, к которой он был очень привязан, и Наталией Столяровой. Эти сложные отношения отразились в романе «Домой с небес», на биографические корни которого данные письма бросают яркий свет. В середине сентября 1932 г. Дина, измученная туберкулезом и душевными переживаниями, отправилась на отдых в Вандею, в местечко на берегу океана, Сен-Жиль-Круа-де-Ви, где в свое время отдыхала и М.Цветаева: до Второй мировой войны этот живописный порт был излюбленным местом отдыха многих русских. Дина гостила у Анны Банд, возможно, жены или родственницы художника Макса Банда.

Поплавский, после пребывания в Фавьер вернувшись один в Париж и не найдя Дину, которой собирался пояснить свои противоречивые и путаные чувства, впал в состояние глубокой депрессии. Письма к Д.Шрайбман и отражают этот сложный период в его жизни.

С. 457. *Ида* — Ида Григорьевна Карская (урожд. Шрайбман; 1905–1990) — художница, сестра Дины и жена давнего друга Поплавского Сергея Карского.

Пуся — Борис Закович. См. о нем коммент. к Дневнику 1932 г.

Николай — Николай Татищев. См. о нем коммент.: Николай Татищев. Из разговоров с Борисом Поплавским (Приложение).

Ste.Anne — Сент-Анн, «Святая Анна» — название больницы для душевнобольных, расположенной в том районе, где жил Поплавский. Эта больница знаменита тем, что в ней в XIX в. Ж.Шарко открыл психическую основу истерических заболеваний. Одним из учеников французского психиатра был З.Фрейд.

С. 458. ...*тот бедный голландец*. — Возможно, Ван Гог.

С. 461. *Граф* — Н.Татищев.

Зелюк Орест Григорьевич — издатель. См. о нем коммент. к Дневнику 1921–1922 гг.

С. 465. *Версанжеторикс* — Имеется в виду Верцингеториг (Vercingetorix) (?—46 до н.э.) — вождь антиримского восстания галлов.

Тангейзер (ок. 1205–1270) — немецкий поэт-миннезингер.

Б.Г.Шрайбман (с. 467). — Впервые: Менегальдо Е. Борис Поплавский в «раю друзей» // From the other Shore. Russian Writers Abroad. Past and Present. 2004. № 4. P. 49–73.

Бетси (Бетти) Григорьевна Шрайбман — сестра Дины Шрайбман. В Париже работала гувернанткой. После смерти сестры смотрела за детьми Татишевых. В годы оккупации Парижа немцами была арестована гестапо как еврейка и погибла в концлагере.

С. 467. *Гингеры очень хотели бы, чтобы Вы приехали.* — Чета поэтов — Александр Гингер (см. о нем коммент. к Дневнику 1921–1922 гг.) и Анна Семеновна Присманова (1892–1960) — жили тогда в Нормандии, и Поплавский гостил у них вместе с Диной.

И.М.Зданевичу (с. 468). — Впервые: Поплавский Б. Покушение с негодными средствами: Неизвестные стихотворения и письма к И.М.Зданевичу / Сост. и предисл. Режиса Гейро. М.: Гилея; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1997. С. 93–108.

Эти письма обнаружил в архиве И.М.Зданевича, хранящемся в Фонде И.М.Зданевича (Париж), французский славист Режис Гейро, который и подготовил их к печати. Письма особенно ценны тем, что свидетельствуют о глубокой привязанности Поплавского к своему «учителю», несмотря на расхождения в жизненной позиции, четко обозначившиеся с 1927 г., когда Поплавский, бросив «нищий рай друзей», решил стать знаменитым (об этом см. статью И.Зданевича «Борис Поплавский» в том же издании Р.Гейро и воспоминания Иды Карской: Из бесед с В.П.Чинаевым. *Studies in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography. Essays in Honor of Wojciech Zalewski.* Ed. by Lazar Fleishman. Stanford, 1999).

Более глубокая мотивация взаимного отчуждения приводится Поплавским в четвертом письме: Зданевич — мистификатор и агностик, а он, Поплавский, — мистик и христианин. Но за мистификаторством Зданевича Поплавский сумел угадать его подлинную личность. Зданевичу, по всей вероятности, чужды такие понятия, заимствованные Поплавским у древнеиндийской религии, как Брама, Парабраман, Арупа, и смысл «соломоновой печати» его, наверно, мало волнует. Поплавскому же это «слуховое откровение» позволяет восстановить то «глубокое родство душ», которым он так дорожит: «Твоя дружба ко мне — одно из самых ценных явлений моей жизни, хотя бы мы и не виделись годами», — признается он Зданевичу.

С. 468. *La Bolée* (Ля Боле) — кафе в Латинском квартале, расположенное в пассаже «Л'Ирондель» («Ласточка») около площади Сен-Мишель, возникшее на месте таверны, в которой, говорят, бывал Франсуа Вийон. В 1920-е гг. активно посещалось русскими художниками и писателями.

Неисправимый толстяк все перепутал... — Возможно, имеется в виду С.М.Ромов.

Шурка Ginger — Александр Гингер. См. о нем. коммент. к Дневнику 1921—1922 гг.

Ромов — см. о нем коммент. к Дневнику 1921—1922 гг.

...«*Дело Конради*». — Конради Мориц Морицевич (1896 — после 1931) — один из главных организаторов убийства советского дипломата и государственного деятеля В.В.Воровского в Лозанне 10 мая 1923 г.

С. 469. ...«*мысль изреченная...*» — Отсылка к стихотворению Ф.И.Тютчева «*Silentium!*» (1829): «Мысль изреченная есть ложь». Эту строку Зданевич часто цитировал в своих докладах о зауми.

...с видом *Достоевского приживальщика Максимова...* — Имеется в виду персонаж из романа Ф.М.Достоевского «*Братья Карамазовы*», который идентифицировал свою судьбу с судьбой Максимова (помещика, высеченного Ноздревым) из поэмы Н.В.Гоголя «*Мертвые души*» и уверял всех, что послужил прототипом гоголевского персонажа.

Грановский — художник Хаим Грановский. См. о нем коммент. к Дневнику 1921—1922 гг.

С. 470. *Брама* — правильно «*Брахман*» (*Brahman* — основа), в древнеиндийском религиозном умозрении и исходящих из него философских учениях (прежде всего в рамках индуизма) высшая объективная реальность (в противоположность Атману, высшей субъективной реальности), безличное абсолютное духовное начало, из которого путем возрастания и оплотнения возникает мир и все, что в нем есть. Персонифицированная форма Брахмана — Брахма, в индуистской мифологии — высшее божество, творец мира, первый в триаде, где кроме него были еще Шива и Вишну. У Поплавского имеется в виду Брахман в первом значении.

Парабраман — правильно «*Парабрахман*» (*Para-brahman*) — букв. «высший Брахман», т.е. Брахман (Брама у Поплавского) в его высшей непознаваемой и непроявляемой сущности.

С. 471. *Аруна* (а-гура) — букв. «бесформенность», «лишенность формы», «отсутствие формы», в противоположность «рупа» (гура-) — «форма», одному из ключевых понятий философских систем в пределах индуизма и буддизма. Ср. сочетание «*нама-рупа*» (*nama-gura-*) — «имя и форма», т.е. суть и ее обозначение.

...«*не верь глазам своим*»... — Отсылка к известному афоризму Козьмы Пруткива.

«*Merlin chante si loin que Dieu l'entend à peine*». — Источник цитаты не установлен. Мерлин — маг и волшебник из древних кельтских легенд.

«*То, что на небе, есть то, что на земле...*» — Изречение, приписываемое Гермесу Трисмегисту.

С. 472. *Mme de Севинье* — Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696) — французская писательница, автор известных «Писем» (начали публиковаться с 1726 г.).

С. 473. «*Содом и Гоморра*» — роман французского писателя Марселя Пруста. Приводимая Поплавским цитата в действительности находится в романе Пруста «У Германтов» (1922).

С. 474. *Башкирцева Мария* Константиновна (1860–1884) — художница, автор знаменитого «Дневника» (1873–1884, изд. в 1892 г.).

Аксель — Симонна-Аксель Брокар (1909–1978) — натурщица, на которой в сентябре 1926 г. женился И.Зданевич.

...*мой роман...* — Речь о романе «Аполлон Безобразов».

«*Парижачьи*» — роман И.Зданевича, написанный в 1923 г. и потом неоднократно переделывавшийся (окончательная редакция относится к 1926 г.). Впервые опубликован в 1994 г.

...*по Твоей системе пишу...* — Ильязд вначале быстро, как бы «залпом» выдавал большое число страниц, а затем неоднократно к этому тексту возвращался — сокращал, правил. Окончательный вариант был, как правило, существенно короче первоначального.

Много в этом романе также Твоего прямого влияния и особенно Шурикова. — Здесь скорее имеется в виду область эстетико-литературная, поскольку образ демонического героя Поплавского синтетичен. Заимствуя у Зданевича внешний облик, любовь к мистификации и магнетизм, а у Гингера — отказ от материальной стороны жизни и «буддийские» настроения, Аполлон Безобразов является все же двойником автора, проекцией люциферической стороны природы самого Поплавского.

С. 475. *Арапов* — художник Алексей Арапов. См. о нем коммент. к статье «Молодая русская живопись в Париже». В 1924 г. он исполнил портрет И.Зданевича. Арапову посвящено стихотворение Поплавского «Ангелы ада» (1926) — сб. «Флаги».

...*два романа...* — Речь о романах Зданевича «Парижачьи» и «Восхищение». Второй написан в 1927–1928 гг. и опубликован в 1930 г. (см. рецензию Поплавского «Ильязд. Восхищение»).

Ю.П.Иваску (с. 477). — Первые девять писем впервые опубликованы Ю.П.Иваском в нью-йоркском журнале «Гнозис» (1979. № 5/6. С. 201–211). Последнее письмо обнаружено А.Н.Богословским в 1992 г. в Амхерст Колледже (США) во время работы в архиве Ю.П.Иваска и опубликовано в кн.: Борис Поплавский. Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма. М.: Христианское издательство, 1996. С. 245.

Последнее письмо Иваск не включил в свою публикацию, вероятнее всего, из-за того, что в нем поэт выражает свои симпатии к коммунизму. Речь идет, конечно, об идеальном коммунизме, связанном с христианством и близком к «божественному комму-

низму» св. Франциска Ассизского, которого Поплавский очень почитал. Однако в 1979 г. «воинствующий коммунизм» был еще в полной силе, и Иваск, возможно, посчитал, что такие мысли могут быть поняты неправильно.

В этих письмах Поплавский сообщает много интересных сведений о своей жизни (в особенности о своей семье), о литературной жизни Парижа. Они также свидетельствуют о склонности Поплавского приписывать любившимся ему людям свои собственные вкусы, настроения, причуды. В своем предисловии к публикации писем в «Гнозисе» Иваск с недоумением замечает: «Перечитывая письма Поплавского, не узнаю адресата, т.е. самого себя. Едва ли я тогда жил в “надрыве”, как ему казалось». Эта черта характера, несомненно, лежит в основе многих разочарований, испытанных Поплавским в своих дружеских или любовных увлечениях.

О Ю.П.Иваске см. коммент к статье «“Путь”. № 24 и 25».

Первое письмо Поплавского (от 18 мая 1930 г.) — ответ на просьбу Ю.П.Иваска, жившего тогда в Ревеле (Таллине), прислать стихотворения для редактируемого им журнала «Русский магазин». Этот журнал — первый и единственный номер его вышел в г. Дерпт в 1930 г. — стал библиографической редкостью, и сам Иваск не помнил, какие именно стихи парижского поэта он в нем поместил.

С. 477. *Андреев Вадим* Леонидович (1902—1976) — поэт, прозаик, мемуарист. Сын писателя Леонида Андреева и старший брат философа и поэта Даниила Андреева. В 1920 г. вступил в Добровольческую армию. В 1921 г. эмигрировал. Весной 1922 г. — через Константинополь, Софию — переехал в Берлин, где в 1924 г. вышел его первый поэтический сборник «Свинцовый час». Вошел в литературную группу «4+1». Летом того же года переехал в Париж, в 1925 г. — один из организаторов «Союза молодых поэтов и писателей». Входил в созданное М.Слонимом объединение «Кочевье». В Париже издал книгу стихов «Недуг бытия» (1927) и поэму «Восстание звезд» (1932). Автор книги «Детство. Повесть об отце» (Париж, 1938). В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. В 1946 г. принял советское гражданство, работал переводчиком в ООН, умер в Женеве.

Антонин Ладинский — см. о нем коммент. к Дневнику 1932 г.

Терапиано Юрий Константинович (1892—1980) — поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист. В эмиграции с 1920 г. С 1922 г. жил в Париже. По возрасту принадлежал к «старшим» из младшего поколения русской эмигрантской литературы, пользовался авторитетом «молодых». Принимал активное участие в культурной жизни русского Парижа: состоял в «Союзе молодых

поэтов и писателей», регулярно посещал вечера «Зеленой лампы», читал доклады на самые разнообразные темы в Тургеневском обществе. Автор стихотворных сборников «Лучший звук» (1926), «Странствие земное» (1950), «Избранные стихи» (1963), «Паруса» (1965), повести «Путешествие в неизвестный край» (1946), книги воспоминаний «Встречи» (Нью-Йорк, 1953).

Борис Закович — см. о нем коммент. к Дневнику 1932 г.

Одоевцева Ирина Владимировна (наст. имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике; 1895—1990) — поэт, прозаик, мемуарист. Жена поэта Георгия Иванова. С 1922 г. в эмиграции. Автор семи сборников стихов, нескольких романов и двух книг воспоминаний — «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «На берегах Сены» (Париж, 1983). В последней книге часто упоминается Поплавский. В 1987 г. И.Одоевцева вернулась в Россию и умерла на родине.

Юрий Фельзен — см. о нем коммент. к статье «Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова “Петербургские зимы”».

Владимир Варшавский, Сергей Шаршун — см. о них коммент. к статье «О смерти и жалости в “Числах”».

Бронислав Сосинский — см. о нем коммент. к письму Поплавского Б.Б.Сосинскому.

Пумпянская Лидия Харлампиевна, чей муж, по словам Иваска, занимал крупный пост в банке Шеля, дала деньги на печатание сборника Б.Поплавского «Флаги» в ревельской типографии.

С. 478. «*Россия и славянство*» — еженедельная газета, орган национально-освободительной борьбы и славянской взаимности, выходившая в Париже с декабря 1928 по июнь 1934 г., преемница газеты «Россия» (1927—1928). Выходила при ближайшем участии П.Б.Струве. Редактор К.И.Зайцев.

С. 479. «*Стихотворение*» — коллективный сборник «Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика» под ред. Б.Божнева (Париж, 1928. Вып. 1—2).

Давид Кнут — см. о нем коммент. к Дневнику 1921—1922 гг.: Д.М.Фиксман.

Газданов — см. о нем коммент. к статье «О смерти и жалости в “Числах”».

Обращаю Ваше внимание на опечатки. Их страшно много, и некоторые из них совершенно меняют смысл. — «Флаги» были изданы в Ревеле без авторской корректуры. В результате в книге было много опечаток и грубых ошибок (примеры недобросовестной типографской работы Поплавский приводит в данном письме), что дало повод некоторым критикам упрекать поэта в незнании русского языка.

С. 482. ...с обложкой никак не могу помириться... — Обложку журнала «Русский магазин» нарисовал Карл Карлович Гершельман (1899—1951). Из советов Иваску по оформлению журнала

видно, что Поплавский уделял большое внимание типографскому делу и взаимоотношениям между текстом и иллюстрациями.

Б.Б.Сосинскому (с. 486). — Впервые: Поплавский Б. Неизданное. С. 246–247.

Это письмо не датировано, но некоторые детали позволяют отнести его к концу 1923 или первым неделям 1924 г.: Поплавский зовет Бруно (Сосинского) в Париж, куда последний в самом деле прибыл в марте 1924 г., Вадим Андреев последовал за ним в июне, а Присманова покинула Берлин в том же году (точный месяц неизвестен), Татида выпустила книгу «Восьмистишие» (Берлин) опять же в 1924 г. и вскоре вернулась в СССР (точная дата неизвестна). В 1925 г. представителей группы «4+1» (Анна Присманова, Вадим Андреев, Георгий Венус, Семен Либерман, Бронислав Сосинский) в Берлине, кроме Венуса, уже не было (с участниками этой поэтической группы Поплавский познакомился во время своего пребывания в Берлине).

Первый номер журнала «Благонамеренный» помечен январем-февралем 1926 г., но здесь речь идет, возможно, только о проекте издания религиозно-философского сборника, который Д.А.Шаховской вынашивал уже с 1924 г.

Сосинский Бронислав (Владимир) Брониславович (1903–1987) — прозаик, литературный критик, мемуарист, близкий друг Поплавского. Во время Гражданской войны воевал в армии Деникина, затем Врангеля. В 1920 г. эмигрировал. С 1924 г. жил в Париже. Входил в литературную группу «Через». Публиковал рассказы в «Воле России», «Звене», «Числах» и др. периодических изданиях. Участник альманаха «Мост на ветру. 4+1» (Берлин, 1924). В 1939 г. пошел добровольцем на фронт в составе 4-го Маршевого полка иностранцев-добровольцев, принимал участие в боевых действиях, был ранен и взят в плен. Три года провел в немецком лагере для военнопленных. В 1943 г. вернулся из плена во Францию и принял активное участие в движении Сопротивления. Был награжден французским военным крестом. В 1947 г. получил советский паспорт и уехал в Нью-Йорк, где в 1947–1960 гг. работал редактором стенографических отчетов Генеральной ассамблеи, Совета безопасности и др. органов ООН. В 1960 г. переехал на жительство в Москву. Печатался в советских газетах и журналах, однако у Сосинского возникали постоянные трудности с цензурой, и многие его произведения смогли увидеть свет лишь в урезанном виде.

С. 486. *Бруно* — адресат письма.

«Через» — группа русских поэтов и художников. Кажется, что проект выпуска литературно-художественной хроники так и не осуществился. Письмо Сосинскому свидетельствует о раннем

знакомстве Поплавского с В.Андреевым, Б.Божневым, И.Зданевичем.

Свешников — Владимир Кемецкий. См. о нем коммент. к Дневнику 1921—1922 гг.

Андреев — Вадим Андреев.

Венус Георгий (1897—1939) — поэт, участник литературной группы «4+1». В Берлине в 1923 г. часто бывал в литературном кафе «Дом искусств», печатался в «Литературной неделе» и в общей книге поэтической группы «4+1» «Мост на ветру» (Берлин, 1924). В 1926 г. вернулся в СССР. В 1938 г. арестован; умер в тюремной больнице Сызрани. См. материалы его допроса относительно берлинского периода жизни и знакомства с А.Н.Толстым (Русская литература. 2000. № 1. С. 179—190).

«*Стихотворный вестник*» — по всей вероятности, коллективный сборник «Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика», увидевший свет лишь в 1928 г. под редакцией Б.Божнева.

Божнев — поэт Борис Божнев. См. о нем коммент. к статье «Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова “Петербургские зимы”».

Брославский (прав.: Браславский) Александр Яковлевич (псевд. Булкин) — поэт, литературный критик. Участник «Союза молодых поэтов и писателей», объединения «Кочевье». Печатался в «Воле России», «Современных записках», «Числах». Во время Второй мировой войны «проделал чудеса храбрости: добровольцем прошел с отрядами генерала Леклера от озера Чад в Африке до Триумфальной арки в Париже» (*Яновский В.* Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский Фонд, 1993. С. 203).

Струве Михаил Александрович (1890—1948) — поэт, прозаик, участник второго «Цеха поэтов». В 1916 г. издал в Петербурге сборник стихов «Стая». В 1920 г. эмигрировал, жил в Париже. Входил в объединения «Палата поэтов», «Гатарapak», печатался в русской зарубежной периодике («Современные записки», «Числа» и др.). В эмиграции сильно нуждался, подготовленные М.Струве к печати сборники стихов «Злая жизнь» и «Стихи 1935—1936 годов» так и не увидели света.

С. 487. ...*Вам с Димой надо спешить в Париж...* — Дима — Вадим Андреев.

...*разные Кусиковы...* — Кусиков (наст. фам. Кусикянц) Александр Борисович (1896—1970) — поэт-имажинист, до 1921 г. выпустивший с успехом восемь поэтических сборников. При поддержке Луначарского в 1921 г. выехал в Берлин — работать в редакции газеты «Накануне». Выступал с чтением своих стихов на авторских вечерах, а также с приезжавшими в Берлин В.Маяковским и И.Северянином. В 1922—1923 гг. опубликовал еще пять стихотворных сборников, в том числе «Октябрьские поэмы». С 1924 г. жил в Париже, с середины 1920-х гг. от литературы отошел.

...журнал Клуба поэтов... — Речь идет о «Союзе молодых поэтов и писателей», зарегистрированном в январе 1925 г. Первый его председатель — Ю.Терапиано. При Союзе были созданы «Клуб молодых литераторов» и журнал «Новый дом» (Париж, 1926–1927, № 1–3, редакторы — Н.Берберова, Д.Кнут, Ю.Терапиано, Вс.Фохт).

...заработать деньги посредством бала и вечеров у французов... — Известны знаменитые «Русские балы» на Монпарнасе, устраивавшиеся Союзом русских художников, — «Банальный бал» (1923), «Олимпийский бал» (1924), «Бал Большой Медведицы» (1925) и др. Каждая эмигрантская организация пыталась получить какие-то средства для своих членов — писателей, инвалидов, сирот и т.д. — организацией балов, вечеров, концертов, спектаклей, на которые охотно шла французская публика.

Редактором (там) пригласили Ходасевича. — Редактором планируемого журнала («Новый дом») Вл.Ходасевич не стал.

...поэт Либерман... — Семен Либерман. Участник литературной группы «4+1». Судьба его неизвестна.

Татида (наст. имя и фам. Татьяна Давыдовна Цемах; 1890–1943?) — поэтесса. С 1921 г. в эмиграции. Жила в Берлине, участвовала в собраниях «Дома искусств», писала стихи и рецензии на современные поэтические сборники для «Новой русской книги» А.Ященко, вместе с которым подготовила к печати сб. М.Волошина «Стихи о терроре».

С. 488. ...в Брюсселе выходит журнал «Благонамеренный»... кн. Шаховского... — Шаховской Дмитрий Алексеевич, князь, архиепископ Иоанн Сан-Францисский (псевд.: Странник, Священнослужитель; 1902–1989) — поэт, прозаик, философ и богослов; брат писательницы Зинаиды Шаховской. Участник Белого движения. Эмигрировал в 1920 г. В 1921 г. учился в Париже в Школе политических наук, в 1922 г. переехал в Бельгию. В Брюсселе издавал журнал «Благонамеренный» (всего вышло два номера в 1926 г.), где печатались И.Бунин, Г.Адамович, Г.Иванов, И.Одоевцева и др. В августе 1926 г. Шаховской принял на Афоне монашеский постриг. С 1932 по 1945 г. был настоятелем Свято-Владимирской церкви в Берлине. Высланный летом 1945 г. во Францию, он через год, по приглашению И.И.Сикорского, переехал в США. Оставил огромное литературное наследие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Николай Татищев

ИЗ РАЗГОВОРОВ С БОРИСОМ ПОПЛАВСКИМ

Впервые: (1) — *Татищев Н.Д.* Синяя тетрадь: Письмо в Россию. Париж: YMCA-Press, 1972. С. 151–154; По небу полночи... (2) — Русская мысль. Дата не установлена; (3) — Возрождение. 1965. № 165. С. 28–29. Под названием: Борис Поплавский — поэт самопознания; (4) — Новый Журнал. 1947. № 15. С. 202 (в статье Н.Д.Татищева «Поэт в изгнании»); (5) — Русская мысль. 1972. 2 ноября. № 2919. С. 6 (в статье Н.Д.Татищева «Дирижабль неизвестного направления»); (6) — Круг. 1938. № 3. С. 57–58 (в статье Н.Д.Татищева «О Поплавском»).

Татищев Николай Дмитриевич, граф (1902–1980) — поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист, близкий друг Поплавского. Уроженец Петербурга. В начале 1919 г. под чужой фамилией вступил в Красную армию, на фронте перешел на сторону Белой армии. В ноябре 1920 г. из Крыма эмигрировал в Константинополь, оттуда во Францию. В 1933 г. женился на Дине Григорьевне Шрайбман (1906–1940), музе Поплавского. Участник литературного объединения «Круг», член парижского Союза русских писателей и публицистов. Татищев всю жизнь хранил архив Поплавского и передал его своим сыновьям, Борису и Степану Татищевым.

Татищев имел обыкновение записывать в особую тетрадь то, что говорили молодые люди во время их ночных прогулок. Тетрадь эта («Синяя тетрадь») затерялась, и лишь в 1970-е гг., найдя ее совершенно случайно, Татищев стал извлекать из рукописи выдержки для статей, которые он в то время готовил для «Русской мысли». Многие из них посвящены Поплавскому. Татищев пытался таким образом спасти от забвения имя своего друга и полнее раскрыть его личность и творчество новым читателям. Для нас эти записи особенно ценны. В них звучит живой голос поэта, они позволяют представить «удивительный дар» Поплавского, о котором свидетельствует Ирина Одоевцева. Речь его всегда была блестящей импровизацией: изумленные слушатели присутствовали при рождении парадоксальных умозаключений, удивительных прозрений, как, например, в том случае, когда Поплавский, рассказывая о Прусте, сумел не только проникнуть во внутренний мир писателя, но и передать его с такой точностью, будто он сам на мгновение превратился в автора «Поисков утраченного времени»: «Пруст жил в пробковой камере, в которую не доносился ни один звук из внешнего мира, запер в нее восстанавливаемое им прошлое, воскрешая его для бессмертной жизни». Каждое выступление Поплавского было не просто чтением доклада, рефера-

та, а, по существу, настоящим словесным творением, рождающимся при контакте с публикой.

Татищев замечает: «Это не был разговор со мной, он отвечал на собственные мысли, и я был нужен скорее как слушатель, чем как собеседник». Здесь верно подмечена важная особенность творческого метода Поплавского — постоянно возникающий в его произведениях внутренний диалог, при котором может присутствовать случайный собеседник, чья роль всегда пассивна: он — лишь эхо, отражающее речь поэта, дающее ему необходимое отстранение, возможность быть объективным. «Снежный час» и «Аполлон Безобразов» — насквозь диалогичны. Во втором сборнике стихов поэт постоянно беседует с самим собой, обращается к любимой женщине или взывает к Богу. В прозе же раздвоенная личность автора воплощается в двух ипостасях — в повествователе Васеньке и в Аполлоне, постоянно спорящих между собой, выясняющих личные отношения, уточняющих свое понимание природы, Христа, бытия, любви и т.д. Беседовать с двойником — значит для Поплавского придавать своим мыслям точность и выразительность, облекая их в законченную форму, делать их доступными для другого человека. Это способ бороться с несовершенством выразительных средств, о котором Поплавский писал: «Неряшливость всего, написанного мною, меня убивает». Это выход из субъективности в объективность.

Многие из идей, тем и даже метафор «Синей тетради» встречаются в «Аполлоне Безобразове», куда Поплавский включил их, предварительно «проверив» на собеседнике. Здесь и ставрогинская тема неподвижности и оцепенения, воплотившаяся в образе Аполлона Безобразова, который отказывается от участия в жизни из-за обиды на Бога: «Он — само зрение, и он видит Иисуса, но зачем ему лучшая из жизней, когда он вообще никакой жизни не ценит. Он хочет непоколебимости и покоя». В этом отказе от всяческих желаний и кроется тайна власти Ставрогина над женщинами, а Аполлона Безобразова над Терезой. К ставрогинской теме Поплавский вновь возвращается в отрывке из неизданных дневников, приведенном Н.Татищевым в статье «Дирижабль неизвестного направления»: «Настоящая жизнь — это ничего не делать и ни в чем не быть заинтересованным, не искать интересной выгоды...»

О постоянном диалоге, который Поплавский вел с Достоевским, свидетельствуют и его слова, приведенные в отрывке «По небу полуночи...», о взаимосвязи между страданием и очищением. Многие высказывания Поплавского посвящены теме любви и смерти: «Людей, которые не способны погибнуть, невозможно любить, потому что их невозможно жалеть», или еще: «Все поразному носят свою смерть...» (этот отрывок почти дословно вос-

произведен в 13-й главе «Аполлона Безобразова» и напоминает фразу из немецкого поэта Рильке: «Боже, дай каждому свою собственную смерть, которая была бы похожа на его жизнь...»). Наконец, в неистовых речах Поплавского о Платоне звучат слова о «гностическом соблазне» отказа от литературы ради духовной жизни — соблазне, которому поддались и Гоголь, и Толстой. Это перекликается с подобными же высказываниями поэта в дневнике и в статьях: «Искусства нет и не нужно. Любовь к искусству — пошлость, подобная пошлости поисков красивой жизни» («О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции»).

С. 491. (1). — В качестве предисловия к этой статье Н.Д. Татищев пишет:

«В этой тетради я записывал то, что говорил Борис Поплавский во время наших прогулок.

Вчера вдруг нашел эту тетрадь в Со, в подвале у моего сына, среди старых писем и дневников.

Каким бы глупым перестарком я ни был в 30-х годах, перед вторым потопом, все же понимал и поэтический уровень Поплавского, и что моя обязанность — по возможности сохранить все им сказанное во время наших “прогулок по фортификациям”, вокруг Парижа.

Это не был разговор со мной: он отвечал на собственные мысли, и я был нужен скорее как слушатель, чем как собеседник».

С. 494. *Если тебе не все понятно — Hölderlin даст объяснение.* — Татищев напоминает, что в те годы в Париже начали появляться книги Фридриха Гёльдерлина (1770–1843), чьими стихами оба молодых человека восхищались. Он также приводит отрывок из стихотворения Гёльдерлина в собственном переводе («Ночь спустилась»):

Ночь спустилась. Чьи-то тени легли среди деревьев.
Звезды жалят их, как пчелы. Но явился новый вестник.
Он держал зажженный факел, как ночной искатель кладов.
Лишь немногие очнулись, и, обрадованы светом,
Засветились души пленных, загорелись жизнью лица.
Но Титаны снова дремлют, усмехаясь сновиденью.
Цербер, глаз не раскрывая, пьет из чаши. Длится ночь.

Нельзя не вспомнить и о многих схожих образах в поэзии Поплавского, например, в стихотворении «Люди несут огонь» из «Снежного часа».

С. 497. (3). — В этом отрывке Татищев вспоминает разговор 1932 г.

С. 498. *Но предчувствие об этом было у Пушкина.* — Поплавский порой очень резко высказывался о Пушкине, что шокировало многих его собеседников (об этом вспоминает и Татищев). Противопоставляя Лермонтова Пушкину, он пишет в статье «По поводу...»: «Лермонтов — первый русский христианский писатель. Пушкин — последний из великолепных мажорных и грязных людей Возрождения» (Числа. 1930/1931. № 4).

С. 499. *Мое сердце было пустыней, я жаждал восхищения, которое должна дать жизнь.* — Кажется небезынтересным сопоставить эти слова с обращением Олега к Кате из романа «Домой с небес»: «Никогда ни в чем не участвовал, среди смятения отступления читал, открывал Ницше в Новороссийске в козьем полушубке, был на Луне и этим горжусь, всегда жил вне истории, между Индией и Гегелем».

Николай Татищев

ИЗ СТАТЬИ «В СЕРЕБРЕ ПУСТЫНЬ»

Впервые: Т а т и щ е в Н.Д. В дальнюю дорогу. Париж: YMCA-Press, 1974. С. 201–206.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ. РЕЦЕНЗИИ. ЗАМЕТКИ

О судьбах России	7
О русской выставке в Берлине	10
Заметки о поэзии	19
Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова «Петербургские зимы»	21
О согласии погибающего с духом музыки	25
Florent Fels. Kostia Terechkovitch. <i>Рецензия</i>	33
Молодая русская живопись в Париже	35
Выставка группы русских художников в галерее Зака	40
О боксе	42
О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции	45
Ильязд. Восхищение	51
Русские художники в салоне Тюильри	53
Об осуждении и антисоциальности	56
О смерти и жалости в «Числах»	63
Ответ на анкету «Новой газеты»	67
По поводу...	68
Путь. № 24 и № 25	84
Салон настоящих Независимых	86
Осенний салон	87
Новое издание Тургенева	88
Около живописи	90
Групповая выставка «Чисел»	95
Абрам Минчин	98
Ответ на литературную анкету журнала «Числа»	101
Ответ на анкету редакции «Чисел» о живописи	103
Заметки о Достоевском	104
В поисках потерянного эмигрантского молодого человека	106
По литературным собраниям	107
О боксе и Примо Карнера	108
Среди сомнений и очевидностей	110

Человек и его знакомые	120
Вокруг «Чисел»	125
С точки зрения князя Мышкина	134
Личность и общество	137
О деньгах	139
Художественная хроника	141

ДНЕВНИКИ

Из дневника. 1917. <i>Москва</i>	151
Дневник. 1921–1922. <i>Константинополь—Париж</i>	153
Из дневника. 1922. <i>Берлин</i>	251
Дневник Т. Октябрь 1927 — январь 1928. <i>Париж</i>	255
Из дневника. 1929–1931. <i>Париж</i>	280
Из дневника. 1932. <i>Париж</i>	295
Из дневника. 1933. <i>Париж</i>	331
Из дневника. 1934. <i>Париж</i>	380
Из дневника. 1934. <i>Париж</i>	388
Из дневников. 1928–1935	409

ПИСЬМА

Д.Г.Шрайбман	457
Б.Шрайбман	467
И.М.Зданевичу	468
Ю.П.Иваску	477
Б.Б.Сосинскому	486

ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>Николай Татищев. Из разговоров</i> с Борисом Поплавским	491
<i>Николай Татищев. Из статьи «В серебре пустынь»</i>	503

Комментарии	505
-------------------	-----

Поплавский Б.
П57 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Статьи. Дневники. Письма / Сост., коммент., подгот. текста А.Н.Богословского, Е.Менегальдо. — М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. — 624 с.

ISBN 978-5-903081-08-0 (Т. 3)

ISBN 978-5-86884-055-5

Третий том собрания сочинений Бориса Поплавского (1903—1935) включает в себя статьи о литературе, изобразительном искусстве, спорте, а также его дневники и письма. О чем бы Поплавский ни писал, в каждой своей строке он был значителен и талантлив.

Его дневник — «документ современной души, русской молодой души в эмиграции» — Н.Бердяев оценивал как «книгу очень значительную, очень замечательную».

«Поплавский... боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое... Он погиб от собственной дерзости и бесстрашия», — замечал другой выдающийся русский философ Г.Федотов.

УДК 882

ББК84(2Рос=Рус)6

Борис Юлианович Поплавский
Собрание сочинений в трех томах
Том третий
Статьи. Дневники. Письма

Корректор *О.А. Савичева*
Верстка *П.А. Сандомирский*

Подписано в печать 22.12.2009
Формат 84x108 1/32. Тираж 2 000 экз.

ЗАО «Издательство “Русский путь”»
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт книжного магазина: www.kmzg.ru
Заказ 1937.

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер, 6

...если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для ее оправдания на всех будущих судилищах.

Дмитрий Мережковский

Поплавский... боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое... Он погиб от собственной дерзости и бесстрашия.

Георгий Федотов

Дневник Поплавского — книга очень значительная, очень замечательная. Документ современной души, русской молодой души в эмиграции. Поплавский был настоящий страдалец, который чувствовал между собой и Богом тьму...

Николай Бердяев

По-видимому, «современность» Поплавского, его характерность для наших лет отчасти в том и сказывалась, что он стремился к разрушению форм и полной грудью дышал лишь тогда, когда грань между искусством и личным документом, между литературой и дневником начинала стираться.

Георгий Адамович

Поплавский был главный выразитель монпарнасского «умонастроения». Он был наш Монпарнас.

Владимир Варшавский

ISBN 978-5-903081-08-0



9 785903 081080 >

Борис Поплавский

3